Ив. Тургенев

Иван Сергеевич Тургенев

Собрание сочинений в двенадцати томах

Том 5. Рудин. Повести и рассказы 1853-1857

Повести и рассказы 1853-1857

Собственная господская контора[*]

(Отрывок из неизданного романа)

…Комната, в которую вошла Глафира Ивановна и в которой она ежедневно проводила часа два и более, называлась «Собственной господской конторой» — в отличие от «Главной вотчинной конторы», помещавшейся в отдельном флигеле, подле конного двора. В «Собственной господской конторе» постоянно заседал секретарь барыни, Левон Иванов, или, как его называла Глафира Ивановна, Léon[*] (его в молодости выучили французскому языку, и он довольно свободно на нем изъяснялся); однако Глафира Ивановна в конторе с ним никогда иначе не говорила, как по-русски. Кроме Левона, каждое утро являлись в «Собственную контору» главный приказчик и бурмистр с докладами; часто призывался туда дворецкий, изредка сам управляющий Василий Васильевич[*] — и только. Все же дела по именью, все платежи, продажи и покупки производились в «Вотчинной конторе», которая оттого всегда была набита народом; с утра до вечера толклись в ней, стояли и сидели разные писцы, земские, приходящие и отходящие мужики, свои и соседние, старосты, десятские и т. п.

«Вотчинная контора» не могла похвастаться ни чистотою, ни благовонием. Случалось иногда, что свечи в ней горели голубым огнем, как бы в погребе или в бане. «Собственная контора», напротив, отличалась опрятностью: это была большая, светлая комната, с тремя окнами; у одного из них помещался секретарский стол, покрытый зеленым сукном. Вдоль стен тянулись шкафы из ясеневого дерева; по самой середине, на особо устроенном возвышении, стояло ореховое бюро; за этим бюро, на широком и мягком кресле, садилась сама барыня; другое кресло, тоже довольно покойное, стояло несколько поодаль и пониже — для Василия Васильевича. Прямо против господского бюро висел на стене портрет напудренного старика в лиловом французском кафтане с стразовыми пуговицами, известного в свое время хозяина, дяди Глафиры Ивановны, от которого она получила свое имение[*] и которого она поставила себе в образец.

В «Собственной конторе» к приходу барыни собралось три человека. Один из них, секретарь Левон, или Léon, молодой,

белокурый человек, с томными глазами и чахоточным цветом лица, стоял перед своим столом и перелистывал тетрадь; другой, главный приказчик, Кинтилиан*, человек лет пятидесяти с лишком — с седыми волосами и черными навислыми бровями, с лицом угрюмым и хитрым — неподвижно глядел на пол, скрестив руки на груди. Третий, наконец, бурмистр Павел, красивый мужчина, с черной как смоль бородой, свежими щеками, большим белым лбом и веселыми блестящими глазами, развязно прислонился к двери. Хотя одежда на нем была не то крестьянская, не то купеческая, хотя он носил бороду — он мужиком не был. Глафира Ивановна произвела его в бурмистры из дворовых; под его управлением состояло — пока — одно только село Введенское — то самое село, в котором жила барыня, — но влияние его росло не по дням, а по часам; милости сыпались на него непрестанно; он быстро шел в гору, к великой досаде Кинтилиана, который сам, не более двух лет тому назад, разными происками низвергнул своего предшественника, Никифора, и стал на его место.

Три эти человека — до самого появления Глафиры Ивановны — не разговаривали друг с другом; только Павел спросил у Левона, записал ли он садовые работы; Левон кивнул ему головой. Когда же наконец барыня вошла, они все трое выпрямились и низко ей поклонились; Кинтилиан и Павел заложили руки за спину — Левон слегка оперся о стол. Глафира Ивановна, молча и не спеша, взошла на возвышение, отодвинула слегка кресла, села, оправилась и, приняв озабоченный вид, немного помолчала, наконец, обратившись к Левону, сделала повелительное движение рукою и промолвила: «Начинай!»

Левон взял тетрадь со стола, отвернул несколько листов, кашлянул и начал тонким, немного гнусливым голоском:

— «12 июля 184* года. Полевые и прочие работы.*

Вчерашний день, июля 11-го, во вторник — день господский. Крестьяне села Введенского* — всего 134 тягла — заняты были сенокосом в следующих дачах…»

— Что ты это мне читаешь? — резко перебила его барыня.

— Полевые и прочие работы, как изволили приказывать… С них начинать приказано, — проговорил Левон.

— Мне этого не нужно сегодня. Левон опустил тетрадь.

— Получены вчера из деревень донесения?

— Получено три — из Лисицына, из Гагина, из Кириллова.

— Читай рапорт из Лисицына.

— Прикажете рапорт или экстракт?

— Рапорт. — И Глафира Ивановна загремела четками…

Неприятно подействовал этот звук на присутствовавших. Каждый из них знал, что когда барыня гремит четками* — дело неладно: жди бури. Лица их вытянулись; даже Павел, который всё время соколом глядел на свою госпожу, — даже он попридержал свою улыбку.

Левон взял со стола исписанный лист бумаги — и начал опять тем же тонким голоском:

— «Рапорт Евстигнея Семенова, Лисицынского старосты.

Пункт 1-й. В имении ее высокоблагородия, Глафиры Ивановны Гагиной, Лисицыне — Кондратове тож — милостью божиею обстоит всё благополучно. Пункт 2-й. Вчерашнего числа…»

Глафира Ивановна опять перебила чтеца:

— Не читай мне всего… Посмотри только, что он о пасеке пишет…

Левон быстро пробежал глазами весь рапорт.

— Он о пасеке не доносит-с, — произнес он наконец.

— Прекрасно! — воскликнула Глафира Ивановна — и четки загремели пуще прежнего. — Хорош староста, нечего сказать! Это *ты*, должно быть, его в старосты поставил, — продолжала она, обратившись к Кинтилиану. (Лисицынский староста был назначен еще Никифором, но Кинтилиан почел за лучшее промолчать.) — Сделать ему строжайший выговор с особенным замечаньем.

Левон наклонился и черкнул у себя в книге слова два карандашом. Наступило молчание.

— Прикажете читать дальше? — робко спросил Левон.

Барыня не отвечала ему и продолжала греметь четками. Левон поправил волосы на лбу и потупился. В комнате всё как будто замерло… только и стало слышно в ней, что жалобное жужжанье залетевшей большой синей мухи, тщетно стучавшейся в стекло.

— Достань «Заметки барыни», — промолвила наконец Глафира Ивановна, выходя из задумчивости. — Прочти мне, что я тебе вчера продиктовала.

Левон вынул из ящика своего стола голубую книжку с надписью на переплете: «Заметки барыни», — раскрыл ее и принялся читать:

— «Понедельник, 11-го июня.

Во-первых: Дворовым я желаю сделать другое распоряжение; хочу из дворовых сделать *колонистов;* а колонисты мои будут делать разные работы, домашние и прочие; построю им каменные флигеля; заведу фабрики, как швейные, так и кружевные, — ткацкую, белильную — и доведу до того, чтобы Введенские фабрики были известны в России; а ненужных дворовых продам или отпущу по

разным местам. Начальник моих колонистов — Киприян Семенов». — Левон остановился.

— Какая по этому сделана отметка? — спросила барыня.

— «Принято к соображению. А насчет Куприяна — исполнено».

Барыня помолчала.

— Далее.

— «Во-вторых: Турка никогда и никуда не отпускать от скота; но только, чтобы он никогда не был начальником над оным — а просто назвать его: Турок и пастух». Отметка: исполнено.

«В-третьих: Я собрала посмотреть моих господских коров… Фи! Фи! Ну, что это за коровы? Но почему же и мне не иметь коров, которые бы давали удою три ведра, как говорил швейцар. Je réglerai, tout cela, je réglerai[1]. Возьму швейцара, тирольца, овцевода, возьму лифляндку, немку, польку. Ах, когда же это случится: после дождичка в четверг». Отметка… отметки нет.

— Нет отметки? — спросила Глафира Ивановна. — А я тебе скажу, какая должна быть отметка. Пиши, — и Глафира Ивановна начала диктовать Левону: — «Всё это исполнится и непременно исполнится, когда у меня будет настоящий управляющий — а не Василий Васильевич — что и говорить! Не такого, не такого мне надо* — и только». Теперь далее.

Левон поставил после «только» большой восклицательный знак и снова принялся за чтение.

— «В-четвертых: Спросить каждого дворового человека следующим образом: а что ты принес доходу в год — какая была твоя служба — и сколько было на тебя расходу — а? И по его ответу так и поступать, чтобы дворовый человек приносил или пользу, или удовольствие; без того его не держать». Отметка: отнесено к пункту первому.

— Как к пункту первому! — воскликнула барыня.

— Там — также о дворовых говорится, — возразил Левон.

— Так что ж, что говорится! Здесь сказано: спросить каждого дворового — а там написано про дворовых вообще. Спрашивали ли хошь одного дворового так, как я приказывала?

— Никак нет-с, — пробормотал смущенный секретарь.

— А я спрашиваю — почему не спрашивали?

Никто не отвечал.

Лицо Глафиры Ивановны омрачилось.

— Долго ли мне мучиться с вами? — продолжала она. — Долго ли вам не слушаться меня!

— Отметки не я составляю-с, — проговорил трепетным голосом Левон, — а вот они-с. — Он указал на главного приказчика и на бурмистра. — Я только записываю.

— Я знаю, что не ты. К пункту первому! Я знаю, почему они поставили: к пункту первому! Я бы тебя, например, спросила, — прибавила Глафира Ивановна, внезапно обратившись к Кинтилиану, — что *ты* мне стоишь с своим семейством — сколько на *тебя* выходит всякого добра — а какую я от тебя пользу вижу? Или удовольствие? Уж я не говорю о том, что ты себе там в карман кладешь!

Кинтилиан только губы стиснул.

— Исполнить мое приказание, сегодня же исполнить — и начать с него, — промолвила барыня, указывая на Кинтилиана. — Коли он главный приказчик, пускай же он подаст пример другим… А теперь продолжай!

«В-пятых: Я в нетерпенье приобретать… Не забыть мне видеться и переговорить с…» Здесь поставлены три крестика, — прибавил Левон, понизив несколько голос — «Он, сдается мне, именно тот человек, которого я искала». Здесь вы изволили приказать поставить: Нотубене.

— Хорошо, знаю… продолжай.

— «В-шестых: Сказать матерям отпущенных по оброку актрис, чтобы они к ним написали и советовали бы им вскорости откупиться*; а то-де вас вернут и здесь в работу определят. Мы-де вас предваряем от себя». Отметка: «Актрисиным матерям сообщено».

«В-седьмых: Я хочу доказать Василию Васильевичу, что и без него могу, как будто его не было на свете. Я сама, сама, сама. А то всё будет по-прежнему. Лучше мое худое пусть, чем его хорошее: не надо».

— Довольно! — воскликнула Глафира Ивановна. — К чему об этом только говорить — надо действовать…

И Глафира Ивановна снова погрузилась в раздумье, изредка только подергивая губами и погромыхивая четками.

— Кинтилиан Андреев! — воскликнула она наконец.

Старик встрепенулся.

— Сударыня!

— Можешь ты мне сказать, сколько я в год плачу в Опекунский совет?

— Четырнадцать тысяч рублей серебром с лишком, — ответил, не мешкая, Кинтилиан.

— А сколько всего долгу?

— Около двухсот десяти тысяч.

— Около! с лишком! Что это у тебя за манера отвечать? Около! Разве для того я тебя определила главным приказчиком, чтобы ты мне отвечал: около!

— Прикажете — можно сейчас в бумагах справиться и точную ведомость представить, — возразил старик.

— Этакие важные вещи должно знать тебе на память, а не справляться об них в бумагах! Это всё беспорядки… Когда я беспорядки эти переведу! А в нынешнем году мы ничего не платили?

— Никак нет-с.

— А за прошлый год все заплачено?

— Никак нет-с… За нами недоимка состоит… две тысячи четыреста тридцать рублей с копейками, — поспешил прибавить Кинтилиан.

— Стало быть, мне штрафные деньги придется платить?

— Должно предполагать-с.

— А почему же не заплачено в Опекунский совет? Разве денег не было?

— Деньги были-с — да и на другие расходы пошли.

— А на какие именно?

— На содержание господского дома, на покупку скота; Василью Васильевичу известно-с; они распоряжались-с.

Глафира Ивановна вспыхнула.

— Опять Василий Васильевич! Как вы мне надоели с вашим Васильем Васильевичем! Сколько раз мне приказывать вам — не упоминать при мне имени Василья Васильевича! Особенно здесь, в собственной моей конторе. Знать его я не хочу, вашего Василья Васильевича. — И Глафира Ивановна встала и несколько раз прошлась по комнате.

— Садись и пиши, — примолвила она вдруг, поравнявшись с секретарем. — А вы слушайте.

Левон проворно сел за стол, схватил длинное перо, обмакнул самый кончик его в чернила и склонил голову на левый бок.

— «План госпожи… — начала Глафира Ивановна. Левоново перо заскрыпело по бумаге. — Всё имение разделить на четыре части:

Первую назвать вдовьим участком или опридчим и определить[*] ее на содержание госпожи и дома ее.

Вторую назвать — долговою частью и платить с нее проценты по долгам». — Написал? — спросила барыня.

— По долгам, — повторил секретарь.

«Третью часть назвать участком детским и определить ее на

содержание Дмитрия Петровича.

Четвертую, наконец, назвать частью агрономическою и экономическою и доходы с нее употреблять на разные хозяйственные усовершенствования».

— Усовершенствования, — повторил секретарь.

Барыня обратилась к Кинтилиану и Павлу.

— Слышали вы? — спросила она.

— Слышали, — отвечали они в один голос. Секретарь поднялся.

— А теперь подайте бумаги, какие мне подписывать нужно.

Кинтилиан направился было к окну за сафьянным красным портфелем, с которым он пришел из «Вотчинной конторы», но Глафира Ивановна остановила его восклицанием:

— Ах, Мемориал! Я ведь и забыла Мемориал!

Кинтилиан вернулся на прежнее место, а барыня достала из кармана свою записную книжечку.

— Да, кстати, — начала она, еще не заглядывая в нее, — я желаю знать, кто у меня в Бабкове при тамошнем господском доме дворником? Уж не Никита ли Голанец?

— Точно так-с, — возразил Кинтилиан.

— Да не будет Никита Голанец дворником ни при Бабковском господском доме — нигде. Он умер.

Бурмистр, секретарь и приказчик — все трое невольно подняли головы.

— Для меня он умер. Я заметила, что в какой деревне он живет, там у меня непременно пожар случится. При нем в Лисицыне флигель сгорел. Отставить его от должности дворника и отослать в какую-нибудь оброчную деревню.

— Слушаю-с, — ответил Кинтилиан.

— А теперь посмотрим Мемориал. — Барыня раскрыла записную книжечку и прочла громко: — «Печатка». Да! Заказать в Туле печать с фигурою, изображающею время, и с надписью: «оправдает» — и слово чтоб было вырезано ясно. Это я тебе поручаю, Павел.

— Будет исполнено в точности, — весело возразил Павел.

— Я видела, — прибавила Глафира Ивановна, приветливо взглянув на него, — ты уже в саду распорядился: дорожки подчищены — спасибо. Павел низко поклонился.

— Рад стараться, сударыня-матушка, — промолвил он.

— Хорошо, хорошо.

Теперь второе: «Овес и сено». Четвертого дня был у меня сосед Иван Еремеич — всего побыл два часа — и кто его просил приезжать?

На лошадей его вышло овса два четверика, четыре гарнца — а сена пуд и двадцать фунтов. Это ужас! Спрашиваю, кто этим заведывает?

— Дворецкий, — промолвил Кинтилиан.

— Вот ты и соврал: разве это дворецкого дело? Дворецкий домом заведывает, а не конюшней.

— Овес и сено выдает начальник конного двора, — поправился приказчик.

— Кто такой?

— Шорник Ипат.

— Так ты Ипату овес и сено поручаешь!.. Такая важная статья у него на руках! А ты-то чего глядишь? Положим, ты сам фураж отвешивать не можешь — всё же ты должен знать, сколько чего выходит. Никифор бы этого не сделал. Видно, мне и конный двор придется Павлу под команду отдать. Кстати, — прибавила барыня, обратившись к Павлу, — в какую деревню сослали Никифора?

— В Валухино.

— В Валухино… Напомни мне о нем сегодня, Левон.

Теперь третье: «Спросить, почему послали не Алешку, а Федьку?» Да; желаю я знать, почему за мамзелью в Москву послали не Алексея, как было приказано, а безмозглого старика Федора?

— Алексей оказался нужным в столярной.

— Когда я что приказываю — должно исполнять, а не рассуждать. *Ты* отменил мое приказание?

— Никак нет-с.

— Кто же?

Кинтилиан смутился и не отвечал.

— Спрашиваю тебя: кто?

Кинтилиан разинул было рот — и запнулся, но взглянул на барыню.

— Василий Васильевич изволили приказать, — произнес он скороговоркой.

— Опять! — воскликнула Глафира Ивановна. — Опять Василий Васильевич! О, это слишком! Везде, везде этот Василий Васильевич. Надо это кончить! Это невыносимо!* — И Глафира Ивановна сильно позвонила в колокольчик.

Вошел Суслик.*

— Ступай к Василью Васильичу и скажи ему, чтоб он сию минуту ко мне пришел; да скажи Аграфене, чтобы она мне принесла стакан воды.

— Слушаю-с! — воскликнул Суслик и исчез.

— А вы, — продолжала барыня, — ступайте теперь все вон. Бумаги я подпишу после. — И Глафира Ивановна снова принялась ходить по комнате.

— И нужно вам было, Кинтилиан Андреич, опять про Василия Васильевича напомнить, право, — заметил, выходя из передней, бурмистр Павел приказчику.

— Э! всё едино, — с досадой возразил старик и махнул рукой. — Вишь сегодня погодка какая…

— А копеечки вы ловко подпустили, — с улыбкой промолвил бурмистр.

— Ну, да хороши и вы… с вашей печаткой… — и Кинтилиан отправился в «Вотчинную контору».

— А вы куда? — спросил Павел Левона.

— Я к себе — сосну. Устал — смерть.

Павел остался один, подумал, принял суровый, начальнический вид и, широко разводя сжатыми руками, пошел в сад.

Между тем Суслик прибежал в особый флигель, занимаемый Василием Васильевичем, и, поспешно войдя к нему в кабинет, проговорил запыхавшимся голосом:

— Пожалуйте к барыне.

Василий Васильевич только что допивал третью чашку чаю со сливками. Выпустив струйку табачного дыма изо рта, подносил он налитое блюдечко к губам, как вдруг вошел мальчик. Он тотчас поставил блюдечко на стол и, съежив брови, с уторопленным видом спросил Суслика:

— Барыня меня спрашивает?

— Точно так-с. Велели сказать-с, чтобы сию минуту пожаловали.

— Где она?

— В конторе-с.

Василий Васильевич помолчал и вдруг приподнялся.

— Эй, Юшка! — крикнул он. — Одеваться, сюртук и галстук! — Человек подал Василью Васильевичу одеться; он причесался перед зеркалом, застегнул сюртук сперва на правый борт, потом перестегнул его на левый, надел картуз и вышел на крыльцо.

— Что? — спросил он, не оборачивая головы и вполголоса, у сопровождавшего его Суслика, — разве там… что-нибудь…

— Да-с, кажется, — значительно отвечал плутоватый мальчик.

— Гневается? — проговорил, еще понизив голос, Василий Васильевич.

— Серчают-с, — возразил Суслик.

— Господи! Господи! — прошептал Василий Васильевич, пощупал рукой по груди, вздохнул раза два и направился отяжелевшими шагами через заднее крыльцо в «Собственную контору», где, изредка отпивая по глотку воды из стакана, принесенного Аграфеной, ожидала его Глафира Ивановна.

Переписка

Несколько лет тому назад был я в Дрездене.

Я остановился в гостинице. С раннего утра до позднего вечера скитаясь по городу, я не почел за нужное познакомиться с моими соседями; наконец случайным образом дошло до моего сведения, что в доме находится русский — больной. Я отправился к нему и нашел человека в жесточайшей чахотке. Дрезден начинал мне надоедать; я поселился у моего нового знакомца. С больным сидеть скучно, но даже скука иногда приятна; притом мой больной не унывал и разговаривал охотно. Мы всячески старались убивать время: играли вдвоем в дурачки, трунили над доктором. Мой земляк рассказывал этому весьма лысому немцу разные небылицы на свой счет, которые доктор всегда «давно предугадывал»; передразнивал его, когда он удивлялся какому-нибудь необыкновенному, небывалому припадку, кидал его лекарства за окно и т. д. Я, впрочем, неоднократно замечал моему приятелю, что не худо бы послать за хорошим врачом, пока время не ушло, что с его болезнью шутить нельзя, и т. д. Но Алексей (моего знакомого звали Алексеем Петровичем С…) всякий раз отделывался остротами насчет всех докторов вообще и своего в особенности и наконец, в один ненастный осенний вечер, на мои неотступные просьбы отвечал таким унылым взглядом, так печально покачал головой и так странно улыбнулся, что я почувствовал некоторое недоуменье. В ту же ночь Алексею сделалось хуже, и на другой день он скончался. Перед самой смертью обычная веселость ему изменила: он с беспокойством заметался на постели, вздыхал, тоскливо озирался… схватил меня за руку, с усилием прошептал: «А ведь тяжело умирать…», уронил голову на подушку и залился слезами. Я не знал, что сказать ему, и молча сидел перед его постелью. Алексей, однако ж, скоро восторжествовал над этим последним, поздним сожаленьем… «Послушайте, — сказал он мне, — наш доктор сегодня придет и найдет меня мертвым… Воображаю себе его рожу…» И умирающий постарался его передразнить… Он попросил меня отослать все его вещи в Россию, к родственникам, исключая небольшой связки, которую он подарил мне на память.

В этой связке находились письма — письма одной девушки к Алексею и копии с его писем к ней. Всех их было пятнадцать. Алексей

Петрович С… знал Марью Александровну Б… давно, кажется, с детства. У Алексея Петровича был двоюродный брат, у Марьи Александровны была сестра. В прежние годы они все жили вместе, потом разъехались и долго не видались; потом случайно съехались все опять в деревне летом и влюбились — брат Алексея в Марью Александровну, сам Алексей в сестру ее. Лето прошло, наступила осень; они разъехались. Алексей, как человек рассудительный, скоро убедился в том, что он вовсе не влюблен, — и расстался с своей красавицей весьма благополучно; брат его еще годика два переписывался с Марьей Александровной… но и он догадался, наконец, что бессовестным образом обманывает и ее и себя, и тоже умолк.

Я бы мог вам рассказать кое-что о Марье Александровне, любезный читатель, но вы ее узнаете сами из ее писем. Алексей написал свое первое письмо к ней вскоре после ее окончательной размолвки с его братом. Он находился тогда в Петербурге, внезапно уехал за границу, занемог и в Дрездене умер. Я решился напечатать его переписку с Марьей Александровной и надеюсь на некоторое снисхождение со стороны читателей уже потому, что эти письма не любовные — сохрани бог! Любовные письма читаются обыкновенно только двумя особами (зато тысячу раз сряду), но уж третьей особе они несносны, если не смешны.

I

От Алексея Петровича к Марье Александровне

Санкт-Петербург, 1840 г., марта 7-го.

Любезная Марья Александровна!

Кажется, я еще ни разу не писал к вам, и вот пишу теперь… Не правда ли, странное я выбрал время? Вот что меня к этому побудило. Mon cousin Théodore[2] сегодня был у меня и, как бы это сказать… и сообщил мне под величайшей тайной (он иначе ничего не сообщает), что он влюблен в дочь какого-то здешнего барина и на этот раз непременно намерен жениться, и что уж он сделал первый шаг — объяснился! Я, разумеется, поспешил поздравить его с таким приятным для него событием; он давно нуждался в объяснении… но внутренне, признаюсь, я несколько изумился. Хотя я знал, что между вами всё было кончено, однако мне казалось… Словом, я изумился. Я собирался было выехать сегодня в гости, но остался дома и намерен поболтать немного с вами. Если вам неугодно меня слушать, бросьте письмо тотчас же в огонь. Объявляю вам, что я хочу быть

откровенным, хотя и чувствую, что вы имеете полное право принять меня за довольно навязчивого человека. Заметьте, однако, что я бы не взял пера в руки, если б не знал, что вашей сестрицы нет с вами: она, как мне сказал Théodore, будет всё лето гостить у вашей тетки, г-жи Б… Дай ей бог всего хорошего!

Итак, вот чем всё разыгралось… Но я не стану предлагать вам мою дружбу и т. д.; я вообще чуждаюсь торжественных речей и «задушевных» излияний. Начав писать это письмо, я просто следовал какому-то мгновенному влечению; если во мне таится другое чувство, пусть оно и останется пока под спудом.

Вас я также утешать не стану. Утешая других, люди большею частью желают поскорей отделаться от неприятного чувства невольного, себялюбивого сожаленья… Я понимаю искреннее, теплое участие… но подобное участие не от всякого принимаешь… Пожалуйста, рассердитесь на меня… Рассердившись, вы, вероятно, прочтете мое послание до конца.

Но какое право имею я писать к вам, говорить о моей дружбе, о моих чувствах, об утешении? — Никакого, решительно никакого, я в этом должен сознаться и надеюсь только на вашу доброту.

Знаете ли вы, на что похоже вступление моего письма? Вот на что: Какой-нибудь господин N. N. вошел в гостиную дамы, которая его совсем не ожидала, которая, может быть, ожидала другого… Он догадывается, что пришел не вовремя, но делать нечего… Садится, начинает говорить… бог знает о чем: о поэзии, о красотах природы, о выгодах хорошего воспитания… словом, несет ужаснейшую дичь… Но между тем первые пять минут прошли, он уселся; дама покорилась судьбе, и вот г. N. N. оправляется, отдыхает и начинает разговаривать — как умеет.

Однако, несмотря на все эти разглагольствования, мне все-таки не совсем ловко. Я так и вижу перед собою ваше недоумевающее, несколько даже гневное лицо: я чувствую, что вам почти невозможно не предположить во мне каких-нибудь скрытных намерений, и потому я, как римлянин, сделавший глупость, величественно закутываюсь в свою тогу и безмолвно ожидаю вашего окончательного приговора…

А именно: позволите ли вы мне продолжать писать к вам?

Остаюсь искренно и душевно преданный вам

Алексей С…

II

От Марьи Александровны к Алексею Петровичу

Село …но, марта 22-го 1840.

Милостивый государь

Алексей Петрович!

Я получила ваше письмо и, право, не знаю, что вам сказать. Я бы даже вовсе не отвечала вам, если б мне не показалось, что под вашими шутками действительно скрывается чувство довольно дружелюбное. Ваше письмо произвело на меня впечатление неприятное. В ответ на ваши «разглагольствования», как вы говорите, позвольте мне тоже предложить вам один вопрос: к *чему?* Что вам до меня, что мне до вас? Я не предполагаю в вас никаких дурных намерений… напротив, я благодарна вам за ваше участие… но мы друг другу чужды, и я, теперь по крайней мере, не чувствую ни малейшего желания сблизиться с кем бы то ни было.

С истинным уважением остаюсь и т. д.

Марья Б…

III

От Алексея Петровича к Марье Александровне

Санкт-Петербург, марта 30.

Благодарю вас, Марья Александровна, благодарю вас за вашу записку, как она ни суха. Всё это время я находился в большом волнении; я двадцать раз на день думал о вас и о моем письме. Вы не можете себе представить, как язвительно я насмехался над самим собою; но теперь я в отличном расположении духа и глажу себя по головке. Марья Александровна, я вступаю в переписку с вами! Признайтесь, вы этого никак не могли ожидать после вашего ответа; я сам удивляюсь моей смелости… была не была! Но успокойтесь: я хочу говорить с вами не о вас, а о себе. Вот видите ли: мне непременно нужно, говоря старинным слогом, высказаться перед кем-нибудь. Я не имею никакого права избрать вас в свои поверенные — согласен; но послушайте: я не требую от вас ответа на мои послания; я даже не хочу знать, станете ли вы читать мои «разглагольствования», но не возвращайте мне моих писем, ради всего святого!

Послушайте, я совершенно одинок на земле. В молодости я вел жизнь уединенную, хотя, помнится, никогда не прикидывался Байроном*; но, во-первых, обстоятельства, во-вторых, способность фантазировать и любовь к фантазии, довольно холодная кровь, гордость, лень — словом, множество разных причин отдалило меня от общества людей. Переход от жизни мечтательной к действительной совершился во мне поздно… может быть, слишком поздно, может

быть, до сих пор не вполне. Пока меня тешили собственные мои мысли и чувства, пока я был способен предаваться беспричинным молчаливым восторгам и т. д., я не жаловался на свое одиночество. У меня не было товарищей — были так называемые друзья. Иногда я нуждался в их присутствии, как электрическая машина нуждается в разряднике — и только. Любовь… об этом предмете мы пока помолчим. Но теперь, признаюсь, теперь одиночество тяготит меня, а между тем я не вижу никакого выхода из моего положения. Я не виню судьбы; я один виноват, и поделом наказан. В молодости меня занимало одно: мое милое *я;* я принимал свое добродушное самолюбие за стыдливость; я чуждался общества — и вот теперь я сам себе надоел страшно. Куда деться? Я никого не люблю; все мои сближения с другими людьми как-то натянуты и ложны; да и воспоминаний у меня нет, потому что во всей моей прошедшей жизни я ничего не нахожу, кроме собственной моей особы. Спасите меня: вам я не клялся восторженно в любви; вас я не оглушал потоком болтливых речей; я довольно холодно прошел мимо вас, и оттого именно решаюсь теперь прибегнуть к вам. (Я и прежде об этом подумывал, да вы тогда не были свободны…) Среди всех моих самодельных ощущений, радостей и страданий, единственно истинным чувством было то небольшое, но невольное влечение к вам, которое завяло тогда, как одинокий колос среди негодных трав… Дайте мне хоть раз посмотреть в лицо другое, в другую душу — мое собственное лицо мне опротивело; я похож на человека, который был бы осужден весь свой век жить в комнате с зеркальными стенами… Я не требую от вас никаких признаний — о, боже, нет! Подарите меня безмолвным участием сестры или хоть простым любопытством читателя — я вас займу, право займу.

А впрочем, честь имею пребыть вашим искренним другом.

А. С.

IV

От Алексея Петровича к Марье Александровне

Петербург, 7-го апреля.

Пишу опять к вам, хотя и предвижу, что без вашего одобрения скоро замолчу. Я должен сознаться, что вы не можете не чувствовать некоторой недоверчивости ко мне. Что ж? вы, может быть, и правы. Прежде я торжественно объявил бы вам (и сам, пожалуй, себе бы на слово поверил), что, со времени нашей разлуки, я «развился», ушел вперед; с снисходительным, почти ласковым презрением отозвался бы я о своем прошедшем, с трогательной хвастливостью посвятил бы вас

в тайны своей настоящей, действительной жизни… но теперь, уверяю вас, Марья Александровна, мне даже совестно и гадко вспоминать о том, как некогда разыгрывалось и тешилось мое дрянное самолюбие. Не бойтесь: я не стану вам навязывать никаких великих истин, никаких глубоких взглядов; у меня нет их — этих истин и взглядов. Я стал добрым малым — право. Мне скучно, Марья Александровна, мне просто мочи нет как скучно. Вот отчего я к вам пишу… Мне, право, кажется, что мы можем сойтись…

Однако я решительно не в состоянии говорить с вами, пока вы мне не протянете вашей руки, пока я не получу от вас записки с одним словом «да». — Марья Александровна, хотите ли вы меня выслушать? — вот в чем вопрос*.

Преданный вам *А. С*

V

От Марьи Александровны к Алексею Петровичу

Село …но, 14 апреля.

Какой вы странный человек! Ну — да.

Марья Б.

VI

От Алексея Петровича к Марье Александровне

Петербург, 2 мая 1840.

Ура! Спасибо, Марья Александровна, спасибо! Вы очень доброе и снисходительное создание.

Начинаю, по обещанию, говорить о самом себе и буду говорить с удовольствием, доходящим до аппетита… Именно так. Обо всем на свете можно говорить с жаром, с восторгом, с увлечением, но с аппетитом говоришь только о самом себе.

Послушайте, со мной на днях случилось престранное происшествие: я в первый раз оглянулся на свое прошедшее. Вы поймите меня: каждый из нас часто вспоминает о бывалом — с сожалением или с досадой, или просто так, от нечего делать; но бросить холодный, ясный взгляд на всю свою прошедшую жизнь — вот как прохожий, оборачиваясь, глядит с высокой горы на пройденное им поле — можно только в известные лета… и тайный холод охватит сердце человека, когда это с ним случается в первый раз. По крайней мере у меня оно болезненно сжалось. Пока мы молоды — *такого* рода оглядки невозможны. Но молодость моя миновала —

и, как тому прохожему на горе, мне всё ясно стало видно…

Да, прошла моя молодость, прошла невозвратно!.. Вот она лежит передо мной, вся, как на ладони…

Невеселое зрелище! Признаюсь вам, Марья Александровна, мне очень жаль самого себя. Боже мой? Боже мой! Возможно ли, чтоб я сам до такой степени испортил собственную жизнь, так безжалостно путал и мучил себя… Теперь я образумился, но уж поздно. Случалось ли вам спасти муху от паука? Случалось? Помните, вы посадили ее на солнце; крылья, ножки у ней слеплены, склеены… Как она неловко движется, как неловко старается обчиститься!.. После долгих усилий она кое-как оправляется, ползет, пытается расправить крылья… но не гулять уж ей по-прежнему, не жужжать беззаботно на солнце, то влетая через раскрытое окно в прохладную комнату, то опять свободно выносясь на горячий воздух… Она по крайней мере не по своей воле попала в грозные сети… а я!

Я был собственным своим пауком!

И между тем я не могу слишком винить себя. Да и кто, скажите на милость, кто бывает когда-нибудь в чем-нибудь виноват — один? Или, лучше сказать, все мы виноваты, да винить-то нас все-таки нельзя. Обстоятельства нас определяют; они наталкивают нас на ту или другую дорогу, и потом они же нас казнят. У каждого человека есть своя судьба… Постойте, постойте! Мне на этот счет приходит в голову хитро сплетенное, но справедливое сравнение. Как облака сперва слагаются из паров земли, восстают из недр ее, потом отделяются, отчуждаются от нее и несут ей, наконец, благодать или гибель, так около каждого из нас и из нас же самих образуется… как бы это сказать? образуется род стихии, которая потом разрушительно или спасительно действует на нас же. Эту-то стихию я называю судьбой… Другими словами и говоря просто: каждый делает свою судьбу, и каждого она делает…

Каждый делает свою судьбу — да!.. но наш брат слишком много ее делает — вот в чем наша беда! Слишком рано пробуждается в нас сознательность; слишком рано начинаем мы наблюдать за самими собою… У нас, русских, нет другой жизненной задачи, как опять-таки разработка нашей личности, и вот мы, едва возмужалые дети, уже принимаемся разработывать ее, эту нашу несчастную личность! Не получив извне никакого определенного направления, ничего действительно не уважая, ничему крепко не веря, мы вольны делать из себя что хотим… Нельзя же требовать от каждого, чтоб он тотчас понял бесплодность ума, «кипящего в действии пустом»[*]…И вот опять

на свете одним уродом больше, больше одним из тех ничтожных существ, в которых привычки себялюбия искажают самое стремление к истине, смешное простодушие живет рядом с жалким лукавством… одним из тех существ, обессиленной, беспокойной мысли которых не знакомо вовек ни удовлетворение естественной деятельности, ни искреннее страдание, ни искреннее торжество убеждения… Совмещая в себе недостатки всех возрастов, мы лишаем каждый недостаток его хорошей, выкупающей стороны… Мы глупы, как дети, но мы не искренни, как они; мы холодны, как старики, но старческого благоразумия нет в нас… Зато мы психологи. О да, мы большие психологи! Но наша психология сбивается на патологию; наша психология — это хитростное изучение законов больного состояния и больного развития, до которых здоровым людям нет никакого дела… А главное, мы не молоды, в самой молодости не молоды!

И между тем — зачем клеветать на себя? Будто уж и мы никогда не были молоды, будто в нас никогда не играли, не кипели, не дрожали силы жизни? И мы бывали в Аркадии*, и мы скитались по светлым ее полям!.. Случалось ли вам, гуляя по кустарнику, натыкаться на тех темных кузнечиков, которые, прыгнув из-под самых ног, с треском раскрывают вдруг ярко-красные крылья, перелетят несколько шагов и тут же падают опять в траву? Точно так же и наша темная молодость иногда распускала на несколько мгновений и не на долгий полет свои пестрые крылышки… Помните ли вы наши безмолвные вечерние прогулки вчетвером вдоль ограды вашего сада, после какого-нибудь долгого, теплого, живого разговора? Помните ли вы те благодатные мгновения? Природа ласково и величаво принимала нас в свое лоно. Мы входили, замирая, в какие-то блаженные волны. Кругом вечерняя заря разгоралась внезапным и нежным багрянцем; от заалевшегося неба, от просветленной земли, отовсюду, казалось, веяло огнистым и свежим дыханьем молодости, радостным торжеством какого-то бессмертного счастья; заря пылала; подобно ей, тихо и страстно пылали восторженные наши сердца, и мелкие листья молодых деревьев чутко и смутно дрожали над нами, как будто отвечая внутреннему трепету неясных чувств и ожиданий в нас. Помните вы эту чистоту, эту доброту и доверчивость помыслов, это умиление благородных надежд, это молчание полноты? Неужели мы и тогда не стоили чего-нибудь лучшего, чем то, к чему нас довела жизнь? Отчего нам было суждено только изредка завидеть желанный берег и никогда не стать на него твердой ногою, не коснуться его —

Не плакать сладостно, как первый иудей*

На рубеже страны обетованной?

Эти два стиха Фета напомнили мне другие, его же… Помните, как мы однажды, стоя на дороге, увидели вдали облачко розовой пыли, поднятой легким ветром против заходящего солнца? «Облаком волнистым»*, начали вы, и мы все тотчас притихли и стали слушать:

Облаком волнистым
Пыль встает в дали…
Конный или пеший —
Не видать в пыли.
Вижу, кто-то скачет
На лихом коне…
Друг мой, друг далекий —
Вспомни обо мне!

Вы замолкли… Мы так и вздрогнули все, как будто дуновение любви промчалось по нашим сердцам, и каждого из нас — я в том уверен — неотразимо потянуло в даль, в ту неизвестную даль, где призрак блаженства встает и манит среди тумана. И между тем заметьте странность: зачем, казалось, нам было стремиться в даль? Разве мы не были влюблены друг в друга? Разве счастие не было «так близко, так возможно»*? А я еще сейчас вас спрашивал: отчего мы не коснулись желанного берега? Оттого, что ложь ходила рука об руку с нами; оттого, что она отравляла лучшие наши чувства; оттого, что всё в нас было искусственно и натянуто, что мы вовсе не любили друг друга, а только силились любить, воображали, что любим…

Но полно, полно! К чему растравлять свои раны? Притом же всё это прошло невозвратно. Что было хорошего в нашем прошедшем — меня растрогало, и на этом хорошем я пока прощаюсь с вами. Пора же и кончить это длинное письмо. Пойду, подышать здешним майским воздухом, в котором сквозь зимнюю сухую крепость весна пробивается какой-то влажной и острой теплотой. Прощайте.

Ваш Л. *С.*

VII

От Марьи Александровны к Алексею Петровичу

Село …но, 20-го мая 1840.

Я получила ваше письмо, Алексей Петрович, и знаете ли, какое чувство оно во мне возбудило? — Негодование… да, негодование… и я вам сейчас объясню, почему именно это чувство оно во мне

возбудило. Одна беда: я не владею пером, редко писала, не умею точно и в немногих словах выражать свои мысли; но вы, я надеюсь, придете мне на помощь. Вы сами постараетесь понять меня, хотя бы для того, чтоб узнать, почему я на вас негодую.

Скажите мне — вы умный человек, — спросили ли вы себя когда-нибудь, что такое русская женщина? какая ее судьба, ее положение в свете — словом, что такое ее жизнь? Я не знаю, имели ли вы время задать себе этот вопрос, и не могу себе представить, как бы вы на него ответили… Я, может быть, в разговоре была бы в состоянии сообщить вам мои мысли на этот счет, но на бумаге едва ли сумею. Впрочем, всё равно. Вот в чем дело: вы со мной наверно согласитесь, что мы, женщины, по крайней мере те из нас, которые не удовлетворяются обыкновенными заботами домашней жизни, получаем свое окончательное образование всё-таки от вас — мужчин: вы на нас имеете сильное и большое влияние. Теперь посмотрите, что вы делаете с нами. Станем говорить о молодых девушках, особенно о тех, которые, как я, живут в глуши, а таких очень много в России. Притом же я других не знаю и не могу судить о них. Представьте себе такую девушку. Вот ее воспитание кончено; она начинает жить, веселиться; но одного веселья ей мало. Она многого требует от жизни, она читает, мечтает… о любви. Всё об одной любви! — скажете вы… Положим: но для нее это слово много значит. Я опять-таки скажу, что говорю не о такой девушке, которой тягостно и скучно мыслить…. Она оглядывается, ждет, когда же придет тот, о ком ее душа тоскует… Наконец он является: она увлечена; она в руках его, как мягкий воск. Всё — и счастье, и любовь, и мысль — всё вместе с ним нахлынуло разом; все ее тревоги успокоены, все сомнения разрешены им; устами его, кажется, говорит сама истина; она благоговеет перед ним, стыдится своего счастья, учится, любит. Велика его власть в это время над нею!.. Если б он был героем, он бы воспламенил ее, он бы научил ее жертвовать собою, и легки были бы ей все жертвы! Но героев в наше время нет… Всё же он направляет ее куда ему угодно; она предается тому, что его занимает, каждое слово его западает ей в душу: она еще не знает тогда, как ничтожно, и пусто, и ложно может быть слово, как мало стоит оно тому, кто его произносит, и как мало заслуживает веры! За этими первыми мгновениями блаженства и надежд обыкновенно следует — по обстоятельствам (обстоятельства всегда виновны) — следует разлука. Говорят, бывали примеры, что две родные души, узнав друг друга, тотчас соединялись неразрывно; слышала я также, что от этого им не всегда становилось легко… Но

чего я не видала сама, о том не говорю — а что расчет самый мелкий, осторожность самая жалкая могут жить в молодом сердце рядом с самой страстной восторженностью — это я, к сожалению, испытала на опыте. Итак, наступает разлука… Счастлива та девушка, которая узнает тотчас, что всему конец, которая не тешит себя ожиданием! Но вы, храбрые, справедливые мужчины, большею частью не имеете ни духа, ни даже желания сказать нам истину… вам спокойнее обмануть нас… Впрочем, я готова верить, что вы сами себя обманываете вместе с нами… Разлука! Разлуку переносить и трудно и легко. Была бы цела и неприкосновенна вера в того, кого любишь — тоску разлуки победит душа… Скажу более: только тогда; оставшись одною, узнает она сладость уединения, не бесплодного, но исполненного воспоминаний и дум; только тогда она себя узнает, придет в себя, окрепнет… В письмах далекого друга найдет она себе опору; в своих она, может быть, в первый раз выскажется вполне… Но как два человека, отправившиеся от источника реки по разным ее берегам, сперва могут подать друг другу руку, потом только сообщаются голосом, наконец уже теряют друг друга из виду, так и два существа разъединяются наконец разлукой. Так что ж! — скажете вы: видно, им не было суждено идти вместе… Но тут-то и является различие между мужчиной и женщиной. Мужчине ничего не значит начать новую жизнь, стряхнуть с себя долой всё прошедшее: женщина этого не может. Нет, не может она сбросить свое прошедшее, не может оторваться от своего корня — нет, тысячу раз нет! И вот наступает жалкое и смешное зрелище… Постепенно теряя надежду и веру в себя — а как это тяжело, вы и представить не можете! — она гаснет и вянет одна, упорно придерживаясь своих воспоминаний н отворачиваясь от всего, что окружающая жизнь ей представляет… А он?.. Ищите его! где он! И стоит ли ему останавливаться? когда ему оглядываться? Ведь это всё для него дело прошлое. А то вот еще что бывает: бывает, что он вдруг пожелает встретиться с прежним своим предметом, даже нарочно съездит к нему… Но, боже мой! из какого мелкого тщеславия он это делает! В его учтивом сострадании, в его будто дружеских советах, в его снисходительном объяснении прошедшего слышится такое сознание своего превосходства! Так ему приятно и весело давать самому себе чувствовать каждую минуту — какой он умница и как он добр! И как мало понимает он, что он сделал! Как он умеет даже не догадываться о том, что происходит в сердце женщины, и как он обидно сожалеет о ней, если и догадывается!..

Скажите, пожалуйста, откуда взять ей силу переносить всё это?

Вспомните еще вот что: большей частью девушка, у которой, на ее беду, мысль зашевелилась в голове, эта девушка, начав любить, подпав под влияние мужчины, невольно отделяется от своей семьи, от знакомых. Она и прежде не удовлетворялась их жизнью, однако шла рядом с ними, сохраняя в душе все свои заветные тайны… Но разрыв скоро делается видимым… Они перестают ее понимать, готовы заподозрить каждое ее движение… Сперва ей до этого дела нет, но потом, потом… когда она остается одна, когда то, к чему она стремилась и для чего она пожертвовала всем, когда ей небо не далось, а всё близкое, всё возможное удалилось — что ее поддержит? Насмешки, намеки, пошлое торжество грубого здравого рассудка она еще как-нибудь перенесет… Но что ей делать, к чему прибегнуть, когда внутренний голос начнет шептать ей самой, что те все были правы, а она ошибалась; что жизнь, какая бы она ни была, лучше мечтаний, как здоровье лучше болезни… когда любимые занятия, любимые книги ей опротивят, книги, из которых не вычитаешь себе счастья — что, скажите, что ее поддержит? Как не изнемочь в такой борьбе? как жить и продолжать жить в такой пустыне? Сознавать себя побежденной и нищенски протягивать руку к людям равнодушным: не подарят ли хоть они тем участием, без которого гордое сердце когда-то воображало, что может обойтись, — это всё еще ничего! но чувствовать себя смешною в то самое мгновение, когда проливаешь горькие, горькие слезы… ах! не дай бог испытать это…

Руки мои дрожат, и я вся в лихорадке… Лицо горит. Пора перестать… Поскорей отправлю это письмо, пока мне не стало стыдно своей слабости. Но ради бога, в вашем ответе ни слова — слышите, ни слова сожаленья, а то я никогда к вам писать не буду. Поймите меня: я бы не хотела, чтоб вы приняли это письмо за излияние непонятой души, которая жалуется… Ах! мне всё равно! Прощайте.

М.

VIII

От Алексея Петровича к Марье Александровне

Санкт-Петербург, 28-го мая 1840.

Марья Александровна, вы прекрасное существо… вы… ваше письмо открыло мне, наконец, истину! Господи боже мой! что за мучение! Человек то и дело думает, что вот теперь-то уж он добился простоты, не рисуется более, не ломается, не лжет… а как всмотришься в него пристальнее — чуть ли не хуже он прежнего стал. И вот что еще должно заметить: человек сам, один то есть, никогда не

дойдет до этого сознанья, как он ни хлопочи; глаз его не видит собственных недостатков, как притупевший глаз наборщика не видит опечаток: тут нужен другой, свежий глаз. Спасибо вам, Марья Александровна… Вы видите, я говорю вам о себе; о вас я говорить не смею… Ах, как смешно мне кажется теперь мое последнее письмо, столь красноречивое и чувствительное! Продолжайте, прошу вас убедительно, вашу исповедь; мне сдается, что и вам от этого будет легче, и мне оно принесет пользу. Пословица недаром гласит: «Женский ум лучше многих дум»*, а женское сердце и подавно — ей-богу! Если б женщины знали, насколько они добрее, великодушнее и умнее мужчин — именно умнее, — они бы возгордились и испортились бы; но они, к счастью, этого не знают, не знают потому, что их мысль не привыкла беспрестанно возвращаться к самой себе, как у нашего брата. Они о себе мало думают — это и слабость их и сила; в этом заключается вся тайна — не скажу нашего превосходства, а нашего могущества. Они расточают свою душу, как щедрый наследник отцовское золото, а мы с каждого вздора берем проценты… Где ж им тягаться снами?.. Это всё не комплименты, а простая, опытом доказанная истина. Вторично прошу вас, Марья Александровна, продолжать писать ко мне… Если б вы знали всё, что мне приходит в голову!.. Но мне теперь не хочется говорить, мне хочется вас слушать… Моя речь будет впереди. Пишите, пишите.

Преданный Вам *А. С.*

IX

От Марьи Александровны к Алексею Петровичу

Село …но, 12-го июня 1840.

Я не успела отправить к вам мое последнее письмо, Алексей Петрович, как уже раскаялась; но делать было нечего. Одно меня несколько успокоивает: я уверена, что вы поняли, под влиянием каких давно подавленных чувств оно было написано, и извинили меня. Я даже не перечла тогда, что я вам такое написала; помню, сердце мое стучало так сильно, что перо дрожало в руке. Впрочем, хотя я, вероятно, иначе бы выразилась, если б дала себе время подумать, я все-таки не намерена отказаться ни от слов своих, ни от чувств, которые передала вам как умела. Сегодня я гораздо хладнокровнее и гораздо более владею собою…

Помнится, я в конце письма говорила о тяжелом положении девушки, которая сознает себя одинокою даже между своими… Я не стану больше распространяться об этом, а лучше сообщу вам кой-

какие подробности: мне кажется, этак я вам меньше надоем.

Во-первых, знайте, что меня во всем околотке иначе не называют как философкой; особенно дамы меня величают этим именем. Иные утверждают, что я сплю с латинской книгой в руках и в очках; другие — что я умею извлекать какие-то кубические корни; ни одна из них не сомневается в том, что я исподтишка ношу мужскую одежду и вместо «здравствуйте» отрывисто говорю: «Жорж Занд!»* — и негодование на философку возрастает. У нас есть сосед, человек лет сорока пяти, большой остряк… по крайней мере он слывет большим остряком… Для него моя бедная особа — неистощимый предмет насмешек. Он рассказывает обо мне, что как только луна взойдет на небо, так уж я и не могу глаз от нее отвести, и сам представляет, как я гляжу; что я даже кофе пью не со сливками, а с луной, то есть подставляю чашку под ее лучи. Он божится, что я употребляю фразы вроде следующей: «Это легко, потому что трудно, хотя, с другой стороны, оно трудно, потому что легко…» Он уверяет, что я всё ищу какого-то слова, всё стремлюсь «туда»*, и с комической яростью спрашивает: «Куда — туда? куда?» Он также распространил обо мне слух, будто я по ночам езжу верхом взад и вперед по реке вброд и пою при этом серенаду Шуберта* или просто стонаю: «Бетховен, Бетховен!» Такая она, дескать, пылкая старушка! и т. д. и т. д. Разумеется, всё это тотчас до меня доходит. Вас это, может быть, удивляет; но не забудьте, что со времени вашего пребывания в здешних краях прошло четыре года. Помните, как все тогда на нас косились… Теперь пришла их очередь. И это еще всё ничего. Мне приходится слышать слова, гораздо больнее проникающие в сердце. Не говорю уже о том, что моя бедная, добрая матушка никак не может мне простить равнодушие вашего брата; но вся жизнь моя по огню бежит, как выражается моя няня. «Конечно, — слышу я то и дело, — куда нам за тобой! Мы люди простые, руководствуемся одним здравым смыслом; а впрочем, как подумаешь, все эти умствования, да книги, да знакомства с учеными — к чему тебя привели?» Вы, может быть, помните мою сестру — не ту, к которой вы некогда были неравнодушны, а другую — старшую, которая замужем. Муж ее, вы помните, такой простой, довольно смешной человек; вы над ним тогда часто подтрунивали. А ведь она счастлива: мать семейства, любит мужа, муж в ней души не чает… «Я как все, — говорит она мне иногда, — а ты?» И она права: я ей завидую…

А между тем, я чувствую, все-таки я бы не желала поменяться с нею. Пусть зовут меня философкой, чудачкой, чем угодно — я останусь до конца верна… чему? идеалу, что ли? Да, идеалу. Да, я

останусь до конца верна тому, от чего в первый раз забилось мое сердце, — тому, что я признала и признаю правдою, добром… Лишь бы силы мне не изменили, лишь бы кумир мой не оказался бездушным и немым идолом…

Если вы точно чувствуете ко мне дружбу, если вы точно меня не забыли, вы должны помочь мне, вы должны рассеять мои сомненья, подкрепить мои верования…

А впрочем, какую помощь можете вы подать мне? «Всё это пустяки, турусы на колесах, — говорил мне вчера мой дядя — вы его, кажется, не знаете — отставной моряк, очень неглупый человек, — муж, дети, горшок щей; за мужем и детьми ухаживать, а за горшком наблюдать — вот что нужно женщине…[*]» Скажите, ведь он прав?

Если он точно прав, я еще могу исправить прошедшее, я еще могу попасть в общую колею. Чего мне еще ждать? на что надеяться? В одном вашем письме вы говорили о крыльях молодости. Как часто, как долго они бывают связаны! А потом приходит время, когда они отпадают, и подняться над землею, полететь к небу уже нельзя. Пишите мне.

Ваша *М.*

X

От Алексея Петровича к Марье Александровне

Санкт-Петербург, 16-го июня 1840 года.

Спешу отвечать на ваше письмо, милая Марья Александровна. Признаюсь вам, что если б… не скажу дела́ — их у меня нет — если б не глупая, привычка к здешнему месту, я бы уехал опять к вам и наговорился бы досыта, а на бумаге всё это выходит холодно и мертво…

Марья Александровна, повторяю вам: женщины лучше мужчин, и вы должны доказать это на деле. Пускай наш брат либо бросает свои убеждения, как износившуюся одежду, либо меняет их из-за куска хлеба, либо, наконец, дает им заснуть беспробудным сном и ставит над ними, как над мертвецом, некогда милым, надгробный камень, к которому лишь изредка ходит молиться, — пускай наш брат всё это делает; но вы, женщины, не изменяйте себе, не изменяйте своему идеалу… Это слово стало смешно… Смешного бояться — правды не любить. Случается точно, что нелепый хохот глупца заставляет даже хороших людей отказаться от многого… хоть бы, например, от защиты отсутствующего друга… Сам я в этом грешен. Но, повторяю, вы, женщины, лучше нас… В мелочах вы скорее нас сдадитесь; но чёрту в

глаза посмотреть вы умеете лучше нас. Не совет и не помощь я вам хочу подать — где мне! да вам и не того нужно; но я вам протягиваю руку, я говорю вам: терпите, боритесь до конца и знайте, что, как чувство, сознанье честно выдержанной борьбы едва ли не выше торжества победы… Победа зависит не от нас.

Конечно, ваш дядя с известной точки зрения прав: семейная жизнь — всё для женщины, для нее другой жизни нет.

Но что ж это доказывает? Одни иезуиты утверждают, что всякое средство хорошо, лишь бы достигнуть цели*. Неправда! неправда! С ногами, оскверненными грязью дороги, недостойно войти в чистый храм. В конце вашего письма есть фраза, которая мне не нравится: вы хотите попасть в общую колею — смотрите, не оступитесь! Притом не забудьте: прошедшего изгладить нельзя; и как ни старайтесь, как ни принуждайте себя, сестрою вашей вы не сделаетесь. Вы стали выше ее; но душа ваша надломлена, ее — цела. Ниспуститься до нее, нагнуться к ней вы можете, но природа прав своих не уступит, и надломленное место не зарастет…

Вы боитесь — будемте говорить без обиняков — вы боитесь остаться старой девушкой. Вам, я знаю, уж двадцать шесть лет. Действительно, положение старых девушек незавидно: все так охотно смеются над ними; все с такой невеликодушной радостью подмечают их странности и слабости; но если поглядеть попристальнее на любого уж стареющего холостяка — и на него стоит уставиться пальцем: найдется и в нем над чем нахохотаться вдоволь. Что делать? С бою счастья не возьмешь. Но не должно забывать, что не счастье, а достоинство человеческое — главная цель в жизни.

Вы описываете ваше положение с большим юмором. Я хорошо понимаю всю горечь его; ваше положение можно, пожалуй, назвать трагическим. Но знайте, не вы одни в нем находитесь: почти нет современного человека, который бы не находился в нем. Вы скажете, что от этого вам не легче; а я так думаю, что страдать вместе с тысячами совсем другое дело, чем страдать одному. Тут не в эгоизме дело, а в чувстве общей необходимости.

Всё это прекрасно, положим, скажете вы… но в действительности неприменимо. Почему же неприменимо? Я до сих пор думаю и, надеюсь, никогда не перестану думать, что в божьем мире всё честное, доброе, истинное применимо и рано или поздно исполнится, и не только исполнится, но уж теперь исполняется; держись только каждый крепко на своем месте, не теряй терпения, не желай невозможного, но делай, насколько хватает сил. Впрочем, я, кажется, уж слишком вдался

в отвлеченности. Отложу продолжение моих рассуждений до другого письма; но не хочу положить пера, не пожав вам крепко, крепко руки и не пожелав вам от души всего хорошего на земле.

Ваш А. С.

P. S. Кстати! вы говорите, что вам нечего ждать, не на что надеяться; почему вы это знаете, позвольте спросить?

XI

От Марьи Александровны к Алексею Петровичу

Село …но, 30 июня 1840 года.

Как я благодарна вам за ваше письмо, Алексей Петрович! Как много пользы оно принесло мне! Я вижу, вы точно добрый и надежный человек, и потому не буду скрытничать перед вами. Я вам верю. Я знаю, вы не употребите во зло моей откровенности и подадите мне дружеский совет. Вот в чем дело.

Вы заметили в конце моего письма фразу, которая вам не совсем понравилась. Вот к чему она относилась. Здесь есть сосед… при вас он тут не был, и вы его не видали. Он… Я бы могла выйти за него замуж, если б захотела; он человек еще молодой, образованный, с состоянием. Препятствий со стороны моих родных нет; напротив, они — я это наверное знаю — желают этого брака; он человек хороший и, кажется, меня любит… Но он так вял и мелок, все желания его так ограниченны, что я не могу не сознавать моего превосходства над ним; он это чувствует и как будто радуется этому, а именно это-то и отталкивает меня от него; я его уважать не могу, хотя и сердце у него прекрасное. Что мне делать, скажите? Подумайте за меня и напишите мне искренно ваше мнение.

Но как я вам благодарна за ваше письмо!.. Знаете ли, меня иногда посещали такие горькие мысли… Знаете ли, я доходила до того, что почти стыдилась всякого — не скажу уж восторженного, — всякого доверчивого чувства, с досадой закрывала книгу, когда в ней говорилось о надежде и счастии, отворачивалась от безоблачного неба, от свежей зелени деревьев, от всего, что улыбалось и радовалось. Какое это было тяжелое состояние! Я говорю: было… как будто оно прошло!

Не знаю, прошло ли оно: знаю, что если оно не возвратится, я вам этим буду обязана. Видите ли, Алексей Петрович, как много вы наделали добра, может быть, сами того не подозревая! Кстати, знаете ли, что мне очень вас жаль? Теперь самый разгар лета, дни стоят чудные, небо синее, яркое… в Италии оно не может быть прекрасней,

а вы сидите в душном и пыльном городе, ходите по жгучей мостовой. Что вам за охота? Хотя бы на дачу вы куда-нибудь переселились. Говорят, за Петергофом, на берегу моря, есть прелестные места.

Хотела бы еще писать к вам, но невозможно: из сада повеяло таким сладким запахом, что нельзя оставаться в комнате. Надеваю шляпу и иду гулять… До другого раза, добрый Алексей Петрович.

Преданная вам *М. Б.*

P. S. Я забыла вам сказать… Вообразите вы себе, тот остряк, о котором я вам писала на днях, — представьте, объяснялся мне в любви, и в самых пламенных выражениях. Я сперва думала, что он смеется надо мной, но он кончил формальным предложением — каков после всех его клевет? Но он решительно слишком стар. Вчера ночью я, ему в пику, села за фортепьяно перед раскрытым окном при свете луны и играла Бетховена. Мне было так весело чувствовать ее холодный свет на моем лице, так отрадно оглашать душистый ночной воздух благородными звуками музыки, сквозь которые по временам слышалось пение соловья! Я давно не была так счастлива. А вы, однако, напишите мне о чем я вас просила в начале письма: это очень важно.

XII

От Алексея Петровича к Марье Александровне

Санкт-Петербург, 8-го июля 1840 года.

Милая Марья Александровна, вот мое мнение в двух словах: и старого холостяка и молодого вздыхателя — обоих за борт! Об этом и рассуждать нечего. Ни тот, ни другой вас не стоят — это ясно, как дважды два — четыре. Молодой сосед, может быть, и добрый человек, да бог с ним! Я уверен, что между ним и вами нет ничего общего, и можете себе вы представить, как вам весело будет жить вдвоем! Да и к чему спешить? Сбыточное ли дело, чтоб женщина, подобная вам, — я не хочу говорить комплиментов и потому не распространяюсь более, — чтоб такая женщина не встретила никого, кто сумел бы оценить ее? Нет, Марья Александровна, послушайтесь меня, коли вы точно думаете, что я ваш друг и мои советы полезны. А сознайтесь, приятно вам было увидеть у ног своих старого клеветника?.. Я, на вашем месте, заставил бы его целую ночь напролет петь «Аделаиду» Бетховена*, глядя на луну.

Впрочем, бог с ними, с вашими обожателями! Не о них мне хочется говорить сегодня с вами. Я нахожусь сегодня в каком-то странном полураздраженном, полувзволнованном расположении вследствие

письма, полученного мною вчера. Посылаю вам с него копию. Письмо это написано одним моим давнишним приятелем и сослуживцем, добрым, но довольно ограниченным человеком. Он года два тому назад уехал за границу и до сих пор мне ни разу не написал. Вот его письмо. NB Он очень недурен собой.

«Cher Alexis[3]

Я в Неаполе, сижу в своей комнате, на Chiaja[4], перед окном. Погода удивительная. Я сперва долго глядел на море, потом меня взяло нетерпенье, и вдруг мне пришла в голову блестящая мысль написать к тебе письмо. Я, дружище, всегда чувствовал к тебе влечение — ей-богу. Вот и захотелось теперь излиться в твое лоно… так ведь это, кажется, говорится на вашем возвышенном языке. А нетерпение меня взяло вот отчего. Я жду одну женщину; мы вместе с нею едем в Баию есть устрицы и апельсины, смотреть, как темно-бурые пастухи, в красных колпаках, пляшут тарантеллу, жариться на солнце не хуже ящериц — словом, наслаждаться жизнью вполне. Милый друг мой, я так счастлив, что сказать невозможно. Если б я владел твоим пером — о! какую картину я нарисовал бы перед твоими глазами! Но, к сожалению, ты знаешь, я человек безграмотный. Эта женщина, которую я жду и которая заставляет меня вот уже более часа беспрестанно вздрагивать и оглядываться на дверь, меня любит, а уж как я ее люблю — этого, мне кажется, даже и ты своим красноречивым пером описать бы не мог.

Надобно тебе сказать, что я уж три месяца как с ней познакомился, и с самого первого дня нашего знакомства моя любовь идет всё crescendo[5], в виде хроматической гаммы*, всё выше и выше, и в настоящую минуту зашла уж за седьмое небо. Я шучу, но в самом деле моя привязанность к этой женщине — это что-то необыкновенное, сверхъестественное. Представь себе, я ведь почти не говорю с ней, всё так гляжу на нее и смеюсь, как дурак. Сяду к ее ногам, чувствую, что глуп ужасно, и счастлив, просто непозволительно счастлив. Иногда случается, что она мне руку на голову положит… Ну тут, я тебе скажу… Да, впрочем, ты этого понять не можешь, ты ведь философ и весь свой век был философом. Зовут ее Ниной, Нинеттой — как хочешь; она дочь одного здешнего богатого купца. Хороша, что твои все Рафаэли; жива, как порох, весела, умна так, что даже удивительно, как она меня, дурака, полюбила; поет как птичка, а глаза —

Извини, пожалуйста, это невольное тире… Мне показалось, что дверь скрипнула… Нет, не идет еще, злодейка! Ты меня спросишь, чем же всё это кончится и что я намерен с собою делать, и долго ли я здесь

останусь? Я этого ничего, брат, не знаю, да и знать не хочу. Будет, что будет… Ведь если этак беспрестанно останавливаться да рассуждать…

Она!.. Бежит по лестнице и поет… Пришла. Ну, брат, прощай… Не до тебя. Извини — это она всё письмо забрызгала: ударила мокрым букетом по бумаге. Сперва она думала, что я писал к женщине, а как узнала, что к другу — велела тебе кланяться и спросить, есть ли у вас цветы и пахнут ли? Ну, прощай… Если б ты слышал, как она смеется… Серебро так не звенит; и что за доброта в каждом звуке — так и хочется ножки у ней расцеловать. Едем, едем. Не сердись на мое безалаберное маранье и позавидуй твоему —

М…»

Письмо действительно было всё забрызгано и пахло померанцевым цветом… два белые лепестка прилипли к бумаге. Это письмо меня взволновало… Я вспомнил свое пребывание в Неаполе…* Погода и тогда стояла великолепная, май только что начинался; мне недавно минуло двадцать два года; но я не знал никакой Нинетты. Я скитался один, сгорая жаждой блаженства, и томительной, и сладостной, до того сладостной, что она сама как будто походила на блаженство… Что значит молодость!.. Помню, раз я ночью поехал кататься по заливу. Нас было двое: лодочник и я… а вы что думали? Что это была за ночь и что за небо, что за звезды, как они дрожали и дробились на волнах! каким жидким пламенем переливалась и вспыхивала вода под веслами, каким благовонием веяло по всему морю — не мне это описать, как ни «красноречиво» мое перо. На рейде стоял французский линейный корабль. Он весь смутно рдел огнями; длинные полосы красного цвета, отраженье озаренных окон, тянулись чуть зыблясь по темному морю. Капитан корабля давал бал. Веселая музыка долетала до меня редкими приливами; особенно помню я трель маленькой флейты среди глухих возгласов труб; она, казалось, порхала, как бабочка, вокруг моей лодки. Я велел грести к кораблю; два раза объехал его кругом. Женские очертания мелькали в окнах, резво проносимые вихрем вальса… Я велел лодочнику пуститься прочь, вдаль, прямо в темноту… Помню, звуки долго и неотвязно гнались за мною… Наконец они замерли. Я встал в лодке и с немою тоской желанья простер мои объятия над морем… О! как сердце мое ныло тогда!.. Как тяжело мне было мое одиночество! С какою радостью отдался бы я весь тогда, весь… весь, если б было кому отдаться! С каким горьким чувством на душе я бросился ниц на дно лодки и, как Репетилов, попросил, чтобы везли меня куда-нибудь!*

А вот мой друг ничего подобного не испытал. Да и с какой стати? Он гораздо умнее меня распорядился. Он живет… а я… Недаром он меня назвал философом… Странно! вас также зовут философкой… Отчего бы это над нами такая беда стряслась?..

Я не живу… Да кто же в этом виноват? зачем я сижу здесь, в Петербурге? что я здесь делаю? к чему убиваю день за днем? отчего мне не поехать в деревню? Чем нехороши наши степи? или в них дышать не привольно? или тесно в них? Охота гоняться за мечтами, когда, быть может, счастье под рукой! Решено! я еду, еду завтра же, если можно; еду к себе домой, то есть к вам — это всё равно: мы ведь в двадцати верстах друг от друга. Что в самом деле здесь киснуть! И как

эта мысль раньше ко мне не пришла! Милая Марья Александровна, мы скоро увидимся. Это, однако, необыкновенно, что мне эта мысль до сих пор в голову не приходила! Давным-давно следовало бы уехать. До свиданья, Марья Александровна.

9-го июля.

Я нарочно дал себе двадцать четыре часа на размышление и теперь убедился окончательно, что мне здесь оставаться незачем. Пыль на улицах такая едкая, что глазам больно. Сегодня же начинаю укладываться, послезавтра, вероятно, отсюда выеду, и дней через десять буду иметь удовольствие вас видеть. Надеюсь, вы меня примете по-прежнему. Кстати, сестра ваша всё еще у тетушки гостит — не правда ли?

Марья Александровна, позвольте вам крепко пожать руку и от души сказать: до скорого свиданья. Я уж и так собирался ехать, но письмо это ускорило мое намерение. Положим, это письмо ничего не доказывает, положим даже, Нинетта другому, мне например, не понравилась бы, а все-таки я еду; уж это несомненно. До свиданья.

Ваш *А. С.*

XIII

От Марьи Александровны к Алексею Петровичу

Село …но, 16-го июля 1840.

Вы едете сюда, Алексей Петрович, вы скоро у нас будете — точно ли? Не скрою вам, что это известие меня и радует и волнует… Как мы увидимся? Поддержится ли та духовная связь, которая, сколько мне кажется, уж начиналась между нами? Не перервется ли она при свидании? Не знаю, мне отчего-то жутко. Не отвечаю вам на ваше последнее письмо, хотя сказать могла бы многое; отлагаю всё это до нашего свиданья. Матушка очень радуется вашему приезду… Она знала, что мы переписываемся с вами. Погода прелестная; мы много будем гулять, я покажу вам новые, открытые мною места… Особенно хороша одна узкая, длинная долина; она лежит между холмами, покрытыми лесом… Она как будто прячется в их изгибах. Небольшой ручеек течет по ней и едва может пробраться сквозь густые травы и цветы… Вы увидите. Приезжайте: может быть, вам не будет скучно.

М. Б.

P. S. Сестры моей вы, я думаю, не увидите: она продолжает гостить у тетки. Кажется (но это между нами), она выходит замуж за очень любезного молодого человека — за офицера. Зачем вы мне прислали это письмо из Неаполя? Здешняя жизнь поневоле покажется тусклой и

бедной против той роскоши и того блеска. Но mademoiselle Ninette не права: цветы растут и пахнут — и у нас.

XIV

От Марьи Александровны к Алексею Петровичу

Село …но, январь, 1841.

Я вам писала несколько раз, Алексей Петрович… Вы мне не отвечали. Живы ли вы? Или, может быть, вам уж наскучила наша переписка; может быть, вы нашли себе развлечение более приятное, чем то, которое могут доставить вам письма уездной барышни? Вы, видно, и вспомнили-то обо мне от нечего делать. Если так, желаю вам счастья. Если вы мне не ответите и теперь, я не буду больше вас беспокоить; мне останется только сожалеть о моей неосторожности, о том, что я напрасно позволила расшевелить себя, протянула другому руку и вышла, хотя на минуту, из моего уединенного уголка. Я должна в нем остаться навсегда, запереться на ключ — это мой удел, удел всех старых девушек. Я должна привыкнуть к этой мысли. Незачем выходить на свет божий, нечего желать свежего воздуха, когда грудь не выносит его. Кстати ж, мы теперь занесены кругом мертвыми сугробами снега. Вперед буду умней… От скуки не умирают, а с тоски, пожалуй, пропасть можно. Если я ошибаюсь — докажите это мне. Но мне кажется, я не ошибаюсь. Во всяком случае, прощайте, желаю вам счастья.

М. Б.

XV

От Алексея Петровича к Марье Александровне

Дрезден. Сентябрь, 1842.

Пишу к вам, любезная Марья Александровна, и пишу только потому, что мне не хочется умереть, не простившись с вами, не напомнив вам о себе. Я осужден докторами… да я и сам чувствую, что жизнь моя на исходе. На столе моем стоит розан; он не успеет отцвести, как уж меня не станет. Впрочем, это сравнение не совсем удачно. Розан гораздо интереснее меня.

Я, как видите, за границей. Вот уж месяцев шесть, как я в Дрездене. Я получил ваши последние письма — совестно признаться: более года тому назад, некоторые из них затерял и не отвечал вам… Сейчас скажу, — почему. Но, видно, вы мне всегда были дороги: мне, кроме вас, ни с кем не хочется проститься, а может быть, мне и не с кем

прощаться.

Скоро после моего последнего письма к вам (я совсем собрался было ехать в ваши края и уж заранее строил различные планы) со мной случилось происшествие, имевшее, уж точно можно сказать, сильное влияние на мою судьбу, до того сильное, что я вот умираю по милости этого происшествия. А именно: я отправился в театр смотреть балет. Я балетов никогда не любил и ко всем возможным актрисам, певицам, танцоркам чувствовал всегда тайное отвращение… Но, видно, ни судьбы своей переменить нельзя, ни самого себя никто не знает, да и будущее тоже предвидеть невозможно. По-настоящему, в жизни случается одно только неожиданное, и мы целый век только и делаем, что приноравливаемся к событиям… Но я, кажется, опять пустился в философию. Старая привычка! Словом, я влюбился в одну танцовщицу.

Это было тем более странно, что и красавицей ее нельзя было назвать. Правда, у ней были удивительные золотисто-пепельные волосы и большие светлые глаза, с задумчивым и в то же время дерзким взором… Мне ли не знать выражения этого взора? Я целый год замирал и гас в его лучах! Сложена она была прекрасно, и когда она плясала свой народный танец, зрители, бывало, топали и кричали от восторга… Но, кажется, кроме меня, никто в нее не влюблялся — по крайней мере никто так не влюбился, как я. С той самой минуты, как я увидел ее в первый раз (поверите ли, мне даже и теперь стоит только закрыть глаза, и тотчас передо мною театр, почти пустая сцена, изображающая внутренность леса, и она выбегает из-за кулис направо, с виноградным венком на голове и тигровой кожей по плечам), — с той роковой минуты я принадлежал ей весь, вот как собака принадлежит своему хозяину; и если я и теперь, умирая, не принадлежу ей, так это только потому, что она меня бросила.

Говоря правду, она никогда особенно и не заботилась обо мне. Она едва замечала меня, хотя весьма добродушно пользовалась моими деньгами. Я был для нее, как она выражалась на своем ломаном французском наречии, «oun Rousso, boun enfan»[6] — и больше ничего. Но я… я уже не мог жить нигде, где она не жила; я оторвался разом от всего мне дорогого, от самой родины, и пустился вслед за этой женщиной.

Вы, может быть, думаете, что она была умна? — Нисколько! Стоило взглянуть на ее низкий лоб, стоило хоть раз подметить ее ленивую и беспечную усмешку, чтобы тотчас убедиться в скудости ее умственных способностей. И я никогда не воображал ее

необыкновенной женщиной. Я вообще ни одного мгновенья не ошибался на ее счет; но это ничему не помогало. Что б я ни думал о ней в ее отсутствие — при ней я ощущал одно подобострастное обожание… В немецких сказках рыцари впадают часто в подобное оцепенение. Я не мог отвести взора от черт ее лица, не мог наслушаться ее речей, налюбоваться каждым ее движеньем; я, право, и дышал-то вслед за ней. Впрочем, она была добра, непринужденна, даже слишком непринужденна, не ломалась, как большею частью ломаются артисты. В ней было много жизни, то есть много крови, той южной, славной крови, в которую тамошнее солнце, должно быть, заронило часть своих лучей. Она спала девять часов в сутки, любила покушать, никогда не читала ни одной печатной строчки, кроме разве журнальных статей, где о ней говорили, и едва ли не единственным нежным чувством в ее жизни была привязанность ее к il signore Carlino[7], маленькому и жадненькому итальянцу, служившему у ней секретарем, за которого она потом и вышла замуж. И в такую женщину, я, в столь различных умственных ухищрениях искусившийся, уж устаревший человек, мог влюбиться!.. Кто б это мог ожидать? Я по крайней мере никак не ожидал этого. Я не ожидал, какую роль мне придется разыгрывать. Я не ожидал, что буду таскаться по репетициям, мерзнуть и скучать за кулисами, дышать копотью театральной, знакомиться с разными, совершенно неблаговидными личностями… что я говорю, знакомиться — кланяться им; я не ожидал, что буду носить шаль танцовщицы, покупать ей новые перчатки, чистить белым хлебом старые (я и это делал, ей-ей!), отвозить домой ее букеты, бегать по передним журналистов и директоров, тратиться, давать серенады, простужаться, занемогать… Я не ожидал, что получу, наконец, в одном немецком городишке затейливое прозванье: der Kunst-Barbar…[8] И всё это даром, в самом полном смысле слова — даром! Вот то-то и есть… Помните, как мы с вами словесно и письменно рассуждали о любви, в какие тонкости вдавались; а на поверку выходит, что настоящая любовь — чувство, вовсе не похожее на то, каким мы ее себе представляли. Любовь даже вовсе не чувство; она — болезнь, известное состояние души и тела; она не развивается постепенно; в ней нельзя сомневаться, с ней нельзя хитрить, хотя она и проявляется не всегда одинаково; обыкновенно она овладевает человеком без спроса, внезапно, против его воли — ни дать ни взять холера или лихорадка… Подцепит его, голубчика, как коршун цыпленка, и понесет его куда угодно, как он там ни бейся и ни упирайся… В любви нет равенства,

нет так называемого свободного соединения душ и прочих идеальностей, придуманных на досуге немецкими профессорами… Нет, в любви одно лицо — раб, а другое — властелин, и недаром толкуют поэты о цепях, налагаемых любовью. Да, любовь — цепь, и самая тяжелая. По крайней мере я дошел до этого убеждения, и дошел до него путем опыта, купил это убеждение ценою жизни, потому что умираю рабом.

Экая, как подумаешь, моя судьба-то! В первой молодости я непременно хотел завоевать себе небо… потом я пустился мечтать о благе всего человечества, о благе родины; потом и это прошло: я думал только, как бы устроить себе домашнюю, семейную жизнь… да споткнулся о муравейник — и бух оземь, да в могилу… Уж какие мы, русские, мастера кончать таким манером!

А впрочем, пора отвернуться от всего этого, давно пора! Пусть эта ноша вместе с жизнью свалится с моей души! Хочу в последний раз, хотя на мгновенье, насладиться тем добрым, кротким чувством, которое разливается во мне тихим светом, как только вспомню о вас. Ваш образ теперь вдвойне для меня дорог… Вместе с ним возникает передо мною образ моей родины, и я шлю и ей и вам прощальный привет. Живите, живите долго и счастливо, и помните одно: останетесь ли вы в той степной глуши, где вам иногда так тяжело бывает, но где бы мне так хотелось провести мой последний день, — вступите ли вы на другое поприще — помните: жизнь только того не обманет, кто не размышляет о ней, и, ничего от нее не требуя, принимает спокойно ее немногие дары и спокойно пользуется ими. Идите вперед, пока можете, а подкосятся ноги, сядьте близ дороги да глядите на прохожих без досады и зависти: ведь и они недалеко уйдут! Я прежде вам не то говорил, да смерть хоть кого научит. А впрочем, кто скажет, что такое жизнь, что такое истина? Вспомните, *кто* не дал на этот вопрос ответа…* Прощайте, Марья Александровна, прощайте в последний раз и не поминайте лихом бедного —

Алексея.

Яков Пасынков

I

Дело было в Петербурге, зимой, в первый день масленицы. Меня пригласил к себе обедать один мой пансионский товарищ, слывший в молодости за красную девицу и оказавшийся впоследствии человеком вовсе не застенчивым. Он уже теперь умер, как большая часть моих товарищей. Кроме меня, обещали прийти к обеду некто Константин Александрович Асанов да еще одна тогдашняя литературная знаменитость. Литературная знаменитость заставила себя подождать и прислала, наконец, записку, что не будет, а на место ее явился маленький белокурый господин, один из тех вечных незваных гостей, которыми Петербург изобилует.

Обед продолжался долго; хозяин не жалел вин, и наши головы понемногу разгорячились. Всё, что каждый из нас таил у себя на душе — а кто не таит чего-нибудь на душе? — выступило наружу. Лицо хозяина внезапно потеряло свое стыдливое и сдержанное выражение; глаза его нагло заблистали, и пошлая усмешка скривила его губы; белокурый господин смеялся как-то дрянно, с глупым визгом; но Асанов больше всех удивил меня. Этот человек всегда отличался чувством приличия, а тут начал вдруг проводить рукою по лбу, ломаться, хвастаться своими связями, беспрестанно упоминать о каком-то дядюшке своем, очень важном человеке… Я решительно не узнавал его; он явно подтрунивал над нами… он чуть не брезгал нашим обществом. Нахальство Асанова меня рассердило.

— Послушайте, — сказал я ему, — если мы так ничтожны в ваших глазах, ступайте к вашему знатному дядюшке. Но, может быть, он вас не пускает к себе?

Асанов ничего мне не ответил и продолжал проводить рукою по лбу.

— И что это за люди! — говорил он опять. — Ведь ни в одном порядочном обществе не бывают, ни с одной порядочной женщиной не знакомы, а у меня тут (воскликнул он, проворно вытащив из бокового кармана бумажник и стуча по нем рукой) — целый пук писем от такой девушки, какой в целом мире не найдешь подобной!

Хозяин и белокурый господин не обратили внимания на последние

слова Асанова; они оба держали друг друга за пуговицу, и оба что-то рассказывали, но я навострил уши.

— Вот вы и схвастнули, господин племянник знатного лица! — сказал я, придвинувшись к Асанову, — писем у вас никаких нет.

— Вы думаете? — возразил он, свысока поглядев на меня, — а это что? — Он раскрыл бумажник и показал мне около десяти писем, адресованных на его имя… «Знакомый почерк!..» — подумал я.

Я чувствую, что румянец стыда выступает на мои щеки… мое самолюбие страдает сильно… Кому охота сознаться в неблагородном поступке?.. Но делать нечего: начав свой рассказ, я знал наперед, что мне придется покраснеть до ушей. Итак, скрепя сердце я должен сознаться, что…

Вот в чем дело: я воспользовался нетрезвостью Асанова, небрежно кинувшего письма на залитую шампанским скатерть (у меня у самого в голове порядком шумело), и быстро пробежал одно из этих писем…

Сердце во мне сжалось… Увы! я сам был влюблен в девушку, которая писала к Асанову, и теперь уж я не мог сомневаться в том, что она его любит. Всё письмо, написанное по-французски, дышало нежностью и преданностью…

«Mon cher ami Constantin!»[9] — так начиналось оно… а кончалось словами: «Будьте осторожны по-прежнему, а я буду ничья или ваша».

Оглушенный, как громом, я несколько мгновений просидел неподвижно, однако наконец опомнился, вскочил и бросился вон из комнаты…

Через четверть часа я уже был на своей квартире.

Семейство Злотницких было одно из первых, с которым я познакомился после переезда моего в Петербург из Москвы. Оно состояло из отца, матери, двух дочерей и сына. Отец, уже седой, но еще свежий мужчина, бывший военный, занимал довольно важное место, утром находился на службе, после обеда спал, а вечером играл в карты в клубе… Дома он бывал редко, разговаривал мало и неохотно, посматривал исподлобья не то угрюмо, не то равнодушно и, кроме путешествий и географий, не читал ничего, а когда занемогал, раскрашивал картинки, запершись в своем кабинете, или дразнил старого серого попугая Попку. Жена его, больная и чахоточная женщина, с черными впалыми глазами и острым носом, по целым дням не сходила с дивана и всё вышивала подушки по канве; она, сколько я мог заметить, побаивалась мужа, точно она в чем перед ним когда-то провинилась. Старшая дочь, Варвара, полная, румяная и русая девушка, лет восемнадцати, всё сидела у окна и разглядывала

прохожих. Сынок воспитывался в казенном заведении, являлся домой только по воскресеньям и тоже не любил понапрасну тратить слова; даже младшая дочь, Софья, именно та девица, в которую я влюбился, была свойства молчаливого. В доме Злотницких постоянно царствовала тишина; одни пронзительные крики Попки прерывали ее; но гости скоро привыкали к ним и снова ощущали на себе тяжесть и гнет этой вечной тишины. Впрочем, гости редко заглядывали к Злотницким: скучно было у них. Самая мебель, красные с желтоватыми разводами обои в гостиной, множество плетеных стульев в столовой, гарусные полинялые подушки с изображением девиц и собак по диванам, рогатые лампы и сумрачные портреты на стенах — всё внушало невольную тоску, от всего веяло чем-то холодным и кислым. Приехав в Петербург, я почел долгом явиться к Злотницким: они доводились сродни моей матушке. Я с трудом высидел час и долго не возвращался; но понемногу стал ходить всё чаще и чаще. Меня привлекала Софья, которая сперва мне не понравилась и в которую я наконец влюбился.

Это была девушка небольшого роста, стройная, почти худая, с бледным лицом, густыми черными волосами и большими карими, всегда полузакрытыми глазами. Ее черты, строгие и резкие, особенно ее сжатые губы, выражали твердость и силу воли. В доме знали ее за девушку с характером… «По старшей сестре пошла, по Катерине, — сказала однажды г-жа Злотницкая, сидя со мной наедине (при муже она не смела упомянуть об этой Катерине). Вы ее не знаете: она на Кавказе, замужем. Тринадцати лет, представьте, влюбилась в своего теперешнего мужа и тогда же нам объявила, что за другого не пойдет. Уж мы что ни делали — ничего не помогло! До двадцати трех лет ждала, отца прогневила и пошла-таки за своего идола. Долго ли до греха и с Сонечкой! Сохрани ее господь от такого упрямства! А боюсь я за нее: ведь ей только шестнадцать лет минуло, а уж ее не переломишь…»

Вошел г. Злотницкий; жена его тотчас замолкла.

Собственно мне Софья полюбилась не за силу воли — нет, но в ней, при всей ее сухости, при недостатке живости и воображения, была своего рода прелесть, прелесть прямодушия, честной искренности и чистоты душевной. Я столько же уважал ее, сколько любил… Мне казалось, что и она ко мне благоволила; разочароваться в ее привязанности, убедиться в ее любви к другому было мне очень больно.

Неожиданное открытие, сделанное мною, тем более удивило меня,

что г. Асанов посещал дом Злотницкик не часто, гораздо реже меня, и никакого особого предпочтения Сонечке не оказывал. Это был красивый брюнет с выразительными, хотя несколько тяжелыми чертами лица, с блестящими глазами навыкате, с большим белым лбом и пухлыми, красными губками под тонкими усами. Он держал себя весьма скромно, но строго, говорил и судил самоуверенно, молчал с достоинством. Видно было, что он много о себе думал. Асанов смеялся редко, и то сквозь зубы, и никогда не танцевал. Сложён он был довольно мешковато. Он когда-то служил в…м полку и слыл за дельного офицера.

«Странное дело! — размышлял я, лежа на диване, — как же это я ничего не заметил?..» «Будьте осторожны по-прежнему»: эти слова Софьина письма вдруг пришли мне на память. «А! — подумал я, — вот что! Вишь, хитрая девчонка! А я считал ее откровенной и искренной… Ну, так постойте же, я покажу вам…»

Но тут я, сколько мне помнится, заплакал горько и до утра не мог заснуть.

На другой день, часу во втором, отправился я к Злотницким. Старика не было дома, и жена его не сидела на своем обычном месте: у ней, после блинов, разболелась голова, и она пошла полежать к себе в спальню. Варвара стояла, прислонившись плечом к окну, и глядела на улицу; Софья ходила взад и вперед по комнате, скрестив на груди руки; Попка кричал.

— А! здравствуйте! — лениво проговорила Варвара, как только я вошел в комнату, и тотчас прибавила вполголоса: — А вон мужик идет с лотком на голове… (У ней была привычка произносить изредка, и словно про себя, замечания о прохожих.)

— Здравствуйте, — ответил я, — здравствуйте, Софья Николаевна. А где Татьяна Васильевна?

— Пошла отдохнуть, — возразила Софья, продолжая расхаживать по комнате.

— У нас блины были, — заметила Варвара, не оборачиваясь. — Что вы не пришли?.. Куда этот писарь идет?

— Да некогда было. («На кра-ул!» — резко закричал попугай.) Как ваш Попка сегодня кричит!

— Он всегда так кричит, — промолвила Софья.

Все мы помолчали.

— Зашел в ворота, — проговорила Варвара и вдруг встала на оконницу и отворила форточку.

— Что ты? — спросила Софья.

— Нищий, — ответила Варвара, нагнулась, достала с окна медный пятак, на котором еще возвышался серенькой кучкой пепел курительной свечки, бросила пятак на улицу, захлопнула форточку и тяжело спрыгнула на пол…

— А я вчера очень приятно время провел, — начал я, садясь в кресла, — я обедал у одного приятеля; там был Константин Александрыч… (Я посмотрел на Софью, у ней даже бровь не поморщилась.) И, надобно сознаться, — продолжал я, — мы-таки покутили; вчетвером бутылок восемь выпили.

— Вот как! — спокойно произнесла Софья и покачала головой.

— Да, — продолжал я, слегка раздраженный ее равнодушием, — знаете ли что, Софья Николаевна? ведь точно, недаром гласит пословица, что истина в вине.*

— А что?

— Константин Александрия нас рассмешил. Представьте себе: вдруг принялся этак рукою по лбу проводить и приговаривать: «Какой я молодец! у меня дядя знатный человек!..»

— Ха-ха! — раздался короткий, отрывистый смех Варвары… «Попка! попка! попка!» — забарабанил ей в ответ попугай.

Софья остановилась передо мною и посмотрела мне в лицо.

— А вы что говорили, — спросила она, — не помните?

Я невольно покраснел.

— Не помню! должно быть, и я хорош был. Действительно, — прибавил я с значительной расстановкой, — пить вино опасно: как раз проболтаешься и то скажешь, что бы никому не следовало знать. Будешь раскаиваться после, да уж поздно.

— А вы разве проболтались? — спросила Софья.

— Я не о себе говорю.

Софья отвернулась и снова принялась ходить по комнате. Я глядел на нее и внутренно бесился. «Ведь вишь, — думал я, — ребенок, дитя, а как собой владеет! Каменная просто. Да вот, постой…»

— Софья Николаевна… — проговорил я громко.

Софья остановилась.

— Что вам?

— Не сыграете ли вы что-нибудь на фортепьяно? Кстати, мне вам нужно что-то сказать, — прибавил я, понизив голос.

Софья, ни слова не говоря, пошла в залу; я отправился вслед за ней. Она остановилась у рояля.

— Что же мне вам сыграть? — спросила она.

— Что хотите… Ноктюрн Шопена*.

Софья начала ноктюрн. Она играла довольно плохо, но с чувством. Сестра ее играла одни только польки и вальсы, и то редко. Подойдет, бывало, своей ленивой походкой к роялю, сядет, спустит бурнус с плеч на локти (я не видал ее без бурнуса), заиграет громко одну польку, не кончит, начнет другую, потом вдруг вздохнет, встанет и отправится опять к окну. Странное существо была эта Варвара!

Я сел подле Софьи.

— Софья Николаевна, — начал я, пристально посматривая на нее сбоку, — я должен вам сообщить одну неприятную для меня новость.

— Новость? какую?

— А вот какую… Я до сих пор в вас ошибался, совершенно ошибался.

— Каким это образом? — возразила она, продолжая играть и устремив глаза на свои пальцы.

— Я думал, что вы откровенны; я думая, что вы не умеете хитрить, скрывать свои чувства, лукавить…

Софья приблизила лицо свое к нотам.

— Я вас не понимаю.

— А главное, — продолжал я, — я никак не мог вообразить, что вы, в ваши годы, уже умеете так мастерски разыгрывать роль…

Руки Софьи слегка задрожали над клавишами.

— Что вы это говорите? — проговорила она, всё не глядя на меня, — я разыгрываю роль?

— Да, вы. (Она усмехнулась… Злость меня взяла…) Вы притворяетесь равнодушной к одному человеку и… и пишете к нему письма, — прибавил я шёпотом.

Щеки Софьи побледнели, но она не обернулась ко мне, доиграла ноктюрн до конца, встала и закрыла крышку рояля.

— Куда же вы? — спросил я ее не без смущения. — Вы мне не отвечаете?

— Что мне вам отвечать? Я не знаю, о чем вы говорите… А притворяться я не умею.

Она начала укладывать ноты… Кровь мне бросилась в голову.

— Нет, вы знаете, о чем я говорю, — промолвил я, также вставая, — и хотите ли, я вам сейчас напомню некоторые ваши выражения в одном письме: «Будьте осторожны по-прежнему…»

Софья слегка вздрогнула.

— Я этого никак от вас не ожидала, — проговорила она наконец.

— И я никак не ожидал, — подхватил я, — что вы, вы, Софья Николаевна, удостоили вашим вниманием человека, который…

Софья быстро ко мне обернулась; я невольно отступил от нее: глаза ее, всегда полузакрытые, расширились до того, что казались огромными, и гневно сверкали из-под бровей.

— А! коли так, — проговорила она, — знайте же, что я люблю этого человека и что мне совершенно всё равно, какого вы мнения о нем и о моей любви к нему. И с чего вы взяли?.. Какое вы имеете право это говорить? А если я на что решилась…

Она умолкла и проворно вышла вон из залы.

Я остался. Мне вдруг стало так неловко и так совестно, что я закрыл лицо руками. Я понял всё неприличие, всю низость своего поведения и, задыхаясь от стыда и раскаяния, стоял как опозоренный. «Боже мой! — думал я, — что я наделал!»

— Антон Никитич, — послышался голос горничной в передней, — пожалуйте скорей стакан воды для Софьи Николаевны.

— А что? — ответил буфетчик.

— Кажись, плачут-с…

Я содрогнулся и пошел в гостиную за своей шляпой.

— О чем вы толковали с Сонечкой? — равнодушно спросила меня Варвара и, помолчав немного, прибавила вполголоса: — Опять этот писарь идет.

Я начал раскланиваться.

— Куда же вы? Погодите: маменька сейчас выйдет.

— Нет, уж мне нельзя, — проговорил я, — я уж лучше в другой раз.

В это мгновение, к ужасу моему, именно к ужасу, Софья твердыми шагами вошла в гостиную. Лицо ее было бледнее обыкновенного, и веки чуть-чуть покраснели. На меня она и не взглянула.

— Посмотри, Соня, — промолвила Варвара, — какой-то писарь всё около нашего дома ходит.

— Шпион какой-нибудь… — холодно и презрительно заметила Софья.

Это уж было слишком! Я ушел и, право, не помню, как дотащился домой.

Мне было очень тяжело, так тяжело и горько, что и описать невозможно. В одни сутки два такие жестокие удара! Я узнал, что Софья любит другого, и навсегда лишился ее уважения. Я чувствовал себя до того уничтоженным и пристыженным, что даже негодовать на себя не мог. Лежа на диване и повернувшись лицом к стене, я с каким-то жгучим наслаждением предавался первым порывам отчаянной тоски, как вдруг услыхал шаги в комнате. Я поднял голову и увидел

одного из самых коротких моих друзей — Якова Пасынкова.

Я готов был рассердиться на каждого человека, который вошел бы ко мне в комнату в этот день, но на Пасынкова сердиться не мог никогда; напротив, несмотря на пожиравшее меня горе, я внутренно обрадовался его приходу и кивнул ему головой. Он, по обыкновению, прошел раза два по комнате, кряхтя и вытягивая свои длинные члены, молча постоял передо мною и молча сел в угол.

Я знал Пасынкова очень давно, почти с детства. Он воспитывался в том же частном пансионе немца Винтеркеллера, в котором и я прожил три года*. Отец Якова, бедный отставной майор, человек весьма честный, но несколько поврежденный в уме, привез его, семилетнего мальчика, к этому немцу, заплатил за него за год вперед, уехал из Москвы, да и пропал без вести… Изредка ходили о нем темные, странные слухи. Только лет через восемь узнали с достоверностью, что он утонул в половодье, переправляясь через Иртыш. Что́ его занесло в Сибирь — господь ведает. У Якова других родных не было; мать его давным-давно умерла. Он так и остался на руках Винтеркеллера. Правда, была у Якова отдаленная родственница, тетка, но до того бедная, что сначала боялась ходить к своему племяннику, как бы не навязали его ей на шею. Страх ее оказался напрасным: добродушный немец оставил у себя Якова, позволил ему учиться вместе с другими воспитанниками, кормил его (за столом его, однако, обносили десертом по будням) и платье ему перешивал из поношенных камлотовых капотов (большей частью табачного цвета) своей матери, престарелой, но еще очень бойкой и распорядительной лифляндки. Вследствие всех этих обстоятельств и вообще вследствие подчиненного положения Якова в пансионе товарищи обращались с ним небрежно, глядели на него свысока и называли его то бабьим капотом, то племянником чепца (тетка его постоянно носила весьма странный чепец с торчавшим кверху пучком желтых лент в виде артишока), то сыном Ермака* (так как отец его утонул в Иртыше). Но, несмотря на эти прозвища, несмотря на смешные его платья, на его крайнюю бедность, все его очень любили, да и невозможно было его не любить: более доброй, благородной души, я думаю, и на свете не было. Учился он также очень хорошо.

Когда я увидел его в первый раз, ему было лет шестнадцать, а мне только что минул тринадцатый год. Я был очень самолюбивый и избалованный мальчик, вырос в довольно богатом доме и потому, поступив в пансион, поспешил сблизиться с одним князьком, предметом особенных попечений Винтеркеллера, да еще с двумя-

тремя маленькими аристократами, а со всеми другими важничал. Пасынкова я не удостоил даже внимания. Этот длинный и неловкий малый, в безобразной куртке и коротких панталонах, из-под которых выглядывали толстые нитяные чулки, казался мне чем-то вроде казачка из дворовых или мещанского сына. Пасынков был очень вежлив и кроток со всеми, хотя ни в ком никогда не заискивал; если его отталкивали — он не унижался и не дулся, а держался в стороне, как бы сожалея и выжидая. Так он поступил и со мной. Прошло около двух месяцев. Однажды, в летний ясный день, проходя, после шумной игры в лапту, со двора в сад, увидел я Пасынкова, сидевшего на скамейке под высоким кустом сирени. Он читал книгу. Я взглянул мимоходом на переплет и прочитал на спинке имя Шиллера: «Schiller's Werke»[10]. Я остановился.

— Разве вы знаете по-немецки? — спросил я Пасынкова…

Мне до сих пор становится совестно, когда я вспомню, сколько пренебрежения было в самом звуке моего голоса… Пасынков тихо поднял на меня свои небольшие, но выразительные глаза и ответил:

— Да, знаю; а вы?

— Еще бы! — возразил я, уж обиженный, и хотел было идти дальше, да что-то удержало меня.

— А что именно читаете вы из Шиллера? — спросил я с прежней надменностью.

— Теперь? я читаю. «Resignation»[11]: прекрасное стихотворение. Хотите, я вам его прочту? Сядьте вот здесь, подле меня, на скамейке.

Я немного поколебался, однако сел. Пасынков начал читать. По-немецки он знал гораздо лучше меня: ему пришлось толковать мне смысл некоторых стихов; но я уж не стыдился ни своего незнания, ни его превосходства передо мною. С того дня, с самого того чтения вдвоем в саду, в тени сирени, я всей душой полюбил Пасынкова, сблизился с ним и подчинился ему вполне.

Живо помню его тогдашнюю наружность. Впрочем, он и после мало изменился. Он был высокого роста, худ, долговяз и довольно неуклюж. Узкие плечи и впалая грудь придавали ему болезненный вид, хотя он не мог пожаловаться на свое здоровье. Его большая, кверху закругленная голова слегка склонялась набок, мягкие русые волосы висели жидкими косицами вокруг тонкой шеи. Лицо его не было красиво и даже могло показаться смешным благодаря длинному, пухлому и красноватому носу, как бы нависшему над широкими и прямыми губами; но открытый лоб его был прекрасен, и когда он улыбался, его маленькие серые глазки светились таким кротким и

ласковым добродушием, что при взгляде на него у всякого становилось тепло и весело на сердце. Помню я также его голос, тихий и ровный, с какою-то особенно приятной сипотой. Он говорил вообще мало и с заметным затруднением; но когда одушевлялся, речь его лилась свободно и — странное дело! — голос его становился еще тише, взор его как будто уходил внутрь и погасал, а всё лицо слабо разгоралось. В устах его слова: «добро», «истина», «жизнь», «наука», «любовь», как бы восторженно они ни произносились, никогда не звучали ложным звуком. Без напряжения, без усилия вступал он в область идеала; его целомудренная душа во всякое время была готова предстать перед «святыню красоты»*; она ждала только привета, прикосновения другой души… Пасынков был романтик, один из последних романтиков, с которыми мне случалось встретиться. Романтики теперь, как уж известно, почти вывелись; по крайней мере между нынешними молодыми людьми их нет. Тем хуже для нынешних молодых людей!

Около трех лет провел я с Пасынковым, как говорится, душа в душу. Я был поверенным его первой любви. С каким благодарным вниманием и участием выслушивал я его признанья! Предметом его страсти была племянница Винтеркеллера, белокурая, миленькая немочка, с пухленьким, почти детским личиком и доверчиво-нежными голубыми глазками. Она была очень добра и чувствительна, любила Маттисона*, Уланда* и Шиллера и весьма приятно произносила стихи их своим робким и звонким голосом. Любовь Пасынкова была самая платоническая; он видел свою возлюбленную только по воскресеньям (она приезжала играть в фанты с Витеркеллеровыми детьми) и мало с ней разговаривал; зато однажды, когда она ему сказала «Mein lieber, lieber Herr Jacob!»[12] он всю ночь не мог заснуть от избытка благополучия. Ему и в голову не пришло тогда, что она всем его товарищам говорила: «mein lieber». Помню я также скорбь его и уныние, когда вдруг распространилось известие, что фрейлейн Фридерике (так ее звали) выходит замуж за герра Книфтуса, владельца богатой мясной лавки, очень красивого и даже образованного мужчину, и выходит не из одного повиновения родительской воле, но и по любви. Очень тяжело было тогда Пасынкову, и особенно страдал он в день первого посещения молодых. Бывшая фрейлейн, теперь уже фрау Фридерике, представила его, опять под именем lieber Herr Jacob, своему мужу, у которого всё блестело: и глаза, и завитые в кок черные волосы, и лоб, и зубы, и пуговицы на фраке, и цепочка на жилете, и самые сапоги на довольно, впрочем, больших, носками врозь

поставленных ногах. Пасынков пожал господину Книфтусу руку и пожелал ему (и искренно пожелал — я в этом уверен) полного и продолжительного счастья. Это происходило при мне. Помню я, с каким удивлением и сочувствием глядел я тогда на Якова. Он казался мне героем!.. И потом какие грустные происходили между нами беседы! «Ищи утешения в искусстве», — говорил я ему. «Да, — отвечал он мне, — и в поэзии». — «И в дружбе», — прибавлял я. «И в дружбе», — повторял он. О, счастливые дни!..

Горестно было мне расстаться с Пасынковым! Перед самым моим отъездом он после долгих хлопот и забот, после переписки, часто забавной, достал, наконец, свои бумаги и поступил в университет. Он продолжал состоять на иждивении Винтеркеллера, но вместо камлотовых курток и брюк получал уже обыкновенную одежду, в воздаяние за уроки по разным предметам, которые преподавал младшим воспитанникам. Пасынков не переменил своего обращения со мной до самого конца моего пребывания в пансионе, хотя разница в годах между нами уже начинала сказываться, и я, помнится, принимался ревновать его к некоторым из его новых товарищей-студентов. Влияние его на меня было самое благотворное. К сожалению, оно не было продолжительно. Приведу один только пример. В детстве я привык лгать… Перед Яковом у меня язык не поворачивался на ложь. Но особенно отрадно было мне гулять с ним вдвоем или ходить возле него взад и вперед по комнате и слушать, как он, не глядя на меня, читал стихи своим тихим и сосредоточенным голосом. Право, мне тогда казалось, что мы с ним медленно, понемногу отделялись от земли и неслись куда-то, в какой-то лучезарный, таинственно-прекрасный край… Помню я одну ночь. Мы сидели с ним под тем же кустом сирени: мы полюбили это место. Все наши товарищи уже спали; но мы тихонько встали, ощупью оделись впотьмах и украдкой вышли «помечтать». На дворе было довольно тепло, но свежий ветерок дул по временам и заставлял нас еще ближе прижиматься друг к дружке. Мы говорили, мы говорили много и с жаром, так что даже перебивали друг друга, хотя и не спорили. На небе сияли бесчисленные звезды. Яков поднял глаза и, стиснув мне руку, тихо воскликнул:

Над нами*
Небо с вечными звездами…
А над звездами их творец…

Благоговейный трепет пробежал по мне; я весь похолодел и припал

к его плечу… Сердце переполнилось…

Где те восторги? Увы! там же, где и молодость.

В Петербурге я встретил Якова лет восемь спустя. Я только что определился на службу, и ему кто-то доставил местечко в каком-то департаменте. Встреча наша была самая радостная. Никогда мне не забыть того мгновенья, когда я, сидя однажды у себя дома, услыхал внезапно в передней его голос… Как я вздрогнул, с каким биением сердца вскочил и бросился ему на шею, не дав ему времени снять с себя шубу и раскутать шарф! Как жадно глядел я на него сквозь невольные, светлые слезы умиления! Он немного постарел в последние семь лет; морщины, тонкие, как след иглы, кой-где пробороздили лоб его, щеки слегка впали, и волосы поредели, но бороды почти не прибавилось, и улыбка его осталась та же; и смех его, милый, внутренний, словно задыхающийся смех, остался тот же…

Боже мой! чего, чего мы не переговорили в тот день… Сколько любимых стихов прочли мы друг другу! Я начал его упрашивать переехать ко мне на житье, но он не согласился, зато обещал заходить ко мне ежедневно и сдержал свое обещание.

И душою Пасынков не изменился. Он предстал передо мною тем же романтиком, каким я знал его. Как ни охватывал его жизненный холод, горький холод опыта, — нежный цветок, рано расцветший в сердце моего друга, уцелел во всей своей нетронутой красе. Даже грусти, даже задумчивости не проявлялось в нем: он по-прежнему был тих, но вечно весел душою.

В Петербурге жил он как бы в пустыне, не размышляя о будущем и не знаясь почти ни с кем. Я его свел с Злотницкими. Он к ним ходил довольно часто. Не будучи самолюбив, он не был застенчив; но и у них, как и везде, говорил мало, однако полюбился им. Тяжелый старик, муж Татьяны Васильевны, и тот обходился с ним ласково, и обе молчаливые девушки скоро к нему привыкли.

Бывало, он придет, принесет с собою, в заднем кармане сюртука, какое-нибудь вновь вышедшее сочинение и долго не решается читать, всё вытягивает шею набок, как птица, да высматривает: можно ли? наконец, уместится в уголку (он вообще любил сидеть по углам), достанет книжку и примется читать, сперва шёпотом, потом громче и громче, изредка перерывая самого себя короткими суждениями или восклицаниями. Я замечал, что Варвара охотнее сестры к нему подсаживалась и слушала его, хотя, конечно, мало его понимала: литература не занимала ее. Сидит, бывало, перед Пасынковым, опершись на руки подбородком, глядит ему — не в глаза, а так, во всё

лицо, и словечка не промолвит, только шумно вздохнет вдруг. По вечерам мы играли в фанты, особенно в воскресения и в праздники. К нам тогда присоединялись две барышни, сестры, отдаленные родственницы Злотницких, маленькие, кругленькие, хохотуньи страшные, да несколько кадетов и юнкеров, очень добрых и тихих мальчиков. Пасынков всегда садился подле Татьяны Васильевны и вместе с ней придумывал, что делать тому, чей фант вынется. Софья не любила нежностей и поцелуев, которыми обыкновенно выкупаются фанты, а Варвара досадовала, когда ей приходилось что-нибудь отыскивать или отгадывать. Барышни знай себе хохотали — откуда у них смех брался, — меня иногда досада разбирала, на них глядя, а Пасынков только улыбался и головой покачивал. Старик Злотницкий в наши игры не вмешивался и даже не совсем ласково посматривал на нас из-за дверей своего кабинета. Раз только, совершенно неожиданно, вышел он к нам и предложил, чтобы та особа, чей фант вынется, провальсировала вместе с ним; мы, разумеется, согласились. Вышел фант Татьяны Васильевны: она вся покраснела, смешалась и застыдилась, как пятнадцатилетняя девочка, — но муж ее тотчас приказал Софье сесть за фортепьяно, подошел к жене и сделал с ней два тура, по-старинному, в три темпа. Помню я, как его желчное и темное лицо, с неулыбавшимися глазами, то показывалось, то скрывалось, медленно оборачиваясь и не меняя своего строгого выражения. Вальсируя, он широко шагал и подпрыгивал, а жена его быстро семенила ногами и прижималась, как бы от страха, лицом к его груди. Он довел ее до ее места, поклонился ей, ушел к себе и заперся. Софья хотела было встать. Но Варвара попросила ее продолжать вальс, подошла к Пасынкову и, протянув руку, с неловкой усмешкой сказала: хотите? Пасынков удивился, однако вскочил — он всегда отличался утонченной вежливостью, — взял Варвару за талью, но с первого же шага поскользнулся и, быстро отделившись от своей дамы, покатился прямо под тумбочку, на которой стояла клетка попугая… Клетка упала, попугай испугался и закричал: на кра-ул! Поднялся общий хохот… Злотницкий показался на пороге кабинета, поглядел сурово и захлопнул дверь. С тех пор стоило только вспомнить при Варваре об этом происшествии, и она тотчас начинала смеяться и с таким выражением поглядывала на Пасынкова, как будто умнее того, что он тогда сделал, невозможно было ничего придумать.

Пасынков очень любил музыку. Он часто просил Софью сыграть ему что-нибудь, садился к сторонке и слушал, изредка подтягивая тонким голосом на чувствительных нотках. Особенно любил он

«Созвездия» Шуберта[*]. Он уверял, что, когда при нем играли «Созвездия», ему всегда казалось, что вместе с звуками какие-то голубые длинные лучи лились с вышины ему прямо в грудь. Я еще до сих пор, при виде безоблачного ночного неба с тихо шевелящимися звездами, всегда вспоминаю мелодию Шуберта и Пасынкова… Приходит мне еще на ум одна загородная прогулка. Мы поехали целым обществом в двух ямских четвероместных каретах в Парголово. Помнится, кареты взяли с Владимирской[*]; они были очень стары, голубого цвета, на круглых рессорах, с широкими козлами и клочками сена внутри; бурые разбитые лошади везли нас тяжелой рысью, хромая каждая на разную ногу. Мы долго гуляли по сосновым рощам вокруг Парголова, пили молоко из глиняных кувшинчиков и ели землянику с сахаром. Погода была чудесная. Варвара не любила много ходить, она скоро утомлялась, но на этот раз она от нас не отставала. Она сняла шляпу, волосы ее развились, тяжелые черты оживились и щеки покраснели. Встретивши в лесу двух крестьянских девочек, она вдруг села на землю, подозвала и не приласкала, а усадила их возле себя. Софья посмотрела на них издали с холодной улыбкой и не подошла к ним. Она гуляла с Асановым, а Злотницкий заметил, что Варвара — настоящая наседка. Варвара встала и пошла прочь. В течение прогулки она несколько раз подходила к Пасынкову и говорила ему: «Яков Иваныч, я вам что-то хочу сказать», — но что она хотела ему сказать — осталось неизвестным.

Впрочем, пора мне возвратиться к моему рассказу.

Я обрадовался приходу Пасынкова; но когда вспомнил о том, что сделал накануне, мне стало невыразимо совестно, и я поспешно отвернулся опять к стене. Погодя немного Яков спросил меня, здоров ли я.

— Здоров, — отвечал я сквозь зубы, — только голова болит.

Яков ничего не ответил и взял книгу. Прошло более часу; я уже собирался во всем сознаться Якову… Вдруг в передней прозвенел колокольчик.

Дверь на лестницу растворилась… я прислушался… Асанов спрашивал моего человека, дома ли я.

Пасынков встал; он не любил Асанова и, сказав мне шёпотом, что пойдет полежать на моей постели, отправился ко мне в спальню.

Минуту спустя вошел Асанов.

По одному покрасневшему лицу его, по короткому и сухому поклону я догадался, что он приехал ко мне неспроста. «Что-то будет?» — подумал я.

— Милостивый государь, — начал он, быстро садясь в кресло, — я явился к вам для того, чтобы вы разрешили мне одно сомнение.

— А именно?

— А именно: я желаю знать, честный ли вы человек?

Я вспыхнул.

— Это что значит? — спросил я.

— А вот что это значит… — возразил он, словно отчеканивая каждое слово, — вчера я вам показывал бумажник с письмами одной особы ко мне… Сегодня вы с упреком — заметьте, с упреком — пересказывали этой особе несколько выражений из этих писем, не имея на то ни малейшего права. Я желаю знать, как вы это объясните?

— А я желаю знать, какое *вы* имеете право меня расспрашивать? — ответил я, весь дрожа от бешенства и внутреннего стыда. — Вольно вам было щеголять вашим дядюшкой, вашей перепиской; я-то тут что? Ведь все ваши письма целы?

— Письма-то целы; но я был вчера в таком состоянии, что вы легко могли…

— Одним словом, милостивый государь, — заговорил я нарочно как можно громче, — я прошу вас оставить меня в покое, слышите ли? Я ничего знать не хочу и объяснять вам ничего не стану. Ступайте к той особе за объяснениями! (Я чувствовал, что у меня голова начинала кружиться.)

Асанов устремил на меня взгляд, которому, видимо, старался придать выражение насмешливой проницательности, пощипал свои усики и встал не спеша.

— Я теперь знаю, что мне думать, — промолвил он, — ваше лицо — лучшая вам улика. Но я должен вам заметить, что благородные люди так не поступают… Прочесть украдкой письмо и потом идти к благородной девушке беспокоить ее…

— Убирайтесь вы к чёрту! — закричал я, затопав ногами, — и присылайте мне секунданта, с вами я не намерен разговаривать.

— Прошу не учить меня, — холодно возразил Асанов, — а секунданта я и сам хотел к вам прислать.

Он ушел. Я упал на диван и закрыл лицо руками. Кто-то тронул меня за плечо; я принял руки — передо мной стоял Пасынков.

— Что это? правда?.. — спросил он меня, — ты прочел чужое письмо?

Я не имел сил ответить ему, но качнул утвердительно головой.

Пасынков подошел к окну и, стоя ко мне спиною, медленно проговорил:

— Ты прочел письмо одной девушки к Асанову. Кто же была эта девушка?

— Софья Злотницкая, — отвечал я, как подсудимый отвечает судье.

Пасынков долго не вымолвил ни слова.

— Одна страсть может до некоторой степени извинить тебя, — начал он наконец. — Разве ты влюблен в Злотницкую?

— Да.

Пасынков опять помолчал.

— Я это думал. И ты сегодня пошел к ней и начал упрекать ее…

— Да, да, да… — проговорил я с отчаяньем. — Ты теперь можешь меня презирать…

Пасынков прошелся раза два по комнате.

— А она его любит? — спросил он.

— Любит…

Пасынков потупился и долго смотрел неподвижно на пол.

— Ну, этому надо помочь, — начал он, подняв голову, — этого нельзя так оставить.

И он взялся за шляпу.

— Куда же ты?

— К Асанову.

Я вскочил с дивана.

— Да я тебе не позволю. Помилуй! как можно! Что он подумает?

Пасынков поглядел на меня.

— А по-твоему, разве лучше дать этой глупости ход, себя погубить, девушку опозорить?

— Да что ты скажешь Асанову?

— Я постараюсь вразумить его, скажу, что ты просишь у него извинения…

— Да я не хочу извиняться пред ним!

— Не хочешь? Разве ты не виноват?

Я посмотрел на Пасынкова: спокойное и строгое, хотя грустное выражение лица его меня поразило; оно было ново для меня. Я ничего не отвечал и сел на диван.

Пасынков вышел.

С каким мучительным томлением ожидал я его возвращения! С какой жестокой медленностью проходило время! Наконец он вернулся — поздно.

— Ну что? — спросил я робким голосом.

— Слава богу! — отвечал он, — всё улажено.

— Ты был у Асанова?

— Был.

— Что он? чай, ломался? — промолвил я с усилием.

— Нет, не скажу. Я ожидал больше… Он… он не такой пошлый человек, каким я почитал его.

— Ну, а кроме его, ты ни у кого не был? — спросил я погодя немного.

— Я был у Злотницких.

— А!.. (Сердце у меня забилось. Я не смел взглянуть Пасынкову в глаза.) Что ж она?

— Софья Николаевна — девушка благоразумная, добрая… Да, она добрая девушка. Ей сначала было неловко, но потом она успокоилась. Впрочем, весь наш разговор продолжался не более пяти минут.

— И ты… ей всё сказал… обо мне… всё?

— Я сказал, что было нужно.

— Мне уж теперь нельзя будет больше ходить к ним! — проговорил я уныло…

— Отчего же? Нет, изредка можно. Напротив, ты должен к ним непременно пойти, чтоб не подумали чего-нибудь…

— Ах, Яков, ты меня теперь презирать будешь! — воскликнул я, чуть сдерживая слезы.

— Я? презирать тебя?.. (Его ласковые глаза затеплились любовью.) Тебя презирать… глупый человек! Разве тебе легко было? Разве ты не страдаешь?

Он протянул мне руку, я бросился к нему на шею и зарыдал.

Спустя несколько дней, в течение которых я мог заметить, что Пасынков был очень не в духе, я решился, наконец, пойти к Злотницким. Что я чувствовал, вступая к ним в гостиную, это словами передать трудно; помню, что я едва различал лица, и голос прерывался в груди. И Софье было не легче: она видимо принуждала себя заговаривать со мною, но глаза ее так же избегали моих, как мои — ее, и в каждом ее движении, во всем существе проглядывало принуждение, смешанное… что таить правду? с тайным отвращением. Я постарался как можно скорее избавить и ее и себя от таких тягостных ощущений. Это свидание было, к счастью, последним… перед ее браком. Внезапная перемена в судьбе моей увлекла меня в другой конец России, и я надолго простился с Петербургом, с семейством Злотницких и, что мне было всего больнее, с добрым Яковом Пасынковым.

II

Прошло лет семь. Не считаю нужным рассказывать, что именно происходило со мной в течение всего этого времени. Помаялся я-таки по России, заезжал в глушь и в даль, и слава богу! Глушь и даль не так страшны, как думают иные, и в самых потаенных местах дремучего леса, под валежником и дромом, растут душистые цветы.

Однажды весной, проезжая по делам службы через небольшой уездный городок одной из отдаленных губерний восточной России, я сквозь тусклое стеклышко тарантаса увидел на площади, перед лавкой, человека, лицо которого мне показалось чрезвычайно знакомым. Я вгляделся в этого человека и, к немалой своей радости, узнал в нем Елисея, слугу Пасынкова.

Я тотчас велел ямщику остановиться, выскочил из тарантаса и подошел к Елисею.

— Здравствуй, брат! — проговорил я, с трудом скрывая волненье, — ты здесь с своим барином?

— С барином, — возразил он медленно и вдруг воскликнул: — Ах, батюшка, это вы? Я и не узнал вас!

— Ты здесь с Яковом Иванычем?

— С ним, батюшка, с ним… А то с кем же?

— Веди меня скорей к нему.

— Извольте, извольте! Сюда пожалуйте, сюда… Мы здесь в трактире стоим.

И Елисей повел меня через площадь, беспрестанно приговаривая: «Ну, как же Яков Иваныч обрадуется!»

Этот Елисей, калмык по происхождению, человек на вид крайне безобразный и даже дикий, но добрейшей души и неглупый, страстно любил Пасынкова и служил ему лет десять.

— Как здоровье Якова Иваныча? — спросил я его.

Елисей обернул ко мне свое темно-желтое личико.

— Ах, батюшка, плохо… плохо, батюшка! Вы их не узнаете… Недолго им, кажется, остается на свете пожить. Оттого-то мы здесь и засели, а то мы ведь в Одессу ехали лечиться.

— Откуда же вы едете?

— Из Сибири, батюшка.

— Из Сибири?

— Точно так-с. Яков Иваныч там на службе состояли-с. Там они и рану свою получили-с.

— Разве он в военную службу поступил?

— Никак нет-с. В статской служили-с.

«Что за чудеса!» — подумал я. Между тем мы подошли к трактиру,

и Елисей побежал вперед доложить обо мне. В первые годы нашей разлуки мы с Пасынковым переписывались довольно часто, но последнее письмо его я получил года четыре назад и с тех пор ничего не знал о нем.

— Пожалуйте-с, пожалуйте-с! — кричал мне Елисей с лестницы. — Яков Иваныч очень желают вас видеть-с.

Я поспешно взбежал по шатким ступеням, вошел в темную, маленькую комнату — и сердце во мне перевернулось… На узкой постели, под шинелью, бледный как мертвец, лежал Пасынков и протягивал мне обнаженную, исхудалую руку. Я бросился к нему и судорожно его обнял.

— Яша! — воскликнул я наконец, — что с тобой?

— Ничего, — ответил он слабым голосом, — прихворнул немного. Ты каким случаем сюда попал?

Я сел на стул подле постели Пасынкова и, не выпуская его руки из своих рук, начал глядеть ему в лицо. Я узнал дорогие мне черты: выражение его глаз, его улыбка не изменились; но что с ним сделала болезнь!

Он заметил впечатление, которое произвел на меня.

— Я три дня не брился, — промолвил он, — ну, да и не причесан, а то я… еще ничего.

— Скажи, пожалуйста, Яша, — начал я, — что это мне сказал Елисей… Ты ранен?

— А! да это целая история, — возразил он. — Я тебе после расскажу. Точно, я ранен, и вообрази, чем? стрелой.

— Стрелой?

— Да, стрелой, только не мифологической, не стрелою амура, а настоящей стрелой из какого-то прегибкого дерева, с искусным острием на конце… Очень неприятное ощущение производит такая стрела, особенно когда попадает в легкие.

— Да каким это образом? помилуй…

— А вот каким. Ты знаешь, в моей судьбе было всегда много смешного. Помнишь мою комическую переписку по делу вытребования бумаг? Вот я и ранен смешно. И в самом деле, какой порядочный человек, в наше просвещенное столетие, позволит себя ранить стрелой? И не случайно — заметь, не во время каких-нибудь игрищ, а на сражении.

— Да ты всё мне не говоришь…

— А вот постой, — перебил он. — Ты знаешь, что меня скоро после твоего отъезда из Петербурга перевели в Новгород. В Новгороде

я провел довольно много времени и, признаться, скучал, хотя я и там встретился с одним существом (он вздохнул)… Но теперь не до того; а года два назад вышло мне прекрасное местечко, правда, далеко немножко, в Иркутской губернии, да что за беда! Видно, нам с отцом на роду было написано посетить Сибирь. Славный край Сибирь! Богатый, привольный — это тебе всякий скажет. Очень мне там понравилось. Инородцы у меня под началом состояли; народ смирный; да, на мою беду, вздумалось им, человекам десяти, не больше, контрабанду провезти. Меня послали их перехватить. Перехватить-то я их перехватил, да один из них, сдуру должно быть, захотел защищаться, да и попотчевал меня этой стрелой… Я было чуть не умер, однако оправился. Теперь вот еду окончательно вылечиться… Начальство, дай бог им всем здоровья, денег дало.

Пасынков в изнеможении опустил голову на подушку и умолк. Слабый румянец разлился по его щекам. Он закрыл глаза.

— Много говорить не могут, — проговорил вполголоса Елисей, не выходивший из комнаты.

Наступило молчание; только и слышалось, что тяжелое дыхание больного.

— Да вот, — продолжал он, опять открыв глаза, — вторую неделю сижу в этом городишке… простудился, должно быть. Меня лечит здешний уездный врач — ты его увидишь; он, кажется, дело свое знает. Впрочем, я очень этому случаю рад, а то как бы я с тобою встретился? (И он взял меня за руку. Его рука, еще недавно холодная как лед, теперь пылала.) Расскажи ты мне что-нибудь о себе, — заговорил он опять, откидывая от груди шинель, — ведь мы с тобой бог знает когда виделись.

Я поспешил исполнить желание его, лишь бы не дать ему говорить, и принялся рассказывать. Он сперва слушал меня с большим вниманием, потом попросил пить, а там опять начал закрывать глаза и метаться головой по подушке. Я посоветовал ему соснуть немного, прибавив, что не поеду дальше, пока он не поправится, и помещусь в комнате с ним рядом.

— Здесь очень скверно… — начал было Пасынков, но я зажал ему рот и тихо вышел.

Елисей тоже вышел вслед за мной.

— Что же это, Елисей? ведь он умирает? — спросил я верного слугу.

Елисей только махнул рукой и отвернулся.

Отпустив ямщика и наскоро перебравшись в смежную комнату, я

отправился посмотреть, не заснул ли Пасынков. У двери я столкнулся с человеком высокого роста, очень толстым и грузным. Лицо его, рябое и пухлое, выражало лень — и больше ничего; крохотные глазки так и слипались, и губы лоснились, как после сна.

— Позвольте узнать, — спросил я его, — вы не доктор ли?

Толстый человек посмотрел на меня, усиленно приподняв бровями свой нависший лоб.

— Точно так-с, — промолвил он наконец.

— Сделайте одолжение, господин доктор, не угодно ли вам пожаловать сюда, ко мне в комнату? Яков Иваныч, кажется, теперь спит; я его приятель и желал бы поговорить с вами о его болезни, которая меня очень беспокоит.

— Очень хорошо-с, — отвечал доктор с таким выражением, как будто желая сказать: «Охота тебе так много говорить; я бы и так пошел», — и направился вслед за мной.

— Скажите, пожалуйста, — начал я, как только он опустился на стул, — состояние моего приятеля опасно? как вы находите?

— Да, — спокойно отвечал толстяк.

— И… очень оно опасно?

— Да, опасно.

— Так что он даже… умереть может?

— Может.

Признаюсь, я почти с ненавистью посмотрел на моего собеседника.

— Так помилуйте, — начал я, — надобно прибегнуть к каким-нибудь мерам, консилиум созвать, что ли… Ведь нельзя же так… Помилуйте!

— Консилиум, можно. Отчего ж? Можно. Ивана Ефремыча позвать…

Доктор говорил с трудом и беспрестанно вздыхал. Желудок его заметно приподнимался, когда он говорил, как бы выпирая каждое слово.

— Кто такой Иван Ефремыч?

— Городской врач.

— Не послать ли в губернский город — как вы думаете? Там наверное есть хорошие доктора.

— Что ж? можно.

— А кто там лучшим врачом почитается?

— Лучшим? Был там Кольрабус доктор… только его чуть ли не перевели куда-то. Впрочем, признаться, оно и не нужно посылать-то.

— Почему же?

— Вашему приятелю и губернский доктор не поможет.

— Разве он так плох?

— Да-таки, наткнулся.

— Чем же он собственно болен?

— Рану получил… Легкие, значит, пострадали… ну, тут еще простудился, сделался жар… ну, и прочее. А запасной экономии нет: без запасной экономии, вы сами знаете, человеку невозможно.

Мы оба помолчали.

— Разве гомеопатией попробовать… — проговорил толстяк, искоса взглянув на меня.

— Как гомеопатией? Ведь вы аллопат?

— Так что ж, что аллопат? Вы думаете, что я гомеопатию не знаю? Не хуже другого. Здесь у нас аптекарь гомеопатией лечит, а он и ученой степени никакой не имеет.

«Ну, — подумал я, — плохо дело!..» — Нет, господин доктор, — промолвил я, — вы уж лучше лечите по вашей обыкновенной методе.

— Как угодно-с.

Толстяк встал и вздохнул.

— Вы идете к нему? — спросил я.

— Да, надо посмотреть.

И он вышел.

Я не пошел за ним: видеть его у постели моего бедного больного друга было свыше сил моих. Я кликнул своего человека и приказал ему тотчас же ехать в губернский город, спросить там лучшего врача и привезти его непременно. Что-то застучало в коридоре; я быстро отворил дверь.

Доктор уже выходил от Пасынкова.

— Ну что? — спросил я его шёпотом.

— Ничего, микстуру прописал.

— Я, господин доктор, решился послать в губернский город. Не сомневаюсь в вашем искусстве, но вы знаете сами: ум хорошо, а два лучше.

— Ну что ж, это похвально! — возразил толстяк и начал спускаться по лестнице. Я ему, видимо, надоедал.

Я вошел к Пасынкову.

— Видел ты здешнего эскулапа? — спросил он меня.

— Видел, — отвечал я.

— Мне что нравится в нем, — заговорил Пасынков, — это его удивительное спокойствие. Доктору следует быть флегматиком, не правда ли? Это очень ободрительно для больного.

Я, разумеется, не стал разуверять его.

К вечеру Пасынкову, против ожидания моего, сделалось легче. Он попросил Елисея поставить самовар, объявил мне, что будет угощать меня чаем и сам выпьет чашечку, и заметно повеселел. Я, однако, все-таки старался не давать ему разговаривать и, видя, что он никак не хочет угомониться, спросил его, не желает ли он, чтоб я ему прочел что-нибудь?

— Как у Винтеркеллера — помнишь? — ответил он, — ну, изволь, с удовольствием. Что ж мы будем читать? Посмотрите-ка, там у меня на окне книги…

Я подошел к окну и взял первую книгу, попавшуюся мне под руку…

— Что это? — спросил он.

— Лермонтов.

— А! Лермонтов! Прекрасно! Пушкин выше, конечно… Помнишь: «Снова тучи надо мною собралися в тишине…»[*] или: «В последний раз твой образ милый дерзаю мысленно ласкать»[*]. Ах, чудо! чудо! Но и Лермонтов хорош. Ну, знаешь что, брат, возьми, раскрой наудачу и читай!

Я раскрыл книгу и смутился: мне попалось «Завещание». Я хотел было перевернуть страницу, но Пасынков заметил мое движение и торопливо проговорил: «Нет, нет, нет, читай то, что вскрылось».

Делать было нечего: я прочел «Завещание».

— Славная вещь! — проговорил Пасынков, как-только я произнес последний стих. — Славная вещь! А странно, — прибавил, он, помолчав немного, — странно, что тебе именно «Завещание» попалось… Странно!

Я начал читать другое стихотворение, но Пасынков не слушал меня, глядел куда-то в сторону и раза два еще повторил: «Странно!»

Я опустил книгу на колени.

— «Соседка есть у них одна», — [*] прошептал он и вдруг, обратившись ко мне, спросил: — А что, помнишь ты Софью Злотницкую?

Я покраснел.

— Как не помнить!

— Ведь она замуж вышла?..

— За Асанова, давным-давно. Я тебе писал об этом.

— Точно, точно, писал. Отец ее простил наконец?

— Простил, но Асанова не принял.

— Упрямый старик! Ну, а как слышно, счастливо они живут?

— Не знаю, право… кажется, счастливо. Они в деревне живут, в ***ой губернии; я их не видал, но проезжал мимо.

— И дети есть у них?

— Кажется, есть… Кстати, Пасынков? — спросил я.

Он взглянул на меня.

— Признайся, ты, помнится, тогда не хотел отвечать на мой вопрос: ведь ты сказал ей, что я ее любил?

— Я всё ей сказал, всю правду… Я ей всегда правду говорил. Скрытничать перед ней — это был бы грех!

Пасынков помолчал.

— Ну, а скажи мне, — начал он опять, — скоро ты разлюбил ее или нет?

— Не скоро, но разлюбил. Что пользы вздыхать понапрасну?

Пасынков перевернулся ко мне лицом.

— А я, брат, — начал он, и губы его задрожали, — не тебе чета: я до сих пор не разлюбил ее.

— Как! — воскликнул я с невыразимым изумлением, — разве ты любил ее?

— Любил, — медленно проговорил Пасынков и занес обе руки за голову. — Как я ее любил, это известно одному богу. Никому я не говорил об этом, никому в мире, и не хотел никому говорить… да уж так! «На свете мало, говорят, мне остается жить…»[*] Куда ни шло!

Неожиданное признание Пасынкова до того меня удивило, что я решительно не мог ничего сказать и только думал: «Возможно ли? как же я этого не подозревал?»

— Да, — продолжал он, как бы говоря с самим собою, — я ее любил. Я не перестал ее любить даже тогда, когда узнал, что сердце ее принадлежит Асанову. Но тяжело мне было узнать это! Если б она тебя полюбила, я бы по крайней мере за тебя порадовался; но Асанов… Чем он мог ей понравиться? Его счастье! А изменить своему чувству, разлюбить она уж не могла. Честная душа не меняется…

Я вспомнил посещение Асанова после рокового обеда, вмешательство Пасынкова и невольно всплеснул руками.

— Ты от меня всё это узнал, бедняк! — воскликнул я, — и ты же взялся пойти к ней тогда!

— Да, — заговорил опять Пасынков, — это объяснение с ней… я его никогда не забуду. Вот когда я узнал, вот когда я понял, что значит давно мною избранное слово: Résignation. Но всё же она осталась моей постоянной мечтой, моим идеалом… А жалок тот, кто живет без идеала!

Я глядел на Пасынкова: глаза его, словно устремленные вдаль, блестели лихорадочным блеском.

— Я любил ее, — продолжал он, — я любил ее, ее, спокойную, честную, недоступную, неподкупную; когда она уехала, я чуть не помешался с горя… С тех пор я уж никого не любил…

И вдруг, отвернувшись, он прижал лицо к подушке и тихо заплакал.

Я вскочил, нагнулся к нему и начал утешать его…

— Ничего, — промолвил он, приподняв голову и встряхнув волосами, — это так; немножко горько стало, немножко жалко… себя, то есть… Но всё это ничего. Всё стихи виноваты. Прочти-ка мне другие, повеселее.

Я взял Лермонтова, стал быстро переворачивать страницы; но мне,

как нарочно, всё попадались стихотворения, которые могли опять взволновать Пасынкова. Наконец, я прочел ему «Дары Терека».

— Трескотня риторическая! — проговорил мой бедный друг тоном наставника, — а есть хорошие места. Я, брат, без тебя сам попытался в поэзию пуститься и начал одно стихотворение: «Кубок жизни» — ничего не вышло! Наше дело, брат, сочувствовать, не творить… Однако я что-то устал; сосну-ка я маленько — как ты полагаешь? Экая славная вещь сон, подумаешь! Вся жизнь наша сон, и лучшее в ней опять-таки сон.*

— А поэзия? — спросил я.

— И поэзия сон, только райский.

Пасынков закрыл глаза.

Я постоял немного у его постели. Не думал я, чтоб он мог скоро уснуть, однако дыхание его становилось ровнее и продолжительнее. Я на цыпочках вышел вон, вернулся в свою комнату и лег на диван. Долго думал я о том, что мне сказал Пасынков, припоминал многое, дивился, наконец заснул сам…

Кто-то толкнул меня; я очнулся: передо мной стоял Елисей.

— Пожалуйте к барину, — сказал он.

Я тотчас встал.

— Что с ним?

— Бредит.

— Бредит? А прежде с ним этого не бывало?

— Нет, и в прошедшую ночь бредил, только сегодня что-то страшно.

Я вошел в комнату Пасынкова. Он не лежал, а сидел на своей постели, наклонясь всем туловищем вперед, тихо разводил руками, улыбался и говорил, всё говорил голосом беззвучным и слабым, как шелест тростника. Глаза его блуждали. Печальный свет ночника, поставленного на полу и загороженного книгою, лежал недвижным пятном на потолке; лицо Пасынкова казалось еще бледнее в полумраке.

Я подошел к нему, окликнул его — он не отозвался. Я стал прислушиваться к его лепету: он бредил о Сибири, о ее лесах. По временам был смысл в его бреде.

«Какие деревья! — шептал он, — до самого неба. Сколько на них инею! Серебро… Сугробы… А вот следы маленькие… то зайка скакал, то бел горностай… Нет, это отец пробежал с моими бумагами. Вон он… Вон он! Надо идти; луна светит. Надо идти сыскать бумаги… А! Цветок, алый цветок — там Софья… Вот колокольчики звенят, то

мороз звенит… Ах, нет; это глупые снегири по кустам прыгают, свистят… Вишь, краснозобые! Холодно… А! вот Асанов… Ах да, ведь он пушка — медная пушка, и лафет у него зеленый. Вот отчего он нравится. Звезда покатилась? Нет, это стрела летит. Ах, как скоро, и прямо мне в сердце!.. Кто это выстрелил? Ты, Сонечка?»

Он нагнул голову и начал шептать бессвязные слова. Я взглянул на Елисея: он стоял, заложив руки за спину, и жалостно глядел на своего господина.

— А что, брат, ты сделался практическим человеком? — спросил он вдруг, устремив на меня такой ясный, такой сознательный взгляд, что я невольно вздрогнул и хотел было ответить, но он тотчас же продолжал: — А я, брат, не сделался практическим человеком, не сделался, что ты будешь делать! Мечтателем родился, мечтателем! Мечта, мечта… Что такое мечта? Мужик Собакевича — вот мечта.[*] Ох!..

Почти до самого утра бредил Пасынков; наконец он понемногу утих, опустился на подушку и задремал. Я вернулся к себе в комнату. Измученный жестокою ночью, я заснул крепко.

Елисей опять меня разбудил.

— Ах, батюшка! — заговорил он трепетным голосом. — Мне сдается, Яков Иваныч помирает…

Я побежал к Пасынкову. Он лежал неподвижно. При свете начинавшегося дня он уж казался мертвецом. Он узнал меня.

— Прощай, — прошептал он, — поклонись ей, умираю…

— Яша! — воскликнул я, — полно! ты будешь жить…

— Нет, куда! Умираю… Вот возьми себе на память… (Он указал рукой на грудь.) Что это? — заговорил он вдруг, — посмотри-ка: море… всё золотое, и по нем голубые острова, мраморные храмы, пальмы, фимиам…

Он умолк… потянулся…

Через полчаса его не стало. Елисей с плачем припал к его ногам. Я закрыл ему глаза.

На шее у него была небольшая шелковая ладанка на черном шнурке. Я взял ее к себе.

На третий день его похоронили… Благороднейшее сердце скрылось навсегда в могиле! Я сам бросил на него первую горсть земли.

III

Прошло еще полтора года. Дела заставили меня заехать в Москву.

Я поселился в одной из хороших тамошних гостиниц. Однажды, проходя по коридору, взглянул я на черную доску с именами проезжих и чуть не вскрикнул от изумления: против двенадцатого нумера стояло четко написанное мелом имя Софьи Николаевны Асановой. В последнее время я случайно услышал много нехорошего о ее муже; узнал, что он пристрастился к вину, к картам, разорился и вообще дурно ведет себя. О его жене отзывались с уважением… Не без волнения вернулся я к себе в комнату. Давным-давно застывшая страсть как будто шевельнулась в сердце, и оно забилось. Я решился сходить к Софье Николаевне. «Сколько времени протекло со дня нашей разлуки, — думал я, — она, вероятно, забыла всё, что было тогда между нами».

Я послал к ней Елисея, которого после смерти Пасынкова взял к себе в услужение, с моей визитной карточкой, и велел спросить, дома ли она и могу ли я ее видеть. Елисей скоро вернулся и объявил, что Софья Николаевна дома и принимает.

Я отправился к Софье Николаевне. Когда я вошел к ней, она стояла посреди комнаты и прощалась с каким-то высоким и плотным господином. «Как вы хотите, — говорил он густым и зычным голосом, — он не безвредный человек, он бесполезный человек; а всякий бесполезный человек в благоустроенном обществе вреден, вреден, вреден!»

С этими словами высокий господин вышел. Софья Николаевна обратилась ко мне.

— Как давно мы не видались! — проговорила она. — Сядьте, прошу вас…

Мы сели. Я посмотрел на нее… Увидеть после долгой разлуки черты лица, некогда дорогого, быть может любимого, узнавать их и не узнавать, как будто сквозь прежний, всё еще не забытый облик — выступил другой, хотя похожий, но чуждый; мгновенно, почти невольно заметить следы, наложенные временем, — всё это довольно грустно. «И я, должно быть, также изменился», — думает каждый про себя…

Впрочем, Софья Николаевна не очень постарела; но когда я видел ее в последний раз — ей минул шестнадцатый год, а с тех пор прошло девять лет. Черты лица ее стали еще правильнее и строже; они по-прежнему выражали искренность чувств и твердость; но вместо прежнего спокойствия в них высказывалась какая-то затаенная боль и тревога. Глаза ее углубились и потемнели. Она стала походить на свою мать…

Софья Николаевна первая начала разговор.

— Переменились мы оба, — начала она. — Где вы были всё это время?

— Скитался кой-где, — ответил я. — А вы всё в деревне жили?

— Большею частью в деревне. Я и теперь здесь только проездом.

— Что ваши родители?

— Матушка моя скончалась, а батюшка всё в Петербурге; брат на службе; Варя с ними живет.

— А ваш супруг?

— Мой муж? — заговорила она несколько торопливым голосом, — он теперь в южной России, на ярмарках. Он, вы знаете, всегда любил лошадей и конский завод у себя завел… так вот для этого… он лошадей теперь покупает.

В это мгновенье вошла в комнату девочка лет восьми, причесанная по-китайски, с очень острым и живым личиком, с большими темно-серыми глазами. Увидев меня, она тотчас отставила свою маленькую ножку, проворно присела и подошла к Софье Николаевне.

— Вот, рекомендую вам, моя дочка, — сказала Софья Николаевна, тронув девочку пальцем под кругленький подбородок, — никак не хотела дома остаться — упросила меня взять ее с собой.

Девочка окинула меня своими быстрыми глазами и чуть-чуть прищурилась.

— Она у меня молодец, — продолжала Софья Николаевна, — ничего не боится. И учится хорошо; за это я должна ее похвалить.

— Comment se nomme monsieur?[13] — спросила вполголоса девочка, нагнувшись к матери.

Софья Николаевна назвала меня. Девочка опять на меня взглянула.

— Вас как зовут? — спросил я ее.

— Меня зовут Лидией, — ответила девочка, смело глядя мне в глаза.

— Вас должно быть, балуют, — заметил я.

— Кто меня балует?

— Как кто? да, я думаю, все, начиная с ваших родителей. (Девочка молча посмотрела на свою мать.) Я воображаю, Константин Александрыч… — продолжал я.

— Да, да, — подхватила Софья Николаевна, между тем как дочка ее не спускала с нее внимательного взора, — муж мой, конечно… он очень любит детей.

Странное выражение промелькнуло в умном личике Лидии. Ее губки слегка надулись; она потупилась.

— Скажите, — поспешно прибавила Софья Николаевна, — ведь вы здесь по делам?

— По делам… И вы также?

— И я… В отсутствие мужа, вы понимаете, поневоле займешься делами.

— Maman![14] — начала было Лидия.

— Quoi, mon enfant?[15]

— Non — rien… Je te dirai après[16].

Софья Николаевна усмехнулась и пожала плечом. Мы оба помолчали, а Лидия с важностью скрестила руки на груди.

— Скажите, пожалуйста, — начала опять Софья Николаевна, — помнится, у вас был приятель… как его бишь звали? такое доброе у него было лицо… он всё стихи читал; такой восторженный…

— Не Пасынков ли?

— Да, да, Пасынков… где он теперь?

— Он умер.

— Умер? — повторила Софья Николаевна. — Как жаль!..

— Я его видала? — спросила торопливым шёпотом девочка.

— Нет, Лидия, не видала. Как жаль! — повторила Софья Николаевна.

— Вы жалеете о нем… — начал я, — что ж, если б вы его знали, как я знал его?.. Но позвольте спросить, почему вы заговорили именно о нем?

— Так, не знаю, право… (Софья Николаевна опустила глаза.) Лидия, — прибавила она, — ступай к своей няне.

— Ты меня позовешь, когда можно будет? — спросила девочка.

— Позову.

Девочка вышла. Софья Николаевна обратилась ко мне:

— Расскажите мне, пожалуйста, всё, что вы знаете о Пасынкове.

Я начал рассказывать. Я очертил в кратких словах всю жизнь моего друга, постарался, насколько сумел, изобразить душу его, описал его последнюю встречу со мною, его кончину.

— И вот какой человек, — воскликнул я, оканчивая свой рассказ, — отошел от нас, незамеченный, почти не оцененный! И это бы еще не беда. Что значит людская оценка? Но мне больно, мне обидно то, что такой человек, с таким любящим и преданным сердцем, умер, не испытав ни разу блаженства взаимной любви, не возбудив участия ни в одном женском сердце, его достойном!.. Пускай наш брат не изведает этого блаженства: он его и не стоит; но Пасынков!.. И притом разве не встречал я на своем веку тысячу людей, которые ни в

каком отношении не могли с ним сравниться и которых любили? Неужели же должно думать, что некоторые недостатки в человеке — самоуверенность, например, или легкомыслие — необходимы для того, чтоб женщина к нему привязалась? Или любовь боится совершенства, возможного на земле совершенства, как чего-то чуждого и страшного для нее?

Софья Николаевна выслушала меня до конца, не спуская с меня своих строгих и проницательных глаз и не разжимая губ; только брови ее изредка морщились.

— Почему вы полагаете, — промолвила она, помолчав немного, — что вашего друга ни одна женщина не полюбила?

— Потому, что я это знаю, знаю наверное.

Софья Николаевна хотела было что-то сказать и остановилась. Она, казалось, боролась сама с собой.

— Вы ошибаетесь, — заговорила она наконец, — я знаю женщину, которая горячо полюбила вашего покойного друга; она любит и помнит его до сих пор… И весть о его кончине поразит ее глубоко.

— Кто эта жещина? — позвольте узнать.

— Моя сестра, Варя.

— Варвара Николаевна! — воскликнул я с изумлением.

— Да.

— Как? Варвара Николаевна? — повторил я, — эта…

— Я договорю вашу мысль, — продолжала Софья Николаевна, — эта холодная, равнодушная, вялая, по-вашему, девушка любила вашего друга: оттого она не вышла замуж и не выйдет. До нынешнего дня я одна про это знала: Варя умерла бы скорее, чем выдать свою тайну. В нашей семье мы умеем молчать и терпеть.

Я долго и пристально посмотрел на Софью Николаевну, невольно размышляя о горьком значении ее последних слов.

— Вы меня удивили, — промолвил я наконец. — Но знаете ли, Софья Николаевна, если б я не боялся возбудить в вас неприятных воспоминаний, я тоже в свою очередь мог бы удивить вас…

— Я вас не понимаю, — возразила она медленно и с некоторым смущением.

— Вы точно меня не понимаете, — сказал я, поспешно вставая, — и потому позвольте мне вместо словесного объяснения прислать вам одну вещь…

— Но что такое? — спросила она.

— Не беспокойтесь, Софья Николаевна, речь идет не обо мне.

Я поклонился и вернулся к себе в комнату, достал ладанку, снятую

мною с Пасынкова, и послал ее к Софье Николаевне с следующей запиской:

«Ладанку эту покойный мой друг носил постоянно на груди и скончался с нею. В ней находится одна ваша записка к нему, совершенно незначительная по содержанию; вы можете прочесть ее. Он носил ее потому, что любил вас страстно, в чем он признался мне только накануне своей смерти. Теперь, когда он умер, почему вам не узнать, что и его сердце вам принадлежало?»

Елисей скоро вернулся и принес мне обратно ладанку.

— Что? — спросил я, — она ничего не велела сказать мне?

— Ничего-с.

Я помолчал.

— Прочла она мою записку?

— Должно быть, прочитали-с; ихняя девушка к ним носила.

«Недоступная!» — подумал я, вспомнив последние слова Пасынкова.

— Ну, ступай, — промолвил я громко.

Елисей улыбнулся как-то странно и не вышел.

— К вам-с… — начал он, — пришла одна девушка.

— Какая девушка?

Елисей помолчал.

— Вам покойный барин ничего не говорили-с?

— Нет… Что такое?

— Они, как в Новгороде были, — продолжал он, трогая рукой притолку, — с одной, примерно сказать, девушкой знакомство свели. Так вот эта девушка вас видеть желают-с. Я ее намедни на улице встретил. Я ей сказал: «Приходи; коли барин прикажет, я пущу».

— Проси, проси ее, разумеется. Да что… какая она?

— Простая-с… из мещанок-с… русская.

— Покойный Яков Иваныч любил ее?

— Ничего… любили-с. Ну и она… Как узнала, что барин скончался, очень убивалась. Девушка ничего; хорошая-с.

— Проси ее, проси.

Елисей вышел и тотчас же возвратился. За ним шла девушка в ситцевом пестром платье и с темным платком на голове, до половины закрывавшим ее лицо. Увидев меня, она застыдилась и отвернулась.

— Чего ты? — сказал ей Елисей, — ступай, не бойся.

Я подошел к ней и взял ее за руку.

— Как вас зовут? — спросил я ее.

— Машей, — отвечала она тихим голосом, украдкой взглянув на

меня.

На вид она казалась лет двадцати двух или двадцати трех; лицо имела круглое, довольно простое, но приятное, нежные щеки, кроткие голубые глаза и маленькие, очень красивые и чистые руки. Одета она была опрятно.

— Вы знали Якова Иваныча? — продолжал я.

— Знавала-с, — проговорила она, подергивая кончики платка, и слезы выступили на ее веки…

Я попросил ее сесть.

Она тотчас села на край стула, не чинясь и не жеманясь. Елисей вышел.

— Вы с ним в Новгороде познакомились?

— В Новгороде-с, — отвечала она, заложив обе руки под платок. — Я только третьего дня от Елисея Тимофеича узнала о их кончине-с. Яков Иваныч, как в Сибирь отъехали, писать обещались, и два раза писали, а больше не писали-с. Я бы за ними и в Сибирь поехала, да они не хотели-с.

— У вас в Новгороде есть родственники?

— Есть.

— Вы с ними жили?

— Я жила с матушкой и с сестрой с замужней; а после матушка на меня прогневалась, да и сестре тесно стало: у них детей много; я и переехала. Я всегда надеялась на Якова Иваныча и ничего не желала, как только его видеть, а они со мной завсегда были ласковы — спросите хоть Елисея Тимофеича.

Маша помолчала.

— У меня и письма их есть, — продолжала она. — Вот посмотрите-с.

Она достала из кармана несколько писем и подала мне.

— Прочтите-с, — прибавила она.

Я развернул одно письмо и узнал руку Пасынкова.

«Милая Маша! (писал он крупным, разборчивым почерком) ты вчера прислонилась своей головкой к моей голове, и когда я спросил: зачем ты это делаешь? — ты мне сказала: хочу послушать, о чем вы думаете. Я тебе скажу, о чем я думал: я думал, как хорошо бы выучиться Маше грамоте! Она бы вот это письмо разобрала…»

Маша заглянула в письмо.

— Это они мне еще в Новегороде писали-с, — проговорила она, — когда они меня грамоте учить собирались. Посмотрите другие-с. Там есть одно из Сибири-с. Вот то прочтите-с.

Я прочел письма. Все они были очень ласковы, даже нежны. В одном из них, именно в первом письме из Сибири, Пасынков называл Машу своим лучшим другом, обещался выслать ей деньги на поездку в Сибирь и кончил следующими словами: «Целую твои хорошенькие ручки; у здешних девушек таких ручек нету; да и головы их не чета твоей, и сердца тоже… Читай книжки, которые я тебе подарил, и помни меня, а я тебя не забуду. Ты одна, одна меня любила: так и я ж тебе одной принадлежать хочу…»

— Я вижу, он к вам очень был привязан, — сказал я, возвращая ей письма.

— Они меня очень любили, — возразила Маша, тщательно укладывая письма в карман, и слезы тихонько потекли по ее щекам. — Я всегда на них надеялась, если б господь продлил им веку, они бы не оставили меня. Дай бог им царство небесное!..

Она утерла глаза кончиком платка.

— Где же вы теперь живете? — спросил я.

— Теперь я здесь, в Москве; приехала с барыней, а теперь без места. К Яков Иванычевой тетеньке ходила, да они сами очень бедны. Мне Яков Иваныч часто об вас говаривали-с, — прибавила она, вставая и кланяясь, — они очень вас всегда любили и помнили. Я вот Елисея Тимофеича третьего дня встретила и подумала: не захотите ли вы помочь мне, так как я без места теперь стала.

— С большим удовольствием, Марья… позвольте спросить, как вас по отчеству?

— Петрова, — ответила Маша и потупилась.

— Всё сделаю для вас, что могу, Марья Петровна, — продолжал я, — мне жаль только, что я здесь проездом, мало знаю домов хороших.

Маша вздохнула.

— Мне хоть бы какое-нибудь место-с… Кроить я не умею, а сшить, так всё сошью… Ну, за детьми ходить тоже могу.

«Денег ей дать, — подумал я, — но как это сделать?» — Послушайте, Марья Петровна, — начал я не без замешательства, — вы, пожалуйста, извините меня, но вы из слов Пасынкова знаете, как я был с ним дружен… Не позволите ли вы мне предложить вам… на первый случай небольшую сумму?.. Маша взглянула на меня.

— Чего-с? — спросила она.

— Не нужно ли вам денег? — проговорил я.

Маша покраснела вся и наклонила голову.

— На что мне деньги? — прошептала она. — Лучше мне место

достаньте-с.

— Место я вам постараюсь достать, но наверное отвечать не могу; а вам грешно совеститься, право… Ведь я для вас не чужой какой-нибудь… Примите это от меня на память о нашем друге…

Я отвернулся, поспешно достал из бумажника несколько ассигнаций и подал ей.

Маша стояла неподвижно, еще ниже потупив голову…

— Возьмите же, — твердил я.

Она тихо возвела на меня свои глаза, посмотрела мне в лицо печальным взором, тихо высвободила бледную руку из-под платка и протянула ее мне.

Я положил ассигнации на ее холодные пальцы. Она молча спрятала руку опять под платок и опустила глаза.

— Вы и вперед, Марья Петровна, — продолжал я, — если вам что-нибудь будет нужно, пожалуйста, обращайтесь прямо ко мне. Я вам доставлю мой адрес.

— Покорно благодарствуйте-с, — проговорила она и, помолчав немного, прибавила: — Они с вами обо мне не говорили-с?

— Я с ним встретился накануне его смерти, Марья Петровна. Впрочем, не помню… кажется, говорил.

Маша провела рукой по волосам, слегка подперла щеку, подумала и, сказав: «Прощайте-с», пошла вон из комнаты.

Я сел у стола и принялся думать горькую думу. Эта Маша, ее сношения с Пасынковым, его письма, скрытая любовь к нему сестры Софьи Николаевны… «Бедняк! бедняк!» — шептал я, тяжело вздыхая. Я вспомнил всю жизнь Пасынкова, его детство, его молодость, фрейлейн Фридерику… «Вот, — думал я, — много дала тебе судьба! многим тебя порадовала!»

На другой день я опять пошел к Софье Николаевне. Меня заставили подождать в передней, и, когда я вошел, Лидия уже сидела рядом с своею матерью. Я понял, что Софья Николаевна не желала возобновлять вчерашнего разговора.

Мы начали толковать — право, не помню о чем, о городских слухах, о делах… Лидия часто ввертывала свое словечко и лукаво на меня посматривала. Забавная важность проявлялась вдруг на ее подвижном личике… Умная девочка, должно быть, догадывалась, что мать нарочно посадила ее подле себя.

Я встал и начал прощаться. Софья Николаевна проводила меня до двери.

— Я вам ничего не отвечала вчера, — сказала она, остановясь на

пороге, — да и что было отвечать? Наша жизнь не от нас зависит; но у нас у всех есть один якорь, с которого, если сам не захочешь, никогда не сорвешься: чувство долга.

Я безмолвно наклонил голову в знак согласия и простился с молодой пуританкой.

Весь этот вечер остался я дома, но я не думал о ней: я думал, всё думал о моем милом, незабвенном Пасынкове — об этом последнем из романтиков, и чувства, то грустные, то нежные, проникали с сладостной болью в грудь мою, звучали в струнах еще не совсем устаревшего сердца… Мир праху твоему, непрактический человек, добродушный идеалист! И дай бог всем практическим господам, которым ты всегда был чужд и которые, может быть, даже посмеются теперь над твоею тенью, дай им бог изведать хотя сотую долю тех чистых наслаждений, которыми, наперекор судьбе и людям, украсилась твоя бедная и смиренная жизнь!

Фауст

Рассказ в девяти письмах

Entbehren sollst du, sollst entbehren[17].
«Фауст» (часть 1-я).

Письмо первое

От Павла Александровича Б… к Семену Николаевичу В…

Сельцо М…ое, 6 июня 1850.

Четвертого дня прибыл я сюда, любезный друг, и, по обещанию, берусь за перо и пишу к тебе. Мелкий дождь сеет с утра: выйти невозможно; да и мне же хочется поболтать с тобой. Вот я опять в своем старом гнезде, в котором не был — страшно вымолвить — целых девять лет. Чего, чего не перебывало в эти девять лет! Право, как подумаешь, я точно другой человек стал. Да и в самом деле другой: помнишь ты в гостиной маленькое, темненькое зеркальце моей прабабушки, с такими странными завитушками по углам, — ты всё, бывало, раздумывал о том, что оно видело сто лет тому назад, — я, как только приехал, подошел к нему и невольно смутился. Я вдруг увидел, как я постарел и переменился в последнее время. Впрочем, не я один постарел. Домишко мой, уже давно ветхий, теперь чуть держится, весь покривился, врос в землю. Добрая моя Васильевна, ключница (ты ее, наверно, не забыл: она тебя таким славным вареньем потчевала), совсем высохла и сгорбилась; увидав меня, она даже вскрикнуть не могла и не заплакала, а только заохала и раскашлялась, села в изнеможении на стул и замахала рукою. Старик Терентий еще бодрится, по-прежнему держится прямо и на ходу выворачивает ноги, вдетые в те же самые желтые нанковые панталошки и обутые- в те же самые скрыпучие козловые башмаки, с высоким подъемом и бантиками, от которых ты не однажды приходил в умиление… Но, боже мой! — как болтаются теперь эти панталошки на его худеньких ногах! как волосы у него побелели! и лицо совсем съежилось в кулачок; а когда он заговорил со мной, когда он начал распоряжаться и отдавать приказания в соседней комнате, мне и смешно и жалко его стало. Все зубы у него пропали, и он шамкает с присвистом и шипеньем. Зато сад удивительно похорошел: скромные кустики сирени, акации, жимолости (помнишь, мы их с тобой сажали) разрослись в великолепные сплошные кусты; березы, клены — всё это вытянулось и раскинулось; липовые аллеи особенно хороши стали. Люблю я эти аллеи, люблю серозеленый нежный цвет и тонкий запах

воздуха под их сводами; люблю пестреющую сетку светлых кружков по темной земле — песку у меня, ты знаешь, нету. Мой любимый дубок стал уже молодым дубом. Вчера, среди дня, я более часа сидел в его тени на скамейке. Мне очень хорошо было. Кругом трава так весело цвела; на всем лежал золотой свет, сильный и мягкий; даже в тень проникал он… А что слышалось птиц! Ты, я надеюсь, не забыл, что птицы — моя страсть. Горлинки немолчно ворковали, изредка свистала иволга, зяблик выделывал свое милое коленце, дрозды сердились и трещали, кукушка отзывалась вдали; вдруг, как сумасшедший, пронзительно кричал дятел. Я слушал, слушал весь этот мягкий, слитный гул, и пошевельнуться не хотелось, а на сердце не то лень, не то умиление. И не один сад вырос: мне на глаза беспрестанно попадаются плотные, дюжие ребята, в которых я никак не могу признать прежних знакомых мальчишек. А твой фаворит, Тимоша, стал теперь таким Тимофеем, что ты себе представить не можешь. Ты тогда боялся за его здоровье и предсказывал ему чахотку; а посмотрел бы ты теперь на его огромные красные руки, как они торчат из узеньких рукавов нанкового сюртука, и какие у него повсюду выпираются круглые и толстые мышцы! Затылок, как у быка, и голова вся в крутых белокурых завитках — совершенный Геркулес Фарнезский!* Впрочем, лицо его изменилось меньше, чем у других, даже не очень увеличилось в объеме, и веселая, как ты говорил, «зевающая» улыбка осталась та же. Я его взял к себе в камердинеры; своего петербургского я бросил в Москве: очень уж он любил стыдить меня и давать чувствовать свое превосходство в столичном обращении. Собак моих я не нашел ни одной; все перевелись. Одна Нефка дольше всех жила — и та не дождалась меня,* как Аргос дождался Улисса; не пришлось ей увидеть бывшего хозяина и товарища по охоте своими потускневшими глазами. А Шавка цела и так же лает сипло, и одно ухо так же прорвано, и репейники в хвосте, как быть следует. Я поселился в бывшей твоей комнатке. Правда, солнце в нее ударяет, и мух в ней много; зато меньше пахнет старым домом, чем в остальных комнатах. Странное дело! этот затхлый, немного кислый и вялый запах сильно действует на мое воображение: не скажу, чтобы он был мне неприятен, напротив; но он возбуждает во мне грусть, а наконец унылость. Я, так же как и ты, очень люблю старые пузатые комоды с медными бляхами, белые кресла с овальными спинками и кривыми ножками, засиженные мухами стеклянные люстры, с большим яйцом из лиловой фольги посередине, — словом, всякую дедовскую мебель; но постоянно

видеть всё это не могу: какая-то тревожная скука (именно так!) овладеет мною. В комнате, где я поселился, мебель самая обыкновенная, домодельщина; однако я оставил в углу узкий и длинный шкаф с полочками, на которых сквозь пыль едва виднеется разная старозаветная дутая посуда из зеленого и синего стекла; а на стене я приказал повесить, помнишь, тот женский портрет, в черной раме, который ты называл портретом Манон Леско[*]. Он немного потемнел в эти девять лет; но глаза глядят так же задумчиво, лукаво и нежно, губы так же легкомысленно и грустно смеются, и полуощипанная роза так же тихо валится из тонких пальцев. Очень забавляют меня шторы в моей комнате. Они когда-то были зеленые, но пожелтели от солнца: по ним черными красками написаны сцены из д'арленкуровского «Пустынника»[*]. На одной шторе этот пустынник, с огромнейшей бородой, глазами навыкате и в сандалиях, увлекает в горы какую-то растрепанную барышню; на другой — происходит ожесточенная драка между четырьмя витязями в беретах и с буфами на плечах; один лежит, en raccourci[18], убитый — словом, все ужасы представлены, а кругом такое невозмутимое спокойствие, и от самых штор ложатся такие кроткие отблески на потолок… Какая-то душевная тишь нашла на меня с тех пор, как я здесь поселился; ничего не хочется делать, никого не хочется видеть, мечтать не о чем, лень мыслить; но думать не лень: это две вещи разные, как ты сам хорошо знаешь. Воспоминания детства сперва нахлынули на меня… куда я ни шел, на что ни взглядывал, они возникали отовсюду, ясные, до малейших подробностей ясные, и как бы неподвижные в своей отчетливой определенности… Потом эти воспоминания сменились другими, потом… потом я тихонько отвернулся от прошедшего, и только осталось у меня в груди какое-то дремотное бремя. Вообрази! сидя на плотине, под ракитой, я вдруг неожиданно заплакал и долго бы проплакал, несмотря на свои уже преклонные лета, если бы не устыдился проходившей бабы, которая с любопытством посмотрела на меня, потом, не обращая ко мне лица, прямо и низко поклонилась и прошла мимо. Я бы очень желал остаться в таком настроении (плакать, разумеется, я уже больше не буду) до самого моего отъезда отсюда, то есть до сентября месяца, и очень был бы огорчен, если б кто-нибудь из соседей вздумал посетить меня. Впрочем, опасаться этого, кажется, нечего; у меня же и нет близких соседей. Ты, я уверен, поймешь меня; ты знаешь сам по опыту, как часто бывает благотворно уединение… Оно мне нужно теперь, после всяческих странствований.

А скучать я не буду. Я привез с собой несколько книг, и здесь у

меня библиотека порядочная. Вчера я раскрыл все шкафы и долго рылся в заплесневших книгах. Я нашел много любопытных, прежде мною не замеченных вещей: «Кандида» в рукописном переводе 70-х годов*; ведомости и журналы того же времени; «Торжествующего хамелеона» (то есть Мирабо)*; «Le Paysan perverti»*[19] и т. д. Попались мне детские книжки, и мои собственные, и моего отца, и моей бабки, и даже, представь себе, моей прабабки: на одной ветхой-ветхой французской грамматике, в пестром переплете, написано крупными буквами: Ce livre appartient à m-lle Eudoxie de Lavrine[20] и выставлен год — 1741. Я увидал книги, привезенные мною когда-то из-за границы, между прочим гётевского «Фауста». Тебе, может быть, неизвестно, что, было время, я знал «Фауста» наизусть (первую часть, разумеется) от слова до слова; я не мог начитаться им… Но другие дни — другие сны, и в течение последних девяти лет мне едва ли пришлось взять Гёте в руки. С каким неизъяснимым чувством увидал я маленькую, слишком мне знакомую книжку (дурного издания 1828 года).* Я унес ее с собою, лег на постель и начал читать. Как подействовала на меня вся великолепная первая сцена! Появление Духа Земли, его слова, помнишь: «На жизненных волнах, в вихре творения», возбудили во мне давно не изведанный трепет и холод восторга. Я вспомнил всё: и Берлин, и студенческое время, и фрейлейн Клару Штих*, и Зейдельманна в роли Мефистофеля*, и музыку Радзивилла* и всё и вся… Долго не мог я заснуть: моя молодость пришла и стала передо мною, как призрак; огнем, отравой побежала она по жилам, сердце расширилось и не хотело сжаться, что-то рвануло по его струнам, и закипели желания…

Вот каким грезам предавался твой почти сорокалетний друг, сидя, одинокий, в своем одиноком домишке! Что, если бы кто подсмотрел меня? Ну, так что ж? Я бы нисколько не устыдился. Стыдиться — это тоже признак молодости; а я, знаешь ли, почему стал замечать, что старею? Вот почему. Я теперь стараюсь преувеличивать перед самим собою свои веселые ощущения и укрощать грустные, а в дни молодости я поступал совершенно наоборот. Бывало, носишься с своей грустью, как с кладом, и совестишься веселого порыва…

А все-таки мне кажется, что, несмотря на весь мой жизненный опыт, есть еще что-то такое на свете, друг Горацио, чего я не испытал*, и это «что-то» — чуть ли не самое важное.

Эх, до чего я дописался! Прощай! До другого раза. Что ты делаешь в Петербурге? Кстати: Савелий, мой деревенский повар, велит тебе кланяться. Он тоже постарел, но не слишком, потолстел и обрюзг

немного. Так же хорошо делает куриные супы с разварными луковицами, ватрушки с узорчатой каймой и пигус — знаменитое степное блюдо пигус, от которого у тебя язык побелел и стоял колом в течение целых суток. Зато жареное он по-прежнему засушивает так, что хоть стучи им по тарелке — настоящий картон. Однако прощай!

Твой П. Б.

Письмо второе

От того же к тому же

Сельцо М…ое, 12 июня 1850.

Имею сообщить тебе довольно важную новость, любезный друг. Слушай! Вчера, перед обедом, захотелось мне погулять — только не в саду; я пошел по дороге в город. Идти без всякой цели быстрыми шагами по длинной прямой дороге — очень приятно. Точно дело делаешь, спешишь куда-то. Смотрю: едет навстречу коляска. «Не ко мне ли?» — подумал я с тайным страхом… Однако нет: в коляске сидит господин с усами, мне незнакомый. Я успокоился. Но вдруг этот господин, поравнявшись со мною, велит кучеру остановить лошадей, учтиво приподнимает фуражку и еще учтивее спрашивает меня: не я ли такой-то? — называя меня по имени. Я, в свою очередь, останавливаюсь и с бодростью подсудимого, которого ведут к допросу, отвечаю: «Я такой-то», а сам гляжу, как баран, на господина с усами и думаю про себя: «А ведь я его видал где-то!»

— Вы меня не узнаёте? — произносит он, вылезая между тем из коляски.

— Никак нет-с.

— А я так узнал вас тотчас.

Слово за слово: оказывается, что это был Приимков, помнишь, бывший наш университетский товарищ. «Что же это за важная новость? — думаешь ты в это мгновение, любезный Семен Николаич. — Приимков, сколько мне помнится, малый был довольно пустой, хотя не злой и не глупый». Всё так, дружище, но слушай продолжение разговора.

— Я, говорит, очень обрадовался, когда услыхал, что вы приехали в свою деревню, к нам в соседство. Впрочем, не я один обрадовался.

— Позвольте узнать, — спросил я, — кто же еще был так любезен…

— Моя жена.

— Ваша жена!

— Да, моя жена: она ваша старая знакомая.

— А позвольте узнать, как зовут вашу супругу?

— Ее зовут Верой Николаевной; она Ельцова урожденная…

— Вера Николаевна! — восклицаю я невольно…

Вот это-то и есть самая та важная новость, о которой я говорил тебе в начале письма.

Но, может быть, ты и в этом ничего не находишь важного… Придется мне рассказать тебе кое-что из моей прошедшей… давно прошедшей жизни.

Когда мы вместе с тобой вышли из университета в 183… году, мне было двадцать три года. Ты поступил на службу; я, как тебе известно, решился отправиться в Берлин. Но в Берлине раньше октября нечего было делать. Мне захотелось провести лето в России, в деревне, полениться хорошенько в последний раз, а там уже приняться за работу не шутя. Насколько сбылось это последнее предположение, об этом теперь распространяться нечего… «Но где мне провести лето?» — спрашивал я себя. В свою деревню мне ехать не хотелось: отец мой недавно скончался, близких родных у меня не было, я боялся одиночества, скуки… А потому я с радостью принял предложение одного моего родственника, двоюродного дяди, погостить у него в имении, в Т***ой губернии. Он был человек зажиточный, добрый и простой, жил барином и палаты имел барские. Я поселился у него. Семейство у дяди было большое: два сына и пять дочерей. Кроме того, в доме у него проживало пропасть народу. Гости беспрестанно наезжали — а все-таки весело не было. Дни протекали шумно, уединиться не было возможности. Всё делалось сообща, все старались чем-нибудь рассеяться, что-нибудь придумать, и к концу дня все уставали страшно. Пошлым чем-то отзывалась эта жизнь. Я уже начинал мечтать об отъезде и ждал только, чтобы прошли дядины именины, но в самый день этих именин на бале я увидел Веру Николаевну Ельцову — и остался.

Ей было тогда шестнадцать лет. Она жила с своею матерью в маленьком именьице, верстах в пяти от моего дяди. Отец ее — человек, говорят, весьма замечательный — быстро достиг полковничьего чина и пошел бы еще далее, но погиб в молодых летах, нечаянно застреленный на охоте товарищем. Вера Николаевна осталась после него ребенком. Мать ее была тоже женщина необыкновенная: она говорила на нескольких языках, много знала. Она была семью или восемью годами старше своего мужа, за которого вышла по любви; он тайно увез ее из родительского дома. Она едва перенесла его потерю и до самой смерти (по словам Приимкова, она

умерла скоро после свадьбы дочери) носила одни черные платья. Я живо помню ее лицо: выразительное, темное, с густыми, поседелыми волосами, большими, строгими, как бы потухшими глазами и прямым тонким носом. Ее отец — фамилия его была Ладанов — лет пятнадцать прожил в Италии. Мать Веры Николаевны родилась от простой крестьянки из Альбано, которую на другой день после ее родов убил трастеверинец, ее жених, у которого Ладанов ее похитил… Эта история в свое время наделала много шуму. Вернувшись в Россию, Ладанов не только из дома, из кабинета своего не выходил, занимался химией, анатомией, кабалистикой, хотел продлить жизнь человеческую, воображал, что можно вступать в сношения с духами, вызывать умерших… Соседи считали его за колдуна. Он чрезвычайно любил дочь свою, сам учил ее всему, но не простил ей ее побега с Ельцовым, не пустил к себе на глаза ни ее, ни ее мужа, предсказал им обоим жизнь печальную и умер один. Оставшись вдовою, г-жа Ельцова посвятила весь свой досуг на воспитание дочери и почти никого не принимала. Когда я познакомился с Верой Николаевной, она, представь себе, ни в одном городе не бывала отроду, даже в своем уездном.

Вера Николаевна не походила на обыкновенных русских барышень: на ней лежал какой-то особый отпечаток. Меня с первого раза поразило в ней удивительное спокойствие всех ее движений и речей. Она, казалось, ни о чем не хлопотала, не тревожилась, отвечала просто и умно, слушала внимательно. Выражение ее лица было искреннее и правдивое, как у ребенка, но несколько холодно и однообразно, хотя и не задумчиво. Веселою она бывала редко и не так, как другие: ясность невинной души, отраднее веселости, светилась во всем ее существе. Она была небольшого роста, очень хорошо сложена, немного тонка, черты имела правильные и нежные, прекрасный ровный лоб, золотисто-русые волосы, нос прямой, как у матери, довольно полные губы; серые с чернотой глаза глядели как-то слишком прямо из-под пушистых, кверху загнутых ресниц. Руки у ней были невелики, но не очень красивы: у людей с талантами таких рук не бывает… и действительно, за Верой Николаевной никаких особенных талантов не водилось. Голос у ней звенел, как у семилетней девочки. Я на бале у дяди был представлен ее матери и, несколько дней спустя, в первый раз поехал к ним.

Г-жа Ельцова была женщина очень странная, с характером, настойчивая и сосредоточенная. На меня она имела влияние сильное: я и уважал ее и побаивался ее. Всё у ней делалось по системе, и дочь

свою она воспитала по системе, но не стесняла ее свободы. Дочь любила ее и верила ей слепо. Стоило г-же Ельцовой дать ей книжку и сказать: вот этой страницы не читай — она скорее предыдущую страницу пропустит, а уж не заглянет в запрещенную. Но и у г-жи Ельцовой были свои idées fixes[21], свои коньки. Она, например, как огня боялась всего, что может действовать на воображенье; а потому ее дочь до семнадцатилетнего возраста не прочла ни одной повести, ни одного стихотворения, а в географии, истории и даже в естественной истории частенько ставила в тупик меня, кандидата, и кандидата не из последних, как ты, может быть, помнишь. Я было раз попытался потолковать с г-жой Ельцовой об ее коньке, хотя трудно было вовлечь ее в разговор: она очень была молчалива. Она только головой покачала.

— Вы говорите, — сказала она наконец, — читать поэтические произведения *и* полезно *и* приятно… Я думаю, надо заранее выбрать в жизни: *или* полезное, *или* приятное, и так уже решиться, раз навсегда. И я когда-то хотела соединить и то и другое… Это невозможно и ведет к гибели или к пошлости.

Да, удивительное существо была эта женщина, существо честное, гордое, не без фанатизма и суеверия своего рода. «Я боюсь жизни», — сказала она мне однажды. И точно, она ее боялась, боялась тех тайных сил, на которых построена жизнь и которые изредка, но внезапно пробиваются наружу. Горе тому, над кем они разыграются! Страшно сказались эти силы Ельцовой: вспомни смерть ее матери, ее мужа, ее отца… Это хотя бы кого запугало. Я не видал, чтоб она когда-нибудь улыбнулась. Она как будто заперлась на замок и ключ бросила в воду. Она, должно быть, много горя перенесла на своем веку и никогда ни с кем не поделилась им: всё в себе затаила. Она до того приучила себя не давать воли своим чувствам, что даже стыдилась выказывать страстную любовь свою к дочери; она ни разу не поцеловала ее при мне, никогда не называла ее уменьшительным именем, всегда — Вера. Помню одно ее слово; я как-то сказал ей, что все мы, современные люди, надломленные… «Надламывать себя не для чего, — промолвила она, — надо всего себя переломить или уж не трогать…»

Весьма немногие ездили к Ельцовой; но я посещал ее часто. Я втайне сознавал, что она ко мне благоволила; а Вера Николаевна мне очень нравилась. Мы с ней разговаривали, гуляли… Мать не мешала нам; сама дочь не любила быть без матери, и я, с своей стороны, тоже не чувствовал потребности уединенной беседы. У Веры Николаевны была странная привычка думать вслух; по ночам она во сне громко и

явственно говорила о том, что ее поразило в течение дня. Однажды, поглядев на меня внимательно и, по обыкновению своему, тихонько подпершись рукою, она сказала: «Мне сдается, что Б. хороший человек; но положиться на него нельзя». Отношения между нами были самые дружелюбные и ровные; только однажды мне показалось, что я подметил там, где-то далеко, в самой глубине ее светлых глаз, что-то странное, какую-то негу и нежность… Но, может быть, я ошибся.

Между тем время шло, и мне уже пора было собираться в отъезд. Но я всё медлил. Бывало, как подумаю, как вспомню, что скоро я не увижу более этой милой девушки, к которой я так привязался, — жутко мне станет… Берлин начинал терять свою притягательную силу. Я не смел самому себе сознаться в том, что во мне происходило, да я и не понимал, что происходило во мне, — точно туман бродил в душе. Наконец, в одно утро мне вдруг всё стало ясно. «Чего еще искать, — подумал я, — куда стремиться? Ведь истина все-таки в руки не дастся. Не остаться ли лучше здесь, не жениться ли?» И, вообрази себе, эта мысль о женитьбе нисколько не испугала меня тогда. Напротив, я обрадовался ей. Мало того: в тот же день я объявил о своем намерении, только не Вере Николаевне, как бы следовало ожидать, а самой Ельцовой. Старуха посмотрела на меня.

— Нет, — сказала она, — мой милый, поезжайте в Берлин, надломитесь-ка еще. Вы добры; но не такой муж нужен для Веры.

Я потупился, покраснел и, что тебя, вероятно, удивит еще более, тотчас же внутренне согласился с Ельцовой. Через неделю я уехал и с тех пор уже не видал ни ее, ни Веры Николаевны.

Я описал тебе мои похождения вкратце, потому что знаю, ты не любишь ничего «пространственного». Приехав в Берлин, я очень скоро забыл Веру Николаевну… Но, признаюсь, неожиданное известие о ней меня взволновало. Меня поразила мысль, что она так близко, что она моя соседка, что я ее на днях увижу. Прошедшее, словно из земли, внезапно выросло передо мною, так и надвинулось на меня. Приимков объявил мне, что посетил меня именно с целью возобновить наше старинное знакомство и что он надеется в самом скором времени увидать меня у себя. Он мне сообщил, что служил в кавалерии, вышел в отставку поручиком, купил имение в восьми верстах от меня и намерен заниматься хозяйством, что у него было трое детей, но что двое умерли, осталась пятилетняя дочь.

— И жена ваша меня помнит? — спросил я.

— Да, помнит, — отвечал он с небольшой запинкой. — Конечно, она тогда была еще, можно сказать, ребенок; но ее матушка вас всегда

очень хвалила, а вы знаете, как она дорожит каждым словом покойницы.

Пришли мне на память слова Ельцовой, что я не гожусь для ее Веры… «Стало быть, *ты* годился», — подумал я, сызбока посматривая на Приимкова. Он у меня пробыл несколько часов. Он очень хороший, милый малый, так скромно говорит, так добродушно смотрит; его нельзя не полюбить… но умственные способности его не развились с тех пор, как мы его знали. Я непременно к нему поеду, может быть, завтра же. Чрезвычайно любопытно мне посмотреть, что такое вышло из Веры Николаевны?

Ты, злодей, вероятно, смеешься теперь надо мною, сидя за своим директорским столом; а я все-таки тебе напишу, какое впечатление она произведет на меня. Прощай! До следующего письма.

Твой *П. Б.*

Письмо третье

От того же к тому же

Сельцо М…ое, 16 июня 1850.

Ну, брат, был я у ней, видел ее. Прежде всего должен сообщить тебе удивительное обстоятельство: верь мне или не верь, как хочешь, но она почти ничего не изменилась ни в лице, ни в стане. Когда она вышла мне навстречу, я чуть не ахнул: семнадцатилетняя девочка, да и полно! Только глаза не как у девочки; впрочем, у ней и в молодости глаза были не детские, слишком светлы. Но то же спокойствие, та же ясность, голос тот же, ни одной морщинки на лбу, точно она все эти годы пролежала где-нибудь в снегу. А ей теперь двадцать восемь лет, и трое детей у ней было… Непонятно! Ты, пожалуйста, не думай, что я из предубежденья преувеличиваю; напротив, мне эта «неизменность» в ней вовсе не понравилась.

Женщина в двадцать восемь лет, жена и мать, не должна походить на девочку: недаром же она жила. Она очень приветливо меня встретила; но Приимкова мой приезд просто обрадовал: этот добряк так и смотрит, как бы к кому привязаться. Дом у них очень уютный и чистый. Вера Николаевна и одета была девочкой: вся в белом, с голубым поясом и тоненькой золотой цепочкой на шее. Ее дочка очень мила и на нее нисколько не похожа; она напоминает свою бабку. В гостиной, над диваном, висит портрет этой странной женщины, поразительно схожий. Он мне бросился в глаза, как только я вошел. Казалось, она строго и внимательно смотрела на меня. Мы уселись, вспомнили про старину и понемногу разговорились. Я поневоле то и

дело взглядывал на сумрачный портрет Ельцовой. Вера Николаевна сидела прямо под ним: это ее любимое место. Представь мое изумление: Вера Николаевна до сих пор не прочла ни одного романа, ни одного стихотворения — словом, ни одного, как она выражается, выдуманного сочинения! Это непостижимое равнодушие к возвышеннейшим удовольствиям ума меня рассердило. В женщине умной и, сколько я могу судить, тонко чувствующей это просто непростительно.

— Что же, — спросил я, — вы положили себе за правило никогда таких книг не читать?

— Не пришлось, — отвечала она, — некогда было.

— Некогда! Я удивляюсь! Хоть бы вы, — продолжал я, обратившись к Приимкову, — приохотили вашу жену.

— Я с удовольствием… — начал было Приимков, но Вера Николаевна его перебила.

— Не притворяйся: ты сам небольшой охотник до стихов.

— До стихов, точно, — начал он, — я не очень; но романы, например…

— Да что же вы делаете, чем вы занимаетесь по вечерам? — спросил я, — в карты играете?

— Иногда играем, — отвечала она, — да мало ли есть чем заняться? Мы тоже читаем: есть хорошие сочинения, кроме стихов.

— Что вы на стихи так нападаете?

— Я на них не нападаю: я с детства привыкла не читать этих выдуманных сочинений; матушке так было угодно, а я чем больше живу, тем больше убеждаюсь в том, что всё, что матушка ни делала, всё, что она ни говорила, была правда, святая правда.

— Ну, как вы хотите, а я с вами согласиться не могу: я убежден, что вы напрасно лишаете себя самого чистого, самого законного наслаждения. Ведь вы не отвергаете музыки, живописи: отчего же вы отвергаете поэзию?

— Я ее не отвергаю: я до сих пор с ней не познакомилась — вот и всё.

— Так я возьмусь за это! Ведь ваша матушка не на всю жизнь запретила вам знакомство с произведениями изящной словесности?

— Нет; как я вышла замуж, матушка сняла с меня всякое запрещение; мне самой в мысли не приходило читать… как вы это сказали?.. ну, словом, читать романы.

Я с недоумением слушал Веру Николаевну: я этого не ожидал.

Она смотрела на меня своим спокойным взором. Птицы так

смотрят, когда не боятся.

— Я вам принесу книгу! — воскликнул я. (У меня в голове мелькнул недавно мной прочтенный «Фауст».)

Вера Николаевна тихонько вздохнула.

— Это… это не будет Жорж Санд? — спросила она не без робости.

— А! значит, вы слыхали о ней? Ну, хоть бы она, что же за беда?.. Нет, я вам принесу другого автора. Ведь вы по-немецки не забыли?

— Нет, не забыла.

— Она говорит, как немка, — подхватил Приимков.

— Ну и прекрасно! Я вам принесу… да вот вы увидите, какую я вам удивительную вещь принесу.

— Ну, хорошо, увижу. А теперь пойдемте в сад, а то Наташе на месте не сидится.

Она надела круглую соломенную шляпу, детскую шляпу, точно такую же, какую надела ее дочь, только побольше немного, и мы отправились в сад. Я шел с ней рядом. На свежем воздухе, в тени высоких лип ее лицо мне показалось еще милее, особенно когда она слегка поворачивалась и закидывала голову, чтоб посмотреть на меня из-под края шляпки. Если бы не шедший за нами Приимков, если бы не прыгавшая перед нами девочка, я бы, право, мог подумать, что мне не тридцать пять лет, а двадцать три года; что я только собираюсь еще в Берлин, тем более что и сад, в котором мы находились, весьма походил на сад в имении Ельцовой. Я не удержался и передал мое впечатление Вере Николаевне.

— Мне все говорят, что я наружно мало изменилась, — отвечала она, — впрочем, я и внутренно осталась та же.

Мы подошли к небольшому китайскому домику.

— Вот такого домика у нас в Осиновке не было, — сказала она, — но вы не смотрите, что он так обвалился и полинял: внутри очень хорошо и прохладно.

Мы вошли в домик. Я оглянулся.

— Знаете ли что, Вера Николаевна, — промолвил я, — велите к моему приезду принести сюда стол и несколько стульев. Здесь в самом деле чудесно. Я вам здесь прочту… Гётева «Фауста»… вот какую вещь я вам прочту.

— Да, здесь мух нет, — заметила она простодушно, — а когда вы приедете?

— Послезавтра.

— Хорошо, — возразила она, — прикажу.

Наташа, которая вместе с нами вошла в домик, вдруг вскрикнула и

отскочила вся бледная.

— Что такое? — спросила Вера Николаевна.

— Ах, мама, — проговорила девочка, указывая в угол пальцем, — посмотри, какой страшный паук!..

Вера Николаевна взглянула в угол — большой пестрый паук тихо всползал по стене.

— Чего же тут бояться? — сказала она, — он не кусается, посмотри.

И, прежде чем я успел остановить ее, она взяла безобразное насекомое в руку, дала ему побегать по ладони и выбросила его вон.

— Ну, какая же вы храбрая! — воскликнул я.

— В чем же тут храбрость? Этот паук не из ядовитых.

— Видно, вы по-прежнему сильны в естественной истории; а я бы его в руки не взял.

— Его нечего бояться, — повторила Вера Николаевна.

Наташа молча посмотрела на нас обоих и усмехнулась.

— Как она похожа на вашу матушку! — заметил я.

— Да, — возразила Вера Николаевна с улыбкой удовольствия, — это меня очень радует. Дай бог, чтобы она не одним лицом на нее походила!

Нас позвали обедать, и после обеда я уехал. NB. Обед был очень хорош и вкусен — это я в скобках замечаю для тебя, объедало! Завтра я к ним свезу «Фауста». Боюсь я, как бы мы со стариком Гёте не провалились. Опишу тебе всё подробно.

Ну, а теперь что ты думаешь обо всех «сих происшествиях»? Небось, — что она произвела на меня сильное впечатление, что я готов влюбиться и т. д.? Пустяки, брат! Пора и честь знать. Довольно подурачился; полно! Не в мои годы начинать жизнь сызнова. Притом же мне и прежде не такие женщины нравились… Впрочем, какие женщины мне нравились!!

Я содрогаюсь — сердцу больно —*
Мне стыдно идолов моих.

Во всяком случае, я очень рад этому соседству, рад возможности видеться с умным, простым, светлым существом; а что будет дальше, узнаешь в свое время.

Твой *П. Б.*

Письмо четвертое

От того же к тому же

Сельцо М…ое, 20 июня 1850.

Чтение произошло вчера, милый друг, и как именно, о том следуют пункты. Прежде всего спешу сказать: успех неожиданный… то есть «успех» — не то слово… Ну, слушай. Я приехал к обеду. За столом нас было шестеро: она, Приимков, дочка, гувернантка (незначительная белая фигурка), я и какой-то старый немец, в коротеньком коричневом фраке, чистый, выбритый, потертый, с самым смирным и честным лицом, с беззубой улыбкой, с запахом цикорного кофе… все старые немцы так пахнут. Меня с ним познакомили: это был некто Шиммель, учитель немецкого языка у соседей Приимкова, князей Х…х. Вера Николаевна, кажется, благоволит к нему и пригласила его присутствовать на чтении. Мы обедали поздно и долго не выходили из-за стола, потом гуляли. Погода была чудесная. Утром шел дождь и ветер шумел, а к вечеру всё утихло. Мы вместе с нею вышли на открытую поляну. Прямо над поляной легко и высоко стояло большое розовое облако; как дым, тянулись по нем серые полосы; на самом краю его, то показываясь, то исчезая, дрожала звездочка, а немного подалее виднелся белый серп месяца на слегка поалевшей лазури. Я указал Вере Николаевне на это облако.

— Да, — сказала она, — это прекрасно, но посмотрите-ка сюда.

Я оглянулся. Закрывая собою заходившее солнце, вздымалась огромная темно-синяя туча; видом своим она представляла подобие огнедышащей горы; ее верх широким снопом раскидывался по небу; яркой каймой окружал ее зловещий багрянец и в одном месте, на самой середине, пробивал насквозь ее тяжелую громаду, как бы вырываясь из раскаленного жерла…

— Быть грозе, — заметил Приимков.

Но я отдаляюсь от главного. Я в последнем письме забыл тебе сказать, что, приехав домой от Приимковых, я раскаивался, что назвал именно «Фауста»; для первого раза Шиллер гораздо бы лучше годился, уж коли дело пошло на немцев. Особенно пугали меня первые сцены до знакомства с Гретхен; насчет Мефистофеля я тоже не был покоен. Но я находился под влиянием «Фауста» и ничего другого не мог бы прочесть с охотой. Когда уже совсем стемнело, мы отправились в китайский домик; его накануне привели в порядок. Прямо против двери, перед диванчиком, стоял круглый стол, покрытый ковром; кругом расставлены были кресла и стулья; на столе горела лампа. Я сел на диванчик, достал книжку. Вера Николаевна поместилась на креслах несколько поодаль, недалеко от двери. За дверью, среди тьмы, выставлялась, слегка качаясь, зеленая ветка акации, освещенная

лампой; изредка вливалась в комнату струя ночного воздуха. Приимков сел близ меня у стола, немец возле него. Гувернантка осталась с Наташей в доме. Я произнес небольшую вступительную речь: упомянул о старинной легенде доктора Фауста,[*] о значении Мефистофеля, о самом Гёте и попросил остановить меня, если что покажется непонятным. Потом я откашлянулся… Приимков спросил меня, не нужно ли мне воды с сахаром и, по всему можно было заметить, остался очень собой доволен, что сделал мне этот вопрос. Я отказался. Глубокое молчание воцарилось. Я начал читать, не поднимая глаз; мне было неловко, сердце билось, и голос дрожал. Первое восклицание сочувствия вырвалось у немца, и в продолжение чтения он один нарушал тишину… «Удивительно! возвышенно! — твердил он, изредка прибавляя: — А вот это глубоко». Приимков, как я мог заметить, скучал: по-немецки понимал он довольно плохо и сам сознавался, что стихов не любит!.. Вольно ж было ему! Я за столом хотел было намекнуть, что чтение может обойтись без него, да посовестился. Вера Николаевна не шевелилась; раза два я украдкой взглянул на нее: глаза ее внимательно и прямо были устремлены на меня; ее лицо мне показалось бледным. После первой встречи Фауста с Гретхен она отделилась от спинки кресел, сложила руки и в таком положении осталась неподвижной до конца. Я чувствовал, что Приимкову тошно приходилось, и это меня сперва охлаждало, но понемногу я забыл о нем, разгорячился и читал с жаром, с увлечением… Я читал для одной Веры Николаевны: внутренний голос говорил мне, что «Фауст» на нее действует. Когда я кончил (интермеццо я пропустил[*]: эта штука по манере принадлежит уже ко второй части; да из «Ночи на Брокене»[*] я кое-что выкинул)… когда я кончил, когда прозвучало это последнее «Генрих!» — немец с умилением произнес: «Боже! как прекрасно!» Приимков, словно обрадованный (бедняк!), вскочил, вздохнул и начал благодарить меня за доставленное удовольствие… Но я не отвечал ему: я глядел на Веру Николаевну… Я хотел услыхать, что она скажет. Она встала, подошла нерешительными шагами к двери, постояла на пороге и тихонько вышла в сад. Я бросился за ней вслед. Она успела уже отойти несколько шагов; платье ее чуть белело в густой тени.

— Что же? — крикнул я, — вам не понравилось?

Она остановилась.

— Можете вы оставить мне эту книгу? — раздался ее голос.

— Я вам ее подарю, Вера Николаевна, если вы желаете иметь ее.

— Благодарствуйте! — отвечала она и скрылась.

Приимков и немец подошли ко мне.

— Как удивительно тепло! — заметил Приимков, — даже душно. Но куда жена пошла?

— Кажется, домой, — отвечал я.

— Я думаю, скоро пора ужинать, — возразил он. — Вы превосходно читаете, — прибавил он погодя немного.

— Вере Николаевне, кажется, понравился «Фауст», — проговорил я.

— Без сомнения! — воскликнул Приимков.

— О, конечно! — подхватил Шиммель.

Мы пришли в дом.

— Где барыня? — спросил Приимков у попавшейся нам навстречу горничной.

— В спальню пойти изволили.

Приимков отправился в спальню.

Я вышел на террасу вместе с Шиммелем. Старик поднял глаза к небу.

— Сколько звезд! — медленно проговорил он, понюхав табаку, — и это все миры, — прибавил он и понюхал в другой раз.

Я не почел за нужное отвечать ему и только молча посмотрел вверх. Тайное недоумение тяготило мою душу… Звезды, мне казалось, серьезно глядели на нас. Минут через пять явился Приимков и позвал нас в столовую. Скоро пришла и Вера Николаевна. Мы сели.

— Посмотрите-ка на Верочку, — сказал мне Приимков.

Я взглянул на нее.

— Что? ничего не замечаете?

Я действительно заметил перемену в ее лице, но, не знаю почему, отвечал:

— Нет, ничего.

— Глаза у ней красны, — продолжал Приимков.

Я промолчал.

— Вообразите, я пришел к ней наверх и застаю ее: она плачет. Этого с ней давно не случалось. Я вам могу сказать, когда она в последний раз плакала: когда Саша у нас скончалась. Вот что вы наделали с вашим «Фаустом»! — прибавил он с улыбкой.

— Стало быть, Вера Николаевна, — начал я, — вы теперь видите, что я был прав, когда…

— Я этого не ожидала, — перебила она меня, — но бог еще знает, правы ли вы. Может быть, оттого матушка и запрещала мне читать подобные книги, что она знала…

Вера Николаевна остановилась.

— Что знала? — повторил я. — Говорите.

— К чему? Мне и так совестно: о чем это я плакала? Впрочем, мы еще с вами потолкуем. Я многое не совсем поняла.

— Отчего же вы меня не остановили?

— Слова-то я все поняла и смысл их, но…

Она не докончила речи и задумалась. В это мгновение из саду пронесся шум листьев, внезапно поколебленных налетевшим ветром. Вера Николаевна вздрогнула и повернулась лицом к раскрытому окну.

— Я вам говорил, что будет гроза! — воскликнул Приимков. — А ты, Верочка, чего это так вздрагиваешь?

Она взглянула на него молча. Слабо и далеко сверкнувшая молния таинственно отразилась на ее недвижном лице.

— Всё по милости «Фауста», — продолжал Приимков. — После ужина надо будет сейчас на боковую… не правда ли, г. Шиммель?

— После нравственного удовольствия физический отдых столь же благодетелен, сколь полезен, — возразил добрый немец и выпил рюмочку водки.

После ужина мы тотчас разошлись. Прощаясь с Верой Николаевной, я пожал ей руку; рука у ней была холодна. Я пришел в отведенную мне комнату и долго стоял перед окном, прежде чем разделся и лег в постель. Предсказание Приимкова сбылось: гроза надвинулась и разразилась. Я слушал шум ветра, стук и хлопанье дождя, глядел, как при каждой вспышке молнии церковь, вблизи построенная над озером, то вдруг являлась черною на белом фоне, то белою на черном, то опять поглощалась мраком… Но мысли мои были далеко. Я думал о Вере Николаевне, думал о том, что́ она мне скажет, когда прочтет сама «Фауста», думал о ее слезах, вспоминал, как она слушала…

Гроза уже давно прошла — звезды засияли, всё замолкло кругом. Какая-то не известная мне птица пела на разные голоса, несколько раз сряду повторяя одно и то же колено. Ее звонкий одинокий голос странно звучал среди глубокой тишины; а я всё еще не ложился…

На другое утро я раньше всех сошел в гостиную и остановился перед портретом Ельцовой. «Что, взяла, — подумал я с тайным чувством насмешливого торжества, — ведь вот же прочел твоей дочери запрещенную книгу!» Вдруг мне почудилось… ты, вероятно, заметил, что глаза en face всегда кажутся устремленными прямо на зрителя… но на этот раз мне, право, почудилось, что старуха с укоризной обратила их на меня.

Я отвернулся, подошел к окну и увидел Веру Николаевну. С зонтиком на плече, с легкой белой косынкой на голове, шла она по саду. Я тотчас вышел из дому и поздоровался с нею.

— Я всю ночь не спала, — сказала она мне, — у меня голова болит; я вышла на воздух — авось пройдет.

— Неужели это от вчерашнего чтения? — спросил я.

— Конечно: я к этому не привыкла. В этой вашей книге есть вещи, от которых я никак отделаться не могу; мне кажется, это они мне так жгут голову, — прибавила она, приложив руку ко лбу.

— И прекрасно, — промолвил я, — но вот что дурно: боюсь я, как бы эта бессонница и головная боль не отбили у вас охоты читать такие вещи.

— Вы думаете? — возразила она и сорвала мимоходом ветку дикого жасмина. — Бог знает! Мне кажется, кто раз ступит на эту дорогу, тот уже назад не вернется.

Она вдруг бросила ветку в сторону.

— Пойдемте сядемте в эту беседку, — продолжала она, — и, пожалуйста, до тех пор, пока я не заговорю с вами сама, не упоминайте мне… об этой книге. (Она как будто боялась произнести имя «Фауста».)

Мы вошли в беседку, сели.

— Я не буду говорить вам о «Фаусте», — начал я, — но вы позволите мне поздравить вас и сказать вам, что я вам завидую.

— Вы мне завидуете?

— Да; вам, как я теперь вас знаю, с вашей душою, сколько предстоит наслаждений! Есть великие поэты, кроме Гёте: Шекспир, Шиллер… да и наш Пушкин… и с ним вам надо познакомиться.

Она молчала и чертила зонтиком по песку.

О, друг мой Семен Николаич! если б ты мог видеть, как она была мила в это мгновение: бледная почти до прозрачности, слегка наклоненная, усталая, внутренно расстроенная — и все-таки ясная, как небо! Я говорил, говорил долго, потом умолк — и так сидел молча да глядел на нее…

Она не поднимала глаз и продолжала то чертить зонтиком, то стирать начерченное. Вдруг раздались проворные детские шаги: Наташа вбежала в беседку. Вера Николаевна выпрямилась, встала и, к удивлению моему, с какой-то порывистой нежностью обняла свою дочь… Это не в ее привычках. Потом явился Приимков. Седовласый, но аккуратный младенец Шиммель уехал до света, чтоб не пропустить урока. Мы пошли пить чай.

Однако я устал; пора кончить это письмо. Оно должно показаться тебе нелепым, смутным. Я сам чувствую себя смутным. Мне не по себе. Я не знаю, что со мною. Мне то и дело мерещится маленькая комната с голыми стенами, лампа, раскрытая дверь; запах и свежесть ночи, а там, возле двери, внимательное молодое лицо, легкие белые одежды… Я понимаю теперь, почему я хотел на ней жениться: я, видно, не так был глуп перед поездкой в Берлин, как я до сих пор думал. Да, Семен Николаич, в странном состоянии духа находится ваш друг. Всё это, я знаю, пройдет… а если не пройдет — ну, что ж? не пройдет. Но я все-таки собой доволен: во-первых, я удивительный провел вечер; а во-вторых, если я разбудил эту душу, кто может меня обвинить? Старуха Ельцова пригвождена к стене и должна молчать. Старуха!.. Подробности ее жизни не все мне известны; но я знаю, что она убежала из отцовского дома: видно, недаром она родилась от итальянки. Ей хотелось застраховать свою дочь… Посмотрим.

Бросаю перо. Ты, насмешливый человек, пожалуйста, думай обо мне что хочешь, но не глумись надо мною письменно. Мы с тобой старые приятели и должны щадить друг друга. Прощай!

Твой *П. Б.*

Письмо пятое

От того же к тому же

Сельцо М…ое, 26 июля 1850.

Я давно к тебе не писал, милый Семен Николаич; кажется, больше месяца. Писать было о чем, да лень одолела. Говоря правду, я почти не вспомнил о тебе всё это время. Но из последнего твоего письма ко мне я могу заключить, что ты делаешь предположения на мой счет, которые несправедливы, то есть не совсем справедливы. Ты думаешь, что я увлечен Верой (мне как-то неловко называть ее Верой Николаевной); ты ошибаешься. Конечно, я вижусь с ней часто, она мне нравится чрезвычайно… да кому бы она не понравилась? Хотел бы я тебя посмотреть на моем месте. Удивительное создание! Проницательность мгновенная рядом с неопытностью ребенка, ясный, здравый смысл и врожденное чувство красоты, постоянное стремление к правде, к высокому, и понимание всего, даже порочного, даже смешного — и надо всем этим, как белые крылья ангела, тихая женская прелесть… Да что и говорить! Мы много читали, много толковали с ней в течение этого месяца. Читать с ней — наслаждение, какого я еще не испытывал. Точно новые страны открываешь. В восторг она ни от чего не приходит: всё шумное ей чуждо; она тихо

светится вся, когда ей что нравится, и лицо принимает такое благородное и доброе… именно доброе выражение. С самого раннего детства Вера не знала, что такое ложь: она привыкла к правде, она дышит ею, а потому и в поэзии одна правда кажется ей естественной; она тотчас, без труда и напряжения, узнает её, как знакомое лицо… великое преимущество и счастие! Нельзя за это не помянуть добром ее матери. Сколько раз думал я, глядя на Веру: да, прав Гёте: «Добрый человек в неясном своем стремлений всегда чувствует, где настоящая дорога»*[22]. Одно досадно: муж всё тут вертится. (Пожалуйста, не смейся глупым смехом, не оскверняй даже мыслью нашей чистой дружбы.) Он столь же способен понимать поэзию, как я расположен играть на флейте, а не хочет отстать от жены, просветиться тоже желает. Иногда она сама меня выводит из терпенья; вдруг найдет на нее стих какой-то: ни читать не хочет, ни разговаривать, шьет в пяльцах, возится с Наташей, с ключницей, в кухню вдруг сбегает или просто сидит, поджав руки, и посматривает в окошко, а не то примется играть с няней в дурачки… Я заметил: в этих случаях к ней приставать не должно, а лучше подождать, пока она сама подойдет, заговорит или возьмется за книжку. Самостоятельности в ней много, и я очень этому рад. Бывало, помнишь, в дни нашей юности, какая-нибудь девочка повторяет тебе, как умеет, твои же слова, а ты восхищаешься этим эхом и, пожалуй, поклоняешься ему, пока не раскусишь, в чем дело; а эта… нет: эта сама по себе. На веру она ничего не примет; авторитетом ее не запугаешь; спорить она не станет, но и не поддастся. О «Фаусте» мы с ней рассуждали не однажды: но — странное дело! — о Гретхен она ничего сама не говорит, а только слушает, что я ей скажу. Мефистофель ее пугает не как чёрт, а как «что-то такое, что в каждом человеке может быть»… Это ее собственные слова. Я начал было толковать ей, что это «что-то» мы называем рефлексией; но она не поняла слова рефлексия в немецком смысле: она только знает одну французскую «réflexion»[23] и привыкла почитать ее полезной. Удивительные наши отношения! С некоторой точки зрения я могу сказать, что имею на нее влияние большое и как бы воспитываю ее; но и она, сама того не замечая, во многом меня переделывает к лучшему. Я, например, только по ее милости недавно открыл, какая бездна условного, риторического во многих прекрасных, известных поэтических произведениях. К чему она остается холодною, то уже в моих глазах заподозрено. Да, я стал лучше, яснее. Быть к ней близким, видаться с нею и остаться прежним человеком — невозможно.

Что же из этого всего выйдет? — спросишь ты. Да, право, я думаю — ничего. Я весьма приятно проведу время до сентября, а там уеду. Темна и скучна покажется мне жизнь в первые месяцы… Привыкну. Я знаю, как опасна какая бы то ни было связь между мужчиной и молодой женщиной, как незаметно одно чувство сменяется другим… Я бы сумел оторваться, если б я не сознавал, что мы оба совершенно покойны. Правда, однажды между нами произошло что-то странное. Не знаю, как и вследствие чего — помнится, мы читали «Онегина» — я у ней поцеловал руку. Она слегка отодвинулась, устремила на меня взгляд (я, кроме ее, ни у кого не видал такого взгляда: в нем и задумчивость, и внимание, и какая-то строгость)… вдруг покраснела, встала и ушла. В тот день мне уж не удалось быть с ней наедине. Она избегала меня и битых четыре часа играла с мужем, няней и гувернанткой в свои козыри! На другое утро она предложила мне идти в сад. Мы прошли его весь до самого озера. Она вдруг, не оборачиваясь ко мне, тихо прошептала: «Пожалуйста, вперед не делайте этого!» — и тотчас начала мне что-то рассказывать… Я был очень пристыжен.

Я должен сознаться, что образ ее не выходит у меня из головы, и я едва ли не с тем намерением стал писать к тебе письмо, чтобы иметь возможность думать и говорить о ней. Я слышу фырканье и топот лошадей: это мне подают коляску. Еду к ним. Кучер мой уже не спрашивает меня теперь, куда ехать, когда я сажусь в экипаж, — прямо везет к Приимковым. За две версты до их села, на крутом повороте дороги, усадьба их внезапно выглядывает из-за березовой рощи… У меня всякий раз радостно станет на сердце, как только блеснут вдали ее окна. Шиммель (безвредный этот старик изредка к ним приезжает; князей Х…х они, слава богу, видели всего раз)… Шиммель недаром говорит со свойственною ему скромною торжественностью, указывая на дом, где живет Вера: «Это обитель мира!» В этом доме точно поселился мирный ангел…

Крылом своим меня одень*,
Волненье сердца утиши, —
И благодатна будет тень
Для очарованной души…

Ну, однако, довольно; а то ты бог знает что подумаешь. До следующего раза… Что-то напишу я в следующий раз? Прощай! Кстати, она никогда не скажет: прощайте, а всегда: ну, прощайте. Мне

это ужасно нравится.

Твой *П. Б.*

P. S. Я не помню, сказывал ли я тебе, что она знает, что я за нее сватался.

Письмо шестое

От того же к тому же

Сельцо М…ое, 10 августа 1850.

Сознайся, ты ожидаешь от меня письма либо отчаянного, либо восторженного… Не тут-то было. Письмо мое будет как все письма. Нового ничего не произошло, да, кажется, и произойти не может. На днях мы катались в лодке по озеру. Опишу тебе это катанье. Нас было трое: она, Шиммель и я. Не понимаю, что ей за охота так часто приглашать этого старика. Х…ие дуются на него, говорят, что он стал пренебрегать своими уроками. Впрочем, на этот раз он был забавен. Приимков не поехал с нами: у него болела голова. Погода была славная, веселая: большие, точно разодранные белые тучи по синему небу, везде блеск, шум в деревьях, плесканье и шлепанье воды у берега, на волнах беглые, золотые змейки, свежесть и солнце! Сперва мы с немцем гребли; потом мы подняли парус и помчались. Нос лодки так и заныривал, а за кормою след шипел и пенился. Она села у руля и стала править; на голову она повязала платок: шляпу бы снесло; кудри вырывались из-под него и мягко бились по воздуху. Она твердо держала руль своей загорелой ручкой и улыбалась брызгам, изредка летевшим ей в лицо. Я прикорнул на дне лодки, недалеко от ее ног; немец достал трубку, закурил свой кнастер и — вообрази — запел довольно приятным басом. Сперва он спел старинную песенку: «Freu’t euch des Lebens»[24], потом арию из «Волшебной флейты», потом романс под названием: «Азбука любви» — «Das A-B-C der Liebe». В этом романсе проводится — с приличными прибаутками, разумеется — вся азбука, начиная с А, Бе, Це, Де, — Вен их дих зе![25] и кончая: У, Фау, Ве, Икс — Мах эйнен кникс![26] Он пропел все куплеты с чувствительным выражением; но надо было видеть, как плутовски он прищурил левый глаз на слове: кникс! Вера засмеялась и погрозила ему пальцем. Я заметил, что, сколько мне кажется, г. Шиммель, в свое время, был малый не промах. «О да, и я мог постоять за себя!» — возразил он с важностью, выколотил пепел из трубки себе на ладонь и, полезая пальцами в кисет, ухарски, сбоку, укусил мундштук чубука. «Когда я был студентом, — прибавил он, — о-хо-хо!» Больше он ничего не сказал. Но что это было за «о-хо-хо»! Вера попросила его

спеть какую-нибудь студенческую песню, и он спел ей: «Knaster, den gelben»[27], но на последней ноте сфальшил. Очень уж он раскутился. Между тем ветер усилился, волны покатились довольно большие, лодку слегка накренило; ласточки зашныряли низко вокруг нас. Мы переставили парус, начали лавировать. Ветер вдруг перескочил, мы не успели справиться — волна шлепнула через борт, лодка сильно зачерпнула. И тут немец показал себя молодцом; вырвал у меня веревку и поставил парус как следовало, промолвив притом: «Вот как это делается в Куксгафене!» — «So macht man’s in Cuxhafen!»

Вера, вероятно, испугалась, потому что побледнела, но, по своему обыкновению, не произнесла ни слова, подобрала платье и поставила носки на перекладину лодки. Мне вдруг пришло в голову стихотворение Гёте (я с некоторых пор весь заражен им)… помнишь: «На волнах сверкают тысячи колеблющихся звезд»*, и прочел его громко. Когда я дошел до стиха: «Глаза мои, зачем вы опускаетесь?»* — она слегка приподняла свои глаза (я сидел ниже ее: взор ее падал на меня сверху) и долго смотрела вдаль, щурясь от ветра… Легкий дождь налетел мгновенно и запрыгал пузырями по воде. Я предложил ей свое пальто; она накинула его себе на плечи. Мы пристали к берегу — не у пристани — и до дому дошли пешком. Я вел ее под руку. Мне всё как будто хотелось сказать ей что-то; но я молчал. Однако я, помнится, спросил ее, зачем она, когда бывает дома, всегда сидит под портретом госпожи Ельцовой, словно птенчик под крылом матери? «Ваше сравнение очень верно, — возразила она, — я бы никогда не желала выйти из-под ее крыла». — «Не желали бы выйти на волю?» — спросил я опять. Она ничего не отвечала.

Я не знаю, зачем я рассказал тебе эту прогулку, — потому разве, что она осталась в моей памяти как одно из самых светлых событий прошедших дней, хотя в сущности какое же это событие? Мне было так отрадно и безмолвно весело, и слезы, слезы легкие и счастливые, так и просились из глаз.

Да! вообрази, на другой день, проходя в саду мимо беседки, слышу я вдруг — чей-то приятный, звучный женский голос поет: «Freu’t euch des Lebens…» Я заглянул в беседку: это была Вера. «Браво! — воскликнул я, — я и не знал, что у вас такой славный голос!» Она застыдилась и умолкла. Кроме шуток, у ней отличный, сильный сопрано. А она, я думаю, и не подозревала, что у ней хороший голос. Сколько нетронутых богатств еще таится в ней! Она сама себя не знает. Но не правда ли, что такая женщина в наше время редкость?

12 августа.

Престранный разговор был у нас вчера. Речь зашла сперва о привидениях. Вообрази: она в них верит и говорит, что имеет на то свои причины. Приимков, который тут же сидел, опустил глаза и покачал головою, как бы подтверждая ее слова. Я стал было ее расспрашивать, но скоро заметил, что этот разговор был ей неприятен. Мы начали говорить о воображении, о силе воображения. Я рассказал, что в молодости я, много мечтая о счастии (обыкновенное занятие людей, которым в жизни не повезло или не везет), между прочим, мечтал о том, какое было бы блаженство провести вместе с любимой женщиной несколько недель в Венеции. Я так часто думал об этом, особенно по ночам, что у меня понемногу сложилась в голове целая картина, которую я мог, по желанию, вызвать перед собою: стоило только закрыть глаза. Вот что мне представлялось: ночь, луна, свет от луны белый и нежный, запах… ты думаешь, лимона? нет, ванили, запах кактуса, широкая водная гладь, плоский остров, заросший оливами; на острове, у самого берега, небольшой мраморный дом, с раскрытыми окнами; слышится музыка, бог знает откуда; в доме деревья с темными листьями и свет полузавешенной лампы; из одного окна перекинулась тяжелая бархатная мантия с золотой бахромой и лежит одним концом на воде; а облокотясь на мантию, рядом сидят *он* и *она* и глядят вдаль туда, где виднеется Венеция. Всё это так ясно мне представлялось, как будто я всё это видел собственными глазами. Она выслушала мои бредни и сказала, что и она тоже часто мечтает, но что ее мечтания другого рода: она либо воображает себя в степях Африки, с каким-нибудь путешественником, либо отыскивает следы Франклина на Ледовитом океане*; живо представляет себе все лишения, которым должна подвергаться, все трудности, с которыми приходится бороться…

— Ты начиталась путешествий, — заметил ее муж.

— Может быть, — возразила она, — но коли уж мечтать, что за охота мечтать о несбыточном?

— А почему же нет? — подхватил я. — Чем бедное несбыточное виновато?

— Я не так выразилась, — промолвила она, — я хотела сказать: что за охота мечтать о самой себе, о своем счастии? О нем думать нечего; оно не приходит — что за ним гоняться! Оно как здоровье: когда его не замечаешь, значит, оно есть.

Эти слова меня удивили. В этой женщине великая душа, поверь мне… От Венеции разговор перешел к Италии, к итальянцам. Приимков вышел, мы с Верой остались одни.

— И в ваших жилах течет итальянская кровь, — заметил я.

— Да, — возразила она, — хотите, я покажу вам портрет моей бабушки?

— Сделайте одолжение.

Она пошла в свой кабинет и принесла оттуда довольно большой золотой медальон. Раскрыв этот медальон, я увидел превосходно написанные миниатюрные портреты отца Ельцовой и его жены — этой крестьянки из Альбано. Дед Веры поразил меня сходством с своей дочерью. Только черты у него, окаймленные белым облаком пудры, казались еще строже, заостреннее и резче, а в маленьких желтых глазах просвечивало какое-то угрюмое упрямство. Но что за лицо было у итальянки! сладострастное, раскрытое, как расцветшая роза, с большими влажными глазами навыкате и самодовольно улыбавшимися, румяными губами! Тонкие чувственные ноздри, казалось, дрожали и расширялись, как после недавних поцелуев; от смуглых щек так и веяло зноем и здоровьем, роскошью молодости и женской силы… Этот лоб не мыслил никогда, да и слава богу! Она нарисована в своем албанском наряде; живописец (мастер!) поместил виноградную ветку в ее волосах, черных, как смоль, с ярко-серыми отблесками: это вакхическое украшение идет как нельзя более к выражению ее лица. И знаешь ли, кого мне напоминало это лицо? Мою Манон Леско в черной рамке. И что всего удивительнее: глядя на этот портрет, я вспомнил, что у Веры, несмотря на совершенное несходство очертаний, мелькает иногда что-то похожее на эту улыбку, на этот взгляд…

Да, повторяю: ни она сама, ни другой кто на свете не знает еще всего, что таится в ней…

Кстати! Ельцова, перед свадьбой своей дочери, рассказала ей всю свою жизнь, смерть своей матери и т. д., вероятно, с поучительною целью. На Веру особенно подействовало то, что она услыхала о деде, об этом таинственном Ладанове. Не от этого ли она верит в привидения? Странно! сама она такая чистая и светлая, а боится всего мрачного, подземного и верит в него…

Но довольно. К чему писать всё это? Впрочем, так как оно уже написалось, то пусть и отправляется к тебе.

Твой *П. Б.*

Письмо седьмое

От того же к тому же

Сельцо М…ое, 22 августа.

Берусь за перо спустя десять дней после последнего письма… О, мой друг, я не могу скрываться более… Как мне тяжело! как я ее люблю! Ты можешь себе представить, с каким горьким содроганьем пишу я это роковое слово. Я не мальчик, даже не юноша; я уже не в той поре, когда обмануть другого почти невозможно, а самого себя обмануть ничего не стоит. Я всё знаю и вижу ясно. Я знаю, что мне под сорок лет, что она жена другого, что она любит своего мужа; я очень хорошо знаю, что от несчастного чувства, которое мною овладело, мне, кроме тайных терзаний и окончательной растраты жизненных сил, ожидать нечего, — я всё это знаю, я ни на что не надеюсь и ничего не хочу; но от этого мне не легче. Уже с месяц тому назад начал я замечать, что влечение мое к ней становилось всё сильней и сильней. Это меня отчасти смущало, отчасти даже радовало… Но мог ли я ожидать, что со мною повторится всё то, чему, казалось, так же как и молодости, нет возврата? Да что я говорю! Так я никогда не любил, нет, никогда! Манон Леско, Фретильоны* — вот были мои кумиры. Такие кумиры разбить легко; а теперь… я только теперь узнал, что значит полюбить женщину. Стыдно мне даже говорить об этом; но оно так. Стыдно мне… Любовь все-таки эгоизм; а в мои годы эгоистом быть непозволительно: нельзя в тридцать семь лет жить для себя; должно жить с пользой, с целью на земле, исполнять свой долг, свое дело. И я принялся было за работу… Вот опять всё развеяно, как вихрем! Теперь я понимаю, о чем я писал тебе в первом моем письме; я понимаю, какого испытания мне недоставало. Как внезапно обрушился этот удар на мою голову! Стою и бессмысленно гляжу вперед: черная завеса висит перед самыми глазами; на душе тяжело и страшно! Я могу себя сдерживать, я наружно спокоен не только при других, даже наедине; не беснoваться же мне в самом деле, как мальчику! Но червь вполз в мое сердце и сосет его днем и ночью. Чем это кончится? До сих пор я в ее отсутствие тосковал и волновался и при ней утихал тотчас… Теперь я и при ней непокоен — вот что меня пугает. О, друг мой, как тяжело стыдиться слез своих, скрывать их!.. Одной молодости позволительно плакать; слезы идут к ней одной…

Я не могу перечесть это письмо; оно у меня вырвалось невольно, как стон. Я не могу ничего прибавить, ничего рассказать… Дай срок: я приду в себя, овладею своею душою, я буду говорить с тобою, как мужчина, а теперь мне бы хотелось прислонить мою голову к твоей груди и…

О Мефистофель! и ты мне не помогаешь. Я остановился с

намерением, с намерением раздражал в себе ироническую жилу, напоминал самому себе, как смешны и приторны покажутся мне через год, через полгода эти жалобы, эти излияния… Нет, Мефистофель бессилен, и зуб его притупел… Прощай.

Твой *П. Б.*

Письмо восьмое

От того же к тому же

Сельцо М…ое, 8 сентября 1850.

Любезный друг мой, Семен Николаич! Ты слишком к сердцу принял мое последнее письмо. Ты знаешь, как я всегда был склонен к преувеличиванию моих ощущений. Это у меня как-то невольно делается: бабья натура! С годами это, конечно, пройдет; но, признаюсь со вздохом, до сих пор я всё еще не исправился. А потому успокойся. Не буду отрицать впечатления, произведенного на меня Верой, но опять-таки скажу: во всем этом нет ничего необыкновенного. Приезжать тебе сюда, как ты пишешь, совсем не следует. Скакать за тысячу верст бог знает из-за чего — да это было бы безумие! Но я очень благодарен тебе за это новое доказательство твоей дружбы и, поверь мне, никогда его не забуду. Твое путешествие сюда потому еще неуместно, что я сам скоро намерен выехать в Петербург. Сидя на твоем диване, я расскажу тебе много, а теперь, право, не хочется: чего доброго, опять разболтаюсь и напутаю. Перед выездом я тебе еще напишу. Итак, до скорого свидания. Будь здоров и весел и не сокрушайся слишком об участи — преданного тебе *П. Б.*

Письмо девятое

От того же к тому же

Сельцо П…ое, 10 марта 1853.

Я долго не отвечал на твое письмо; я все эти дни думал о нем. Я чувствовал, что оно внушено тебе не праздным любопытством, а истинным дружеским участием; но я все-таки колебался: последовать ли мне твоему совету, исполнить ли твое желание? Наконец я решился, я всё расскажу тебе. Облегчит ли меня моя исповедь, как ты полагаешь, не знаю; но мне кажется, что я не вправе скрыть от тебя то, что навсегда изменило жизнь мою; мне кажется, что я даже остался бы виновным… увы! еще более виновным перед той незабвенной, милой тенью, если б я не поверил печальной нашей тайны единственному сердцу, которым я еще дорожу. Ты один, может быть, на земле

помнишь о Вере, и ты судишь о ней легкомысленно и ложно: этого я допустить не могу. Узнай же всё. Увы! это всё можно передать двумя словами. То, что было между нами, промелькнуло мгновенно, как молния, и как молния принесло смерть и гибель…

С тех пор как ее не стало, с тех пор как я поселился в эту глушь, которой уже не покину до конца дней моих, прошло с лишком два года, и всё так ясно в моей памяти, так еще живы мои раны, так горько моё горе…

Я не стану жаловаться. Жалобы, раздражая, утоляют печаль, но не мою. Стану рассказывать.

Помнишь ты мое последнее письмо — то письмо, в котором я вздумал было рассеять твои опасения и отсоветовал тебе выезжать из Петербурга? Ты заподозрил его принужденную развязность, ты не поверил нашему скорому свиданию: ты был прав. Накануне того дня, когда я написал к тебе, я узнал, что я любим.

Начертав эти слова, я понял, как трудно мне будет продолжить мой рассказ до конца. Неотступная мысль об ее смерти будет терзать меня с удвоенной силой, меня будут жечь эти воспоминания… Но я постараюсь совладать с собою и либо брошу писать, либо не скажу ненужного слова.

Вот как я узнал, что Вера меня любит. Прежде всего я должен тебе сказать (и ты мне поверишь), что до того дня я решительно ничего не подозревал. Правда, она иногда стала задумываться, чего с ней прежде не бывало; но я не понимал, отчего это с ней делалось. Наконец в один день, седьмого сентября, — памятный для меня день — вот что случилось. Ты знаешь, как я любил ее и как мне было тяжело. Я бродил, как тень, места не мог найти. Я хотел было остаться дома, но не вытерпел и отправился к ней. Я застал ее одну в кабинете. Приимкова не было дома: он уехал на охоту. Когда я вошел к Вере, она пристально посмотрела на меня и не ответила на мой поклон. Она сидела у окна; на коленях у ней лежала книга, которую я узнал тотчас: это был мой «Фауст». Лицо ее выражало усталость. Я сел против нее. Она попросила меня прочесть вслух ту сцену Фауста с Гретхен, где она спрашивает его, верит ли он в бога.[*] Я взял книгу и начал читать. Когда я кончил, я взглянул на нее. Прислонив голову к спинке кресел и скрестив на груди руки, она всё так же пристально смотрела на меня.

Не знаю, отчего у меня сердце вдруг забилось.

— Что вы со мной сделали! — проговорила она медленным голосом.

— Как? — произнес я с смущением.

— Да, что вы со мной сделали! — повторила она.

— Вы хотите сказать, — начал я, — зачем я убедил вас читать такие книги?

Она встала молча и пошла вон из комнаты. Я глядел за нею вслед.

На пороге двери она остановилась и обернулась ко мне.

— Я вас люблю, — сказала она, — вот что вы со мной сделали.

Кровь мне бросилась в голову…

— Я вас люблю, я в вас влюблена, — повторила Вера.

Она ушла и заперла за собою дверь. Не стану тебе описывать, что произошло тогда со мной. Помню, я вышел в сад, забрался в глушь, прислонился к дереву, и сколько я там простоял, сказать не могу. Я словно замер; чувство блаженства по временам волной пробегало по сердцу… Нет, не стану говорить об этом. Голос Приимкова вызвал меня из оцепененья; ему послали сказать, что я приехал: он вернулся с охоты и искал меня. Он изумился, найдя меня в саду одного, без шляпы, и повел меня в дом. «Жена в гостиной, — промолвил он, — пойдемте к ней». Ты можешь себе представить, с какими чувствами переступил я порог гостиной. Вера сидела в углу, за пяльцами; я взглянул на нее украдкой и долго потом не поднимал глаз. К удивлению моему, она казалась спокойной; в том, что она говорила, в звуке ее голоса не слышалось тревоги. Я наконец решился посмотреть на нее. Взоры наши встретились… Она чуть-чуть покраснела и, наклонилась над канвой. Я стал наблюдать за нею. Она как будто недоумевала; невеселая усмешка изредка трогала ее губы.

Приимков вышел. Она вдруг подняла голову и довольно громко спросила меня:

— Что вы теперь намерены сделать?

Я смутился и торопливо, глухим голосом, отвечал, что намерен исполнить долг честного человека — удалиться, «потому что, — прибавил я, — я вас люблю, Вера Николаевна, вы, вероятно, давно это заметили». Она опять наклонилась к канве и задумалась.

— Я должна переговорить с вами, — промолвила она, — приходите сегодня вечером после чаю в наш домик… знаете, где вы читали «Фауста».

Она сказала это так внятно, что я и теперь не постигаю, каким образом Приимков, который в это самое мгновенье входил в комнату, не слыхал ничего. Тихо, томительно тихо прошел этот день. Вера иногда озиралась с таким выражением, как будто спрашивала себя: не во сне ли она? И в то же время на лице ее была написана решимость. А я… я не мог прийти в себя. Вера меня любит! Эти слова беспрестанно

вращались в моем уме; но я не понимал их, — ни себя не понимал я, ни ее. Я не верил такому неожиданному, такому потрясающему счастию; с усилием припоминал прошедшее и тоже глядел, говорил, как во сне…

После чаю, когда я уже начинал думать о том, как бы незаметно выскользнуть из дома, она сама вдруг объявила, что хочет идти гулять, и предложила мне проводить ее. Я встал, взял шляпу и побрел за ней. Я не смел заговорить, я едва дышал, я ждал ее первого слова, ждал объяснений; но она молчала. Молча дошли мы до китайского домика, молча вошли в него, и тут — я до сих пор не знаю, не могу понять, как это сделалось — мы внезапно очутились в объятиях друг друга. Какая-то невидимая сила бросила меня к ней, ее — ко мне. При потухающем свете дня ее лицо, с закинутыми назад кудрями, мгновенно озарилось улыбкой самозабвения и неги, и наши губы слились в поцелуй…

Этот поцелуй был первым и последним.

Вера вдруг вырвалась из рук моих и, с выражением ужаса в расширенных глазах, отшатнулась назад…

— Оглянитесь, — сказала она мне дрожащим голосом, — вы ничего не видите?

Я быстро обернулся.

— Ничего. А вы разве что-нибудь видите?

— Теперь не вижу, а видела.

Она глубоко и редко дышала.

— Кого? что?

— Мою мать, — медленно проговорила она и затрепетала вся.

Я тоже вздрогнул, словно холодом меня обдало. Мне вдруг стало жутко, как преступнику. Да разве я не был преступником в это мгновенье?

— Полноте! — начал я, — что вы это? Скажите мне лучше…

— Нет, ради бога, нет! — перебила она и схватила себя за голову. — Это сумасшествие… Я с ума схожу… Этим шутить нельзя — это смерть… Прощайте…

Я протянул к ней руки.

— Остановитесь, ради бога, на мгновение, — воскликнул я с невольным порывом. Я не знал, что говорил, и едва держался на ногах. — Ради бога… ведь это жестоко.

Она взглянула на меня.

— Завтра, завтра вечером, — проговорила она, — не сегодня, прошу вас… уезжайте сегодня… завтра вечером приходите к калитке сада, возле озера. Я там буду, я приду… я клянусь тебе, что приду, —

прибавила она с увлечением, и глаза ее блеснули, — кто бы ни останавливал меня, клянусь! Я всё скажу тебе, только пусти меня сегодня.

И, прежде чем я мог промолвить слово, она исчезла.

Потрясенный до основания, я остался на месте. Голова моя кружилась. Сквозь безумную радость, наполнявшую всё мое существо, прокрадывалось тоскливое чувство… Я оглянулся. Страшна мне показалась глухая сырая комната, в которой я стоял, с ее низким сводом и темными стенами.

Я вышел вон и направился тяжелыми шагами к дому. Вера дожидалась меня на террасе; она вошла в дом, как только я приблизился, и тотчас же удалилась к себе в спальню.

Я уехал.

Как я провел ночь и следующий день до вечера — этого передать нельзя. Помню только, что я лежал ничком, спрятав лицо в руки, вспоминал ее улыбку перед поцелуем, шептал: «Вот она, наконец…»

Вспоминал я также слова Ельцовой, переданные мне Верой. Она ей сказала однажды: «Ты как лед: пока не растаешь, крепка, как камень, а растаешь, и следа от тебя не останется».

Еще вот что мне приходило на память: мы как-то толковали с Верой о том, что значит уменье, талант.

— Я умею только одно, — сказала она, — молчать до последней минуты.

Я тогда ничего не понимал.

«Но что значит ее испуг?.. — спрашивал я себя. — Неужели она точно видела Ельцову? Воображение!» — думал я и снова предавался ощущениям ожидания.

В тот же день я написал тебе — с какими мыслями, жутко вспомнить — то лукавое письмо.

Вечером — солнце еще не садилось — я уже стоял шагах в пятидесяти от калитки сада, в высоком и густом лознике на берегу озера. Я из дому пришел пешком. Сознаюсь к стыду моему: страх, страх самый малодушный наполнял мою грудь, я беспрестанно вздрагивал… но я не чувствовал раскаяния. Спрятавшись между ветвями, я неотступно глядел на калитку. Она не растворялась. Вот село солнце, вот завечерело; вот уже звезды выступили, и небо почернело. Никто не показывался. Лихорадка меня била. Наступила ночь. Я не мог терпеть долее, осторожно вышел из лозника и подкрался к калитке. Всё было тихо в саду. Я кликнул шёпотом Веру, кликнул в другой раз, в третий… Ничей голос не отозвался. Прошло

еще полчаса, прошел час; совсем темно стало. Ожидание меня истомило; я потянул к себе калитку, разом отворил ее и на цыпочках, словно вор, направился к дому. Я остановился в тени лип.

В доме почти все окна были освещены; люди ходили взад и вперед по комнатам. Это удивило меня: часы мои, сколько я мог различить при тусклом свете звезд, показывали половину двенадцатого. Вдруг раздался стук за домом: экипаж съезжал со двора.

«Видно, гости», — подумал я. Потеряв всякую надежду видеть Веру, я выбрался из сада и проворными шагами пошел домой. Ночь была темная, сентябрьская, но теплая и без ветра. Чувство не столько досады, сколько печали, которое овладело было мною, рассеялось понемногу, и я пришел к себе домой немного усталый от быстрой ходьбы, но успокоенный тишиною ночи, счастливый и почти веселый. Я вошел в спальню, отослал Тимофея, не раздеваясь бросился на постель и погрузился в думу.

Сперва мечты мои были отрадны; но скоро я заметил в себе странную перемену. Я начал ощущать какую-то тайную, грызущую тоску, какое-то глубокое, внутреннее беспокойство. Я не мог понять, отчего оно происходило; но мне становилось жутко и томно, точно близкое несчастие мне грозило, точно кто-то милый страдал в это мгновенье и звал меня на помощь. На столе восковая свечка горела небольшим неподвижным пламенем, маятник стучал тяжело и мерно. Я опер голову на руку и принялся глядеть в пустой полумрак моей одинокой комнаты. Я подумал о Вере, и душа во мне заныла: всё, чему я так радовался, показалось мне, как оно и следовало, несчастием, безвыходной пагубой. Чувство тоски во мне росло и росло, я не мог лежать долее; мне вдруг опять почудилось, что кто-то зовет меня умоляющим голосом… Я приподнял голову и вздрогнул; точно, я не обманывался: жалобный крик примчался издалека и прильнул, словно дребезжа, к черным стеклам окон. Мне стало страшно: я вскочил с постели, раскрыл окно. Явственный стон ворвался в комнату и словно закружился надо мной. Весь похолодев от ужаса, внимал я его последним, замиравшим переливам. Казалось, кого-то резали в отдаленье, и несчастный напрасно молил о пощаде. Сова ли это закричала в роще, другое ли какое существо издало этот стон, я не дал себе тогда отчета, но, как Мазепа Кочубею, отвечал криком на зловещий звук.*

— Вера, Вера! — воскликнул я, — ты ли это зовешь меня?

Тимофей, заспанный и изумленный, явился предо мною.

Я опомнился, выпил стакан воды, перешел в другую комнату; но

сон не посетил меня. Сердце во мне билось болезненно, хоть и нечасто. Я уже не мог предаваться мечтам о счастии; я уже не смел верить ему.

На другой день перед обедом я отправился к Приимкову. Он встретил меня с озабоченным лицом.

— Жена у меня больна, — начал он, — в постели лежит; я посылал за доктором.

— Что с ней?

— Не понимаю. Вчера ввечеру пошла было в сад и вдруг вернулась вне себя, перепуганная. Горничная за мной прибежала. Я прихожу, спрашиваю жену: что с тобой? Она ничего не отвечает и тут же слегла; ночью открылся бред. В бреду бог знает что говорила, вас поминала. Горничная мне сказала удивительную вещь: будто бы Верочке в саду ее мать покойница привиделась, будто бы ей показалось, что она идет к ней навстречу, с раскрытыми руками.

Ты можешь себе представить, что я почувствовал при этих словах.

— Конечно, это вздор, — продолжал Приимков, — однако я должен сознаться, что с моей женой в этом роде случались необыкновенные вещи.

— И, скажите, Вера Николаевна очень нездорова?

— Да, нездорова: ночью плохо было; теперь она в забытьи.

— Что же сказал доктор?

— Доктор сказал, что болезнь еще не определилась…

12 марта.

Я не могу продолжать так, как начал, любезный друг: это стоит мне слишком больших усилий и слишком растравляет мои раны. Болезнь, говоря словами доктора, определилась, и Вера умерла от этой болезни. Она двух недель не прожила после рокового дня нашего мгновенного свидания. Я ее видел еще раз перед ее кончиной. У меня нет воспоминания более жестокого. Я уже знал от доктора, что надежды нет. Поздно вечером, когда уже все улеглись в доме, я подкрался к дверям ее спальни и заглянул в нее. Вера лежала на постели с закрытыми глазами, худая, маленькая, с лихорадочным румянцем на щеках. Как окаменелый, смотрел я на нее. Вдруг она раскрыла глаза, устремила их на меня, вгляделась и, протянув исхудалую руку —

Чего хочет он на освященном месте,*
Этот… вот этот…[28] —

произнесла она голосом до того страшным, что я бросился бежать. Она почти всё время своей болезни бредила «Фаустом» и матерью

своей, которую называла то Мартой, то матерью Гретхен.

Вера умерла. Я был на ее похоронах. С тех пор я покинул всё и поселился здесь навсегда.

Подумай теперь о том, что я рассказал тебе; подумай о ней, об этом существе, так скоро погибшем. Как это случилось, как растолковать это непонятное вмешательство мертвого в дела живых, я не знаю и никогда знать не буду; но ты согласись, что не припадок прихотливой хандры, как ты выражаешься, заставил меня удалиться от общества. Я стал не тот, каким ты знал меня: я многому верю теперь, чему не верил прежде. Я всё это время столько думал об этой несчастной женщине (я чуть не сказал: девушке), об ее происхождении, о тайной игре судьбы, которую мы, слепые, величаем слепым случаем. Кто знает, сколько каждый живущий на земле оставляет семян, которым суждено взойти только после его смерти? Кто скажет, какой таинственной цепью связана судьба человека с судьбой его детей, его потомства, и как отражаются на них его стремления, как взыскиваются с них его ошибки? Мы все должны смириться и преклонить головы перед Неведомым.

Да, Вера погибла, а я уцелел. Помню, когда я был еще ребенок, у нас в доме была красивая ваза из прозрачного алебастра. Ни одно пятнышко не позорило ее девственной белизны. Однажды, оставшись наедине, я начал качать цоколь, на котором она стояла… ваза вдруг упала и разбилась вдребезги. Я обмер от испуга и стоял неподвижно перед осколками. Отец мой вошел, увидал меня и сказал: «Вот посмотри, что ты сделал: уж не будет у нас нашей прекрасной вазы; теперь уж ничем ее поправить нельзя». Я зарыдал. Мне показалось, что я совершил преступление.

Я возмужал — и легкомысленно разбил сосуд в тысячу раз драгоценнейший…

Напрасно говорю я себе, что я не мог ожидать такой мгновенной развязки, что она меня самого поразила своей внезапностью, что я не подозревал, какое существо была Вера. Она, точно, умела молчать до последней минуты. Мне следовало бежать, как только я почувствовал, что люблю ее, люблю замужнюю женщину; но я остался — и вдребезги разбилось прекрасное создание, и с немым отчаянием гляжу я на дело рук своих.

Да, Ельцова ревниво сторожила свою дочь. Она сберегла ее до конца и, при первом неосторожном шаге, унесла ее с собой в могилу.

Пора кончить… Я тебе и сотой доли не сказал того, что бы следовало; но с меня и этого было довольно. Пускай же опять упадет

на дно души всё, что всплыло… Кончая, скажу тебе:

Одно убеждение вынес я из опыта последних годов: жизнь не шутка и не забава, жизнь даже не наслаждение… жизнь — тяжелый труд. Отречение, отречение постоянное — вот ее тайный смысл, ее разгадка: не исполнение любимых мыслей и мечтаний, как бы они возвышенны ни были, — исполнение долга, вот о чем следует заботиться человеку; не наложив на себя цепей, железных цепей долга, не может он дойти, не падая, до конца своего поприща; а в молодости мы думаем: чем свободнее, тем лучше, тем дальше уйдешь. Молодости позволительно так думать; но стыдно тешиться обманом, когда суровое лицо истины глянуло наконец тебе в глаза.

Прощай! Прежде я прибавил бы: будь счастлив; теперь скажу тебе: старайся жить, оно не так легко, как кажется. Вспоминай обо мне, не в часы печали — в часы раздумья, и сохраняй в душе твоей образ Веры во всей его чистой непорочности… Еще раз прощай!

Твой *П. Б.*

Поездка в Полесье

Первый день

Вид огромного, весь небосклон обнимающего бора, вид «Полесья» напоминает вид моря. И впечатления им: возбуждаются те же; та же первобытная, нетронутая сила расстилается широко и державно перед лицом зрителя. Из недра вековых лесов, с бессмертного лона вод поднимается тот же голос: «Мне нет до тебя дела, — говорит природа человеку, — я царствую, а ты хлопочи о том, как бы не умереть». Но лес однообразнее и печальнее моря, особенно сосновый лес, постоянно одинаковый и почти бесшумный. Море грозит и ласкает, оно играет всеми красками, говорит всеми голосами; оно отражает небо, от которого тоже веет вечностью, но вечностью как будто нам нечуждой… Неизменный, мрачный бор угрюмо молчит или воет глухо — и при виде его еще глубже и неотразимее проникает в сердце людское сознание нашей ничтожности. Трудно человеку, существу единого дня, вчера рожденному и уже сегодня обреченному смерти, — трудно ему выносить холодный, безучастно устремленный на него взгляд вечной Изиды*; не одни дерзостные надежды и мечтанья молодости смиряются и гаснут в нем, охваченные ледяным дыханием стихии; нет — вся душа его никнет и замирает; он чувствует, что последний из его братии может исчезнуть с лица земли — и ни одна игла не дрогнет на этих ветвях; он чувствует свое одиночество, свою слабость, свою случайность — и с торопливым, тайным испугом обращается он к мелким заботам и трудам жизни; ему легче в этом мире, им самим созданном, здесь он дома, здесь он смеет еще верить в свое значенье и в свою силу.

Вот какие мысли приходили мне на ум несколько лет тому назад, когда, стоя на крыльце постоялого дворика, построенного на берегу болотистой речки Ресеты*, увидал я впервые Полесье. Длинными сплошными уступами разбегались передо мною синеющие громады хвойного леса; кой-где лишь пестрели зелеными пятнами небольшие березовые рощи; весь кругозор был охвачен бором; нигде не белела церковь, не светлели поля — всё деревья да деревья, всё зубчатые верхушки — и тонкий, тусклый туман, вечный туман Полесья висел вдали над ними. Не ленью, этой неподвижностью жизни, нет — отсутствием жизни, чем-то мертвенным, хотя и величавым, веяло мне

со всех краев небосклона; помню, большие белые тучи плыли мимо, тихо и высоко, и жаркий летний день лежал недвижно на безмолвной земле. Красноватая вода речки скользила без плеска между густыми тростниками; на дне ее смутно виднелись круглые бугры иглистого моха, а берега то исчезали в болотной тине, то резко белели рассыпчатым и мелким песком. Мимо самого дворика шла уездная, торная дорога.[*]

На этой дороге, прямо против крыльца, стояла телега, нагруженная коробами и ящиками. Владелец ее, худощавый мещанин с ястребиным носом и мышиными глазками, сгорбленный и хромой, впрягал в нее свою, тоже хромую, лошаденку; это был пряничник, который пробирался на Карачевскую ярмарку. Вдруг показалось на дороге несколько людей; за ними потянулись другие… наконец повалила целая гурьба; у всех были палки в руках и котомки за плечами. По их походке, усталой и развалистой, по загорелым лицам видно было, что они шли издалеча: это юхновцы[*], копачи[*], возвращались с заработков. Старик лет семидесяти, весь белый, казалось, предводительствовал ими; он изредка оборачивался и спокойным голосом понукал отсталых. «Но, но, но, ребятушки, — говорил он, — но-о». Все они шли молча, в какой-то важной тишине. Один лишь только, низкого роста и на вид сердитый, в тулупе нараспашку, в бараньей шапке, надвинутой на самые глаза, поравнявшись с пряничником, вдруг спросил его:

— Почем пряник, шут?

— Каков будет пряник, любезный человек, — возразил тонким голоском озадаченный торговец. — Есть и в копейку — а то и грош дать надо. А есть ли грош в мошне-то?

— Да от него, чай, в брюхе просолодит, — возразил тулуп и отошел от телеги.

— Поспешите, ребятушки, поспешите! — послышался голос старика, — до ночлега далеко.

— Необразованный народ, — проговорил, искоса взглянув на меня, пряничник, как только вся толпа провалила мимо, — разве это кушанье про них?

И, наскоро снарядивши свою лошадку, спустился он к речке, на которой виднелся маленький бревенчатый паром. Мужик, в белом войлочном «шлыке» (обыкновенной полешской шапке), вышел из низкой землянки ему навстречу и переправил его на противоположный берег. Тележка поползла по изрытой и выбитой дороге, изредка взвизгивая одним колесом.

Я покормил лошадей — и тоже переправился. Протащившись версты с две болотистым лугом, взобрался я наконец по узкой гати в просеку леса. Тарантас неровно запрыгал по круглым бревешкам; я вылез и пошел пешком. Лошади выступали дружным шагом, фыркая и отмахиваясь головами от комаров и мошек. Полесье приняло нас в свои недра. С окраины, ближе к лугу, росли березы, осины, липы, клены и дубы; потом они стали реже попадаться, сплошной стеной надвинулся густой ельник; далее закраснели голые стволы сосенника, а там опять потянулся смешанный лес, заросший снизу кустами орешника, черемухи, рябины и крупными сочными травами. Солнечные лучи ярко освещали верхушки деревьев и, рассыпаясь по ветвям, лишь кое-где достигали до земли побледневшими полосами и пятнами. Птиц почти не было слышно — они не любят больших лесов; только по временам раздавался заунывный, троекратный возглас удода да сердитый крик ореховки или сойки; молчаливый, всегда одинокий сиворонок перелетал через просеку, сверкая золотистою лазурью своих красивых перьев. Иногда деревья редели, расступались, впереди светлело, тарантас выезжал на расчищенную песчаную поляну; жидкая рожь росла на ней грядами, бесшумно качая свои бледные колосики; в стороне темнела ветхая часовенка с покривившимся крестом над колодцем, невидимый ручеек мирно болтал переливчатыми и гулкими звуками, как будто втекая в пустую бутылку; а там вдруг дорогу перегораживала недавно обрушившаяся береза, и лес стоял кругом до того старый, высокий и дремучий, что даже воздух казался спертым. Местами просека была вся залита водой; по обеим сторонам расстилалось лесное болото, всё зеленое и тёмное, всё покрытое тростниками и мелким ольшником; утки взлетывали попарно — и странно было видеть этих водяных птиц, быстро мелькающих между соснами. — «Га, га, га, га», — неожиданно поднимался протяжный крик: то пастух гнал стадо через мелколесье; бурая корова с острыми короткими рогами шумно продиралась сквозь кусты и останавливалась как вкопанная на краю просеки, уставив свои большие темные глаза на бежавшую передо мной собаку; ветерок приносил тонкий и крепкий запах жженого дерева; белый дымок расползался вдали круглыми струйками по бледно-синему лесному воздуху: знать, мужичок промышлял уголь на стеклянный завод* или на фабрику. Чем дальше мы подвигались, тем глуше и тише становилось вокруг. В бору всегда тихо; только идет там высоко над головою какой-то долгий ропот и сдержанный гул по верхушкам… Едешь, едешь, не перестает эта вечная лесная молвь, и начинает сердце ныть понемногу, и хочется

человеку выйти поскорей на простор, на свет, хочется ему вздохнуть полной грудью — и давит его эта пахучая сырость и гниль…

Верст пятнадцать ехали мы шагом, изредка рысцой. Мне хотелось засветло попасть в село Святое*, лежащее в самой середине леса. Раза два встретились мне мужички с надранным лыком или с длинными бревнами на телегах.

— Далеко ли до Святого? — спросил я одного из них.

— Нет, недалеко.

— А сколько?

— Да версты три будет.

Прошло часа полтора. Мы всё ехали да ехали. Вот опять заскрипела нагруженная телега. Мужик шел сбоку.

— Сколько, брат, осталось до Святого?

— Чего?

— Сколько до Святого?

— Восемь верст.

Солнце уже садилось, когда я, наконец, выбрался из леса и увидел перед собою небольшое село. Дворов двадцать лепилось вокруг старой, деревянной, одноглавой церкви с зеленым куполом и крошечными окнами, ярко рдевшими на вечерней заре. Это было Святое. Я въехал в околицу. Возвращавшееся стадо нагнало мой тарантас и с мычаньем, хрюканьем и блеяньем пробежало мимо. Молодые девки, хлопотливые бабы встречали своих животных; белоголовые мальчишки гнались с веселыми кряками за непокорными поросятами; пыль мчалась вдоль улицы легкими клубами и, поднимаясь выше, алела.

Я остановился у старосты, хитрого и умного «полехи», из тех полех, про которых говорят, что они на два аршина под землю видят. На другой день рано отправился я в тележке, запряженной парой толстопузых крестьянских лошадей, с старостиным сыном и другим крестьянином, по имени Егором, на охоту за глухарями и рябчиками. Лес синел сплошным кольцом по всему краю неба — десятин двести, не больше, считалось распаханного поля вокруг Святого; но до хороших мест приходилось ехать верст семь. Старостина сына звали Кондратом. Это был малый молодой, русый и краснощекий, с добрым и смирным выражением лица, услужливый и болтливый. Он правил лошадьми. Егор сидел со мною рядом. Мне хочется сказать о нем слова два.

Он считался лучшим охотником во всем уезде. Все места, верст на пятьдесят кругом, он исходил вдоль и поперек. Он редко выстреливал

по птице, за скудостью пороха и дроби; но с него уже того было довольно, что он рябчика подманил, подметил точок дупелиный. Егор слыл за человека правдивого и за «молчальника». Он не любил говорить и никогда не преувеличивал числа найденной им дичи — черта, редкая в охотнике. Роста он был среднего, сухощав, лицо имел вытянутое и бледное, большие, честные глаза. Все черты его, особенно губы, правильные и постоянно неподвижные, дышали спокойствием невозмутимым. Он улыбался слегка и как-то внутрь, когда произносил слова, — очень мила была эта тихая улыбка. Он не пил вина и работал прилежно, но ему не везло: жена его всё хворала, дети умирали; он «забеднял» и никак не мог справиться. И то сказать: страсть к охоте не мужицкое дело, и кто «с ружьем балует» — хозяин плохой. От постоянного ли пребывания в лесу, лицом к лицу с печальной и строгой природой того нелюдимого края, вследствие ли особенного склада и строя души, но только во всех движениях Егора замечалась какая-то скромная важность, именно важность, а не задумчивость — важность статного оленя. Он на своем веку убил семь медведей, подкараулив их на «овсах». В последнего он только на четвертую ночь решился выстрелить: медведь всё не становился к нему боком, а пуля у него была одна. Егор убил его накануне моего приезда. Когда Кондрат привел меня к нему, я застал его на задворке; присевши на корточки перед громадным зверем, он вырезывал из него сало коротким и тупым ножом.

— Какого же ты молодца повалил! — заметил я.

Егор поднял голову и посмотрел сперва на меня, а потом на пришедшую со мной собаку.

— Коли охотиться приехали, в Мошном глухари есть — три выводка, да рябцев пять, — промолвил он и снова принялся за свою работу.

С этим-то Егором да с Кондратом я и поехал на другой день на охоту. Живо перекатили мы поляну, окружавшую Святое, а въехавши в лес, опять потащились шагом.

— Вон витютень сидит, — заговорил вдруг, оборотившись ко мне, Кондрат, — хорошо бы сшибить!

Егор посмотрел в сторону, куда Кондрат указывал, и ничего не сказал. До витютня шагов было сто с лишком, а его и на сорок шагов не убьешь: такова у него крепость в перьях.

Еще несколько замечаний сделал словоохотливый Кондрат; но лесная тишь недаром охватила и его: он умолк. Лишь изредка перекидываясь словами, да поглядывая вперед, да прислушиваясь к

пыхтенью и храпу лошадей, добрались мы, наконец, до «Мошного». Этим именем назывался крупный сосновый лес, изредка поросший ельником. Мы слезли; Кондрат вдвинул телегу в кусты, чтобы комары лошадей не кусали. Егор осмотрел курок ружья и перекрестился: он ничего без креста не начинал.

Лес, в который мы вступили, был чрезвычайно стар. Не знаю, бродили ли по нем татары, но русские воры или литовские люди смутного времени уже наверное могли скрываться в его захолустьях.* В почтительном расстоянии друг от друга поднимались могучие сосны громадными, слегка искривленными столбами бледно-желтого цвета; между ними стояли, вытянувшись в струнку, другие, помоложе. Зеленоватый мох, весь усеянный мертвыми иглами, покрывал землю; голубика росла сплошными кустами; крепкий запах ее ягод, подобный запаху выхухоли, стеснял дыхание. Солнце не могло пробиться сквозь высокий намет сосновых ветвей; но в лесу было все-таки-душно и не темно; как крупные капли пота, выступала и тихо ползла вниз тяжелая прозрачная смола по грубой коре деревьев. Неподвижный воздух без тени и без света жег лицо. Всё молчало; даже шагов наших не было слышно; мы шли по мху, как по ковру; особенно Егор двигался бесшумно, словно тень; под его ногами даже хворостинка не трещала. Он шел не торопясь и изредка посвистывая в пищик; рябчик скоро отозвался и в моих глазах нырнул в густую елку; но напрасно указывал мне его Егор: как я ни напрягал свое зрение, а рассмотреть его никак не мог; пришлось Егору по нем выстрелить. Мы нашли также два выводка глухарей; осторожные птицы поднимались далеко, с тяжелым и резким стуком; нам, однако, удалось убить трех молодых.

У одного *майдана**[29] Егор вдруг остановился и подозвал меня.

— Медведь воды хотел достать, — промолвил он, указывая на широкую свежую царапину на самой середине ямы, затянутой мелким мхом.

— Это след его лапы? — спросил я.

— Его; да вода-то пересохла. На той сосне тоже его след: за мёдом лазил. Как ножом прорубил, когтями-то.

Мы продолжали забираться в самую глушь леса. Егор только изредка посматривал вверх и шел вперед спокойно и самоуверенно. Я увидал круглый, высокий вал, обнесенный полузасыпанным рвом.

— Что это, майдан тоже? — спросил я.

— Нет, — отвечал Егор, — здесь воровской городок стоял.*

— Давно?

— Давно; дедам нашим за память. Тут и клад зарыт. Да зарок

положен крепкий: на человечью кровь.

Мы прошли еще версты с две; мне захотелось пить.

— Посидите маленько, — сказал Егор, — я схожу за водой, тут колодезь недалеко.

Он ушел; я остался один.

Я присел на срубленный пень, оперся локтями на колени и, после долгого безмолвия, медленно поднял голову и оглянулся. О, как всё кругом было тихо и сурово-печально — нет, даже не печально, а немо, холодно и грозно в то же время! Сердце во мне сжалось. В это мгновенье, на этом месте я почуял веяние смерти, я ощутил, я почти осязал ее непрестанную близость. Хоть бы один звук задрожал, хотя бы мгновенный шорох поднялся в неподвижном зеве обступившего меня бора! Я снова, почти со страхом, опустил голову; точно я заглянул куда-то, куда не следует заглядывать человеку… Я закрыл глаза рукою — и вдруг, как бы повинуясь таинственному повелению, я начал припоминать всю мою жизнь…

Вот мелькнуло передо мной мое детство, шумливое и тихое, задорное и доброе, с торопливыми радостями и быстрыми печалями; потом возникла молодость, смутная, странная, самолюбивая, со всеми ее ошибками и начинаниями, с беспорядочным трудом и взволнованным бездействием… Пришли на память и они, товарищи первых стремлений… потом, как молния в ночи, сверкнуло несколько светлых воспоминаний… потом начали нарастать и надвигаться тени, темнее и темнее стало кругом, глуше и тише побежали однообразные годы — и камнем на сердце опустилась грусть. Я сидел неподвижно и глядел, глядел с изумлением и усилием, точно всю жизнь свою я перед собою видел, точно свиток развивался у меня перед глазами.[*] О, что я сделал! — невольно шептали горьким шёпотом мои губы. О, жизнь, жизнь, куда, как ушла ты так бесследно? Как выскользнула ты из крепко стиснутых рук? Ты ли меня обманула, я ли не умел воспользоваться твоими дарами? Возможно ли? эта малость, эта бедная горсть пыльного пепла — вот всё, что осталось от тебя? Это холодное, неподвижное, ненужное нечто — это я, тот прежний я? Как? Душа жаждала счастья такого полного, она с таким презрением отвергала всё мелкое, всё недостаточное, она ждала: вот-вот нахлынет счастье потоком — и ни одной каплей не смочило алкавших губ? О, золотые мои струны, вы, так чутко, так сладостно дрожавшие когда-то, я так и не услышал вашего пенья… вы и звучали только — когда рвались. Или, может быть, счастье, прямое счастье всей жизни проходило близко, мимо, улыбалось лучезарною улыбкой — да я не

умел признать его божественного лица? Или оно точно посещало меня и сидело у моего изголовья, да позабылось мною, как сон? Как сон, повторял я уныло. Неуловимые образы бродили по душе, возбуждая в ней не то жалость, не то недоуменье… А вы, думал я, милые, знакомые, погибшие лица, вы, обступившие меня в этом мертвом уединении, отчего вы так глубоко и грустно безмолвны? Из какой бездны возникли вы? Как мне понять ваши загадочные взоры? Прощаетесь ли вы со мною, приветствуете ли вы меня? О, неужели нет надежды, нет возврата? Зачем полились вы из глаз, скупые, поздние капли? О, сердце, к чему, зачем еще жалеть, старайся забыть, если хочешь покоя, приучайся к смиренью последней разлуки, к горьким словам: «прости» и «навсегда». Не оглядывайся назад, не вспоминай, не стремись туда, где светло, где смеется молодость, где надежда венчается цветами весны, где голубка-радость бьет лазурными крылами, где любовь, как роса на заре, сияет слезами восторга; не смотри туда, где блаженство, и вера, и сила, — там не наше место!

— Вот вам вода, — раздался за мною звучный голос Егора, — пейте с богом.

Я невольно вздрогнул: живая эта речь поразила меня, радостно потрясла всё мое существование. Точно я падал в неизведанную, темную глубь, где уже всё стихало кругом и слышался только тихий и непрестанный стон какой-то вечной скорби… я замирал, но противиться не мог, и вдруг дружеский зов долетел до меня, чья-то могучая рука одним взмахом вынесла меня на свет божий. Я оглянулся и с несказанной отрадой увидал честное и спокойное лицо моего провожатого. Он стоял передо мной легко и стройно, с обычной своей улыбкой, протягивая мне мокрую бутылочку, всю наполненную светлой влагой… Я встал.

— Пойдем, веди меня, — сказал я с увлечением.

Мы отправились и бродили долго, до вечера. Как только жара «свалила», в лесу стало так быстро холодать и темнеть, что оставаться в нем уже не хотелось. «Ступайте вон, беспокойные живые», — казалось, шептал он нам угрюмо из-за каждой сосны. Мы вышли, но не скоро нашли Кондрата. Мы кричали, кликали его, он не отзывался. Вдруг, среди чрезвычайной тишины в воздухе, слышим мы, ясно раздается его «тпру, тпру», в близком от нас овраге… Он не слышал наших криков от ветра, который внезапно разыгрался и так же внезапно упал совершенно. Только на отдельно стоявших деревьях виднелись следы его порывов: многие листья были поставлены им наизнанку и так и остались, придавая пестроту неподвижной листве.

Мы взобрались в телегу и покатили домой. Я сидел, покачиваясь и тихо вдыхая сырой, немного резкий воздух, и все мои недавние мечтанья и сожаленья потонули в одном ощущении дремоты и усталости, в одном желании поскорее вернуться под крышу теплого дома, напиться чаю с густыми сливками, зарыться в мягкое и рыхлое сено и заснуть, заснуть, заснуть…

День второй

На следующее утро мы опять втроем отправились на «Гарь». Лет десять тому назад несколько тысяч десятин выгорело в Полесье и до сих пор не заросло; кой-где пробиваются молодые елки и сосенки, а то всё мох да перележалая зола. На этой «Гари», до которой от Святого считается верст двенадцать, растут всякие ягоды в великом множестве и водятся тетерева, большие охотники до земляники и брусники..

Мы ехали молча, как вдруг Кондрат поднял голову.

— Э! — воскликнул он, — да это никак Ефрем стоит. Здорово, Александрыч, — прибавил он, возвысив голос и приподняв шапку.

Небольшого роста мужик в черном коротком армяке, подпоясанном веревкой, вышел из-за дерева и приблизился к телеге.

— Аль отпустили? — спросил Кондрат.

— А то небось нет! — возразил мужичок и оскалил зубы. — Нашего брата держать не приходится.

— И Петр Филиппыч ничего?

— Филиппов-то? Знамо дело, ничего.

— Вишь ты! А я, Александрия, думал: ну, брат, думал я, теперь ложись гусь на сковороду!

— От Петра Филиппова-то? Вона! Видали мы таких. Суется в волки, а хвост собачий. На охоту, что ль, едешь, барин? — спросил вдруг мужичок, быстро вскинув на меня свои прищуренные глазки, и тотчас опустил их снова.

— На охоту.

— А куда, примерно?

— На Гарь, — сказал Кондрат.

— Едете на Гарь, не наехать бы на пожар.

— А что?

— Видал я глухарей много, — продолжал мужичок, всё как бы посмеиваясь и не отвечая Кондрату, — да вам туда не попасть: прямиком верст двадцать будет. Вот и Егор — что говорить! в бору, как у себя на двору, а и тот не продерется. Здорово, Егор, божия душа в полтора гроша, — гаркнул он вдруг.

— Здорово, Ефрем, — медленно возразил Егор.

Я с любопытством посмотрел на этого Ефрема. Такого странного лица я давно не видывал. Нос имел он длинный и острый, крупные губы и жидкую бородку. Его голубые глазки так и бегали, как живчики. Стоял он развязно, легонько подпершись руками в бока и не ломая шапки.

— На побывку домой, что ли? — спросил его Кондрат.

— Эк-ста, на побывку! Теперь, брат, погода не та: разгулялось. Широко, брат, стало, во как. Хоть до зимы на печи лежи, никака́ собака не чукнет. Мне в городе говорил этот-та производитель*: брось, мол, нас, Лександрыч, выезжай из уезда вон, пачпорт дадим первый сорт… да жаль мне вас, святовских-то: такого вам вора другого не нажить.

Кондрат засмеялся.

— Шутник ты, дядюшка, право шутник, — проговорил он и тряхнул вожжами. Лошади тронулись.

— Тпру, — промолвил Ефрем. Лошади остановились. Кондрату не понравилась эта выходка.

— Полно озорничать, Александрыч, — заметил он вполголоса. — Вишь, с барином едем. Осерчает, гляди.

— Эх ты, морской селезень! С чего ему серчать-то? Барин он добрый. Вот посмотри, он мне на водку даст. Эх, барин, дай проходимцу на косушку! Уж раздавлю ж я ее, — подхватил он, подняв плечо к уху и скрыпнув зубами.

Я невольно улыбнулся, дал ему гривенник и велел Кондрату ехать.

— Много довольны, ваше благородие, — крикнул по-солдатски нам вслед Ефрем. — А ты, Кондрат, на-предки знай, у кого учиться; оробел — пропал, смел — съел. Как вернешься, у меня побывай, слышь, у меня три дня попойка стоять будет, сшибем горла два; жена у меня баба хлёцкая*, двор на полозу…* Гей, сорока-белобока, гуляй, пока хвост цел!

И, засвистав резким свистом, Ефрем юркнул в кусты.

— Что за человек? — спросил я Кондрата, который, сидя на облучке, всё потряхивал головой, как бы рассуждая сам с собою.

— Тот-то? — возразил Кондрат и потупился. — Тот-то? — повторил он.

— Да. Он ваш?

— Наш, святовский. Это такой человек… Такого на сто верст другого не сыщешь. Вор и плут такой — и боже ты мой! На чужое добро у него глаз так и коробится. От него и в землю не зароешься, а

что деньги, например, из-под самого хребта у тебя вытащит, ты и не заметишь.

— Какой он смелый!

— Смелый? Да он никого не боится. Да вы посмотрите на него: по финазомии бестиян, с носу виден. (Кондрат часто езживал с господами и в губернском городе бывал, а потому любил при случае показать себя.) Ему и сделать-то ничего нельзя. Сколько раз его и в город возили и в острог сажали, только убытки одни. Его станут вязать, — а он говорит: «Что ж, мол, вы ту ногу не путаете? путайте и ту, да покрепче, я пока посплю; а домой я раньше ваших провожатых поспею». Глядишь: точно, опять вернулся, опять тут, ах ты, боже ты мой! Уж на что мы все, здешние, лес знаем, приобыкли сызмала, а с ним поравняться немочно. Прошлым летом, ночью, напрямки из Алтухина в Святое пришел, а тут никто и не хаживал отродясь, верст сорок будет. Вот и мед красть, на это он первый человек; и пчела его не жалит. Все пасеки разорил.

— Я думаю, он и бортам спуска не дает.

— Ну нет, что напраслину на него взводить? Такого греха за ним не замечали. Борт у нас святое дело. Пасека огорожена; тут караул; коли утащил — твое счастье; а бортовая пчела дело божие, не береженое; один медведь ее трогает.

— Зато он и медведь, — заметил Егор.

— Он женат?

— Как же. И сын есть. Да и вор же будет сын-то! В отца вышел весь. Уж он его и теперь учит. Намеднись горшок с старыми пятаками притащил, украл где-нибудь, значит, пошел да зарыл его на полянке в лесу, а сам вернулся домой, да и послал сына на полянку. Пока, говорит, горшка не отыщешь, есть тебе не дам и на двор не пущу. Сын-то день целый просидел в лесу, и ночевал в лесу, а нашел-таки горшок. Да, мудреный этот Ефрем. Пока дома — любезный человек, всех потчует: пей, ешь сколько хочешь, пляска тут у него поднимется, балагурство всякое; а что коли на сходке, такая у нас сходка на селе бывает, уж лучше его никто не рассудит; подойдет сзади, послушает, скажет слово, как отрубит, и прочь; да уж и слово-то веское. А как вот уйдет в лес, ну, так беда! Жди разорения. А и то сказать: он своих не трогает, разве самому тесно придется. Коли встретит кого святовского — «Обходи, брат, мимо, — кричит издали, — на меня лесной дух нашел: убью!» Беда!

— Чего же вы смотрите? Целая вотчина с одним человеком справиться не может?

— Да уж пожалуй, что так.

— Колдун он, что ли?

— Кто его знает! Вот намеднись он к соседнему дьячку на пасеку забрался ночью, а дьячок-то караулил сам. Ну, поймал его, да впотемках и приколотил. Как кончил, Ефрем-то и говорит ему: а знаешь ты, кого бил? Дьячок, как узнал его по голосу, так и обомлел. Ну, брат, говорит Ефрем, это тебе даром не пройдет. Дьячок ему в ноги: возьми, мол, что хочешь. Нет, говорит, я с тебя в свое время возьму, да и чем захочу. Что ж вы думаете? Ведь с самого того дня дьячок-то, словно ошпаренный, как тень бродит! Сердце, говорит, во мне изныло; слово больно крепкое, знать, залепил мне разбойник. Вот что с ним сталось, с дьячком-го.

— Дьячок этот, должно быть, глуп, — заметил я.

— Глуп? А вот это как вы рассудите. Вышел раз приказ изловить этого самого Ефрема. Становой такой у нас завелся вострый. Вот и пошло человек десять в лес ловить Ефрема. Смотрят, а он им навстречу идет… Один-то из них и закричи: вот он, вот он, держите его, вяжите! А Ефрем вошел в лес да вырезал себе древо, эдак перста в два, да как выскочит опять на дорогу, безобразный такой, страшный, как скомандует, словно енарал на разводе: «На коленки!» — все так и попадали. «А кто, говорит, тут кричал: держите, вяжите? Ты, Серега?» Тот-то как вскочит да бежать… А Ефрем за ним, да древом-то его по пяткам… С версту его гладил. И потом всё еще жалел: «Эх, мол, досадно: заговеться ему не помешал». Дело-то было перед самыми филипповками. Ну, а станового в скором времени сместили, — тем всё и покончилось.

— Да зачем же они все ему покорились?

— Зачем! то-то и есть…

— Он вас всех запугал, да и делает теперь с вами что хочет.

— Запугал… Да он кого хочешь запугает. И уж горазд же он на выдумки, боже ты мой! Я раз в лесу на него наткнулся, дождь такой шел здоровый, я было в сторону… А он поглядел на меня, да эдак меня ручкою и подозвал. «Подойди, мол, Кондрат, не бойся. Поучись у меня, как в лесу жить, на дождю сухим быть». Я по дошел, а он под елкой сидит и огонек развел из сырых веток: дым-то набрался в елку и не дает дождю капать. Подивился я тут ему. А то вот он раз что выдумал (и Кондрат засмеялся), вот уж потешил. Овес у нас молотили на току, да не кончили; последний ворох сгрести не успели; ну и посадили на ночь двух караульщиков, а ребята-то были не из бойких. Вот сидят они да гуторят, а Ефрем возьми да рукава рубахи соломой

набей, концы завяжи, да на голову себе рубаху и надень. Вот подкрался он в эдаком-то виде к овину, да и ну из-за угла показываться, помаленьку роги-то свои выставлять. Один-то малый и говорит другому: видишь? — Вижу, говорит другой, да как ахнут вдруг… только плетни затрещали. А Ефрем нагреб овса в мешок, да и стащил к себе домой. Сам потом всё рассказал. Уж стыдил же он, стыдил ребят-то… Право!

Кондрат засмеялся опять. И Егор улыбнулся. «Так только плетни затрещали?» — промолвил он.

— Только их и видно было, — подхватил Кондрат. — Так и пошли сигать!

Мы опять все притихли. Вдруг Кондрат всполохнулся и выпрямился.

— Э, батюшки, — воскликнул он, — да это никак пожар!

— Где, где? — спросили мы.

— Вон, смотрите, впереди, куда мы едем… Пожар и есть! Ефрем-то, Ефрем ведь напророчил. Уж не его ли это работа, окаянная он душа…

Я взглянул по направлению, куда указывал Кондрат. Действительно, верстах в двух или трех впереди нас, за зеленой полосой низкого ельника, толстый столб сизого дыма медленно поднимался от земли, постепенно выгибаясь и расползаясь шапкой; от него вправо и влево виднелись другие, поменьше и побелей.

Мужик, весь красный, в поту, в одной рубашке, с растрепанными волосами над испуганным лицом, наскакал прямо на нас и с трудом остановил свою поспешно взнузданную лошаденку.

— Братцы, — спросил он задыхающимся голосом, — полесовщиков не видали?

— Нет, не видали. Что это, лес горит?

— Лес. Народ согнать надо, а то, коли к Тросному[*] кинется…

Мужик задергал локтями, заколотил пятками по бокам лошади… Она поскакала.

Кондрат также погнал свою пару. Мы ехали прямо на дым, который расстилался всё шире и шире; местами он внезапно чернел и высоко взвивался. Чем ближе мы подвигались, тем неяснее становились его очертания; скоро весь воздух потускнел, сильно запахло горелым, и вот, между деревьями, странно и жутко шевелясь на солнце, мелькнули первые, бледно-красные языки пламени.

— Ну, слава богу, — заметил Кондрат, — кажется пожар-то позёмный.

— Какой?

— Позёмный; такой, что по земле бежит. Вот с подземным мудрено ладить. Что тут сделаешь, когда земля на целый аршин горит? Одно спасение: копай канавы — да это разве легко? А позёмный — ничего. Только траву сбреет да сухой лист сожжет. Еще лучше лесу от него бывает. Ух, батюшки, гляди однако, как шибануло!

Мы подъехали почти к самой черте пожара. Я слез и пошел ему навстречу. Это не было ни опасно, ни затруднительно. Огонь бежал по редкому сосновому лесу *против* ветра; он подвигался неровной чертой или, говоря точнее, сплошной зубчатой стенкой загнутых назад языков. Дым относило ветром. Кондрат сказал правду: это действительно был позёмный пожар, который только брил траву и, не разыгрываясь, шел дальше, оставляя за собою черный и дымящийся, но даже не тлеющий след. Правда, иногда там, где огню попадалась яма, наполненная дромом* и сухими сучьями, он вдруг, и с каким-то особенным, довольно зловещим ревом, воздымался длинными, волнующимися косицами, но скоро опадал и бежал вперед по-прежнему, слегка потрескивая и шипя. Я даже не раз заметил, как кругом охваченный дубовый куст с сухими висячими листами оставался нетронутым, только снизу его слегка подпаливало. Признаюсь, я не мог понять, отчего сухие листья не загорались. Кондрат объяснял мне, что это происходило оттого, что пожар позёмный, «значит, не сердитый». Да ведь огонь тот же, возражал я. Позёмный пожар, повторил Кондрат. Однако хоть и позёмный, а пожар все-таки производил свое действие: зайцы как-то беспорядочно бегали взад и вперед, безо всякой нужды возвращаясь в соседство огня; птицы попада́ли в дым и кружились, лошади оглядывались и фыркали, самый лес как бы гудел, — да и человеку становилось неловко от внезапно бьющего ему в лицо жара…

— Чего смотреть! — сказал вдруг Егор за моей спиной. — Поедемте.

— Да где проехать? — спросил Кондрат.

— Возьми влево, по сухоболотью проедем.

Мы взяли влево и проехали, хоть иногда трудненько приходилось и лошадям и телеге.

Целый день протаскались мы по Гари. Перед вечером (заря еще не закраснелась на небе, но тени от деревьев уже легли неподвижные и длинные, и чувствовался в траве холодок, который предшествует росе) я прилег на дорогу вблизи телеги, в которую Кондрат не спеша впрягал наевшихся лошадей, и вспомнил свои вчерашние невеселые

мечтанья. Кругом всё было так же тихо, как и накануне, но не было давящего и теснящего душу бора; на высохшем мхе, на лиловом бурьяне, на мягкой пыли дороги, на тонких стволах и чистых листочках молодых берез лежал ясный и кроткий свет уже беззнойного, невысокого солнца. Всё отдыхало, погруженное в успокоительную прохладу; ничего еще не заснуло, но уже всё готовилось к целебным усыпленьям вечера и ночи. Всё, казалось, говорило человеку: «Отдохни, брат наш; дыши легко и не горюй и ты перед близким сном». Я поднял голову и увидал на самом конце тонкой ветки одну из тех больших мух с изумрудной головкой, длинным телом и четырьмя прозрачными крыльями, которых кокетливые французы величают «девицами», а наш бесхитростный народ прозвал «коромыслами». Долго, более часа не отводил я от нее глаз. Насквозь пропеченная солнцем, она не шевелилась, только изредка поворачивала головку со стороны на сторону и трепетала приподнятыми крылышками… вот и всё. Глядя на нее, мне вдруг показалось, что я понял жизнь природы, понял ее несомненный и явный, хотя для многих еще таинственный смысл. Тихое и медленное одушевление, неторопливость и сдержанность ощущений и сил, равновесие здоровья в каждом отдельном существе — вот самая ее основа, ее неизменный закон, вот на чем она стоит и держится. Всё, что выходит из-под этого уровня — кверху ли, книзу ли, всё равно, — выбрасывается ею вон, как негодное. Многие насекомые умирают, как только узнают нарушающие равновесие жизни радости любви; больной зверь забивается в чащу и угасает там один: он как бы чувствует, что уже не имеет права ни видеть всем общего солнца, ни дышать вольным воздухом, он не имеет права жить; а человек, которому от своей ли вины, от вины ли других пришлось худо на свете, должен по крайней мере уметь молчать*.

— Ну, что ж ты, Егор! — воскликнул вдруг Кондрат, который уже успел поместиться на облучке телеги и поигрывал и перебирал вожжами, — иди садись. Чего задумался? Аль о корове всё?

— О корове? О какой корове? — повторил я и взглянул на Егора: спокойный и важный, как всегда, он действительно, казалось, задумался и глядел куда-то вдаль, в поля, уже начинавшие темнеть.

— А вы не знаете? — подхватил Кондрат, — у него сегодня ночью последняя корова околела. Не везет ему — что ты будешь делать?..

Егор сел молча на облучок, и мы поехали. «Этот умеет не жаловаться», — подумал я.

Ася

I

Мне было тогда лет двадцать пять, — начал Н. Н., — дела давно минувших дней*, как видите. Я только что вырвался на волю и уехал за границу, не для того, чтобы «окончить мое воспитание», как говаривалось тогда, а просто мне захотелось посмотреть на мир божий. Я был здоров, молод, весел, деньги у меня не переводились, заботы еще не успели завестись — я жил без оглядки, делал что хотел, процветал, одним словом. Мне тогда и в голову не приходило, что человек не растение и процветать ему долго нельзя. Молодость ест пряники золоченые, да и думает, что это-то и есть хлеб насущный; а придет время — и хлебца напросишься. Но толковать об этом не для чего.

Я путешествовал без всякой цели, без плана; останавливался везде, где мне нравилось, и отправлялся тотчас далее, как только чувствовал желание видеть новые лица — именно лица. Меня занимали исключительно одни люди; я ненавидел любопытные памятники, замечательные собрания, один вид лон-лакея возбуждал во мне ощущение тоски и злобы; я чуть с ума не сошел в дрезденском «Грюне Гевёлбе»*. Природа действовала на меня чрезвычайно, но я не любил так называемых ее красот, необыкновенных гор, утесов, водопадов; я не любил, чтобы она навязывалась мне, чтобы она мне мешала. Зато лица, живые, человеческие лица — речи людей, их движения, смех — вот без чего я обойтись не мог. В толпе мне было всегда особенно легко и отрадно; мне было весело идти, куда шли другие, кричать, когда другие кричали, и в то же время я любил смотреть, как эти другие кричат. Меня забавляло наблюдать людей… да я даже не наблюдал их — я их рассматривал с каким-то радостным и ненасытным любопытством. Но я опять сбиваюсь в сторону.

Итак, лет двадцать тому назад я проживал в немецком небольшом городке З., на левом берегу Рейна. Я искал уединения*: я только что был поражен в сердце одной молодой вдовой, с которой познакомился на водах. Она была очень хороша собой и умна, кокетничала со всеми — и со мною, грешным, — сперва даже поощряла меня, а потом жестоко меня уязвила, пожертвовав мною одному краснощекому баварскому лейтенанту. Признаться сказать, рана моего сердца не

очень была глубока; но я почел долгом предаться на некоторое время печали и одиночеству — чем молодость не тешится! — и поселился в З.

Городок этот мне понравился своим местоположением у подошвы двух высоких холмов, своими дряхлыми стенами* и башнями, вековыми липами, крутым мостом над светлой речкой, впадавшей в Рейн, — а главное, своим хорошим вином. По его узким улицам гуляли вечером, тотчас после захождения солнца (дело было в июне), прехорошенькие белокурые немочки и, встретясь с иностранцем, произносили приятным голоском: «Guten Abend!»[30] — а некоторые из них не уходили даже и тогда, когда луна поднималась из-за острых крыш старереньких домов и мелкие каменья мостовой четко рисовались в ее неподвижных лучах. Я любил бродить тогда по городу; луна, казалось, пристально глядела на него с чистого неба; и город чувствовал этот взгляд и стоял чутко и мирно, весь облитый ее светом, этим безмятежным и в то же время тихо душу волнующим светом. Петух на высокой готической колокольне* блестел бледным золотом; таким же золотом переливались струйки по черному глянцу речки; тоненькие свечки (немец бережлив!) скромно теплились в узких окнах под грифельными кровлями; виноградные лозы таинственно высовывали свои завитые усики из-за каменных оград; что-то пробегало в тени около старинного колодца на трехугольной площади, внезапно раздавался сонливый свисток ночного сторожа, добродушная собака ворчала вполголоса, а воздух так и ластился к лицу, и липы пахли так сладко, что грудь поневоле всё глубже и глубже дышала, и слово: «Гретхен» — не то восклицание, не то вопрос — так и просилось на уста.

Городок З. лежит в двух верстах от Рейна. Я часто ходил смотреть на величавую реку и, не без некоторого напряжения мечтая о коварной вдове, просиживал долгие часы на каменной скамье под одиноким огромным ясенем. Маленькая статуя мадонны с почти детским лицом и красным сердцем на груди, пронзенным мечами*, печально выглядывала из его ветвей. На противоположном берегу находился городок Л., немного побольше того, в котором я поселился*. Однажды вечером сидел я на своей любимой скамье и глядел то на реку, то на небо, то на виноградники. Передо мною белоголовые мальчишки карабкались по бокам лодки, вытащенной на берег и опрокинутой насмоленным брюхом кверху. Кораблики тихо бежали на слабо надувшихся парусах; зеленоватые волны скользили мимо, чуть-чуть вспухая и урча. Вдруг донеслись до меня звуки музыки; я

прислушался. В городе Л. играли вальс; контрбас* гудел отрывисто, скрипка неясно заливалась, флейта свистала бойко.

— Что это? — спросил я у подошедшего ко мне старика в плисовом жилете, синих чулках и башмаках с пряжками.

— Это, — отвечал он мне, предварительно передвинув мундштук своей трубки из одного угла губ в другой, — студенты приехали из Б. на коммерш.*

«А посмотрю-ка я на этот коммерш, — подумал я, — кстати же я в Л. не бывал». Я отыскал перевозчика и отправился на другую сторону.

II

Может быть, не всякий знает, что такое коммерш. Это особенного рода торжественный пир, на который сходятся студенты одной земли, или братства (Landsmannschaft). Почти все участники в коммерше носят издавна установленный костюм немецких студентов: венгерки, большие сапоги и маленькие шапочки с околышами известных цветов. Собираются студенты обыкновенно к обеду под председательством сениора*, то есть старшины, — и пируют до утра, пьют, поют песни, Landesvater, Gaudeamus*, курят, бранят филистеров*; иногда они нанимают оркестр.

Такой точно коммерш происходил в г. Л. перед небольшой гостиницей под вывескою Солнца, в саду, выходившем на улицу. Над самой гостиницей и над садом веяли флаги; студенты сидели за столами под обстриженными липками; огромный бульдог лежал под одним из столов; в стороне, в беседке из плюща, помещались музыканты и усердно играли, то и дело подкрепляя себя пивом. На улице, перед низкой оградой сада, собралось довольно много народа: добрые граждане городка Л. не хотели пропустить случая поглазеть на заезжих гостей. Я тоже вмешался в толпу зрителей. Мне было весело смотреть на лица студентов; их объятия, восклицания, невинное кокетничанье молодости, горящие взгляды, смех без причины — лучший смех на свете — всё это радостное кипение жизни юной, свежей, этот порыв вперед — куда бы то ни было, лишь бы вперед, — это добродушное раздолье меня трогало и поджигало. «Уж не пойти ли к ним?» — спрашивал я себя…*

— Ася, довольно тебе? — вдруг произнес за мною мужской голос по-русски.

— Подождем еще, — отвечал другой, женский голос на том же языке.

Я быстро обернулся… Взор мой упал на красивого молодого

человека в фуражке и широкой куртке; он держал под руку девушку невысокого роста, в соломенной шляпе, закрывавшей всю верхнюю часть ее лица.

— Вы русские? — сорвалось у меня невольно с языка.

Молодой человек улыбнулся и промолвил:

— Да, русские.

— Я никак не ожидал… в таком захолустье, — начал было я.

— И мы не ожидали, — перебил он меня, — что ж? тем лучше. Позвольте рекомендоваться: меня зовут Гагиным, а вот это моя… — он запнулся на мгновенье, — моя сестра. А ваше имя позвольте узнать?

Я назвал себя, и мы разговорились. Я узнал, что Гагин, путешествуя, так же как я, для своего удовольствия, неделю тому назад заехал в городок Л., да и застрял в нем. Правду сказать, я неохотно знакомился с русскими за границей. Я их узнавал даже издали по их походке, покрою платья, а главное, по выражению их лица. Самодовольное и презрительное, часто повелительное, оно вдруг сменялось выражением осторожности и робости… Человек внезапно настораживался весь, глаз беспокойно бегал… «Батюшки мои! не соврал ли я, не смеются ли надо мною», — казалось, говорил этот уторопленный взгляд… Проходило мгновенье — и снова восстановлялось величие физиономии, изредка чередуясь с тупым недоуменьем. Да, я избегал русских, но Гагин мне понравился тотчас. Есть на свете такие счастливые лица: глядеть на них всякому любо, точно они греют вас или гладят. У Гагина было именно такое лицо, милое, ласковое, с большими мягкими глазами и мягкими курчавыми волосами. Говорил он так, что, даже не видя его лица, вы по одному звуку его голоса чувствовали, что он улыбается.

Девушка, которую он назвал своей сестрою, с первого взгляда показалась мне очень миловидной. Было что-то свое, особенное, в складе ее смугловатого круглого лица, с небольшим тонким носом, почти детскими щечками и черными, светлыми глазами. Она была грациозно сложена, но как будто не вполне еще развита. Она нисколько не походила на своего брата.

— Хотите вы зайти к нам? — сказал мне Гагин, — кажется, довольно мы насмотрелись на немцев. Наши бы, правда, стекла разбили и поломали стулья, но эти уж больно скромны. Как ты думаешь, Ася, пойти нам домой?

Девушка утвердительно качнула головой.

— Мы живем за городом, — продолжал Гагин, — в винограднике,

в одиноком домишке, высоко. У нас славно, посмотрите. Хозяйка обещала приготовить нам кислого молока. Теперь же скоро стемнеет, и вам лучше будет переезжать Рейн при луне.

Мы отправились. Чрез низкие ворота города (старинная стена из булыжника окружала его со всех сторон, даже бойницы не все еще обрушились) мы вышли в поле* и, пройдя шагов сто вдоль каменной ограды, остановились перед узенькой калиткой. Гагин отворил ее и повел нас в гору по крутой тропинке. С обеих сторон, на уступах, рос виноград; солнце только что село, и алый тонкий свет лежал на зеленых лозах, на высоких тычинках, на сухой земле, усеянной сплошь крупным и мелким плитняком, и на белой стене небольшого домика, с косыми черными перекладинами и четырьмя светлыми окошками, стоявшего на самом верху горы, по которой мы взбирались.

— Вот и наше жилище! — воскликнул Гагин, как только мы стали приближаться к домику, — а вот и хозяйка несет молоко. Guten Abend, Madame!..[31] Мы сейчас примемся за еду; но прежде, — прибавил он, — оглянитесь… каков вид?

Вид был, точно, чудесный. Рейн лежал перед нами весь серебряный, между зелеными берегами; в одном месте он горел багряным золотом заката. Приютившийся к берегу городок показывал все свои дома и улицы; широко разбегались холмы и поля. Внизу было хорошо, но наверху еще лучше: меня особенно поразила чистота и глубина неба, сияющая прозрачность воздуха. Свежий и легкий, он тихо колыхался и перекатывался волнами, словно и ему было раздольнее на высоте.

— Отличную вы выбрали квартиру, — промолвил я.

— Это Ася ее нашла, — отвечал Гагин, — ну-ка, Ася, — продолжал он, — распоряжайся. Вели всё сюда подать. Мы станем ужинать на воздухе. Тут музыка слышнее. Заметили ли вы, — прибавил он, обратясь ко мне, — вблизи иной вальс никуда не годится — пошлые, грубые звуки, — а в отдаленье, чудо! так и шевелит в вас все романтические струны.

Ася (собственно имя ее было Анна, но Гагин называл ее Асей*, и уж вы позвольте мне ее так называть) — Ася отправилась в дом и скоро вернулась вместе с хозяйкой. Они вдвоем несли большой поднос с горшком молока, тарелками, ложками, сахаром, ягодами, хлебом. Мы уселись и принялись за ужин. Ася сняла шляпу; ее черные волосы, остриженные и причесанные, как у мальчика, падали крупными завитками на шею и уши. Сначала она дичилась меня; но Гагин сказал ей:

— Ася, полно ежиться! он не кусается.

Она улыбнулась и немного спустя уже сама заговаривала со мной. Я не видал существа более подвижного. Ни одно мгновенье она не сидела смирно; вставала, убегала в дом и прибегала снова, напевала вполголоса, часто смеялась, и престранным образом: казалось, она смеялась не тому, что слышала, а разным мыслям, приходившим ей в голову. Ее большие глаза глядели прямо, светло, смело, но иногда веки ее слегка щурились, и тогда взор ее внезапно становился глубок и нежен.

Мы проболтали часа два. День давно погас, и вечер, сперва весь огнистый, потом ясный и алый, потом бледный и смутный, тихо таял и переливался в ночь, а беседа наша всё продолжалась, мирная и кроткая, как воздух, окружавший нас. Гагин велел принести бутылку рейнвейна; мы ее ро́спили не спеша. Музыка по-прежнему долетала до нас, звуки ее казались слаще и нежнее; огни зажглись в городе и над рекою. Ася вдруг опустила голову, так что кудри ей на глаза упали, замолкла и вздохнула, а потом сказала нам, что хочет спать, и ушла в дом; я, однако, видел, как она, не зажигая свечи, долго стояла за нераскрытым окном. Наконец луна встала и заиграла по Рейну; всё осветилось, потемнело, изменилось, даже вино в наших граненых стаканах заблестело таинственным блеском. Ветер упал, точно крылья сложил, и замер: ночным, душистым теплом повеяло от земли.

— Пора! — воскликнул я, — а то, пожалуй, перевозчика не сыщешь.

— Пора, — повторил Гагин.

Мы пошли вниз по тропинке. Камни вдруг посыпались за нами: это Ася нас догоняла.

— Ты разве не спишь? — спросил ее брат, но она, не ответив ему ни слова, пробежала мимо.

Последние умиравшие плошки, зажженные студентами в саду гостиницы, освещали снизу листья деревьев, что придавало им праздничный и фантастический вид. Мы нашли Асю у берега: она разговаривала с перевозчиком. Я прыгнул в лодку и простился с новыми моими друзьями. Гагин обещал навестить меня на следующий день; я пожал его руку и протянул свою Асе; но она только посмотрела на меня и покачала головой. Лодка отчалила и понеслась по быстрой реке. Перевозчик, бодрый старик, с напряжением погружал весла в темную воду.

— Вы в лунный столб въехали, вы его разбили, — закричала мне Ася.

Я опустил глаза; вокруг лодки, чернея, колыхались волны.

— Прощайте! — раздался опять ее голос.

— До завтра, — проговорил за нею Гагин.

Лодка причалила. Я вышел и оглянулся. Никого уж не было видно на противоположном берегу. Лунный столб опять тянулся золотым мостом через всю реку. Словно на прощание примчались звуки старинного ланнеровского вальса*. Гагин был прав: я почувствовал, что все струны сердца моего задрожали в ответ на те заискивающие напевы. Я отправился домой через потемневшие поля, медленно вдыхая пахучий воздух, и пришел в свою комнатку весь разнеженный сладостным томлением беспредметных и бесконечных ожиданий. Я чувствовал себя счастливым… Но отчего я был счастлив? Я ничего не желал, я ни о чем не думал… Я был счастлив.

Чуть не смеясь от избытка приятных и игривых чувств, я нырнул в постель и уже закрыл было глаза, как вдруг мне пришло на ум, что в течение вечера я ни разу не вспомнил о моей жестокой красавице… «Что же это значит? — спросил я самого себя. — Разве я не влюблен?» Но, задав себе этот вопрос, я, кажется, немедленно заснул, как дитя в колыбели.

III

На другое утро (я уже проснулся, но еще не вставал) стук палки раздался у меня под окном, и голос, который я тотчас признал за голос Гагина, запел:

Ты спишь ли? Гитарой*
Тебя разбужу…

Я поспешил отворить ему дверь.

— Здравствуйте, — сказал Гагин, входя, — я вас раненько потревожил, но посмотрите, какое утро. Свежесть, роса, жаворонки поют…

С своими курчавыми блестящими волосами, открытой шеей и розовыми щеками он сам был свеж, как утро.

Я оделся; мы вышли в садик, сели на лавочку, велели подать себе кофе и принялись беседовать. Гагин сообщил мне свои планы на будущее: владея порядочным состоянием и ни от кого не завися, он хотел посвятить себя живописи и только сожалел о том, что поздно хватился за ум и много времени потратил по-пустому; я также упомянул о моих предположениях, да кстати поверил ему тайну моей несчастной любви. Он выслушал меня с снисхождением, но, сколько я

мог заметить, сильного сочувствия к моей страсти я в нем не возбудил. Вздохнувши вслед за мной раза два из вежливости, Гагин предложил мне пойти к нему посмотреть его этюды. Я тотчас согласился.

Мы не застали Асю. Она, по словам хозяйки, отправилась на «развалину». Верстах в двух от города Л. находились остатки феодального замка. Гагин раскрыл мне все свои картоны. В его этюдах было много жизни и правды, что-то свободное и широкое; но ни один из них не был окончен, и рисунок показался мне небрежен и неверен. Я откровенно высказал ему мое мнение.

— Да, да, — подхватил он со вздохом, — вы правы; всё это очень плохо и незрело, что делать! Не учился я как следует, да и проклятая славянская распущенность берет свое. Пока мечтаешь о работе, так и паришь орлом; землю, кажется, сдвинул бы с места — а в исполнении тотчас ослабеешь и устаешь.

Я начал было ободрять его, но он махнул рукой и, собравши картоны в охапку, бросил их на диван.

— Коли хватит терпенья, из меня выйдет что-нибудь, — промолвил он сквозь зубы, — не хватит, останусь недорослем из дворян. Пойдемте-ка лучше Асю отыскивать.

Мы пошли.

IV

Дорога к развалине вилась по скату узкой лесистой долины; на дне ее бежал ручей и шумно прядал через камни, как бы торопясь слиться с великой рекой, спокойно сиявшей за темной гранью круто рассеченных горных гребней. Гагин обратил мое внимание на некоторые счастливо освещенные места; в словах его слышался если не живописец, то уж наверное художник. Скоро показалась развалина. На самой вершине голой скалы возвышалась четыреугольная башня, вся черная, еще крепкая, но словно разрубленная продольной трещиной. Мшистые стены примыкали к башне; кой-где лепился плющ*; искривленные деревца свешивались с седых бойниц и рухнувших сводов. Каменистая тропинка вела к уцелевшим воротам. Мы уже подходили к ним, как вдруг впереди нас мелькнула женская фигура, быстро перебежала по груде обломков и поместилась на уступе стены, прямо над пропастью.

— А ведь это Ася! — воскликнул Гагин, — экая сумасшедшая!

Мы вошли в ворота и очутились на небольшом дворике, до половины заросшем дикими яблонями и крапивой. На уступе сидела, точно, Ася. Она повернулась к нам лицом и засмеялась, но не

тронулась с места. Гагин погрозил ей пальцем, а я громко упрекнул ее в неосторожности.

— Полноте, — сказал мне шёпотом Гагин, — не дразните ее; вы ее не знаете: она, пожалуй, еще на башню взберется. А вот вы лучше подивитесь смышлености здешних жителей.

Я оглянулся. В уголке, приютившись в крошечном деревянном балаганчике, старушка вязала чулок и косилась на нас чрез очки. Она продавала туристам пиво, пряники и зельтерскую воду. Мы уместились на лавочке и принялись пить из тяжелых оловянных кружек довольно холодное пиво. Ася продолжала сидеть неподвижно, подобрав под себя ноги и закутав голову кисейным шарфом; стройный облик ее отчетливо и красиво рисовался на ясном небе; но я с неприязненным чувством посматривал на нее. Уже накануне заметил я в ней что-то напряженное, не совсем естественное… «Она хочет удивить нас, — думал я, — к чему это? Что за детская выходка?» Словно угадавши мои мысли, она вдруг бросила на меня быстрый и пронзительный взгляд, засмеялась опять, в два прыжка соскочила со стены и, подойдя к старушке, попросила у ней стакан воды.

— Ты думаешь, я хочу пить? — промолвила она, обратившись к брату, — нет; тут есть цветы на стенах, которые непременно полить надо.

Гагин ничего не отвечал ей; а она, с стаканом в руке, пустилась карабкаться по развалинам, изредка останавливаясь, наклоняясь и с забавной важностью роняя несколько капель воды, ярко блестевших на солнце. Ее движенья были очень милы, но мне по-прежнему было досадно на нее, хотя я невольно любовался ее легкостью и ловкостью. На одном опасном месте она нарочно вскрикнула и потом захохотала… Мне стало еще досаднее.

— Да она как коза лазит, — пробормотала себе под нос старушка, оторвавшись на мгновенье от своего чулка.

Наконец Ася опорожнила весь свой стакан и, шаловливо покачиваясь, возвратилась к нам. Странная усмешка слегка подергивала ее брови, ноздри и губы; полудерзко, полувесело щурились темные глаза.

«Вы находите мое поведение неприличным, — казалось, говорило ее лицо, — всё равно: я знаю, вы мной любуетесь».

— Искусно, Ася, искусно, — промолвил Гагин вполголоса.

Она вдруг как будто застыдилась, опустила свои длинные ресницы и скромно подсела к нам, как виноватая. Я тут в первый раз хорошенько рассмотрел ее лицо, самое изменчивое лицо, какое я

только видел. Несколько мгновений спустя оно уже всё побледнело и приняло сосредоточенное, почти печальное выражение; самые черты ее мне показались больше, строже, проще. Она вся затихла. Мы обошли развалину кругом (Ася шла за нами следом) и полюбовались видами. Между тем час обеда приближался. Расплачиваясь со старушкой, Гагин спросил еще кружку пива и, обернувшись ко мне, воскликнул с лукавой ужимкой:

— За здоровье дамы вашего сердца!

— А разве у него, — разве у вас есть такая дама? — спросила вдруг Ася.

— Да у кого же ее нет? — возразил Гагин.

Ася задумалась на мгновенье; ее лицо опять изменилось, опять появилась на нем вызывающая, почти дерзкая усмешка.

На возвратном пути она пуще хохотала и шалила. Она сломала длинную ветку, положила ее к себе на плечо, как ружье, повязала себе голову шарфом. Помнится, нам встретилась многочисленная семья белокурых и чопорных англичан; все они, словно по команде, с холодным изумлением проводили Асю своими стеклянными глазами, а она, как бы им назло, громко запела. Воротясь домой, она тотчас ушла к себе в комнату и появилась только к самому обеду, одетая в лучшее свое платье, тщательно причесанная, перетянутая и в перчатках. За столом она держалась очень чинно, почти чопорно, едва отведывала кушанья и пила воду из рюмки. Ей явно хотелось разыграть передо мною новую роль — роль приличной и благовоспитанной барышни. Гагин не мешал ей: заметно было, что он привык потакать ей во всем. Он только по временам добродушно взглядывал на меня и слегка пожимал плечом, как бы желая сказать: «Она ребенок; будьте снисходительны». Как только кончился обед, Ася встала, сделала нам книксен, и, надевая шляпу, спросила Гагина: можно ли ей пойти к фрау Луизе?

— Давно ли ты стала спрашиваться? — отвечал он с своей неизменной, на этот раз несколько смущенной улыбкой, — разве тебе скучно с нами?

— Нет, но я вчера еще обещала фрау Луизе побывать у ней; притом же я думала, вам будет лучше вдвоем: г. Н. (она указала на меня) что-нибудь еще тебе расскажет.

Она ушла.

— Фрау Луизе, — начал Гагин, стараясь избегать моего взора, — вдова бывшего здешнего бургомистра, добрая, впрочем пустая старушка. Она очень полюбила Асю. У Аси страсть знакомиться с

людьми круга низшего; я заметил: причиною этому всегда бывает гордость. Она у меня порядком избалована, как видите, — прибавил он, помолчав немного, — да что прикажете делать? Взыскивать я ни с кого не умею, а с нее и подавно. Я *обязан* быть снисходительным с нею.

Я промолчал. Гагин переменил разговор. Чем больше я узнавал его, тем сильнее я к нему привязывался. Я скоро его понял. Это была прямо русская душа, правдивая, честная, простая, но, к сожалению, немного вялая, без цепкости и внутреннего жара. Молодость не кипела в нем ключом; она светилась тихим светом. Он был очень мил и умен, но я не мог себе представить, что с ним станется, как только он возмужает. Быть художником… Без горького, постоянного труда не бывает художников… а трудиться, думал я, глядя на его мягкие черты, слушая его неспешную речь, — нет! трудиться ты не будешь, сжаться ты не сумеешь. Но не полюбить его не было возможности: сердце так и влеклось к нему. Часа четыре провели мы вдвоем, то сидя на диване, то медленно расхаживая перед домом; и в эти четыре часа сошлись окончательно.

Солнце село, и мне уже пора было идти домой. Ася всё еще не возвращалась.

— Экая она у меня вольница! — промолвил Гагин. — Хотите, я пойду провожать вас? Мы по пути завернем к фрау Луизе; я спрошу, там ли она? Крюк не велик.

Мы спустились в город и, свернувши в узкий, кривой переулочек, остановились перед домом в два окна шириною и вышиною в четыре этажа. Второй этаж выступал на улицу больше первого, третий и четвертый еще больше второго; весь дом с своей ветхой резьбой, двумя толстыми столбами внизу, острой черепичной кровлей и протянутым в виде клюва воротом на чердаке казался огромной, сгорбленной птицей.

— Ася! — крикнул Гагин, — ты здесь?

Освещенное окошко в третьем этаже стукнуло и отворилось, и мы увидали темную головку Аси. Из-за нее выглядывало беззубое и подслеповатое лицо старой немки.

— Я здесь, — проговорила Ася, кокетливо опершись локтями на оконницу, — мне здесь хорошо. На тебе, возьми, — прибавила она, бросая Гагину ветку гераниума, — вообрази, что я дама твоего сердца.

Фрау Луизе засмеялась.

— Н. уходит, — возразил Гагин, — он хочет с тобой проститься.

— Будто? — промолвила Ася, — в таком случае дай ему мою

ветку, а я сейчас вернусь.

Она захлопнула окно и, кажется, поцеловала фрау Луизе. Гагин протянул мне молча ветку. Я молча положил ее в карман, дошел до перевоза и перебрался на другую сторону.

Помнится, я шел домой, ни о чем не размышляя, но с странной тяжестью на сердце, как вдруг меня поразил сильный, знакомый, но в Германии редкий запах. Я остановился и увидал возле дороги небольшую грядку конопли. Ее степной запах мгновенно напомнил мне родину и возбудил в душе страстную тоску по ней. Мне захотелось дышать русским воздухом, ходить по русской земле. «Что я здесь делаю, зачем таскаюсь я в чужой стороне, между чужими?» — воскликнул я, и мертвенная тяжесть, которую я ощущал на сердце, разрешилась внезапно в горькое и жгучее волнение. Я пришел домой совсем в другом настроении духа, чем накануне. Я чувствовал себя почти рассерженным и долго не мог успокоиться. Непонятная мне самому досада меня разбирала. Наконец я сел и, вспомнив о своей коварной вдове (официальным воспоминанием об этой даме заключался каждый мой день), достал одну из ее записок. Но я даже не раскрыл ее; мысли мои тотчас приняли иное направление. Я начал думать… думать об Асе. Мне пришло в голову, что Гагин в течение разговора намекнул мне на какие-то затруднения, препятствующие его возвращению в Россию… «Полно, сестра ли она его?» — произнес я громко.

Я разделся, лег и старался заснуть; но час спустя я опять сидел в постели, облокотившись локтем на подушку, и снова думал об этой «капризной девочке с натянутым смехом…» «Она сложена, как маленькая рафаэлевская Галатея в Фарнезине*, — шептал я, — да; и она ему не сестра…»

А записка вдовы преспокойно лежала на полу, белея в лучах луны.

V

На следующее утро я опять пошел в Л. Я уверял себя, что мне хочется повидаться с Гагиным. но втайне меня тянуло посмотреть, что станет делать Ася, так же ли она будет «чудить», как накануне. Я застал обоих в гостиной, и, странное дело! — оттого ли, что я ночью и утром много размышлял о России, — Ася показалась мне совершенно русской девушкой, да, простою девушкой, чуть не горничной. На ней было старенькое платьице, волосы она зачесала за уши и сидела, не шевелясь, у окна да шила в пяльцах, скромно, тихо, точно она век свой ничем другим не занималась. Она почти ничего не говорила, спокойно

посматривала на свою работу, и черты ее приняли такое незначительное, будничное выражение, что мне невольно вспомнились наши доморощенные Кати и Маши. Для довершения сходства она принялась напевать вполголоса «Матушку, голубушку»*. Я глядел на ее желтоватое, угасшее личико, вспоминал о вчерашних мечтаниях, и жаль мне было чего-то. Погода была чудесная. Гагин объявил нам, что пойдет сегодня рисовать этюд с натуры; я спросил его, позволит ли он мне провожать его, не помешаю ли ему?

— Напротив, — возразил он, — вы мне можете хороший совет дать.

Он надел круглую шляпу à la Van Dyck, блузу, взял картон под мышку и отправился; я поплелся вслед за ним. Ася осталась дома. Гагин, уходя, попросил ее позаботиться о том, чтобы суп был не слишком жидок: Ася обещалась побывать на кухне. Гагин добрался до знакомой уже мне долины, присел на камень и начал срисовывать старый дуплистый дуб с раскидистыми сучьями. Я лег на траву и достал книжку; но я двух страниц не прочел, а он только бумагу измарал; мы всё больше рассуждали и, сколько я могу судить, довольно умно и тонко рассуждали о том, как именно должно работать, чего следует избегать, чего придерживаться и какое собственно значение художника в наш век.* Гагин, наконец, решил, что он «сегодня не в ударе», лег рядом со мною, и уж тут свободно потекли молодые наши речи, то горячие, то задумчивые, то восторженные, но почти всегда неясные речи, в которых так охотно разливается русский человек. Наболтавшись досыта и наполнившись чувством удовлетворения, словно мы что-то сделали, успели в чем-то, вернулись мы домой. Я нашел Асю точно такою же, какою я ее оставил; как я ни старался наблюдать за нею — ни тени кокетства, ни признака намеренно принятой роли я в ней не заметил; на этот раз не было возможности упрекнуть ее в неестественности.

— А-га! — говорил Гагин, — пост и покаяние на себя наложила.

К вечеру она несколько раз непритворно зевнула и рано ушла к себе. Я сам скоро простился с Гагиным и, возвратившись домой, не мечтал уже ни о чем: этот день прошел в трезвых ощущениях. Помнится, однако, ложась спать, я невольно промолвил вслух:

— Что за хамелеон эта девушка! — и, подумав немного, прибавил:
— А все-таки она ему не сестра.

VI

Прошли целые две недели. Я каждый день посещал Гагиных. Ася

словно избегала меня, но уже не позволяла себе ни одной из тех шалостей, которые так удивили меня в первые два дня нашего знакомства. Она казалась втайне огорченной или смущенной; она и смеялась меньше. Я с любопытством наблюдал за ней.

Она довольно хорошо говорила по-французски и по-немецки; но по всему было заметно, что она с детства не была в женских руках и воспитание получила странное, необычное, не имевшее ничего общего с воспитанием самого Гагина. От него, несмотря на его шляпу à la Van Dyck и блузу, так и веяло мягким, полуизнеженным, великорусским дворянином[*], а она не походила на барышню; во всех ее движениях было что-то неспокойное: этот дичок недавно был привит, это вино еще бродило. По природе стыдливая и робкая, она досадовала на свою застенчивость и с досады насильственно старалась быть развязной и смелой, что ей не всегда удавалось. Я несколько раз заговаривал с ней об ее жизни в России, об ее прошедшем: она неохотно отвечала на мои расспросы; я узнал, однако, что до отъезда за границу она долго жила в деревне. Я застал ее раз за книгой, одну. Опершись головой на обе руки и запустив пальцы глубоко в волосы, она пожирала глазами строки.

— Браво! — сказал я, подойдя к ней, — как вы прилежны!

Она приподняла голову, важно и строго посмотрела на меня.

— Вы думаете, я только смеяться умею, — промолвила она и хотела удалиться…

Я взглянул на заглавие книги: это был какой-то французский роман[*].

— Однако я ваш выбор похвалить не могу, — заметил я.

— Что же читать! — воскликнула она и, бросив книгу на стол, прибавила: — Так лучше пойду дурачиться, — и побежала в сад.

В тот же день, вечером, я читал Гагину «Германа и Доротею»[*]. Ася сперва всё только шныряла мимо нас, потом вдруг остановилась, приникла ухом, тихонько подсела ко мне и прослушала чтение до конца. На следующий день я опять не узнал ее, пока не догадался, что ей вдруг вошло в голову: быть домовитой и степенной, как Доротея. Словом, она являлась мне полузагадочным существом. Самолюбивая до крайности, она привлекала меня, даже когда я сердился на нее. В одном только я более и более убеждался, а именно в том, что она не сестра Гагина. Он обходился с нею не по-братски: слишком ласково, слишком снисходительно и в то же время несколько принужденно.

Странный случай, по-видимому, подтвердил мои подозрения.

Однажды вечером, подходя к винограднику, где жили Гагины, я

нашел калитку запертою. Не долго думавши, добрался я до одного обрушенного места в ограде, уже прежде замеченного мною, и перескочил через нее. Недалеко от этого места, в стороне от дорожки, находилась небольшая беседка из акаций; я поравнялся с нею и уже прошел было мимо… Вдруг меня поразил голос Аси, с жаром и сквозь слезы произносившей следующие слова:

— Нет, я никого не хочу любить, кроме тебя, нет, нет, одного тебя я хочу любить — и навсегда.

— Полно, Ася, успокойся, — говорил Гагин, — ты знаешь, я тебе верю.

Голоса их раздавались в беседке. Я увидал их обоих сквозь негустой переплет ветвей. Они меня не заметили.

— Тебя, тебя одного, — повторила она, бросилась ему на шею и с судорожными рыданиями начала целовать его и прижиматься к его груди.

— Полно, полно, — твердил он, слегка проводя рукой по ее волосам.

Несколько мгновений остался я неподвижным… Вдруг я встрепенулся. «Подойти к ним?.. Ни за что!» — сверкнуло у меня в голове. Быстрыми шагами вернулся я к ограде, перескочил через нее на дорогу и чуть не бегом пустился домой. Я улыбался, потирал руки, удивлялся случаю, внезапно подтвердившему мои догадки (я ни на одно мгновенье не усомнился в их справедливости), а между тем на сердце у меня было очень горько. «Однако, — думал я, — умеют же они притворяться! Но к чему? Что за охота меня морочить? Не ожидал я этого от него… И что за чувствительное объяснение?»

VII

Я спал дурно и на другое утро встал рано, привязал походную котомочку за спину и, объявив своей хозяйке, чтобы она не ждала меня к ночи, отправился пешком в горы, вверх по течению реки, на которой лежит городок З. Эти горы, отрасли хребта, называемого Собачьей спиной (Hundsrück), очень любопытны в геологическом отношении; в особенности замечательны они правильностью и чистотой базальтовых слоев; но мне было не до геологических наблюдений. Я не отдавал себе отчета в том, что во мне происходило; одно чувство было мне ясно: нежелание видеться с Гагиными. Я уверял себя, что единственной причиной моего внезапного нерасположения к ним была досада на их лукавство. Кто их принуждал выдавать себя за родственников? Впрочем, я старался о них не думать; бродил не спеша

по горам и долинам, засиживался в деревенских харчевнях, мирное беседуя с хозяевами и гостями, или ложился на плоский, согретый камень и смотрел, как плыли облака, благо погода стояла удивительная. В таких занятиях я провел три дня, и не без удовольствия, — хотя на сердце у меня щемило по временам. Настроение моих мыслей приходилось как раз под стать спокойной природе того края.

Я отдал себя всего тихой игре случайности, набегавшим впечатлениям; неторопливо сменяясь, протекали они по душе и оставили в ней, наконец, одно общее чувство, в котором слилось всё, что я видел, ощутил, слышал в эти три дня, — всё: тонкий запах смолы по лесам, крик и стук дятлов, немолчная болтовня светлых ручейков с пестрыми форелями на песчаном дне, не слишком смелые очертания гор, хмурые скалы, чистенькие деревеньки с почтенными старыми церквами и деревьями, аисты в лугах, уютные мельницы с проворно вертящимися колесами, радушные лица поселян, их синие камзолы и серые чулки, скрипучие, медлительные возы, запряженные жирными лошадьми, а иногда коровами, молодые длинноволосые странники по чистым дорогам*, обсаженным яблонями и грушами…

Даже и теперь мне приятно вспоминать мои тогдашние впечатления. Привет тебе, скромный уголок германской земли, с твоим незатейливым довольством, с повсеместными следами прилежных рук, терпеливой, хотя неспешной работы… Привет тебе и мир!

Я пришел домой к самому концу третьего дня. Я забыл сказать, что с досады на Гагиных я попытался воскресить в себе образ жестокосердой вдовы; но мои усилия остались тщетны. Помнится, когда я принялся мечтать о ней, я увидел перед собою крестьянскую девочку лет пяти, с круглым любопытным личиком, с невинно выпученными глазенками. Она так детски-простодушно смотрела на меня… Мне стало стыдно ее чистого взора, я не хотел лгать в ее присутствии и тотчас же окончательно и навсегда раскланялся с моим прежним предметом.

Дома я нашел записку от Гагина. Он удивлялся неожиданности моего решения, пенял мне, зачем, я не взял его с собою, и просил прийти к ним, как только я вернусь. Я с неудовольствием прочел эту записку, но на другой же день отправился в Л.

VIII

Гагин встретил меня по-приятельски, осыпал меня ласковыми

упреками; но Ася, точно нарочно, как только увидала меня, расхохоталась без всякого повода и, по своей привычке, тотчас убежала. Гагин смутился, пробормотал ей вслед, что она сумасшедшая, попросил меня извинить ее. Признаюсь, мне стало очень досадно на Асю; уж и без того мне было не по себе, а тут опять этот неестественный смех, эти странные ужимки. Я, однако, показал вид, будто ничего не заметил, и сообщил Гагину подробности моего небольшого путешествия. Он рассказал мне, что делал в мое отсутствие. Но речи наши не клеились; Ася входила в комнатку и убегала снова; я объявил наконец, что у меня есть спешная работа и что мне пора вернуться домой. Гагин сперва меня удерживал, потом, посмотрев на меня пристально, вызвался провожать меня. В передней Ася вдруг подошла ко мне и протянула мне руку; я слегка пожал ее пальцы и едва поклонился ей. Мы вместе с Гагиным переправились через Рейн и, проходя мимо любимого моего ясеня с статуйкой мадонны, присели на скамью, чтобы полюбоваться видом. Замечательный разговор произошел тут между нами.

Сперва мы перекинулись немногими словами, потом замолкли, глядя на светлую реку.

— Скажите, — начал вдруг Гагин, с своей обычной улыбкой, — какого вы мнения об Асе? Не правда ли, она должна казаться вам немного странной?

— Да, — ответил я не без некоторого недоумения. Я не ожидал, что он заговорит о ней.

— Ее надо хорошенько узнать, чтобы о ней судить, — промолвил он, — у ней сердце очень доброе, но голова бедовая. Трудно с нею ладить. Впрочем, ее нельзя винить, и если б вы знали ее историю…

— Ее историю?.. — перебил я, — разве она не ваша…

Гагин взглянул на меня.

— Уж не думаете ли вы, что она не сестра мне?.. Нет, — продолжал он, не обращая внимания на мое замешательство, — она точно мне сестра, она дочь моего отца. Выслушайте меня. Я чувствую к вам доверие и расскажу вам всё.

Отец мой был человек весьма добрый, умный, образованный — и несчастливый. Судьба обошлась с ним не хуже, чем со многими другими; но он и первого удара ее не вынес. Он женился рано, по любви; жена его, моя мать, умерла очень скоро; я остался после нее шести месяцев. Отец увез меня в деревню и целые двенадцать лет не выезжал никуда. Он сам занимался моим воспитанием и никогда бы со мной не расстался, если б брат его, мой родной дядя, не заехал к нам в

деревню. Дядя этот жил постоянно в Петербурге и занимал довольно важное место. Он уговорил отца отдать меня к нему на руки, так как отец ни за что не соглашался покинуть деревню. Дядя представил ему, что мальчику моих лет вредно жить в совершенном уединении, что с таким вечно унылым и молчаливым наставником, каков был мой отец, я непременно отстану от моих сверстников, да и самый нрав мой легко может испортиться. Отец долго противился увещаниям своего брата, однако уступил наконец. Я плакал, расставаясь с отцом; я любил его, хотя никогда не видал улыбки на лице его… но, попавши в Петербург, скоро позабыл наше темное и невеселое гнездо. Я поступил в юнкерскую школу, а из школы перешел в гвардейский полк. Каждый год приезжал я в деревню на несколько недель и с каждым годом находил отца моего всё более и более грустным, в себя углубленным, задумчивым до робости. Он каждый день ходил в церковь и почти разучился говорить. В одно из моих посещений (мне уже было лет двадцать с лишком) я в первый раз увидал у нас в доме худенькую черноглазую девочку лет десяти — Асю. Отец сказал, что она сирота и взята им на прокормление — он именно так выразился. Я не обратил особенного внимания на нее; она была дика, проворна и молчалива, как зверек, и как только я входил в любимую комнату моего отца, огромную и мрачную комнату, где скончалась моя мать и где даже днем зажигались свечки, она тотчас пряталась за вольтеровское кресло его или за шкаф с книгами. Случилось так, что в последовавшие за тем три, четыре года обязанности службы помешали мне побывать в деревне. Я получал от отца ежемесячно по короткому письму; об Асе он упоминал редко, и то вскользь. Ему было уже за пятьдесят лет, но он казался еще молодым человеком. Представьте же мой ужас: вдруг я, ничего не подозревавший, получаю от приказчика письмо, в котором он извещает меня о смертельной болезни моего отца и умоляет приехать как можно скорее, если хочу проститься с ним. Я поскакал сломя голову и застал отца в живых, но уже при последнем издыхании. Он обрадовался мне чрезвычайно, обнял меня своими исхудалыми руками, долго поглядел мне в глаза каким-то не то испытующим, не то умоляющим взором и, взяв с меня слово, что я исполню его последнюю просьбу, велел своему старому камердинеру привести Асю. Старик привел ее: она едва держалась на ногах и дрожала всем телом.

— Вот, — сказал мне с усилием отец, — завещаю тебе мою дочь — твою сестру. Ты всё узнаешь от Якова, — прибавил он, указав на камердинера.

Ася зарыдала и упала лицом на кровать… Полчаса спустя мой отец скончался.

Вот что я узнал. Ася была дочь моего отца и бывшей горничной моей матери, Татьяны. Живо помню я эту Татьяну, помню ее высокую стройную фигуру, ее благообразное, строгое, умное лицо, с большими темными глазами. Она слыла девушкой гордой и неприступной. Сколько я мог понять из почтительных недомолвок Якова, отец мой сошелся с нею несколько лет спустя после смерти матушки. Татьяна уже не жила тогда в господском доме, а в избе у замужней сестры своей, скотницы. Отец мой сильно к ней привязался и после моего отъезда из деревни хотел даже жениться на ней, но она сама не согласилась быть его женой, несмотря на его просьбы.

— Покойница Татьяна Васильевна, — так докладывал мне Яков, стоя у двери с закинутыми назад руками, — во всем были рассудительны и не захотели батюшку вашего обидеть. Что, мол, я вам за жена? какая я барыня? Так они говорить изволили, при мне говорили-с.

Татьяна даже не хотела переселиться к нам в дом и продолжала жить у своей сестры, вместе с Асей. В детстве я видывал Татьяну только по праздникам, в церкви. Повязанная темным платком, с желтой шалью на плечах, она становилась в толпе, возле окна, — ее строгий профиль четко вырезывался на прозрачном стекле, — и смиренно и важно молилась, кланяясь низко, по-старинному. Когда дядя увез меня, Асе было всего два года, а на девятом году она лишилась матери.

Как только Татьяна умерла, отец взял Асю к себе в дом. Он и прежде изъявлял желание иметь ее при себе, но Татьяна ему и в этом отказала. Представьте же себе, что должно было произойти в Асе, когда ее взяли к барину. Она до сих пор не может забыть ту минуту, когда ей в первый раз надели шелковое платье и поцеловали у ней ручку. Мать, пока была жива, держала ее очень строго; у отца она пользовалась совершенной свободой. Он был ее учителем; кроме его, она никого не видала. Он не баловал ее, то есть не нянчился с нею; но он любил ее страстно и никогда ничего ей не запрещал: он в душе считал себя перед ней виноватым. Ася скоро поняла, что она главное лицо в доме, она знала, что барин ее отец; но она так же скоро поняла свое ложное положение; самолюбие развилось в ней сильно, недоверчивость тоже; дурные привычки укоренялись, простота исчезла. Она хотела (она сама мне раз призналась в этом) заставить *целый мир* забыть ее происхождение; она и стыдилась своей матери, и

стыдилась своего стыда, и гордилась ею. Вы видите, что она многое знала и знает, чего не должно бы знать в ее годы… Но разве она виновата? Молодые силы разыгрывались в ней, кровь кипела, а вблизи ни одной руки, которая бы ее направила. Полная независимость во всем! да разве легко ее вынести? Она хотела быть не хуже других барышень; она бросилась на книги. Что тут могло выйти путного? Неправильно начатая жизнь слагалась неправильно, но сердце в ней не испортилось, ум уцелел.

И вот я, двадцатилетний малый, очутился с тринадцатилетней девочкой на руках! В первые дни после смерти отца, при одном звуке моего голоса, ее била лихорадка, ласки мои повергали ее в тоску, и только понемногу, исподволь, привыкла она ко мне. Правда, потом, когда она убедилась, что я точно признаю ее за сестру и полюбил ее, как сестру, она страстно ко мне привязалась: у ней ни одно чувство не бывает вполовину.

Я привез ее в Петербург. Как мне ни больно было с ней расстаться, — жить с ней вместе я никак не мог; я поместил ее в один из лучших пансионов. Ася поняла необходимость нашей разлуки, но начала с того, что заболела и чуть не умерла. Потом она обтерпелась и выжила в пансионе четыре года; но, против моих ожиданий, осталась почти такою же, какою была прежде. Начальница пансиона часто жаловалась мне на нее. «И наказать ее нельзя, — говаривала она мне, — и на ласку она не поддается». Ася была чрезвычайно понятлива, училась прекрасно, лучше всех; но никак не хотела подойти под общий уровень, упрямилась, глядела букой… Я не мог слишком винить ее: в ее положении ей надо было либо прислуживаться, либо дичиться. Из всех своих подруг она сошлась только с одной, некрасивой, загнанной и бедной девушкой. Остальные барышни, с которыми она воспитывалась, большей частью из хороших фамилий, не любили ее, язвили ее и кололи как только могли; Ася им на волос не уступала. Однажды на уроке из закона божия преподаватель заговорил о пороках. «Лесть и трусость — самые дурные пороки», — громко промолвила Ася. Словом, она продолжала идти своей дорогой; только манеры ее стали лучше, хотя и в этом отношении она, кажется, не много успела.

Наконец ей минуло семнадцать лет; оставаться ей долее в пансионе было невозможно. Я находился в довольно большом затруднении. Вдруг мне пришла благая мысль: выйти в отставку, поехать за границу на год или на два и взять Асю с собою. Задумано — сделано; и вот мы с ней на берегах Рейна, где я стараюсь заниматься живописью, а она… шалит и чудит по-прежнему. Но теперь я надеюсь, что вы не станете судить ее слишком строго; а она хоть и притворяется, что ей всё нипочем, — мнением каждого дорожит, вашим же в особенности.

И Гагин опять улыбнулся своей тихой улыбкой. Я крепко стиснул ему руку.

— Всё так, — заговорил опять Гагин, — но с нею мне беда. Порох она настоящий. До сих пор ей никто не нравился, но беда, если она кого полюбит! Я иногда не знаю, как с ней быть. На днях она что вздумала: начала вдруг уверять меня, что я к ней стал холоднее прежнего и что она одного меня любит и век будет меня одного любить… И при этом так расплакалась…

— Так вот что… — промолвил было я и прикусил язык.

— А скажите-ка мне, — спросил я Гагина: дело между нами пошло на откровенность, — неужели в самом деле ей до сих пор никто не нравился? В Петербурге видала же она молодых людей?

— Они-то ей и не нравились вовсе. Нет, Асе нужен герой, необыкновенный человек — или живописный пастух в горном ущелье. А впрочем, я заболтался с вами, задержал вас, — прибавил он, вставая.

— Послушайте, — начал я, — пойдемте к вам, мне домой не хочется.

— А работа ваша?

Я ничего не отвечал; Гагин добродушно усмехнулся, и мы вернулись в Л. Увидев знакомый виноградник и белый домик на верху горы, я почувствовал какую-то сладость — именно сладость на сердце; точно мне втихомолку меду туда налили. Мне стало легко после гагинского рассказа.

IX

Ася встретила нас на самом пороге дома; я снова ожидал смеха; но она вышла к нам вся бледная, молчаливая, с потупленными глазами.

— Вот он опять, — заговорил Гагин, — и, заметь, сам захотел вернуться.

Ася вопросительно посмотрела на меня. Я в свою очередь протянул ей руку и на этот раз крепко пожал ее холодные пальчики. Мне стало

очень жаль ее; теперь я многое понимал в ней, что прежде сбивало меня с толку: ее внутреннее беспокойство, неуменье держать себя, желание порисоваться — всё мне стало ясно. Я заглянул в эту душу: тайный гнет давил ее постоянно, тревожно путалось и билось неопытое самолюбие, но всё существо ее стремилось к правде. Я понял, почему эта странная девочка меня привлекала; не одной только полудикой прелестью, разлитой но всему ее тонкому телу, привлекала она меня: ее душа мне нравилась.

Гагин начал копаться в своих рисунках; я предложил Асе погулять со мною по винограднику. Она тотчас согласилась, с веселой и почти покорной готовностью. Мы спустились до половины горы и присели на широкую плиту.

— И вам не скучно было без нас? — начала Ася.

— А вам без меня было скучно? — спросил я.

Ася взглянула на меня сбоку.

— Да, — отвечала она. — Хорошо в горах? — продолжала она тотчас, — они высоки? Выше облаков? Расскажите мне, что вы видели. Вы рассказывали брату, но я ничего не слыхала.

— Вольно ж вам было уходить, — заметил я.

— Я уходила… потому что… Я теперь вот не уйду, — прибавила она с доверчивой лаской в голосе, — вы сегодня были сердиты.

— Я?

— Вы.

— Отчего же, помилуйте…

— Не знаю, но вы были сердиты и ушли сердитыми. Мне было очень досадно, что вы так ушли, и я рада, что вы вернулись.

— И я рад, что вернулся, — промолвил я.

Ася повела плечами, как это часто делают дети, когда им хорошо.

— О, я умею отгадывать! — продолжала она, — бывало, я по одному папашину кашлю из другой комнаты узнавала, доволен ли он мной или нет.

До того дня Ася ни разу не говорила мне о своем отце. Меня это поразило.

— Вы любили вашего батюшку? — проговорил я и вдруг, к великой моей досаде, почувствовал, что краснею.

Она ничего не отвечала и покраснела тоже. Мы оба замолкли. Вдали по Рейну бежал и дымился пароход. Мы принялись глядеть на него.

— Что же вы не рассказываете? — прошептала Ася.

— Отчего вы сегодня рассмеялись, как только увидели меня? —

спросил я.

— Сама не знаю. Иногда мне хочется плакать, а я смеюсь. Вы не должны судить меня… по тому, что я делаю. Ах, кстати, что это за сказка о Лорелее? Ведь это *ее* скала виднеется? Говорят, она прежде всех топила, а как полюбила, сама бросилась в воду.[*] Мне нравится эта сказка. Фрау Луизе мне всякие сказки сказывает. У фрау Луизе есть черный кот с желтыми глазами…

Ася подняла голову и встряхнула кудрями.

— Ах, мне хорошо, — проговорила она.

В это мгновенье долетели до нас отрывочные, однообразные звуки. Сотни голосов разом и с мерными расстановками повторяли молитвенный напев: толпа богомольцев тянулась внизу по дороге с крестами и хоругвями.[*]

— Вот бы пойти с ними, — сказала Ася, прислушиваясь к постепенно ослабевавшим взрывам голосов.

— Разве вы так набожны?

— Пойти куда-нибудь далеко, на молитву, на трудный подвиг, — продолжала она. — А то дни уходят, жизнь уйдет, а что мы сделали?

— Вы честолюбивы, — заметил я, — вы хотите прожить не даром, след за собой оставить…

— А разве это невозможно?

«Невозможно», — чуть было не повторил я… Но я взглянул в ее светлые глаза и только промолвил:

— Попытайтесь.

— Скажите, — заговорила Ася после небольшого молчания, в течение которого какие-то тени пробежали у ней по лицу, уже успевшему побледнеть, — вам очень нравилась та дама… Вы помните, брат пил ее здоровье в развалине, на второй день нашего знакомства?

Я засмеялся.

— Ваш брат шутил; мне ни одна дама не нравилась; по крайней мере теперь ни одна не нравится.

— А что вам нравится в женщинах? — спросила Ася, закинув голову с невинным любопытством.

— Какой странный вопрос! — воскликнул я.

Ася слегка смутилась.

— Я не должна была сделать вам такой вопрос, не правда ли? Извините меня, я привыкла болтать всё, что мне в голову входит. Оттого-то я и боюсь говорить.

— Говорите ради бога, не бойтесь, — подхватил я, — я так рад, что вы, наконец, перестаете дичиться.

Ася потупилась и засмеялась тихим и легким смехом; я не знал за ней такого смеха.

— Ну, рассказывайте же, — продолжала она, разглаживая полы своего платья и укладывая их себе на ноги, точно она усаживалась надолго, — рассказывайте или прочтите что-нибудь, как, помните, вы нам читали из «Онегина»…

Она вдруг задумалась…

Где нынче крест и тень ветвей*
Над бедной матерью моей! —

проговорила она вполголоса.

— У Пушкина не так, — заметил я.

— А я хотела бы быть Татьяной, — продолжала она всё так же задумчиво. — Рассказывайте, — подхватила она с живостью.

Но мне было не до рассказов. Я глядел на нее, всю облитую ясным солнечным лучом, всю успокоенную и кроткую. Всё радостно сияло вокруг нас, внизу, над нами — небо, земля и воды; самый воздух, казалось, был насыщен блеском.

— Посмотрите, как хорошо! — сказал я, невольно понизив голос.

— Да, хорошо! — так же тихо отвечала она, не смотря на меня. — Если б мы с вами были птицы, — как бы мы взвились, как бы полетели… Так бы и утонули в этой синеве… Но мы не птицы.

— А крылья могут у нас вырасти, — возразил я.

— Как так?

— Поживите — узнаете. Есть чувства, которые поднимают нас от земли. Не беспокойтесь, у вас будут крылья.

— А у вас были?

— Как вам сказать… Кажется, до сих пор я еще не летал.

Ася опять задумалась. Я слегка наклонился к ней.

— Умеете вы вальсировать? — спросила она вдруг.

— Умею, — отвечал я, несколько озадаченный.

— Так пойдемте, пойдемте… Я попрошу брата сыграть нам вальс… Мы вообразим, что мы летаем, что у нас выросли крылья.

Она побежала к дому. Я побежал вслед за нею — и несколько мгновений спустя мы кружились в тесной комнате, под сладкие звуки Ланнера. Ася вальсировала прекрасно, с увлечением. Что-то мягкое, женское проступило вдруг сквозь ее девически строгий облик. Долго потом рука моя чувствовала прикосновение ее нежного стана, долго слышалось мне ее ускоренное, близкое дыханье, долго мерещились мне темные, неподвижные, почти закрытые глаза на бледном, но

оживленном лице, резво обвеянном кудрями.

X

Весь этот день прошел как нельзя лучше. Мы веселились, как дети. Ася была очень мила и проста. Гагин радовался, глядя на нее. Я ушел поздно. Въехавши на середину Рейна, я попросил перевозчика пустить лодку вниз по течению. Старик поднял весла — и царственная река понесла нас. Глядя кругом, слушая, вспоминая, я вдруг почувствовал тайное беспокойство на сердце… поднял глаза к небу — но и в небе не было покоя: испещренное звездами, оно всё шевелилось, двигалось, содрогалось; я склонился к реке… но и там, и в этой темной, холодной глубине, тоже колыхались, дрожали звезды; тревожное оживление мне чудилось повсюду — и тревога росла во мне самом. Я облокотился на край лодки… Шёпот ветра в моих ушах, тихое журчанье воды за кормою меня раздражали, и свежее дыханье волны не охлаждало меня; соловей запел на берегу и заразил меня сладким ядом своих звуков. Слезы закипали у меня на глазах, но то не были слезы беспредметного восторга. Что я чувствовал, было не то смутное, еще недавно испытанное ощущение всеобъемлющих желаний, когда душа ширится, звучит, когда ей кажется, что она всё понимает и всё любит… Нет! во мне зажглась жажда счастия. Я еще не смел назвать его по имени, — но счастья, счастья до пресыщения — вот чего хотел я, вот о чем томился… А лодка всё неслась, и старик перевозчик сидел и дремал, наклонясь над веслами.

XI

Отправляясь на следующий день к Гагиным, я не спрашивал себя, влюблен ли я в Асю, но я много размышлял о ней, ее судьба меня занимала, я радовался неожиданному нашему сближению. Я чувствовал, что только с вчерашнего дня я узнал ее; до тех пор она отворачивалась от меня. И вот, когда она раскрылась, наконец, передо мною, каким пленительным светом озарился ее образ, как он был нов для меня, какие тайные обаяния стыдливо в нем сквозили…

Бодро шел я по знакомой дороге, беспрестанно посматривая на издали белевший домик; я не только о будущем — я о завтрашнем дне не думал; мне было очень хорошо.

Ася покраснела, когда я вошел в комнату; я заметил, что она опять принарядилась, но выражение ее лица не шло к ее наряду: оно было печально. А я пришел таким веселым! Мне показалось даже, что она, по обыкновению своему, собралась было бежать, но сделала усилие

над собою — и осталась. Гагин находился в том особенном состоянии художнического жара и ярости, которое, в виде припадка, внезапно овладевает дилетантами, когда они вообразят, что им удалось, как они выражаются, «поймать природу за хвост». Он стоял, весь взъерошенный и выпачканный красками, перед натянутым холстом и, широко размахивая по нем кистью, почти свирепо кивнул мне головой, отодвинулся, прищурил глаза и снова накинулся на свою картину. Я не стал мешать ему и подсел к Асе. Медленно обратились ко мне ее темные глаза.

— Вы сегодня не такая, как вчера, — заметил я после тщетных усилий вызвать улыбку на ее губы.

— Нет, не такая, — возразила она неторопливым и глухим голосом. — Но это ничего. Я нехорошо спала, всю ночь думала.

— О чем?

— Ах, я о многом думала. Это у меня привычка с детства: еще с того времени, когда я жила с матушкой…

Она с усилием выговорила это слово и потом еще раз повторила:

— Когда я жила с матушкой… я думала, отчего это никто не может знать, что с ним будет; а иногда и видишь беду — да спастись нельзя; и отчего никогда нельзя сказать всей правды?.. Потом я думала, что я ничего не знаю, что мне надобно учиться. Меня перевоспитать надо, я очень дурно воспитана. Я не умею играть на фортепьяно, не умею рисовать, я даже шью плохо. У меня нет никаких способностей, со мной должно быть очень скучно.

— Вы несправедливы к себе, — возразил я. — Вы много читали, вы образованны, и с вашим умом…

— А я умна? — спросила она с такой наивной любознательностью, что я невольно засмеялся; но она даже не улыбнулась. — Брат, я умна? — спросила она Гагина.

Он ничего не отвечал ей и продолжал трудиться, беспрестанно меняя кисти и высоко поднимая руку.

— Я сама не знаю иногда, что у меня в голове, — продолжала Ася с тем же задумчивым видом. — Я иногда самой себя боюсь, ей-богу. Ах, я хотела бы… Правда ли, что женщинам не следует читать много?

— Много не нужно, но…

— Скажите мне, что я должна читать? скажите, что я должна делать? Я всё буду делать, что вы мне скажете, — прибавила она, с невинной доверчивостью обратясь ко мне.

Я не тотчас нашелся, что сказать ей.

— Ведь вам не будет скучно со мной?

— Помилуйте, — начал я.

— Ну, спасибо! — возразила Ася, — а я думала, что вам скучно будет.

И ее маленькая горячая ручка крепко стиснула мою.

— Н.! — вскрикнул в это мгновенье Гагин, — не темен этот фон?

Я подошел к нему. Ася встала и удалилась.

XII

Она вернулась через час, остановилась в дверях и подозвала меня рукою.

— Послушайте, — сказала она, — если б я умерла, вам было бы жаль меня?

— Что у вас за мысли сегодня! — воскликнул я.

— Я воображаю, что я скоро умру; мне иногда кажется, что всё вокруг меня со мною прощается. Умереть лучше, чем жить так… Ах! не глядите так на меня; я, право, не притворяюсь. А то я вас опять бояться буду.

— Разве вы меня боялись?

— Если я такая странная, я, право, не виновата, — возразила она. — Видите, я уж и смеяться не могу…

Она осталась печальной и озабоченной до самого вечера. Что-то происходило в ней, чего я не понимал. Ее взор часто останавливался на мне; сердце мое тихо сжималось под этим загадочным взором. Она казалась спокойною — а мне, глядя на нее, всё хотелось сказать ей, чтобы она не волновалась. Я любовался ею, я находил трогательную прелесть в ее побледневших чертах, в ее нерешительных, замедленных движениях — а ей почему-то воображалось, что я не в духе.

— Послушайте, — сказала она мне незадолго до прощанья, — меня мучит мысль, что вы меня считаете легкомысленной… Вы вперед всегда верьте тому, что я вам говорить буду, только и вы будьте со мной откровенны; а я вам всегда буду говорить правду, даю вам честное слово…

Это «честное слово» опять заставило меня засмеяться.

— Ах, не смейтесь, — проговорила она с живостью, — а то я вам скажу сегодня то, что вы мне сказали вчера: «Зачем вы смеетесь?» — и, помолчав немного, она прибавила: — Помните, вы вчера говорили о крыльях?.. Крылья у меня выросли — да лететь некуда.

— Помилуйте, — промолвил я, — перед вами все пути открыты…

Ася посмотрела мне прямо и пристально в глаза.

— Вы сегодня дурного мнения обо мне, — сказала она, нахмурив

брови.

— Я? дурного мнения? о вас!..

— Что это вы точно в воду опущенные, — перебил меня Гагин, — хотите, я, по-вчерашнему, сыграю вам вальс?

— Нет, нет, — возразила Ася и стиснула руки, — сегодня ни за что!

— Я тебя не принуждаю, успокойся…

— Ни за что, — повторила она, бледнея…

. . .

«Неужели она меня любит?» — думал я, подходя к Рейну, быстро катившему темные волны.

XIII

«Неужели она меня любит?» — спрашивал я себя на другой день, только что проснувшись. Я не хотел заглядывать в самого себя. Я чувствовал, что ее образ, образ «девушки с натянутым смехом», втеснился мне в душу и что мне от него не скоро отделаться. Я пошел в Л. и остался там целый день, но Асю видел только мельком. Ей нездоровилось; у ней голова болела. Она сошла вниз, на минутку, с повязанным лбом, бледная, худенькая, с почти закрытыми глазами; слабо улыбнулась, сказала: «Это пройдет, это ничего, всё пройдет, не правда ли?» — и ушла. Мне стало скучно и как-то грустно-пусто; я, однако, долго не хотел уходить и вернулся поздно, не увидав ее более.

Следующее утро прошло в каком-то полусне сознания. Я хотел приняться за работу — не мог; хотел ничего не делать и не думать… и это не удалось. Я бродил по городу; возвращался домой, выходил снова.

— Вы ли г-н Н.? — раздался вдруг за мною детский голос. Я оглянулся; передо мною стоял мальчик. — Это вам от фрейлейн Annette, — прибавил он, подавая мне записку.

Я развернул ее — и узнал неправильный и быстрый почерк Аси. «Я непременно должна вас видеть, — писала мне она, — приходите сегодня в четыре часа к каменной часовне на дороге возле развалины. Я сделала сегодня большую неосторожность… Придите ради бога, вы всё узнаете… Скажите посланному: да».

— Будет ответ? — спросил меня мальчик.

— Скажи, что да, — отвечал я.

Мальчик убежал.

XIV

Я пришел к себе в комнату, сел и задумался. Сердце во мне сильно билось. Несколько раз перечел я записку Аси. Я посмотрел на часы: и двенадцати еще не было.

Дверь отворилась — вошел Гагин.

Лицо его было пасмурно. Он схватил меня за руку и крепко пожал ее. Он казался очень взволнованным.

— Что с вами? — спросил я.

Гагин взял стул и сел против меня.

— Четвертого дня, — начал он с принужденной улыбкой и запинаясь, — я удивил вас своим рассказом; сегодня удивлю еще более. С другим я, вероятно, не решился бы… так прямо… Но вы благородный человек, вы мне друг, не так ли? Послушайте: моя сестра, Ася, в вас влюблена.

Я весь вздрогнул и приподнялся…

— Ваша сестра, говорите вы…

— Да, да, — перебил меня Гагин. — Я вам говорю, она сумасшедшая и меня с ума сведет. Но, к счастью, она не умеет лгать — и доверяет мне. Ах, что за душа у этой девочки… но она себя погубит, непременно.

— Да вы ошибаетесь, — начал я.

— Нет, не ошибаюсь. Вчера, вы знаете, она почти целый день пролежала, ничего не ела, впрочем, не жаловалась… Она никогда не жалуется. Я не беспокоился, хотя к вечеру у ней сделался небольшой жар. Сегодня, в два часа ночи, меня разбудила наша хозяйка: «Ступайте, говорит, к вашей сестре: с ней что-то худо». Я побежал к Асе и нашел ее нераздетою, в лихорадке, в слезах; голова у ней горела, зубы стучали. «Что с тобой? — спросил я, — ты больна?» Она бросилась мне на шею и начала умолять меня увезти ее как можно скорее, если я хочу, чтобы она осталась в живых… Я ничего не понимаю, стараюсь ее успокоить… Рыдания ее усиливаются… и вдруг сквозь эти рыдания услышал я… Ну, словом я услышал, что она вас любит. Уверяю вас, мы с вами, благоразумные люди, и представить себе не можем, как она глубоко чувствует и с какой невероятной силой высказываются в ней эти чувства; это находит на нее так же неожиданно и так же неотразимо, как гроза. Вы очень милый человек, — продолжал Гагин, — но почему она вас так полюбила — этого я, признаюсь, не понимаю. Она говорит, что привязалась к вам с первого взгляда. Оттого она и плакала на днях, когда уверяла меня, что, кроме меня, никого любить не хочет. Она воображает, что вы ее презираете, что вы, вероятно, знаете, кто она; она спрашивала меня, не

рассказал ли я вам ее историю, — я, разумеется, сказал, что нет; но чуткость ее — просто страшна. Она желает одного: уехать, уехать тотчас. Я просидел с ней до утра; она взяла с меня слово, что нас завтра же здесь не будет, — и тогда только она заснула. Я подумал, подумал и решился — поговорить с вами. По-моему, Ася права: самое лучшее — уехать нам обоим отсюда. И я сегодня же бы увез ее, если б не пришла мне в голову мысль, которая меня остановила. Может быть… как знать? — вам сестра моя нравится? Если так, с какой стати я увезу ее? Я вот и решился, отбросив в сторону всякий стыд… Притом же я сам кое-что заметил… Я решился… узнать от вас… — Бедный Гагин смутился. — Извините меня, пожалуйста, — прибавил он, — я не привык к таким передрягам. Я взял его за руку.

— Вы хотите знать, — произнес я твердым голосом, — нравится ли мне ваша сестра? Да, она мне нравится…

Гагин взглянул на меня.

— Но, — проговорил он запинаясь, — ведь вы не женитесь на ней?

— Как вы хотите, чтобы я отвечал на такой вопрос? Посудите сами, могу ли я теперь…

— Знаю, знаю, — перебил меня Гагин. — Я не имею никакого права требовать от вас ответа, и вопрос мой — верх неприличия… Но что прикажете делать? С огнем шутить нельзя. Вы не знаете Асю; она в состоянии занемочь, убежать, свиданье вам назначить… Другая умела бы всё скрыть и выждать — но не она. С нею это в первый раз, — вот что беда! Если б вы видели, как она сегодня рыдала у ног моих, вы бы поняли мои опасения.

Я задумался. Слова Гагина «свиданье вам назначить» кольнули меня в сердце. Мне показалось постыдным не отвечать откровенностью на его честную откровенность.

— Да, — сказал я наконец, — вы правы. Час тому назад я получил от вашей сестры записку. Вот она.

Гагин взял записку, быстро пробежал ее и уронил руки на колени. Выражение изумления на его лице было очень забавно, но мне было не до смеху.

— Вы, повторяю, благородный человек, — проговорил он, — но что же теперь делать? Как? она сама хочет уехать, и пишет к вам, и упрекает себя в неосторожности… и когда это она успела написать? Чего ж она хочет от вас?

Я успокоил его, и мы принялись толковать хладнокровно по мере возможности о том, что нам следовало предпринять.

Вот на чем мы остановились наконец: во избежание беды я должен

был идти на свиданье и честно объясниться с Асей; Гагин обязался сидеть дома и не подать вида, что ему известна ее записка; а вечером мы положили сойтись опять.

— Я твердо надеюсь на вас, — сказал Гагин и стиснул мне руку, — пощадите и ее и меня. А уезжаем мы все-таки завтра, — прибавил он, вставая, — потому что ведь вы на Асе не женитесь.

— Дайте мне сроку до вечера, — возразил я.

— Пожалуй, но вы не женитесь.

Он ушел, а я бросился на диван и закрыл глаза. Голова у меня ходила кругом: слишком много впечатлений в нее нахлынуло разом. Я досадовал на откровенность Гагина, я досадовал на Асю, ее любовь меня и радовала и смущала. Я не мог понять, что заставило ее всё высказать брату; неизбежность скорого, почти мгновенного решения терзала меня…

«Жениться на семнадцатилетней девочке, с ее нравом, как это можно!» — сказал я, вставая.

XV

В условленный час переправился я через Рейн, и первое лицо, встретившее меня на противоположном берегу, был самый тот мальчик, который приходил ко мне поутру. Он, по-видимому, ждал меня.

— От фрейлейн Annette, — сказал он шёпотом и подал мне другую записку.

Ася извещала меня о перемене места нашего свидания. Я должен был прийти через полтора часа не к часовне, а в дом к фрау Луизе, постучаться внизу и войти в третий этаж.

— Опять: да? — спросил меня мальчик.

— Да, — повторил я и пошел по берегу Рейна.

Вернуться домой было некогда, я не хотел бродить по улицам. За городской стеною находился маленький сад с навесом для кеглей и столами для любителей пива. Я вошел туда. Несколько уже пожилых немцев играли в кегли; со стуком катились деревянные шары, изредка раздавались одобрительные восклицания. Хорошенькая служанка с заплаканными глазами принесла мне кружку пива; я взглянул в ее лицо. Она быстро отворотилась и отошла прочь.

— Да, да, — промолвил тут же сидевший толстый и краснощекий гражданин, — Ганхен* наша сегодня очень огорчена: жених ее пошел в солдаты.

Я посмотрел на нее; она прижалась в уголок и подперла рукою

щеку; слезы капали одна за другой по ее пальцам. Кто-то спросил пива; она принесла ему кружку и опять вернулась на свое место. Ее горе подействовало на меня; я начал думать об ожидавшем меня свидании, но мои думы были заботливые, невеселые думы. Не с легким сердцем шел я на это свидание, не предаваться радостям взаимной любви предстояло мне; мне предстояло сдержать данное слово, исполнить трудную обязанность. «С ней шутить нельзя» — эти слова Гагина, как стрелы, впились в мою душу. А еще четвертого дня в этой лодке, уносимой волнами, не томился ли я жаждой счастья? Оно стало возможным — и я колебался, я отталкивал, я должен был оттолкнуть его прочь… Его внезапность меня смущала. Сама Ася, с ее огненной головой, с ее прошедшим, с ее воспитанием, это привлекательное, но странное существо — признаюсь, она меня пугала. Долго боролись во мне чувства. Назначенный срок приближался. «Я не могу на ней жениться, — решил я наконец, — она не узнает, что и я полюбил ее».

Я встал — и, положив талер в руку бедной Ганхен (она даже не поблагодарила меня), направился к дому фрау Луизе. Вечерние тени уже разливались в воздухе, и узкая полоса неба, над темной улицей, алела отблеском зари. Я слабо стукнул в дверь; она тотчас отворилась. Я переступил порог и очутился в совершенной темноте.

— Сюда! — послышался старушечий голос. — Вас ждут.

Я шагнул раза два ощупью, чья-то костлявая рука взяла мою руку.

— Вы это, фрау Луизе? — спросил я.

— Я, — отвечал мне тот же голос, — я, мой прекрасный молодой человек.

Старуха повела меня опять вверх, по крутой лестнице, и остановилась на площадке третьего этажа. При слабом свете, падавшем из крошечного окошка, я увидал морщинистое лицо вдовы бургомистра. Приторно-лукавая улыбка растягивала ее ввалившиеся губы, ежила тусклые глазки. Она указала мне на маленькую дверь. Судорожным движением руки отворил я ее и захлопнул за собою.

XVI

В небольшой комнатке, куда я вошел, было довольно темно, и я не тотчас увидел Асю. Закутанная в длинную шаль, она сидела на стуле возле окна, отвернув и почти спрятав голову, как испуганная птичка. Она дышала быстро и вся дрожала. Мне стало несказанно жалко ее. Я подошел к ней. Она еще больше отвернула голову…

— Анна Николаевна, — сказал я.

Она вдруг вся выпрямилась, хотела взглянуть на меня — и не могла. Я схватил ее руку, она была холодна и лежала, как мертвая, на моей ладони.

— Я желала… — начала Ася, стараясь улыбнуться, но ее бледные губы не слушались ее, — я хотела… Нет, не могу, — проговорила она и умолкла. Действительно, голос ее прерывался на каждом слове.

Я сел подле нее.

— Анна Николаевна, — повторил я и тоже не мог ничего прибавить.

Настало молчание. Я продолжал держать ее руку и глядел на нее. Она по-прежнему вся сжималась, дышала с трудом и тихонько покусывала нижнюю губу, чтобы не заплакать, чтобы удержать накипавшие слезы… Я глядел на нее; было что-то трогательно-беспомощное в ее робкой неподвижности: точно она от усталости едва добралась до стула и так и упала на него. Сердце во мне растаяло…

— Ася, — сказал я едва слышно…

Она медленно подняла на меня свои глаза… О, взгляд женщины, которая полюбила, — кто тебя опишет? Они молили, эти глаза, они доверялись, вопрошали, отдавались… Я не мог противиться их обаянию. Тонкий огонь пробежал по мне жгучими иглами; я нагнулся и приник к ее руке…

Послышался трепетный звук, похожий на прерывистый вздох, и я почувствовал на моих волосах прикосновение слабой, как лист дрожавшей руки. Я поднял голову и увидал ее лицо. Как оно вдруг преобразилось! Выражение страха исчезло с него, взор ушел куда-то далеко и увлекал меня за собою, губы слегка раскрылись, лоб побледнел, как мрамор, и кудри отодвинулись назад, как будто ветер их откинул. Я забыл всё, я потянул ее к себе — покорно повиновалась ее рука, всё ее тело повлеклось вслед за рукою, шаль покатилась с плеч, и голова ее тихо легла на мою грудь, легла под мои загоревшиеся губы…

— Ваша… — прошептала она едва слышно.

Уже руки мои скользили вокруг ее стана… Но вдруг воспоминание о Гагине, как молния, меня озарило.

— Что мы делаем!.. — воскликнул я и судорожно отодвинулся назад. — Ваш брат… ведь он всё знает… Он знает, что я вижусь с вами.

Ася опустилась на стул.

— Да, — продолжал я, вставая и отходя на другой угол комнаты. — Ваш брат всё знает… Я должен был ему всё сказать.

— Должны? — проговорила она невнятно. Она, видимо, не могла еще прийти в себя и плохо меня понимала.

— Да, да, — повторил я с каким-то ожесточением, — и в этом вы одни виноваты, вы одни. Зачем вы сами выдали вашу тайну? Кто заставлял вас всё высказать вашему брату? Он сегодня был сам у меня и передал мне ваш разговор с ним. — Я старался не глядеть на Асю и ходил большими шагами по комнате. — Теперь всё пропало, всё, всё.

Ася поднялась было со стула.

— Останьтесь, — воскликнул я, — останьтесь, прошу вас. Вы имеете дело с честным человеком — да, с честным человеком. Но, ради бога, что взволновало вас? Разве вы заметили во мне какую перемену? А я не мог скрываться перед вашим братом, когда он пришел сегодня ко мне.

«Что я такое говорю?» — думал я про себя, и мысль, что я безнравственный обманщик, что Гагин знает о нашем свидании, что всё искажено, обнаружено, — так и звенела у меня в голове.

— Я не звала брата, — послышался испуганный шёпот Аси, — он пришел сам.

— Посмотрите же, что вы наделали, — продолжал я. — Теперь вы хотите уехать…

— Да, я должна уехать, — так же тихо проговорила она, — я и попросила вас сюда для того только, чтобы проститься с вами.

— И вы думаете, — возразил я, — мне будет легко с вами расстаться?

— Но зачем же вы сказали брату? — с недоумением повторила Ася.

— Я вам говорю — я не мог поступить иначе. Если б вы сами не выдали себя…

— Я заперлась в моей комнате, — возразила она простодушно, — я не знала, что у моей хозяйки был другой ключ…

Это невинное извинение, в ее устах, в такую минуту — меня тогда чуть не рассердило… а теперь я без умиления не могу его вспомнить. Бедное, честное, искреннее дитя!

— И вот теперь всё кончено! — начал я снова. — Всё. Теперь нам должно расстаться. — Я украдкой взглянул на Асю… лицо ее быстро краснело. Ей, я это чувствовал, и стыдно становилось и страшно. Я сам ходил и говорил, как в лихорадке. — Вы не дали развиться чувству, которое начинало созревать, вы сами разорвали нашу связь, вы не имели ко мне доверия, вы усомнились во мне…

Пока я говорил, Ася всё больше и больше наклонялась вперед — и

вдруг упала на колени, уронила голову на руки и зарыдала. Я подбежал к ней, пытался поднять ее, но она мне не давалась. Я не выношу женских слез: при виде их я теряюсь тотчас.

— Анна Николаевна, Ася, — твердил я, — пожалуйста, умоляю вас, ради бога, перестаньте… — Я снова взял ее за руку…

Но, к величайшему моему изумлению, она вдруг вскочила — с быстротою молнии бросилась к двери и исчезла…

Когда несколько минут спустя фрау Луизе вошла в комнату — я всё еще стоял по самой середине ее, уж точно как громом пораженный. Я не понимал, как могло это свидание так быстро, так глупо кончиться — кончиться, когда я и сотой доли не сказал того, что хотел, что должен был сказать, когда я еще сам не знал, чем оно могло разрешиться…

— Фрейлейн ушла? — спросила меня фрау Луизе, приподняв свои желтые брови до самой накладки.

Я посмотрел на нее как дурак — и вышел вон.

XVII

Я выбрался из города и пустился прямо в поле. Досада, досада бешеная, меня грызла. Я осыпал себя укоризнами. Как я мог не понять причину, заставившую Асю переменить место нашего свидания, как не оценить, чего ей стоило прийти к этой старухе, как я не удержал ее! Наедине с ней в той глухой, едва освещенной комнате у меня достало силы, достало духа — оттолкнуть ее от себя, даже упрекать ее… А теперь ее образ меня преследовал, я просил у ней прощения; воспоминания об этом бледном лице, об этих влажных и робких глазах, о развитых волосах на наклоненной шее, о легком прикосновении ее головы к моей груди — жгли меня. «Ваша…» — слышался мне ее шёпот. «Я поступил по совести», — уверял я себя… Неправда! Разве я точно хотел такой развязки? Разве я в состоянии с ней расстаться? Разве я могу лишиться ее? «Безумец! безумец!» — повторял я с озлоблением…

Между тем ночь наступала. Большими шагами направился я к дому, где жила Ася.

XVIII

Гагин вышел ко мне навстречу.

— Видели вы сестру? — закричал он мне еще издали.

— Разве ее нет дома? — спросил я.

— Нет.

— Она не возвращалась?

— Нет. Я виноват, — продолжал Гагин, — не мог утерпеть: против нашего уговора, ходил к часовне; там ее не было; стало быть, она не приходила?

— Она не была у часовни.

— И вы ее не видели?

Я должен был сознаться, что я ее видел.

— Где?

— У фрау Луизе. Я расстался с ней час тому назад, — прибавил я, — я был уверен, что она домой вернулась.

— Подождем, — сказал Гагин.

Мы вошли в дом и сели друг подле друга. Мы молчали. Нам очень неловко было обоим. Мы беспрестанно оглядывались, посматривали на дверь, прислушивались. Наконец Гагин встал.

— Это ни на что не похоже! — воскликнул он, — у меня сердце не на месте. Она меня уморит, ей-богу… Пойдемте искать ее.

Мы вышли. На дворе уже совсем стемнело.

— О чем же вы с ней говорили? — спросил меня Гагин, надвигая шляпу на глаза.

— Я виделся с ней всего минут пять, — отвечал я, — я говорил с ней, как было условлено.

— Знаете ли что? — возразил он, — лучше нам разойтись; этак мы скорее на нее наткнуться можем. Во всяком случае приходите сюда через час.

XIX

Я проворно спустился с виноградника и бросился в город. Быстро обошел я все улицы, заглянул всюду, даже в окна фрау Луизе, вернулся к Рейну и побежал по берегу… Изредка попадались мне женские фигуры, но Аси нигде не было видно. Уже не досада меня грызла, — тайный страх терзал меня, и не один страх я чувствовал… нет, я чувствовал раскаяние, сожаление самое жгучее, любовь — да! самую нежную любовь. Я ломал руки, я звал Асю посреди надвигавшейся ночной тьмы, сперва вполголоса, потом всё громче и громче; я повторял сто раз, что я ее люблю, я клялся никогда с ней не расставаться; я бы дал всё на свете, чтобы опять держать ее холодную руку, опять слышать ее тихий голос, опять видеть ее перед собою… Она была так близка, она пришла ко мне с полной решимостью, в полной невинности сердца и чувств, она принесла мне свою нетронутую молодость… и я не прижал ее к своей груди, я лишил себя

блаженства увидать, как ее милое лицо расцвело бы радостью и тишиною восторга… Эта мысль меня с ума сводила.

«Куда могла она пойти, что она с собою сделала?» — восклицал я в тоске бессильного отчаяния… Что-то белое мелькнуло вдруг на самом берегу реки. Я знал это место; там, над могилой человека, утонувшего лет семьдесят тому назад, стоял до половины вросший в землю каменный крест с старинной надписью. Сердце во мне замерло… Я подбежал к кресту: белая фигура исчезла. Я крикнул: «Ася!» Дикий голос мой испугал меня самого — но никто не отозвался…

Я решился пойти узнать, не нашел ли ее Гагин.

XX

Быстро взбираясь по тропинке виноградника, я увидел свет в комнате Аси… Это меня несколько успокоило.

Я подошел к дому; дверь внизу была заперта, я постучался. Неосвещенное окошко в нижнем этаже осторожно отворилось, и показалась голова Гагина.

— Нашли? — спросил я его.

— Она вернулась, — отвечал он мне шёпотом, — она в своей комнате и раздевается. Всё в порядке.

— Слава богу! — воскликнул я с несказанным порывом радости, — слава богу! Теперь всё прекрасно. Но вы знаете, мы должны еще переговорить.

— В другое время, — возразил он, тихо потянув к себе раму, — в другое время, а теперь прощайте.

— До завтра, — промолвил я, — завтра всё будет решено.

— Прощайте, — повторил Гагин. Окно затворилось.

Я чуть было не постучал в окно. Я хотел тогда же сказать Гагину, что я прошу руки его сестры. Но такое сватанье в такую пору… «До завтра, — подумал я, — завтра я буду счастлив…»

Завтра я буду счастлив! У счастья нет завтрашнего дня; у него нет и вчерашнего; оно не помнит прошедшего, не думает о будущем; у него есть настоящее — и то не день, а мгновенье.

Я не помню, как дошел я до З. Не ноги меня несли, не лодка меня везла: меня поднимали какие-то широкие, сильные крылья. Я прошел мимо куста, где пел соловей, я остановился и долго слушал: мне казалось, он пел мою любовь и мое счастье.

XXI

Когда, на другой день утром, я стал подходить к знакомому

домику, меня поразило одно обстоятельство: все окна в нем были растворены и дверь тоже была раскрыта; какие-то бумажки валялись перед порогом; служанка с метлой показалась за дверью.

Я приблизился к ней…

— Уехали! — брякнула она, прежде чем я успел спросить ее: дома ли Гагин?

— Уехали?.. — повторил я. — Как уехали? Куда?

— Уехали сегодня утром, в шесть часов, и не сказали куда. Постойте, ведь вы, кажется, г-н Н.?

— Я г-н Н.

— К вам есть письмо у хозяйки. — Служанка пошла наверх и вернулась с письмом. — Вот-с, извольте.

— Да не может быть… Как же это так?.. — начал было я.

Служанка тупо посмотрела на меня и принялась мести.

Я развернул письмо. Ко мне писал Гагин; от Аси не было ни строчки. Он начал с того, что просил не сердиться на него за внезапный отъезд; он был уверен, что, по зрелом соображении, я одобрю его решение. Он не находил другого выхода из положения, которое могло сделаться затруднительным и опасным. «Вчера вечером, — писал он, — пока мы оба молча ожидали Асю, я убедился окончательно в необходимости разлуки. Есть предрассудки, которые я уважаю; я понимаю, что вам нельзя жениться на Асе. Она мне всё сказала; для ее спокойствия я должен был уступить ее повторенным, усиленным просьбам». В конце письма он изъявлял сожаление о том, что наше знакомство так скоро прекратилось, желал мне счастья, дружески жал мне руку и умолял меня не стараться их отыскивать.

«Какие предрассудки? — вскричал я, как будто он мог меня слышать, — что за вздор! Кто дал право похитить ее у меня…» Я схватил себя за голову…

Служанка начала громко кликать хозяйку: ее испуг заставил меня прийти в себя. Одна мысль во мне загорелась: сыскать их, сыскать во что бы то ни стало. Принять этот удар, примириться с такою развязкой было невозможно. Я узнал от хозяйки, что они в шесть часов утра сели на пароход и поплыли вниз по Рейну. Я отправился в контору: там мне сказали, что они взяли билеты до Кёльна. Я пошел домой с тем, чтобы тотчас уложиться и поплыть вслед за ними. Мне пришлось идти мимо дома фрау Луизе… Вдруг я слышу: меня кличет кто-то. Я поднял голову и увидал в окне той самой комнаты, где я накануне виделся с Асей. вдову бургомистра. Она улыбалась своей противной улыбкой и звала меня. Я отвернулся и прошел было мимо; но она мне крикнула

вслед, что у ней есть что-то для меня. Эти слова меня остановили, и я вошел в ее дом. Как передать мои чувства, когда я увидал опять эту комнатку…

— По-настоящему, — начала старуха, показывая мне маленькую записку, — я бы должна была дать вам это только в случае, если б вы зашли ко мне сами, но вы такой прекрасный молодой человек. Возьмите.

Я взял записку.

На крошечном клочке бумаги стояли следующие слова, торопливо начерченные карандашом:

> «Прощайте, мы не увидимся более. Не из гордости я уезжаю — нет, мне нельзя иначе. Вчера, когда я плакала перед вами, если б вы мне сказали одно слово, одно только слово — я бы осталась. Вы его не сказали. Видно, так лучше… Прощайте навсегда!»

Одно слово… О, я безумец! Это слово… я со слезами повторял его накануне, я расточал его на ветер, я твердил его среди пустых полей… но я не сказал его ей, я не сказал ей, что я люблю ее… Да я и не мог произнести тогда это слово. Когда я встретился с ней в той роковой комнате, во мне еще не было ясного сознания моей любви; оно не проснулось даже тогда, когда я сидел с ее братом в бессмысленном и тягостном молчании… оно вспыхнуло с неудержимой силой лишь несколько мгновений спустя, когда, испуганный возможностью несчастья, я стал искать и звать ее… но уж тогда было поздно. «Да это невозможно!» — скажут мне; не знаю, возможно ли это, — знаю, что это правда. Ася бы не уехала, если б в ней была хоть тень кокетства и если б ее положение не было ложно. Она не могла вынести того, что всякая другая снесла бы; я этого не понял. Недобрый мой гений остановил признание на устах моих при последнем свидании с Гагиным перед потемневшим окном, и последняя нить, за которую я еще мог ухватиться, — выскользнула из рук моих.

В тот же день вернулся я с уложенным чемоданом в город Л. и поплыл в Кёльн. Помню, пароход уже отчаливал, и я мысленно прощался с этими улицами, со всеми этими местами, которые я уже никогда не должен был позабыть, — я увидел Ганхен. Она сидела возле берега на скамье. Лицо ее было бледно, но не грустно; молодой красивый парень стоял с ней рядом и, смеясь, рассказывал ей что-то; а на другой стороне Рейна маленькая моя мадонна всё так же печально выглядывала из темной зелени старого ясеня.

XXII

В Кёльне я напал на след Гагиных; я узнал, что они поехали в Лондон; я пустился вслед за ними; но в Лондоне все мои розыски остались тщетными. Я долго не хотел смириться, долго упорствовал, но я должен был отказаться, наконец, от надежды настигнуть их.

И я не увидел их более — я не увидел Аси. Темные слухи доходили до меня о нем, но она навсегда для меня исчезла. Я даже не знаю, жива ли она. Однажды, несколько лет спустя, я мельком увидал за границей, в вагоне железной дороги, женщину, лицо которой живо напомнило мне незабвенные черты… но я, вероятно, был обманут случайным сходством. Ася осталась в моей памяти той самой девочкой, какою я знавал ее в лучшую пору моей жизни, какою я ее видел в последний раз, наклоненной на спинку низкого деревянного стула.

Впрочем, я должен сознаться, что я не слишком долго грустил по ней; я даже нашел, что судьба хорошо распорядилась, не соединив меня с Асей; я утешался мыслию, что я, вероятно, не был бы счастлив с такой женой. Я был тогда молод — и будущее, это короткое, быстрое будущее, казалось мне беспредельным. Разве не может повториться то, что было, думал я, и еще лучше, еще прекраснее?.. Я знавал других женщин, — но чувство, возбужденное во мне Асей, то жгучее, нежное, глубокое чувство, уже не повторилось. Нет! ни одни глаза не заменили мне тех, когда-то с любовию устремленных на меня глаз, ни на чье сердце, припавшее к моей груди, не отвечало мое сердце таким радостным и сладким замиранием! Осужденный на одиночество бессемейного бобыля, доживаю я скучные годы, но я храню, как святыню, ее записочки и высохший цветок гераниума, тот самый цветок, который она некогда бросила мне из окна. Он до сих пор издает слабый запах, а рука, мне давшая его, та рука, которую мне только раз пришлось прижать к губам моим, быть может, давно уже тлеет в могиле… И я сам — что сталось со мною? Что осталось от меня, от тех блаженных и тревожных дней, от тех крылатых надежд и стремлений? Так легкое испарение ничтожной травки переживает все радости и все горести человека — переживает самого человека.

Рудин

I

Было тихое летнее утро. Солнце уже довольно высоко стояло на чистом небе; но поля еще блестели росой, из недавно проснувшихся долин веяло душистой свежестью, и в лесу, еще сыром и не шумном, весело распевали ранние птички. На вершине пологого холма, сверху донизу покрытого только что зацветшею рожью, виднелась небольшая деревенька. К этой деревеньке, по узкой проселочной дорожке, шла молодая женщина, в белом кисейном платье, круглой соломенной шляпе и с зонтиком в руке. Казачок издали следовал за ней.

Она шла не торопясь и как бы наслаждаясь прогулкой. Кругом, по высокой, зыбкой ржи, переливаясь то серебристо-зеленой, то красноватой рябью, с мягким шелестом бежали длинные волны; в вышине звенели жаворонки. Молодая женщина шла из собственного своего села, отстоявшего не более версты от деревеньки, куда она направляла путь; звали ее Александрой Павловной Липиной. Она была вдова, бездетна и довольно богата, жила вместе с своим братом, отставным штаб-ротмистром Сергеем Павлычем Волынцевым. Он не был женат и распоряжался ее имением.

Александра Павловна дошла до деревеньки, остановилась у крайней избушки, весьма ветхой и низкой, и, подозвав своего казачка, велела ему войти в нее и спросить о здоровье хозяйки. Он скоро вернулся в сопровождении дряхлого мужика с белой бородой.

— Ну, что? — спросила Александра Павловна.

— Жива еще… — проговорил старик.

— Можно войти?

— Отчего же? можно.

Александра Павловна вошла в избу. В ней было и тесно, и душно, и дымно… Кто-то закопошился и застонал на лежанке. Александра Павловна оглянулась и увидела в полумраке желтую и сморщенную голову старушки, повязанной клетчатым платком. Покрытая по самую грудь тяжелым армяком, она дышала с трудом, слабо разводя худыми руками.

Александра Павловна приблизилась к старушке и прикоснулась пальцами до ее лба… Он так и пылал.

— Как ты себя чувствуешь, Матрена? — спросила она, наклонившись над лежанкой.

— О-ох! — простонала старушка, всмотревшись в Александру Павловну. — Плохо, плохо, родная! Смертный часик пришел, голубушка!

— Бог милостив, Матрена: может быть, ты поправишься. Ты приняла лекарство, которое я тебе прислала?

Старушка тоскливо заохала и не отвечала. Она не расслышала вопроса.

— Приняла, — проговорил старик, остановившийся у двери.

Александра Павловна обратилась к нему.

— Кроме тебя при ней никого нет? — спросила она.

— Есть девочка — ее внучка, да всё вот отлучается. Не посидит: такая егозливая. Воды подать испить бабке — и то лень. А я сам стар: куда мне?

— Не перевезти ли ее ко мне в больницу?

— Нет! зачем в больницу! всё одно помирать-то. Пожила довольно; видно, уж так богу угодно. С лежанки не сходит. Где ж ей в больницу! Ее станут поднимать, она и помрет.

— Ох, — застонала больная, — красавица-барыня, сироточку-то мою не оставь; наши господа далеко, а ты…

Старушка умолкла. Она говорила через силу.

— Не беспокойся, — промолвила Александра Павловна, — всё будет сделано. Вот я тебе чаю и сахару принесла. Если захочется, выпей… Ведь самовар у вас есть? — прибавила она, взглянув на старика.

— Самовар-то? Самовара у нас нету, а достать можно.

— Так достань, а то я пришлю свой. Да прикажи внучке, чтобы она не отлучалась. Скажи ей, что это стыдно.

Старик ничего не отвечал, а сверток с чаем и сахаром взял в обе руки.

— Ну, прощай, Матрена! — проговорила Александра Павловна, — я к тебе еще приду, а ты не унывай и лекарство принимай аккуратно…

Старуха приподняла голову и потянулась к Александре Павловне.

— Дай, барыня, ручку, — пролепетала она.

Александра Павловна не дала ей руки, нагнулась и поцеловала ее в лоб.

— Смотри же, — сказала она, уходя, старику, — лекарство ей давайте непременно, как написано… И чаем ее напойте…

Старик опять ничего не отвечал и только поклонился.

Свободно вздохнула Александра Павловна, очутившись на свежем воздухе. Она раскрыла зонтик и хотела было идти домой, как вдруг из-

за угла избушки выехал, на низеньких беговых дрожках, человек лет тридцати, в старом пальто из серой коломянки и такой же фуражке. Увидев Александру Павловну, он тотчас остановил лошадь и обернулся к ней лицом. Широкое, без румянца, с небольшими бледно-серыми глазками и белесоватыми усами, оно подходило под цвет его одежды.

— Здравствуйте, — проговорил он с ленивой усмешкой, — что это вы тут такое делаете, позвольте узнать?

— Я навещала больную… А вы откуда, Михайло Михайлыч?

Человек, называвшийся Михайло Михайлычем, посмотрел ей в глаза и опять усмехнулся.

— Это вы хорошо делаете, — продолжал он, — что больную навещаете; только не лучше ли вам ее в больницу перевезти?

— Она слишком слаба: ее нельзя тронуть.

— А больницу свою вы не намерены уничтожить?

— Уничтожить? зачем?

— Да так.

— Что за странная мысль! С чего это вам в голову пришло?

— Да вы вот с Ласунской всё знаетесь и, кажется, находитесь под ее влиянием. А по ее словам, больницы, училища — это всё пустяки, ненужные выдумки. Благотворение должно быть личное, просвещение тоже:[*] это всё дело души… так, кажется, она выражается. С чьего это голоса она поет, желал бы я знать? Александра Павловна засмеялась.

— Дарья Михайловна умная женщина, я ее очень люблю и уважаю; но и она может ошибаться, и я не каждому ее слову верю.

— И прекрасно делаете, — возразил Михайло Михайлыч, всё не слезая с дрожек, — потому что она сама словам своим плохо верит. А я очень рад, что встретил вас.

— А что?

— Хорош вопрос! Как будто не всегда приятно вас встретить! Сегодня вы так же свежи и милы, как это утро.

Александра Павловна опять засмеялась.

— Чему же вы смеетесь?

— Как чему? Если б вы могли видеть, с какой вялой и холодной миной вы произнесли ваш комплимент! Удивляюсь, как вы не зевнули на последнем слове.

— С холодной миной… Вам всё огня нужно; а огонь никуда не годится. Вспыхнет, надымит и погаснет.

— И согреет, — подхватила Александра Павловна.

— Да… и обожжет.

— Ну, что ж, что обожжет! И это не беда. Всё же лучше, чем…

— А вот я посмотрю, то ли вы заговорите, когда хоть раз хорошенько обожжетесь, — перебил ее с досадой Михайло Михайлыч и хлопнул вожжой по лошади. — Прощайте!

— Михайло Михайлыч, постойте! — закричала Александра Павловна, — когда вы у нас будете?

— Завтра; поклонитесь вашему брату.

И дрожки покатились.

Александра Павловна посмотрела вслед Михаилу Михайловичу.

«Какой мешок!» — подумала она. Сгорбленный, запыленный, с фуражкой на затылке, из-под которой беспорядочно торчали косицы желтых волос, он действительно походил на большой мучной мешок.

Александра Павловна отправилась тихонько назад по дороге домой. Она шла с опущенными глазами. Близкий топот лошади заставил ее остановиться и поднять голову… Ей навстречу ехал ее брат верхом; рядом с ним шел молодой человек небольшого роста, в легоньком сюртучке нараспашку, легоньком галстучке и легонькой серой шляпе, с тросточкой в руке. Он уже давно улыбался Александре Павловне, хотя и видел, что она шла в раздумье, ничего не замечая, а как только она остановилась, подошел к ней и радостно, почти нежно произнес:

— Здравствуйте, Александра Павловна, здравствуйте!

— А! Константин Диомидыч! здравствуйте! — ответила она. — Вы от Дарьи Михайловны?

— Точно так-с, точно так-с, — подхватил с сияющим лицом молодой человек, — от Дарьи Михайловны. Дарья Михайловна послала меня к вам-с; я предпочел идти пешком… Утро такое чудесное, всего четыре версты расстояния. Я прихожу — вас дома нет-с. Мне ваш братец говорит, что вы пошли в Семеновку, и сами собираются в поле; я вот с ними и пошел-с, к вам навстречу. Да-с. Как это приятно!

Молодой человек говорил по-русски чисто и правильно, но с иностранным произношением, хотя трудно было определить, с каким именно. В чертах лица его было нечто азиатское. Длинный нос с горбиной, большие неподвижные глаза навыкате, крупные красные губы, покатый лоб, черные как смоль волосы — всё в нем изобличало восточное происхождение; но молодой человек именовался по фамилии Пандалевским и называл своею родиной Одессу, хотя и воспитывался где-то в Белоруссии, на счет благодетельной и богатой вдовы. Другая вдова определила его на службу. Вообще дамы средних

лет охотно покровительствовали Константину Диомидычу: он умел искать, умел находить в них. Он и теперь жил у богатой помещицы, Дарьи Михайловны Ласунской, в качестве приемыша или нахлебника. Он был весьма ласков, услужлив, чувствителен и втайне сластолюбив, обладал приятным голосом, порядочно играл на фортепьяно и имел привычку, когда говорил с кем-нибудь, так и впиваться в него глазами. Он одевался очень чистенько и платье носил чрезвычайно долго, тщательно выбривал свой широкий подбородок и причесывал волосок к волоску.

Александра Павловна выслушала его речь до конца и обратилась к брату:

— Сегодня мне всё встречи: сейчас я разговаривала с Лежневым.

— А, с ним! Он ехал куда-нибудь?

— Да; и вообрази, на беговых дрожках, в каком-то полотняном мешке, весь в пыли… Какой он чудак!

— Да, быть может; только он славный человек.

— Кто это? Г-н Лежнев? — спросил Пандалевский, как бы удивясь.

— Да, Михайло Михайлыч Лежнев, — возразил Волынцев. — Однако прощай, сестра: мне пора ехать в поле; у тебя гречиху сеют. Г-н Пандалевский тебя проведет домой…

И Волынцев пустил лошадь рысью.

— С величайшим удовольствием! — воскликнул Константин Диомидыч и предложил Александре Павловне руку.

Она подала ему свою, и оба отправились по дороге в ее усадьбу.

Вести под руку Александру Павловну доставляло, по-видимому, большое удовольствие Константину Диомидычу; он выступал маленькими шагами, улыбался, а восточные глаза его даже покрылись влагой, что, впрочем, с ними случалось нередко: Константину Диомидычу ничего не стоило умилиться и пролить слезу. И кому бы не было приятно вести под руку хорошенькую женщину, молодую и стройную? Об Александре Павловне вся…ая губерния единогласно говорила, что она прелесть, и…ая губерния не ошибалась. Один ее прямой, чуть-чуть вздернутый носик мог свести с ума любого смертного, не говоря уже о ее бархатных карих глазках, золотисто-русых волосах, ямках на круглых щечках и других красотах. Но лучше всего в ней было выражение ее миловидного лица: доверчивое, добродушное и кроткое, оно и трогало, и привлекало. Александра Павловна глядела и смеялась, как ребенок; барыни находили ее простенькой… Можно ли было чего-нибудь еще желать?

— Вас Дарья Михайловна ко мне прислала, говорите вы? —

спросила она Пандалевского.

— Да-с, прислала-с, — отвечал он, выговаривая букву «с», как английское «th», — оне непременно желают и велели вас убедительно просить, чтобы вы пожаловали сегодня к ним обедать… Оне (Пандалевский, когда говорил о третьем лице, особенно о даме, строго придерживался множественного числа) — оне ждут к себе нового гостя, с которым непременно желают вас познакомить.

— Кто это?

— Некто Муффель, барон, камер-юнкер из Петербурга. Дарья Михайловна недавно с ним познакомились у князя Гарина и с большой похвалой о нем отзываются, как о любезном и образованном молодом человеке. Г-н барон занимаются также литературой, или, лучше сказать… ах, какая прелестная бабочка! извольте обратить ваше внимание… лучше сказать, политической экономией. Он написал статью о каком-то очень интересном вопросе — и желает подвергнуть ее на суд Дарье Михайловне.

— Политико-экономическую статью?

— С точки зрения языка-с, Александра Павловна, с точки зрения языка-с. Вам, я думаю, известно, что и в этом Дарья Михайловна знаток-с. Жуковский с ними советовался, а благодетель мой, проживающий в Одессе благопотребный старец Роксолан Медиарович Ксандрыка…* Вам, наверное, известно имя этой особы?

— Нисколько, и не слыхивала.

— Не слыхивали о таком муже? Удивительно! Я хотел сказать, что и Роксолан Медиарович очень был всегда высокого мнения о познаниях Дарьи Михайловны в российском языке.

— А не педант этот барон? — спросила Александра Павловна.

— Никак нет-с; Дарья Михайловна рассказывают, что, напротив, светский человек в нем сейчас виден. О Бетховене говорил с таким красноречием, что даже старый князь почувствовал восторг… Это я, признаюсь, послушал бы: ведь это по моей части. Позвольте вам предложить этот прекрасный полевой цветок.

Александра Павловна взяла цветок и, пройдя несколько шагов, уронила его на дорогу… До дому ее оставалось шагов двести, не более. Недавно выстроенный и выбеленный, он приветливо выглядывал своими широкими светлыми окнами из густой зелени старинных лип и кленов.

— Так как же-с прикажете доложить Дарье Михайловне, — заговорил Пандалевский, слегка обиженный участью поднесенного им цветка, — пожалуете вы к обеду? Оне и братца вашего просят.

— Да, мы приедем, непременно. А что Наташа?

— Наталья Алексеевна, слава богу, здоровы-с… Но мы уже прошли поворот к именью Дарьи Михайловны. Позвольте мне раскланяться.

Александра Павловна остановилась.

— А вы разве не зайдете к нам? — спросила она нерешительным голосом.

— Душевно бы желал-с, но боюсь опоздать. Дарье Михайловне угодно послушать новый этюд Тальберга*: так надо приготовиться и подучить. Притом я, признаюсь, сомневаюсь, чтобы моя беседа могла доставить вам какое-нибудь удовольствие.

— Да нет… почему же…

Пандалевский вздохнул и выразительно опустил глаза.

— До свидания, Александра Павловна! — проговорил он, помолчав немного, поклонился и отступил шаг назад.

Александра Павловна повернулась и пошла домой.

Константин Диомидыч также пустился восвояси. С лица его тотчас исчезла вся сладость: самоуверенное, почти суровое выражение появилось на нем. Даже походка Константина Диомидыча изменилась; он теперь и шагал шире и наступал тяжелее. Он прошел версты две, развязно помахивая палочкой, и вдруг опять осклабился: он увидел возле дороги молодую, довольно смазливую крестьянскую девушку, которая выгоняла телят из овса. Константин Диомидыч осторожно, как кот, подошел к девушке и заговорил с ней. Та сперва молчала, краснела и посмеивалась, наконец закрыла губы рукавом, отворотилась и промолвила:

— Ступай, барин, право…

Константин Дпомидыч погрозил ей пальцем и велел ей принести себе васильков.

— На что тебе васильков? венки, что ль, плесть? — возразила девушка, — да ну, ступай же, право…

— Послушай, моя любезная красоточка, — начал было Константин Диомидыч…

— Да ну, ступай, — перебила его девушка, — баричи вон идут.

Константин Диомидыч оглянулся. Действительно, по дороге бежали Ваня и Петя, сыновья Дарьи Михайловны; за ними шел их учитель, Басистов, молодой человек двадцати двух лет, только что окончивший курс. Басистов был рослый малый, с простым лицом, большим носом, крупными губами и свиными глазками, некрасивый и неловкий, но добрый, честный и прямой. Он одевался небрежно, не

стриг волос, — не из щегольства, а от лени; любил поесть, любил поспать, но любил также хорошую книгу, горячую беседу и всей душой ненавидел Пандалевского.

Дети Дарьи Михайловны обожали Басистова и уж нисколько его не боялись; со всеми остальными в доме он был на короткой ноге, что не совсем нравилось хозяйке, как она ни толковала о том, что для нее предрассудков не существует.

— Здравствуйте, мои миленькие! — заговорил Константин Диомидыч, — как вы рано сегодня гулять пошли! А я, — прибавил он, обращаясь к Басистову, — уже давно вышел; моя страсть — наслаждаться природой.

— Видели мы, как вы наслаждаетесь природой, — пробормотал Басистов.

— Вы материалист: уже сейчас бог знает что думаете.* Я вас знаю.

Пандалевский, когда говорил с Басистовым или подобными ему людьми, легко раздражался и букву «с» произносил чисто, даже с маленьким свистом.

— Что же, вы у этой девки, небось, дорогу спрашивали? — проговорил Басистов, поводя глазами и вправо и влево.

Он чувствовал, что Пандалевский глядит ему прямо в лицо, а это ему было крайне неприятно.

— Я повторяю: вы материалист и больше ничего. Вы непременно желаете во всем видеть одну прозаическую сторону…

— Дети! — скомандовал вдруг Басистов, — видите вы на лугу ракиту; посмотрим, кто скорее до нее добежит… Раз! два! три!

И дети бросились во все ноги к раките. Басистов устремился за ними.

«Мужик! — подумал Пандалевский, — испортит он этих мальчишек… Совершенный мужик!»

И, с самодовольствием окинув взглядом свою собственную опрятную и изящную фшурку, Константин Диомидыч ударил раза два растопыренными пальцами по рукаву сюртука, встряхнул воротником и отправился далее. Вернувшись к себе в комнату, он надел старенький халат и с озабоченным лицом сел за фортепьяно.

II

Дом Дарьи Михайловны Ласунской считался чуть ли не первым по всей…ой губернии. Огромный, каменный, сооруженный по рисункам Растрелли* во вкусе прошедшего столетия, он величественно возвышался на вершине холма, у подошвы которого протекала одна из главных рек средней России. Сама Дарья Михайловна была знатная и богатая барыня, вдова тайного советника. Хотя Пандалевский и рассказывая про нее, что она знает всю Европу, да и Европа ее знает! — однако Европа ее знала мало, даже в Петербурге она важной роли не играла; зато в Москве ее все знали и ездили к ней. Она принадлежала к высшему свету и слыла за женщину несколько странную, не совсем добрую, но чрезвычайно умную. В молодости она была очень хороша собою. Поэты писали ей стихи, молодые люди в нее влюблялись, важные господа волочились за ней. Но с тех пор прошло лет двадцать пять или тридцать, и прежних прелестей не осталось и следа. «Неужели, — спрашивал себя невольно всякий, кто только видел ее в первый раз, — неужели эта худенькая, желтенькая, востроносая и еще не старая женщина была когда-то красавицей? Неужели это она, та самая, о которой бряцали лиры?..» И всякий внутренне удивлялся переменчивости всего земного. Правда, Пандалевский находил, что у Дарьи Михайловны удивительно сохранились ее великолепные глаза; но ведь тот же Пандалевский утверждал, что ее вся Европа знает.

Дарья Михайловна приезжала каждое лето к себе в деревню с своими детьми (у нее их было трое: дочь Наталья, семнадцати лет, и два сына, десяти и девяти лет) и жила открыто, то есть принимала мужчин, особенно холостых; провинциальных барынь она терпеть не могла. Зато и доставалось же ей от этих барынь! Дарья Михайловна, по их словам, была и горда, и безнравственна, и тиранка страшная; а главное — она позволяла себе такие вольности в разговоре, что ужасти! Дарья Михайловна действительно не любила стеснять себя в деревне, и в свободной простоте ее обхождения замечался легкий оттенок презрения столичной львицы к окружавшим ее, довольно темным и мелким существам… Она и с городскими знакомыми обходилась очень развязно, даже насмешливо; но оттенка презрения не было.

Кстати, читатель, заметили ли вы, что человек, необыкновенно рассеянный в кружке подчиненных, никогда не бывает рассеян с лицами высшими? Отчего бы это? Впрочем, подобные вопросы ни к чему не ведут.

Когда Константин Диомидыч, вытвердив, наконец, тальберговский этюд, спустился из своей чистой и веселенькой комнаты в гостиную, он уже застал всё домашнее общество собранным. *Салон* уже начался. На широкой кушетке, подобрав под себя ноги и вертя в руках новую французскую брошюру, расположилась хозяйка; у окна за пяльцами сидели: с одной стороны дочь Дарьи Михайловны, а с другой m-lle Boncourt[32] — гувернантка, старая и сухая дева лет шестидесяти, с накладкой черных волос под разноцветным чепцом и хлопчатой бумагой в ушах; в углу, возле двери, поместился Басистов и читал газету, подле него Петя и Ваня играли в шашки, а прислонясь к печке и заложив руки за спину, стоял господин небольшого роста, взъерошенный и седой, с смуглым лицом и беглыми черными глазками — некто Африкан Семеныч Пигасов.

Странный человек был этот господин Пигасов. Озлобленный противу всего и всех — особенно против женщин, — он бранился с утра до вечера, иногда очень метко, иногда довольно тупо, но всегда с наслаждением. Раздражительность его доходила до ребячества; его смех, звук его голоса, всё его существо казалось пропитанным желчью. Дарья Михайловна охотно принимала Пигасова: он потешал ее своими выходками. Они точно были довольно забавны. Всё преувеличивать было его страстью. Например: о каком бы несчастье при нем ни говорили — рассказывали ли ему, что громом зажгло деревню, что вода прорвала мельницу, что мужик себе топором руку отрубил, — он всякий раз с сосредоточенным ожесточением спрашивал: «А как ее зовут?» — то есть как зовут женщину, от которой произошло то несчастие, потому что, по его уверениям, всякому несчастию причиной женщина, стоит только хорошенько вникнуть в дело. Он однажды бросился на колени перед почти незнакомой ему барыней, которая приставала к нему с угощением, и начал слезно, но с написанной на лице яростью умолять ее, чтобы она его пощадила, что он ничем перед ней не провинился и вперед у ней никогда не будет. Раз лошадь помчала под гору одну из прачек Дарьи Михайловны, опрокинула ее в ров и чуть не убила. Пигасов с тех пор иначе не называл эту лошадь, как добрый, добрый конек, а самую гору и ров находил чрезвычайно живописными местами. Пигасову в жизни не повезло — он эту дурь и напустил на себя. Он происходил от бедных

родителей. Отец его занимал разные мелкие должности, едва знал грамоте и не заботился о воспитании сына; кормил, одевал его — и только. Мать его баловала, но скоро умерла. Пигасов сам себя воспитывал, сам определил себя в уездное училище, потом в гимназию, выучился языкам, французскому, немецкому и даже латинскому, и, выйдя из гимназии с отличным аттестатом, отправился в Дерпт, где постоянно боролся с нуждою, но выдержал трехгодичный курс до конца. Способности Пигасова не выходили из разряда обыкновенных; терпением и настойчивостью он отличался, но особенно сильно было в нем чувство честолюбия, желание попасть в хорошее общество, не отстать от других, назло судьбе. Он и учился прилежно и в Дертский университет поступил из честолюбия. Бедность сердила его и развила в нем наблюдательность и лукавство. Он выражался своеобразно; он смолоду присвоил себе особый род желчного и раздражительного красноречия. Мысли его не возвышались над общим уровнем; а говорил он так, что мог казаться не только умным, но даже очень умным человеком. Получив степень кандидата, Пигасов решился посвятить себя ученому званию: он понял, что на всяком другом поприще он бы никак не мог угнаться за своими товарищами (он старался выбирать их из высшего круга и умел к ним подделаться, даже льстил им, хотя всё ругался). Но тут в нем, говоря попросту, материала не хватило. Самоучка не из любви к науке, Пигасов в сущности знал слишком мало. Он жестоко провалился в диспуте, между тем как живший с ним в одной комнате другой студент, над которым он постоянно смеялся, человек весьма ограниченный, но получивший правильное и прочное воспитание, восторжествовал вполне. Неудача эта взбесила Пигасова: он бросил в огонь все свои книги и тетради и поступил на службу. Сначала дело пошло недурно: чиновник он был хоть куда, не очень распорядительный, зато крайне самоуверенный и бойкий; но ему захотелось поскорее выскочить в люди — он запутался, споткнулся и принужден был выйти в отставку. Года три просидел он у себя в благоприобретенной деревеньке и вдруг женился на богатой, полуобразованной помещице, которую поймал на удочку своих развязных и насмешливых манер. Но нрав Пигасова уже слишком раздражился и окис; он тяготился семейной жизнью… Жена его, пожив с ним несколько лет, уехала тайком в Москву и продала какому-то ловкому аферисту свое имение, а Пигасов только что построил в нем усадьбу. Потрясенный до основания этим последним ударом, Пигасов затеял было тяжбу с женою, но ничего не выиграл… Он

доживал свой век одиноко, разъезжал по соседям, которых бранил за глаза и даже в глаза и которые принимали его с каким-то напряженным полухохотом, хотя серьезного страха он им не внушал, — и никогда книги в руки не брал. У него было около ста душ; мужики его не бедствовали.

— А! Constantin! — проговорила Дарья Михайловна, как только Пандалевский вошел в гостиную, — Alexandrine будет?

— Александра Павловна велели вас благодарить и за особенное удовольствие себе поставляют, — возразил Константин Диомидыч, приятно раскланиваясь на все стороны и прикасаясь толстой, но белой ручкой с ногтями, остриженными треугольником, к превосходно причесанным волосам.

— И Волынцев тоже будет?

— И они-с.

— Так как же, Африкан Семеныч, — продолжала Дарья Михайловна, обратись к Пигасову, — по-вашему, все барышни неестественны?

У Пигасова губы скрутились набок, и он нервически задергал локтем.

— Я говорю, — начал он неторопливым голосом — он в самом сильном припадке ожесточения говорил медленно и отчетливо, — я говорю, что барышни вообще — о присутствующих, разумеется, я умалчиваю…

— Но это не мешает вам и о них думать, — перебила Дарья Михайловна.

— Я о них умалчиваю, — повторил Пигасов. — Все барышни вообще неестественны в высшей степени — неестественны в выражении чувств своих. Испугается ли, например, барышня, обрадуется ли чему, или опечалится, она непременно сперва придаст телу своему какой-нибудь эдакий изящный изгиб (и Пигасов пребезобразно выгнул свой стан и оттопырил руки) и потом уж крикнет: ах! или засмеется, или заплачет. Мне, однако (и тут Пигасов самодовольно улыбнулся), удалось-таки добиться однажды истинного, неподдельного выражения ощущения от одной замечательно неестественной барышни!

— Каким это образом?

Глаза Пигасова засверкали.

— Я ее хватил в бок осиновым колом сзади. Она как взвизгнет, а я ей: браво! браво! Вот это голос природы, это был естественный крик. Вы и вперед всегда так поступайте.

Все в комнате засмеялись.

— Что вы за пустяки говорите, Африкан Семеныч! — воскликнула Дарья Михайловна. — Поверю ли я, что вы станете девушку толкать колом в бок!

— Ей-богу, колом, пребольшим колом, вроде тех, которые употребляются при защите крепостей.

— Mais c’est une horreur ce que vous dites là, monsieur[33], — возопила m-lle Boncourt, грозно посматривая на расхохотавшихся детей.

— Да не верьте ему, — промолвила Дарья Михайловна, — разве вы его не знаете?

Но негодующая француженка долго не могла успокоиться и всё что-то бормотала себе под нос.

— Вы можете мне не верить, — продолжал хладнокровным голосом Пигасов, — но я утверждаю, что я сказал сущую правду. Кому ж это знать, коли не мне? После этого вы, пожалуй, также не поверите, что наша соседка Чепузова, Елена Антоновна, сама, заметьте, сама, мне рассказала, как она уморила своего родного племянника?

— Вот еще выдумали!

— Позвольте, позвольте! Выслушайте и судите сами. Заметьте, я на нее клеветать не желаю, я ее даже люблю, насколько, то есть, можно любить женщину; у ней во всем доме нет ни одной книги, кроме календаря, и читать она не может иначе как вслух — чувствует от этого упражнения испарину и жалуется потом, что у ней глаза пупом полезли… Словом, женщина она хорошая, и горничные у ней толстые. Зачем мне на нее клеветать?

— Ну! — заметила Дарья Михайловна, — взобрался Африкан Семеныч на своего конька — теперь не слезет с него до вечера.

— Мой конек… А у женщин их целых три, с которых они никогда не слезают — разве когда спят.

— Какие же это три конька?

— Попрек, намек и упрек.

— Знаете ли что, Африкан Семеныч, — начала Дарья Михайловна, — вы недаром так озлоблены на женщин. Какая-нибудь, должно быть, вас…

— Обидела, вы хотите сказать? — перебил ее Пигасов.

Дарья Михайловна немного смутилась; она вспомнила о несчастном браке Пигасова… и только головой кивнула.

— Меня одна женщина, точно, обидела, — промолвил Пигасов, — хоть и добрая была, очень добрая…

— Кто же это такая?

— Мать моя, — произнес Пигасов, понизив голос.

— Ваша мать? Чем же она могла вас обидеть?

— А тем, что родила…

Дарья Михайловна наморщила брови.

— Мне кажется, — заговорила она, — разговор наш принимает невеселый оборот… Constantin, сыграйте нам новый этюд Тальберга… Авось, звуки музыки укротят Африкана Семеныча. Орфей укрощал же диких зверей.

Константин Диомидыч сел за фортепьяно и сыграл этюд весьма удовлетворительно. Сначала Наталья Алексеевна слушала со вниманием, потом опять принялась за работу.

— Merci, c'est charmant[34], — промолвила Дарья Михайловна, — люблю Тальберга. Il est si distingué[35]. Что вы задумались, Африкан Семеныч?

— Я думаю, — начал медленно Пигасов, — что есть три разряда эгоистов: эгоисты, которые сами живут и жить дают другим; эгоисты, которые сами живут и не дают* жить другим; наконец, эгоисты, которые и сами не живут и другим не дают… Женщины большею частию принадлежат к третьему разряду.

— Как это любезно! Одному я только удивляюсь, Африкан Семеныч, какая у вас самоуверенность в суждениях: точно вы никогда ошибиться не можете.

— Кто говорит! и я ошибаюсь; мужчина тоже может ошибаться. Но знаете ли, какая разница между ошибкою нашего брата и ошибкою женщины? Не знаете? Вот какая: мужчина может, например, сказать, что дважды два — не четыре, а пять или три с половиною; а женщина скажет, что дважды два — стеариновая свечка.

— Я уже это, кажется, слышала от вас… Но позвольте спросить, какое отношение имеет ваша мысль о трех родах эгоистов к музыке, которую вы сейчас слышали?

— Никакого, да я и не слушал музыки.

— Ну, ты, батюшка, я вижу, неисправим, хоть брось*, — возразила Дарья Михайловна, слегка искажая грибоедовский стих. — Что же вы любите, коли вам и музыка не нравится? литературу, что ли?

— Я литературу люблю, да только не нынешнюю.

— Почему?

— А вот почему. Я недавно переезжал через Оку на пароме с каким-то барином. Паром пристал к крутому месту: надо было втаскивать экипаж на руках. У барина была коляска претяжелая. Пока

перевозчики надсаживались, втаскивая коляску на берег, барин так кряхтел, стоя на пароме, что даже жалко его становилось… Вот, подумал я, новое применение системы разделения работ! Так и нынешняя литература: другие везут, дело делают, а она кряхтит. Дарья Михайловна улыбнулась.

— И это называется воспроизведением современного быта, — продолжал неугомонный Пигасов, — глубоким сочувствием к общественным вопросам и еще как-то… Ох, уж эти мне громкие слова!

— А вот женщины, на которых вы так нападаете, — те по крайней мере не употребляют громких слов.

Пигасов пожал плечом.

— Не употребляют, потому что не умеют.

Дарья Михайловна слегка покраснела.

— Вы начинаете дерзости говорить, Африкан Семеныч! — заметила она с принужденной улыбкой.

Всё затихло в комнате.

— Где это Золотоноша? — спросил вдруг один из мальчиков у Басистова.

— В Полтавской губернии, мой милейший, — подхватил Пигасов, — в самой Хохландии. (Он обрадовался случаю переменить разговор.) — Вот мы толковали о литературе, — продолжал он, — если б у меня были лишние деньги, я бы сейчас сделался малороссийским поэтом.*

— Это что еще? хорош поэт! — возразила Дарья Михайловна, — разве вы знаете по-малороссийски?

— Нимало; да оно и не нужно.

— Как не нужно?

— Да так же, не нужно. Сто́ит только взять лист бумаги и написать наверху: Дума; потом начать так: Гой, ты доля моя, доля! или: Седе казачино Наливайко* на кургане! а там: По-пид горою, по-пид зелено́ю, грае, грае воропае, гоп! гоп! или что-нибудь в этом роде. И дело в шляпе. Печатай и издавай. Малоросс прочтет, подопрет рукою щеку и непременно заплачет, — такая чувствительная душа!

— Помилуйте! — воскликнул Басистов. — Что вы это такое говорите? Это ни с чем не сообразно. Я жил в Малороссии, люблю ее и язык ее знаю… «грае, грае воропае» — совершенная бессмыслица.

— Может быть, а хохол все-таки заплачет. Вы говорите: язык… Да разве существует малороссийский язык? Я попросил раз одного хохла перевести следующую первую попавшуюся мне фразу: грамматика

есть искусство правильно читать и писать. Знаете, как он это перевел: храматыка е выскусьтво правыльно чытаты ы пысаты… Что ж, это язык, по-вашему? самостоятельный язык? Да скорей, чем с этим согласиться, я готов позволить лучшего своего друга истолочь в ступе…

Басистов хотел возражать.

— Оставьте его, — промолвила Дарья Михайловна, — ведь вы знаете, от него, кроме парадоксов, ничего не услышишь.

Пигасов язвительно улыбнулся. Лакей вошел и доложил о приезде Александры Павловны и ее брата. Дарья Михайловна встала навстречу гостям.

— Здравствуйте, Alexandrine! — заговорила она, подходя к ней, — как вы умно сделали, что приехали… Здравствуйте, Сергей Павлыч!

Волынцев пожал Дарье Михайловне руку и подошел к Наталье Алексеевне.

— А что, этот барон, ваш новый знакомый, приедет сегодня? — спросил Пигасов.

— Да, приедет.

— Он, говорят, великий филозо́ф: так Гегелем и брызжет.

Дарья Михайловна ничего не отвечала, усадила Александру Павловну на кушетку и сама поместилась возле нее.

— Философия, — продолжал Пигасов, — высшая точка зрения! Вот еще смерть моя — эти высшие точки зрения. И что можно увидать сверху? Небось, коли захочешь лошадь купить, не с каланчи на нее смотреть станешь!

— Вам этот барон хотел привезти статью какую-то? — спросила Александра Павловна.

— Да, статью, — отвечала с преувеличенною небрежностью Дарья Михайловна, — об отношениях торговли к промышленности в России… Но не бойтесь: мы ее здесь читать не станем… я вас не за тем позвала. Le baron est aussi aimable que savant[36]. И так хорошо говорит по-русски! C’est un vrai torrent… il vous entraîne[37].

— Так хорошо по-русски говорит, — проворчал Пигасов, — что заслуживает французской похвалы.

— Поворчите еще, Африкан Семеныч, поворчите… Это очень идет к вашей взъерошенной прическе… Однако что же он не едет? Знаете ли что, messieurs et mesdames, — прибавила Дарья Михайловна, взглянув кругом, — пойдемте в сад… До обеда еще около часу осталось, а погода славная…

Всё общество поднялось и отправилось в сад.

Сад у Дарьи Михайловны доходил до самой реки. В нем было много старых липовых аллей, золотисто-темных и душистых, с изумрудными просветами по концам, много беседок из акаций и сирени.

Волынцев вместе с Натальей и m-lle Boncourt забрались в самую глушь сада. Волынцев шел рядом с Натальей и молчал. M-lle Boncourt следовала немного поодаль.

— Что же вы делали сегодня? — спросил, наконец, Волынцев, подергивая концы своих прекрасных темно-русых усов.

Он чертами лица очень походил на сестру; но в выражении их было меньше игры и жизни, и глаза его, красивые и ласковые, глядели как-то грустно.

— Да ничего, — отвечала Наталья, — слушала, как Пигасов бранится, вышивала по канве, читала.

— А что такое вы читали?

— Я читала… историю крестовых походов*, — проговорила Наталья с небольшой запинкой.

Волынцев посмотрел на нее.

— А! — произнес он наконец, — это должно быть интересно.

Он сорвал ветку и начал вертеть ею по воздуху. Они прошли еще шагов двадцать.

— Что это за барон, с которым ваша матушка познакомилась? — спросил опять Волынцев.

— Камер-юнкер, приезжий; maman его очень хвалит.

— Ваша матушка способна увлекаться.

— Это доказывает, что она еще очень молода сердцем, — заметила Наталья.

— Да. Я скоро пришлю вам вашу лошадь. Она уже почти совсем выезжена. Мне хочется, чтобы она с места поднимала в галоп, и я этого добьюсь.

— Merci… Однако мне совестно. Вы сами ее выезжаете… это, говорят, очень трудно…

— Чтобы доставить вам малейшее удовольствие, вы знаете, Наталья Алексеевна, я готов… я…, и не такие пустяки…

Волынцев замялся.

Наталья дружелюбно взглянула на него и еще раз сказала: merci.

— Вы знаете, — продолжал Сергей Павлыч после долгого молчания, — что нет такой вещи… Но к чему я это говорю! ведь вы всё знаете.

В это мгновение в доме прозвенел колокол.

— Ah! la cloche du dîner! — воскликнула m-lle Boncourt. — Rentrons[38].

«Quel dommage, — подумала про себя старая француженка, взбираясь на ступеньки балкона вслед за Волынцевым и Натальей, — quel dommage que ce charmant garçon ait si peu de ressources dans la conversation…»[39], — что по-русски можно так перевести: ты, мой милый, мил, но плох немножко.

Барон к обеду не приехал. Его прождали с полчаса.

Разговор за столом не клеился. Сергей Павлыч только посматривал на Наталью, возле которой сидел, и усердно наливал ей воды в стакан. Пандалевский тщетно старался занять соседку свою, Александру Павловну: он весь закипал сладостью, а она чуть не зевала.

Басистов катал шарики из хлеба и ни о чем не думал; даже Пигасов молчал и, когда Дарья Михайловна заметила ему, что он очень нелюбезен сегодня, угрюмо ответил: «Когда же я бываю любезным? Это не мое дело…» и, усмехнувшись горько, прибавил: «Потерпите маленько. Ведь я квас, du prostoï русский квас; а вот ваш камер-юнкер…»

— Браво! — воскликнула Дарья Михайловна. — Пигасов ревнует, заранее ревнует!

Но Пигасов ничего не ответил ей и только посмотрел исподлобья.

Пробило семь часов, и все опять собрались в гостиную.

— Видно, не будет, — сказала Дарья Михайловна.

Но вот раздался стук экипажа, небольшой тарантас въехал на двор, и через несколько мгновений лакей вошел в гостиную и подал Дарье Михайловне письмо на серебряном блюдечке. Она пробежала его до конца и, обратясь к лакею, спросила:

— А где же господин, который привез это письмо?

— В экипаже сидит-с. Прикажете принять-с?

— Проси.

Лакей вышел.

— Вообразите, какая досада, — продолжала Дарья Михайловна, — барон получил предписание тотчас вернуться в Петербург. Он прислал мне свою статью с одним господином Рудиным, своим приятелем. Барон хотел мне его представить — он очень его хвалил. Но как это досадно! Я надеялась, что барон поживет здесь…

— Дмитрий Николаевич Рудин, — доложил лакей.

III

Вошел человек лет тридцати пяти, высокого роста, несколько сутуловатый, курчавый, смуглый, с лицом неправильным, но выразительным и умным, с жидким блеском в быстрых темно-синих глазах, с прямым широким носом и красиво очерченными губами. Платье на нем было не ново и узко, словно он из него вырос.

Он проворно подошел к Дарье Михайловне и, поклонясь коротким поклоном, сказала ей, что он давно желал иметь честь представиться ей и что приятель его, барон, очень сожалел о том, что не мог проститься лично.

Тонкий звук голоса Рудина не соответствовал его росту и его широкой груди.

— Садитесь… очень рада, — промолвила Дарья Михайловна и, познакомив его со всем обществом, спросила, здешний ли он, или заезжий.

— Мое имение в Т…ой губернии, — отвечал Рудин, держа шляпу на коленях, — а здесь я недавно. Я приехал по делу и поселился пока в вашем уездном городе.

— У кого?

— У доктора. Он мой старинный товарищ по университету.

— А! у доктора… Его хвалят. Он, говорят, свое дело разумеет. А с бароном вы давно знакомы?

— Я нынешней зимой в Москве с ним встретился и теперь провел у него около недели.

— Он очень умный человек — барон.

— Да-с

Дарья Михайловна понюхала узелок носового платка, напитанный одеколоном.

— Вы служите? — спросила она.

— Кто? я-с?

— Да.

— Нет… Я в отставке.

Наступило небольшое молчание. Общий разговор возобновился.

— Позвольте полюбопытствовать, — начал Пигасов, обратясь к Рудину, — вам известно содержание статьи, присланной господином бароном?

— Известно.

— Статья эта трактует об отношениях торговли… или нет, бишь, промышленности к торговле, в нашем отечестве… Так, кажется, вы изволили выразиться, Дарья Михайловна?

— Да, она об этом, — проговорила Дарья Михайловна и приложила руку ко лбу.

— Я, конечно, в этих делах судья плохой, — продолжал Пигасов, — но я должен сознаться, что мне самое заглавие статьи кажется чрезвычайно… как бы это сказать поделикатнее?.. чрезвычайно темным и запутанным.

— Почему же оно вам так кажется?

Пигасов усмехнулся и посмотрел вскользь на Дарью Михайловну.

— А вам оно ясно? — проговорил он, снова обратив свое лисье личико к Рудину.

— Мне? Ясно.

— Гм… Конечно, это вам лучше знать.

— У вас голова болит? — спросила Александра Павловна Дарью Михайловну.

— Нет. Это у меня так… C’est nerveux[40].

— Позвольте полюбопытствовать, — заговорил опять! носовым голоском Пигасов, — ваш знакомец, господин барон Муффель… так, кажется, их зовут?

— Точно так.

— Господин барон Муффель специально занимается политической экономией или только так, посвящает этой интересной науке часы досуга, остающегося среди светских удовольствий и занятий по службе?

Рудин пристально посмотрел на Пигасова.

— Барон в этом деле дилетант, — отвечал он, слегка краснея, — но в его статье много справедливого и любопытного.

— Не могу спорить с вами, не зная статьи… Но, смею спросить, сочинение вашего приятеля, барона Муффеля, вероятно, более придерживается общих рассуждений, нежели фактов?

— В нем есть и факты и рассуждения, основанные на фактах.

— Так-с, так-с. Доложу вам, по моему мнению… а я могу-таки, при случае, свое слово молвить; я три года в Дерпте выжил… все эти так называемые общие рассуждения, гипотезы там, системы… извините меня, я провинциал, правду-матку режу прямо… никуда не годятся. Это всё одно умствование — этим только людей морочат. Передавайте, господа, факты, и будет с вас.

— В самом деле! — возразил Рудин. — Ну, а смысл фактов передавать следует?

— Общие рассуждения! — продолжал Пигасов, — смерть моя эти общие рассуждения, обозрения, заключения! Всё это основано на так называемых убеждениях; всякий толкует о своих убеждениях и еще уважения к ним требует, носится с ними… Эх!

И Пигасов потряс кулаком в воздухе. Пандалевский рассмеялся.

— Прекрасно! — промолвил Рудин, — стало быть, по-вашему, убеждений нет?

— Нет — и не существует.

— Это ваше убеждение?

— Да.

— Как же вы говорите, что их нет? Вот вам уже одно, на первый случай.

Все в комнате улыбнулись и переглянулись.

— Позвольте, позвольте, однако, — начал было Пигасов…

Но Дарья Михайловна захлопала в ладоши, воскликнула: «Браво, браво, разбит Пигасов, разбит!» — и тихонько вынула шляпу из рук Рудина.

— Погодите радоваться, сударыня: успеете! — заговорил с досадой Пигасов. — Недостаточно сказать с видом превосходства острое словцо: надобно доказать, опровергнуть… Мы отбились от предмета спора.

— Позвольте, — хладнокровно заметил Рудин, — дело очень просто. Вы не верите в пользу общих рассуждений, вы не верите в убеждения…

— Не верю, не верю, ни во что не верю.

— Очень хорошо. Вы скептик.

— Не вижу необходимости употреблять такое ученое слово. Впрочем…

— Не перебивайте же! — вмешалась Дарья Михайловна.

«Кусь, кусь, кусь!» — сказал про себя в это мгновенье Пандалевский и весь осклабился.

— Это слово выражает мою мысль, — продолжал Рудин. — Вы его понимаете: отчего же не употреблять его? Вы ни во что не верите… Почему же верите вы в факты?

— Как почему? вот прекрасно! Факты — дело известное, всякий знает, что такое факты… Я сужу о них по опыту, по собственному чувству.

— Да разве чувство не может обмануть вас! Чувство вам говорит,

что солнце вокруг земли ходит… или, может быть, вы не согласны с Коперником? Вы и ему не верите?

Улыбка опять промчалась по всем лицам, и глаза всех устремились на Рудина. «А он человек неглупый», — подумал каждый.

— Вы всё изволите шутить, — заговорил Пигасов. — Конечно, это очень оригинально, но к делу нейдет.

— В том, что я сказал до сих пор, — возразил Рудин, — к сожалению, слишком мало оригинального. Это всё очень давно известно и тысячу раз было говорено. Дело не в том…

— А в чем же? — спросил не без наглости Пигасов.

В споре он сперва подтрунивал над противником, потом становился грубым, а наконец дулся и умолкал.

— Вот в чем, — продолжал Рудин, — я, признаюсь, не могу не чувствовать искреннего сожаления, когда умные люди при мне нападают…

— На системы? — перебил Пигасов.

— Да, пожалуй, хоть на системы. Что вас пугает так это слово? Всякая система основана на знании основных законов, начал жизни…

— Да их узнать, открыть их нельзя… помилуйте!

— Позвольте. Конечно, не всякому они доступны, и человеку свойственно ошибаться. Однако вы, вероятно, согласитесь со мною, что, например, Ньютон открыл хотя некоторые из этих основных законов. Он был гений, положим; но открытия гениев тем и велики, что становятся достоянием всех. Стремление к отысканию общих начал в частных явлениях есть одно из коренных свойств человеческого ума, и вся наша образованность…

— Вот вы куда-с! — перебил растянутым голосом Пигасов. — Я практический человек и во все эти метафизические тонкости не вдаюсь и не хочу вдаваться.

— Прекрасно! Это в вашей воле. Но заметьте, что самое ваше желание быть исключительно практическим человеком есть уже своего рода система, теория…

— Образованность! говорите вы, — подхватил Пигасов, — вот еще чем удивить вздумали! Очень нужна она, эта хваленая образованность! Гроша медного не дам я за вашу образованность!

— Однако как вы дурно спорите, Африкан Семеныч! — заметила Дарья Михайловна, внутренно весьма довольная спокойствием и изящной учтивостью нового своего знакомца. — «C’est un homme comme il faut[41], — подумала она, с доброжелательным вниманием взглянув в лицо Рудину. — Надо его приласкать». Эти последние

слова она мысленно произнесла по-русски.

— Образованность я защищать не стану, — продолжал, помолчав немного, Рудин, — она не нуждается в моей защите. Вы ее не любите… у всякого свой вкус. Притом, это завело бы нас слишком далеко. Позвольте вам только напомнить старинную поговорку: «Юпитер, ты сердишься: стало быть, ты виноват».* Я хотел сказать, что все эти нападения на системы, на общие рассуждения и т. д. потому особенно огорчительны, что вместе с системами люди отрицают вообще знание, науку и веру в нее, стало быть, и веру в самих себя, в свои силы. А людям нужна эта вера: им нельзя жить одними впечатлениями, им грешно бояться мысли и не доверять ей. Скептицизм всегда отличался бесплодностью и бессилием…

— Это всё слова! — пробормотал Пигасов.

— Может быть. Но позвольте вам заметить, что, говоря: «Это всё слова!» — мы часто сами желаем отделаться от необходимости сказать что-нибудь подельнее одних слов.

— Чего-с? — спросил Пигасов и прищурил глаза.

— Вы поняли, что я хотел сказать вам, — возразил с невольным, но тотчас сдержанным нетерпением Рудин. — Повторяю, если у человека нет крепкого начала, в которое он верит, нет почвы, на которой он стоит твердо, как может он дать себе отчет в потребностях, в значении, в будущности своего народа? как может он знать, что он должен сам делать, если…

— Честь и место! — отрывисто проговорил Пигасов, поклонился и отошел в сторону, ни на кого не глядя.

Рудин посмотрел на него, усмехнулся слегка и умолк.

— Ага! обратился в бегство! — заговорила Дарья Михайловна. — Не беспокойтесь, Дмитрий… Извините, — прибавила она с приветливой улыбкой, — как вас по батюшке?

— Николаич.

— Не беспокойтесь, любезный Дмитрий Николаич! Он никого из нас не обманул. Он желает показать вид, что не *хочет* больше спорить… Он чувствует, что не *может* спорить с вами. А вы лучше подсядьте-ка к нам поближе, да поболтаемте.

Рудин пододвинул свое кресло.

— Как это мы до сих пор не познакомились? — продолжала Дарья Михайловна. — Это меня удивляет… Читали ли вы эту книгу? C’est de Tocqueville, vous savez?*[42]

И Дарья Михайловна протянула Рудину французскую брошюру.

Рудин взял тоненькую книжонку в руки, перевернул в ней

несколько страниц и, положив ее обратно на стол, отвечал, что собственно этого сочинения г. Токвиля он не читал, но часто размышлял о затронутом им вопросе. Разговор завязался. Рудин сперва как будто колебался, не решался высказаться, не находил слов, но, наконец, разгорелся и заговорил. Через четверть часа один его голос раздавался в комнате. Все столпились в кружок около него.

Один Пигасов оставался в отдалении, в углу, подле камина. Рудин говорил умно, горячо, дельно; выказал много знания, много начитанности. Никто не ожидал найти в нем человека замечательного… Он был так посредственно одет, о нем так мало ходило слухов. Всем непонятно казалось и странно, каким это образом вдруг, в деревне, мог проявиться такой умница. Тем более удивил он и, можно сказать, очаровал всех, начиная с Дарьи Михайловны… Она гордилась своей находкой и уже заранее думала о том, как она выведет Рудина в свет. В первых ее впечатлениях было много почти детского, несмотря на ее года. Александра Павловна, правду сказать, поняла мало изо всего, что говорил Рудин, но была очень удивлена и обрадована; брат ее тоже дивился; Пандалевский наблюдал за Дарьей Михайловной и завидовал; Пигасов думал: «Дам пятьсот рублей — еще лучше соловья достану!»… Но больше всех были поражены Басистов и Наталья. У Басистова чуть дыханье не захватило; он сидел всё время с раскрытым ртом и выпученными глазами — и слушал, слушал, как отроду не слушал никого, а у Натальи лицо покрылось алой краской, и взор ее, неподвижно устремленный на Рудина, и потемнел и заблистал…

— Какие у него славные глаза! — шепнул ей Волынцев.

— Да, хороши.

— Жаль только, что руки велики и красны.

Наталья ничего не отвечала.

Подали чай. Разговор стал более общим, но уже по одной внезапности, с которой все замолкали, лишь только Рудин раскрывал рот, можно было судить о силе произведенного им впечатления. Дарье Михайловне вдруг захотелось подразнить Пигасова. Она подошла к нему и вполголоса проговорила: «Что же вы молчите и только улыбаетесь язвительно? Попытайтесь-ка, схватитесь с ним опять», — и, не дождавшись его ответа, подозвала рукою Рудина.

— Вы про него еще одной вещи не знаете, — сказала она ему, указывая на Пигасова, — он ужасный ненавистник женщин, беспрестанно нападает на них; пожалуйста, обратите его на путь истины.

Рудин посмотрел на Пигасова… поневоле свысока: он был выше его двумя головами. Пигасова чуть не покоробило со злости, и желчное лицо его побледнело.

— Дарья Михайловна ошибается,— начал он неверным голосом, — я не на одних женщин нападаю: я до всего человеческого рода не большой охотник.

— Что же вам могло дать такое дурное мнение о нем? — спросил Рудин.

Пигасов глянул ему прямо в глаза.

— Вероятно, изучение собственного сердца, в котором я с каждым днем открываю всё более и более дряни. Я сужу о других по себе. Может быть, это и несправедливо, и я гораздо хуже других; но что прикажете делать? привычка!

— Я вас понимаю и сочувствую вам, — возразил Рудин. — Какая благородная душа не испытала жажды самоуничижения? Но не следует останавливаться на этом безвыходном положении.

— Покорно благодарю за выдачу моей душе аттестата в благородстве,— возразил Пигасов,— а положение мое — ничего, недурно, так что если даже есть из него выход, то бог с ним! я его искать не стану.

— Но это значит — извините за выражение — предпочитать удовлетворение своего самолюбия желанию быть и жить в истине…

— Да еще бы! — воскликнул Пигасов,— самолюбие — это и я понимаю, и вы, надеюсь, понимаете, и всякий понимает; а истина — что такое истина? Где она, эта истина?

— Вы повторяетесь, предупреждаю вас,— заметила Дарья Михайловна.

Пигасов поднял плечи.

— Так что ж за беда? Я спрашиваю: где истина? Даже философы не знают, что она такое. Кант говорит, вот она, мол, что; а Гегель — нет, врешь, она вот что.

— А вы знаете, что говорит о ней Гегель? — спросил, не возвышая голоса, Рудин.

— Я повторяю,— продолжал разгорячившийся Пигасов,— что я не могу понять, что такое истина. По-моему, ее вовсе и нет на свете, то есть, слово-то есть, да самой вещи нету.

— Фи! фи!— воскликнула Дарья Михайловна,— как вам не стыдно это говорить, старый вы грешник! Истины нет? Для чего же жить после этого на свете?

— Да уж я думаю, Дарья Михайловна,— возразил с досадой

Пигасов, — что вам, во всяком случае, легче было бы жить без истины, чем без вашего повара Степана, который такой мастер варить бульоны! И на что вам истина, скажите на милость? Ведь чепчика из нее сшить нельзя!

— Шутка не возражение, — заметила Дарья Михайловна, — особенно, когда сбивается на клевету…

— Не знаю, как истина, а правда, видно, глаза колет, — пробормотал Пигасов и с сердцем отошел в сторону.

А Рудин заговорил о самолюбии, и очень дельно заговорил. Он доказывал, что человек без самолюбия ничтожен, что самолюбие — архимедов рычаг, которым землю с места можно сдвинуть, но что в то же время тот только заслуживает название человека, кто умеет овладеть своим самолюбием, как всадник конем, кто свою личность приносит в жертву общему благу…

— Себялюбие, — так заключил он, — самоубийство. Себялюбивый человек засыхает словно одинокое, бесплодное дерево; но самолюбие, как деятельное стремление к совершенству, есть источник всего великого… Да! человеку надо надломить упорный эгоизм своей личности, чтобы дать ей право себя высказывать!

— Не можете ли вы одолжить мне карандашика? — обратился Пигасов к Басистову.

Басистов не тотчас понял, что́ у него спрашивал Пигасов.

— Зачем вам карандаш? — проговорил он наконец.

— Хочу записать вот эту последнюю фразу г. Рудина. Не записав, позабудешь, чего доброго! А согласитесь сами, такая фраза всё равно, что большой шлем в ералаши.*

— Есть вещи, над которыми смеяться и трунить грешно, Африкан Семеныч! — с жаром проговорил Басистов и отвернулся от Пигасова.

Между тем Рудин подошел к Наталье. Она встала: лицо ее выразило замешательство.

Волынцев, сидевший подле нее, тоже встал.

— Я вижу фортепьяно, — начал Рудин мягко и ласково, как путешествующий принц, — не вы ли играете на нем?

— Да, я играю, — проговорила Наталья, — но не очень хорошо. Вот Константин Диомидыч гораздо лучше меня играет.

Пандалевский выставил свое лицо и оскалил зубы.

— Напрасно вы это говорите, Наталья Алексеевна: вы играете нисколько не хуже меня.

— Знаете ли вы «Erlkönig»[43] Шуберта?* — спросил Рудин.

— Знает, знает! — подхватила Дарья Михайловна. — Садитесь,

Constantin… А вы любите музыку, Дмитрий Николаич?

Рудин только наклонил слегка голову и провел рукой по волосам, как бы готовясь слушать… Пандалевский заиграл.

Наталья встала возле фортепьяно, прямо напротив Рудина. С первым звуком лицо его приняло прекрасное выражение. Его темно-синие глаза медленно блуждали, изредка останавливаясь на Наталье. Пандалевский кончил.

Рудин ничего не сказал и подошел к раскрытому окну. Душистая мгла лежала мягкой пеленою над садом; дремотной свежестью дышали близкие деревья. Звезды тихо теплились. Летняя ночь и нежилась и нежила. Рудин поглядел в темный сад — и обернулся.

— Эта музыка и эта ночь, — заговорил он, — напомнили мне мое студенческое время в Германии: наши сходки, наши серенады…

— А вы были в Германии? — спросила Дарья Михайловна.

— Я провел год в Гейдельберге и около года в Берлине.

— И одевались студентом? Говорят, они там как-то особенно одеваются.

— В Гейдельберге я носил большие сапоги со шпорами и венгерку со шнурками и волосы отрастил до самых плеч… В Берлине студенты одеваются, как все люди.

— Расскажите нам что-нибудь из вашей студенческой жизни, — промолвила Александра Павловна.

Рудин начал рассказывать. Рассказывал он не совсем удачно. В описаниях его недоставало красок. Он не умел смешить. Впрочем, Рудин от рассказов своих заграничных похождений скоро перешел к общим рассуждениям о значении просвещения и науки, об университетах и жизни университетской вообще. Широкими и смелыми чертами набросал он громадную картину. Все слушали его с глубоким вниманием. Он говорил мастерски, увлекательно, не совсем ясно… но самая эта неясность придавала особенную прелесть его речам.

Обилие мыслей мешало Рудину выражаться определительно и точно. Образы сменялись образами; сравнения, то неожиданно смелые, то поразительно верные, возникали за сравнениями. Не самодовольной изысканностью опытного говоруна — вдохновением дышала его нетерпеливая импровизация. Он не искал слов: они сами послушно и свободно приходили к нему на уста, и каждое слово, казалось, так и лилось прямо из души, пылало всем жаром убеждения. Рудин владел едва ли не высшей тайной — музыкой красноречия. Он умел, ударяя по одним струнам сердец, заставлять смутно звенеть и дрожать все

другие. Иной слушатель, пожалуй, и не понимал в точности, о чем шла речь; но грудь его высоко поднималась, какие-то завесы разверзались перед его глазами, что-то лучезарное загоралось впереди.

Все мысли Рудина казались обращенными в будущее; это придавало им что-то стремительное и молодое… Стоя у окна, не глядя ни на кого в особенности, он говорил — и, вдохновенный общим сочувствием и вниманием, близостью молодых женщин, красотою ночи, увлеченный потоком собственных ощущений, он возвысился до красноречия, до поэзии… Самый звук его голоса, сосредоточенный и тихий, увеличивал обаяние; казалось, его устами говорило что-то высшее, для него самого неожиданное… Рудин говорил о том, что придает вечное значение временной жизни человека.

— Помню я одну скандинавскую легенду*, — так кончил он. — Царь сидит с своими воинами в темном и длинном сарае, вокруг огня. Дело происходит ночью, зимой. Вдруг небольшая птичка влетает в раскрытые двери и вылетает в другие. Царь замечает, что эта птичка, как человек в мире: прилетела из темноты и улетела в темноту, и не долго побыла в тепле и свете… «Царь, — возражает самый старый из воинов, — птичка и во тьме не пропадет и гнездо свое сыщет…» Точно, наша жизнь быстра и ничтожна; но всё великое совершается через людей. Сознание быть орудием тех высших сил должно заменить человеку все другие радости: в самой смерти найдет он свою жизнь, свое гнездо…

Рудин остановился и потупил глаза с улыбкой невольного смущения.

— Vous êtes un poète[44], — вполголоса проговорила Дарья Михайловна.

И все с ней внутренне согласились — все, исключая Пигасова. Не дождавшись конца длинной речи Рудина, он тихонько взял шляпу и, уходя, озлобленно прошептал стоявшему близ двери Пандалевскому:

— Нет! поеду к дуракам!

Впрочем, никто его не удерживал и не заметил его отсутствия.

Люди внесли ужин, и, полчаса спустя, все разъехались и разошлись. Дарья Михайловна упросила Рудина остаться ночевать. Александра Павловна, возвращаясь с братом домой в карете, несколько раз принималась ахать и удивляться необыкновенному уму Рудина. Волынцев соглашался с ней, однако заметил, что он иногда выражается немного темно… то есть не совсем вразумительно, прибавил он, желая, вероятно, пояснить свою мысль; но лицо его омрачилось, и взгляд, устремленный в угол кареты, казался еще

грустнее.

Пандалевский, ложась спать и снимая свои вышитые шелком помочи, проговорил вслух: «Очень ловкий человек!» — и вдруг, сурово взглянув на своего казачка-камердинера, приказал ему выйти. Басистов целую ночь не спал и не раздевался, он до самого утра всё писал письмо к одному своему товарищу в Москву; а Наталья хотя и разделась и легла в постель, но тоже ни на минуту не уснула и не закрывала даже глаз. Подперши голову рукою, она глядела пристально в темноту; лихорадочно бились ее жилы, и тяжелый вздох часто приподнимал ее грудь.

IV

На другое утро Рудин только что успел одеться, как явился к нему человек от Дарьи Михайловны с приглашением пожаловать к ней в кабинет и откушать с ней чай. Рудин застал ее одну. Она очень любезно с ним поздоровалась, осведомилась, хорошо ли он провел ночь, сама налила ему чашку чаю, спросила даже, довольно ли сахару, предложила ему папироску и раза два опять повторила, что удивляется, как она давно с ним не познакомилась. Рудин сел было несколько поодаль; но Дарья Михайловна указала ему на небольшое пате́, стоявшее подле ее кресла, и, слегка наклонясь в его сторону, начала расспрашивать его об его семействе, об его намерениях и предположениях. Дарья Михайловна говорила небрежно, слушала рассеянно; но Рудин очень хорошо понимал, что она ухаживала за ним, чуть не льстила ему. Недаром же она устроила это утреннее свидание, недаром оделась просто, но изящно, à la madame Récamier!*[45] Впрочем, Дарья Михайловна скоро перестала его расспрашивать: она начала ему рассказывать о себе, о своей молодости, о людях, с которыми она зналась. Рудин с участием внимал ее разглагольствованиям, хотя — странное дело! — о каком бы лице ни заговорила Дарья Михайловна, на первом плане оставалась все-таки она, она одна, а то лицо как-то скрадывалось и исчезало. Зато Рудин узнал в подробности, что́ именно Дарья Михайловна говорила такому-то известному сановнику, какое она имела влияние на такого-то знаменитого поэта. Судя по рассказам Дарьи Михайловны, можно было подумать, что все замечательные люди последнего двадцатипятилетия только о том и мечтали, как бы повидаться с ней, как бы заслужить ее расположение. Она говорила о них просто, без особенных восторгов и похвал, как о своих, называя иных чудаками. Она говорила о них, и, как богатая оправа вокруг драгоценного камня, имена их ложились блестящей каймой вокруг главного имени — вокруг Дарьи Михайловны…

А Рудин слушал, покуривал папироску и молчал, лишь изредка вставляя в речь разболтавшейся барыни небольшие замечания. Он умел и любил говорить; вести разговор было не по нём, но он умел также слушать. Всякий, кого он только не запугивал сначала, доверчиво распускался в его присутствии: так охотно и одобрительно

следил он за нитью чужого рассказа. В нем было много добродушия, — того особенного добродушия, которым исполнены люди, привыкшие чувствовать себя выше других. В спорах он редко давал высказываться своему противнику и подавлял его своей стремительной и страстной диалектикой.

Дарья Михайловна изъяснялась по-русски. Она щеголяла знанием родного языка, хотя галлицизмы, французские словечки попадались у ней частенько. Она с намерением употребляла простые народные обороты, но не всегда удачно. Ухо Рудина не оскорблялось странной пестротою речи в устах Дарьи Михайловны, да и вряд ли имел он на это ухо.

Дарья Михайловна утомилась наконец и, прислонясь головой к задней подушке кресел, устремила глаза на Рудина и умолкла.

— Я теперь понимаю, — начал медленным голосом Рудин, — я понимаю, почему вы каждое лето приезжаете в деревню. Вам этот отдых необходим; деревенская тишина, после столичной жизни, освежает и укрепляет вас. Я уверен, что вы должны глубоко сочувствовать красотам природы.

Дарья Михайловна искоса посмотрела на Рудина.

— Природа… да… да, конечно… я ужасно ее люблю; но знаете ли, Дмитрий Николаич, и в деревне нельзя без людей. А здесь почти никого нет. Пигасов самый умный человек здесь.

— Вчерашний сердитый старик? — спросил Рудин.

— Да, этот. В деревне, впрочем, и он годится — хоть рассмешит иногда.

— Он человек неглупый, — возразил Рудин, — но он на ложной дороге. Я не знаю, согласитесь ли вы со мною, Дарья Михайловна, но в отрицании — в отрицании полном и всеобщем — нет благодати. Отрицайте всё, и вы легко можете прослыть за умницу: это уловка известная. Добродушные люди сейчас готовы заключить, что вы сто́ите выше того, что отрицаете. А это часто неправда. Во-первых, во всем можно сыскать пятна, а во-вторых, если даже вы и дело говорите, вам же хуже: ваш ум, направленный на одно отрицание, беднеет, сохнет. Удовлетворяя ваше самолюбие, вы лишаетесь истинных наслаждений созерцания; жизнь — сущность жизни — ускользает от вашего мелкого и желчного наблюдения, и вы кончите тем, что будете лаяться и смешить. Порицать, бранить имеет право только тот, кто любит.

— Voilà m-r Pigassoff enterré[46], — проговорила Дарья Михайловна. — Какой вы мастер определять человека! Впрочем,

Пигасов, вероятно, и не понял бы вас. А любит он только собственную свою особу.

— И бранит ее для того, чтобы иметь право бранить других, — подхватил Рудин.

Дарья Михайловна засмеялась.

— С больной… как это говорится… с больного на здорового. Кстати, что вы думаете о бароне?

— О бароне? Он хороший человек, с добрым сердцем и знающий… но в нем нет характера… и он весь свой век останется полуученым, полусветским человеком, т. е. дилетантом, т. е., говоря без обиняков, — ничем… А жаль!

— Я сама того же мнения, — возразила Дарья Михайловна. — Я читала его статью… Entre nous… cela a assez peu de fond[47].

— Кто же еще у вас тут есть? — спросил, помолчав, Рудин.

Дарья Михайловна отряхнула пятым пальцем пепел с пахитоски.

— Да больше почти никого нет. Липина, Александра Павловна, которую вы вчера видели: она очень мила, но и только. Брат ее — тоже прекрасный человек, un parfait honnête homme[48]. Князя Гарина вы знаете. Вот и всё. Есть еще два-три соседа, но те уже совсем ничего. Либо ломаются — претензии страшные, — либо дичатся, или уж некстати развязны. Барынь я, вы знаете, не вижу. Есть еще один сосед, очень, говорят, образованный, даже ученый человек, но чудак ужасный, фантазер. Alexandrìne его знает и, кажется, к нему неравнодушна… Вот вам бы заняться ею, Дмитрий Николаич: это милое существо; ее надо только развить немножко, непременно надо ее развить!

— Она очень симпатична, — заметил Рудин.

— Совершенное дитя, Дмитрий Николаич, ребенок настоящий. Она была замужем, mais c’est tout comme[49]. Если б я была мужчина, я только в таких бы женщин влюблялась.

— Неужели?

— Непременно. Такие женщины по крайней мере свежи, а уж под свежесть подделаться нельзя.

— А подо всё другое можно? — спросил Рудин и засмеялся, что с ним случалось очень редко. Когда он смеялся, лицо его принимало странное, почти старческое выражение, глаза ежились, нос морщился…

— А кто же такой этот, как вы говорите, чудак, к которому г-жа Липина неравнодушна? — спросил он.

— Некто Лежнев, Михайло Михайлыч, здешний помещик.

Рудин изумился и поднял голову.

— Лежнев, Михайло Михайлыч? — спросил он, — разве он сосед ваш?

— Да. А вы его знаете?

Рудин помолчал.

— Я его знавал прежде… тому давно. Ведь он, кажется, богатый человек? — прибавил он, пощипывая рукою бахрому кресла.

— Да, богатый, хотя одевается ужасно и ездит на беговых дрожках, как приказчик. Я желала залучить его к себе: он, говорят, умен; у меня же с ним дело есть… Ведь, вы знаете, я сама распоряжаюсь моим имением.

Рудин наклонил голову.

— Да, сама, — продолжала Дарья Михайловна, — я никаких иностранных глупостей не ввожу, придерживаюсь своего, русского, и, видите, дела, кажется, идут недурно, — прибавила она, проведя рукой кругом.

— Я всегда был убежден, — заметил вежливо Рудин, — в крайней несправедливости тех людей, которые отказывают женщинам в практическом смысле.

Дарья Михайловна приятно улыбнулась.

— Вы очень снисходительны, — промолвила она, — но что, бишь, я хотела сказать? О чем мы говорили? Да! о Лежневе. У меня с ним дело по размежеванию. Я его несколько раз приглашала к себе, и даже сегодня я его жду; но он, бог его знает, не едет… такой чудак!

Полог перед дверью тихо распахнулся, и вошел дворецкий, человек высокого роста, седой и плешивый, в черном фраке, белом галстухе и белом жилете.

— Что ты? — спросила Дарья Михайловна и, слегка обратясь к Рудину, прибавила вполголоса: — N’est-ce pas, comme il ressemble à Canning*?[50]

— Михайло Михайлыч Лежнев приехали, — доложил дворецкий, — прикажете принять?

— Ах, боже мой! — воскликнула Дарья Михайловна, — вот легок на помине. Проси!

Дворецкий вышел.

— Такой чудак, приехал наконец, и то некстати: наш разговор перервал.

Рудин поднялся с места, но Дарья Михайловна его остановила.

— Куда же вы? Мы можем толковать и при вас. А я желаю, чтобы вы и его определили, как Пигасова. Когда вы говорите, vous gravez

comme avec un burin[51]. Останьтесь.

Рудин хотел было что-то сказать, но подумал и остался.

Михайло Михайлыч, уже знакомый читателю, вошел в кабинет. На нем было то же серое пальто, и в загорелых руках он держал ту же старую фуражку. Он спокойно поклонился Дарье Михайловне и подошел к чайному столу.

— Наконец-то вы пожаловали к нам, мосьё Лежнев! — проговорила Дарья Михайловна. — Прошу садиться. Вы, я слышала, знакомы, — продолжала она, указывая на Рудина.

Лежнев взглянул на Рудина и как-то странно улыбнулся.

— Я знаю господина Рудина, — промолвил он с небольшим поклоном.

— Мы вместе были в университете, — заметил вполголоса Рудин и опустил глаза.

— Мы и после встречались, — холодно проговорил Лежнев.

Дарья Михайловна посмотрела с некоторым изумлением на обоих и попросила Лежнева сесть. Он сел.

— Вы желали меня видеть, — начал он, — насчет размежевания?

— Да, насчет размежевания, но я и так-таки желала вас видеть. Ведь мы близкие соседи и чуть ли не сродни.

— Очень вам благодарен, — возразил Лежнев, — что же касается до размежевания, то мы с вашим управляющим совершенно покончили это дело: я на все его предложения согласен.

— Я это знала.

— Только он мне сказал, что без личного свидания с вами бумаги подписать нельзя.

— Да; это у меня уж так заведено. Кстати, позвольте спросить, ведь у вас, кажется, все мужики на оброке?

— Точно так.

— И вы сами хлопочете о размежевании? Это похвально.

Лежнев помолчал.

— Вот я и явился для личного свидания, — проговорил он.

Дарья Михайловна усмехнулась.

— Вижу, что явились. Вы говорите это таким тоном… Вам, должно быть, очень не хотелось ко мне ехать.

— Я никуда не езжу, — возразил флегматически Лежнев.

— Никуда? А к Александре Павловне вы ездите?

— Я с ее братом давно знаком.

— С ее братом! Впрочем, я никого не принуждаю… Но, извините меня, Михайло Михайлыч, я старше вас годами и могу вас пожурить:

что вам за охота жить этаким бирюком? Или собственно *мой* дом вам не нравится? я вам не нравлюсь?

— Я вас не знаю, Дарья Михайловна, и потому вы мне не нравиться не можете. Дом у вас прекрасный; но, признаюсь вам откровенно, я не люблю стеснять себя. У меня и фрака порядочного нет, перчаток нет; да я и не принадлежу к вашему кругу.

— По рождению, по воспитанию вы принадлежите к нему, Михайло Михайлыч! vous êtes des nôtres[52].

— Рождение и воспитание в сторону, Дарья Михайловна! Дело не в том…

— Человек должен жить с людьми, Михайло Михайлыч! Что за охота сидеть, как Диоген в бочке?

— Во-первых, ему там было очень хорошо; а во-вторых, почему вы знаете, что я не с людьми живу? Дарья Михайловна закусила губы.

— Это другое дело! Мне остается только сожалеть о том, что я не удостоилась попасть в число людей, с которыми вы знаетесь.

— Мосьё Лежнев, — вмешался Рудин, — кажется, преувеличивает весьма похвальное чувство — любовь к свободе.

Лежнев ничего не ответил и только взглянул на Рудина. Наступило небольшое молчание.

— Итак-с, — начал Лежнев, поднимаясь, — я могу считать наше дело поконченным и сказать вашему управляющему, чтобы он прислал ко мне бумаги.

— Можете… хотя, признаться, вы так нелюбезны… мне бы следовало отказать вам.

— Да ведь это размежевание гораздо выгоднее для вас, чем для меня.

Дарья Михайловна пожала плечами.

— Вы не хотите даже позавтракать у меня? — спросила она.

— Покорно вас благодарю: я никогда не завтракаю, да и тороплюсь домой.

Дарья Михайловна встала.

— Я вас не удерживаю, — промолвила она, подходя к окну, — не смею вас удерживать.

Лежнев начал раскланиваться.

— Прощайте, мосьё Лежнев! Извините, что обеспокоила вас.

— Ничего, помилуйте, — возразил Лежнев и вышел.

— Каков? — спросила Дарья Михайловна у Рудина. — Я слыхала про него, что он чудак; но ведь уж это из рук вон!

— Он страдает той же болезнью, как и Пигасов, — проговорил

Рудин, — желаньем быть оригинальным. Тот прикидывается Мефистофелем, этот — циником. Во всем этом много эгоизма, много самолюбия и мало истины, мало любви. Ведь это тоже своего рода расчет: надел на себя человек маску равнодушия и лени, авось, мол, кто-нибудь подумает: вот человек, столько талантов в себе погубил! А поглядеть попристальнее — и талантов-то в нем никаких нет.

— Et de deux![53] — промолвила Дарья Михайловна. — Вы ужасный человек на определения. От вас не скроешься.

— Вы думаете? — промолвил Рудин. — Впрочем, — продолжал он, — по-настоящему, мне бы не следовало говорить о Лежневе; я его любил, любил, как друга… но потом, вследствие различных недоразумений…

— Вы рассорились?

— Нет. Но мы расстались, и расстались, кажется, навсегда.

— То-то, я заметила, вы во всё время его посещения были как будто не по себе… Однако я весьма вам благодарна за сегодняшнее утро. Я чрезвычайно приятно провела время. Но надо же и честь знать. Отпускаю вас до завтрака, а сама иду заниматься делами. Мой секретарь, вы его видели — Constantin, c’est lui qui est mon secrétaire[54], — должно быть, уже ждет меня. Рекомендую его вам: он прекрасный, преуслужливый молодой человек и в совершенном восторге от вас. До свидания, cher[55] Дмитрий Николаич! Как я благодарна барону за то, что он познакомил меня с вами!

И Дарья Михайловна протянула Рудину руку. Он сперва пожал ее, потом поднес к губам и вышел в залу, а из залы на террасу. На террасе он встретил Наталью.

V

Дочь Дарьи Михайловны, Наталья Алексеевна, с первого взгляда могла не понравиться. Она еще не успела развиться, была худа, смугла, держалась немного сутуловато. Но черты ее лица были красивы и правильны, хотя слишком велики для семнадцатилетней девушки. Особенно хорош был ее чистый и ровный лоб над тонкими, как бы надломленными посередине бровями. Она говорила мало, слушала и глядела внимательно, почти пристально, — точно она себе во всем хотела дать отчет. Она часто оставалась неподвижной, опускала руки и задумывалась; на лице ее выражалась тогда внутренняя работа мыслей… Едва заметная улыбка появится вдруг на губах и скроется; большие темные глаза тихо подымутся… «Qu'avez-vous?»[56] — спросит ее m-lle Boncourt и начнет бранить ее, говоря, что молодой девице неприлично задумываться и принимать рассеянный вид. Но Наталья не была рассеянна: напротив, она училась прилежно, читала и работала охотно. Она чувствовала глубоко и сильно, но тайно; она и в детстве редко плакала, а теперь даже вздыхала редко, и только бледнела слегка, когда что-нибудь ее огорчало. Мать ее считала добронравной, благоразумной девушкой, называла ее в шутку: mon honnête homme de fille[57], но не была слишком высокого мнения об ее умственных способностях. «Наташа у меня, к счастью, холодна, — говаривала она, — не в меня… тем лучше. Она будет счастлива». Дарья Михайловна ошибалась. Впрочем, редкая мать понимает дочь свою.

Наталья любила Дарью Михайловну и не вполне ей доверяла.

— Тебе нечего от меня скрывать, — сказала ей однажды Дарья Михайловна, — а то бы ты скрытничала: ты-таки себе на уме…

Наталья поглядела матери в лицо и подумала: «Для чего же не быть себе на уме?»

Когда Рудин встретил ее на террасе, она вместе с m-lle Boncourt шла в комнату, чтобы надеть шляпку и отправиться в сад. Утренние ее занятия уже кончились. Наталью перестали держать, как девочку, m-lle Boncourt давно уже не давала ей уроков из мифологии и географии; но Наталья должна была каждое утро читать исторические книги, путешествия и другие назидательные сочинения — при ней. Выбирала их Дарья Михайловна, будто бы придерживаясь особой, своей

системы. На самом деле она просто передавала Наталье всё, что ей присылал француз-книгопродавец из Петербурга, исключая, разумеется, романов Дюма-фиса[58] и комп.* Эти романы Дарья Михайловна читала сама. M-lle Boncourt особенно строго и кисло посматривала через очки свои, когда Наталья читала исторические книги: по понятиям старой француженки, вся история была наполнена непозволительными вещами, хотя она сама из великих мужей древности знала почему-то только одного Камбиза*, а из новейших времен — Людовика XIV и Наполеона, которого терпеть не могла. Но Наталья читала и такие книги, существования которых m-lle Boncourt не подозревала: она знала наизусть всего Пушкина…

Наталья слегка покраснела при встрече с Рудиным.

— Вы идете гулять? — спросил он ее.

— Да. Мы идем в сад.

— Можно идти с вами?

Наталья взглянула на m-lle Boncourt.

— Mais certainement, monsieur, avec plaisir[59], — поспешно проговорила старая дева.

Рудин взял шляпу и пошел вместе с ними.

Наталье было сперва неловко идти рядом с Рудиным по одной дорожке; потом ей немного легче стало. Он начал расспрашивать ее о ее занятиях, о том, как ей нравится деревня. Она отвечала не без робости, но без той торопливой застенчивости, которую так часто и выдают и принимают за стыдливость. Сердце у ней билось.

— Вы не скучаете в деревне? — спросил Рудин, окидывая ее боковым взором.

— Как можно скучать в деревне? Я очень рада, что мы здесь. Я здесь очень счастлива.

— Вы счастливы… Это великое слово. Впрочем, это понятно: вы молоды.

Рудин произнес это последнее слово как-то странно: не то он завидовал Наталье, не то он сожалел о ней.

— Да! молодость! — прибавил он. — Вся цель науки — дойти сознательно до того, что молодости дается даром.

Наталья внимательно посмотрела на Рудина: она не поняла его.

— Я сегодня целое утро разговаривал с вашей матушкой, — продолжал он, — она необыкновенная женщина. Я понимаю, почему все наши поэты дорожили ее дружбой. А вы любите стихи? — прибавил он, помолчав немного.

«Он меня экзаменует», — подумала Наталья и промолвила:

— Да, очень люблю.

— Поэзия — язык богов.* Я сам люблю стихи. Но не в одних стихах поэзия: она разлита везде, она вокруг нас… Взгляните на эти деревья, на это небо — отовсюду веет красотою и жизнью; а где красота и жизнь, там и поэзия.*

— Сядемте здесь, на скамью, — продолжал он. — Вот так. Мне почему-то кажется, что когда вы попривыкнете ко мне (и он с улыбкой посмотрел ей в лицо), мы будем приятели с вами. Как вы полагаете?

«Он обращается со мной, как с девочкой», — подумала опять Наталья и, не зная, что сказать, спросила его, долго ли он намерен остаться в деревне.

— Всё лето, осень, а может быть, и зиму. Я, вы знаете, человек очень небогатый; дела мои расстроены, да и притом мне уже наскучило таскаться с места на место. Пора отдохнуть.

Наталья изумилась.

— Неужели вы находите, что вам пора отдыхать? — спросила она робко.

Рудин повернулся лицом к Наталье.

— Что вы хотите этим сказать?

— Я хочу сказать, — возразила она с некоторым смущеньем, — что отдыхать могут другие; а вы… вы должны трудиться, стараться быть полезным. Кому же, как не вам…

— Благодарю за лестное мнение, — перебил ее Рудин. — Быть полезным… легко сказать! (Он провел рукою по лицу.) Быть полезным! — повторил он. — Если б даже было во мне твердое убеждение: как я могу быть полезным — если б я даже верил в свои силы, — где найти искренние, сочувствующие души?..

И Рудин так безнадежно махнул рукою и так печально поник головою, что Наталья невольно спросила себя: полно, его ли восторженные, дышащие надеждой речи она слышала накануне?

— Впрочем, нет, — прибавил он, внезапно встряхнув своей львиной гривой, — это вздор, и вы правы. Благодарю вас, Наталья Алексеевна, благодарю вас искренно. (Наталья решительно не знала, за что он ее благодарит.) Ваше одно слово напомнило мне мой долг, указало мне мою дорогу… Да, я должен действовать. Я не должен скрывать свой талант, если он у меня есть; я не должен растрачивать свои силы на одну болтовню, пустую, бесполезную болтовню, на одни слова…

И слова его полились рекою. Он говорил прекрасно, горячо, убедительно — о позоре малодушия и лени, о необходимости делать

дело. Он осыпал самого себя упреками, доказывал, что рассуждать наперед о том, что хочешь сделать, так же вредно, как накалывать булавкой наливающийся плод, что это только напрасная трата сил и соков. Он уверял, что нет благородной мысли, которая бы не нашла себе сочувствия, что непонятыми остаются только те люди, которые либо еще сами не знают, чего хотят, либо не стоят того, чтобы их понимали. Он говорил долго и окончил тем, что еще раз поблагодарил Наталью Алексеевну и совершенно неожиданно стиснул ей руку, промолвив: «Вы прекрасное, благородное существо!»

Эта вольность поразила m-lle Boncourt, которая, несмотря на сорокалетнее пребывание в России, с трудом понимала по-русски и только удивлялась красивой быстроте и плавности речи в устах Рудина. Впрочем, он в ее глазах был чем-то вроде виртуоза или артиста; а от подобного рода людей, по ее понятиям, невозможно было требовать соблюдения приличий.

Она встала и, порывисто поправив на себе платье, объявила Наталье, что пора идти домой, тем более, что monsieur Volinsoff (так она называла Волынцева) хотел быть к завтраку.

— Да вот и он! — прибавила она, взглянув в одну из аллей, ведущих от дому.

Действительно, Волынцев показался невдалеке.

Он подошел нерешительным шагом, издали раскланялся со всеми и, с болезненным выражением на лице обратясь к Наталье, проговорил:

— А! вы гуляете?

— Да, — отвечала Наталья, — мы уже шли домой.

— А! — произнес Волынцев. — Что ж, пойдемте.

И все пошли к дому.

— Как здоровье вашей сестры? — спросил каким-то особенно ласковым голосом Рудин у Волынцева. Он и накануне был очень с ним любезен.

— Покорно благодарю. Она здорова. Она сегодня, может быть, будет… Вы, кажется, о чем-то рассуждали, когда я подошел?

— Да, у нас был разговор с Натальей Алексеевной. Она мне сказала одно слово, которое сильно на меня подействовало…

Волынцев не спросил, какое это было слово, и все в глубоком молчании возвратились в дом Дарьи Михайловны.

Перед обедом опять составился салон. Пигасов, однако, не приехал. Рудин не был в ударе: он всё заставлял Пандалевского играть из Бетховена. Волынцев молчал и поглядывал на пол. Наталья не

отходила от матери и то задумывалась, то принималась за работу. Басистов не спускал глаз с Рудина, всё выжидая, не скажет ли он чего-нибудь умного. Так прошло часа три довольно однообразно. Александра Павловна не приехала к обеду — и Волынцев, как только встали из-за стола, тотчас велел заложить свою коляску и ускользнул, не простясь ни с кем.

Ему было тяжело. Он давно любил Наталью и всё собирался сделать ей предложение… Она к нему благоволила — но сердце ее оставалось спокойным: он это явно видел. Он и не надеялся внушить ей чувство более нежное и ждал только мгновенья, когда она совершенно привыкнет к нему, сблизится с ним. Что же могло взволновать его? какую перемену заметил он в эти два дня? Наталья обращалась с ним точно так же, как и прежде…

Запала ли ему в душу мысль, что он, быть может, вовсе не знает нрава Натальи, что она ему еще более чужда, чем он думал, ревность ли проснулась в нем, смутно ли почуял он что-то недоброе… но только он страдал, как ни уговаривал самого себя.

Когда он вошел к своей сестре, у ней сидел Лежнев.

— Что это ты так рано вернулся? — спросила Александра Павловна.

— Так! соскучилось.

— Рудин там?

— Там.

Волынцев бросил фуражку и сел. Александра Павловна с живостью обратилась к нему.

— Пожалуйста, Сережа, помоги мне убедить этого упрямого человека (она указала на Лежнева) в том, что Рудин необыкновенно умен и красноречив.

Волынцев промычал что-то.

— Да я нисколько с вами не спорю, — начал Лежнев, — я не сомневаюсь в уме и красноречии г. Рудина; я говорю только, что он мне не нравится.

— А ты его разве видел? — спросил Волынцев.

— Видел сегодня поутру, у Дарьи Михайловны. Ведь *он* у ней теперь великим визирем. Придет время, она и с ним расстанется, — она с одним Пандалевским никогда не расстанется, — но теперь он царит. Видел его, как же! Он сидит — а она меня ему показывает: глядите, мол, батюшка, какие у нас водятся чудаки. Я не заводская лошадь — к выводке не привык. Я взял да уехал.

— Да зачем ты был у ней?

— По размежеванию; да это вздор: ей просто хотелось посмотреть на мою физиономию. Барыня — известно!

— Вас оскорбляет его превосходство — вот что! — заговорила с жаром Александра Павловна, — вот что вы ему простить не можете. А я уверена, что, кроме ума, у него и сердце должно быть отличное. Вы взгляните на его глаза, когда он…

— «О честности высокой говорит…»[*] — подхватил Лежнев.

— Вы меня рассердите, и я заплачу. Я от души сожалею, что не поехала к Дарье Михайловне и осталась с вами. Вы этого не стоите. Полноте дразнить меня, — прибавила она жалобным голосом. — Вы лучше расскажите мне об его молодости.

— О молодости Рудина?

— Ну да. Ведь вы мне сказали, что хорошо его знаете и давно с ним знакомы.

Лежнев встал и прошелся по комнате.

— Да, — начал он, — я его хорошо знаю. Вы хотите, чтобы я рассказал вам его молодость? Извольте. Родился он в Т…ве от бедных помещиков. Отец его скоро умер. Он остался один у матери. Она была женщина добрейшая и души в нем не чаяла: толокном одним питалась и все какие были у ней денежки употребляла на него. Получил он свое воспитание в Москве, сперва на счет какого-то дяди, а потом, когда он подрос и оперился, на счет одного богатого князька, с которым снюхался… ну, извините, не буду… с которым сдружился. Потом он поступил в университет. В университете я узнал его и сошелся с ним очень тесно. О нашем тогдашнем житье-бытье я поговорю с вами когда-нибудь после. Теперь не могу. Потом он уехал за границу…

Лежнев продолжал расхаживать по комнате; Александра Павловна следила за ним взором.

— Из-за границы, — продолжал он, — Рудин писал к своей матери чрезвычайно редко и посетил ее всего один раз, дней на десять… Старушка и скончалась без него, на чужих руках, но до самой смерти не спускала глаз с его портрета. Я к ней езжал, когда проживал в Т…ве. Добрая была женщина и прегостеприимная, вишневым вареньем, бывало, всё меня потчевала. Она любила своего Митю без памяти. Господа печоринской школы[*] скажут вам, что мы всегда любим тех, которые сами мало способны любить; а *мне* так кажется, что все матери любят своих детей, особенно отсутствующих. Потом я встретился с Рудиным за границей. Там к нему одна барыня привязалась из наших русских, синий чулок какой-то, уже немолодой и некрасивый, как оно и следует синему чулку. Он довольно долго с

ней возился и, наконец, ее бросил… или нет, бишь, виноват: она его бросила. И я тогда его бросил. Вот и всё.

Лежнев умолк, провел рукою по лбу и, словно усталый, опустился на кресло.

— А знаете ли что, Михайло Михайлыч, — начала Александра Павловна, — вы, я вижу, злой человек; право, вы не лучше Пигасова. Я уверена, что всё, что вы сказали, правда, что вы ничего не присочинили, и между тем в каком неприязненном свете вы всё это представили! Эта бедная старушка, ее преданность, ее одинокая смерть, эта барыня… К чему это всё?.. Знаете ли, что можно жизнь самого лучшего человека изобразить в таких красках — и ничего не прибавляя, заметьте, — что всякий ужаснется! Ведь это тоже своего рода клевета!

Лежнев встал и опять прошелся по комнате.

— Я вовсе не желал заставить вас ужаснуться, Александра Павловна, — проговорил он наконец. — Я не клеветник. А впрочем, — прибавил он, подумав немного, — действительно, в том, что вы сказали, есть доля правды. Я не клеветал на Рудина; но — кто знает! — может быть, он с тех пор успел измениться — может быть, я несправедлив к нему.

— А! вот видите… Так обещайте же мне, что вы возобновите с ним знакомство, узнаете его хорошенько и тогда уже выскажете мне свое окончательное мнение о нем.

— Извольте… Но что же ты молчишь, Сергей Павлыч?

Волынцев вздрогнул и поднял голову, как будто его разбудили.

— Что мне говорить? Я его не знаю. Притом у меня сегодня голова болит.

— Ты, точно, что-то бледен сегодня, — заметила Александра Павловна, — здоров ли ты?

— У меня голова болит, — повторил Волынцев и вышел вон.

Александра Павловна и Лежнев посмотрели ему вслед и обменялись взглядом, но ничего не сказали друг другу. Ни для него, ни для нее не было тайной, что происходило в сердце Волынцева.

VI

Прошло два месяца с лишком. В течение всего этого времени Рудин почти не выезжал от Дарьи Михайловны. Она не могла обойтись без него. Рассказывать ему о себе, слушать его рассуждения стало для нее потребностью. Он однажды хотел уехать, под тем предлогом, что у него вышли все деньги: она дала ему пятьсот рублей. Он занял также у Волынцева рублей двести. Пигасов гораздо реже прежнего посещал Дарью Михайловну: Рудин давил его своим присутствием. Впрочем, давление это испытывал не один Пигасов.

— Не люблю я этого умника, — говаривал он, — выражается он неестественно, ни дать ни взять, лицо из русской повести; скажет: «Я», и с умилением остановится… «Я, мол, я…» Слова употребляет всё такие длинные. Ты чихнешь, он тебе сейчас станет доказывать, почему ты именно чихнул, а не кашлянул… Хвалит он тебя, точно в чин производит… Начнет самого себя бранить, с грязью себя смешает — ну, думаешь, теперь на свет божий глядеть не станет. Какое! повеселеет даже, словно горькой водкой себя попотчевал.

Пандалевский побаивался Рудина и осторожно за ним ухаживал. Волынцев находился в странных отношениях с ним. Рудин называл его рыцарем, превозносил его в глаза и за глаза; но Волынцев не мог полюбить его и всякий раз чувствовал невольное нетерпение и досаду, когда тот принимался в его же присутствии разбирать его достоинства. «Уж не смеется ли он надо мною?» — думал он, и враждебно шевелилось в нем сердце. Волынцев старался переломить себя; но он ревновал его к Наталье. Да и сам Рудин, хотя всегда шумно приветствовал Волынцева, хотя называл его рыцарем и занимал у него деньги, едва ли был к нему расположен. Трудно было бы определить, что́ собственно чувствовали эти два человека, когда, стискивая по-приятельски один другому руки, они глядели друг другу в глаза…

Басистов продолжал благоговеть перед Рудиным и ловить на лету каждое его слово. Рудин мало обращал на него внимания. Как-то раз он провел с ним целое утро, толковал с ним о самых важных мировых вопросах и задачах и возбудил в нем живейший восторг, но потом он его бросил… Видно, он только на словах искал чистых и преданных душ. С Лежневым, который начал ездить к Дарье Михайловне, Рудин даже в спор не вступал и как будто избегал его. Лежнев также

обходился с ним холодно, а впрочем, не высказывал своего окончательного мнения о нем, что очень смущало Александру Павловну. Она преклонялась перед Рудиным; но и Лежневу она верила. Все в доме Дарьи Михайловны покорялись прихоти Рудина: малейшие желания его исполнялись. Порядок дневных занятий от него зависел. Ни одна partie de plaisir[60] не составлялась без него. Впрочем, он не большой был охотник до всяких внезапных поездок и затей и участвовал в них, как взрослые в детских играх, с ласковым и слегка скучающим благоволением. Зато он входил во всё: толковал с Дарьей Михайловной о распоряжениях по имению, о воспитании детей, о хозяйстве, вообще о делах; выслушивал ее предположения, не тяготился даже мелочами, предлагал преобразования и нововведения. Дарья Михайловна восхищалась ими на словах — и только. В деле хозяйства она придерживалась советов своего управляющего, пожилого одноглазого малоросса, добродушного и хитрого плута. «Старенькое-то жирненько, молоденькое худенько», — говаривал он, спокойно ухмыляясь и подмигивая своим единственным глазом.

После самой Дарьи Михайловны Рудин ни с кем так часто и так долго не беседовал, как с Натальей. Он тайком давал ей книги, поверял ей свои планы, читал ей первые страницы предполагаемых статей и сочинений. Смысл их часто оставался недоступным для Натальи. Впрочем, Рудин, казалось, и не очень заботился о том, чтобы она его понимала — лишь бы слушала его. Близость его с Натальей была не совсем по нутру Дарье Михайловне. «Но, — думала она, — пускай она с ним поболтает в деревне. Она забавляет его, как девочка. Беды большой нет, а она все-таки поумнеет… В Петербурге я это всё переменю…»

Дарья Михайловна ошибалась. Не как девочка болтала Наталья с Рудиным; она жадно внимала его речам, она старалась вникнуть в их значение, она повергала на суд его свои мысли, свои сомнения; он был ее наставником, ее вождем. Пока — одна голова у ней кипела… но молодая голова недолго кипит одна. Какие сладкие мгновения переживала Наталья, когда, бывало, в саду, на скамейке, в легкой, сквозной тени ясеня, Рудин начнет читать ей гётевского «Фауста», Гофмана, или «Письма» Беттины, или Новалиса,* беспрестанно останавливаясь и толкуя то, что ей казалось темным! Она по-немецки говорила плохо, как почти все наши барышни, но понимала хорошо, а Рудин был весь погружен в германскую поэзию, в германский романтический и философский мир и увлекал ее за собой в те заповедные страны. Неведомые, прекрасные, раскрывались они перед

ее внимательным взором; со страниц книги, которую Рудин держал в руках, дивные образы, новые, светлые мысли так и лились звенящими струями ей в душу, и в сердце ее, потрясенном благородной радостью великих ощущений, тихо вспыхивала и разгоралась святая искра восторга…

— Скажите, Дмитрий Николаич, — начала она однажды, сидя у окна за пяльцами, — ведь вы на зиму поедете в Петербург?

— Не знаю, — возразил Рудин, опуская на колени книгу, которую перелистывал, — если соберусь со средствами, поеду.

Он говорил вяло: он чувствовал усталость и бездействовал с самого утра.

— Мне кажется, как не найти вам средства?

Рудин покачал головой.

— Вам так кажется!

И он значительно глянул в сторону.

Наталья хотела было что-то сказать и удержалась.

— Посмотрите, — начал Рудин и указал ей рукой в окно, — видите вы эту яблоню: она сломилась от тяжести и множества своих собственных плодов. Верная эмблема гения…

— Она сломилась оттого, что у ней не было подпоры, — возразила Наталья.

— Я вас понимаю, Наталья Алексеевна; но человеку не так легко сыскать ее, эту подпору.

— Мне кажется, сочувствие других… во всяком случае, одиночество…

Наталья немного запуталась и покраснела.

— И что вы будете делать зимой в деревне? — поспешно прибавила она.

— Что я буду делать? Окончу мою большую статью — вы знаете — о трагическом в жизни и в искусстве — я вам третьего дня план рассказывал — и пришлю ее вам.

— И напечатаете?

— Нет.

— Как нет? Для кого же вы будете трудиться?

— А хоть бы для вас.

Наталья опустила глаза.

— Это не по моим силам, Дмитрий Николаич!

— О чем, позвольте спросить, статья? — скромно спросил Басистов, сидевший поодаль.

— О трагическом в жизни и в искусстве, — повторил Рудин. —

Вот и г. Басистов прочтет. Впрочем, я не совсем еще сладил с основной мыслью. Я до сих пор еще не довольно уяснил самому себе трагическое значение любви.

Рудин охотно и часто говорил о любви. Сначала при слове: любовь — m-lle Boncourt вздрагивала и навастривала уши, как старый полковой конь, заслышавший трубу, но потом привыкла и только, бывало, съежит губы и с расстановкой понюхает табаку.

— Мне кажется, — робко заметила Наталья, — трагическое в любви — это несчастная любовь.

— Вовсе нет! — возразил Рудин, — это скорее комическая сторона любви… Вопрос этот надобно совсем иначе поставить… надо поглубже зачерпнуть… Любовь! — продолжал он, — в ней всё тайна: как она приходит, как развивается, как исчезает. То является она вдруг, несомненная, радостная, как день: то долго тлеет, как огонь под золой, и прорывается пламенем в душе, когда уже всё разрушено; то вползет она в сердце, как змея, то вдруг выскользнет из него вон… Да, да; это вопрос важный. Да и кто любит в наше время? кто дерзает любить?

И Рудин задумался.

— Что это Сергея Павлыча давно не видать? — спросил он вдруг.

Наталья вспыхнула и нагнула голову к пяльцам.

— Не знаю, — прошептала она.

— Какой это прекраснейший, благороднейший человек! — промолвил Рудин, вставая. — Это один из лучших образцов настоящего русского дворянина…

M-lle Boncourt посмотрела на него вкось своими французскими глазками.

Рудин прошелся по комнате.

— Заметили ли вы, — заговорил он, круто повернувшись на каблуках, — что на дубе — а дуб крепкое дерево — старые листья только тогда отпадают, когда молодые начнут пробиваться?

— Да, — медленно возразила Наталья, — заметила.

— Точно то же случается и с старой любовью в сильном сердце: она уже вымерла, но всё еще держится; только другая, новая любовь может ее выжить.

Наталья ничего не ответила.

«Что это значит?» — подумала она.

Рудин постоял, встряхнул волосами и удалился.

А Наталья пошла к себе в комнату. Долго сидела она в недоумении на своей кроватке, долго размышляла о последних словах Рудина и вдруг сжала руки и горько заплакала. О чем она плакала — бог ведает!

Она сама не знала, отчего у ней так внезапно полились слезы. Она утирала их, но они бежали вновь, как вода из давно накопившегося родника.

В тот же самый день и у Александры Павловны происходил разговор о Рудине с Лежневым. Сперва он всё отмалчивался; но она решилась добиться толку.

— Я вижу, — сказала она ему, — вам Дмитрий Николаевич по-прежнему не нравится. Я нарочно до сих пор вас не расспрашивала; но вы теперь уже успели убедиться, произошла ли в нем перемена, и я желаю знать, почему он вам не нравится.

— Извольте, — возразил с обычной флегмой Лежнев, — коли уж вам так не терпится; только, смотрите, не сердитесь…

— Ну, начинайте, начинайте.

— И дайте мне выговорить всё до конца.

— Извольте, извольте, начинайте.

— Итак-с, — начал Лежнев, медлительно опускаясь на диван, — доложу вам, мне Рудин действительно не нравится. Он умный человек…

— Еще бы!

— Он замечательно умный человек, хотя в сущности пустой…

— Это легко сказать!

— Хотя в сущности пустой, — повторил Лежнев, — но это еще не беда: все мы пустые люди. Я даже не ставлю в вину ему то, что он деспот в душе, ленив, не очень сведущ…

Александра Павловна всплеснула руками.

— Не очень сведущ! Рудин! — воскликнула она.

— Не очень сведущ, — точно тем же голосом повторил Лежнев, — любит пожить на чужой счет, разыгрывает роль, и так далее… это всё в порядке вещей. Но дурно то, что он холоден, как лед.

— Он, эта пламенная душа, холоден? — перебила Александра Павловна.

— Да, холоден, как лед, и знает это и прикидывается пламенным. Худо то, — продолжал Лежнев, постепенно оживляясь, — что он играет опасную игру, — опасную не для него, разумеется; сам копейки, волоска не ставит на карту — а другие ставят душу…

— О ком, о чем вы говорите? Я вас не понимаю, — проговорила Александра Павловна.

— Худо то, что он не честен. Ведь он умный человек: он должен же знать цену слов своих, — а произносит их так, как будто они ему что-нибудь стоят… Спору нет, он красноречив; только красноречие

его не русское. Да и, наконец, красно говорить простительно юноше, а в его года стыдно тешиться шумом собственных речей, стыдно рисоваться!

— Мне кажется, Михайло Михайлыч, для слушателя всё равно, рисуетесь ли вы, или нет…

— Извините, Александра Павловна, не всё равно. Иной скажет мне слово, меня всего проймет, другой то же самое слово скажет или еще красивее, — я и ухом не поведу. Отчего это?

— То есть *вы* не поведете, — перебила Александра Павловна.

— Да, не поведу, — возразил Лежнев, — хотя, может быть, у меня и большие уши. Дело в том, что слова Рудина так и остаются словами и никогда не станут поступком — а между тем эти самые слова могут смутить, погубить молодое сердце.

— Да о ком, о ком вы говорите, Михаил о Михайлыч?

Лежнев остановился.

— Вы желаете знать, о ком я говорю? О Наталье Алексеевне.

Александра Павловна смутилась на мгновение, но тотчас же усмехнулась.

— Помилуйте, — начала она, — какие у вас всегда странные мысли! Наталья еще ребенок; да, наконец, если б что-нибудь и было, неужели вы думаете, что Дарья Михайловна…

— Дарья Михайловна, во-первых, эгоистка и живет для себя; а во-вторых, она так уверена в своем уменье воспитывать детей, что ей и в голову не приходит беспокоиться о них. Фи! как можно! одно мановенье, один величественный взгляд — и всё пойдет как по ниточке. Вот что думает эта барыня, которая и меценаткой себя воображает, и умницей, и бог знает чем, а на деле она больше ничего, как светская старушонка. А Наталья не ребенок; она, поверьте, чаще и глубже размышляет, чем мы с вами. И надобно же, чтобы эдакая честная, страстная и горячая натура наткнулась на такого актера, на такую кокетку! Впрочем, и это в порядке вещей.

— Кокетка! Это вы его называете кокеткой?

— Конечно его… Ну, скажите сами, Александра Павловна, что за роль его у Дарьи Михайловны? Быть идолом, оракулом в доме, вмешиваться в распоряжения, в семейные сплетни и дрязги — неужели это достойно мужчины?

Александра Павловна с изумлением посмотрела Лежневу в лицо.

— Я не узнаю вас, Михайло Михайлыч, — проговорила она. — Вы покраснели, вы пришли в волнение. Право, тут что-нибудь должно скрываться другое…

— Ну, так и есть! Ты говоришь женщине дело, по убеждению; а она до тех пор не успокоится, пока не придумает какой-нибудь мелкой, посторонней причины, заставляющей тебя говорить именно так, а не иначе.

Александра Павловна рассердилась.

— Право, мосьё Лежнев! вы начинаете преследовать женщин не хуже г. Пигасова; но, воля ваша, как вы ни проницательны, все-таки мне трудно поверить, чтобы вы в такое короткое время могли всех и всё понять. Мне кажется, вы ошибаетесь. По-вашему, Рудин — Тартюф какой-то.*

— В том-то и дело, что он даже не Тартюф. Тартюф, тот по крайней мере знал, чего добивался; а этот, при всем своем уме…

— Что же, что же он? Доканчивайте вашу речь, несправедливый, гадкий человек!

Лежнев встал.

— Послушайте, Александра Павловна, — начал он, — несправедливы-то вы, а не я. Вы досадуете на меня за мои резкие суждения о Рудине: я имею право говорить о нем резко! Я, может быть, не дешевой ценой купил это право. Я хорошо его знаю: я долго жил с ним вместе. Помните, я обещался рассказать вам когда-нибудь наше житье в Москве. Видно, придется теперь это сделать. Но будете ли вы иметь терпение меня выслушать?

— Говорите, говорите!

— Ну, извольте.

Лежнев принялся ходить медленными шагами по комнате, изредка останавливаясь и наклоняя голову вперед.

— Вы, может быть, знаете, — заговорил он, — а может быть, и не знаете, что я осиротел рано и уже на семнадцатом году не имел над собою на́большего. Я жил в доме тетки в Москве и делал что хотел. Малый я был довольно пустой и самолюбивый, любил порисоваться и похвастать. Вступив в университет, я вел себя, как школьник, и скоро попался в историю. Я вам ее рассказывать не стану: не стоит. Я солгал, и довольно гадко солгал… Меня вывели на свежую воду, уличили, пристыдили… Я потерялся и заплакал, как дитя. Это происходило на квартире одного знакомого, в присутствии многих товарищей. Все принялись хохотать надо мною, все, исключая одного студента, который, заметьте, больше прочих негодовал на меня, пока я упорствовал и не сознавался в своей лжи. Жаль ему, что ли, меня стало, только он взял меня за руку и увел к себе.

— Это был Рудин? — спросила Александра Павловна.

— Нет, это не был Рудин… это был человек… он уже теперь умер… это был человек необыкновенный. Звали его Покорским. Описать его в немногих словах я не в силах, а начав говорить о нем, уже ни о ком другом говорить не захочешь. Это была высокая, чистая душа, и ума такого я уже не встречал потом. Покорений жил в маленькой, низенькой комнатке, в мезонине старого деревянного домика. Он был очень беден и перебивался кое-как уроками. Бывало, он даже чашкой чаю не мог попотчевать гостя; а единственный его диван до того провалился, что стал похож на лодку. Но, несмотря на эти неудобства, к нему ходило множество народа. Его все любили, он привлекал к себе сердца. Вы не поверите, как сладко и весело было сидеть в его бедной комнатке! У него я познакомился с Рудиным. Он уже отстал тогда от своего князька.

— Что же было такого особенного в этом Покорском? — спросила Александра Павловна.

— Как вам сказать? Поэзия и правда — вот что влекло всех к нему. При уме ясном, обширном, он был мил и забавен, как ребенок. У меня до сих пор звенит в ушах его светлое хохотанье, и в то же время он

Пылал полуночной лампадой*
Перед святынею добра…

Так выразился о нем один полусумасшедший и милейший поэт нашего кружка.

— А как он говорил? — спросила опять Александра Павловна.

— Он говорил хорошо, когда был в духе, но не удивительно. Рудин и тогда был в двадцать раз красноречивее его.

Лежнев остановился и скрестил руки.

— Покорский и Рудин не походили друг на друга. В Рудине было гораздо больше блеску и треску, больше фраз и, пожалуй, больше энтузиазма. Он казался гораздо даровитее Покорского, а на самом деле он был бедняк в сравнении с ним. Рудин превосходно развивал любую мысль, спорил мастерски; но мысли его рождались не в его голове: он брал их у других, особенно у Покорского. Покорский был на вид тих и мягок, даже слаб — и любил женщин до безумия, любил покутить и не дался бы никому в обиду. Рудин казался полным огня, смелости, жизни, а в душе был холоден и чуть ли не робок, пока не задевалось его самолюбие: тут он на стены лез. Он всячески старался покорить себе людей, но покорял он их во имя общих начал и идей и действительно имел влияние сильное на многих. Правда, никто его не любил; один я, может быть, привязался к нему. Его иго носили…

Покорскому все отдавались сами собой. Зато Рудин никогда не отказывался толковать и спорить с первым встречным… Он не слишком много прочел книг, но во всяком случае гораздо больше, чем Покорский и чем все мы; притом, ум имел систематический, память огромную, а ведь это-то и действует на молодежь! Ей выводы подавай, итоги, хоть неверные, да итоги! Совершенно добросовестный человек на это не годится. Попытайтесь сказать молодежи, что вы не можете дать ей полной истины, потому что сами не владеете ею… молодежь вас и слушать не станет. Но обмануть вы ее тоже не можете. Надобно, чтобы вы сами хотя наполовину верили, что обладаете истиной… Оттого-то Рудин и действовал так сильно на нашего брата. Видите ли, я вам сейчас сказал, что он прочел немного, но читал он философские книги, и голова у него так была устроена, что он тотчас же из прочитанного извлекал всё общее, хватался за самый корень дела и уже потом проводил от него во все стороны светлые, правильные нити мысли, открывал духовные перспективы. Наш кружок состоял тогда, говоря по совести, из мальчиков — и недоученных мальчиков. Философия, искусство, наука, самая жизнь — всё это для нас были одни слова, пожалуй, даже понятия, заманчивые, прекрасные, но разбросанные, разъединенные. Общей связи этих понятий, общего закона мирового мы не сознавали, не осязали, хотя смутно толковали о нем, силились отдать себе в нем отчет… Слушая Рудина, нам впервые показалось, что мы, наконец, схватили ее, эту общую связь, что поднялась, наконец, завеса! Положим, он говорил не свое — что за дело! — но стройный порядок водворялся во всем, что мы знали, всё разбросанное вдруг соединялось, складывалось, вырастало перед нами, точно здание, всё светлело, дух веял всюду… Ничего не оставалось бессмысленным, случайным: во всем высказывалась разумная необходимость и красота, всё получало значение ясное и, в то же время, таинственное, каждое отдельное явление жизни звучало аккордом, и мы сами, с каким-то священным ужасом благоговения, с сладким сердечным трепетом, чувствовали себя как бы живыми сосудами вечной истины, орудиями ее, призванными к чему-то великому… Вам всё это не смешно?

— Нисколько! — медленно возразила Александра Павловна, — почему вы это думаете? Я вас не совсем понимаю, но мне не смешно.

— Мы с тех пор успели поумнеть, конечно, — продолжал Лежнев, — всё это нам теперь может казаться детством… Но, я повторяю, Рудину мы тогда были обязаны многим. Покорский был несравненно выше его, бесспорно; Покорский вдыхал в нас всех огонь

и силу, но он иногда чувствовал себя вялым и молчал. Человек он был нервический, нездоровый; зато когда он расправлял свои крылья — боже! куда не залетал он! в самую глубь и лазурь неба! А в Рудине, в этом красивом и статном малом, было много мелочей; он даже сплетничал; страсть его была во всё вмешиваться, всё определять и разъяснять. Его хлопотливая деятельность никогда не унималась… политическая натура-с! Я о нем говорю, каким я его знал тогда. Впрочем, он, к несчастию, не изменился. Зато он и в верованиях своих не изменился… в тридцать пять лет!.. Не всякий может сказать это о себе.

— Сядьте, — проговорила Александра Павловна, — что вы, как маятник, по комнате ходите?

— Этак мне лучше, — возразил Лежнев. — Ну-с, попав в кружок Покорского*, я, доложу вам, Александра Павловна, я совсем переродился: смирился, расспрашивал, учился, радовался, благоговел — одним словом, точно в храм какой вступил. Да и в самом деле, как вспомню я наши сходки, ну, ей-богу же, много в них было хорошего, даже трогательного. Вы представьте, сошлись человек пять-шесть мальчиков, одна сальная свеча горит, чай подается прескверный и сухари к нему старые-престарые; а посмотрели бы вы на все наши лица, послушали бы речи наши! В глазах у каждого восторг, и щеки пылают, и сердце бьется, и говорим мы о боге, о правде, о будущности человечества, о поэзии — говорим мы иногда вздор, восхищаемся пустяками; но что за беда!.. Покорский сидит, поджав ноги, подпирает бледную щеку рукой, а глаза его так и светятся. Рудин стоит посередине комнаты и говорит, говорит прекрасно, ни дать ни взять молодой Демосфен перед шумящим морем; взъерошенный поэт Субботин издает по временам, и как бы во сне, отрывистые восклицания; сорокалетний бурш, сын немецкого пастора, Шеллер*, прослывший между нами за глубочайшего мыслителя по милости своего вечного, ничем не нерушимого молчанья, как-то особенно торжественно безмолвствует; сам веселый Щитов, Аристофан наших сходок*, утихает и только ухмыляется; два-три новичка слушают с восторженным наслаждением… А ночь летит тихо и плавно, как на крыльях. Вот уж и утро сереет, и мы расходимся, тронутые, веселые, честные, трезвые (вина у нас и в помине тогда не было), с какой-то приятной усталостью на душе… Помнится, идешь по пустым улицам, весь умиленный, и даже на звезды как-то доверчиво глядишь, словно они и ближе стали, и понятнее… Эх! славное было время тогда, и не хочу я верить, чтобы оно пропало даром! Да оно и не пропало, — не

пропало даже для тех, которых жизнь опошлила потом… Сколько раз мне случалось встретить таких людей, прежних товарищей! Кажется, совсем зверем стал человек, а стоит только произнести при нем имя Покорского — и все остатки благородства в нем зашевелятся, точно ты в грязной и темной комнате раскупорил забытую стклянку с духами…

Лежнев умолк; его бесцветное лицо раскраснелось.

— Но отчего же, когда вы поссорились с Рудиным? — заговорила Александра Павловна, с изумлением глядя на Лежнева.

— Я с ним не поссорился; я с ним расстался, когда узнал его окончательно за границей. А уже в Москве я бы мог рассориться с ним. Он со мной уже тогда сыграл недобрую штуку.

— Что такое?

— А вот что. Я… как бы это сказать?.. к моей фигуре оно нейдет… но я всегда был очень способен влюбиться.

— Вы?

— Я. Это странно, не правда ли? А между тем оно так… Ну-с, вот я и влюбился тогда в одну очень миленькую девочку… Да что вы на меня так глядите? Я бы мог сказать вам о себе вещь гораздо более удивительную.

— Какую это вещь, позвольте узнать?

— А хоть бы вот какую вещь. Я, в то, московское-то время, хаживал по ночам на свидание… с кем бы вы думали? с молодой липой на конце моего сада. Обниму ее тонкий и стройный ствол, и мне кажется, что я обнимаю всю природу, а сердце расширяется и млеет так, как будто действительно вся природа в него вливается… Вот-с я был какой!.. Да что! Вы, может, думаете, я стихов не писал? Писал-с, и даже целую драму сочинил, в подражание «Манфреду».* В числе действующих лиц был призрак с кровью на груди, и не с своей кровью, заметьте, а с кровью человечества вообще… Да-с, да-с, не извольте удивляться… Но я начал рассказывать о моей любви. Я познакомился с одной девушкой…

— И перестали ходить на свидание с липой? — спросила Александра Павловна.

— Перестал. Девушка эта была предобренькое и прехорошенькое существо, с веселыми, ясными глазками и звенящим голосом.

— Вы хорошо описываете, — заметила с усмешкой Александра Павловна.

— А вы очень строгий критик, — возразил Лежнев. — Ну-с, жила эта девушка со стариком отцом… Впрочем, я в подробности вдаваться не стану. Скажу вам только, что эта девушка была точно

предобренькая — вечно, бывало, нальет тебе три четверти стакана чаю, когда ты просишь только половину!.. На третий день, после первой встречи с ней, я уже пылал, а на седьмой день не выдержал и во всем сознался Рудину. Молодому человеку, влюбленному, невозможно не проболтаться; а я Рудину исповедовался во всем. Я тогда находился весь под его влиянием, и это влияние, скажу без обиняков, было благотворно во многом. Он первый не побрезгал мною, обтесал меня. Покорского я любил страстно и ощущал некоторый страх перед его душевной чистотой; а к Рудину я стоял ближе. Узнав о моей любви, он пришел в восторг неописанный: поздравил, обнял меня и тотчас же пустился вразумлять меня, толковать мне всю важность моего нового положения. Я уши развесил… Ну, да ведь вы знаете, как он умеет говорить. Слова его подействовали на меня необыкновенно. Уважение я к себе вдруг возымел удивительное, вид принял серьезный и смеяться перестал. Помнится, я даже ходить начал тогда осторожнее, точно у меня в груди находился сосуд, полный драгоценной влаги, которую я боялся расплескать… Я был очень счастлив, тем более, что ко мне благоволили явно. Рудин пожелал познакомиться с моим предметом; да чуть ли не я сам настоял на том, чтобы представить его.

— Ну, вижу, вижу теперь, в чем дело, — перебила Александра Павловна. — Рудин отбил у вас ваш предмет, и вы до сих пор простить не можете… Держу пари, что не ошиблась!

— И проиграли бы пари, Александра Павловна: вы ошибаетесь. Рудин не отбил у меня моего предмета, да он и не хотел его у меня отбивать, а все-таки он разрушил мое счастье, хотя, рассудив хладнокровно, я теперь готов сказать ему спасибо за это. Но тогда я чуть не рехнулся. Рудин нисколько не желал повредить мне, — напротив! Но вследствие своей проклятой привычки каждое движение жизни, и своей и чужой, пришпиливать словом, как бабочку булавкой, он пустился обоим нам объяснять нас самих, наши отношения, как мы должны вести себя, деспотически заставлял отдавать себе отчет в наших чувствах и мыслях, хвалил нас, порицал, вступил даже в переписку с нами, вообразите!.. Ну, сбил нас с толку совершенно! Я бы едва ли женился тогда на моей барышне (столько-то во мне еще здравого смысла оставалось), но по крайней мере мы бы с ней славно провели несколько месяцев, вроде Павла и Виргинии*; а тут пошли недоразумения, напряженности всякие — чепуха пошла, одним словом. Кончилось тем, что Рудин в одно прекрасное утро договорился до того убеждения, что ему, как другу, предстоит священнейший долг известить обо всем старика отца, — и он это

сделал.

— Неужели? — воскликнула Александра Павловна.

— Да, и, заметьте, с моего согласия сделал — вот что чудно!.. Помню до сих пор, какой хаос носил я тогда в голове: просто всё кружилось и переставлялось, как в камер-обскуре: белое казалось черным, черное — белым, ложь — истиной, фантазия — долгом… Э! даже и теперь совестно вспоминать об этом! Рудин — тот не унывал… куда! носится, бывало, среди всякого рода недоразумений и путаницы, как ласточка над прудом.

— И так вы и расстались с вашей девицей? — спросила Александра Павловна, наивно склонив головку набок и приподняв брови.

— Расстался… и нехорошо расстался, оскорбительно, неловко, гласно, и без нужды гласно… Сам я плакал, и она плакала, и чёрт знает что произошло… Гордиев узел какой-то затянулся — пришлось перерубить, а больно было! Впрочем, всё на свете устроивается к лучшему. Она вышла замуж за хорошего человека и благоденствует теперь…

— А признайтесь, вы все-таки не могли простить Рудину… — начала было Александра Павловна.

— Какое! — перебил Лежнев, — я плакал, как ребенок, когда провожал его за границу. Однако, правду сказать, семя там у меня на душе залегло тогда же. И когда я встретил его потом за границей… ну, я тогда уже и постарел… Рудин предстал мне в настоящем своем свете.

— Что же именно вы открыли в нем?

— Да всё то, о чем я говорил вам с час тому назад. Впрочем, довольно о нем. Может быть, всё обойдется благополучно. Я только хотел доказать вам, что если я сужу о нем строго, так не потому, что его не знаю… Что же касается до Натальи Алексеевны, я не буду тратить лишних слов; но вы обратите внимание на вашего брата.

— На моего брата! А что?

— Да посмотрите на него. Разве вы ничего не замечаете?

Александра Павловна потупилась.

— Вы правы, — промолвила она, — точно… брат… с некоторых пор я его не узнаю… Но неужели вы думаете…

— Тише! он, кажется, идет сюда, — произнес шёпотом Лежнев. — А Наталья не ребенок, поверьте мне, хотя, к несчастию, неопытна, как ребенок. Вы увидите, эта девочка удивит всех нас.

— Каким это образом?

— А вот каким образом… Знаете ли, что именно такие девочки

топятся, принимают яду и так далее? Вы не глядите, что она такая тихая: страсти в ней сильные и характер тоже ой-ой!

— Ну, уж это, мне кажется, вы в поэзию вдаетесь. Такому флегматику, как вы, пожалуй, и я покажусь вулканом.

— Ну, нет! — проговорил с улыбкой Лежнев… — А что до характера — у вас, слава богу, характера нет вовсе.

— Это еще что за дерзость?

— Это? Это величайший комплимент, помилуйте…

Волынцев вошел и подозрительно посмотрел на Лежнева и на сестру. Он похудел в последнее время. Они оба заговорили с ним; но он едва улыбался в ответ на их шутки и глядел, как выразился о нем однажды Пигасов, грустным зайцем. Впрочем, вероятно, не было еще на свете человека, который, хотя раз в жизни, не глядел еще хуже того. Волынцев чувствовал, что Наталья от него удалялась, а вместе с ней, казалось, и земля бежала у него из-под ног.

VII

На другой день было воскресенье, и Наталья поздно встала. Накануне она была очень молчалива до самого вечера, втайне стыдилась слез своих и очень дурно спала. Сидя, полуодетая, перед своим маленьким фортепьяно, она то брала аккорды, едва слышные, чтобы не разбудить m-lle Boncourt, то приникала лбом к холодным клавишам и долго оставалась неподвижной. Она всё думала — не о самом Рудине, но о каком-нибудь слове, им сказанном, и погружалась вся в свою думу. Изредка приходил ей Волынцев на память. Она знала, что он ее любит. Но мысль ее тотчас его покидала… Странное она чувствовала волнение. Утром она поспешно оделась, сошла вниз и, поздоровавшись с своею матерью, улучила время и ушла одна в сад… День был жаркий, светлый, лучезарный день, несмотря на перепадавшие дождики. По ясному небу плавно неслись, не закрывая солнца, низкие, дымчатые тучи и по временам роняли на поля обильные потоки внезапного и мгновенного ливня. Крупные, сверкающие капли сыпались быстро, с каким-то сухим шумом, точно алмазы; солнце играло сквозь их мелькающую сетку; трава, еще недавно взволнованная ветром, не шевелилась, жадно поглощая влагу; орошенные деревья томно трепетали всеми своими листочками; птицы не переставали петь, и отрадно было слушать их болтливое щебетанье при свежем гуле и ропоте пробегавшего дождя. Пыльные дороги дымились и слегка пестрели под резкими ударами частых брызг. Но вот тучка пронеслась, запорхал ветерок, изумрудом и золотом начала переливать трава… Прилипая друг к дружке, засквозили листья деревьев… Сильный запах поднялся отовсюду…

Небо почти всё очистилось, когда Наталья пошла в сад. От него веяло свежестью и тишиной, той кроткой и счастливой тишиной, на которую сердце человека отзывается сладким томлением тайного сочувствия и неопределенных желаний…

Наталья шла вдоль пруда по длинной аллее серебристых тополей; внезапно перед нею, словно из земли, вырос Рудин.

Она смутилась. Он посмотрел ей в лицо.

— Вы одни? — спросил он.

— Да, я одна, — отвечала Наталья, — впрочем, я вышла на минуту… Мне пора домой.

— Я вас провожу.

И он пошел с ней рядом.

— Вы как будто печальны? — промолвил он.

— Я?.. А я хотела вам заметить, что вы, мне кажется, не в духе.

— Может быть… это со мною бывает. Мне это извинительнее, чем вам.

— Почему же? Разве вы думаете, что мне не от чего быть печальной?

— В ваши годы надо наслаждаться жизнью.

Наталья сделала несколько шагов молча.

— Дмитрий Николаевич! — проговорила она.

— Что?

— Помните вы… сравнение, которое вы сделали вчера… помните… с дубом.

— Ну да, помню. Что же?

Наталья взглянула украдкой на Рудина.

— Зачем вы… что вы хотели сказать этим сравнением?

Рудин наклонил голову и устремил глаза вдаль.

— Наталья Алексеевна! — начал он с свойственным ему сдержанным и значительным выражением, которое всегда заставляло слушателя думать, что Рудин не высказывал и десятой доли того, что теснилось ему в душу, — Наталья Алексеевна! вы могли заметить, я мало говорю о своем прошедшем. Есть некоторые струны, до которых я не касаюсь вовсе. Мое сердце… кому какая нужда знать о том, что в нем происходило? Выставлять это напоказ мне всегда казалось святотатством. Но с вами я откровенен: вы возбуждаете мое доверие… Не могу утаить от вас, что и я любил и страдал, как все… Когда и как? Об этом говорить не стоит; но сердце мое испытало много радостей и много горестей…

Рудин помолчал немного.

— То, что я вам сказал вчера, — продолжал он, — может быть до некоторой степени применено ко мне, к теперешнему моему положению. Но опять-таки об этом говорить не стоит. Эта сторона жизни для меня уже исчезла. Мне остается теперь тащиться по знойной и пыльной дороге, со станции до станции, в тряской телеге…* Когда я доеду, и доеду ли — бог знает… Поговоримте лучше о вас.

— Неужели же, Дмитрий Николаевич, — перебила его Наталья, — вы ничего не ждете от жизни?

— О, нет! я жду многого, но не для себя… От деятельности, от блаженства деятельности я никогда не откажусь, но я отказался от

наслаждения. Мои надежды, мои мечты — и собственное мое счастие не имеют ничего общего. Любовь (при этом слове он пожал плечом)… любовь — не для меня; я… ее не стою; женщина, которая любит, вправе требовать всего человека, а я уж весь отдаться не могу. Притом нравиться — это дело юношей: я слишком стар. Куда мне кружить чужие головы? Дай бог свою сносить на плечах!

— Я понимаю, — промолвила Наталья, — кто стремится к великой цели, уже не должен думать о себе; но разве женщина не в состоянии оценить такого человека? Мне кажется, напротив, женщина скорее отвернется от эгоиста… Все молодые люди, эти юноши, по-вашему, все — эгоисты, все только собою заняты, даже когда любят. Поверьте, женщина не только способна понять самопожертвование: она сама умеет пожертвовать собою.

Щеки Натальи слегка зарумянились, и глаза ее заблестели. До знакомства с Рудиным она никогда бы не произнесла такой длинной речи и с таким жаром.

— Вы не раз слышали мое мнение о призвании женщин, — возразил с снисходительной улыбкой Рудин. — Вы знаете, что, по-моему, одна Жанна д’Арк могла спасти Францию… Но дело не в том. Я хотел поговорить о вас. Вы стоите на пороге жизни… Рассуждать о вашей будущности и весело, и не бесплодно… Послушайте: вы знаете, я ваш друг; я принимаю в вас почти родственное участие… А потому я надеюсь, вы не найдете моего вопроса нескромным: скажите, ваше сердце до сих пор совершенно спокойно?

Наталья вся вспыхнула и ничего не сказала. Рудин остановился, и она остановилась.

— Вы не сердитесь на меня? — спросил он.

— Нет, — проговорила она, — но я никак не ожидала…

— Впрочем, — продолжал он, — вы можете не отвечать мне. Ваша тайна мне известна.

Наталья почти с испугом взглянула на него.

— Да… да; я знаю, кто вам нравится. И я должен сказать — лучшего выбора вы сделать не могли. Он человек прекрасный; он сумеет оценить вас; он не измят жизнью — он прост и ясен душою… он составит ваше счастье.

— О ком говорите вы, Дмитрий Николаич?

— Будто вы не понимаете, о ком я говорю? Разумеется, о Волынцеве. Что ж? разве это неправда?

Наталья отвернулась немного от Рудина. Она совершенно растерялась.

— Разве он не любит вас? Помилуйте! он не сводит с вас глаз, следит за каждым вашим движением; да и, наконец, разве можно скрыть любовь? И вы сами разве не благосклонны к нему? Сколько я мог заметить, и матушке вашей он также нравится… Ваш выбор…

— Дмитрий Николаич! — перебила его Наталья, в смущении протягивая руку к близ стоявшему кусту, — мне, право, так неловко говорить об этом, но я вас уверяю… вы ошибаетесь.

— Я ошибаюсь? — повторил Рудин. — Не думаю… Я с вами познакомился недавно; но я уже хорошо вас знаю. Что же значит перемена, которую я вижу в вас, вижу ясно? Разве вы такая, какою я застал вас шесть недель тому назад?.. Нет, Наталья Алексеевна, сердце ваше не спокойно.

— Может быть, — ответила Наталья едва внятно, — но вы все-таки ошибаетесь.

— Как это? — спросил Рудин.

— Оставьте меня, не спрашивайте меня! — возразила Наталья и быстрыми шагами направилась к дому.

Ей самой стало страшно всего того, что она вдруг почувствовала в себе.

Рудин догнал и остановил ее.

— Наталья Алексеевна! — заговорил он, — этот разговор не может так кончиться: он слишком важен и для меня… Как мне понять вас?

— Оставьте меня! — повторила Наталья.

— Наталья Алексеевна, ради бога!

На лице Рудина изобразилось волнение. Он побледнел.

— Вы всё понимаете, вы и меня должны понять! — сказала Наталья, вырвала у него руку и пошла не оглядываясь.

— Одно только слово! — крикнул ей вслед Рудин.

Она остановилась, но не обернулась.

— Вы меня спрашивали, что́ я хотел сказать вчерашним сравнением. Знайте же, я обманывать вас не хочу. Я говорил о себе, о своем прошедшем — и о вас.

— Как? обо мне?

— Да, о вас; я, повторяю, не хочу вас обманывать… Вы теперь знаете, о каком чувстве, о каком новом чувстве я говорил тогда… До нынешнего дня я никогда бы не решился…

Наталья вдруг закрыла лицо руками и побежала к дому.

Она так была потрясена неожиданной развязкой разговора с Рудиным, что и не заметила Волынцева, мимо которого пробежала. Он стоял неподвижно, прислонясь спиною к дереву. Четверть часа тому

назад он приехал к Дарье Михайловне и застал ее в гостиной, сказал слова два, незаметно удалился и отправился отыскивать Наталью. Руководимый чутьем, свойственным влюбленным людям, он пошел прямо в сад и наткнулся на нее и на Рудииа в то самое мгновение, когда она вырвала у него руку. У Волынцева потемнело в глазах. Проводив Наталью взором, он отделился от дерева и шагнул раза два, сам не зная куда и зачем. Рудин увидел его, поравнявшись с ним. Оба посмотрели друг другу в глаза, поклонились и разошлись молча.

«Это так не кончится», — подумали оба.

Волынцев пошел на самый конец сада. Ему горько и тошно стало; а на сердце залег свинец, и кровь по временам поднималась злобно. Дождик стал опять накрапывать. Рудин вернулся к себе в комнату. И он не был спокоен: вихрем кружились в нем мысли. Доверчивое, неожиданное прикосновение молодой, честной души смутит хоть кого.

За столом всё шло как-то неладно. Наталья, вся бледная, едва держалась на стуле и не поднимала глаз. Волынцев сидел, по обыкновению, возле нее и время от времени принужденно заговаривал с нею. Случилось так, что Пигасов в тот день обедал у Дарьи Михайловны. Он больше всех говорил за столом. Между прочим он начал доказывать, что людей, как собак, можно разделить на куцых и длиннохвостых.[*] «Куцыми бывают люди, — говорил он, — и от рождения и по собственной вине. Куцым плохо: им ничего не удается — они не имеют самоуверенности. Но человек, у которого длинный пушистый хвост, — счастливец. Он может быть и плоше и слабее куцего, да уверен в себе; распустит хвост — все любуются. И ведь вот что достойно удивления: ведь хвост — совершенно бесполезная часть тела, согласитесь; на что может пригодиться хвост? а все судят о ваших достоинствах по хвосту».

— Я, — прибавил он со вздохом, — принадлежу к числу куцых, и, что досаднее всего, я сам отрубил себе хвост.

— То есть вы хотите сказать, — заметил небрежно Рудин, — что, впрочем, уже давно до вас сказал ла-Рошфуко: будь уверен в себе, другие в тебя поверят.[*] К чему тут было примешивать хвост, я не понимаю…

— Позвольте же каждому, — резко заговорил Волынцев, и глаза его загорелись, — позвольте каждому выражаться, как ему вздумается. Толкуют о деспотизме… По-моему, нет хуже деспотизма так называемых умных людей. Чёрт бы их побрал!

Всех изумила выходка Волынцева, все притихли. Рудин посмотрел было на него, но не выдержал его взора, отворотился, улыбнулся и рта

не разинул.

«Эге! да и ты куц!» — подумал Пигасов; а у Натальи душа замерла от страха. Дарья Михайловна долго, с недоумением посмотрела на Волынцева и, наконец, первая заговорила: начала рассказывать о какой-то необыкновенной собаке ее друга, министра NN…

Волынцев уехал скоро после обеда. Раскланиваясь с Натальей, он не вытерпел и сказал ей:

— Отчего вы так смущены, словно виноваты? Вы ни перед кем виноваты быть не можете!..

Наталья ничего не поняла и только посмотрела ему вслед. Перед чаем Рудин подошел к ней и, нагнувшись над столом, как будто разбирая газеты, шепнул:

— Всё это как сон, не правда ли? Мне непременно нужно видеть вас наедине… хотя минуту. — Он обратился к m-lle Boncourt. — Вот, — сказал он ей, — тот фельетон, который вы искали, — и, снова наклоняясь к Наталье, прибавил шёпотом: — Постарайтесь быть около десяти часов возле террасы, в сиреневой беседке: я буду ждать вас…

Героем вечера был Пигасов. Рудин уступил ему поле сражения. Он очень смешил Дарью Михайловну; сперва он рассказывал об одном своем соседе, который, состоя лет тридцать под башмаком жены, до того обабился, что, переходя однажды, в присутствии Пигасова, мелкую лужицу, занес назад руку и отвел вбок фалды сюртука, как женщины это делают со своими юбками. Потом он обратился к другому помещику, который сначала был масоном, потом меланхоликом, потом желал быть банкиром.

— Как же это вы были масоном, Филипп Степаныч? — спросил его Пигасов.

— Известно как: я носил длинный ноготь на пятом пальце.

Но больше всего смеялась Дарья Михайловна, когда Пигасов пустился рассуждать о любви и уверять, что и о нем вздыхали, что одна пылкая немка называла его даже «аппетитным Африканчиком и хрипунчиком». Дарья Михайловна смеялась, а Пигасов не лгал: он действительно имел право хвастаться своими победами. Он утверждал, что ничего не может быть легче, как влюбить в себя какую угодно женщину: стоит только повторять ей десять дней сряду, что у ней в устах рай, а в очах блаженство и что остальные женщины перед ней простые тряпки, и на одиннадцатый день она сама скажет, что у ней в устах рай и в очах блаженство, и полюбит вас. Всё на свете бывает. Почему знать? может быть, Пигасов и прав.

В половине десятого Рудин уже был в беседке. В далекой и

бледной глубине неба только что проступали звездочки; на западе еще алело — там и небосклон казался ясней и чище; полукруг луны блестел золотом сквозь черную сетку плакучей березы. Другие деревья либо стояли угрюмыми великанами, с тысячью просветов, наподобие глаз, либо сливались в сплошные мрачные громады. Ни один листок не шевелился; верхние ветки сиреней и акаций как будто прислушивались к чему-то и вытягивались в теплом воздухе. Дом темнел вблизи; пятнами красноватого света рисовались на нем освещенные длинные окна. Кроток и тих был вечер; но сдержанный, страстный вздох чудился в этой тишине.

Рудин стоял, скрестив руки на груди, и слушал с напряженным вниманием. Сердце в нем билось сильно, и он невольно удерживал дыхание. Наконец ему послышались легкие, торопливые шаги, и в беседку вошла Наталья.

Рудин бросился к ней, взял ее за руки. Они были холодны, как лед.

— Наталья Алексеевна! — заговорил он трепетным шёпотом, — я хотел вас видеть… я не мог дождаться завтрашнего дня. Я должен вам сказать, чего я не подозревал, чего я не сознавал даже сегодня утром: я люблю вас.

Руки Натальи слабо дрогнули в его руках.

— Я люблю вас, — повторил он, — и как я мог так долго обманываться, как я давно не догадался, что люблю вас!.. А вы?.. Наталья Алексеевна, скажите, вы?..

Наталья едва переводила дух.

— Вы видите, я пришла сюда, — проговорила она наконец.

— Нет, скажите, вы любите меня?

— Мне кажется… да… — прошептала она.

Рудин еще крепче стиснул ее руки и хотел было привлечь ее к себе…

Наталья быстро оглянулась.

— Пустите меня, мне страшно — мне кажется, кто-то нас подслушивает… Ради бога, будьте осторожны. Волындев догадывается.

— Бог с ним! Вы видели, я и не отвечал ему сегодня… Ах, Наталья Алексеевна, как я счастлив! Теперь уже ничто нас не разъединит!

Наталья взглянула ему в глаза.

— Пустите меня, — прошептала она, — мне пора.

— Одно мгновенье, — начал Рудин…

— Нет, пустите, пустите меня…

— Вы как будто меня боитесь?

— Нет; но мне пора…

— Так повторите по крайней мере еще раз…

— Вы говорите, вы счастливы? — спросила Наталья.

— Я? Нет человека в мире счастливее меня! Неужели вы сомневаетесь?

Наталья приподняла голову. Прекрасно было ее бледное лицо, благородное, молодое и взволнованное — в таинственной тени беседки, при слабом свете, падавшем с ночного неба.

— Знайте же, — сказала она, — я буду ваша.

— О, боже! — воскликнул Рудин…

Но Наталья уклонилась и ушла. Рудин постоял немного, потом вышел медленно из беседки. Луна ясно осветила его лицо; на губах его блуждала улыбка.

— Я счастлив, — произнес он вполголоса. — Да, я счастлив, — повторил он, как бы желая убедить самого себя.

Он выпрямил свой стан, встряхнул кудрями и пошел проворно в сад, весело размахивая руками.

А между тем в сиреневой беседке тихонько раздвинулись кусты и показался Пандалевский. Он осторожно оглянулся, покачал головой, сжал губы, произнес значительно: «Вот как-с. Это надобно будет довести до сведения Дарьи Михайловны», — и скрылся.

VIII

Возвратясь домой, Волынцев был так уныл и мрачен, так неохотно отвечал своей сестре и так скоро заперся к себе в кабинет, что она решилась послать гонца за Лежневым. Она прибегала к нему во всех затруднительных случаях. Лежнев велел ей сказать, что приедет на следующий день.

Волынцев и к утру не повеселел. Он хотел было после чаю отправиться на работы, но остался, лег на диван и принялся читать книгу, что с ним случалось не часто. Волынцев к литературе влечения не чувствовал, а стихов просто боялся. «Это непонятно, как стихи», — говаривал он и, в подтверждение слов своих, приводил следующие строки поэта Айбулата*:

И до конца печальных дней
Ни гордый опыт, ни рассудок
Не изомнут рукой своей
Кровавых жизни незабудок.

Александра Павловна тревожно посматривала на своего брата, но не беспокоила его вопросами. Экипаж подъехал к крыльцу. «Ну, — подумала она, — слава богу, Лежнев…» Слуга вошел и доложил о приезде Рудина.

Волынцев бросил книгу на пол и поднял голову.

— Кто приехал? — спросил он.

— Рудин, Дмитрий Николаич, — повторил слуга.

Волынцев встал.

— Проси, — промолвил он, — а ты, сестра, — прибавил он, обратясь к Александре Павловне, — оставь нас.

— Да почему же? — начала она.

— Я знаю, — перебил он с запальчивостью, — я прошу тебя.

Вошел Рудин. Волынцев холодно поклонился ему, стоя посреди комнаты, и не протянул ему руки.

— Вы меня не ждали, признайтесь, — начал Рудин и поставил шляпу на окно.

Губы его слегка подергивало. Ему было неловко; но он старался скрыть свое замешательство.

— Я вас не ждал, точно, — возразил Волынцев, — я скорее, после вчерашнего дня, мог ждать кого-нибудь — с поручением от вас.

— Я понимаю, что вы хотите сказать, — промолвил Рудин, садясь, — и очень рад вашей откровенности. Этак гораздо лучше. Я сам приехал к вам, как к благородному человеку.

— Нельзя ли без комплиментов? — заметил Волынцев.

— Я желаю объяснить вам, зачем я приехал.

— Мы с вами знакомы: почему же вам и не приехать ко мне? Притом же вы не в первый раз удостоиваете меня своим посещением.

— Я приехал к вам, как благородный человек к благородному человеку, — повторил Рудин, — и хочу теперь сослаться на собственный ваш суд… Я доверяю вам вполне…

— Да в чем дело? — проговорил Волынцев, который всё еще стоял в прежнем положении и сумрачно глядел на Рудина, изредка подергивая концы усов.

— Позвольте… я приехал затем, чтобы объясниться, конечно; но все-таки это нельзя разом.

— Отчего же нельзя?

— Здесь замешано третье лицо…

— Какое третье лицо?

— Сергей Павлыч, вы меня понимаете.

— Дмитрий Николаич, я вас нисколько не понимаю.

— Вам угодно…

— Мне угодно, чтобы вы говорили без обиняков! — подхватил Волынцев.

Он начинал сердиться не на шутку. Рудин нахмурился.

— Извольте… мы одни… Я должен вам сказать — впрочем, вы вероятно, уже догадываетесь (Волынцев нетерпеливо пожал плечами), — я должен вам сказать, что я люблю Наталью Алексеевну и имею право предполагать, что и она меня любит.

Волынцев побледнел, но ничего не ответил, отошел к окну и отвернулся.

— Вы понимаете, Сергей Павлыч, — продолжал Рудин, — что если бы я не был уверен…

— Помилуйте! — поспешно перебил Волынцев, — я нисколько не сомневаюсь… Что ж! на здоровье! Только я удивляюсь, с какого дьявола вам вздумалось ко мне с этим известием пожаловать… Я-то тут что? Что мне за дело, кого вы любите и кто вас любит? Я просто не могу понять.

Волынцев продолжал глядеть в окно. Голос его звучал глухо.

Рудин встал.

— Я вам скажу, Сергей Павлыч, почему я решился приехать к вам,

почему я не почел себя даже вправе скрыть от вас нашу… наше взаимное расположение. Я слишком глубоко уважаю вас — вот почему я приехал; я не хотел… мы оба не хотели разыгрывать перед вами комедию. Чувство ваше к Наталье Алексеевне было мне известно… Поверьте, я знаю себе цену: я знаю, как мало достоин я того, чтобы заменить вас в ее сердце; но если уж этому суждено было случиться, неужели же лучше хитрить, обманывать, притворяться? Неужели лучше подвергаться недоразумениям или даже возможности такой сцены, какая произошла вчера за обедом? Сергей Павлыч, скажите сами.

Волынцев скрестил руки на груди, как бы усиливаясь укротить самого себя.

— Сергей Павлыч! — продолжал Рудин, — я огорчил вас, я это чувствую… но поймите нас… поймите, что мы не имели другого средства доказать вам наше уважение, доказать, что мы умеем ценить ваше прямодушное благородство. Откровенность, полная откровенность со всяким другим была бы неуместна, но с вами она становится обязанностью. Нам приятно думать, что наша тайна в ваших руках…

Волынцев принужденно захохотал.

— Спасибо за доверенность! — воскликнул он, — хотя, прошу заметить, я не желал ни знать вашей тайны, ни своей вам выдать, а вы ею распоряжаетесь, как своим добром. Но, позвольте, вы говорите как бы от общего лица. Стало быть, я могу предполагать, что Наталье Алексеевне известно ваше посещение и цель этого посещения?

Рудин немного смутился.

— Нет, я не сообщил Наталье Алексеевне моего намерения; но, я знаю, она разделяет мой образ мыслей.

— Всё это прекрасно, — заговорил, помолчав немного, Волынцев и забарабанил пальцами по стеклу, — хотя, признаться, было бы гораздо лучше, если бы вы поменьше меня уважали. Мне, по правде сказать, ваше уважение ни к чёрту не нужно; но что же вы теперь хотите от меня?

— Я ничего не хочу… или, нет! я хочу одного: я хочу, чтобы вы не считали меня коварным и хитрым человеком, чтобы вы поняли меня… Я надеюсь, что вы теперь уже не можете сомневаться в моей искренности… Я хочу, Сергей Павлыч, чтобы мы расстались друзьями… чтобы вы по-прежнему протянули мне руку… И Рудин приблизился к Волынцеву.

— Извините меня, милостивый государь, — промолвил Волынцев,

обернувшись и отступив шаг назад, — я готов отдать полную справедливость вашим намерениям, всё это прекрасно, положим даже возвышенно, но мы люди простые, едим пряники неписаные, мы не в состоянии следить за полетом таких великих умов, каков ваш… Что вам кажется искренним, нам кажется навязчивым и нескромным… Что для вас просто и ясно, для нас запутанно и темно… Вы хвастаетесь тем, что мы скрываем: где же нам понять вас! Извините меня: ни другом я вас считать не могу, ни руки я вам не подам… Это, может быть, мелко; да ведь я сам мелок.

Рудин взял шляпу с окна.

— Сергей Павлыч! — проговорил он печально, — прощайте; я обманулся в своих ожиданиях. Посещение мое действительно довольно странно; но я надеялся, что вы (Волынцев сделал нетерпеливое движение)… Извините, я больше говорить об этом не стану. Сообразив всё, я вижу, точно: вы правы и иначе поступить не могли. Прощайте и позвольте по крайней мере еще раз, в последний раз, уверить вас в чистоте моих намерений… В вашей скромности я убежден…

— Это уже слишком! — воскликнул Волынцев и затрясся от гнева, — я нисколько не напрашивался на ваше доверие, а потому рассчитывать на мою скромность вы не имеете никакого права!

Рудин хотел что-то сказать, но только руками развел, поклонился и вышел, а Волынцев бросился на диван и повернулся лицом к стене.

— Можно войти к тебе? — послышался у двери голос Александры Павловны.

Волынцев не тотчас отвечал и украдкой провел рукой по лицу.

— Нет, Саша, — проговорил он слегка изменившим ся голосом, — погоди еще немножко.

Полчаса спустя Александра Павловна опять подошла к двери.

— Михайло Михайлыч приехал, — сказала она, — хочешь ты его видеть?

— Хочу, — ответил Волынцев, — пошли его сюда.

Лежнев вошел.

— Что — ты нездоров? — спросил он, усаживаясь на кресла возле дивана.

Волынцев приподнялся, оперся на локоть, долго, долго посмотрел своему приятелю в лицо и тут же передал ему весь свой разговор с Рудиным, от слова до слова. Он никогда до тех пор и не намекал Лежневу о своих чувствах к Наталье, хотя и догадывался, что они для него не были скрыты.

— Ну, брат, удивил ты меня, — проговорил Лежнев, как только Волынцев кончил свой рассказ. — Много странностей ожидал я от него, но уж это… Впрочем, узнаю его и тут.

— Помилуй! — говорил взволнованный Волынцев, — ведь это просто наглость! Ведь я чуть-чуть его за окно не выбросил! Похвастаться, что ли, он хотел передо мной, или струсил? Да с какой стати? Как решиться ехать к человеку…

Волынцев закинул руки за голову и умолк.

— Нет, брат, это не то, — спокойно возразил Лежнев. — Ты вот мне не поверишь, а ведь он это сделал из хорошего побуждения. Право… Оно, вишь ты, и благородно, и откровенно, ну, да и поговорить представляется случай, красноречие в ход пустить; а ведь нам вот чего нужно, вот без чего мы жить не в состоянии… Ох, язык его — враг его… Ну, зато же он и слуга ему.

— С какой торжественностью он вошел и говорил, ты себе представить не можешь!..

— Ну, да без этого уж нельзя. Он сюртук застегивает, словно священный долг исполняет.[*] Я бы посадил его на необитаемый остров и посмотрел бы из-за угла, как бы он там распоряжаться стал. А всё толкует о простоте!

— Да скажи мне, брат, ради бога, — спросил Волынцев, — что это такое, философия, что ли?

— Как тебе сказать? с одной стороны, пожалуй, это, точно, философия — а с другой, уж это совсем не то. На философию всякий вздор сваливать тоже не приходится.

Волынцев взглянул на него.

— А не солгал ли он, как ты думаешь?

— Нет, сын мой, не солгал. А впрочем, знаешь ли что? Довольно рассуждать об этом. Давай-ка, братец, закурим трубки да попросим сюда Александру Павловну… При ней и говорится лучше, и молчится легче. Она нас чаем напоит.

— Пожалуй, — возразил Волынцев. — Саша, войди! — крикнул он.

Александра Павловна вошла. Он схватил ее руку и крепко прижал ее к своим губам.

Рудин вернулся домой в состоянии духа смутном и странном. Он досадовал на себя, упрекал себя в непростительной опрометчивости, в мальчишестве. Недаром сказал кто-то: нет ничего тягостнее сознания только что сделанной глупости.

Раскаяние грызло Рудина.

«Чёрт меня дернул, — шептал он сквозь зубы, — съездить к этому помещику! Вот пришла мысль! Только на дерзости напрашиваться!..»

А в доме Дарьи Михайловны происходило что-то необыкновенное. Сама хозяйка целое утро не показывалась и к обеду не вышла: у ней, по уверению Пандалевского, единственного допущенного до ней лица, голова болела. Наталью Рудин также почти не видал: она сидела в своей комнате с m-lle Boncourt… Встретясь с ним в столовой, она так печально на него посмотрела, что у него сердце дрогнуло. Ее лицо изменилось, словно несчастье обрушилось на нее со вчерашнего дня. Тоска неопределенных предчувствий начала томить Рудина. Чтобы как-нибудь развлечься, он занялся с Басистовым, много с ним разговаривал и нашел в нем горячего, живого малого, с восторженными надеждами и не тронутой еще верой. К вечеру Дарья Михайловна появилась часа на два в гостиной. Она была любезна с Рудиным, но держалась как-то отдаленно и то посмеивалась, то хмурилась, говорила в нос и всё больше намеками… Так от нее придворной дамой и веяло. В последнее время она как будто охладела немного к Рудину. «Что за загадка?» — думал он, глядя сбоку на ее закинутую головку.

Он недолго дожидался разрешения этой загадки. Возвращаясь, часу в двенадцатом ночи, в свою комнату, шел он по темному коридору. Вдруг кто-то сунул ему в руку записку. Он оглянулся: от него удалялась девушка, как ему показалось, Натальина горничная. Он пришел к себе, услал человека, развернул записку и прочел следующие строки, начертанные рукою Натальи:

«Приходите завтра в седьмом часу утра, не позже, к Авдюхину пруду, за дубовым лесом. Всякое другое время невозможно. Это будет наше последнее свидание, и всё будет кончено, если… Приходите. Надо будет решиться…

P. S. Если я не приду, значит, мы не увидимся больше: тогда я вам дам знать…»

Рудин задумался, повертел записку в руках, положил ее под подушку, разделся, лег, но заснул не скоро, спал чутким сном, и не было еще пяти часов, когда он проснулся.

IX

Авдюхин пруд, возле которого Наталья назначила свидание Рудину, давно перестал быть прудом. Лет тридцать тому назад его прорвало, и с тех пор его забросили. Только по ровному и плоскому дну оврага, некогда затянутому жирным илом, да по остаткам плотины можно было догадаться, что здесь был пруд. Тут же существовала усадьба. Она давным-давно исчезла. Две огромные сосны напоминали о ней; ветер вечно шумел и угрюмо гудел в их высокой, тощей зелени… В народе ходили таинственные слухи о страшном преступлении, будто бы совершённом у их корня; поговаривали также, что ни одна из них не упадет, не причинив кому-нибудь смерти; что тут прежде стояла третья сосна, которая в бурю повалилась и задавила девочку. Всё место около старого пруда считалось нечистым; пустое и голое, но глухое и мрачное, даже в солнечный день, оно казалось еще мрачнее и глуше от близости дряхлого дубового леса, давно вымершего и засохшего. Редкие серые остовы громадных деревьев высились какими-то унылыми призраками над низкой порослью кустов. Жутко было смотреть на них: казалось, злые старики сошлись и замышляют что-то недоброе. Узкая, едва проторенная дорожка вилась в стороне. Без особенной нужды никто не проходил мимо Авдюхина пруда. Наталья с намерением выбрала такое уединенное место. До него от дома Дарьи Михайловны было не более полуверсты.

Солнце уже давно встало, когда Рудин пришел к Авдюхину пруду; но не веселое было утро. Сплошные тучи молочного цвета покрывали всё небо; ветер быстро гнал их, свистя и взвизгивая. Рудин начал ходить взад и вперед по плотине, покрытой цепким лопушником и почернелой крапивой. Он не был спокоен. Эти свидания, эти новые ощущения занимали, но и волновали его, особенно после вчерашней записки. Он видел, что развязка приближалась, и втайне смущался духом, хотя никто бы этого не подумал, глядя, с какой сосредоточенной решимостью он скрещивал руки на груди и поводил кругом глазами. Недаром про него сказал однажды Пигасов, что его, как китайского болванчика, постоянно перевешивала голова. Но с одной головой, как бы она сильна ни была, человеку трудно узнать даже то, что в нем самом происходит… Рудин, умный, проницательный Рудин, не в состоянии был сказать наверное, любит

ли он Наталью, страдает ли он, будет ли страдать, расставшись с нею. Зачем же, не прикидываясь даже Ловласом[*], — эту справедливость отдать ему следует, — сбил он с толку бедную девушку? Отчего ожидал ее с тайным трепетом? На это один ответ: никто так легко не увлекается, как бесстрастные люди.

Он ходил по плотине, а Наталья спешила к нему прямо через поле, по мокрой траве.

— Барышня! барышня! вы себе ноги замочите, — говорила ей ее горничная Маша, едва поспевая за ней.

Наталья не слушала ее и бежала без оглядки.

— Ах, как бы не подсмотрели нас! — твердила Маша. — Уж и тому дивиться надо, как мы из дому-то вышли. Как бы мамзель не проснулась… Благо недалеко… А уж оне ждут-с, — прибавила она, увидев внезапно статную фигуру Рудина, картинно стоявшего на плотине, — только напрасно они этак на юру стоят — сошли бы в лощину.

Наталья остановилась.

— Подожди здесь, Маша, у сосен, — промолвила она и спустилась к пруду.

Рудин подошел к ней и остановился в изумлении. Такого выражения он еще не замечал на ее лице. Брови ее были сдвинуты, губы сжаты, глаза глядели прямо и строго.

— Дмитрий Николаич, — начала она, — нам время терять некогда. Я пришла на пять минут. Я должна сказать вам, что матушка всё знает. Г-н Пандалевский подсмотрел нас третьего дня и рассказал ей о нашем свидании. Он всегда был шпионом у матушки. Она вчера позвала меня к себе.

— Боже мой! — воскликнул Рудин, — это ужасно… Что же сказала ваша матушка?

— Она не сердилась на меня, не бранила меня, только попеняла мне за мое легкомыслие.

— Только?

— Да, и объявила мне, что она скорее согласится видеть меня мертвою, чем вашей женою.

— Неужели она это сказала?

— Да; и еще прибавила, что вы сами нисколько не желаете жениться на мне, что вы только так, от скуки, приволокнулись за мной и что она этого от вас не ожидала; что, впрочем, она сама виновата: зачем позволила мне так часто видеться с вами… что она надеется на мое благоразумие, что я ее очень удивила… да уж я и не помню всего,

что она говорила мне.

Наталья произнесла всё это каким-то ровным, почти беззвучным голосом.

— А вы, Наталья Алексеевна, что вы ей ответили? — спросил Рудин.

— Что я ей ответила? — повторила Наталья. — Что *вы* теперь намерены делать?

— Боже мой! Боже мой! — возразил Рудин, — это жестоко! Так скоро!.. такой внезапный удар!.. И ваша матушка пришла в такое негодование?

— Да… да, она слышать о вас не хочет.

— Это ужасно! Стало быть, никакой надежды нет?

— Никакой.

— За что мы так несчастливы! Гнусный этот Пандалевский!.. Вы меня спрашиваете, Наталья Алексеевна, что я намерен делать? У меня голова кругом идет — я ничего сообразить не могу… Я чувствую только свое несчастие… Удивляюсь, как вы можете сохранять хладнокровие!..

— Вы думаете, мне легко? — проговорила Наталья.

Рудин начал ходить по плотине. Наталья не спускала с него глаз.

— Ваша матушка вас не расспрашивала? — промолвил он наконец.

— Она меня спросила, люблю ли я вас.

— Ну… и вы?

Наталья помолчала.

— Я не солгала.

Рудин взял ее за руку.

— Всегда, во всем благородна и великодушна! О, сердце девушки — это чистое золото! Но неужели ваша матушка так решительно объявила свою волю насчет невозможности нашего брака?

— Да, решительно. Я уж вам сказала, она убеждена, что вы сами не думаете жениться на мне.

— Стало быть, она считает меня за обманщика! Чем я заслужил это?

И Рудин схватил себя за голову.

— Дмитрий Николаич! — промолвила Наталья, — мы тратим попусту время. Вспомните, я в последний раз вижусь с вами. Я пришла сюда не плакать, не жаловаться — вы видите, я не плачу, — я пришла за советом.

— Да какой совет могу я дать вам, Наталья Алексеевна?

— Какой совет? Вы мужчина; я привыкла вам верить, я до конца

буду верить вам. Скажите мне, какие ваши намерения?

— Мои намерения? Ваша матушка, вероятно, откажет мне от дому.

— Может быть. Она уже вчера объявила мне, что должна будет раззнакомиться с вами… Но вы не отвечаете на мой вопрос.

— На какой вопрос?

— Как вы думаете, что нам надобно теперь делать?

— Что нам делать? — возразил Рудин, — разумеется, покориться.

— Покориться, — медленно повторила Наталья, и губы ее побледнели.

— Покориться судьбе, — продолжал Рудин. — Что же делать! Я слишком хорошо знаю, как это горько, тяжело, невыносимо; но посудите сами, Наталья Алексеевна, я беден… Правда, я могу работать; но если б я был даже богатый человек, в состоянии ли вы перенести насильственное расторжение с вашим семейством, гнев вашей матери?.. Нет, Наталья Алексеевна, об этом и думать нечего. Видно, нам не суждено было жить вместе, и то счастье, о котором я мечтал, не для меня!

Наталья вдруг закрыла лицо руками и заплакала. Рудин приблизился к ней.

— Наталья Алексеевна! милая Наталья! — заговорил он с жаром, — не плачьте, ради бога, не терзайте меня, утешьтесь…

Наталья подняла голову.

— Вы мне говорите, чтобы я утешилась, — начала она, и глаза ее заблестели сквозь слезы, — я не о том плачу, о чем вы думаете… Мне не то больно: мне больно то, что я в вас обманулась… Как! я прихожу к вам за советом, и в какую минуту, и первое ваше слово: покориться… Покориться! Так вот как вы применяете на деле ваши толкования о свободе, о жертвах, которые…

Ее голос прервался.

— Но, Наталья Алексеевна, — начал смущенный Рудин, — вспомните… я не отказываюсь от слов моих… только…

— Вы спрашивали меня, — продолжала она с новой силой, — что я ответила моей матери, когда она объявила мне, что скорее согласится на мою смерть, чем на брак мой с вами: я ей ответила, что скорее умру, чем выйду за другого замуж… А вы говорите: покориться! Стало быть, она была права: вы точно, от нечего делать, от скуки, пошутили со мной…

— Клянусь вам, Наталья Алексеевна… уверяю вас… — твердил Рудин.

Но она его не слушала.

— Зачем же вы не остановили меня? зачем вы сами… Или вы не рассчитывали на препятствия? Мне стыдно говорить об этом… но ведь всё уже кончено.

— Вам надо успокоиться, Наталья Алексеевна, — начал было Рудин, — нам надо вдвоем подумать, какие меры…

— Вы так часто говорили о самопожертвовании, — перебила она, — но знаете ли, если б вы сказали мне сегодня, сейчас: «Я тебя люблю, но я жениться не могу, я не отвечаю за будущее, дай мне руку и ступай за мной», — знаете ли, что я бы пошла за вами, знаете ли, что я на всё решилась? Но, верно, от слова до дела еще далеко, и вы теперь струсили точно так же, как струсили третьего дня за обедом перед Волынцевым!

Краска бросилась в лицо Рудину. Неожиданная восторженность Натальи его поразила; но последние слова ее уязвили его самолюбие.

— Вы слишком раздражены теперь, Наталья Алексеевна, — начал он, — вы не можете понять, как вы жестоко оскорбляете меня. Я надеюсь, что со временем вы отдадите мне справедливость; вы поймете, чего мне стоило отказаться от счастия, которое, как вы говорите сами, не налагало на меня никаких обязанностей. Ваше спокойствие дороже мне всего в мире, и я был бы человеком самым низким, если б решился воспользоваться…

— Может быть, может быть, — перебила Наталья, — может быть, вы правы; а я не знаю, что говорю. Но я до сих пор вам верила, каждому вашему слову верила… Вперед, пожалуйста, взвешивайте ваши слова, не произносите их на ветер. Когда я вам сказала, что я люблю вас, я знала, что значит это слово: я на всё была готова… Теперь мне остается благодарить вас за урок и проститься.

— Остановитесь, ради бога, Наталья Алексеевна, умоляю вас. Я не заслуживаю вашего презрения, клянусь вам. Войдите же и вы в мое положение. Я отвечаю за вас и за себя. Если б я не любил вас самой преданной любовью — да боже мой! я бы тотчас сам предложил вам бежать со мною… Рано или поздно, матушка ваша простит нас… и тогда… Но прежде чем думать о собственном счастье…

Он остановился. Взор Натальи, прямо на него устремленный, смущал его.

— Вы стараетесь мне доказать, что вы честный человек, Дмитрий Николаич, — промолвила она, — я в этом не сомневаюсь. Вы не в состоянии действовать из расчета; но разве в этом я желала убедиться, разве для этого я пришла сюда…

— Я не ожидал, Наталья Алексеевна…

— А! вот когда вы проговорились! Да, вы не ожидали всего этого — вы меня не знали. Не беспокойтесь… вы не любите меня, а я никому не навязываюсь.

— Я вас люблю! — воскликнул Рудин.

Наталья выпрямилась.

— Может быть; но как вы меня любите? Я помню все ваши слова, Дмитрий Николаич. Помните, вы мне говорили, без полного равенства нет любви… Вы для меня слишком высоки, вы не мне чета… Я поделом наказана. Вам предстоят занятия, более достойные вас. Я не забуду нынешнего дня… Прощайте…

— Наталья Алексеевна, вы уходите? Неужели мы так расстанемся?

Он протянул к ней руки. Она остановилась. Его умоляющий голос, казалось, поколебал ее.

— Нет, — промолвила она наконец, — я чувствую, что-то во мне надломилось… Я шла сюда, я говорила с вами точно в горячке; надо опомниться. Этому не должно быть, вы сами сказали, этого не будет. Боже мой, когда я шла сюда, я мысленно прощалась с моим домом, со всем моим прошедшим, — и что же? кого я встретила здесь? Малодушного человека… И почему вы знали, что я не в состоянии буду перенести разлуку с семейством? «Ваша матушка не согласна… Это ужасно!» Вот всё, что я слышала от вас. Вы ли это, вы ли это, Рудин? Нет! прощайте… Ах! если бы вы меня любили, я бы почувствовала это теперь, в это мгновение… Нет, нет, прощайте!..

Она быстро повернулась и побежала к Маше, которая уже давно начала беспокоиться и делать ей знаки.

— *Вы* трусите, а не я! — крикнул Рудин вслед Наталье.

Она уже не обращала на него внимания и спешила через поле домой. Она благополучно возвратилась к себе в спальню; но только лишь переступила порог, силы ей изменили, и она без чувств упала на руки Маше.

А Рудин долго еще стоял на плотине. Наконец он встрепенулся, медленными шагами добрался до дорожки и тихо пошел по ней. Он был очень пристыжен… и огорчен. «Какова? — думал он. — В восемнадцать лет!.. Нет, я ее не знал… Она замечательная девушка. Какая сила воли!.. Она права; она стоит не такой любви, какую я к ней чувствовал… Чувствовал?.. — спросил он самого себя. — Разве я уже больше не чувствую любви? Так вот как это всё должно было кончиться! Как я был жалок и ничтожен перед ней!»

Легкий стук беговых дрожек заставил Рудина поднять глаза. К нему навстречу, на неизменном своем рысачке, ехал Лежнев. Рудин

молча с ним раскланялся и, как бы пораженный внезапной мыслью, свернул с дороги и быстро пошел по направлению к дому Дарьи Михайловны.

Лежнев дал ему отойти, посмотрел вслед за ним и, подумав немного, тоже поворотил назад свою лошадь — и поехал обратно к Волынцеву, у которого провел ночь. Он застал его спящим, не велел будить его и, в ожидании чая, сел на балкон и закурил трубку.

X

Волынцев встал часу в десятом и, узнав, что Лежнев сидит у него на балконе, очень удивился и велел его попросить к себе.

— Что случилось? — спросил он его. — Ведь ты хотел к себе поехать.

— Да, хотел, да встретил Рудина… Один шагает по полю, и лицо такое расстроенное. Я взял да и вернулся.

— Ты вернулся оттого, что встретил Рудина?

— То есть, правду сказать, я сам не знаю, почему я вернулся; вероятно, потому, что о тебе вспомнил: хотелось с тобой посидеть, а к себе я еще успею.

Волынцев горько усмехнулся.

— Да, о Рудине нельзя теперь подумать, не подумав также и обо мне… Человек! — крикнул он громко, — дай нам чаю.

Приятели начали пить чай. Лежнев заговорил было о хозяйстве, о новом способе крыть амбары бумагой…

Вдруг Волынцев вскочил с кресел и с такой силой ударил по столу, что чашки и блюдечки зазвенели.

— Нет! — воскликнул он, — я этого дольше выносить не в силах! Я вызову этого умника, и пусть он меня застрелит, либо уж я постараюсь влепить пулю в его ученый лоб.

— Что ты, что ты, помилуй! — пробормотал Лежнев, — как можно так кричать! Я чубук уронил… Что с тобой?

— А то, что я слышать равнодушно имени его не могу: вся кровь у меня так и заходит.

— Полно, брат, полно! Как тебе не стыдно! — возразил Лежнев, поднимая с полу трубку. — Брось! — Ну его!..

— Он меня оскорбил, — продолжал Волынцев, расхаживая но комнате… — Да! он оскорбил меня. Ты сам должен с этим согласиться. На первых порах я не нашелся: он озадачил меня; да и кто мог ожидать этого? Но я ему докажу, что шутить со мной нельзя… Я

его, проклятого философа, как куропатку застрелю.

— Много ты этим выиграешь, как же! Я уж о сестре твоей не говорю. Известно, ты обуреваем страстью… где тебе о сестре думать! Да в отношении к другой особе, что, ты думаешь, убивши философа, ты дела свои поправишь?

Волынцев бросился в кресла.

— Так уеду я куда-нибудь! А то здесь тоска мне просто сердце отдавила; просто места нигде найти не могу.

— Уедешь… вот это другое дело! Вот с этим я согласен. И знаешь ли, что́ я тебе предлагаю? Поедем-ка вместе — на Кавказ или так просто в Малороссию, галушки есть. Славное, брат, дело!

— Да; а сестру-то с кем оставим?

— А почему же Александре Павловне не поехать с нами? Ей-богу, отлично выйдет. Ухаживать за ней, уж за это я берусь! Ни в чем недостатка иметь не будет; коли захочет, каждый вечер серенаду под окном устрою; ямщиков одеколоном надушу, цветы по дорогам натыкаю. А уж мы, брат, с тобой просто переродимся; так наслаждаться будем, брюханами такими назад приедем, что никакая любовь нас уже не проймет!

— Ты всё шутишь, Миша!

— Вовсе не шучу. Это тебе блестящая мысль в голову пришла.

— Нет! вздор! — вскрикнул опять Волынцев, — я драться, драться с ним хочу!..

— Опять! Экой ты, брат, сегодня с колером!..

Человек вошел с письмом в руке.

— От кого? — спросил Лежнев.

— От Рудина, Дмитрия Николаевича. Ласунских человек привез.

— От Рудина? — повторил Волынцев, — к кому?

— К вам-с.

— Ко мне… подай.

Волынцев схватил письмо, быстро распечатал его, стал читать. Лежнев внимательно глядел на него: странное, почти радостное изумление изобразилось на лице Волынцева; он опустил руки.

— Что такое? — спросил Лежнев.

— Прочти, — проговорил Волынцев вполголоса и протянул ему письмо.

Лежнев начал читать. Вот что писал Рудин:

«Милостивый государь, Сергей Павлович!

Я сегодня уезжаю из дома Дарьи Михайловны, и уезжаю навсегда. Это вас, вероятно, удивит, особенно после того, что произошло вчера.

Я не могу объяснить вам, что именно заставляет меня поступить так; но мне почему-то кажется, что я должен известить вас о моем отъезде. Вы меня не любите и даже считаете меня за дурного человека. Я не намерен оправдываться: меня оправдает время. По-моему, и недостойно мужчины и бесполезно доказывать предубежденному человеку не справедливость его предубеждений. Кто захочет меня понять, тот извинит меня, а кто понять не хочет или не может — обвинения того меня не трогают. Я ошибся в вас. В глазах моих вы по-прежнему остаетесь благородным и честным человеком; но я полагал, вы сумеете стать выше той среды, в которой развились… Я ошибся. Что делать?! Не в первый и не в последний раз. Повторяю вам: я уезжаю. Желаю вам счастия. Согласитесь, что это желание совершенно бескорыстно, и надеюсь, что вы теперь будете счастливы. Может быть, вы со временем измените свое мнение обо мне. Увидимся ли мы когда-нибудь, не знаю, но, во всяком случае, остаюсь искренно вас уважающий

Д. Р.».

«P. S. Должные мною вам двести рублей я вышлю, как только приеду к себе в деревню, в Т…ую губернию. Также прошу вас не говорить при Дарье Михайловне об этом письме».

«P. P. S. Еще одна последняя, но важная просьба: так как я теперь уезжаю, то, я надеюсь, вы не будете упоминать перед Натальей Алексеевной о моем посещении у вас…»

— Ну, что ты скажешь? — спросил Волынцев, как только Лежнев окончил письмо.

— Что тут сказать! — возразил Лежнев, — воскликнуть по-восточному: «Аллах! Аллах!» — и положить в рот палец изумления — вот всё, что можно сделать. Он уезжает… Ну! дорога скатертью. Но вот что любопытно: ведь и это письмо он почел *за долг* написать, и являлся он к тебе по чувству долга… У этих господ на каждом шагу долг, и всё долг — да долги, — прибавил Лежнев, с усмешкой указывая на post-scriptum.

— А каковы он фразы отпускает! — воскликнул Волынцев. — Он ошибся во мне: он ожидал, что я стану выше какой-то среды… Что за ахинея, господи! Хуже стихов!

Лежнев ничего не ответил; одни глаза его улыбнулись.

Волынцев встал.

— Я хочу съездить к Дарье Михайловне, — промолвил он, — я хочу узнать, что всё это значит…

— Погоди, брат: дай ему убраться. К чему тебе опять с ним

сталкиваться? Ведь он исчезает — чего тебе еще? Лучше поди-ка ляг да усни; ведь ты, чай, всю ночь с боку на бок проворочался. А теперь дела твои поправляются.

— Из чего ты это заключаешь?

— Да так мне кажется. Право, усни, а я пойду к твоей сестре — посижу с ней.

— Я вовсе спать не хочу. С какой стати мне спать!.. Я лучше поеду поля осмотрю, — сказал Волынцев, одергивая полы пальто.

— И то добре. Поезжай, брат, поезжай, осмотри поля…

И Лежнев отправился на половину Александры Павловны.

Он застал ее в гостиной. Она ласково его приветствовала. Она всегда радовалась его приходу; но лицо ее осталось печально. Ее беспокоило вчерашнее посещение Рудина.

— Вы от брата? — спросила она Лежнева, — каков он сегодня?

— Ничего, поехал поля осматривать.

Александра Павловна помолчала.

— Скажите, пожалуйста, — начала она, внимательно рассматривая кайму носового платка, — вы не знаете, зачем…

— Приезжал Рудин? — подхватил Лежнев. — Знаю: он приезжал проститься.

Александра Павловна подняла голову.

— Как — проститься?

— Да. Разве вы не слыхали? Он уезжает от Дарьи Михайловны.

— Уезжает?

— Навсегда; по крайней мере он так говорит.

— Да помилуйте, как же это понять, после всего того…

— А это другое дело! Понять этого нельзя, но оно так. Должно быть, что-нибудь там у них произошло. Струну слишком натянул — она и лопнула.

— Михайло Михайлыч! — начала Александра Павловна, — я ничего не понимаю; вы, мне кажется, смеетесь надо мной…

— Да ей-богу же нет… Говорят вам, он уезжает и даже письменно извещает об этом своих знакомых. Оно, если хотите, с некоторой точки зрения, недурно; но отъезд его помешал осуществиться одному удивительнейшему предприятию, о котором мы начали было толковать с вашим братом.

— Что такое? какое предприятие?

— А вот какое. Я предлагал вашему брату поехать для развлечения путешествовать и взять вас с собой. Ухаживать, собственно, за вами брался я…

— Вот прекрасно! — воскликнула Александра Павловна, — воображаю себе, как бы вы за мною ухаживали. Да вы бы меня с голоду уморили.

— Вы это потому так говорите, Александра Павловна, что не знаете меня. Вы думаете, что я чурбан, чурбан совершенный, деревяшка какая-то; а известно ли вам, что я способен таять, как сахар, дни простаивать на коленях?

— Вот это бы я, признаюсь, посмотрела!

Лежнев вдруг поднялся.

— Да выдьте за меня замуж, Александра Павловна, вы всё это и увидите.

Александра Павловна покраснела до ушей.

— Что вы это такое сказали, Михайло Михайлыч? — повторила она с смущением.

— А то я сказал, — ответил Лежнев, — что́ уже давным-давно и тысячу раз у меня на языке было. Я проговорился наконец, и вы можете поступить, как знаете. А чтобы не стеснять вас, я теперь выйду. Если вы хотите быть моей женою… Удаляюсь. Если вам не противно, вы только велите меня позвать: я уже пойму…

Александра Павловна хотела было удержать Лежнева, но он проворно ушел, без шапки отправился в сад, оперся на калитку и начал глядеть куда-то.

— Михайло Михайлыч! — раздался за ним голос горничной, — пожалуйте к барыне. Оне вас велели позвать.

Михайло Михайлыч обернутся, взял горничную, к великому ее изумлению, обеими руками за голову, поцеловал ее в лоб и пошел к Александре Павловне.

XI

Вернувшись домой, тотчас после встречи с Лежневым, Рудин заперся в своей комнате и написал два письма: одно — к Волынцеву (оно уже известно читателям) и другое — к Наталье. Он очень долго сидел над этим вторым письмом, многое в нем перемарывал и переделывал и, тщательно списав его на тонком листе почтовой бумаги, сложил его как можно мельче и положил в карман. С грустью на лице прошелся он несколько раз взад и вперед по комнате, сел на кресло перед окном, подперся рукою; слеза тихо выступила на его ресницы… Он встал, застегнулся на все пуговицы, позвал человека и велел спросить у Дарьи Михайловны, может ли он ее видеть.

Человек скоро вернулся и доложил, что Дарья Михайловна приказала его просить. Рудин пошел к ней.

Она приняла его в кабинете, как в первый раз, два месяца тому назад. Но теперь она не была одна: у ней сидел Пандалевский, скромный, свежий, чистый и умиленный, как всегда.

Дарья Михайловна любезно встретила Рудина, и Рудин любезно ей поклонился, но при первом взгляде на улыбавшиеся лица обоих всякий хотя несколько опытный человек понял бы, что между ними если и не высказалось, то произошло что-то неладное. Рудин знал, что Дарья Михайловна на него сердится. Дарья Михайловна подозревала, что ему уже всё известно.

Донесение Пандалевского очень ее расстроило. Светская спесь в ней зашевелилась. Рудин, бедный, нечиновный и пока неизвестный человек, дерзал назначить свидание ее дочери — дочери Дарьи Михайловны Ласунской!!

— Положим, он умен, он гений! — говорила она, — да что же это доказывает? После этого всякий может надеяться быть моим зятем?

— Я долго глазам своим не верил, — подхватил Пандалевский. — Как это не знать своего места, удивляюсь!

Дарья Михайловна очень волновалась, и Наталье досталось от нее.

Она попросила Рудина сесть. Он сел, но уже не как прежний Рудин, почти хозяин в доме, даже не как хороший знакомый, а как гость, и не как близкий гость. Всё это сделалось в одно мгновение… Так вода внезапно превращается в твердый лед.

— Я пришел к вам, Дарья Михайловна, — начал Рудин, —

поблагодарить вас за ваше гостеприимство. Я получил сегодня известие из моей деревеньки и должен непременно сегодня же ехать туда.

Дарья Михайловна пристально посмотрела на Рудина.

«Он предупредил меня, должно быть, догадывается, — подумала она. — Он избавляет меня от тягостного объяснения, тем лучше. Да здравствуют умные люди!»

— Неужели? — промолвила она громко. — Ах, как это неприятно! Ну, что делать! Надеюсь увидеть вас нынешней зимой в Москве. Мы сами скоро отсюда едем.

— Я не знаю, Дарья Михайловна, удастся ли мне быть в Москве; но если соберусь со средствами, за долг почту явиться к вам.

«Ага, брат! — подумал в свою очередь Пандалевский, — давно ли ты здесь распоряжался барином, а теперь вот как пришлось выражаться!»

— Вы, стало быть, неудовлетворительные известия из вашей деревни получили? — произнес он с обычной расстановкой.

— Да, — сухо возразил Рудин.

— Неурожай, может быть?

— Нет… другое… Поверьте, Дарья Михайловна, — прибавил Рудин, — я никогда не забуду времени, проведенного мною в вашем доме.

— И я, Дмитрий Николаич, всегда с удовольствием буду вспоминать наше знакомство с вами… Когда вы едете?

— Сегодня, после обеда.

— Так скоро!.. Ну, желаю вам счастливого пути. Впрочем, если ваши дела не задержат вас, может быть, вы еще нас застанете здесь.

— Я едва ли успею, — возразил Рудин и встал. — Извините меня, — прибавил он, — я не могу тотчас выплатить мой долг вам; но как только приеду в деревню…

— Полноте, Дмитрий Николаич! — перебила его Дарья Михайловна, — как вам не стыдно!.. Но который-то час? — спросила она.

Пандалевский достал из кармана жилета золотые часики с эмалью и посмотрел на них, осторожно налегая розовой щекой на твердый и белый воротничок.

— Два часа и тридцать три минуты, — промолвил он.

— Пора одеваться, — заметила Дарья Михайловна. — До свиданья, Дмитрий Николаич!

Рудин встал. Весь разговор между ним и Дарьей Михайловной

носил особый отпечаток. Актеры так репетируют свои роли, дипломаты так на конференциях меняются заранее условленными фразами…

Рудин вышел. Он теперь знал по опыту, как светские люди даже не бросают, а просто роняют человека, ставшего им ненужным: как перчатку после бала, как бумажку с конфетки, как не выигравший билет лотереи-томболы*.

Он наскоро уложился и с нетерпением начал ожидать мгновения отъезда. Все в доме очень удивились, узнав об его намерении; даже люди глядели на него с недоумением. Басистов не скрывал своей горести. Наталья явно избегала Рудина. Она старалась не встречаться с ним взорами; однако он успел всунуть ей в руку свое письмо. За обедом Дарья Михайловна еще раз повторила, что надеется увидеть его перед отъездом в Москву, но Рудин ничего не отвечал ей. Пандалевский чаще всех с ним заговаривал. Рудина не раз подмывало броситься на него и поколотить его цветущее и румяное лицо. M-lle Boncourt частенько посматривала на Рудина с лукавым и странным выражением в глазах: у старых, очень умных легавых собак можно иногда заметить такое выражение… «Эге! — казалось, говорила она про себя, — вот как тебя!»

Наконец пробило шесть часов, и подали тарантас Рудина. Он стал торопливо прощаться со всеми. На душе у него было очень скверно. Не ожидал он, что так выедет из этого дома: его как будто выгоняли… «Как это всё сделалось! и к чему было спешить? А впрочем, один конец», — вот что думал он, раскланиваясь на все стороны с принужденной улыбкой. В последний раз взглянул он на Наталью, и сердце его шевельнулось: глаза ее были устремлены на него с печальным, прощальным упреком.

Он проворно сбежал с лестницы, вскочил в тарантас. Басистов вызвался проводить его до первой станции и сел вместе с ним.

— Помните ли вы, — начал Рудин, как только тарантас выехал со двора на широкую дорогу, обсаженную елками, — помните вы, что говорит Дон-Кихот своему оруженосцу, когда выезжает из дворца герцогини? «Свобода, — говорит он, — друг мой Санчо*, одно из самых драгоценных достояний человека, и счастлив тот, кому небо даровало кусок хлеба, кому не нужно быть за него обязанным другому!» Что Дон-Кихот чувствовал тогда, я чувствую теперь… Дай бог и вам, добрый мой Басистов, испытать когда-нибудь это чувство!

Басистов стиснул руку Рудина, и сердце честного юноши забилось сильно в его растроганной груди. До самой станции говорил Рудин о

достоинстве человека, о значении истинной свободы, — говорил горячо, благородно и правдиво, — и когда наступило мгновение разлуки, Басистов не выдержал, бросился ему на шею и зарыдал. У самого Рудина полились слезы; но он плакал не о том, что расставался с Басистовым, и слезы его были самолюбивые слезы.

Наталья ушла к себе и прочла письмо Рудина.

«Любезная Наталья Алексеевна, — писал он ей, — я решился уехать. Мне другого выхода нет. Я решился уехать, пока мне не сказали ясно, чтобы я удалился. Отъездом моим прекращаются все недоразумения; а сожалеть обо мне едва ли кто-нибудь будет. Чего же ждать?.. Всё так; но для чего же писать к вам?

Я расстаюсь с вами, вероятно, навсегда, и оставить вам о себе память еще хуже той, которую я заслуживаю, было бы слишком горько. Вот для чего я пишу к вам. Я не хочу ни оправдываться, ни обвинять кого бы то ни было, кроме самого себя: я хочу, по мере возможности, объясниться… Происшествия последних дней были так неожиданны, так внезапны…

Сегодняшнее свидание послужит мне памятным уроком. Да, вы правы: я вас не знал, а я думал, что знал вас! В течение моей жизни я имел дело с людьми всякого рода, я сближался со многими женщинами и девушками; но, встретясь с вами, я в первый раз встретился с душой *совершенно* честной и прямой. Мне это было не в привычку, и я не сумел оценить вас. Я почувствовал влечение к вам с первого дня нашего знакомства — вы это могли заметить. Я проводил с вами часы за часами, и я не узнал вас; я едва ли даже старался узнать вас… и я мог вообразить, что полюбил вас!! За этот грех я теперь наказан.

Я и прежде любил одну женщину, и она меня любила… Чувство мое к ней было сложно, как и ее ко мне; но так как она сама не была проста, оно и пришлось кстати. Истина мне тогда не сказалась: я не узнал ее и теперь, когда она предстала передо мною… Я ее узнал, наконец, да слишком поздно… Прошедшего не воротишь… Наши жизни могли бы слиться — и не сольются никогда. Как доказать вам, что я мог бы полюбить вас настоящей любовью — любовью сердца, не воображения, — когда я сам не знаю, способен ли я на такую любовь!

Мне природа дала много — я это знаю и из ложного стыда не стану скромничать перед вами, особенно теперь, в такие горькие, в такие постыдные для меня мгновения… Да, природа мне много дала; но я умру, не сделав ничего достойного сил моих, не оставив за собою никакого благотворного следа. Всё мое богатство пропадет даром: я не

увижу плодов от семян своих. Мне недостает… я сам не могу сказать, чего именно недостает мне… Мне недостает, вероятно, того, без чего так же нельзя двигать сердцами людей, как и овладеть женским сердцем; а господство над одними умами и непрочно и бесполезно. Странная, почти комическая моя судьба: я отдаюсь весь, с жадностью, вполне — и не могу отдаться. Я кончу тем, что пожертвую собой за какой-нибудь вздор, в который даже верить не буду… Боже мой! В тридцать пять лет всё еще собираться что-нибудь сделать!..

Я еще ни перед кем так не высказывался — это моя исповедь.

Но довольно обо мне. Мне хочется говорить о вас, дать вам несколько советов: больше я ни на что не годен… Вы еще молоды; но, сколько бы вы ни жили, следуйте всегда внушениям вашего сердца, не подчиняйтесь ни своему, ни чужому уму. Поверьте, чем проще, чем теснее круг, по которому пробегает жизнь, тем лучше; не в том дело, чтобы отыскивать в ней новые стороны, но в том, чтобы все переходы ее совершались своевременно. «Блажен, кто смолоду был молод…»[*] Но я замечаю, что эти советы относятся гораздо более ко мне, чем к вам.

Признаюсь вам, Наталья Алексеевна, мне очень тяжело. Я никогда не обманывал себя в свойстве того чувства, которое я внушал Дарье Михайловне; но я надеялся, что нашел хотя временную пристань… Теперь опять придется мыкаться по свету. Что мне заменит ваш разговор, ваше присутствие, ваш внимательный и умный взгляд?.. Я сам виноват; но согласитесь, что судьба как бы нарочно подсмеялась над нами. Неделю тому назад я сам едва догадывался, что люблю вас. Третьего дня, вечером, в саду, я в первый раз услыхал от вас… но к чему напоминать вам то, что вы тогда сказали — и вот уже я уезжаю сегодня, уезжаю с позором, после жестокого объяснения с вами, не унося с собой никакой надежды… И вы еще не знаете, до какой степени я виноват перед вами… Во мне есть какая-то глупая откровенность, какая-то болтливость… Но к чему говорить об этом! Я уезжаю навсегда.

(Здесь Рудин рассказал было Наталье свое посещение у Волынцева, но подумал и вымарал всё это место, а в письме к Волынцеву прибавил второй post-scriptum.)

Я остаюсь одинок на земле для того, чтобы предаться, как вы сказали мне сегодня поутру с жестокой усмешкой, другим, более свойственным мне занятиям. Увы! если б я мог действительно предаться этим занятиям, победить наконец свою лень… Но нет! я останусь тем же неоконченным существом, каким был до сих пор…

Первое препятствие — и я весь рассыпался; происшествие с вами мне это доказало. Если б я по крайней мере принес мою любовь в жертву моему будущему делу, моему призванию; но я просто испугался ответственности, которая на меня падала, и потому я, точно, недостоин вас. Я не стою того, чтобы вы для меня отторглись от вашей сферы… А впрочем, всё это, может быть, к лучшему. Из этого испытания я, может быть, выйду чище и сильней.

Желаю вам полного счастия. Прощайте! Иногда вспоминайте обо мне. Надеюсь, что вы еще услышите обо мне.

Рудин».

Наталья опустила письмо Рудина к себе на колени и долго сидела неподвижно, устремив глаза на пол. Письмо это, яснее всех возможных доводов, доказало ей, как она была права, когда поутру, расставаясь с Рудиным, она невольно воскликнула, что он ее не любит! Но от этого ей не было легче. Она сидела не шевелясь; ей казалось, что какие-то темные волны без плеска сомкнулись над ее головой, и она шла ко дну, застывая и немея.[*] Всякому тяжело первое разочарование; но для души искренней, не желавшей обманывать себя, чуждой легкомыслия и преувеличения, оно почти нестерпимо. Вспомнила Наталья свое детство, когда, бывало, гуляя вечером, она всегда старалась идти по направлению к светлому краю неба, там, где заря горела, а не к темному. Темна стояла теперь жизнь перед нею, и спиной она обратилась к свету…

Слезы навернулись на глазах Натальи. Не всегда благотворны бывают слезы. Отрадны и целебны они, когда, долго накипев в груди, потекут они наконец — сперва с усилием, потом всё легче, всё слаще; немое томление тоски разрешается ими… Но есть слезы холодные, скупо льющиеся слезы: их по капле выдавливает из сердца тяжелым и недвижным бременем налегшее на него горе; они безотрадны и не приносят облегчения. Нужда плачет такими слезами, и тот еще не был несчастлив, кто не проливал их. Наталья узнала их в этот день.

Прошло часа два. Наталья собралась с духом, встала, отерла глаза, засветила свечку, сожгла на ее пламени письмо Рудина до конца и пепел выкинула за окно. Потом она раскрыла наудачу Пушкина и прочла первые попавшиеся ей строки (она часто загадывала так по нем). Вот что ей вышло:

Кто чувствовал, того тревожит[*]
Призра́к невозвратимых дней…
Тому уж нет очарований,
Того змея воспоминаний,

Того раскаянье грызет…

Она постояла, посмотрела с холодной улыбкой на себя в зеркало и, сделав небольшое движение головою сверху вниз, сошла в гостиную.

Дарья Михайловна, как только ее увидела, повела ее в кабинет, посадила подле себя, ласково потрепала по щеке, а между тем внимательно, почти с любопытством, заглядывала ей в глаза. Дарья Михайловна чувствовала тайное недоумение: в первый раз ей пришло в голову, что она дочь свою, в сущности, не знает. Услышав от Пандалевского об ее свидании с Рудиным, она не столько рассердилась, сколько удивилась тому, как могла благоразумная Наталья решиться на такой поступок. Но когда она ее призвала к себе и принялась бранить ее — вовсе не так, как бы следовало ожидать от европейской женщины, а довольно крикливо и неизящно, — твердые ответы Натальи, решимость ее взоров и движений смутили, даже испугали Дарью Михайловну.

Внезапный, тоже не совсем понятный отъезд Рудина снял большую тяжесть с ее сердца; но она ожидала слез, истерических припадков… Наружное спокойствие Натальи опять ее сбило с толку.

— Ну, что, дитя, — начала Дарья Михайловна, — как ты сегодня?

Наталья посмотрела на мать свою.

— Ведь он уехал… твой предмет. Ты не знаешь, отчего он так скоро собрался?

— Маменька! — заговорила Наталья тихим голосом, — даю вам слово, что, если вы сами не будете упоминать о нем, от меня вы никогда ничего не услышите.

— Стало быть, ты сознаешься, что была виновата передо мною?

Наталья опустила голову и повторила:

— Вы от меня никогда ничего не услышите.

— Ну, смотри же! — возразила с улыбкой Дарья Михайловна. — Я тебе верю. А третьего дня, помнишь ли ты, как… Ну, не буду. Кончено, решено и похоронено. Не правда ли? Вот я опять тебя узна́ю; а то я совсем было втупик пришла. Ну, поцелуй же меня, моя умница!..

Наталья поднесла руку Дарьи Михайловны к своим губам, а Дарья Михайловна поцеловала ее в наклоненную голову.

— Слушайся всегда моих советов, не забывай, что ты Ласунская и моя дочь, — прибавила она, — и ты будешь счастлива. А теперь ступай.

Наталья вышла молча. Дарья Михайловна поглядела ей вслед и подумала: «Она в меня — тоже будет увлекаться: mais elle aura moins d’abandon»[61]. И Дарья Михайловна погрузилась в воспоминания о

прошедшем… о давно прошедшем…

Потом она велела кликнуть m-lle Boncourt и долго сидела с ней, запершись вдвоем. Отпустив ее, она позвала Пандалевского. Ей непременно хотелось узнать настоящую причину отъезда Рудина… но Пандалевский ее успокоил совершенно. Это было по его части.

На другой день Волынцев с сестрою приехал к обеду. Дарья Михайловна была всегда очень любезна с ним, а на этот раз она особенно ласково с ним обращалась. Наталье было невыносимо тяжело: но Волынцев так был почтителен, так робко с ней заговаривал, что она в душе не могла не поблагодарить его.

День прошел тихо, довольно скучно, но все, разъезжаясь, почувствовали, что попали в прежнюю колею; а это много значит, очень много.

Да, все попали в прежнюю колею… все, кроме Натальи. Оставшись наконец одна, она с трудом дотащилась до своей кровати и, усталая, разбитая, упала лицом на подушки. Ей так горько, и противно, и пошло казалось жить, так стыдно ей стало самой себя, своей любви, своей печали, что в это мгновение она бы, вероятно, согласилась умереть… Много еще предстояло ей тяжелых дней, ночей бессонных, томительных волнений; но она была молода — жизнь только что начиналась для нее, а жизнь рано или поздно свое возьмет. Какой бы удар ни поразил человека, он в тот же день, много на другой — извините за грубость выражения — поест, и вот вам уже первое утешение…

Наталья страдала мучительно, она страдала вол-впервые… Но первые страдания, как первая любовь, не повторяются — и слава богу!

XII

Минуло около двух лет. Настали первые дни мая. На балконе своего дома сидела Александра Павловна, но уже не Липина, а Лежнева; она более года как вышла замуж за Михаила Михайлыча. Она по-прежнему была мила, только пополнела в последнее время. Перед балконом, от которого в сад вели ступени, расхаживала кормилица с краснощеким ребенком на руках, в белой шинельке и с белым помпоном на шляпке. Александра Павловна то и дело взглядывала на него. Ребенок не пищал, с важностью сосал свой палец и спокойно посматривал кругом. Достойный сын Михаила Михайлыча уже сказывался в нем.

Возле Александры Павловны сидел на балконе старый наш знакомый, Пигасов. Он заметно поседел с тех пор, как мы расстались с ним, сгорбился, похудел и шипел, когда говорил: один передний зуб у него вывалился; шипение придавало еще более ядовитости его речам… Озлобление не уменьшалось в нем с годами, но остроты его притуплялись, и он чаще прежнего повторялся. Михаила Михайлыча не было дома; его ждали к чаю. Солнце уже село. Там, где оно закатилось, полоса бледно-золотого, лимонного цвета тянулась вдоль небосклона; на противоположной стороне их было две: одна, пониже, голубая, другая, выше, красно-лиловая. Легкие тучки таяли в вышине. Всё обещало постоянную погоду.

Вдруг Пигасов засмеялся.

— Чему вы, Африкан Семеныч? — спросила Александра Павловна.

— Да так… Вчера, слышу я, один мужик говорит жене — а она, этак, разболталась: Не скрыпи!.. Очень это мне понравилось. Не скрыпи! Да и в самом деле, о чем может рассуждать женщина? Я, вы знаете, никогда не говорю о присутствующих. Наши старики умнее нас были. У них в сказках крававица сидит под окном, во лбу звезда, а сама ни гугу. Вот это как следует. А то, посудите сами: третьего дня наша предводительша как из пистолета мне в лоб выстрелила; говорит мне, что ей не нравится моя *тенденция*! Тенденция! Ну, не лучше ли было и для нее и для всех, если б каким-нибудь благодетельным распоряжением природы она лишилась вдруг употребления языка?

— А вы всё такой же, Африкан Семеныч: всё нападаете на нас, бедных… Знаете ли, ведь это в своем роде несчастье, право. Я о вас

сожалею.

— Несчастье? Что вы это изволите говорить! Во-первых, по-моему, на свете только три несчастья и есть: жить зимой в холодной квартире, летом носить узкие сапоги да ночевать в комнате, где пищит ребенок, которого нельзя посыпать персидским порошком; а во-вторых, помилуйте, я самый смирный стал теперь человек. Хоть прописи с меня пиши! Вот как я нравственно веду себя.

— Хорошо вы ведете себя, нечего сказать! Не дальше как вчера Елена Антоновна мне на вас жаловалась.

— Вот как-с! А что она вам такое говорила, позвольте узнать?

— Она говорила мне, что вы в течение целого утра на все ее вопросы только и отвечали, что «чего-с? чего-с?» да еще таким пискливым голосом.

Пигасов засмеялся.

— А ведь хорошая эта была мысль, согласитесь, Александра Павловна… а?

— Удивительная! Разве можно быть этак с женщиной невежливым, Африкан Семеныч?

— Как? Елена Антоновна, по-вашему, женщина?

— Что же она, по-вашему?

— Барабан, помилуйте, обыкновенный барабан, вот по которому бьют палками…

— Ах, да! — перебила Александра Павловна, желая переменить разговор, — вас, говорят, поздравить можно?

— С чем?

— С окончанием тяжбы. Глиновские луга остались за вами…

— Да, за мною, — мрачно возразил Пигасов.

— Вы столько лет этого добивались, а теперь словно недовольны.

— Доложу вам, Александра Павловна, — медленно промолвил Пигасов, — ничего не может быть хуже и обиднее слишком поздно пришедшего счастья. Удовольствия оно все-таки вам доставить не может, а зато лишает вас права, драгоценнейшего права — браниться и проклинать судьбу. Да, сударыня, горькая и обидная штука — позднее счастие.

Александра Павловна только плечами пожала.

— Нянюшка, — начала она, — я думаю, Мише пора спать лечь. Подай его сюда.

И Александра Павловна занялась своим сыном, а Пигасов отошел, ворча, на другой угол балкона.

Вдруг невдалеке, по дороге, идущей вдоль сада, показался

Михайло Михайлыч на своих беговых дрожках. Перед лошадью его бежали две огромные дворные собаки: одна желтая, другая серая; он недавно завел их. Они беспрестанно грызлись и жили в неразлучной дружбе. Им навстречу вышла из ворот старая шавка, раскрыла рот, как бы собираясь залаять, а кончила тем, что зевнула и отправилась назад, дружелюбно повиливая хвостом.

— Глядь-ка, Саша, — закричал Лежнев издали своей жене, — кого я к тебе везу…

Александра Павловна не сразу узнала человека, сидевшего за спиной ее мужа.

— А! г. Басистов! — воскликнула она наконец.

— Он, он, — отвечал Лежнев, — и какие славные вести привез. Вот погоди, сейчас узнаешь.

И он въехал на двор.

Несколько мгновений спустя он с Басистовым явился на балконе.

— Ура! — воскликнул он и обнял жену. — Сережа женится!

— На ком? — с волнением спросила Александра Павловна.

— Разумеется, на Наталье… Вот приятель привез это известие из Москвы, и письмо к тебе есть… Слышишь, Мишук? — прибавил он, схватив сына на руки, — дядя твой женится!.. Экая флегма злодейская! и тут только глазами хлопает!

— Оне спать хотят, — заметила няня.

— Да-с, — промолвил Басистов, подойдя к Александре Павловне, — я сегодня приехал из Москвы, по поручению Дарьи Михайловны — счеты по имению ревизовать. А вот и письмо.

Александра Павловна поспешно распечатала письмо своего брата. Оно состояло в нескольких строках. В первом порыве радости он уведомлял сестру, что сделал предложение Наталье, получил ее согласие и Дарьи Михайловны, обещался больше написать с первой почтой и заочно всех обнимал и целовал. Видно было, что он писал в каком-то чаду.

Подали чай, усадили Басистова. Расспросы посыпались на него градом. Всех, даже Пигасова, обрадовало известие, привезенное им.

— Скажите, пожалуйста, — сказал между прочим Лежнев, — до нас доходили слухи о каком-то господине Корчагине. Стало быть, это был вздор?

(Корчагин был красивый молодой человек — светский лев, чрезвычайно надутый и важный: он держался необыкновенно величественно, точно он был не живой человек, а собственная, своя статуя, воздвигнутая по общественной подписке.)

— Ну, нет, не совсем вздор, — с улыбкою возразил Басистов. — Дарья Михайловна очень к нему благоволила; но Наталья Алексеевна и слышать о нем не хотела.

— Да ведь я его знаю, — подхватил Пигасов, — ведь он махровый болван, с треском болван… помилуйте! Ведь если б все люди были на него похожи, надо бы большие деньги брать, чтобы согласиться жить… помилуйте!

— Может быть, — возразил Басистов, — а в свете он играет роль не из последних.

— Ну, всё равно! — воскликнула Александра Павловна, — бог с ним! Ах, как я рада за брата!.. И Наталья весела, счастлива?

— Да-с. Она спокойна, как всегда — вы ведь ее знаете, — но, кажется, довольна.

Вечер прошел в приятных и оживленных разговорах. Сели за ужин.

— Да, кстати, — спросил Лежнев у Басистова, наливая ему лафиту, — вы знаете, где Рудин?

— Теперь наверное не знаю. Он приезжал прошлой зимой в Москву на короткое время, потом отправился с одним семейством в Симбирск; мы с ним некоторое время переписывались: в последнем письме своем он извещал меня, что уезжает из Симбирска — не сказал куда, — и вот с тех пор я ничего о нем не слышу.

— Не пропадет! — подхватил Пигасов, — где-нибудь сидит да проповедует. Этот господин всегда найдет себе двух или трех поклонников, которые будут его слушать разиня рот и давать ему взаймы деньги. Посмóтрите, он кончит тем, что умрет где-нибудь в Царевококшайске или в Чухломе — на руках престарелой девы в парике, которая будет думать о нем, как о гениальнейшем человеке в мире…

— Вы очень резко о нем отзываетесь, — заметил вполголоса и с неудовольствием Басистов.

— Ничуть не резко! — возразил Пигасов, — а совершенно справедливо. По моему мнению, он просто не что иное, как лизоблюд. Я забыл вам сказать, — продолжал он, обращаясь к Лежневу, — ведь я познакомился с этим Терлаховым, с которым Рудин за границу ездил. Как же! как же! Что он мне рассказывал о нем, вы себе представить не можете — умора просто! Замечательно, что все друзья и последователи Рудина со временем становятся его врагами.

— Прошу меня исключить из числа таких друзей! — с жаром перебил Басистов.

— Ну, вы — другое дело! О вас и речи нет.

— А что такое вам рассказывал Терлахов? — спросила Александра Павловна.

— Да многое рассказывал: всего не упомнишь. Но самый лучший вот какой случился с Рудиным анекдот. Беспрерывно развиваясь (эти господа всё развиваются: другие, например, просто спят или едят — а они находятся в моменте развития спанья или еды; не так ли, г. Басистов? — Басистов ничего не ответил)… Итак, развиваясь постоянно, Рудин дошел путем философии до того умозаключения, что ему должно влюбиться. Начал он отыскивать предмет, достойный такого удивительного умозаключения. Фортуна ему улыбнулась. Познакомился он с одной француженкой, прехорошенькой модисткой. Дело происходило в одном немецком городе, на Рейне, заметьте. Начал он ходить к ней, носить ей разные книги, говорить ей о природе и Гегеле. Можете себе представить положение модистки? Она считала его за астронома. Однако вы знаете, малый он из себя ничего; ну — иностранец, русский — понравился. Вот наконец назначает он свидание, и очень поэтическое свидание: в гондоле на реке. Француженка согласилась: приоделась получше и поехала с ним в гондоле. Так они катались часа два. Чем же, вы думаете, занимался он всё это время? Гладил француженку по голове, задумчиво глядел в небо и несколько раз повторил, что чувствует к ней отеческую нежность. Француженка вернулась домой взбешенная, и сама потом всё рассказала Терлахову. Вот он какой господин!

И Пигасов засмеялся.

— Вы старый циник! — заметила с досадой Александра Павловна, — а я более и более убеждаюсь в том, что про Рудина даже те, которые его бранят, ничего дурного сказать не могут.

— Ничего дурного? Помилуйте! а его вечное житье на чужой счет, его займы… Михайло Михайлыч? Ведь он и у вас, наверное, занимал?

— Послушайте, Африкан Семеныч! — начал Лежнев, и лицо его приняло серьезное выражение, — послушайте: вы знаете, и жена моя знает, что я в последнее время особенного расположения к Рудину не чувствовал и даже часто осуждал его. Со всем тем (Лежнев разлил шампанское по бокалам) вот что я вам предлагаю: мы сейчас пили за здоровье дорогого нашего брата и его невесты; я предлагаю вам выпить теперь за здоровье Дмитрия Рудина!

Александра Павловна и Пигасов с изумлением посмотрели на Лежнева, а Басистов встрепенулся весь, покраснел от радости и глаза вытаращил.

— Я знаю его хорошо, — продолжал Лежнев, — недостатки его

мне хорошо известны. Они тем более выступают наружу, что сам он не мелкий человек.

— Рудин — гениальная натура! — подхватил Басистов.

— Гениальность в нем, пожалуй, есть, — возразил Лежнев, — а натура… В том-то вся его беда, что натуры-то собственно в нем нет… Но не в этом дело. Я хочу говорить о том, что в нем есть хорошего, редкого. В нем есть энтузиазм; а это, поверьте мне, флегматическому человеку, самое драгоценное качество в наше время. Мы все стали невыносимо рассудительны, равнодушны и вялы; мы заснули, мы застыли, и спасибо тому, кто хоть на миг нас расшевелит и согреет! Пора! Помнишь, Саша, я раз говорил с тобой о нем и упрекал его в холодности. Я был и прав и не прав тогда. Холодность эта у него в крови — это не его вина, — а не в голове. Он не актер, как я называл его, не надувало, не плут; он живет на чужой счет не как проныра, а как ребенок… Да, он действительно умрет где-нибудь в нищете и в бедности; но неужели ж и за это пускать в него камнем? Он не сделает сам ничего именно потому, что в нем натуры, крови нет; но кто вправе сказать, что он не принесет, не принес уже пользы? что его слова не заронили много добрых семян в молодые души, которым природа не отказала, как ему, в силе деятельности, в умении исполнять собственные замыслы? Да я сам, я первый, всё это испытал на себе… Саша знает, чем был для меня в молодости Рудин. Я, помнится, также утверждал, что слова Рудина не могут действовать на людей; но я говорил тогда о людях, подобных мне, в теперешние мои годы, о людях, уже поживших и поломанных жизнью. Один фальшивый звук в речи — и вся ее гармония для нас исчезла; а в молодом человеке, к счастью, слух еще не так развит, не так избалован. Если сущность того, что он слышит, ему кажется прекрасной, что ему за дело до тона! Тон он сам в себе найдет.

— Браво! браво! — воскликнул Басистов, — как это справедливо сказано! А что касается до влияния Рудина, клянусь вам, этот человек не только умел потрясти тебя, он с места тебя сдвигал, он не давал тебе останавливаться, он до основания переворачивал, зажигал тебя!

— Вы слышите? — продолжал Лежнев, обращаясь к Пигасову, — какого вам еще доказательства нужно? Вы нападаете на философию; говоря о ней, вы не находите довольно презрительных слов. Я сам ее не больно жалую и плохо ее понимаю: но не от философии наши главные невзгоды! Философические хитросплетения и бредни никогда не привьются к русскому: на это у него слишком много здравого смысла; но нельзя же допустить, чтобы под именем философии

нападали на всякое честное стремление к истине и к сознанию. Несчастье Рудина состоит в том, что он России не знает, и это точно большое несчастье. Россия без каждого из нас обойтись может,[*] но никто из нас без нее не может обойтись. Горе тому, кто это думает, двойное горе тому, кто действительно без нее обходится! Космополитизм — чепуха, космополит — нуль, хуже нуля; вне народности ни художества, ни истины, ни жизни, ничего нет. Без физиономии нет даже идеального лица; только пошлое лицо возможно без физиономии. Но, опять-таки скажу, это не вина Рудина: это его судьба, судьба горькая и тяжелая, за которую мы-то уж винить его не станем. Нас бы очень далеко повело, если бы мы хотели разобрать, отчего у нас являются Рудины. А за то, что в нем есть хорошего, будем же ему благодарны. Это легче, чем быть несправедливым к нему; а мы были к нему несправедливы. Наказывать его не наше дело, да и не нужно: он сам себя наказал гораздо жесточе, чем заслуживал… И дай бог, чтобы несчастье вытравило из него всё дурное и оставило одно прекрасное в нем! Пью за здоровье Рудина! Пью за здоровье товарища моих лучших годов, пью за молодость, за ее надежды, за ее стремления, за ее доверчивость и честность, за всё то, от чего и в двадцать лет бились наши сердца, и лучше чего мы все-таки ничего не узнали и не узнаем в жизни… Пью за тебя, золотое время, пью за здоровье Рудина!

Все чокнулись с Лежневым. Басистов сгоряча чуть не разбил своего стакана и осушил его разом, а Александра Павловна пожала Лежневу руку.

— Я, Михайло Михайлыч, и не подозревал, что вы так красноречивы, — заметил Пигасов, — хоть бы самому г. Рудину под стать; даже меня проняло.

— Я вовсе не красноречив, — возразил Лежнев не без досады, — а вас, я думаю, пронять мудрено. Впрочем, довольно о Рудине; давайте говорить о чем-нибудь другом… Что… как бишь его?.. Пандалевский всё у Дарьи Михайловны живет? — прибавил он, обратясь к Басистову.

— Как же, всё у ней! Она выхлопотала ему очень выгодное место.

Лежнев усмехнулся.

— Вот этот не умрет в нищете, за это можно поручиться.

Ужин кончился. Гости разошлись. Оставшись наедине с своим мужем, Александра Павловна с улыбкой посмотрела ему в лицо.

— Как ты хорош был сегодня, Миша! — промолвила она, лаская его рукою по лбу, — как ты умно и благородно говорил! Но сознайся,

что ты немного увлекся в пользу Рудина, как прежде увлекался против него…

— Лежачего не бьют… а я тогда боялся, как бы он тебе голову не вскружил.

— Нет, — простодушно возразила Александра Павловна, — он мне казался всегда слишком ученым, я боялась его и не знала, что говорить в его присутствии. А ведь Пигасов довольно зло подсмеялся над ним сегодня, сознайся?

— Пигасов? — проговорил Лежнев. — Я оттого именно и заступился так горячо за Рудина, что Пигасов был тут. Он смеет называть Рудина лизоблюдом! А по-моему, его роль, роль Пигасова, во сто раз хуже. Имеет независимое состояние, надо всем издевается, а уж как льнет к знатным да к богатым! Знаешь ли, что этот Пигасов, который с таким озлоблением всё и всех ругает, и на философию нападает, и на женщин, — знаешь ли ты, что он, когда служил, брал взятки, и как еще! А! Вот то-то вот и есть!

— Неужели? — воскликнула Александра Павловна. — Этого я никак не ожидала!.. Послушай, Миша, — прибавила она, помолчав немного, — что я хочу у тебя спросить…

— Что?

— Как ты думаешь, будет ли брат счастлив с Натальей?

— Как тебе сказать… вероятности все есть… Командовать будет она — между нами таить это не для чего, — она умней его; но он славный человек и любит ее от души. Чего же больше? Ведь вот мы друг друга любим и счастливы, не правда ли?

Александра Павловна улыбнулась и стиснула руку Михайле Михайлычу.

В тот самый день, когда всё, рассказанное нами, происходило в доме Александры Павловны — в одной из отдаленных губерний России тащилась, в самый зной, по большой дороге, плохенькая рогожная кибитка, запряженная тройкой обывательских лошадей. На облучке торчал, упираясь искоса ногами в валек, седой мужичок в дырявом армяке и то и дело подергивал веревочными вожжами и помахивал кнутиком; а в самой кибитке сидел, на тощем чемодане, человек высокого роста, в фуражке и старом запыленном плаще. То был Рудин. Он сидел понурив голову и нахлобучив козырек фуражки на глаза. Неровные толчки кибитки бросали его с стороны на сторону, он казался совершенно бесчувственным, словно дремал. Наконец он выпрямился.

— Когда же это мы до станции доедем? — спросил он мужика,

сидевшего на облучке.

— А вот, батюшка, — заговорил мужик и еще сильнее задергал вожжами, — как на взволочок взберемся, версты две останется, не боле… Ну, ты! думай… Я тебе подумаю, — прибавил он тоненьким голосом, принимаясь стегать правую пристяжную.

— Ты, кажется, очень плохо едешь, — заметил Рудин, — мы с самого утра тащимся и никак доехать не можем. Ты бы хоть спел что-нибудь.

— Да что будешь делать, батюшка! Лошади, вы сами видите, заморенные… опять жара. А петь мы не можем: мы не ямщики… Барашек, а барашек! — воскликнул вдруг мужичок, обращаясь к прохожему в бурой свитчонке и стоптанных лаптишках, — посторонись, барашек.

— Вишь ты… кучер! — пробормотал ему вслед прохожий и остановился. — Московская косточка! — прибавил он голосом, исполненным укоризны, тряхнул головой и заковылял далее.

— Куда ты! — подхватил мужичок с расстановкой, дергая коренную, — ах ты, лукавая! право, лукавая…

Измученные лошаденки кое-как доплелись наконец до почтового двора. Рудин вылез из кибитки, расплатился с мужиком (который ему не поклонился и деньги долго пошвыривал на ладони — знать, на водку мало досталось) и сам внес чемодан в станционную комнату.

Один мой знакомый, много покатавшийся на своем веку по России, сделал замечание, что если в станционной комнате на стенах висят картинки, изображающие сцены из «Кавказского пленника»* или русских генералов, то лошадей скоро достать можно; но если на картинках представлена жизнь известного игрока Жоржа де Жермани, то путешественнику нечего надеяться на быстрый отъезд: успеет он налюбоваться на закрученный кок, белый раскидной жилет и чрезвычайно узкие и короткие панталоны игрока в молодости, на его исступленную физиономию, когда он, будучи уже старцем, убивает, высоко взмахнув стулом, в хижине с крутою крышей, своего сына. В комнате, куда вошел Рудин, висели именно эти картины из «Тридцати лет, или Жизни игрока». На крик его явился смотритель, заспанный (кстати — видел ли кто-нибудь смотрителя не заспанного?), и, не выждав даже вопроса Рудина, вялым голосом объявил, что лошадей нет.

— Как же вы говорите, что лошадей нет, — промолвил Рудин, — а даже не знаете, куда я еду. Я сюда на обывательских приехал.

— У нас никуда лошадей нет, — отвечал смотритель. — А вы куда

едете?

— В…ск.

— Нет лошадей, — повторил смотритель и вышел вон.

Рудин с досадой приблизился к окну и бросил фуражку на стол. Он не много изменился, но пожелтел в последние два года; серебряные нити заблистали кой-где в кудрях, и глаза, всё еще прекрасные, как будто потускнели; мелкие морщины, следы горьких и тревожных чувств, легли около губ, на щеках, на висках.

Платье на нем было изношенное и старое, и белья не виднелось нигде. Пора его цветения, видимо, прошла: он, как выражаются садовники, пошел в семя.

Он принялся читать надписи по стенам… известное развлечение скучающих путешественников… Вдруг дверь заскрипела, и вошел смотритель.

— Лошадей в…ск нет, и долго еще не будет, — заговорил он, — а вот в…ов есть обратные.

— В…ов? — промолвил Рудин. — Да помилуйте! это мне совсем не по дороге. Я еду в Пензу, а…ов лежит, кажется, в направлении к Тамбову.

— Что ж? вы из Тамбова можете тогда проехать, а не то из…ова как-нибудь свернете.

Рудин подумал.

— Ну, пожалуй, — проговорил он наконец, — велите закладывать лошадей. Мне всё равно; поеду в Тамбов.

Лошадей скоро подали. Рудин вынес свой чемоданчик, взлез на телегу, сел, понурился по-прежнему. Было что-то беспомощное и грустно-покорное в его нагнутой фигуре… И тройка поплелась неторопливой рысью, отрывисто позвякивая бубенчиками.

Эпилог

Прошло еще несколько лет.

Был осенний холодный день. К крыльцу главной гостиницы губернского города С…а подъехала дорожная коляска; из нее, слегка потягиваясь и покряхтывая, вылез господин, еще не пожилой, но уже успевший приобресть ту полноту в туловище, которую привыкли называть почтенной. Поднявшись по лестнице во второй этаж, он остановился у входа в широкий коридор и, не видя никого перед собою, громким голосом спросил себе нумер. Дверь где-то стукнула, из-за низких ширмочек выскочил длинный лакей и пошел вперед проворной, боковой походкой, мелькая в полутьме коридора глянцевитой спиной и подвороченными рукавами. Войдя в нумер, проезжий тотчас сбросил с себя шинель и шарф, сел на диван и, опершись в колени кулаками, сперва поглядел кругом, как бы спросонья, потом велел позвать своего слугу. Лакей сделал уклончивое движение и исчез. Проезжий этот был не кто иной, как Лежнев. Рекрутский набор вызвал его из деревни в С…

Слуга Лежнева, малый молодой, курчавый и краснощекий, в серой шинели, подпоясанной голубым кушачком, и мягких валенках, вошел в комнату.

— Ну вот, брат, мы и доехали, — промолвил Лежнев, — а ты всё боялся, что шина с колеса соскочит.

— Доехали! — возразил слуга, силясь улыбнуться через поднятый воротник шинели, — а уж отчего эта шина не соскочила…

— Никого здесь нет? — раздался голос в коридоре.

Лежнев вздрогнул и стал прислушиваться.

— Эй! кто там? — повторил голос.

Лежнев встал, подошел к двери и быстро отворил ее.

Перед ним стоял человек высокого роста, почти совсем седой и сгорбленный, в старом плисовом сюртуке с бронзовыми пуговицами. Лежнев узнал его тотчас.

— Рудин! — воскликнул он с волнением.

Рудин обернулся. Он не мог разобрать черты Лежнева, стоявшего к свету спиною, и с недоумением глядел на него.

— Вы меня не узнаёте? — заговорил Лежнев.

— Михайло Михайлыч! — воскликнул Рудин и протянул руку, но

смутился и отвел ее было назад…

Лежнев поспешно ухватился за нее своими обеими.

— Войдите, войдите ко мне! — сказал он Рудину и ввел его в нумер.

— Как вы изменились! — произнес Лежнев, помолчав и невольно понизив голос.

— Да, говорят! — возразил Рудин, блуждая по комнате взором. — Года… А вот вы — ничего. Как здоровье Александры… вашей супруги?

— Благодарствуйте, хорошо. Но какими судьбами вы здесь?

— Я? Это долго рассказывать. Собственно, сюда я зашел случайно. Я искал одного знакомого. Впрочем, я очень рад…

— Где вы обедаете?

— Я? Не знаю. Где-нибудь в трактире. Я должен сегодня же выехать отсюда.

— Должны?

Рудин значительно усмехнулся.

— Да-с, должен. Меня отправляют к себе в деревню на жительство.

— Пообедайте со мной.

Рудин в первый раз взглянул прямо в глаза Лежневу.

— Вы мне предлагаете с собой обедать? — проговорил он.

— Да, Рудин, по-старинному, по-товарищески. Хотите? Не ожидал я вас встретить, и бог знает, когда мы увидимся опять. Не расстаться же нам с вами так!

— Извольте, я согласен.

Лежнев пожал Рудину руку, кликнул слугу, заказал обед и велел поставить в лед бутылку шампанского.

В течение обеда Лежнев и Рудин, как бы сговорившись, всё толковали о студенческом своем времени, припоминали многое и многих — мертвых и живых. Сперва Рудин говорил неохотно, но он выпил несколько рюмок вина, и кровь в нем разгорелась. Наконец лакей вынес последнее блюдо. Лежнев встал, запер дверь и, вернувшись к столу, сел прямо напротив Рудина и тихонько оперся подбородком на обе руки.

— Ну, теперь, — начал он, — рассказывайте-ка мне всё, что с вами случилось с тех пор, как я вас не видал.

Рудин посмотрел на Лежнева.

«Боже мой! — подумал опять Лежнев, — как он изменился, бедняк!»

Черты Рудина изменились мало, особенно с тех пор, как мы видели

его на станции, хотя печать приближающейся старости уже успела лечь на них; но выражение их стало другое. Иначе глядели глаза; во всем существе его, в движениях, то замедленных, то бессвязно порывистых, в похолодевшей, как бы разбитой речи, высказывалась усталость окончательная, тайная и тихая скорбь, далеко различная от той полупритворной грусти, которою он щеголял, бывало, как вообще щеголяет ею молодежь, исполненная надежд и доверчивого самолюбия.

— Рассказать вам всё, что со мною случилось? — заговорил он. — Всего рассказать нельзя и не стоит… Маялся я много, скитался не одним телом — душой скитался. В чем и в ком я не разочаровался, бог мой! С кем не сближался! Да, с кем! — повторил Рудин, заметив, что Лежнев с каким-то особенным участием посмотрел ему в лицо. — Сколько раз мои собственные слова становились мне противными — не говорю уже в моих устах, но и в устах людей, разделявших мои мнения! Сколько раз переходил я от раздражительности ребенка к тупой бесчувственности лошади, которая уже и хвостом не дрыгает, когда ее сечет кнут… Сколько раз я радовался, надеялся, враждовал и унижался напрасно! Сколько раз вылетал соколом — и возвращался ползком, как улитка, у которой раздавили раковину!.. Где не бывал я, по каким дорогам не ходил!.. А дороги бывают грязные, — прибавил Рудин и слегка отвернулся. — Вы знаете… — продолжал он…

— Послушайте, — перебил его Лежнев, — мы когда-то говорили «ты» друг другу… Хочешь? Возобновим старину… Выпьем на *ты*!

Рудин встрепенулся, приподнялся, а в глазах его промелькнуло что-то, чего слово выразить не может.

— Выпьем, — сказал он, — спасибо тебе, брат, выпьем.

Лежнев и Рудин выпили по бокалу.

— *Ты* знаешь, — начал опять, с ударением на слове «ты» и с улыбкою, Рудин, — во мне сидит какой-то червь, который грызет меня и гложет и не даст мне успокоиться до конца. Он наталкивает меня на людей — они сперва подвергаются моему влиянию, а потом…

Рудин провел рукой по воздуху.

— С тех пор, как я расстался с вами… с тобою, я переиспытал и переизведал многое… Начинал я жить, принимался за новое раз двадцать — и вот видишь!

— Выдержки в тебе не было, — проговорил, как бы про себя, Лежнев.

— Как ты говоришь, выдержки во мне не было!.. Строить я никогда ничего не умел; да и мудрено, брат, строить, когда и почвы-то

под ногами нету, когда самому приходится собственный свой фундамент создавать! Всех моих похождений, то есть, собственно говоря, всех моих неудач, я тебе описывать не буду. Передам тебе два-три случая… те случаи из моей жизни, когда, казалось, успех уже улыбался мне, или нет, когда я начинал надеяться на успех — что не совсем одно и то же…

Рудин откинул назад свои седые и уже жидкие волосы тем самым движением руки, каким он некогда отбрасывал свои темные и густые кудри.

— Ну, слушай, — начал он. — Сошелся я, в Москве, с одним довольно странным господином. Он был очень богат и владел обширными поместьями; не служил. Главная, единственная его страсть была любовь к науке, к науке вообще. До сих пор я постигнуть не могу, почему эта страсть в нем проявилась! Шла она к нему, как к корове седло. Сам он с усилием держался на высоте ума и говорить почти не умел, только поводил выразительно глазами и значительно покачивал головой. Я, брат, не встречал бездарнее и бедней его природы… В Смоленской губернии есть такие места — песок и больше ничего, да изредка трава, которую ни одно животное есть не станет. Ничего ему в руки не давалось — всё так и ползло от него прочь, подальше; а он еще помешан был на том, чтобы всё легкое делать трудным. Если бы это зависело от его распоряжений, у него бы люди ели пятками, право. Работал, писал и читал он неутомимо. Он ухаживал за наукой с какою-то упрямой настойчивостью, с терпением страшным; самолюбие в нем было огромное, и характер он имел железный. Он жил один и слыл чудаком. Я познакомился с ним… ну, и понравился ему. Я, признаюсь, скоро его понял, но рвение его меня тронуло. Притом он владел такими средствами, столько можно было через него сделать добра, принести пользы существенной… Я поселился у него и уехал с ним, наконец, в его деревню. Планы, брат, у меня были громадные: я мечтал о разных усовершенствованиях, нововведениях…

— Как у Ласунской, помнишь, — заметил Лежнев с добродушной улыбкой.

— Какое! там я знал, в душе, что из слов моих ничего не выйдет; а тут… тут совсем другое поле раскрывалось передо мною… Я навез с собою агрономических книг… правда, я до конца не прочел ни одной… ну, и приступил к делу. Сначала оно не пошло, как я и ожидал, а потом оно как будто и пошло. Мой новый друг всё помалчивал да посматривал, не мешал мне, т. е. до известной степени

не мешал мне. Он принимал мои предложения и исполнял их, но с упорством, туго, с тайной недоверчивостью, и всё гнул на свое. Он чрезвычайно дорожил каждой своей мыслью. Взберется на нее с усилием, как божья коровка на конец былинки, и сидит, сидит на ней, всё как будто крылья расправляет и полететь собирается — и вдруг свалится, и опять полезет… Не удивляйся всем этим сравнениям. Они еще тогда накипели у меня на душе. Так я вот и бился года два. Дело подвигалось плохо, несмотря на все мои хлопоты. Начал я уставать, приятель мой надоедал мне, я стал язвить его, он давил меня, словно перина; недоверчивость его перешла в глухое раздражение, неприязненное чувство охватывало нас обоих, мы уже не могли говорить ни о чем; он исподтишка, но беспрестанно старался доказать мне, что не подчиняется моему влиянию; распоряжения мои либо искажались, либо отменялись вовсе… Я заметил, наконец, что состою у господина помещика в качестве приживальщика по части умственных упражнений. Горько мне стало тратить попусту время и силы, горько почувствовать, что я опять и опять обманулся в своих ожиданиях. Я знал очень хорошо, что я терял, уезжая; но я не мог сладить с собою, и в один день, вследствие тяжелой и возмутительной сцены, которой я был свидетелем и которая показала мне моего приятеля со стороны уже слишком невыгодной, я рассорился с ним окончательно и уехал, бросил барича-педанта, вылепленного из степной муки с примесью немецкой патоки…

— То есть бросил насущный кусок хлеба, — проговорил Лежнев и положил обе руки на плечи Рудину.

— Да, и очутился опять легок и гол в пустом пространстве. Лети, мол, куда хочешь… Эх, выпьем!

— За твое здоровье, — промолвил Лежнев, приподнялся и поцеловал Рудина в лоб. — За твое здоровье и в память Покорского… Он также умел остаться нищим.

— Вот тебе и нумер первый моих похождений, — начал спустя немного Рудин. — Продолжать, что ли?

— Продолжай, пожалуйста.

— Эх! да говорить-то не хочется. Устал я говорить, брат… Ну, однако, так и быть. Потолкавшись еще по разным местам… Кстати, я бы мог рассказать тебе, как я попал было в секретари к благонамеренному сановному лицу и что из этого вышло; но это завело бы нас слишком далеко… Потолкавшись по разным местам, я решился сделаться, наконец… не смейся, пожалуйста… деловым человеком, практическим. Случай такой вышел: я сошелся с одним…

ты, может быть, слыхал о нем… с одним Курбеевым… нет?

— Нет, не слыхал. Но, помилуй, Рудин, как же ты, с своим умом, не догадался, что твое дело не в том состоит, чтобы быть… извини за каламбур… деловым человеком?

— Знаю, брат, что не в том; а впрочем, в чем оно состоит-то?.. Но если б ты видел Курбеева! Ты, пожалуйста, не воображай его себе каким-нибудь пустым болтуном. Говорят, я был красноречив когда-то. Я перед ним просто ничего не значу. Это был человек удивительно ученый, знающий, голова, творческая, брат, голова в деле промышленности и предприятий торговых. Проекты самые смелые, самые неожиданные так и кипели у него на уме. Мы соединились с ним и решились употребить свои силы на общеполезное дело…

— На какое, позволь узнать?

Рудин опустил глаза.

— Ты засмеешься.

— Почему же? Нет, не засмеюсь.

— Мы решились одну реку в К…ой губернии превратить в судоходную, — проговорил Рудин с неловкой улыбкой.

— Вот как! Стало быть, этот Курбеев капиталист?

— Он был беднее меня, — возразил Рудин и тихо поникнул своей седой головой.

Лежнев захохотал, но вдруг остановился и взял за руку Рудина.

— Извини меня, брат, пожалуйста, — заговорил он, — но я этого никак не ожидал. Ну, что ж, это предприятие ваше так и осталось на бумаге?

— Не совсем. Начало исполнения было. Мы наняли работников… ну, и приступили. Но тут встретились различные препятствия. Во-первых, владельцы мельниц никак не хотели понять нас, да сверх того мы с водой без машины справиться не могли, а на машину не хватило денег. Шесть месяцев прожили мы в землянках. Курбеев одним хлебом питался, я тоже недоедал. Впрочем, я об этом не сожалею: природа там удивительная. Мы бились, бились, уговаривали купцов, письма писали, циркуляры. Кончилось тем, что я последний грош свой добил на этом проекте.

— Ну! — заметил Лежнев, — я думаю, добить твой последний грош было не мудрено.

— Не мудрено, точно.

Рудин глянул в окно.

— А проект, ей-богу, был недурен и мог бы принесть огромные выгоды.

— Куда же Курбеев этот делся? — спросил Лежнев.

— Он? он в Сибири теперь, золотопромышленником сделался. И ты увидишь, он себе составит состояние; он не пропадет.

— Может быть; но ты вот уж наверное состояния себе не составишь.

— Я? Что делать! Впрочем, я знаю, я всегда в глазах твоих был пустым человеком.

— Ты? Полно, брат!.. Было время, точно, когда мне в глаза бросались одни твои темные стороны; но теперь, поверь мне, я научился ценить тебя. Ты себе состояния не составишь… Да я люблю тебя за это… помилуй!

Рудин слабо усмехнулся.

— В самом деле?

— Я уважаю тебя за это! — повторил Лежнев, — понимаешь ли ты меня?

Оба помолчали.

— Что ж, переходить к нумеру третьему? — спросил Рудин.

— Сделай одолжение.

— Изволь. Нумер третий и последний. С этим нумером я только теперь разделался. Но не наскучил ли я тебе?

— Говори, говори.

— Вот видишь ли, — начал Рудин, — я однажды подумал на досуге… досуга-то у меня всегда много было… я подумал: сведений у меня довольно, желания добра… послушай, ведь и ты не станешь отрицать во мне желания добра?

— Еще бы!

— На других всех пунктах я более или менее срезался… Отчего бы мне не сделаться педагогом, или, говоря попросту, учителем… чем так жить, даром…

Рудин остановился и вздохнул.

— Чем жить даром, не лучше ли постараться передать другим, что я знаю: может быть, они извлекут из моих познаний хотя некоторую пользу. Способности мои недюжинные же наконец, языком я владею… Вот я и решился посвятить себя этому новому делу. Хлопотно мне было достать место; частных уроков давать я не хотел; в низших училищах мне делать было нечего. Наконец мне удалось достать место преподавателя в здешней гимназии.

— Преподавателя — чего? — спросил Лежнев.

— Преподавателя русской словесности. Скажу тебе, ни за одно дело не принимался я с таким жаром, как за это. Мысль действовать на

юношество меня воодушевила. Три недели просидел я над составлением вступительной лекции.

— Ее нет у тебя? — перебил Лежнев.

— Нет: затерялась куда-то. Она вышла недурна и понравилась. Как теперь вижу лица моих слушателей, — лица добрые, молодые, с выражением чистосердечного внимания, участия, даже изумления. Взошел я на кафедру, прочел лекцию в лихорадке; я думал, ее хватит на час с лишком, а я ее в двадцать минут кончил. Инспектор тут же сидел — сухой старик в серебряных очках и коротком парике, — он изредка наклонял голову в мою сторону. Когда я кончил и соскочил с кресел, он мне сказал: «Хорошо-с, только высоко немножко, темновато, да и о самом предмете мало сказано». А гимназисты с уважением проводили меня взорами… право. Ведь вот чем драгоценна молодежь! Вторую лекцию я принес написанную, и третью тоже… потом я стал импровизировать.

— И имел успех? — спросил Лежнев.

— Имел большой успех. Слушатели приходили толпами. Я им передавал всё, что у меня было в душе. Между ними было три-четыре мальчика действительно замечательных; остальные меня понимали плохо. Впрочем, сознаться надо, что и те, которые меня понимали, иногда смущали меня своими вопросами. Но я не унывал. Любить-то меня все любили; я на репетициях ставил полные баллы всем. Но тут началась против меня интрига… или нет! никакой интриги не было, а я просто попал не в свою сферу. Я стеснял других, и меня теснили. Я читал гимназистам, как и студентам не всегда читают; слушатели мои выносили мало из моих лекций… факты я сам знал плохо. Притом я не удовлетворялся кругом действий, который был мне назначен… уж это, ты знаешь, моя слабость. Я хотел коренных преобразований, и, клянусь тебе, эти преобразования были и дельны и легки. Я надеялся провести их через директора, доброго и честного человека, на которого я сначала имел влияние. Его жена мне помогала. Я, брат, в жизни своей не много встречал таких женщин. Ей уже было лет под сорок; но она верила в добро, любила всё прекрасное, как пятнадцатилетняя девушка, и не боялась высказывать свои убеждения перед кем бы то ни было. Я никогда не забуду ее благородной восторженности и чистоты. По ее совету я написал было план… Но тут под меня подкопались, очернили меня перед ней. Особенно повредил мне учитель математики, маленький человек, острый, желчный и ни во что не веривший, вроде Пигасова, только гораздо дельнее его… Кстати, что Пигасов, жив?

— Жив и, вообрази, женился на мещанке, которая, говорят, его бьет.

— Поделом! Ну, а Наталья Алексеевна здорова?

— Да.

— Счастлива?

— Да.

Рудин помолчал.

— О чем, бишь, я говорил… да! об учителе математики. Он меня возненавидел, сравнивал мои лекции с фейерверком, подхватывал на лету каждое не совсем ясное выражение, раз даже сбил меня на каком-то памятнике XVI века… а главное, он заподозрил мои намерения; последний мой мыльный пузырь наткнулся на него, как на булавку, и лопнул. Инспектор, с которым я сразу не поладил, восстановил против меня директора: вышла сцена, я не хотел уступить, погорячился, дело дошло до сведения начальства; я принужден был выйти в отставку. Я этим не ограничился, я хотел показать, что со мной нельзя поступить так… но со мной можно было поступить как угодно… Я теперь должен выехать отсюда.

Наступило молчание. Оба приятеля сидели, понурив головы.

Первый заговорил Рудин.

— Да, брат, — начал он, — я теперь могу сказать с Кольцовым: «До чего ты, моя молодость, довела меня, домыкала, что уж шагу ступить некуда…»[*] И между тем неужели для меня так-таки нет дела на земле? Часто я ставил себе этот вопрос, и как я ни старался себя унизить в собственных глазах, не мог же я не чувствовать в себе присутствия сил, не всем людям данных![*] Отчего же эти силы остаются бесплодными? И вот еще что. Помнишь, когда мы с тобой были за границей, я был тогда самонадеян и ложен… Точно, я тогда ясно не сознавал, чего я хотел, я упивался словами и верил в призраки; но теперь, клянусь тебе, я могу громко, передо всеми высказать всё, чего я желаю. Мне решительно скрывать нечего: я вполне, и в самой сущности слова, человек благонамеренный; я смиряюсь, хочу примениться к обстоятельствам, хочу малого, хочу достигнуть цели близкой, принести хотя ничтожную пользу. Нет! не удается! Что это значит? Что мешает мне жить и действовать, как другие?.. Я только об этом теперь и мечтаю. Но едва успею я войти в определенное положение, остановиться на известной точке, судьба так и сопрет меня с нее долой… Я стал бояться ее — моей судьбы… Отчего всё это? Разреши мне эту загадку!

— Загадку! — повторил Лежнев. — Да, это правда. Ты и для меня

был всегда загадкой. Даже в молодости, когда, бывало, после какой-нибудь мелочной выходки, ты вдруг заговоришь так, что сердце дрогнет, а там опять начнешь… ну, ты знаешь, что я хочу сказать… даже тогда я тебя не понимал: оттого-то я и разлюбил тебя… Сил в тебе так много, стремление к идеалу такое неутомимое…

— Слова, всё слова! дел не было! — прервал Рудин.

— Дел не было! Какие же дела…

— Какие дела? Слепую бабку и всё ее семейство своими трудами прокормить, как, помнишь, Пряженцев… Вот тебе и дело.

— Да; но доброе слово — тоже дело.

Рудин посмотрел молча на Лежнева и тихо покачал головой.

Лежнев хотел было что-то сказать и провел рукой по лицу.

— Итак, ты едешь в деревню? — спросил он наконец.

— В деревню.

— Да разве у тебя осталась деревня?

— Там что-то такое осталось. Две души с половиною. Угол есть, где умереть. Ты, может быть, думаешь в эту минуту: «И тут не обошелся без фразы!» Фраза, точно, меня сгубила, она заела меня, я до конца не мог от нее отделаться. Но то, что я сказал, не фраза. Не фраза, брат, эти белые волосы, эти морщины; эти прорванные локти — не фраза. Ты всегда был строг ко мне, и ты был справедлив; но не до строгости теперь, когда уже всё кончено, и масла в лампаде нет, и сама лампада разбита, и вот-вот сейчас докурится фитиль… Смерть, брат, должна примирить наконец…

Лежнев вскочил.

— Рудин! — воскликнул он, — зачем ты мне это говоришь? Чем я заслужил это от тебя? Что я за судья такой, и что бы я был за человек, если б, при виде твоих впалых щек и морщин, слово: фраза — могло прийти в голову? Ты хочешь знать, что я думаю о тебе? Изволь! Я думаю: вот человек… с его способностями, чего бы не мог он достигнуть, какими земными выгодами не обладал бы теперь, если б захотел!.. а я его встречаю голодным, без пристанища…

— Я возбуждаю твое сожаление, — промолвил глухо Рудин.

— Нет, ты ошибаешься. Ты уважение мне внушаешь — вот что. Кто тебе мешал проводить годы за годами у этого помещика, твоего приятеля, который, я вполне уверен, если б ты только захотел под него подлаживаться, упрочил бы твое состояние? Отчего ты не мог ужиться в гимназии, отчего ты — странный человек! — с какими бы помыслами ни начинал дело, всякий раз непременно кончал его тем, что жертвовал своими личными выгодами, не пускал корней в

недобрую почву, как она жирна ни была?

— Я родился перекати-полем, — продолжал Рудин с унылой усмешкой. — Я не могу остановиться.

— Это правда; но ты не можешь остановиться не оттого, что в тебе червь живет, как ты сказал мне сначала… Не червь в тебе живет, не дух праздного беспокойства: огонь любви к истине в тебе горит, и, видно, несмотря на все твои дрязги, он горит в тебе сильнее, чем во многих, которые даже не считают себя эгоистами, а тебя, пожалуй, называют интриганом. Да я первый на твоем месте давно бы заставил замолчать в себе этого червя и примирился бы со всем; а в тебе даже желчи не прибавилось, и ты, я уверен, сегодня же, сейчас, готов опять приняться за новую работу, как юноша.

— Нет, брат, я теперь устал, — проговорил Рудин. — С меня довольно.

— Устал! Другой бы умер давно. Ты говоришь, смерть примиряет, а жизнь, ты думаешь, не примиряет? Кто пожил, да не сделался снисходительным к другим, тот сам не заслуживает снисхождения. А кто может сказать, что он в снисхождении не нуждается? Ты сделал что мог, боролся пока мог… Чего же больше? Наши дороги разошлись…

— Ты, брат, совсем другой человек, нежели я, — перебил Рудин со вздохом.

— Наши дороги разошлись, — продолжал Лежнев, — может быть, именно оттого, что, благодаря моему состоянию, холодной крови да другим счастливым обстоятельствам, ничто мне не мешало сидеть сиднем да оставаться зрителем, сложив руки, а ты должен был выйти на поле, засучить рукава, трудиться, работать. Наши дороги разошлись… но посмотри, как мы близки друг другу. Ведь мы говорим с тобой почти одним языком, с полунамека понимаем друг друга, на одних чувствах выросли. Ведь уж мало нас остается, брат; ведь мы с тобой последние могикане! Мы могли расходиться, даже враждовать в старые годы, когда еще много жизни оставалось впереди; но теперь, когда толпа редеет вокруг нас, когда новые поколения идут мимо нас, к не нашим целям, нам надобно крепко держаться друг за друга. Чокнемся, брат, и давай-ка по-старинному: Gaudeamus igitur!*[62]

Приятели чокнулись стаканами и пропели растроганными и фальшивыми прямо русскими голосами старинную студенческую песню.

— Вот ты теперь в деревню едешь, — заговорил опять Лежнев. — Не думаю, чтоб ты долго в ней остался, и не могу себе представить,

чем, где и как ты кончишь… Но помни: что бы с тобой ни случилось, у тебя всегда есть место, есть гнездо, куда ты можешь укрыться. Это мой дом… слышишь, старина? У мысли тоже есть свои инвалиды: надобно, чтоб и у них был приют.

Рудин встал.

— Спасибо тебе, брат, — продолжал он. — Спасибо! Не забуду я тебе этого. Да только приюта я не стою. Испортил я свою жизнь и не служил мысли, как следует…

— Молчи! — продолжал Лежнев. — Каждый остается тем, чем сделала его природа, и больше требовать от него нельзя! Ты назвал себя Вечным Жидом…* А почему ты знаешь, может быть, тебе и следует так вечно странствовать, может быть, ты исполняешь этим высшее, для тебя самого неизвестное назначение: народная мудрость гласит недаром, что все мы под богом ходим. — Ты едешь, — продолжал Лежнев, видя, что Рудин брался за шапку. — Ты не останешься ночевать?

— Еду! Прощай. Спасибо… А кончу я скверно.

— Это знает бог… Ты решительно едешь?

— Еду. Прощай. Не поминай меня лихом.

— Ну, не поминай же лихом и меня… и не забудь, что я сказал тебе. Прощай…

Приятели обнялись. Рудин быстро вышел.

Лежнев долго ходил взад и вперед по комнате, остановился перед окном, подумал, промолвил вполголоса: «бедняк!» — и, сев за стол, начал писать письмо к своей жене.

А на дворе поднялся ветер и завыл зловещим завываньем, тяжело и злобно ударяясь в звенящие стекла. Наступила долгая осенняя ночь. Хорошо тому, кто в такие ночи сидит под кровом дома, у кого есть теплый уголок… И да поможет господь всем бесприютным скитальцам!

В знойный полдень 26 июня 1848 года, в Париже*, когда уже восстание «национальных мастерских» было почти подавлено, в одном из тесных переулков предместия св. Антония* баталион линейного войска брал баррикаду. Несколько пушечных выстрелов уже разбили ее; ее защитники, оставшиеся в живых, ее покидали и только думали о собственном спасении, как вдруг на самой ее вершине, на продавленном кузове поваленного омнибуса, появился высокий человек в старом сюртуке, подпоясанном красным шарфом, и соломенной шляпе на седых, растрепанных волосах. В одной руке он держал красное знамя, в другой — кривую и тупую саблю, и кричал

что-то напряженным, тонким голосом, карабкаясь кверху и помахивая и знаменем, и саблей. Венсенский стрелок* прицелился в него — выстрелил… Высокий человек выронил знамя — и, как мешок, повалился лицом вниз, точно в ноги кому-то поклонился… Пуля прошла ему сквозь самое сердце.

— Tiens! — сказал один из убегавших insurgés другому, — on vient de tuer le Polonais[63].

— Bigre![64] — ответил тот, и оба бросились в подвал дома, у которого все ставни были закрыты и стены пестрели следами пуль и ядер.

Этот «Polonais» был — Дмитрий Рудин.*

Статьи 1855-1859

Два слова о Грановском

Письмо к редакторам «Современника»

Auch die Todten sollen leben[*][65].
Шиллер.

Вчера были похороны Грановского. Не буду говорить вам, как сильно поразила меня его смерть. Потеря его принадлежит к числу общественных потерь и отзовется горьким недоумением и скорбью во многих сердцах по всей России. Похороны его были чем-то умилительным и глубоко знаменательным; они останутся событием в памяти каждого участвовавшего в них. Никогда не забуду я этого длинного шествия, этого гроба, тихо колыхавшегося на плечах студентов, этих обнаженных голов и молодых лиц, облагороженных выражением честной и искренней печали, этого невольного замедления многих между разбросанными могилами кладбища, даже тогда, когда уже всё было кончено и последняя горсть земли упала на прах любимого учителя… Одни и те же ощущения наполняли всех, высказывались во всех устах, во всех взорах, всем хотелось продлить их в себе, и расходиться было жутко… Всякое общее чувство, даже скорбное, связуя людей, возвышает их. Каждый из пришедших на кладбище, к какому бы направлению ни принадлежал он, слишком хорошо знал, чего лишилась в Грановском русская жизнь и русская наука. Для душ молодых, еще не искушенных, не утомленных «плоской незначительностью» житейских дрязг, такие ощущения особенно благотворны; под наитием их сердце крепнет и семена будущих добрых дел и доблестных поступков зреют в нем… Дай бог, чтобы мы научились хотя эту пользу извлекать из наших утрат!

Вероятно, о Грановском будет написано много[*]; на учениках его[*], на его товарищах лежит долг растолковать его значение, объяснить причины общего сочувствия к нему, оценить его влияние. Сообщу вам несколько моих воспоминаний о нем. Я познакомился с ним в 1835 году в С.-Петербурге, в университете, в котором мы были оба студентами, хотя он был старше меня[*] летами и во время моего

поступления находился уже на последнем курсе. Он не занимался исключительно историей; он даже писал тогда стихи (кто их не писал в молодости?), и я смутно помню отрывок из драмы «Фауст», прочитанный мне им в один темный зимний вечер, в большой и пустой его комнате, за шатким столиком, на котором вместо всякого угощения стоял графин воды и банка варенья.

В отрывке этом Фауст был представлен (со слов одной старинной немецкой легенды[*]) высоко поднявшимся на воздух, в стеклянном ящике, вместе с Мефистофелем; обозревая широко раскинувшуюся землю, реки, леса, поля, жилища людей, Фауст произносил задумчивый, полный грустного созерцанья монолог, показавшийся мне тогда прекрасным… Мефистофель безмолвствовал; я, впрочем, и теперь не могу себе представить, какие бы речи вложил Грановский в уста бесу… Ирония, особенно ирония едкая и безжалостная, была чужда его светлой душе. Помню я еще другой вечер и другое чтение: мы вместе с жадностью перелистывали только что вышедшее собрание стихотворений одного поэта[*], имя которого, теперь если не безызвестное, то уже отзвучавшее, прогремело тогда по всей России. С каким восторгом приветствовал Грановский новые надежды русской поэзии, как исполнялся весь благородной радостию сочувствия!

Я, впрочем, в Петербурге видал его редко; но каждое свидание с ним оставляло во мне глубокое впечатление.

Чуждый педантизма, исполненный пленительного добродушия, он уже тогда внушал то невольное уважение к себе, которое столь многие потом испытали. От него веяло чем-то возвышенно-чистым; ему было дано (редкое и благодатное свойство) не убежденьями, не доводами, а собственной душевной красотой возбуждать прекрасное в душе другого; он был идеалист в лучшем смысле этого слова, — идеалист не в одиночку. Он имел точно право сказать: «Ничто человеческое мне не чуждо»[*], и потому и его не чуждалось ничто человеческое.

Несколько лет спустя я встретился с ним в Берлине. Я почти не видался с ним тогда — и мы не сошлись… Говоря правду, я тогда не стоил того, чтобы сойтись с ним. Притом он в то время подружился с Н. В. Станкевичем, человеком, о котором говорить мало нельзя, а много — теперь не место и не время. Станкевич имел величайшее влияние на Грановского, и часть его духа перешла на него.[*]

Познакомился я с Грановским окончательно в Москве; но другие гораздо чаще меня его видели и могут сообщить вам более подробные сведения об его московском житье, об его университетской деятельности.

Ограничусь только двумя словами. Все единодушно согласны в том, что Грановский был профессор превосходный, что, несмотря на его несколько замедленную речь, он владел тайною истинного красноречия; но все-таки иные, судя о нем по литературным его трудам, зная также, что на звание специалиста, ученого в строгом смысле слова, он не имел притязания — дивятся, как бы непонятной тайне, силе и обширности влияния его на людей.

Разгадка этой тайны весьма проста; она вся заключается в самой личности Грановского.[*]

В природах гармонических, какова была его, самые недостатки необходимы; будь личность Грановского более своеобразна, более резко выражена — молодые его ученики не так бы доверчиво к нему обращались. Грановский был доступен во всякое время, не отталкивал никогда никого. Проникнутый весь наукой, посвятив себя всего делу просвещения и образования, — он считал самого себя как бы общественным достоянием, как бы принадлежностью всякого, кто хотел образоваться и просветиться… К нему, как к роднику близ дороги, всякий подходил свободно и черпал живительную влагу изучения, которая струилась тем чище, чем сам преподаватель меньше прибавлял в нее своего. Свое, оригинальное в его поучении было именно это благородное самоотречение — это отсутствие личных прихотей и умствований. Он передавал науку, которую уважал глубоко и в которую честно верил, как сам принимал ее — не искажая ее, не силясь согнуть ее если не в систему, так в дугу. Этой же добросовестностью в передавании науки объясняется изящная красота его речи; так свет, проходя через прозрачный кристалл, не изменяясь в существе своем, играет живыми красками.

Люди вообще настолько имеют значения и влияния, насколько нужны; а люди, подобные Грановскому, теперь нам крайне нужны. Время еще впереди, когда настанет для нас потребность в специалистах, в ученых; мы нуждаемся теперь в бескорыстных и неуклонных служителях науки, которые бы твердой рукою держали и высоко поднимали ее светоч; которые, говоря нам о добре и нравственности — о человеческом достоинстве и чести, собственною жизнью подтверждали истину своих слов… Таков был Грановский — и вот отчего льются слезы о нем; вот отчего он, человек бессемейный, был окружен такой любовью и при жизни и в смерти… Заменить его теперь не может ни один человек, но сам он будет еще действовать за гробом, — действовать долго и благотворно. Он жил недаром — он не умрет. Во всей его деятельности ничего не было такого, в чем бы не

мог он громко и ясно признаться перед всеми; он сеял свои семена днем, при свете солнца, и когда они взойдут и принесут плоды — в них не будет ничего горького…

Выше этой похвалы и этой награды для человека нет.

Москва. Суббота, 8 октября, 1855.

<Предисловие к изданию «Повестей и рассказов»>

Трудное дело в наше время писать предисловия. Излагать в них свои воззрения на искусство — неуместно; просить снисхождения читателя — бесполезно: читатель не верит в авторскую скромность. И потому ограничусь уверением, что если бы не требования г-д книгопродавцев, желавших иметь полное собрание моих повестей и рассказов, некоторые были бы выкинуты; замечу также, что в двух из них — в «Затишье» и в «Пасынкове» сделаны необходимые прибавления, а остальные, по мере возможности, исправлены.

И. Т.

С.-Петербург.

Март 1856 года.

Гамлет и Дон-Кихот

(Речь, произнесенная 10 января 1860 года на публичном чтении в пользу Общества для вспомоществования нуждающимся литераторам и ученым)

Мм. гг.!

Первое издание трагедии Шекспира «Гамлет» и первая часть сервантесовского «Дон-Кихота» явились в один и тот же год*, в самом начале XVII столетия.

Эта случайность нам показалась знаменательною; сближение двух названных нами произведений навело нас на целый ряд мыслей. Мы просим позволения поделиться с вами этими мыслями и заранее рассчитываем на вашу снисходительность. «Кто хочет понять поэта, должен вступить в его область», — сказал Гёте*; — прозаик лишен всяких прав на подобное требование; но он может надеяться, что его читатели — или слушатели — захотят сопутствовать ему в его странствованиях, в его изысканиях.

Некоторые из наших воззрений, быть может, поразят вас, мм. гг., своею необычностью; но в том и состоит особенное преимущество великих поэтических произведений, которым гений их творцов вдохнул неумирающую жизнь, что воззрения на них, как и на жизнь вообще, могут быть бесконечно разнообразны, даже противоречащи — и в то же время одинаково справедливы. Сколько комментариев уже было написано на «Гамлета» и сколько их еще предвидится впереди! К каким различным заключениям приводило изучение этого поистине неисчерпаемого типа! — «Дон-Кихот», по самому свойству своей задачи, по истинно великолепной ясности рассказа, как бы озаренного солнцем юга, подает меньше повода к толкованиям. Но, к сожалению, мы, русские, не имеем хорошего перевода «Дон-Кихота»; бо́льшая часть из нас сохранила о нем довольно неопределенные воспоминания; под словом «Дон-Кихот» мы часто подразумеваем просто шута, — слово «донкихотство» у нас равносильно с словом: нелепость, — между тем как в донкихотстве нам следовало бы признать высокое начало самопожертвования, только схваченное с комической стороны. Хороший перевод «Дон-Кихота»* был бы истинной заслугой перед публикой, и всеобщая благодарность ждет того писателя, который передаст нам это единственное творение во всей его красоте. Но

возвратимся к предмету нашей беседы.

Мы сказали, что одновременное появление «Дон-Кихота» и «Гамлета» нам показалось знаменательным. Нам показалось, что в этих двух типах воплощены две коренные, противоположные особенности человеческой природы — оба конца той оси, на которой она вертится. Нам показалось, что все люди принадлежат более или менее к одному из этих двух типов; что почти каждый из нас сбивается либо на Дон-Кихота, либо на Гамлета. Правда, в наше время Гамлетов стало гораздо более, чем Дон-Кихотов; но и Дон-Кихоты не перевелись.

Объяснимся.

Все люди живут — сознательно или бессознательно — в силу своего принципа, своего идеала, т. е. в силу того, что они почитают правдой, красотою, добром. Многие получают свой идеал уже совершенно готовым, в определенных, исторически сложившихся формах; они живут, соображая жизнь свою с этим идеалом, иногда отступая от него под влиянием страстей или случайностей, — но они не рассуждают о нем, не сомневаются в нем; другие, напротив, подвергают его анализу собственной мысли. Как бы то ни было, мы, кажется, не слишком ошибемся, если скажем, что для всех людей этот идеал, эта основа и цель их существования находится либо вне их, либо в них самих: другими словами, для каждого из нас либо собственное *я* становится на первом месте, либо нечто другое, признанное им за высшее. Нам могут возразить, что действительность не допускает таких резких разграничений, что в одном и том же живом существе оба воззрения могут чередоваться, даже сливаться до некоторой степени; но мы и не думали утверждать невозможность изменений и противоречий в человеческой природе; мы хотели только указать на два различные отношеняя человека к своему идеалу — и мы теперь постараемся представить, каким образом, по нашему понятию, эти два различные отношения воплотились в двух избранных нами типах.

Начнем с Дон-Кихота.

Что выражает собою Дон-Кихот? Взглянем на него не тем торопливым взглядом, который останавливается на поверхностях и мелочах. Не будем видеть в Дон-Кихоте одного лишь рыцаря печального образа, фигуру, созданную для осмеяния старинных рыцарских романов; известно, что значение этого лица расширилось под собственною рукою его бессмертного творца и что Дон-Кихот второй части, любезный собеседник герцогов и герцогинь, мудрый

наставник оруженосца-губернатора, — уже не тот Дон-Кихот, каким он является нам в первой части романа, особенно в начале, не тот странный и смешной чудак, на которого так щедро сыплются удары; а потому попытаемся проникнуть до самой сущности дела. Повторяем: что выражает собою Дон-Кихот? Веру прежде всего; веру в нечто вечное, незыблемое, в истину, одним словом, в истину, находящуюся *вне* отдельного человека, но легко ему дающуюся, требующую служения и жертв, но доступную постоянству служения и силе жертвы. Дон-Кихот проникнут весь преданностью к идеалу, для которого он готов подвергаться всевозможным лишениям, жертвовать жизнию; самую жизнь свою он ценит настолько, насколько она может служить средством к воплощению идеала, к водворению истины, справедливости на земле. Нам скажут, что идеал этот почерпнут расстроенным его воображением из фантастического мира рыцарских романов; согласны — и в этом-то состоит комическая сторона Дон-Кихота; но самый идеал остается во всей своей нетронутой чистоте. Жить для себя, заботиться о себе — Дон-Кихот почел бы постыдным. Он весь живет (если так можно выразиться) вне себя, для других, для своих братьев, для истребления зла, для противодействия враждебным человечеству силам — волшебникам, великанам, т. е. притеснителям. В нем нет и следа эгоизма, он не заботится о себе, он весь самопожертвование — оцените это слово! — он верит, верит крепко и без оглядки. Оттого он бесстрашен, терпелив, довольствуется самой скудной пищей, самой бедной одеждой: ему не до того. Смиренный сердцем, он духом велик и смел; умилительная его набожность не стесняет его свободы; чуждый тщеславия, он не сомневается в себе, в своем призвании, даже в своих физических силах; воля его — непреклонная воля. Постоянное стремление к одной и той же цели придает некоторое однообразие его мыслям, односторонность его уму; он знает мало, да ему и не нужно много знать: он знает, в чем его дело, зачем он живет на земле, а это — главное знание. Дон-Кихот может показаться то совершенным безумцем, потому что самая несомненная вещественность исчезает перед его глазами, тает как воск от огня его энтузиазма (он действительно видит живых мавров в деревянных куклах, рыцарей в баранах), — то ограниченным, потому что он не умеет ни легко сочувствовать, ни легко наслаждаться; но он, как долговечное дерево, пустил глубоко корни в почву и не в состоянии ни изменить своему убеждению, ни переноситься от одного предмета к другому; крепость его нравственного состава (заметьте, что этот сумасшедший, странствующий рыцарь — самое нравственное

существо в мире) придает особенную силу и величавость всем его суждениям и речам, всей его фигуре, несмотря на комические и унизительные положения, в которые он беспрестанно впадает… Дон-Кихот энтузиаст, служитель идеи и потому обвеян ее сияньем.

Что же представляет собою Гамлет?

Анализ прежде всего и эгоизм, а потому безверье. Он весь живет для самого себя, он эгоист; но верить в себя даже эгоист не может; верить можно только в то, что вне нас и над нами. Но это *я,* в которое он не верит, дорого Гамлету. Это исходная точка, к которой он возвращается беспрестанно, потому что не находит ничего в целом мире, к чему бы мог прилепиться душою; он скептик — и вечно возится и носится с самим собою; он постоянно занят не своей обязанностью, а своим положением. Сомневаясь во всем, Гамлет, разумеется, не щадит и самого себя; ум его слишком развит, чтобы удовлетвориться тем, что он в себе находит: он сознает свою слабость, но всякое самосознание есть сила; отсюда проистекает его ирония, противоположность энтузиазму Дон-Кихота. Гамлет с наслаждением, преувеличенно бранит себя, постоянно наблюдая за собою, вечно глядя внутрь себя, он знает до тонкости все свои недостатки, презирает их, презирает самого себя — и в то же время, можно сказать, живет, питается этим презрением. Он не верит в себя — и тщеславен; он не знает, чего хочет и зачем живет, — и привязан к жизни… «О боже, боже! (восклицает он во 2-й сцене первого акта), если б ты, судья земли и неба, не запретил греха самоубийства!.. Как пошла, пуста, плоска и ничтожна кажется мне жизнь!»* Но он не пожертвует этой плоской и пустой жизнию; он мечтает о самоубийстве еще до появления тени отца, до того грозного поручения, которое окончательно разбивает его уже надломанную волю, — но он себя не убьет. Любовь к жизни высказывается в самых этих мечтах о прекращении ее; всем 18-летним юношам знакомы подобные чувства:

То кровь кипит, то сил избыток.*

Но не будем слишком строги к Гамлету: он страдает — и его страдания и больнее и язвительнее страданий Дон-Кихота. Того бьют грубые пастухи, освобожденные им преступники; Гамлет сам наносит себе раны, сам себя терзает; в его руках тоже меч: обоюдоострый меч анализа.

Дон-Кихот, мы должны в этом сознаться, положительно смешон. Его фигура едва ли не самая комическая фигура, когда-либо нарисованная поэтом. Его имя стало смешным прозвищем даже в

устах русских мужиков. Мы в этом могли убедиться собственными ушами. При одном воспоминании о нем возникает в воображении тощая, угловатая, горбоносая фигура, облеченная в карикатурные латы, вознесенная на чахлый остов жалкого коня, того бедного, вечно голодного и битого Россинанта, которому нельзя отказать в каком-то полузабавном, полутронутом участии. Дон-Кихот смешон… но в смехе есть примиряющая и искупляющая сила — и если недаром сказано: «Чему посмеешься, тому послужишь», то можно прибавить, что над кем посмеялся, тому уже простил, того даже полюбить готов. Напротив, наружность Гамлета привлекательна. Его меланхолия, бледный, хотя и нехудой вид (мать его замечает о нем, что он толст, «our son is fat»*), черная бархатная одежда, перо на шляпе, изящные манеры, несомненная поэзия его речей, постоянное чувство полного превосходства над другими, рядом с язвительной потехой самоунижения, всё в нем нравится, всё пленяет; всякому лестно прослыть Гамлетом, никто бы не хотел заслужить прозвание Дон-Кихота; «Гамлет Баратынский»*, — писал к своему другу Пушкин; над Гамлетом никто и не думает смеяться, и именно в этом его осуждение: любить его почти невозможно, одни люди, подобные Горацию, привязываются к Гамлету. Мы о них поговорим впоследствии. Сочувствует ему всякий, и оно понятно; почти каждый находит в нем собственные черты; но любить его, повторяем, нельзя, потому что он никого сам не любит.

Будем продолжать наше сравнение. Гамлет — сын короля, убитого родным братом, похитителем престола; отец его выходит из могилы, из «челюстей ада», чтобы поручить ему отмстить за себя, а он колеблется, хитрит с самим собою, тешится тем, что ругает себя, и наконец убивает своего вотчима случайно. Глубокая психологическая черта, за которую многие даже умные, но близорукие люди дерзали осуждать Шекспира! А Дон-Кихот, бедный, почти нищий человек, без всяких средств и связей, старый, одинокий, берет на себя исправлять зло и защищать притесненных (совершенно ему чужих) на всем земном шаре. Что нужды, что первая же его попытка освобождения невинности от притеснителя рушится двойной бедою на голову самой невинности… (мы разумеем ту сцену, когда Дон-Кихот избавляет мальчика от побоев его хозяина, который тотчас же после удаления избавителя вдесятеро сильнее наказывает бедняка). Что нужды, что, думая иметь дело с вредными великанами, Дон-Кихот нападает на полезные ветряные мельницы… Комическая оболочка этих образов не должна отводить наши глаза от сокрытого в них смысла. Кто, жертвуя

собою, вздумал бы сперва рассчитывать и взвешивать все последствия, всю вероятность пользы своего поступка, тот едва ли способен на самопожертвование. С Гамлетом ничего подобного случиться не может: ему ли, с его проницательным, тонким, скептическим умом, ему ли впасть в такую грубую ошибку! Нет, он не будет сражаться с ветряными мельницами, он не верит в великанов… но он бы и не напал на них, если бы они точно существовали. Гамлет не стал бы утверждать, как Дон-Кихот, показывая всем и каждому цирюльничий таз, что это есть настоящий волшебный шлем Мамбрина; но мы полагаем, что если бы сама истина предстала воплощенною перед его глазами, Гамлет не решился бы поручиться, что это точно она, истина… Ведь кто знает, может быть, и истины тоже нет, так же как великанов? Мы смеемся над Дон-Кихотом… но, мм. гг., кто из нас может, добросовестно вопросив себя, свои прошедшие, свои настоящие убеждения, кто решится утверждать, что он всегда и во всяком случае различит и различал цирюльничий оловянный таз от волшебного золотого шлема?.. Потому нам кажется, что главное дело в искренности и силе самого убежденья… а результат — в руке судеб. Они одни могут показать нам, с призраками ли мы боролись, с действительными ли врагами, и каким оружием покрыли мы наши головы… Наше дело вооружиться и бороться.

Замечательны отношения толпы, так называемой людской массы, к Гамлету и Дон-Кихоту.

Полоний представитель массы перед Гамлетом, Санчо-Панса — перед Дон-Кихотом.

Полоний — дельный, практический, здравомыслящий, хотя в то же время ограниченный и болтливый старик. Он отличный администратор, примерный отец; вспомните его наставления сыну своему Лаерту при отъезде того за границу, — наставления, которые могут поспорить в мудрости с известными распоряжениями губернатора Санчо-Пансы на острове Баратария. Для Полония Гамлет не столько сумасшедший, сколько ребенок, и если бы он не был королевским сыном, он бы презирал его за его коренную бесполезность, за невозможность положительного и дельного применения его мыслей. Известная сцена облака, между Гамлетом и Полонием, — сцена, в которой Гамлет воображает, что дурачит старика, имеет для нас явный смысл, подтверждающий наше воззрение… Мы позволим себе напомнить ее вам:

Полоний. Королева желает[*] говорить с вами, принц, и притом сейчас.

Гамлет. Видите это облако? Точно ласточка.
Полоний. Совершенная ласточка.
Гамлет. Мне кажется, оно похоже на верблюда.
Полоний. Спина точь-в-точь как у верблюда.
Гамлет. Иль как у кита?
Полоний. Совершенный кит.
Гамлет. Хорошо. — Так я иду к матушке.

Не явно ли, что в этой сцене Полоний в одно и то же время придворный, который угождает принцу, и взрослый, который не хочет перечить больному, блажному мальчику? Полоний ни на волос не верит Гамлету, и он прав; со всей свойственной ему ограниченной самонадеянностью он приписывает блажь Гамлета его любви к Офелии, и в этом он, конечно, ошибается; но он не ошибается в оценке его характера. Гамлеты точно бесполезны массе; они ей ничего не дают, они ее никуда вести не могут, потому что сами никуда не идут. Да и как вести, когда не знаешь, есть ли земля под ногами? Притом же Гамлеты презирают толпу. Кто самого себя не уважает — кого, что́ может тот уважать? Да и стоит ли заниматься массой? Она так груба и грязна! а Гамлет — аристократ, не по одному рождению.

Совсем другое зрелище представляет нам Санчо-Панса. Он, напротив, смеется над Дон-Кихотом, знает очень хорошо, что он сумасшедший, но три раза покидает свою родину, дом, жену, дочь, чтобы идти за этим сумасшедшим человеком, следует за ним повсюду, подвергается всякого рода неприятностям, предан ему по самую смерть, верит ему, гордится им и рыдает коленопреклоненный у бедного ложа, где кончается его бывший господин. Надеждою на прибыль, на личные выгоды — этой преданности объяснить нельзя; у Санчо-Пансы слишком много здравого смысла; он очень хорошо знает, что, кроме побоев, оруженосцу странствующего рыцаря почти нечего ожидать. Причину его преданности следует искать глубже; она, если можно так выразиться, коренится в едва ли не лучшем свойстве массы, в способности счастливого и честного ослепления (увы! ей знакомы и другие ослепления), в способности бескорыстного энтузиазма, презрения к прямым личным выгодам, которое для бедного человека почти равносильно с презрением к насущному хлебу. Великое, всемирно-историческое свойство! Масса людей всегда кончает тем, что идет, беззаветно веруя, за теми личностями, над которыми она сама глумилась, которых даже проклинала и преследовала, но которые, не боясь ни ее преследований, ни проклятий, не боясь даже ее смеха, идут неуклонно вперед, вперив духовный взор в ими только видимую

цель, ищут, падают, поднимаются, и наконец находят… и по праву; только тот и находит, кого ведет сердце. Les grandes pensées viennent du coeur[66]*, — сказал Вовенарг. А Гамлеты ничего не находят, ничего не изобретают и не оставляют следа за собою, кроме следа собственной личности, не оставляют за собою дела. Они не любят и не верят; что же они могут найти? Даже в химии (не говоря уже об органической природе), для того чтобы явилось третье вещество, надобно соединение двух; а Гамлеты всё только собою заняты; они одиноки, а потому бесплодны.

Но возразят нам: «Офелия? разве Гамлет ее не любит?»

Поговорим о ней — и кстати о Дульцинее.

В отношениях наших двух типов к женщине есть также много знаменательного.

Дон-Кихот любит Дульцинею, несуществующую женщину, и готов умереть за нее (вспомните его слова, когда, побежденный, поверженный в прах, он говорит своему победителю, уже занесшему на него копье: «Колите меня, рыцарь, но да не послужит моя слабость к уменьшению славы Дульцинеи; я все-таки утверждаю, что она совершеннейшая красавица в мире»). Он любит идеально, чисто, до того идеально, что даже не подозревает, что предмет его страсти вовсе не существует; до того чисто, что, когда Дульцинея является перед ним в образе грубой и грязной мужички, он не верит свидетельству глаз своих и считает ее превращенной злым волшебником. Мы сами на своем веку, в наших странствованиях, видали людей, умирающих за столь же мало существующую Дульцинею или за грубое и часто грязное нечто, в котором они видели осуществление своего идеала и превращение которого они также приписывали влиянию злых, — мы чуть было не сказали: волшебников — злых случайностей и личностей. Мы видели их, и когда переведутся такие люди, пускай закроется навсегда книга истории! в ней нечего будет читать. Чувственности и следа нет у Дон-Кихота; все мечты его стыдливы и безгрешны, и едва ли в тайной глубине своего сердца надеется он на конечное соединение с Дульцинеей, едва ли не страшится он даже этого соединения!

А Гамлет, неужели он любит? Неужели сам иронический его творец, глубочайший знаток человеческого сердца, решился дать эгоисту, скептику, проникнутому всем разлагающим ядом анализа, любящее, преданное сердце? Шекспир не впал в это противоречие, и внимательному читателю не стоит большого труда, чтобы убедиться в том, что Гамлет, человек чувственный и даже втайне сластолюбивый

(придворный Розенкранц недаром улыбается молча, когда Гамлет говорит при нем, что ему женщины надоели), что Гамлет, говорим мы, не любит, но только притворяется, и то небрежно, что любит. Мы имеем на то свидетельство самого Шекспира.

В первой сцене третьего действия Гамлет говорит Офелии:

> Я любил тебя когда-то.*
> **Офелия.** Принц, вы заставили меня этому верить.
> **Гамлет.** А не должно было верить!.. *Я не любил тебя.*

И, сказавши это последнее слово, Гамлет гораздо ближе к правде, чем сам полагает. Чувства его к Офелии, существу невинному и ясному до святости, либо циничны (вспомните его слова, его двусмысленные намеки, когда он, в сцене представления на театре, просит у ней позволения полежать… у ее колен), либо фразисты (обратите ваше внимание на сцену между ним и Лаертом, когда он впрыгивает в могилу Офелии и говорит языком, достойным Брамарбаса* или капитана Пистоля*: «Сорок тысяч братьев не могут со мной поспорить! пусть на нас навалят миллион холмов!»* и т. д.). Все его отношения к Офелии опять-таки для него не что иное, как занятие самим собою, и в восклицании его: «О нимфа! помяни меня в своих святых молитвах», мы видим одно лишь глубокое сознание собственного болезненного бессилия — бессилия полюбить, — почти суеверно преклоняющегося перед «святыней чистоты».

Но довольно говорить о темных сторонах гамлетовского типа, о тех сторонах, которые именно потому нас более раздражают, что они нам ближе и понятнее. Постараемся оценить то, что в нем законно и потому вечно. В нем воплощено начало отрицания, то самое начало, которое другой великий поэт, отделив его от всего чисто человеческого, представил нам в образе Мефистофеля. Гамлет тот же Мефистофель, но Мефистофель, заключенный в живой круг человеческой природы; оттого его отрицание не есть зло — оно само направлено противу зла. Отрицание Гамлета сомневается в добре, но во зле оно не сомневается и вступает с ним в ожесточенный бой. В добре оно сомневается, т. е. оно заподозревает его истину и искренность и нападает на него не как на добро, а как на поддельное добро, под личиной которого опять-таки скрываются зло и ложь, его исконные враги: Гамлет не хохочет демонски-безучастным хохотом Мефистофеля; в самой его горькой улыбке есть унылость, которая говорит о его страданиях и потому примиряет с ним. Скептицизм Гамлета не есть также индифферентизм, и в этом состоит его значение

и достоинство; добро и зло, истина и ложь, красота и безобразие не сливаются перед ним в одно случайное, немое, тупое нечто. Скептицизм Гамлета, не веря в современное, так сказать, осуществление истины, непримиримо враждует с ложью и тем самым становится одним из главных поборников той истины, в которую не может вполне поверить. Но в отрицании, как в огне, есть истребляющая сила — и как удержать эту силу в границах, как указать ей, где ей именно остановиться, когда то, что она должна истребить, и то, что ей следует пощадить, часто слито и связано неразрывно? Вот где является нам столь часто замеченная трагическая сторона человеческой жизни: для дела нужна воля, для дела нужна мысль; но мысль и воля разъединились и с каждым днем разъединяются более…

And thus the native hue of resolution*
Is sicklied o’er by the pale cast of thought…

(Прирожденный румянец воли
Блекнет и болеет, покрываясь бледностью мысли…), —

говорит нам Шекспир устами Гамлета… И вот, с одной стороны стоят Гамлеты мыслящие, сознательные, часто всеобъемлющие, но также часто бесполезные и осужденные на неподвижность; а с другой — полубезумные Дон-Кихоты, которые потому только и приносят пользу и подвигают людей, что видят и знают одну лишь точку, часто даже не существующую в том образе, какою они ее видят. Невольно рождаются вопросы: неужели же надо быть сумасшедшим, чтобы верить в истину? и неужели же ум, овладевший собою, по тому самому лишается всей своей силы?

Далеко бы повело нас даже поверхностное обсуждение этих вопросов.

Ограничимся замечанием, что в этом разъединении, в этом дуализме, о котором мы упомянули, мы должны признать коренной закон всей человеческой жизни; вся эта жизнь есть не что иное, как вечное примирение и вечная борьба двух непрестанно разъединенных и непрестанно сливающихся начал. Если бы мы не боялись испугать ваши уши философическими терминами, мы бы решились сказать, что Гамлеты суть выражение коренной центростремительной силы природы, по которой всё живущее считает себя центром творения и на всё остальное взирает как на существующее только для него (так комар, севший на лоб Александра Македонского, с спокойной уверенностью в своем праве, питался его кровью, как следующей ему пищей; так точно и Гамлет, хотя и презирает себя, чего комар не

делает, ибо он до этого не возвысился, так точно и Гамлет, говорим мы, постоянно всё относит к самому себе). Без этой центростремительной силы (силы эгоизма) природа существовать бы не могла, точно так же как и без другой, центробежной силы, по закону которой всё существующее существует только для другого (эту силу, этот принцип преданности и жертвы, освещенный, как мы уже сказали, комическим светом — чтобы гусей не раздразнить, — этот принцип представляют собою Дон-Кихоты). Эти две силы косности и движения, консерватизма и прогресса, суть основные силы всего существующего. Они объясняют нам растение цветка, и они же дают нам ключ к уразумению развития могущественнейших народов.

Спешим перейти от этих, быть может, неуместных умозрений к другим более привычным нам соображениям.

Нам известно, что из всех произведений Шекспира едва ли не самое популярное — «Гамлет». Эта трагедия принадлежит к числу пьес, несомненно и всякий раз наполняющих театр. При современном состоянии нашей публики, при ее стремлении к самосознанию и размышлению, при ее сомнении в самой себе и ее молодости — это явление понятно; но, не говоря о красотах, которыми преисполнено это, быть может, замечательнейшее произведение новейшего духа, нельзя не удивляться гению, который, будучи сам во многом сродни своему Гамлету, отделил его от себя свободным движением творческой силы — и поставил его образ на вечное изучение потомству. Дух, создавший этот образ, есть дух северного человека, дух рефлексии и анализа, дух тяжелый, мрачный, лишенный гармонии и светлых красок, не закругленный в изящные, часто мелкие формы, но глубокий, сильный, разнообразный, самостоятельный, руководящий. Из самых недр своих извлек он тип Гамлета и тем самым показал, что и в области поэзии, как и в других областях народной жизни, он стоит выше своего чада, потому что вполне понимает его.

Дух южного человека опочил на создании Дон-Кихота, дух светлый, веселый, наивный, восприимчивый, не идущий в глубину жизни, не обнимающий, но отражающий все ее явления. Мы не можем здесь противиться желанию — не провести параллель между Шекспиром и Сервантесом, а только указать на некоторые точки различия и сходства между ними. Шекспир и Сервантес, подумают иные, какое же тут может быть сравнение? Шекспир — этот гигант, полубог… Да; но не пигмеем является Сервантес перед гигантом, сотворившим «Короля Лира», но человеком, и человеком вполне; а

человек имеет право стоять на своих ногах даже перед полубогом. Бесспорно, Шекспир подавляет Сервантеса — и не его одного — богатством и мощью своей фантазии, блеском высочайшей поэзии, глубиной и обширностью громадного ума; но вы не найдете в романе Сервантеса ни натянутых острот, ни неестественных сравнений, ни приторных кончетти; вы также не встретите на его страницах этих отрубленных голов, вырванных глаз, всех этих потоков крови, этой железной и тупой жестокости, грозного наследия средних веков, варварства, медленнее исчезающего в северных, упорных натурах; а между тем Сервантес, как и Шекспир, был современник Варфоломеевской ночи; и еще долго после них сожигались еретики и кровь лилась; да и перестанет ли она когда-нибудь литься? Средние века сказались в «Дон-Кихоте» отблеском провансальской поэзии, сказочной грацией тех самых романов, над которыми Сервантес так добродушно посмеялся и которым сам же заплатил последнюю дань в «Персилесе и Сигизмунде»*[67]. Шекспир берет свои образы отвсюду — с неба, с земли — нет ему запрету; ничто не может избегнуть его всепроникающего взора; он исторгает их с неотразимой силой, с силой орла, падающего на свою добычу. Сервантес ласково выводит перед читателем свои немногочисленные образы, как отец своих детей; он берет только то, что близко ему, но это близкое так ему знакомо! Всё человеческое кажется подвластным могучему гению английского поэта; Сервантес черпает свое богатство из одной своей души, ясной, кроткой, богатой жизненным опытом, но не ожесточенной им: недаром в течение семилетнего тяжкого плена Сервантес учился, как он сам говорил, науке терпенья; круг, ему подвластный, теснее шекспировского; но в нем, как и в каждом отдельном живом существе, отражается всё человеческое. Сервантес не озарит вас молниеносным словом; он не потрясает вас титанической силой победоносного вдохновения; его поэзия — не шекспировское, иногда мутное море, это — глубокая река, спокойно текущая между разнообразными берегами; и понемногу увлеченный, охваченный со всех сторон ее прозрачными волнами, читатель радостно отдается истинно эпической тишине и плавности ее течения. Воображение охотно вызывает пред собою образы обоих современников-поэтов, которые и умерли в один и тот же день, 26 апреля 1616 года*. Сервантес, вероятно, ничего не знал о Шекспире; но великий трагик, в тишине своего стратфордского дома, куда он удалился за три года до смерти, мог прочесть знаменитый роман, который был уже тогда переведен на английский язык… Картина, достойная кисти живописца-мыслителя: Шекспир,

читающий «Дон-Кихота»! Счастливы страны, среди которых возникают такие люди, учители современников и потомков! Неувядаемый лавр, которым увенчивается великий человек, ложится также на чело его народа.

Кончая наш далеко не полный этюд, мы просим позволения сообщить вам еще несколько отдельных замечаний.

Один английский лорд[*] (хороший судья в этом деле) называл при нас Дон-Кихота образцом настоящего джентльмена. Действительно, если простота и спокойствие обращения служат отличительным признаком так называемого порядочного человека, Дон-Кихот имеет полное право на это название. Он истинный гидальго, гидальго даже тогда, когда насмешливые служанки герцога намыливают ему всё лицо. Простота его манер происходит от отсутствия того, что мы бы решились назвать не самолюбием, а *самомнением;* Дон-Кихот не занят собою и, уважая себя и других, не думает рисоваться; а Гамлет, при всей своей изящной обстановке, нам кажется, извините за французское выражение: ayant des airs de parvenu[68]; он тревожен, иногда даже груб, позирует и глумится. Зато ему дана сила своеобразного и меткого выражения, сила, свойственная всякой размышляющей и разрабатывающей себя личности — и потому вовсе недоступная Дон-Кихоту. Глубина и тонкость анализа в Гамлете, его многосторонняя образованность (не должно забывать, что он учился в Виттенбергском университете) развили в нем вкус почти непогрешительный. Он превосходный критик; советы его актерам поразительно верны и умны; чувство изящного почти так же сильно в нем, как чувство долга в Дон-Кихоте.

Дон-Кихот глубоко уважает все существующие установления, религию, монархов и герцогов, и в то же время свободен и признает свободу других. Гамлет бранит королей, придворных — и в сущности притеснителен и нетерпим.

Дон-Кихот едва знает грамоте, Гамлет, вероятно, вел дневник. Дон-Кихот, при всем своем невежестве, имеет определенный образ мыслей о государственных делах, об администрации; Гамлету некогда, да и незачем этим заниматься.

Много восставали против бесконечных побоев, которыми Сервантес обременяет Дон-Кихота. Мы заметили выше, что во второй части романа бедного рыцаря уже почти не бьют; но мы прибавим, что без этих побоев он бы меньше нравился детям, которые с такою жадностию читают его похождения, — да и нам, взрослым, он бы показался не в своем истинном свете, но как-то холодно и надменно,

что противоречило бы его характеру. Мы сейчас сказали, что во второй части уже не бьют его; но в самом ее конце, после решительного поражения Дон-Кихота рыцарем *светлого месяца,* переодетым бакалавром, после его отречения от рыцарства, незадолго до его смерти — стадо свиней топчет его ногами. Нам не однажды довелось слышать укоры Сервантесу — зачем он это написал, как бы повторяя старые, уже брошенные шутки; но и тут Сервантесом руководил инстинкт гения — и в самом этом безобразном приключении лежит глубокий смысл. Попирание свиными ногами встречается всегда в жизни Дон-Кихотов — именно перед ее концом; это последняя дань, которую они должны заплатить грубой случайности, равнодушному и дерзкому непониманию… Это пощечина фарисея… Потом они могут умереть. Они прошли через весь огонь горнила, завоевали себе бессмертие — и оно открывается перед ними.

Гамлет при случае коварен и даже жесток. Вспомните устроенную им погибель двух посланных в Англию от короля придворных, вспомните его речь об убитом им Полонии. Впрочем, мы в этом видим, как мы уже сказали, отражение еще недавно минувших средних веков. С другой стороны, мы в честном, правдивом Дон-Кихоте обязаны подметить склонность к полусознательному, полуневинному обману, к самообольщению — склонность, почти всегда присущую фантазии энтузиаста. Рассказ его о том, что он видел в пещере Монтезиноса, явно им выдуман и не обманул хитрого простака Санчо-Пансу.

Гамлет от малейшей неудачи падает духом и жалуется; а Дон-Кихот, исколоченный галерными преступниками до невозможности пошевельнуться, нимало не сомневается в успехе своего предприятия. Так, говорят, Фурье ежедневно, в течение многих лет, ходил на свидание с англичанином, которого он вызывал в газетах для снабжения ему миллиона франков на приведение в исполнение его планов и который, разумеется, никогда не явился. Это, бесспорно, очень смешно; но вот что нам приходит в голову: древние называли своих богов завистливыми — и в случае нужды считали полезным укрощать их добровольными жертвами (вспомните кольцо, брошенное в море Поликратом); почему и нам не думать, что некоторая доля смешного неминуемо должна примешиваться к поступкам, к самому характеру людей, призванных на великое новое дело, как дань, как успокоительная жертва завистливым богам? А все-таки без этих смешных Дов-Кихотов, без этих чудаков-изобретателей не

подвигалось бы вперед человечество — и не над чем было бы размышлять Гамлетам.

Да, повторяем: Дон-Кихоты находят — Гамлеты разрабатывают. Но как же, спросят нас, могут Гамлеты что-нибудь разрабатывать, когда они во всем сомневаются и ничему не верят? На это мы возразим, что, по мудрому распоряжению природы, полных Гамлетов, точно так же как и полных Дон-Кихотов, нет: это только крайние выражения двух направлений, вехи, выставленные поэтами на двух различных путях. К ним стремится жизнь, никогда их не достигая. Не должно забывать, что как принцип анализа доведен в Гамлете до трагизма, так принцип энтузиазма — в Дон-Кихоте до комизма, а в жизни вполне комическое и вполне трагическое встречается редко.

Гамлет много выигрывает в наших глазах от привязанности к нему Горация. Это лицо прелестно и попадается довольно часто в наше время, к чести нашего времени. В Горации мы признаем тип последователя, ученика в лучшем смысле этого слова. С характером стоическим и прямым, с горячим сердцем, с несколько ограниченным умом, он чувствует свой недостаток и скромен, что редко бывает с ограниченными людьми; он жаждет поучения, наставления и потому благоговеет перед умным Гамлетом и предается ему всей силой своей честной души, не требуя даже взаимности. Он подчиняется ему не как принцу, а как главе. Одна из важнейших заслуг Гамлетов состоит в том, что они образуют и развивают людей, подобных Горацию, людей, которые, приняв от них семена мысли, оплодотворяют их в своем сердце и разносят их потом по всему миру. Слова, которыми Гамлет признает значение Горация, делают честь ему самому. В них выражаются собственные его понятия о высоком достоинстве человека, его благородные стремления, которых никакой скептицизм ослабить не в силах. «Послушай, — говорит он ему, —[*]

С той поры, как это сердце
Властителем своих избраний стало
И научилось различать людей,
Оно тебя избрало перед всеми.
Страдая, ты, казалось, не страдал.
Ты брал удары и дары судьбы,
Благодаря за то и за другое.
И ты благословен: рассудок с кровью
В тебе так смешаны, что ты не служишь
Для счастья дудкою, не издаешь
По прихоти его различных звуков.

Дай мужа мне, которого бы страсть
Не делала рабом, — и я укрою
Его в души моей святейших недрах,
Как я тебя укрыл»[69].

Честный скептик всегда уважает стоика. Когда распадался древний мир — и в каждую эпоху, подобную той эпохе, — лучшие люди спасались в стоицизм, как в единственное убежище, где еще могло сохраниться человеческое достоинство. Скептики, если не имели силы умереть — «отправиться в ту страну, откуда ни один еще путник не возвращался», — делались эпикурейцами. Явление понятное, печальное и слишком знакомое нам!

И Гамлет, и Дон-Кихот умирают трогательно; но как различна кончина обоих! Прекрасны последние слова Гамлета. Он смиряется, утихает, приказывает Горацию жить, подает свой предсмертный голос в пользу молодого Фортинбраса, ничем не запятнанного представителя права наследства… но взор Гамлета не обращается вперед… «Остальное… молчание», — говорит умирающий скептик — и действительно умолкает навеки. Смерть Дон-Кихота навевает на душу несказанное умиление. В это мгновение всё великое значение этого лица становится доступным каждому. Когда бывший его оруженосец, желая его утешить, говорит ему, что они скоро снова отправятся на рыцарские похождения: «Нет, — отвечает умирающий, — всё это навсегда прошло, и я прошу у всех прощения; я уже не Дон-Кихот, я снова Алонзо добрый, как меня некогда называли, — Alonso el Bueno».

Это слово удивительно; упоминовение этого прозвища, в первый и последний раз — потрясает читателя. Да, одно это слово имеет еще значение перед лицом смерти. Всё пройдет, всё исчезнет, высочайший сан, власть, всеобъемлющий гений, всё рассыплется прахом…

Всё великое земное*
Разлетается, как дым…

Но добрые дела не разлетятся дымом; они долговечнее самой сияющей красоты. «Всё минется, — сказал апостол, — одна любовь останется»*.

Нам нечего прибавлять после этих слов. Мы почтем себя счастливыми, если указанием на те два коренные направления человеческого духа, о которых мы говорили перед вами, мы возбудили в вас некоторые мысли, быть может, даже не согласные с нашими, — если мы, хотя приблизительно, исполнили нашу задачу и не утомили вашего благосклонного внимания.

Не опубликованное при жизни Тургенева 1853-1856

<План романа «Два поколения»>

Два поколенья

Начало: 12 июня 1845.

ГЛАВНЫЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

1. Глафира Ивановна Гагина,*52* лет. (Г.) вдова, богатая помещица. 1793. (з<а>м<уж> в<ышла> 1818). NB Д<митрий> П<етрович> ее муж, род<ился> 1799 <умер> 1821.

2. Дмитрий Петрович, ее сын — *26* лет — (Д.). Поручик в отставке. 1819.

3. Платон Егорыч Чермак — *40* лет. (Ч.) — отставной надв<орный> советн<ик>, небог<атый> помещик, сосед. 1805.

4. Василий Васильевич Гагин, *44* года (В.), отстав<ной> шт<аб>-ротм<истр>, двоюр<одный> брат покойн<ого> мужа Глаф<иры> Ив<ановны>. 1801. Опр<еделился> к Г<лафире> И<вановне> в 1828.

5. Елизавета Михайловна Богданова. *24* года. (Е.), компаньонка. 1821.

6. Катерина Федоровна Халабанская, *44* года. (Х.), бедная генеральша, нахлебница у Гагиной. 1801.

7. Нилушка, 20 лет. (Н.), неслужащий дворянин, товар<ищ> Д<митрия> П(етровича). 1825.

8. M-r Dessert, *60* лет (Ф.)* — француз, бывший гувернер Д<митрия Петровича>. 1775.

9. Сергей Авдеич (Авдотьич) Стяжкин, *45* лет — (С.) — небогатый сосед, паразит. 1800.

10. Авдотья Кузьмьминишна, его жена, *42* лет (А.) 1803.

11. Федор Маркелыч Моржак-Лендрыховский, *48* лет (М.), приятель Чермака. 1797.

12. Кинтилиан, управляющий — *54* лет (К.). 1791.

13. Léon, секретарь — *26* л<ет> (L.). 1819.

14. Васильевна — 82 л<ет> (Ва), старуха приживалка. 1763.

15. Метр-Жан — он же и Свергибус* — 65 л<ет> (МЖ), дворецкий. 1780.

16. Аграфена Никитишна — главная служанка (А),30 лет. 1815.

17. Пуфка, девушка, 6 лет. 1839.

18. Суслик, мальчик, 15 л<ет)> 1830.

19. Маша, девушка, 13 л<ет>. 1832.

20. Егор, лакей, 24 л<ет>. 1821. и т<ак> д<алее>

21. Граф Дмитр<ий> Павлович ***. 28 лет. 1817.

22. Доктор — Арсений Семёныч Шанский, 28 л<ет>. 1817.

23. Онисим — бурм<истр>, 38. 1807. и пр. Охотник Владимир. Васильевна (барометр).

Часть 1-ая

Каб<инет>.

Эту главу на *двеГлава 1-ая,* а) Описание кабинета Г<агинойй>. — Суслик и Маша прибирают. Разговор. вд<отья Никитишна> появляется на мгновенье. Входит Глафира Ив<ановна>. — Х<алабанская> является.

Конт<ора>

Г<лафира> И<вановна> и В<асилий> В<асильевич>. Вз<гляд> <?> наз<ад> <?>

Приезд. Обед. (Описание Х<алабанской>.) Разговор о новой компаньонке (lectrice). Приготовление к обеду. Звонки. — Пуфка. Ее вольности. — (Дмитрия Петр<овича> дома нет.) Васильевна. Авд<отья Никитишна>. — Г<агина> хочет заниматься.

b) Переход в контору. Léon. Кинтильян. Гнев; неудовольствие.

Требуется Васил<ий> Васильевич.

Глава 2-ая. Сцена между Г<агиной> и В<асилием Васильевичем>. В<асилий Васильевич> уходит и бросается на постель в своем флигеле. — Г<агина> посылает за Чермаком. Паук и муха

Глава 3-ья. Описанье В<асилия Васильевича>. Его жизнь. Собак продали.

Кроме В <асилия> Вас<ильевича> — никакого друга. —

Эту главу на *две*.

Глава 4-ая. а) Е<лизавета Михайловна> подъезжает к дому. Описание дома и сада. Короткое описание Е<лизаветы Михайловны>. — Как ее встречают. — Комната ее. Обед. Она представляется Г<агиной>. b) Сцена с доктором перед обедом. Обед. Дм<итрий> Петр<ович> приезжает к обеду с охоты с Нилушкой. — Старик Дессер. Чтение ¼ часа перед сном. Она одна в своей комнатке. — Маша. — (Советует идти к Х<алабанской>.)

Глава 5-ая. Ее жизнь до тех пор. *Глава 6-ая*. а) Утро в саду. Е <лизавета Михайловна> свободна *до* 10 часов. — Д<митрий> П<етрович> с Нилушкой встречают Е<лизавету Михайловну> в саду.

Колкий Эту главу на 2 разговор. — Х<алабанская> присылает за Е<лизаветой Михайловной>… Неприятное объяснение. — b) Г<агина> присылает за ней. — Разговор. В 11 ч<асов> желает быть одна. — Чермак приезжает.

Глава 7-ая. Г<агина> и Чермак. Инстинкт. Призывается Василий Васильевич. — Г<агина>в духе. Объявляется на вечер partie de plaisir.

Глава 8-ая. Описание partie de plaisir. Д<митрий> П<етрович> уезжает один. Е<лизавета Михайловна>, к удивленью, нравится всем и завоевывает всех, начиная с самой Г<агиной> — исключая Ч<ермака>, который притворяется, что она ему не нравится. Нилушка восхищен. Д<митрий Петрович> возвращается поздно. Отзыв ему матери об Е<лизавете Михайловне>.

Глава 9-ая. Через несколько дней Чермак отправляется на *ревизию*. Приезжает Стяжкин. Житье в теченье месяца — В<асилий> В<асильевич> безмолвно влюбляется в Е<лизавету Михайловну>. Обращение с ней Д<митрия> П<етровича>. Описание Д<митрия> П<етровича>.

Глава 10-ая. Сцена с Нилушкой. На другой день объясненье с Д<митрием> П<етровичем>. Кончается тем, что он ей открывается в любви.

Конец 1-й части

Часть вторая

Глава 1-ая. Два месяца прошло (Конец августа). Описание этих двух месяцев. — Х<алабанская> ненавидит Е<лизавету Михайловну>. Г<агина> к ней привязалась. — Чермак *наезжает.* — Положение тяжелое В<асилия> В<асильевича>. — Нилушка. — Д<митрий> П<етрович>. — Он верит в честность Чермака. Характер Е<лизаветы Михайловны>. Scène d’amour. (Она декламирует стихи… ее неожиданная экзальтация…)

Глава 2-ая. Решительная атака Чермака — il est installé. Сцена между Ч<ермаком>, Е<лизаветой Михайловной> и В<асилием> В<асильевичем>. В<асилий> В<асильевич> изгоняется в другую деревню. Exil honorable. Прощание В<асилия> В<асильевича> с Е<лизаветой Михайловной> вечером у окна — плачет и целует ее руку. —

Глава 3-ья. Объяснение Ч<ермака> с дворовыми людьми. Он их собирает. — Отпускает — и отправляется в сад. — В саду он встречает Е<лизавету Михайловну> — объясненье с ней. — Он грозит ей: «Я всё знаю, вы играете с двумя — берегитесь…» — Ему известно вчерашнее

прощанье. Он ее принимает за интригантку, что полуошибка. Приход Дм<итрия> Петр<овича>. Она убегает и встречается с Дессером.

Глава 4-ая. Разговор с ним. Она уходит в свою комнату. Между тем Чермак остался с Д<митрием> П<етровичем>. Его разговор с ним. — Д<митрий> П<етрович> косвенно узнает о страсти В<асилия> В<асильевича>. — Подозренья… Он благодарит Чермака.

Глава 5-ая. Е<лизавета Михайловна> избегает Д<митрия Петровича>. — Чермак действует на него. Он видит, что Д<митрий Петрович> влюблен в Е<лизавету Михайловну>. Д<митрий Петрович> наблюдает за ней. — Притворяется в беседке спящим. Она стоит перед ним — пожимает плечом… Сцена с проезжим графом. — Описание состояния Е<лизаветы Михайловны> — любит ли она Д<митрия Петровича>. — Он вдруг с ней груб. — Потом уезжает.

Глава 6-ая. Возрастающее могущество Чермака. Приезд Моржака. цена с Леоном. Léon в солдаты. Е<лизавета Михайловна> видит, как его увозят в тележке. В тот самый день объясненье Ч<ермака> с нею. Черм<ак> бы не прочь ее иметь, но нисколько <?> ее не любит. Они оба вспыхивают и расходятся врагами… Между тем Д<митрий Петрович> возвращается между 2-мя грозами…

Глава 7-ая. Чермак и Моржак. Его совет. — Он их не слушает и призывает Х<алабанск>ую.[Чермак и Халабанская. Х<алабанская> доводит до сведения Г<агиной> любовь Д<митрия> П<етровича>. Та это презирает и не верит — призывает сперва сына, потом Е<лизавету Михайловну> и очень довольна обоими, особенно Е<лизаветой Михайловной>. Уходя, в зале, жестокий короткий разговор Д<митрия Петровича> и Е<лизаветы Михайловны> о В<асилии> В<асильевиче>, которого Д<митрий Петрович> возненавидел. Они давно не говорили друг с другом.

Глава 8-ая. — Разговор Д<митрия Петровича> с Ч<ермаком>. Он в отчаянье. — Наглое спокойствие и вкрадчивость Чермака. — Д<митрий Петрович> идет к Е<лизавете Михайловне> и требует свиданья. Свиданье назначено вечером в саду под яблонями.

Конец 2-й части.

Часть 3-я

Глава 9-ая. Свиданье. — В тот самый вечер Стяжкины, которые уже 2 недели как в Гагин<е>, с девка<ми> хотят красть яблоки. Они всё видят. Сторож их прогоняет. Объясненье Е<лизаветы Михайловны> и Д<митрия Петровича>. Граф ли. Она ему говорит о Чермаке. Он не верит, оба расходятся очень дурно, хотя Д<митрий

Петрович> сильно потрясен.

Глава 10-ая. Стяжкины всё доводят до сведенья Гагиной. Чермак призывается. Он сидел с Моржаком. «Теперь вели-ка колясочку оправить».

Он советует всё оставить как есть и только со временем удалить Е<лизавету Михайловну>… Притом Д<митрий Петрович>. Известен его слабый характер. Г<агиной> однако ужасно тяжело — она пишет к В<асилию> В<асильевичу>. Просит его приехать.

Глава 11-ая. Черм<ак> желает объяснения с Е<лизаветой Михайловной>. — Она соглашается. — Объясненье… Спрятанный Д<митрий Петрович> — Е<лизавета Михайловна> не знает, что он спрятан врывается в комнату и изгоняет его вон с позором. «Спросите ее, любит ли она Вас? — кричит он выходя. — Обманул ли я Вас, разве неправда, что В<асилий> В<асильевич> ее любит». Е<лизавета Михайловна> тотчас хочет идти к Г<агиной>, чтобы отказаться от дому. — Д<митрий Петрович> умоляет ее пощадить его. — Она соглашается. Великие приготовления к битве.

[Часть третья]

Глава 1-я. Г<агина> в конторе с Кинтильяном, который доносит на Ч<ермака>. Ч<ермак> входит. Он забегает зайцем — сообщает ей случившееся вчера — объявляет, что не может остаться… Г<агина> в негодованье против сына, утешает Ч<ермака> — «Не я ли госпожа — всё мое, мое, мое…» Объявляется о приезде В<асилия> В<асильевича>.

Глава 2. Объяснение Г<лафиры> И<вановны> с В<асилием> В<асильевичем>. — Он долго сидит

неподвижно, в прежней обычной своей позе… вдруг выпрямляется. — Хотите — показывает свою обнаженную руку Х<алабанской>. Изумление Г<лафиры> И<вановны>. В<асилий> В<асильевич> велит призвать Чермака.

Гл<ава>. Чермак входит. Страшная сцена. В<асилий> В<асильевич> м<ожжет> быть знает о пол<ожени> Е<лизаветы Михайловны>, его схватывает, выталкивает, сажает на телегу — вон его! — Прибыл Д<митрий Петрович>. К нему обращается испуганная Г<агина>. Раздр<аженный> Д<митрий Петрович> тоже спасается — и уезжает. «Эти вот, — указывая на крепостных, — не могут…» Е<лизавета Михайловна> уезжает. — Г<агина> остается одна.

Гл<ава>. Е<лизавета Михайловна> приезжает в Москву… Ее пребывание там. Д<митрий Петрович> ее отыскивает… Известие о

см<ерти> Гагин<ой>. — Сцена между им и ею — она отказывается от него. — В<асилию> В<асильевичу> — отказ тоже. «Чем вы будете и как жить?»

Д<митрий Петрович> возвр<ащается> в дерев<ню> с В<асилием> В<асильевичем>. Е<лизавета Михайловна> уезж<ает> за границу. — Черм<ак> — на службу.

<Воспоминания о Н.В. Станкевиче>

Меня познакомил с Станкевичем в Берлине Грановский — в 1838-м году, в конце.* До того времени я слышал о нем мало. Помню я, что когда Грановский упомянул о приезде Станкевича в Берлин, я спросил его — не «виршеплет» ли это Станкевич*, — и Грановский, смеясь, представил мне его под именем «виршеплета». В теченье зимы я довольно часто видался с Станкевичем — но не помню, чтоб мы вместе ходили на лекции: он брал *privatissima*[70] у Вердера — а в университет не ходил.* Станкевич не очень-то меня жаловал — и гораздо больше знался с Грановским и Неверовым*. Я очень скоро почувствовал к нему уважение и нечто вроде боязни, проистекавшей, впрочем, не от его обхожденья со мною, которое было весьма ласково, как со всеми, но от внутреннего сознания собственной недостойности и лживости. Станкевич жил в то время один — но у него с утра до вечера гостила одна девица, по имени Берта*, недурная собой и неглупая; она в последствии времени очень плохо кончила, сошлась с Ефремовым* и была выслана из Берлина, чуть ли не за кражу. Она была довольно остра и забавна по-берлински. Помню я одну ее остроту, переданную Станкевичем: у ней была сестра, которой пришлось раз ночевать у Станкевича, — Берта объявила, что она не хочет, чтобы на эту ночь была «allgemeine *Press*freiheit»[71], хотя она и либералка. Станкевич любил женский пол, но в душе был целомудрен — особенно если сравнить его с нынешней soi-disant[72] молодежью. Здоровье его уже тогда было плохо — мы знали все, что он страдает грудью, и к нему ездил д-р Баре́ (Barez), который обращался с ним очень дружелюбно. (Он был тогда первым врачом в Берлине.) Впрочем, Станкевич много выходил и театр посещал* часто, особенно немецкую оперу. Тогда соперничали две певицы: Лёве и Фассманн — признаться сказать, обе довольно плохие. Грановский был поклонником Лёве, высокой и красивой брюнетки, Станкевич предпочитал Фассманн, блондинку. Любимцами Станкевича были два комика: Герн и Бекманн.* Герн был карикатурист вроде Живокини; у Бекманна было много неподдельного, спокойного юмору. В характере Станкевича было много веселости, и он любил посмеяться. Чаще всего встречал я его у Фроловых.* Он почти все вечера проводил у них. Между им и г-жой Фроловой существовало отношение весьма дружественное. Эта г-жа Фролова (первая жена Н. Г. Фролова,

урожденная Галахова) была женщина очень замечательная. Уже немолодая, с здоровьем совершенно расстроенным (она скоро потом умерла), некрасивая — она невольно привлекала своим тонким женским умом и грацией. Она обладала искусством — mettre les gens à leur aise[73], сама говорила немного, но каждое слово ее не забывалось. В ней было много наблюдательности и понимания людей. Русского в ней было мало — она скорее походила на очень умную француженку — un peu de l'ancien régime[74]. Стефания Баденская считала ее в числе своих приятельниц — Беттина* часто ходила к ней, хотя в душе ее побаивалась. Г-жа Фролова обходилась с Беттиной un peu de haut en bas[75]. Вердер бывал у ней часто — Гумбольдт* посещал ее иногда. Я ходил туда молчать, разиня рот, и слушать. Фролов сам никогда не вмешивался в разговор — сидел в углу, разливал чай, значительно мычал, поводил глазами, подергивал усы — но не раскрывал рта. Станкевича Фролова очень любила и уважала. Она сходилась с ним в мнениях. Впрочем, я не слыхал, чтобы она с ним говорила о философии. Это было дело Вердера, который разговаривать не умел. Раз, по уходе Вердера, я не мог удержаться и воскликнул: «В первый раз слышу человека!» — «Да, — заметила Фролова, — жаль только, что он с одним собой знаком». Фарнгаген* (известный биограф) ходил к Фроловым — он любил выводить на свежую воду Беттину, которая его терпеть не могла и называла его Giftesel[76].

Повторяю, что во время моего пребывания в Берлине я не добился доверенности или расположения Станкевича; он, кажется, ни разу не был у меня, Грановский был всего только раз — и при мне у них не было откровенных разговоров. Станкевич, помнится, не любил тогда Жорж Занд — а о Белинском отзывался хотя дружественно, но несколько насмешливо… «Ну! — воскликнул он раз, услыхав о какой-то либеральной, но глупой выходке, — теперь Виссариона хоть овсом не корми!» Я тогда о Белинском ничего не знал — и помню это слово Станкевича только по милости странного имени: Виссарион — поразившего меня. Берта, о которой я говорил выше, была отчасти причиной холодности Станкевича ко мне: я раз поехал с ней кататься верхом в Тиргартен — она очень со мной кокетничала, — а вернувшись, уверила Станкевича, что я делал ей предложения: а она просто мне не нравилась. Вот всё, что я помню из пребывания Станкевича в Берлине.

Я встретил его потом в начале 1840-го года в Италии, в Риме.* Здоровье его значительно стало хуже — голос получил какую-то болезненную сиплость, сухой кашель часто мешал ему говорить. В

Риме я сошелся с ним гораздо теснее, чем в Берлине, — я его видел каждый день — и он ко мне почувствовал расположение. В Риме находилось тогда русское семейство Ховриных*, к которым Станкевич, я и еще один русский, А. П. Ефремов, ходили беспрестанно. Семейство это состояло из мужа (весьма глупого человека, отставного гусара), жены, известной московской барыни, Марьи Дмитриевны — и двух дочерей. Старшей тогда только что минуло шестнадцать лет — она была очень мила и, кажется, втайне, чувствовала большую симпатию к Станкевичу, который отвечал ей дружеским, почти отеческим чувством. (Сам он тогда думал о Дьяковой*, которая жила в Неаполе и с которой он съехался потом.) Остальных лиц тогдашнего нашего кружка я не стану описывать — Станкевич говорит о них в своих письмах.* Мы разъезжали по окрестностям Рима вместе, осматривали памятники и древности. Станкевич не отставал от нас, хотя часто плохо себя чувствовал; но дух его никогда не падал, и всё, что он ни говорил — о древнем мире, о живописи, ваянии и т. д., — было исполнено возвышенной правды и какой-то свежей красоты и молодости. Помню я раз — мы шли с ним к Ховриным и говорили о Пушкине, которого он любил страстно, так же как и Гоголя. Он начал читать стихотворение: «Снова тучи надо мною»* — своим чуть слышным голосом… Ховрины жили очень высоко — в четвертом этаже. Взбираясь на лестницу, Станкевич продолжал читать и вдруг остановился, кашлянул и поднес платок к губам — на платке показалась кровь… Я невольно содрогнулся — а он только улыбнулся и дочел стихотворение до конца. Изредка находил на него, однако, страх — как бы предчувствие близкой смерти. Раз, возвращаясь уже вечером в открытой коляске из Альбано, — поравнялись мы с высокой развалиной, обросшей плющом, мне почему-то вздумалось вдруг закричать громким голосом: «Divus Caius Julius Caesar»*[77] — в развалине эхо отозвалось будто стоном. Станкевич, который до того времени был очень разговорчив и весел, — вдруг побледнел, умолк и погодя немного проговорил с каким-то странным выражением: «Зачем вы это сделали?» В то время в Риме беспрестанно случались убийства, чуть ли не по одному на день. Говорили даже, что убийцы пробираются на квартиры иностранцев. Станкевич перепугался, приказал устроить у своей двери железные болты и крюки — и баррикадировался с вечера. Раз я его спросил, что бы он сделал, если б вдруг, ночью, открывая глаза, он увидал, что какой-то незнакомый человек шарит по его комнате? «Что́ бы я сделал? — возразил Станкевич. — Самым нежным голоском, чтобы не подать ему даже

мысли, что я могу защищаться, сказал бы я ему: „Carissimo signor ladrone! (И Станкевич придал своему голосу самое умоляющее выраженье.) — Carissimo signore! Prendete tutto ciò che volete — ma lasciate mi la vita! — per carità!“»[78] В Станкевиче была способность даже к фарсу. Помню, раз из шести поданных ему панталон ни одни не оказались годными; он вдруг принялся отплясывать по комнате в одних подштанниках с самыми уморительными гримасами — а это происходило месяца за три до его смерти. Хохотал он иногда до упаду — никогда не забуду, как он однажды смеялся, прочтя в «Тарасе Бульбе»*, что жид, снявши свою верхнюю одежду, стал вдруг похож на цыпленка. И в то же время невозможно передать словами, какое он внушал к себе уважение, почти благоговение. Шевырев в то время был в Риме* — и ужасно льстил Станкевичу и вилял перед ним, хотя со всеми другими обходился, по обыкновению, с педантической самоуверенностью. Станкевич несколько раз осаживал меня довольно круто, чего он в Берлине не делал — в Берлине он меня чуждался. Раз в катакомбах, проходя мимо маленьких нишей, в которых до сих пор сохранились остатки подземного богослужения христиан в первые века христианства, я воскликнул: «Это были слепые орудия провидения». Станкевич довольно сурово заметил, что «слепых орудий в истории нет — да и нигде их нет». В другой раз перед мраморной статуей св. Цецилии я проговорил стихи Жуковского:

И прелести явленьем по привычке*
Любуется, как встарь, душа моя, —

Станкевич заметил — что плохо тому, кто *по привычке* любуется прелестью, да еще в такие молодые годы.

В то время жил в Риме некто Брыкчинский*, поляк, друг Листа и отличный пианист, умиравший от чахотки, Станкевич его очень любил — у Брыкчинского было весьма замечательное, энергическое и умное лицо — он знал, что его болезнь безнадежна, а мы все знали, что и Станкевича болезнь безнадежна. Он давно любил Дьякову, на сестре которой* чуть не женился, — и, говорят, съехавшись с нею перед смертью, был чрезвычайно счастлив. Мы знали про его любовь — но уважали его тайну. Станкевич оттого так действовал на других, что сам о себе не думал, истинно интересовался каждым человеком и, как бы сам того не замечая, увлекал его вслед за собою в область Идеала. Никто так гуманно, так прекрасно не спорил, как он. Фразы в нем следа не было — даже Толстой (Л. Н.) не нашел бы ее в нем.* Он первый дал Шушу́ (так звали старшую дочь Ховриной) читать

Шиллера — и играл с ней в четыре руки на фортепьяно. Незадолго до смерти он написал мне довольно большое письмо, которое я прилагаю.* Умер он, как известно, в Новаре: он вместе с Ефремовым и Дьяковой ехал в Северную Италию, на берега Lago di Como. Станкевич был более нежели среднего роста, очень хорошо сложен — по его сложению нельзя было предполагать в нем склонности к чахотке. У него были прекрасные черные волосы, покатый лоб, небольшие карие глаза; взор его был очень ласков и весел; нос тонкий, с горбиной, красивый, с подвижными ноздрями, губы тоже довольно тонкие, с резко означенными углами; когда он улыбался — они слегка кривились, но очень мило, — вообще улыбка его была *чрезвычайно* приветлива и добродушна, хоть и насмешлива; руки у него были довольно большие, узловатые, как у старика; во всем его существе, в движениях была какая-то грация и бессознательная distinction[79]— точно он был царский сын, не знавший о своем происхождении. Одевался он просто — носил обыкновенно палку. Ни разу не слыхал я от него жалоб на свое здоровье; о болезни своей он говорил не иначе как в шутливом тоне; никогда он не хандрил. Когда я изображал Покорского (в «Рудине»), образ Станкевича носился передо мной — но всё это только бледный очерк.

В нем была наивность, почти детская — еще более трогательная и удивительная при его уме. Раз на прощанье с г-жой Фроловой он принес ей в подарок круглую (так называемую геморроидальную) подушку под сидение — принес и вдруг догадался, что вид ее неприличен, сконфузился и так и остался с подушкой в руках — и, наконец, расхохотался. Он был очень религиозен — но редко говорил о религии. По-французски говорил порядочно, по-немецки лучше — немецкий язык он знал очень хорошо. Я забыл сказать, что в Риме я одно время рисовал карикатуры — иногда довольно удачно; Станкевич задавал мне разные, забавные сюжеты — и очень этим потешался. Особенно смеялся он одной карикатуре, в которой я изобразил свадьбу Маркова* (живописца, теперешнего профессора); Марков вздыхал тоже по Шушу́, к которой, грешный человек, и я не был совершенно равнодушен.

Станкевич упоминает в своих письмах о сестре Фроловой, г-же Кёне*. Она приезжала в Берлин к своей сестре. Помню я, что она была недурна собой, очень тиха и носила длинные белокурые букли. Впрочем, между ею и сестрой ее не было ничего общего; Фролову напоминал скорей ее брат, Иван Галахов*, уже умерший, которого я встречал в Москве. Фролова умела, когда хотела, быть чрезвычайно

блестящей в разговоре; помню, раз приехал к ней в Берлин один очень умный француз, граф или маркиз. Вдвоем они вели целый вечер такой диалог — хоть бы из какой-нибудь «пословицы» Альфреда де Мюссе*. Г-жа Фролова по уходе его назвала его un vrai gentleman[80] — тогда это слово не успело еще так опошлиться.* В г-же Фроловой была наклонность к аристократии — но столько в ней было доброты и простоты в то же время!

Примечания

Пятый том полного собрания сочинений И. С. Тургенева содержит повести и рассказы 1853–1857 гг., роман «Рудин», статьи 1855–1859 гг. и относящиеся к этому же времени произведения, не опубликованные при жизни писателя.

Период творческого развития Тургенева, представленный произведениями, входящими в настоящий том, определяется отходом от «старой манеры» (как называл сам писатель творческий метод, характерный для его произведений 1840-х — начала 1850-х годов, включая «Записки охотника»), поисками новых художественных форм для выражения стоявших перед ним современных общественных проблем, наконец — выработкой нового повествовательного жанра, воплощенного в «Рудине». «Рудин» может быть назван — не только хронологически, но и по существу — первым *тургеневским романом.*

Еще задолго до выхода в свет отдельного издания «Записок охотника» (1852) Тургенев, считая «Записки» и весь связанный с ними творческий период законченным, начал усиленно искать новое направление и новые жанры творчества. Эти искания нашли выражение в переписке его с литературными друзьями — П. В. Анненковым, С. Т. Аксаковым и его сыновьями, Е. М. Феоктистовым и другими — за 1851–1853 годы (см. наст. том, примечания к «Двум поколениям» и к «Собственной господской конторе»). Писатель, выпуская в свет издание своего цикла и вполне сознавая его значение для русской литературы (см. письмо к Анненкову от 14 (26) сентября 1852 г.), в то же время чувствовал неудовлетворенность литературной манерой «Записок охотника». Он был глубоко убежден в том, что ему следует переходить от малых форм к большому эпическому роду, т. е. к роману, — от индивидуальных зарисовок более или менее исключительных обстоятельств и образов русских людей, будь то народные типы или типы помещиков, к широким картинам русского быта и к большой современной общественной проблематике. Он соглашался с мнениями своих друзей — в частности Анненкова, — упрекавших его в «сочинительстве», т. е. в подчеркнутом субъективизме, сказывающемся в выборе сюжетов, образов, описаний, в самом стиле.

Последними выражениями того, что Тургенев называл «старой манерой» (в смысле художественной системы «Записок охотника»), и вместе с тем первыми шагами в новом, эпическом направлении явились две повести, созданные в 1852 году во время ареста и в первые

месяцы ссылки — «Муму» и «Постоялый двор» (см. наст. изд., т. 4). Обе они, однако (и первая больше, чем вторая), были еще связаны в сознании автора с «Записками охотника» и представляли собой явления переходного типа, далеко не во всем отвечающие его стремлениям. От них начинался новый путь, и на этот путь Тургенев попытался вступить, принимаясь в конце 1852 г., в спасской ссылке, тотчас после окончания работы над «Постоялым двором», за большой роман «Два поколения».

Роман, более трех лет занимавший Тургенева и доведенный до середины, в конце концов был им признан неудавшимся и уничтожен; но сохранившийся план и подробные отзывы о нем друзей позволяют с большой долей уверенности реконструировать его содержание. Роман должен был стать именно тем произведением, о котором думал Тургенев уже давно, еще за границей, в период работы над «Записками охотника»: широким эпическим полотном, картиной русской провинциальной усадебной жизни, со сложным сюжетом, где переплетались бы любовно-психологические и бытовые отношения, основанные на собственных наблюдениях писателя, и вместе с тем, вероятно, ставились бы некоторые современные общественные проблемы (см. наст. том, с. 527–529).

Эпичность и широта охвата русской действительности долго не давались Тургеневу — и в этом, по-видимому, причина того, что роман, о котором он думал еще в 1848 г., не мог быть начат до окончания работы над «Записками охотника». В понятие эпичности должны входить, по мнению Тургенева, такие стилистические свойства, как «простота, спокойство, ясность линий». Но вместе с тем он отдавал себе отчет в том, что «трудно современному писателю, особенно русскому, быть покойным — ни извне, ни извнутри ему не веет покоем» (см. письмо к К. С. Аксакову от 16 (28) октября 1852 г.). Тщетно было бы искать в русской жизни и «примирительного элементу» — ведь тщетно искал его Гоголь во втором томе «Мертвых душ», писавшемся как осуществление теорий, высказанных в «Выбранных местах из переписки с друзьями». «Я знаю, — писал Тургенев Анненкову 21 апреля (3 мая) 1853 г., — что в природе и в жизни всё так или иначе примиряется — если жизнь не может, смерть примирит; да ведь коли художнику такого рода гармония, которую бы он сам, сознательно, вложил в свое произведение, не дается — зачем ему насиловать себя?» Бесстрастность и спокойствие в изображении русской народной жизни, не соответствующие предмету, Тургенев порицал в романах Д. В. Григоровича «Проселочные дороги» и

«Рыбаки» (см. письма к П. В. Анненкову от 14 (26) сентября 1852 г. и 12 (24) мая 1853 г.) и решительно не мог принять славянофильского воззрения К. С. Аксакова «на русскую жизнь и на русское искусство»: «Я вижу трагическую судьбу племени, великую общественную драму там, где Вы находите успокоение и прибежище эпоса», — писал он Аксакову в уже цитированном письме от 16 (28) октября 1852 г. В этих высказываниях нельзя не видеть отражения давней полемики Белинского с тем же К. С. Аксаковым по поводу первого тома «Мертвых душ», в котором Аксаков увидел возрождение гомеровского эпоса, отрицая типическое значение гоголевских образов для современной русской действительности (см.: *Белинский,* т. 6, с. 253–260 и 410–433). Характерно, что Тургенев во время работы над романом особенно отмечал эпическое начало (в смысле широкого изображения типических явлений и образов русской жизни) в творчестве Пушкина. На замечание Анненкова, что современная эпопея возможна, «но для нее уж надобно непременно историческое созерцание — верное и поэтическое», и что «к такой эпопее способен был Пушкин перед смертию, и можно с убеждением, судя по многим вещам, сказать, что он бы ее сделал», — Тургенев отвечал 12 (24) мая 1853 г.: «Всё, что Вы говорите о романе вообще, очень умно и верно — Пушкин одним созданием лица Троекурова в „Дубровском“ показал, какие в нем были эпические силы». Изображенная в «Двух поколениях» Глафира Ивановна Гагина не только во многом отвечала высказанному Тургеневым пониманию эпичности, но и представляла собою (независимо от черт сходства с матерью писателя — Варварой Петровной Тургеневой) своего рода женскую разновидность Троекурова — типическое выражение помещичьего произвола и деспотизма.

Но роман в глазах самого автора и его друзей-критиков потерпел неудачу потому, что бытовая и индивидуально-психологическая его сторона явно преобладала над концепционной и социально-психологической; в романе не получила, очевидно, развития современная общественная проблематика, не было и противопоставления (несмотря на заглавие) двух поколений — или, по крайней мере, их противопоставление не составляло проблемы; тем белее не было в романе и борьбы мировоззрений (см. подробнее в примечаниях к «Двум поколениям» — наст. том, с. 531 и 534–535).

В октябре-ноябре 1853 г. Тургенев, приостановив, под влиянием критических отзывов друзей, работу над романом, написал повесть «Два приятеля» (см. наст. изд., т. 4). В ней, особенно в первой ее

половине (до знакомства Вязовнина с Барсуковыми), настолько отчетливо сказывается «гоголевская» манера изображения, гоголевский стиль, что можно счесть повесть своего рода стилистическим экспериментом, использующим тот же бытовой материал, что и в романе «Два поколения»; сам же Вязовнин представляет собой разновидность «лишнего человека», безуспешно пытающегося наладить свою личную жизнь и общественные отношения, потому что между ним и окружающими его людьми нет понимания. Здесь, таким образом, намечается вновь та проблема, которая уже ставилась Тургеневым в «Дневнике лишнего человека»; но тогда как в Чулкатурине подчеркиваются черты «неудачника» — в Вязовнине отмечается внутренняя неудовлетворенность при внешнем спокойствии и благополучии. С другой стороны, Вязовнин несравненно ниже в интеллектуальном отношении другого неудачника и «лишнего человека» — Василия Васильевича («Гамлет Щигровского уезда»). Вязовнин имеет, по-видимому, черты сходства с героем «Двух поколений» Дмитрием Петровичем Гагиным (не случайно первый замысел романа был озаглавлен «Борис Вязовнин»), т. е. образ его столь же неопределенен, как и образ Гагина, по своему мировоззрению и общественно-психологическому содержанию. И самая случайность, ничем не мотивированная, его гибели в море (в редакции 1853 года) отвечает по смыслу не только его положению «лишнего» в обществе и в жизни, но и его неполноценности. Последнее — неполноценность героя — было подчеркнуто во второй редакции конца повести (1869 г.).

Тему противопоставления неудовлетворенности и дисгармонии, личной и социальной, одних и самодовольного, ограниченного благополучия других Тургенев развил и углубил в следующей повести, написанной вскоре после опубликования «Двух приятелей», — в «Затишье» (январь — июнь 1854 г.). Фоном для «Затишья» (см. наст. изд., т. 4). послужили те же наблюдения над поместным бытом, которые были использованы и в предыдущей повести. Но тогда как в «Двух приятелях» в центр композиции поставлен характер неопределенный и слабо выраженный, здесь, в «Затишье», основные герои (Веретьев, Мария Павловна, отчасти Надежда Алексеевна) резко контрастируют с окружающей жизнью, многозначительно названной «затишьем». Кажущаяся гармония и как будто ненарушимое спокойствие существования оказываются призрачными и распадаются от столкновений сильных и своеобразных индивидуальностей. Наиболее значительным в повести, по замыслу автора, является образ

Веретьева. Он представляет собой особую линию «лишних людей» — «лишних» не от собственного бессилия, как Чулкатурии, и не оттого, что рефлексия преобладает в нем над волей, как в Гамлете Щигровского уезда, но оттого, что его сильная, самобытная, одаренная и страстная натура не находит себе места в рамках «затишья» и русской жизни 1840-х годов вообще, а для того, чтобы играть в обществе какую-либо заметную роль, подобно Рудину, ему не хватает умственной культуры. В дворянском обществе он становится отщепенцем и погибает (или идет к нравственной гибели), как его ближайшие предшественники — Петр Петрович Каратаев и Чертопханов в «Записках охотника». Но проблема дворянских интеллигентов — «лишних людей» образом Веретьева, разумеется, не могла быть не только решена, но и поставлена достаточно полно и глубоко.

Вплотную подошел Тургенев к этой проблеме в следующей повести — «Переписка», законченной вскоре после напечатания «Затишья», в декабре 1854 г., но начатой, по утверждению автора, за десять лет до того — в 1844 году. Длительность срока, в течение которого писатель не раз возвращался к повести (см. примечания к «Переписке», с. 390–392), сама по себе показывает, насколько важной и устойчивой была для него поставленная в ней тема. Для выполнения своей задачи Тургенев построил повесть в эпистолярном роде, дающем возможность наиболее полного психологического самораскрытия обоих героев-корреспондентов. Все бытовые детали, все биографические моменты по возможности устранены — персонажи (в особенности Алексей Петрович) уже сформировались. В утонченном самоанализе, в размышлениях о себе самих заключается весь смысл и значение повести; возникающие и развивающиеся отношения между героями остаются глубоко скрытыми и никак не реализуются, не становятся элементом сюжета: событие, оборвавшее их и сломавшее жизнь Алексея Петровича, вторгается между ними извне, но психологически оно закономерно именно в силу отвлеченности отношений между ним и Марией Александровной. Любовь к заезжей танцовщице впервые сталкивает этого погруженного в себя человека с реальной и, в сущности, пошлой действительностью — в атом столкновении он и погибает. Повесть связана с очень ранними размышлениями и наблюдениями Тургенева, в частности — с образом рассказчика в «Андрее Колосове» и собственными переживаниями автора, вызванными встречей его с Полиной Виардо после несостоявшегося «премухинского романа» (см. ниже, с. 394–395). На

позднейших этапах работы над повестью, в рассуждениях Алексея Петровича, ставится вопрос о корнях психологии подобных ему людей, т. е. о социальных причинах образования «лишних людей» в русской дворянской интеллигенции. Но дать сколько-нибудь полный ответ на этот вопрос Тургенев, в пределах избранного им сюжета и жанра, еще не мог.

Повесть «Яков Пасынков» написана незадолго до начала работы над «Рудиным» в феврале 1855 г. и представляет собой как бы предварительный этюд к «Рудину» — не типическими чертами главного героя, а особенностями обрисовки студенческой среды 1830-х годов, развернутой в романе в описание кружка Покорского. Сам Яков Пасынков обладает некоторыми чертами, свойственными Покорскому, но восходящими не столько к Станкевичу, сколько к Белинскому (см. ниже, с. 479–480); следует отметить, что оба они — и Пасынков и Покорский — происходят, как и Белинский, из разночинцев, а не из поместного дворянства. Именно поэтому вопрос об исторической роли дворянских интеллигентов, так называемых «лишних людей», во всем его значении был поставлен в романе «Рудин», написанном летом и переработанном осенью 1855 г.

В примечаниях к роману (наст. том, с. 464 и сл.) детально прослежена история его создания — от первоначальной «большой повести» индивидуально-психологического содержания, связанной по манере, насколько можно судить, с «Двумя поколениями», до романа социально-психологического и исторического значения, герой которого несет на себе всю его проблематику. Последняя же заключается в определении, построенном в историческом плане, происхождения и общественного значения «русских людей культурного слоя», как впоследствии назвал Тургенев дворянских интеллигентов 1830-х — 1840-х годов, ставших, вследствие общих исторических условий николаевской эпохи, «лишними людьми».

Вопрос о современном и прошлом общественном значении дворянских интеллигентов, стоявших во главе общественного и умственного движения 1830-х — 1840-х годов, занимал Тургенева в течение долгого времени — более двадцати лет. С ним связано всё его литературное развитие с начала 1840-х годов. Постановке и разрешению этой проблемы посвящены ранние произведения Тургенева в стихах — «Разговор» (1844), «Андрей» (1845), из цикла «Записки охотника» — «Гамлет Щигровского уезда» (1848), а также повести — «Андрей Колосов» (1844) и «Дневник лишнего человека» (1850). Типическим представителем дворянской интеллигенции 1840-х

годов был Ракитин в комедии «Месяц в деревне», написанной в 1850, а напечатанной в 1855 г., за год до «Рудина». Особенно интенсивно разрабатывается тема «лишнего человека» в повестях, предшествующих «Рудину», — «Два приятеля» (1853), «Переписка» (1854), «Яков Пасынков» (1855), отчасти «Затишье» (1854). Наконец, в «Рудине» проблема, занимавшая так долго Тургенева, была поставлена во всю глубину — показано историческое и социальное происхождение типа, появившегося в русской общественной жизни через несколько лет после поражения декабристов, показана та почва, на которой он развивался, и те исторические условия, в которых он действовал — или был лишен возможности действовать.

Постановка и попытка разрешения этой проблемы были не только законны в условиях наметившегося общественного перелома, вызванного событиями 1854–1855 годов, но и настоятельно выдвигались самим общественным развитием, выраженным в русской литературе второй четверти XIX века начиная с «Горя от ума» и «Евгения Онегина». Это положение еще в 1851 году проницательно и глубоко отметил Герцен в историко-публицистическом труде «О развитии революционных идей в России». Здесь, говоря о самобытности поэзии Пушкина и о независимости «Евгения Онегина» от «Дон-Жуана» Байрона, Герцен писал: «Образ Онегина настолько национален, что встречается во всех романах и поэмах, которые получают какое-либо признание в России, и не потому, что хотели копировать его, а потому, что его постоянно находишь возле себя или в себе самом < ...> Дело в том, что все мы в большей или меньшей степени Онегины, если только не предпочитаем быть чиновниками или помещиками» *(Герцен,* т. VII, с. 204; франц. текст — с. 74).

Значительно позднее в статье «Новая фаза в русской литературе» (1864) Герцен повторил, местами дословно, многие положения, приведенные выше, давая им вместе с тем новое освещение. Здесь он определял тот тип, родоначальником которого был Онегин и который имели после него «каждый роман, каждая поэма», как тип «человека, осужденного на праздность, бесполезного, сбитого с пути, — человека, чужого в своей семье, чужого в своей стране, не желающего делать зла и бессильного сделать добро; он не делает в конце концов ничего, хотя и пробует всё, за исключением, впрочем, двух вещей: во-первых, он никогда не становится на сторону правительства, и, во-вторых, он никогда не способен стать на сторону народа…» *(Герцен,* т. XVIII, с. 183; франц. текст — с. 134). Эта характеристика «лишних людей», сохраняя основные определения, данные Герценом в 1851 году,

дополняется новыми, несравненно более революционными, чем в начале 1850-х годов: так, подчеркивается «колоссальная ненужность» «лишних людей», их оторванность от народа, пассивный либерализм хотя бы и при условии сохранения независимости по отношению к правительству.

Говоря о распространенности и преемственности онегинского типа в русской литературе второй четверти века (между 1825 и 1850 годами), Герцен имел в виду, не называя их, ряд литературно-общественных явлений этого периода. Несколько позднее, после публикации «Рудина», Чернышевский в статье «Стихотворения Н. Огарева» прямо назвал основные из них и выразил их преемственность в сжатой формуле: «Онегин сменился Печориным, Печорин — Бельтовым и Рудиным. Мы слышали от самого Рудина, что время его прошло, но он не указал нам еще никого, кто бы заменил его, и мы еще не знаем, скоро ли мы дождемся ему преемника» *(Чернышевский,* т. III, с. 567). К этим основным именам литературных «героев своего времени» нужно присоединить носколько других, сыгравших более или менее значительную роль в литературно-общественном развитии 1840-х — 1850-х годов.

Почти одновременно с Герценом, создавшим образ Владимира Бельтова в романе «Кто виноват?» (1846–1847), Гончаров в «Обыкновенной истории» (1847) изобразил Александра Адуева — героя, имеющего ряд общих черт с другими «лишними людьми», несмотря на то что Белинский указал на его происхождение не от Онегина, а от Ленского *(Белинский,* т. 10, с. 327–328, 332).

Тогда же Гоголь во втором томе «Мертвых душ» сделал попытку представить дворянского интеллигента, гегельянца и пассивного мечтателя, в лице Андрея Ивановича Тентетникова. Однако его образ среди типично гоголевских лиц — генерала Бетрищева, Петуха и проч. — оказался очень бледным, а то обстоятельство, что сохранившиеся главы второго тома поэмы Гоголя были напечатаны лишь в 1855 г. и представили собою, в сущности, уже исторический интерес, еще уменьшило его значение.

Представителем «лишних людей» — впрочем, не столько по своему интеллектуально-психологическому содержанию, сколько по сюжетной роли, к которой близка позднейшая роль Рудина, — является герой повести И. И. Панаева «Родственники» (1847), Григорий Алексеевич (см. примечания к «Рудину», с. 474).

В плане изображения «лишних людей» был задуман и герой одноименного романа М. В. Авдеева Тамарин (1850), признанный

критикой откровенным и рабским подражанием «Герою нашего времени», причем прототипом его оказался не сам Печорин, а пародия на него — Грушницкий (см. суровые отзывы о романе в статьях Чернышевского — *Чернышевский,* т. II, с. 210–221 и 241–262; см. также в изд.: *Т, ПСС и П, Письма,* т. II, с. 213).

Важным звеном в цепи образов «онегинского» типа явился Агарин, герой поэмы Некрасова «Саша», в котором суммированы и резко очерчены, с демократических позиций, основные черты «лишних людей». Поэма, задуманная в 1852 году, а написанная весной 1855-го, была напечатана в январской книжке «Современника» 1856 года вместе с первой частью «Рудина», чем еще более подчеркивалась близость обоих персонажей, хотя о каком-либо влиянии авторов друг на друга нет оснований говорить. Оба они — и Тургенев, и Некрасов — изображали одно и то же исторически сложившееся явление, распространенное в русской общественной жизни и в литературе 1840-х — начала 1850-х годов. Но в то время как Тургенев искал для Рудина не только исторического объяснения, но и оправдания, указывая на его положительную роль, Некрасов смотрел на своего героя как на современника, дворянского либерала (в новом, тогда уже складывавшемся смысле этого термина), не представляющего общественной ценности, хотя поэт и признавал, что «Сеет он, все-таки, доброе семя». Некрасов, в сущности, как бы предварял высказанную вскоре Чернышевским мысль о том, что «время его <Рудина> прошло».

Резко сниженные в интеллектуальном плане и взятые с их бытовой стороны образы «лишних людей» дали в 1850-х годах А. Ф. Писемский и Н. Щедрин (М. Е. Салтыков). Первый изобразил этот тип в Эльчанинове (повесть «Боярщина», опубликованная в 1858 г., но задуманная еще в середине 1840-х), а также в Шамилове (повесть «Богатый жених», 1851–1852 гг.; см. их сопоставление с Рудиным в статье Писарева «Писемский, Тургенев и Гончаров». — *Писарев,* т. 1, с. 211–223). Щедрин в «Губернских очерках», печатавшихся в «Русском вестнике» в 1856 г. (раздел «Талантливые натуры»), дал ряд сатирических зарисовок представителей «провинциального печоринства»; из них в особенности характерен молодой помещик Буеракин, который, по определению Чернышевского, «представляет себя чем-то вроде Гамлета». Щедринские типы «Гамлетов Крутогорской губернии» являются крайним пределом разложения и измельчания дворянско-помещичьей интеллигенции.

Последним и одним из значительнейших явлений в ряду

литературных изображений «лишних людей» стал «Обломов» Гончарова, напечатанный в 1859 г., а задуманный и вполне выявившийся в сознании автора еще в конце 1840-х. Если тургеневский Рудин был кульминацией, полнейшим и наиболее глубоким выражением социально-психологического типа «русских людей культурного слоя», — типа, сложившегося в конце 1830-х — начале 1840-х годов, со всеми его противоречиями, положительными (в историческом плане) и отрицательными (преимущественно в плане личном) чертами, то гончаровский Обломов, каким он вылился к моменту его завершения и издания, т. е. накануне крестьянской реформы и при нарастании революционной ситуации 1859–1861 годов, явился логически завершенным и исторически изжившим себя выражением дворянского либерализма, близким по существу к щедринским зарисовкам. На нем заканчивается развитие литературно-общественного типа, начатого Онегиным и характерного для дворянского этапа освободительного движения вплоть до смены его разночинно-демократическим. Новый герой возникает тогда в творчестве Тургенева в лице Инсарова («Накануне», 1860) и затем Базарова («Отцы и дети», 1862).

Вопрос об идейном наследии, оставленном дворянскими интеллигентами 1840-х годов, и о его ценности для конца 1850-х, в условиях нарастающего крестьянского движения и углубляющихся расхождений между революционными демократами и либеральными дворянами, — этот вопрос встал перед критикой в связи с публикацией «Рудина» и особенно после выхода в свет «Повестей и рассказов» Тургенева в трех частях (в начале ноября 1856 г.). Основные моменты журнальной полемики по поводу каждого из входящих в настоящий том произведений и «Повестей и рассказов» в целом освещены в примечаниях к каждой из повестей, к «Рудину» и к «Предисловию», открывающему это собрание сочинений Тургенева. Здесь же важно отметить следующее.

«Рудиным» в основном была завершена длительная и многосторонняя работа Тургенева над художественным воплощением социально-психологического типа, занимавшего значительное место в русской общественной жизни в годы николаевской реакции, — типа «лишних людей». Но тема и ее проблематика далеко еще не были исчерпаны. После «Рудина» перед писателем возникают новые проблемы, относящиеся к тому же общему вопросу — об исторической и современной роли дворянской интеллигенции, но возникают они в новых аспектах и изображаются с других сторон. К

развитию и углублению этой темы побуждало Тургенева то новое состояние, в которое вступило русское общество после окончания Крымской войны: сознание происшедшего перелома и невозможности сохранения старого, николаевского порядка; ожидание близких реформ и надежда на новое царствование, быстрое разочарование и недовольство медлительностью и колебаниями правительства в вопросе о реформах; далее — с конца 1857 года — первые, робкие и неясные, но уже реальные шаги в сторону отмены крепостного права.

В предстоящих реформах, как думал Тургенев и как считали близкие ему дворянские деятели, с которыми он общался за границей и особенно в Риме зимой 1857 / 58 г., роль передовой дворянской интеллигенции должна была быть очень велика, и так называемые «лишние люди» должны были найти себе достойное применение в реальной общественной деятельности.

Но вместе с тем личные переживания Тургенева, его собственное мироощущение в те же годы складывались так, что наряду с общественными вопросами, выдвигавшимися русской жизнью и волновавшими его, у писателя возникали и вопросы иного, индивидуально-этического порядка. Этическая проблематика была существенным звеном в прогрессивной идеологии этого переходного времени; в нее входили и вопросы воспитания и подготовки участников и деятелей новой исторической эпохи. Вопросы этики в их соотношении с общественным делом занимали большое место и в системе воззрений революционных демократов, в частности Чернышевского, но трактовались ими не так, как Тургеневым.

Тургенев, считая эти годы переломными для себя не только в литературно-общественном, но и в личном плане, склонен был подводить итоги своему прошлому и заниматься вопросами одновременно лично-психологического и общефилософского значения: вопросом «личного счастья» человека или, точнее, его права на личное счастье в столкновении с его нравственным и общественным долгом; вопросом об отношении человеческой индивидуальности к окружающему ее миру, к природе, о месте человека в природе; наконец — опять-таки не только в общественном, но и в лично-этическом плане — вопросом об отношении дворянского интеллигента к народу и о его долге перед народом.

Первый из этих вопросов — о возможности достижения человеком личного счастья, когда эта возможность вступает в столкновение с моральным долгом, — лежит в основе «Фауста» и, хотя и в меньшей степени, «Аси». Как это наблюдается не раз в творчестве Тургенева,

вопрос этот облекается в сюжетные формы, характерные для писателя, — в формы «испытания» героев чувством любви, причем в обеих повестях — и в «Фаусте», и в «Асе» — герой не выдерживает «испытания» и, как это уже было перед тем в «Рудине», оказывается морально слабым и неустойчивым по сравнению с героиней.

Между «Фаустом», наиболее законченно выражающим философию отречения и пессимистический взгляд на жизнь, и «Дворянским гнездом», где идея отречения подвергается пересмотру и, в конце концов, осуждению, лежит переход, заполненный не только хронологически, но и в идейно-творческом отношении «Асей» и «Поездкой в Полесье». Последняя повесть (или, точнее, очерк) по своему происхождению и по времени замысла (1863) является своего рода продолжением «Записок охотника», в число которых она даже была включена в ближайшем издании сочинений Тургенева, 1860 года, но изъята из «Записок» и перенесена в состав повестей во всех следующих изданиях. «Поездка в Полесье» писалась с большими перерывами и при ее окончательной обработке в 1856–1857 годах приобрела новые качества и наполнилась новым содержанием, глубоко отличающимся от содержания и тона «Записок охотника». Большое место заняла в ней философия природы — проблема отношений между человеком и природой, ничтожества человеческого разума перед ее вечной стихийной жизнью, перед всемогущей силой, которой человек подвластен. Постановка и разрешение этой проблемы восходят, с одной стороны, к давним размышлениям Тургенева, неоднократно выражавшимся в его письмах, с другой — к воздействию философии Шопенгауэра, которая именно в это время привлекает особое внимание Тургенева.

Действие «Аси» происходит, по утверждению Тургенева, «лет двадцать тому назад», т. е. в конце 1830-х годов, тем не менее проблемы, затронутые в повести, характерны для того времени, когда она создавалась. Недаром Чернышевский воспользовался образами именно этой повести для приговора над дворянским либерализмом конца 1850-х годов.

Журнальный спор об исторической ценности «лишних людей» и в связи с этим о значении творчества Тургенева в целом развернулся в 1856–1857 годах в основном вокруг образа Рудина и проблематики романа. В центре внимания здесь оказалась статья С. С. Дудышкина «„Повести и рассказы“ И. С. Тургенева» *(Отеч Зап,* 1857, № 1, отд. II, с. 1 — 28) и разбор ее Чернышевским в «Заметках о журналах» за январь 1857 г. *(Чернышевский,* т. IV, с. 696–701). Дудышкин,

выразитель умеренно-либеральной буржуазной идеологии, выступил с осуждением «лишних людей» от Онегина до Рудина за то, что они не являются «тружениками», не удовлетворяют требованиям полезной деятельности и находятся в состоянии разлада, конфликта с окружающей действительностью вместо того, чтобы «гармонировать» с ней; в отыскании гармонических начал общественной жизни, в примирении с ней критик видел главную задачу литературы.

Против этих сугубо консервативных (хотя и либеральных по фразеологии) утверждений Дудышкина выступил с горячими возражениями Чернышевский. Он вскрыл подлинную сущность таких понятий Дудышкииа, как «примирять идеал с его обстановкою», «гармонировать с обстановкой», «трудиться»: «…трудиться значит быть расторопным чиновником, распорядительным помещиком, значит устраивать свои дела так, чтобы вам было тепло и спокойно, не нарушая, однако же, при этом устроении своих делишек, условия, которые соблюдает всякий порядочный и приличный человек. Если вы недовольны такими правилами, вы не годитесь для окружающей вас обстановки, вы не хотите трудиться, вы < ...> пустой и праздношатающийся человек» *(Чернышевский,* т. IV, с. 700). По справедливому замечанию современного исследователя, Чернышевскому «важно было в споре с Дудышкиным защитить Рудина»: это было понятно «в условиях 1856–1857 годов, когда еще Чернышевский мог надеяться на сотрудничество и солидарность с Тургеневым и другими передовыми деятелями либерального лагеря» (см.: *Егоров* Б. Ф. С. С. Дудышкин — критик. — Уч. зап. Тартуского гос. ун-та. Вып. 119. Труды по рус. и слав. филол., т. V. Тарту, 1962, с. 214).

Следующая значительная статья Чернышевского «Русский человек на rendez-vous» (Атеней, 1858, ч. III, май-июнь), вызванная непосредственно «Асей» Тургенева, явилась уже сильным ударом по дворянскому либерализму, по ряду тургеневских героев, потерявших в глазах критика-революционера свою общественную ценность не только в современный переломный и ответственный момент, но и в недавнем историческом прошлом.

Добролюбов в статье «Что такое обломовщина?» (1859) подвел итог всему историческому ряду этих героев, и все они, от Онегина до Рудина, оказались в большей или меньшей степени Обломовыми. «Давно уже замечено, — писал Добролюбов, — что все герои замечательнейших русских повестей и романов страдают оттого, что не видят цели в жизни и не находят себе приличной деятельности.

Вследствие того они чувствуют скуку и отвращение от всякого дела, в чем представляют разительное сходство с Обломовым. В самом деле, — раскройте, например, „Онегина“, „Героя нашего времени“, „Кто виноват?“, „Рудина“ или „Лишнего человека“, или „Гамлета Щигровского уезда“, — в каждом из них вы найдете черты, почти буквально сходные с чертами Обломова» *(Добролюбов,* т. II, с. 17–18).

Завершением борьбы революционных демократов против переживших свое значение дворянских либералов явилась, как известно, следующая большая статья Добролюбова, посвященная роману Тургенева «Накануне», — «Когда же придет настоящий день?», изданная в относительно полном виде уже после смерти критика. В том же направлении переоценки Рудина и всех его предшественников написана и статья Чернышевского о книге Готорна «Собрание чудес» *(Чернышевский,* т. VII, с. 440–453), появившаяся вскоре после статьи Добролюбова о «Накануне».

К концу 1860-х годов, после статей Добролюбова и Чернышевского, вопрос, по существу, был исчерпан, и проблема «лишних людей» потеряла свою актуальность, заслоненная и вытесненная новыми задачами и новыми литературно-общественными явлениями, прежде всего — в творчестве самого Тургенева.

Некоторые итоги своим размышлениям о «лишних людях» и вообще о типах общественных деятелей Тургенев подвел в статье «Гамлет и Дон-Кихот». Замысел этой статьи, возникший еще в конце 1840-х годов, был непосредственно связан с французской революцией 1848 г., события которой Тургенев наблюдал в Париже. Не отрицая исторических заслуг людей рефлексии, названных в статье «гамлетами», Тургенев утверждал, что настало время действовать на общественной арене *«сознательно* героическим натурам» (см. письмо к И. С. Аксакову от 13 (25) ноября 1859 г.). Социально-психологический тип этого рода писатель обозначил именем Дон-Кихота. Образ Инсарова из романа «Накануне», напечатанного одновременно со статьей, — наиболее полное художественное воплощение тургеневской концепции Дон-Кихота (об этом см. наст. изд., т. 6, примеч. к «Накануне»).

Повести «Переписка», «Яков Пасынков» и роман «Рудин» неоднократно переводились еще при жизни Тургенева на многие иностранные языки[81].

Во французских переводах повести вошли в двухтомный сборник повестей, рассказов и пьес Тургенева, выпущенный в 1858 г. издательством Ашетт (Hachette) под общим заглавием «Сцены из

русской жизни» (Scènes de la vie russe, par M. I. Tourguéneif, Paris, 1858; далее: *1858, Scènes).* В первый выпуск этого издания, переведенный Ксавье Мармье под наблюдением Тургенева («avec l'auborisation de l'auteur»), вошел «Яков Пасынков» («Jacques Passinkof»). Во второй выпуск («Deuxième série») издания, переведенный Луи Виардо «в сотрудничестве с автором» («avec la collaboration de l'auteur»), вошла «Переписка» («Une correspondance»). Сборник этот неоднократно переиздавался как при жизни Тургенева, так и посмертно.

Немецкие переводы обеих повестей и «Рудина» были включены в разные тома митавско-гамбургского издания собрания сочинений Тургенева — *Ausgewählte Werke:* «Переписка» («Ein Briefwechsel») — т. II, 1869; «Рудин» — т. III, 1870 и «Яков Пасынков» («Jakob Passinkow») — т. XII, 1884, вышедший уже после смерти Тургенева[82].

Помимо этих переводов в двух собраниях сочинений Тургенева, французском и немецком, существует ряд отдельно изданных и журнальных переводов на многих языках, а также переводов, входящих в сборники произведений писателя.

Повесть «Переписка» в английском переводе, сделанном с французского перевода Л. Виардо и Тургенева *(1858, Scènes, II),* напечатана под заглавием «A correspondece» в журнале «Galaxy», 1871, v. XII, № 4. Из других переводов известны: чешский (1868), хорватский (1868), венгерский (1870), датский (1874).

Немецкий перевод повести «Яков Пасынков» («Jakob Passinkow»), выполненный женой Фр. Боденштедта Матильдой Боденштедт с французского перевода Л. Виардо и Тургенева *(1858, Scènes, 1),* появился в газете «Hamburger Nachrichten», 1862, № 4 — 17, 4 — 20 января н. ст., а затем был перепечатан во втором томе издания «Erzählungen von Ivan Turgénjew Deutsch von Friedrich Bodenstedt», Bd. II, München, 1865. Из числа других переводов повести следует указать: чешские (1868, 1872, 1880), шведский (1869), датский (1876), венгерский (1878), болгарский (1882). Первый английский перевод повести вышел, по-видимому, после смерти Тургенева.

Перевод «Рудина» на французский язык, выполненный Луи Виардо в сотрудничестве с Тургеневым, вошел в издание: Dimitri Roudine, suivi du Journal d'un homme de trop et de Trois rencontres. Traduit par L. Viardot en collaboration avec I. Tourguénieff. Paris, Hetzel, 1862. Английский перевод романа, сделанный с французского и немецкого переводов, под заглавием «Dimitri Roudine», печатался в журнале «Every Saturday», 1873, 111 (№ 4 — 17, январь — апрель); этот перевод перепечатан в нью-йоркском издании того же года: Dimitri Roudine.

Transl. from the French and German versions. New York, Holt & Wiliams, 1873; еще одно отдельное издание вышло в 1883 г. Из других прижизненных переводов укажем: хорватский (1863), сербский (1872), датский (1872), венгерский (1870), чешский (1880), шведский (1883). Следует также отметить, что английский перевод «Рудина» в I томе 15-томного издания (1894, Лондон — Нью-Йорк) вышел с большой статьей-предисловием известного революционера-народника С. М. Степняка-Кравчинского (см.: *Степняк-Кравчинский* С. М. Собрание сочинений. СПб., 1908. Ч. VI, с. 207–225).

Тексты произведений, входящих в настоящий том, даются по последним прижизненным авторизованным изданиям. Такими изданиями являются: просмотренное самим Тургеневым десятитомное «Издание книжного магазина наследников братьев Салаевых» (М., 1880) и так называемое «Посмертное издание Глазунова», также десятитомное (СПб., 1883). В последнем, как известно, Тургенев отредактировал лишь часть томов: IV, V, VII–IX, другие же, в том числе III («Рудин») и VI (первый в ряду «Повестей и рассказов»), подготовил по его поручению парижский знакомый писателя А. Ф. Онегин-Отто (см.: Клеман М. К. «Рудин». К истории создания. — В кн.: *Т, Рудин, 1936,* с. 459–464). Вследствие этого тексты произведений, помещенных в I, III и VI томах издания 1883 года: «Рудин», «Два слова о Грановском», «Гамлет и Дон-Кихот», — печатаются по изданию 1880 года; тексты произведений, вошедших в VII (авторизованный) том издания 1883 года: «Переписка», «Яков Пасынков», «Фауст», «Поездка в Полесье», «Ася», — печатаются по этому изданию; источники основных текстов прочих произведений указаны в примечаниях к каждому из них.

Тексты подготовили и примечания к ним написали: *И. А. Битюгова* («Фауст»); *Т. П. Ден* (Воспоминания о Н. В. Станкевиче); *Е. И. Кийко* («Переписка», «Яков Пасынков», «Два слова о Грановском», <Предисловие к изданию «Повестей и рассказов»>); *Л. Н. Назарова* («Собственная господская контора», <План романа «Два поколения»>); *Ю. Д. Левин* («Гамлет и Дон-Кихот»); *Л. М. Лотман* («Ася»); *А. П. Могилянский* («Поездка в Полесье»).

Текст «Рудина» подготовила *И. А. Битюгова,* ею же написан текстологический комментарий; историко-литературный комментарий написан *М. О. Габелъ* при участии *Н. В. Измайлова,* реальный комментарий — *М. О. Габель* при участии *И. А. Битюговой.*

Общая редакция тома принадлежит *Н. В. Измайлову* и *Е. И. Кийко.*

Вступительная заметка к примечаниям написана *Н. В. Измайловым.*

Условные сокращения

Горбачева, Молодые годы, Т — Горбачева В. Н. Молодые годы Тургенева. (По неизд. материалам). Казань, 1926.

Станкевич, Переписка — Переписка Николая Владимировича Станкевича. 1830–1840 / Ред. и изд. Алексея Станкевича. М., 1914.

Стасюлевич — Стасюлевич М. М. и его современники в их переписке. СПб., 1911–1913. Т. I–V.

Т, Рудин, 1936 — Тургенев И. С. Рудин. Дворянское гнездо. 2-е изд. М.; Л.: Academia, 1936.

Творч путь Т — Творческий путь Тургенева. Сборник статей под редакцией Н. Л. Бродского. Пг.: Сеятель, 1923.

Ausgewählte Werke — Iwan Turgénjew's Ausgewählte Werke. Autorisierte Ausgabe, Mitau — Hamburg, E. Behre's Verlag, 1869–1884.

Dolch — Dolch Oscar. Geschichte des deutschen Studententhums von der Gründung der deutschen Universitäten bis zu den deutschen Freihetskriegen. Leipzig, 1858.

Tagebücher — Varnbagen K.-A. Tagebücher, 1861–1905, Bd. I–XV.

Список иллюстраций

Собственная господская контора

Впервые опубликовано: Московский вестник, 1859, № 1, с. 8–12.

В собрание сочинений впервые включено: *Тургенев* И. С. Полн. собр. соч. Третье изд. СПб., 1891. Т. X, с. 219–232.

Автограф неизвестен.

Печатается по тексту первой публикации.

Датируется 1852–1853 гг. — временем написания романа «Два поколения» (см. наст. том, с. 530). О том, что «Собственная господская контора» является отрывком из этого не дошедшего до нас произведения, свидетельствует не только подзаголовок («Отрывок из неизданного романа»), но и письмо Тургенева к П. П. Васильеву от 14 (26) июля 1870 г., в котором писатель сообщал: «…сколько я помню, был действительно помещен отрывок из сожженного мною романа под названием „Собственная господская контора“ в журнале < ...>, издававшемся год или два в Москве под заглавием, если не ошибаюсь — „Московского вестника“».

Отрывку «Собственная господская контора» в плане романа «Два поколения» соответствует окончание первой главы первой части: «Г<агина> хочет заниматься. Переход в контору. Léon. Кинтильян. Гнев, неудовольствие. Требуется Васил<ий> Васильевич». На полях написано: «Конт<ора>» и «Эту главу на *две*» (см. наст. том, с. 353).

Обескураженный отрицательными отзывами о его романе «Два поколения» Н. Х. Кетчера, В. П. Боткина и других своих друзей и знакомых (см. с. 531–533), Тургенев не собирался печатать даже отрывков из этого произведения. По-видимому, он просто уступил настоятельным просьбам редактора «Московского вестника» — Н. Н. Воронцова-Вельяминова, а также ближайших сотрудников — Н. А. Основского и И. В. Павлова, просивших Тургенева поддержать новое издание. Это подтверждается, в частности, письмом Тургенева к Е. П. Ковалевскому от 25 сентября (7 октября) 1858 г., в котором писатель сообщал, что участники «Московского вестника» ему «знакомые люди» и что он тоже «обещался участвовать в этом журнале». Во всяком случае некоторые сомнения Тургенев испытывал даже накануне выхода в свет первого номера «Московского вестника». 15 (27) февраля 1859 г. он писал И. В. Павлову: «Глава из моего брошенного романа, боюсь, несколько устарела — по крайней мере мне самому так показалось».

При ее появлении «Собственная господская контора» почти не вызвала печатных критических откликов. В объявлении «Московских ведомостей» о выходе в свет № 1 «Московского вестника» об этом отрывке из «неизданного романа И. С. Тургенева» лишь упоминалось *(Моск Вед,* 1859, № 42, 18 февраля, с. 320). В «Заметках Нового поэта» сообщалось, что в литературном отделе первых двух номеров «Московского вестника» уже помещено «несколько небольших, но замечательных произведений», в частности «превосходный отрывок из неизданного романа И. С. Тургенева: „Собственная господская контора“» *(Совр,* 1859, № 3, отд. III, с. 203). О выходе в свет пяти первых номеров «Московского вестника» писали «С.-Петербургские ведомости» (1859, № 64, 22 марта, с. 274), причем в числе других литературных произведений также указана была «Собственная господская контора». Позднее в фельетоне «Русская литература» той же газеты, подписанном буквами Н. Н., указывалось, что «Московский вестник» «замечателен блистательными именами своих сотрудников», из которых многие «украсили уже страницы журнала своими статьями». По мнению автора, «резче других выдаются своими достоинствами статья г. Оптухина < ...>, рассказ г. Плещеева < ...> и в особенности рассказ И. С. Тургенева „Собственная господская контора“ (отрывок из романа)» *(СПб Вед,* 1859, № 117, 31 мая, с. 517).

Как уже упоминалось выше, в плане романа «Два поколения» (наст. том, с. 351) отрывку «Собственная господская контора» соответствует окончание первой главы первой части романа. Именно об этом окончании и об эпизоде из 7 главы первой части упоминал Анненков, когда писал Тургеневу 6 (18) июля 1853 г.: «Вы спрашиваете: цензурна ли, или нет ваша повесть <„Два поколения“>? И да, и нет — смотря по тому, что будет в целом. Если выйдет частность, случай, исключение — нет; если похожее на дело общее, на возможность существования во многих углах — да, принимая уже, разумеется, осторожность изложения в обоих случаях главным делом < ...> Поэтому, сдается мне, барыня в своей конторе не будет пропущена, а барыня на прогулке будет пропущена, хотя в последней барыня гнуснее, и от нее более тошнит, чем от первой барыни» *(Рус Обозр,* 1894, № 10, с. 491).

Основные персонажи отрывка «Собственная господская контора» значатся под теми же именами в перечне «Главных действующих лиц» плана романа «Два поколения». Это Глафира Ивановна (в плане указано, что ее фамилия — Гагина, возраст — 52 года, она вдова, богатая помещица). Об управляющем Василии Васильевиче в плане

сообщается, что он также Гагин, что ему 44 года, он отставной штаб-ротмистр и двоюродный брат покойного мужа Глафиры Ивановны. Секретарь Левон (Léon) Иванов в плане фигурирует без фамилии, о нем сказано очень кратко: Léon, секретарь. Кинтилиан, главный приказчик, в плане назван управляющим и уточнен его возраст: 54 года (в «Собственной господской конторе» он — «человек лет пятидесяти с лишком»). Бурмистр Павел в плане романа назван Онисимом; о Суслике сказано, что это мальчик 15 лет. В разговорах этих действующих лиц упоминается Дмитрий Петрович (в плане романа указано, что он — сын Гагиной, поручик в отставке, 26 лет) и Аграфена (в плане романа — Аграфена Никитишна, главная служанка, 36 лет). Почти все эти персонажи входят также в список действующих лиц комедии «Компаньонка», задуманной Тургеневым еще в 1850 году (см. наст. изд., т. 2, с. 524, а также в этом томе, с. 351–352). Тематически отрывок «Собственная господская контора» связан с очерком «Контора» (1847), вошедшим в книгу «Записки охотника» (1852).

После чтения первой части романа (в 1853 г.) современники Тургенева в своих письмах к нему отмечали мастерство автора в создании образов Глафиры Ивановны и Василия Васильевича. Так, например, Анненков 12 (24) июня 1853 г. (письмо это ошибочно опубликовано с датой 1 июня) с удовлетворением отмечал, что «сама барыня — тип новый», который, «будучи разработан впоследствии, несомненно, сделается еще выпуклее и оригинальнее» *(Рус Обозр,* 1894, № 10, с. 489–490). В. П. Боткин, который в целом отрицательно отнесся к первой части романа, отмечал в письме к Тургеневу от 18 (30) июня 1853 г. «яркое и несравненно сильнее всех нарисованное лицо Глаф<иры> Ив<ановны>» *(Боткин и Т,* с. 42). Относительно образа Василия Васильевича писали Тургеневу С. Т. и К. С. Аксаковы. Первый из них 4 (16) августа 1853 г. сообщал, что, по его мнению, «превосходны» «Глафира Ивановна < ...> и Василий Васильевич»; в последнем он видел «истинный тип такого рода по преимуществу русских натур!» Из второстепенных лиц С. Т. Аксаков отмечал, между прочим, Леона и бурмистра, которые «очень хороши» *(Рус Обозр,* 1894, № 10, с. 482). У К. С. Аксакова наибольшее сочувствие вызывал образ Василия Васильевича — лицо, которое «чуть ли < ...> не лучше всех и написано» (там же, с. 484).

Характерно, что С. Т. Аксаков почувствовал жизненность, правдивость тех впечатлений Тургенева, которые легли в основу образа Глафиры Ивановны. В цитированном выше письме к Тургеневу

от 4 (16) августа 1853 г. он высказывал такое мнение: «Глафира Ивановна в первых главах не могла быть сочинена; в ней есть такие черты, которые в действительности встретиться могут…» Далее С. Т. Аксаков подчеркивал, что «Глафира Ивановна в первых главах великолепна…» *(Рус Обозр,* 1894, № 10, с. 482).

Отзыв С. Т. Аксакова интересен именно тем, что в нем подчеркнута «несочиненность» образа Глафиры Ивановны. Действительно, ее прототипом была мать писателя — Варвара Петровна Тургенева, о которой П. В. Анненков, лично ее знавший, писал: «Это была женщина далеко недюжинная и по-своему образованная», но «подверженная гонениям и оскорблениям в молодости, озлобившим ее характер, она была совсем не прочь от домашних радикальных мер исправления непокорных или нелюбимых ею подвластных. Сама она, по изобретательности и дальновидному расчету злобы, была гораздо опаснее, чем ненавидимые фавориты ее, исполнявшие ее повеления. Никто не мог равняться с нею в искусстве оскорблять, унижать, сделать несчастным человека…» *(Анненков,* с. 386–387). Сходство Гагиной с В. П. Тургеневой усиливается и тем, что своеобразная речь ее очень близка к слогу писем и дневников матери Тургенева (см.: *Богдановы,* с. 26).

Прототипом управляющего Василия Васильевича явился, по-видимому, дядя писателя, Николай Николаевич Тургенев, который при жизни В. П. Тургеневой в течение нескольких лет управлял Спасским-Лутовиновом. В детстве и в молодые годы Тургенев был очень привязан к Николаю Николаевичу, положение которого в доме матери писателя было нелегким, как и Василия Васильевича у Глафиры Ивановны.

Собственная господская контора. — О том, что в Спасском у В. П. Тургеневой комната, смежная с кабинетом, носила название «собственной барыниной конторы», упоминает В. Н. Житова в «Воспоминаниях о семье И. С. Тургенева» *(Житова,* с. 104).

…секретарь барыни, Левон Иванов — Léon… — Прототипом его был главный конторщик В. П. Тургеневой — Леон (Лев) Иванович Лобанов (см.: *Понятовский* А. И. Тургенев и семья Лобановых. — *Т сб,* вып. 1, с. 273–274).

Кроме Левона — Василий Васильевич… — В рукописи «Порядок в доме на 1848 год», принадлежавшей В. П. Тургеневой, читаем: «От 11-ти часов занимающиеся делами приходят без докладу к госпоже в контору и до 2-х часов идут занятия по конторе, донесения, доклады и проч.» *(ИРЛИ,* Р. II, оп. 1, № 451, л. 3 об.).

...дяди Глафиры Ивановны — свое имение... — В. П. Тургенева получила Спасское по наследству от своего дяди — Ивана Ивановича Лутовинова (см.: *Житова,* с. 23, 24).

...главный приказчик, Кинтилиан... — Это же имя носил управляющий конторой в имении В. П. Тургеневой. В одной из официальных бумаг, выданных «Спасской главной конторой» 8 ноября 1848 г., стоит подпись: «Управляющий конторой Кинтилиан Александров сын Саломин руку приложил». (Сообщил А. И. Понятовский.)

*«12 июля 184 * года — июля 11-го, во вторник...* — В первой публикации месяц и день недели указаны ошибочно. Должно было быть: 12 и 11 июня и вместо вторника — понедельник. Это подтверждается сопоставлением данного текста с планом «Двух поколений» (см. наст. том, с. 351), где момент начала романа, соответствующий отрывку «Собственная господская контора», отнесен к 12 июня 1845 г., которое в том году приходилось на понедельник. Кроме того, на следующей странице текста «Собственной господской конторы» (с. 10), где речь идет о «Заметках барыни», Глафира Ивановна приказывает Левону прочитать то, что она ему вчера продиктовала, и он читает: «понедельник, 11-го июня». Ошибки могли попасть в печатный текст из рукописи, представленной Тургеневым в редакцию «Московского вестника», так как писатель нередко допускал такого рода неточности, в частности, в своих письмах.

...села Введенского... — Введенье — религиозный праздник, так же как и Спас. Очевидно, наименование селу здесь дано по ассоциации со Спасским — имением В. П. Тургеневой.

...барыня гремит четками... — В. П. Тургенева в письме от 24 августа (5 сентября) 1840 г. просила сына прислать ей «четки», «по коим» она намеревалась «молиться и < ...> перебирать в руках» *(ГПБ,* ф. 795, № 93). Эта просьба повторена была ею и в письме к И. С. Тургеневу от 30 ноября (12 декабря) 1840 г. (там же).

...настоящий управляющий — мне надо... — В. Н. Житова вспоминает, что В. П. Тургеневу тревожили «поиски главного управляющего над всеми имениями. С Николаем Николаевичем Тургеневым, своим деверем, она примириться не хотела...» *(Житова,* с. 100–101). Об этом же свидетельствует письмо В. П. Тургеневой к И. С. Тургеневу от 24 апреля (6 мая) 1843 г., в котором она писала сыну: «Я говорю очень просто и внятно. Что я, оставшись вдовою от отца вашего, могла бы не иметь деверя, живущего в доме и управляющего

всем — и что же бы? Пропала что ли? — не пропала бы, взяла бы управителя < ...> как и все вдовы. Почти ни у кого нет деверьев управляющими, все они с невестками не ладят» (*ГПБ,* ф. 795, № 96). См. так же: *Заборова* Р. Б. Тургенев и его дядя Н. Н. Тургенев. — *Т сб,* вып. 3, с. 226–227.

Сказать матерям — откупиться… — По словам В. Н. Житовой, в Спасском также были «свой оркестр, свои певчие, свой театр с крепостными актерами…» *(Житова,* с. 25). Д. Н. Мамин-Сибиряк в историческом очерке «Город Екатеринбург» рассказывает о том, что антрепренер Соколов для первой труппы, игравшей в этом городе, сумел «законтрактовать в имении Тургеневых (Спасское-Лутовиново) человек пять девочек-подростков, обученных в домашней театральной школе < ...> Приобретение Соколова оказалось вообще очень удачным, и ученицы крепостной театральной школы оказались прекрасными актрисами, так что впоследствии пришлось заплатить за их выкуп на волю матери великого писателя И. С. Тургенева очень дорого, и эти деньги были собраны в Екатеринбурге» (*Мамин-Сибиряк* Д. Н. Собр. соч. в 12-ти т. / Под ред. Боголюбова Е. А. Свердловск, 1951. Т. XII, с. 273; см. также: *Громов* В. А. Судьба одной артистки. — Орловский комсомолец, 1962, № 186, 19 сентября).

…вдовьим участком или опридчим… — Опридчий (участок) — по-видимому, местное (орловско-курское) произношение старорусского термина — опричнины, т. е. вдовьей части, выделенной по наследству. Ср. у В. О. Ключевского в т. 2 «Курса русской истории»: «Княгини — вдовы < ...> получают от князей — завещателей, мужей своих < ...> *опричнины,* т. е. владения, принадлежавшие им вполне…» (*Ключевский* В. О. Соч. в 8-ми т. М., 1957. Т. II, с. 30). В. П. Тургенева также называла свою часть имения «вдовьей» в письме к сыну от 24 апреля (6 мая) 1843 г. *(ГПБ,* ф. 795, № 96). Подробнее см.: Лексикологические заметки к текстам Тургенева. 21. Опридчий (автор — *М. А.). — Т сб,* вып. 5, с. 339–340.

Опять Василий Васильевич — невыносимо! — Отношение Глафиры Ивановны к Василию Васильевичу и его деятельности в качестве управляющего чрезвычайно напоминает отношение В. П. Тургеневой к Н. Н. Тургеневу. 10 августа ст. ст. 1844 г. В. П. Тургенева писала М. М. Карповой: «… всё еще плохо моя контора меня слушает, всё еще я второе лицо, а как прикажет Ник<олай> <(иколаевич>. Странное дело, я почти всех зубов своих лишилась — но! один безобразит меня, стоит как кол. Сколько его ни качаю, не трогается, а вырвать не имею силы. Точно так и Ник<олай> Н<иколаевич> — не могу достичь поставить

его на свое место, т. е. мужчина в дому, как соль, хотя эта соль непромытый бузун» *(ИРЛИ,* Р. I, оп. 29, № 15, л. 30).

Вошел Суслик. — В. Колонтаева в «Воспоминаниях о селе Спасском» упоминает о том, что «в услужении у Варвары Петровны состояли < ...> мальчики, обязанности которых не были строго определены, но которые состояли, как говорится, „на побегушках“» *(ИВ,* 1885, № 10, с. 51). Упомянут также в числе действующих лиц в плане романа «Два поколения» (наст. том, с. 352).

Переписка

Источники текста

Переписка. Повесть. Черновой автограф. Хранится в рукописном отделе *ИРЛИ,* ф. 93, оп. 3, № 1261.

Отеч Зап, 1856, № 1, отд. 1, с. 1 — 28.

Т, 1856, ч. 3, с. 3 — 50.

Т, Соч, 1860–1861, т. III, с. 114–145.

Т, Соч, 1865, т. III, с. 153–189.

Т, Соч, 1868–1871, ч. 3, с. 153–188.

Т, Соч, 1874, ч. 3, с. 155–188.

Т, Соч, 1880, т. VII, с. 89 — 124.

Т, ПСС, 1883, т. VII, с. 95 — 133.

Впервые опубликовано: *Отеч Зап,* 1856, № 1, с подписью: Ив. Тургенев (ценз. разр. 1 января 1856 г.).

Печатается по тексту *Т, ПСС, 1883.* Выбор источника текста определен указанием Тургенева в письме от 14 (26) декабря 1882 г. А. В. Топорову, занимавшемуся делами издания: «Вместе с этим письмом отправляется VII (7-й) исправленный том». Речь идет о томе VII последнего прижизненного издания сочинений писателя.

По другим источникам в текст, взятый за основу, внесены следующие исправления:

Стр. 29, строка 30: «и не могу себе представить» вместо «не могу себе представить» (по всем источникам до *Т, Соч, 1874).*

Стр. 34, строка 22: «Он рассказывает» вместо «Он рассказывал» (по всем источникам до *Т, Соч, 1874).*

Стр. 40, строки 33–34: «беспрестанно вздрагивать» вместо «постоянно вздрагивать» (по всем источникам до *Т, Соч, 1880).*

Стр. 41, строка 32: «на мое безалаберное» вместо «на безалаберное» (по всем другим источникам).

Стр. 42, строки 10–11: «тянулись чуть зыблясь по темному морю» вместо «тянулись по темному морю» (по черновому автографу, *Отеч Зап, Т, 1856, Т, Соч, 1860–1861, Т, Соч, 1865).*

Стр. 47, строка 17: «каким мы ее» вместо «как мы ее» (по всем другим источникам).

Рукопись чернового автографа «Переписки» (*ИРЛИ*) содержится в двух тетрадях (в первой — 14 листов, во второй — 6).

На первом листе рукою Тургенева написано: «Perepiska. Переписка. Издано Т. 1844». На этом же листе зачеркнута первоначальная надпись: «Первый акт Д. Жуана». Весь лист испещрен беспорядочными, большей частью зачеркнутыми надписями и рисунками. На 13 л. об. в левом верхнем углу рукою Тургенева вписана генеалогия, подробно раскрывающая родственные отношения двух лиц: Семена и его жены Марфы. По всей вероятности, эта развернутая генеалогия связана с каким-то неизвестным и неосуществленным замыслом Тургенева.

На первом листе второй тетради написано: «Переписка. Кончена 8-го декабря 1854. — (начата в 1844!!!)»[83].

Таким образом, начало работы над повестью отделено от момента ее завершения десятилетним периодом.

Почерк и цвет чернил позволяют утверждать, что Предисловие, I, II и часть III письма (кончая словами: «я не вижу никакого выхода из моего положения») написаны одновременно, судя по указанию Тургенева — в 1844 г.; окончание III, IV, V и начало VI письма (кончая словами: «да винить-то нас все-таки нельзя») написаны в следующий, но, очевидно, не очень отдаленный по времени этап работы. Вероятнее всего, работа над этими письмами велась в конце 1849 — начале 1850 г., так как 10 (22) января 1850 г. Тургенев писал А. А. Краевскому:

«Кстати, говорил я Вам об одной небольшой вещице под названьем „Переписка“? — Я вам и ее могу выслать». И в другом письме к тому же адресату, от 23 марта (4 апреля) 1850 г.: «Зато я Вам предлагаю, кроме моей благодарности < ...> статью под назвапием „Переписка“, которую я либо вышлю Вам до отъезда, либо привезу сам…»

Окончание VI и VII письмо писались в апреле 1852 г., так как на 7 л. имеется авторская помета: «Ап<рель> 1852», а на 8 л. на полях написано рукою Тургенева: «Муму. — Переписка» (рассказ «Муму» написан в 1852 г.).

Кроме того, в письме к И. С. Аксакову от 28 декабря 1852 г. (9 января 1853 г.) Тургенев писал: «Уединение, в котором я нахожусь, мне очень полезно — я работаю много — и, кроме „П<остоялого> д<вора>“, написал первые три главы большого романа и еще небольшую вещь под названием „Переписка“». О «Переписке» как о повести, близкой к завершению, писал Тургеневу в том же 1852 г. Н. А. Некрасов (см. письмо от 21 октября (2 ноября) 1852 г. — *Некрасов,* т. X, с. 180).

Начиная от слов в VII письме: «А он? Ищите его!» — текст повести

писался отдельными отрывками, в расположении которых не всегда соблюдена последовательность.

По первоначальному замыслу всех писем должно было быть четырнадцать. На 1 л. об. Тургенев записал их номера столбиком и, начиная с VII, рядом с номером кратко обозначал содержание каждого письма. В ходе работы Тургенев изменил номер XI письма на XIV; письма XI и XII (окончательной пагинации) содержатся в меньшей из двух тетрадей рукописи и являются, по всей вероятности, позднейшими вставками. Всё это дает основание утверждать, что общее количество писем определилось только на последнем этапе работы Тургенева над «Перепиской», т. е. в 1854 году.

Таким образом, в работе Тургенева над «Перепиской» отчетливо прослеживаются по крайней мере четыре этапа, которые можно датировать 1844, 1849–1850, 1852 и 1854 годами (см.: *Громов* В. А. «Переписка». — *Т сб,* вып. 1, с. 240–243).

Первоначальный замысел «Переписки» тесно связан с художественными и идейными поисками Тургенева, относящимися к середине 1840-х годов, в частности с его первой повестью «Андрей Колосов» (1844) и со статьей-рецензией о «Фаусте» Гёте (1845; см.: наст. изд., т. 1 и 4). В художественном отношении Алексей Петрович — это образ, в котором развиты характерные черты психологического облика рассказчика из «Андрея Колосова». Алексей Петрович — это «лишний человек». В дальнейшем «лишний человек» по-разному варьировался на протяжении всего творчества Тургенева. Герой же типа Андрея Колосова, умеющий разумно и точно определять свое место в жизни, не привлекал внимания писателя вплоть до создания образа Инсарова в «Накануне» (1860).

Идейно-философские поиски Тургенева, во многом определявшиеся близким общением с Белинским, выразились в «Переписке» в стремлении автора вскрыть причины, порождавшее «лишних людей», и в страстном призыве жить действительной реальной жизнью, а не отвлеченными идеалами, выработанными в искусственной изолированности от повседневного человеческого бытия. К острой постановке этой проблемы Тургенева побуждали недавнее увлечение немецкой идеалистической философией и как отзвук этого увлечения — «философический роман» с Татьяной Бакуниной (*Бродский* Н. Л. «Премухинский роман» в жизни и творчестве Тургенева. — В кн.: *Центрархив, Документы,* с. 107–121), а также несомненное воздействие Белинского, который в 1840-х годах объявил в своих статьях непримиримую войну «идеалистическому

романтизму» во всех его проявлениях (см.: Русская повесть XIX века. Л., 1973, с. 269–270).

Анализ рукописи приводит к выводу, что в процессе работы над повестью первоначальный замысел ее усложнялся и расширялся в соответствии с новыми проблемами, волновавшими Тургенева. Так, в письмах, работа над которыми велась в 1849 — 1850-х годах, одновременно с созданием «Дневника лишнего человека», Тургенев уделил много внимания размышлениям Алексея Петровича над смыслом жизни и смерти. Эти же мысли волновали и героя «Дневника лишнего человека» (1850; см.: наст. изд., т. 4).

В начале 1850-х годов Тургенев неоднократно возвращался к раздумьям об участи русской дворянской интеллигенции. По его мнению, ее трагическая судьба определялась исторической судьбой русского народа. Он писал К. С. Аксакову 16 (28) октября 1852 г., что видит «трагическую судьбу племени» и понимает смысл «великой общественной драмы», разыгравшейся в современном русском обществе. В тех частях «Переписки», которые писались в самом начале 1850-х годов, Тургенев также говорил о том, что «обстоятельства» «определяют» участь людей (с. 26) и что в современном обществе не одни Марья Александровна и Алексей Петрович находятся в трагическом положении (с. 37). Трагическая судьба — типическое явление русской жизни. В ходе осуществления первоначального замысла значительно усилилось трагическое восприятие Тургеневым любви. Любовь представляется теперь Тургеневу как сила стихийная, являющаяся одним из проявлений извечных законов природы, над которыми человек не властен и которые являются для него одновременно источником и радости и страдания (см.: *Бялый* Г. А. Тургенев и русский реализм. М.; Л.: Советский писатель, 1962, с. 95–99).

Впервые эта мысль была развита Тургеневым в «Петушкове» (1847) и затем в «Трех встречах» (1852).

Тургенев много размышлял над «Перепиской» и всякий раз, возвращаясь к работе над ней, правил куски, написанные ранее (об этом свидетельствует цвет чернил и позднейшая карандашная правка).

Наибольшей правке подверглись страницы рукописи, посвященные главному герою — Алексею Петровичу. Необходимо подчеркнуть, однако, что основные психологические черты облика героя, намеченные еще в 1844 году, не изменились.

В первоначальном варианте Тургенев уделял значительно больше внимания раскрытию индивидуалистической рефлексии героя. В

окончательном тексте он вычеркнул несколько таких мелочных саморазоблачений Алексея Петровича. Так, в черновом автографе после слов: «и тешилось мое дрянное самолюбие» (с. 25) было: «Я, кажется, добился наконец смирения и перестал воображать себя средоточением вселенной. Каждый человек самому себе дорог и до конца жизни собой не налюбуется; но многие люди (и первый я, грешный) сверх того еще одарены страстью сообщать другим все свои впечатления. Они с таким умилением, так нежно, томно, снисходительно, так аппетитно рассказывают вам о своих привычках, даже странностях, даже слабостях, как будто никто — разве уж какой-нибудь самый ограниченный и завистливый чудак — не может не принимать живейшее участие в их рассказах. „Я всегда по утрам пью зельтерскую воду; у меня, знаете ли, по утрам не совсем хороший вкус во рту бывает; и ведь странное дело! Спрашивал я у докторов: отчего бы это“?» Вместо: «больше одним — торжество убеждения» (с. 27) в черновом автографе читаем: «больше одним из тех ничтожных существ, в которых привычка, дошедшая до бессознательности, отравляет самое стремление к истине, молодость безобразно слита с старостью, раздражительность живет рядом с жалким лукавством, обессиленной мысли не знаком покой естественной деятельности, как не знакомы ни искренняя радость, ни искреннее страдание, ни искреннее удовлетворение действительных убеждений».

Не сразу были найдены нужные слова и в том месте повести, где Тургенев раскрывал причины, сделавшие героя «лишним человеком». Первоначально Тургенев больше внимания уделял раскрытию объективных причин, обусловливающих появление «лишних людей». В соответствии с этим в черновом автографе после слов: «определенного направления» (с. 27) — было начато: «Постановленные с самого начала в ложное положение, преданные в жертву глубокому противуречию…» Но потом, сосредоточив выяснение социальных предпосылок, делающих возможным существование «лишних людей», в начале VI письма, Тургенев развил мысль о нравственной ответственности каждой личности за свою судьбу. После слов: «… нельзя же требовать от каждого, чтоб он тотчас понял бесплодность ума, „кипящего в действии пустом“» — было: «и не по природному влечению, а по выбору посвятил себя чему-нибудь дельному [науке] — врожденная любовь к своей „личности“ торжествует».

Значительной правке, притом позднейшей, подвергся отрывок VI письма, где герой размышляет о смысле прожитой им жизни (с. 25–

26). В первоначальном варианте это рассуждение заканчивалось определением смерти, сделанным в материалистическом духе. Алексей Петрович писал там: «Молодость моя прошла, и как тому прохожему на горе мне всё видно назади, да и впереди мерещится многое, о чем живому теплому телу, не разложенному еще на первобытные земли и соли — вспоминать очень жутко».

В первоначальном варианте повести был указан также возраст героя — «лет под тридцать», в окончательном тексте о его возрасте ничего не сказано.

Не менее тщательно работал Тургенев и над образом героини повести Марьи Александровны.

Высказана была точка зрения, что изображение «философического романа» с Татьяной Бакуниной претерпело в творчестве Тургенева некую эволюцию от сатирического образа старой девы-философки в рассказе «Татьяна Борисовна и ее племянник» (1847) до образа Марьи Александровны в «Переписке» (см.: *Крестова* Л. В. Т. А. Бакунина и Тургенев. — *Т и его время,* с. 48–49). В действительности же образ Марьи Александровны задуман Тургеневым раньше, чем был написан рассказ «Татьяна Борисовна и ее племянник». Характеристика героини «Переписки» в трагическом аспекте ясна уже из второго письма, написанного Тургеневым в 1844 г. К особенной точности и ясности художественного воплощения своего замысла Тургенев стремился в письме IX, где раскрывается истинная сущность облика героини, подвергавшейся преследованиям со стороны обывательской среды, ее окружавшей.

Возможность изображепия героини-«философки» почти одновременно в двух различных аспектах (трагическом в «Переписке» и комическом в «Татьяне Борисовне и ее племяннике») объясняется тем, что и в реальных «философках», типичной представительницей которых была Татьяна Бакунина, Тургенев видел и положительные и отрицательные стороны, так же, впрочем, как и в «лишних людях». Нужно также принять во внимание то обстоятельство, что повесть заканчивалась Тургеневым в 1854 году, когда он, живя на даче под Петергофом, общался с О. А. Тургеневой и задумывался о возможной женитьбе на ней. Исследователи уже отмечали, что в XI письме, которое, как сказано выше, является позднейшей вставкой, отразились некоторые реальные факты биографии Тургенева, а образ героини, Марьи Александровны, дополнился чертами, характерными для О. А. Тургеневой (см.: *Истомин,* с. 113; *Назарова* Л. Н. Тургенев и О. А. Тургенева. — *Т сб,* вып. 1, с. 296–297).

В черновой рукописи героиня названа Марией Павловной. Очевидно, только готовя повесть к печати, Тургенев заметил, что в «Затишье» героиня названа этим же именем, и заменил его на «Марья Александровна». Отчество, вероятно, было также выбрано с намеком на Ольгу Александровну Тургеневу.

Черновой автограф «Переписки» позволяет сделать вывод, что в первоначальном варианте автобиографический элемент в повести присутствовал еще в большей степени.

Так, в первом варианте Тургенев прямо указал, что Марья Александровна писала письма из села Ш., что легко расшифровывается как село Шашкино (Мценского уезда, Орловской губернии), где в 1842 г. гостила Татьяна Бакунина и где протекал ее «философский роман» с Тургеневым.

Точно так же в первом варианте портрет-танцовщицы, которую полюбил герой, ассоциировался с внешним обликом Полины Виардо. В первоначальном тексте у героини были вместо золотисто-пепельных — черные волосы, вместо светлых — черные глаза и говорила она на ломаном испанско-французском наречии (намек на испанское происхождение П. Виардо).

Как всегда, значительной правке в рукописи подверглись пейзажи — русский и итальянский. При этом правка, как правило, вела к развитию и уточнению художественного образа. Так, например, в окончательном тексте о ручье, бегущем по долине, сказано: он «едва может пробраться сквозь густые травы и цветы…» (с. 43), а в первоначальном варианте было: он «едва пробирается сквозь спутанную зелень».

Через всю черновую рукопись проходит двоякое написание: «философка» и «филозофка». При этом «филозофкой» героиня называлась только в тех случаях, когда это определение употреблялось ее врагами в ироническом смысле (см. с. 34, 35, 42). В журнальном тексте «Отечественных записок» этот оттенок не соблюден.

Закончив работу над черновой рукописью «Переписки» 8 (20) декабря 1854 г., Тургенев обратился к Е. А. Черкасской с просьбой помочь ему найти переписчика. 17 (29) января 1855 г. он ей писал: «Любезная княгиня, у меня есть до Вас покорная просьба — мне моя „Переписка“ непременно нужна завтра к обеду — то сделайте одолжение, распорядитесь так, чтобы она была готова завтра часа — в 2 часа, а я за ней зашлю или сам заеду…».

Несмотря на то что еще в 1850 г. Тургенев обещал «Переписку» А. А. Краевскому для «Отечественных записок», он отдал ее в

«Современник» Некрасова и уже в начале февраля ст. ст. 1855 г. получил ее корректуру. Об этом мы узнаем из письма Тургенева к М. Н. и В. П. Толстым, которым он писал 8 (20) февраля 1855 г.: «… корректуру „Переписки“ отдайте Боткину — когда он за нею явится».

По неустановленным причинам «Переписка» не появилась в ближайшем, мартовском номере «Современника», и только в конце мая И. И. Панаев представил повесть на рассмотрение и одобрение цензору В. Н. Бекетову. 3 (15) июня 1855 г. И. И. Панаев писал Тургеневу: «…я должен сказать тебе, что показывал твою „Переписку“ Бекетову, и он пропускает всё, — только выкидывает безделицу!! — последнее письмо за слишком резкий его тон < ...> Актрису, говорит, любить нехорошо, или об такой любви не надо говорить с увлечением < ...> Что будешь делать?.. А я, признаюсь, посягал на „Переписку“, зная, что от тебя не скоро добьешься чего-нибудь» (*Лит Насл,* т. 73, кн. 2, с. 108). И, не дождавшись ответа от Тургенева, вторично писал о том же 15 (27) июня 1855 г.: «Не переделаешь ли ты последнее письмо в „Переписке“ — и в таком случае можно бы ее печатать < ...> Как ты думаешь?.. Если у тебя нет „Переписки“, я тебе пришлю корректуры с отметками Бекетова» (там же).

В архиве Петербургского цензурного комитета не сохранилось никаких документов, раскрывающих цензурную историю «Переписки», точно так же, как неизвестна и корректура повести с пометами цензора В. Н. Бекетова, о которой писал И. И. Панаев. Тургенев категорически отказался что-либо переделать в «Переписке» и, пользуясь этим предлогом, передал повесть А. А. Краевскому. Он писал по этому поводу И. И. Панаеву 13 (25) июня 1855 г.: «Я должен тебе сказать, что я рад отказу Бекетова; если б он пропустил „Переписку“ — и она бы у вас явилась, — я был бы поставлен в весьма ложное и неприятное положение к Краевскому, которому эта повесть — пока — принадлежит».

«Переписка» была опубликована без каких-либо изменений в первом номере «Отечественных записок» за 1856 г. В том же году «Переписка» была включена Тургеневым в третью часть «Повестей и рассказов». При подготовке повести для перевода в издании *1858, Scènes* Тургенев в последнем, XV письме дописал абзац, который и был впервые опубликован во французском переводе. Здесь после слов: «потому что умираю рабом» («…car je meurs esclave») — вставлено: Admirez up peu mon sort. Dans ma jeunesse, je voulais escalader le ciel et y trouver Dieu; puis j’ai rêvé le bien du genre humain, celui de la partie; puis je me suis résigné à m’arranger une vie d’intérieur; et voilà qu’une vile

taupinière m’a jeté par terre; que dis-je? dans la tombe. Ah! quel talent particulier nous avons pour finir ainsi, nous autres Russes! (с. 262; русский текст см. на с. 47: «Экая, как подумаешь — кончать таким манером»).

По неизвестным причинам этот абзац не вошел в издание *Т, Соч, 1860–1861* и был включен в русский текст повести только в 1865 г., но — вероятно, по цензурным условиям — без слов «et y trouver Dieu» (в русском тексте должно было быть: «В первой молодости я непременно хотел завоевать себе небо и найти там бога»). Во всех последующих изданиях своих сочинений Тургенев печатал «Переписку» без изменений, с несколькими малозначительными стилистическими поправками.

«Переписка» сразу же после опубликования ее в первом номере «Отечественных записок» за 1856 г. привлекла внимание критики.

«Московские ведомости» первые известили своих читателей о выходе в свет новой повести Тургенева. В обзоре, посвященном первым книжкам русских журналов за 1856 г., рецензент писал: «Замечательный талант г. Тургенева известен всем и каждому, и мы не будем распространяться о новой его повести. Скажем только, что она отличается тою же тонкостию анализа, тою же изящною отделкою, которые у г. Тургенева никогда не переходят в излишество и доставили ему заслуженную и громкую известность» *(Моск Вед,* 1856, № 10, 24 января). Вслед за «Московскими ведомостями» «Переписке» Тургенева посвятили небольшую рецензию «С.-Петербургские ведомости». В. Р. Зотов, охарактеризовав героя новой повести Тургенева, с особым вниманием отнесся к ее героине. Рецензент подчеркнул незаурядный ум Марьи Александровны, сильное чувство, блестящее воображение, «энергию воли и характера». Он, однако, не уловил идейно-художественную концепцию «Переписки» и потому писал, что повесть имеет неоправданный конец. Он так обосновывал свою точку зрения: «Однажды узнавши эту женщину (Марью Александровну), к другой можно было почувствовать только минутную прихоть, простое увлечение. Гораздо натуральнее было разочароваться в самой Марье Александровне, свидевшись с нею, найдя, что в жизни она совсем не та, как на бумаге: на мысли и на чувства так же легко надеть маску, как и на лицо. Я даже думал, что рассказ кончится именно таким образом, но автор дал ему другой оборот, развязал трагически эту маленькую драму сердца; на это у г. Тургенева были, конечно, свои причины, и драма, даже в таком виде, производит сильное впечатление» (*СПб Вед,* 1856, № 30, 7 февраля).

Более глубокое суждение о «Переписке» содержалось в обзорной

статье «Библиотеки для чтения» (1856, № 2, Журналистика). Автор обозрения первых книжек журнала за 1856 г. А. И. Рыжов (см.: *Егоров* Б. Ф. Критическая деятельность А. И. Рыжова. — Уч. зап. Тартуского гос. ун-та, № 65, 1958, с. 76–77) писал, что Тургенев в своей новой повести «очерчивает характер еще одного современного человека и характер девушки». По его мнению, герой повести — «это личность, погибшая от анализа, несмотря на присущие ей условия светлой и даже страстной жизни». Рецензент в заключение сделал вывод, что «Переписка» является «шагом вперед» на пути овладения ее автором «положительным светлым лиризмом» *(Б-ка Чт,* 1856, № 2, с. 71, 72).

После выхода в свет «Повестей и рассказов» И. С. Тургенева в 1856 г. критики еще раз высказали свое мнение о «Переписке», сопоставляя ее теперь с другими произведениями писателя, вошедшими в это издание.

А. В. Дружинин в статье, посвященной анализу творчества Тургенева в связи с появлением первого издания его сочинений, писал, что герой «Переписки», Алексей Петрович, «имеет кое-что сходное с личностями, на изображении которых столько раз останавливался г. Тургенев в последние года своей деятельности» *(Б-ка Чт,* 1857, № 5, отд. V, с. 29). По определению Дружинина, Алексей Петрович — это «больное дитя современного общества» (там же, с. 33), страждущее, подобно многим из предшествовавших героев Тургенева, «недугом воли». Причину страданий героя, который сам по себе «хороший и достойный», «правильно развитый по уму и сердцу» (там же, с. 32), Дружинин видел в том, что у Алексея Петровича отсутствовали нравственная энергия и сознание долга.

Что касается художественной формы «Переписки», то Дружинин считал ее наиболее соответствующей характеру дарования Тургенева. Он писал: «…письменная, или, как говорилось в старину, *эпистолярная,* манера повествования дается г. Тургеневу легче всякой другой манеры. Она дает простор мысли и лиризму, она легче допускает импровизацию, наконец, она не требует той объективности в изображении лиц, к которой мы так привыкли за последнее время» (там же, с. 34).

С. С. Дудышкин в своей статье о «Повестях и рассказах» И. С. Тургенева причислил героя «Переписки» к разряду «лишних людей» и в его характеристике исходил, как и в характеристике Веретьева (см. комментарии к «Затишью», наст. изд., т. 4), из мысли о необходимости «деятельности» и «примирения с жизнью». Дудышкин отмечал, что Тургенев, изображая Алексея Петровича, сделал, с его точки зрения,

шаг вперед на пути «разоблачения» «лишних людей». Он писал: «Виной тому, что этот господин сделался лишним, не одна пошлость жизни, не одно общество, не одни люди — нет, и сам этот милый идеал начинает являться с слабой стороны. Уже автор казнит его» *(Отеч Зап,* 1857, № 1, отд. II, с. 17). Дудышкин считал «Переписку» «лучшим и полнейшим произведением» Тургенева, свидетельствовавшим, что ее автора больше не интересовали «игра в страсти» и поиски «сильных ощущений». Однако и в «Переписке», утверждал Дудышкин, Тургенев не обнаружил «полного понимания жизни» (там же, с. 19).

Во многом сходную оценку «Переписки», но с другой, славянофильской точки зрения дал в «Русской беседе» К. С. Аксаков. Он так же, как и С. С. Дудышкин, с удовлетворением отметил, что в «Переписке» Тургенев продолжал разоблачение «лишнего человека». К. С. Аксаков писал, что в таких рассказах Тургенева, как «Петушков», «Дневник лишнего человека», «Гамлет Щигровского уезда», «Переписка», сказывается «уже не хвастовство эгоизма < ...>, а, напротив, сознание дрянности человеческой! В них выражается большею частью то бессилие, та мелкая ложь, которые у нас сопровождают и проникают часто и ум и чувство и составляют болезнь нашего века. Какая перемена, какая разница, и разница спасительная, с предыдущим содержанием повестей и рассказов. Долой маску и геройский костюм! Вот оно, изнуренное лицо современного человека, не отмеченное ни властительною мыслию, ни глубокою любовью братскою» (*Рус беседа,* 1857, т. I, отд. IV, с. 20).

В 1867 г., в связи с выходом в свет «Дыма» Тургенева, в «Отечественных запкеках» появилась анонимная статья под названием «Аскетизм у г. Тургенева» (автор — Б. И. Утин), в которой герой «Переписки» назван в ряду других героев Тургенева, переживших любовь, идущую «против всякого разума и достоинства жизни». Автор статьи писал, что так «любит герой „Переписки“ свою танцовщицу, Петушков — свою Василису, „лишний человек“ — свою Лизу, так любит, наконец, и Литвинов Ирину в „Дыме“» (*Отеч Зап,* 1867, № 7, отд. II, с. 54).

В последующие периоды изучения творчества Тургенева исследователи писали о том, что в «Переписке» Тургенев «на смену мужским типам выдвигает на первый план идеальные женские типы» (*Истомин,* с. 115).

В советские годы специальных статей, посвященных «Переписке», не появлялось. Об этой повести более или менее подробно говорится в

общих монографиях о творчестве И. С. Тургенева. Точные сведения о времени создания «Переписки» впервые были введены в научный оборот только в 1929 г. Б. М. Эйхенбаумом (см.: *Т, Сочинения,* т. VII, с. 358).

Г. А. Бялый отмечает большое значение «Переписки», считая, что в этой повести впервые сказано о социальной обусловленности «лишних людей» и намечена постановка вопроса об их исторической роли. Бялый приходит к иыводу, что в «Переписке» «даны уже все элементы будущего романа Тургенева как особого жанра… Здесь объяснено и истолковано, каков герой и какова героиня, каковы должны быть взаимоотношения между ними, какова должна быть завязка и развязка этих отношений, как будет совершаться суд над героем и по какому кодексу он будет судим» (см.: *Бялый* Г. А. Тургенев и русский реализм. М.; Л.: Советский писатель, 1962, с. 60–66).

…никогда не прикидывался Байроном. — Творчество английского поэта-романтика Джорджа Байрона (Byron; 1788–1824), участника революционно-освободительного движения в Италии и Греции, оказало влияние на всю европейскую литературу начала XIX в., в том числе и на русскую. Байрон создал образ молодого человека — замкнутого индивидуалиста, разочарованного в общественной жизни, но в то же время наделенного бунтарским духом и свободолюбием.

Подражание Байрону стало массовым явлением в эпигонской романтической поэзии и в быту (см.: *Розанов* М. Н. Очерк английской литературы XIX в. Ч. 1. Эпоха Байрона. М., 1922).

…вот в чем вопрос. — Слова из монолога Гамлета в одноименной трагедии Шекспира: «To be, or not to be: that is the question» («Быть или не быть, вот в чем вопрос», акт III, сцена I).

…«кипящего в действии пустом»… — Цитата из 7-й главы «Евгения Онегина» Пушкина. Там: «…современный человек… С его озлобленным умом, Кипящим в действии пустом» (строфа XXII).

…И мы бывали в Аркадии… — Перефразировка первой строки стихотворения Шиллера «Résignation» (1784): «Auch ich war in Arkadien geboren» («И я рожден в Аркадии»). Аркадия — центральная часть Пелопоннеса в Древней Греции. В искусстве и литературе Аркадия изображалась страной райской невинности, патриархальной простоты нравов и мирного счастья.

Не плакать сладостно — страны обетованной? — Перефразировка двух строк из стихотворения А. А. Фета «Когда мои мечты за гранью прошлых дней» (1844) из цикла «Элегии и думы». У Фета:

Я плачу сладостно, как первый иудей
На рубеже земли обетованной.

Облаком волнистым... — Стихотворение А. А. Фета (1843), которое Тургенев цитирует с поправкой, по его настоянию внесенной Фетом в издание «Стихотворений» 1856 г. (см.: Фет А. А. Полное собрание стихотворений. «Библиотека поэта». Большая серия, 1959, с. 760; *Благой* Д. Д. Тургенев — редактор Фета. — Печать и революция, 1923, кн. 3, с. 45–65; *Бухштаб* Б. Я. Фет. Очерк жизни и творчества. Л., 1974, с. 33).

«...так близко, так возможно» — неточная цитата из 8-й главы «Евгения Онегина» Пушкина. Там: «А счастье было так возможно, так близко!» (строфа XLVII).

«Женский ум лучше многих дум»... — народная поговорка, зафиксированная в «Толковом словаре» Даля в несколько отличном варианте: «Женский ум лучше всяких дум».

...ношу мужскую одежду и вместо «здравствуйте» отрывисто говорю: «Жорж Занд!»... — Жорж Занд (или Санд) — литературный псевдоним писательницы Авроры Дюде-ван (1804–1876). В начале литературной деятельности Жорж Санд носила мужской костюм, подчеркивая тем самим свое право наравне с мужчинами на свободу мысли и чувства.

...всё стремлюсь «туда»... — Призыв «туда, туда» (нем. Dahin, dahin) восходит к песне Миньоны из романа Гёте «Годы учения Вильгельма Мейстера» (1793–1796). В 1817 г. Жуковский вольно перевел эту песню под названием «Мина». Вот ее первый куплет:

Я знаю край! там негой дышит лес,
Златой лимон горит во мгле древес
И ветерок жар неба холодит,
И тихо мирт и гордо лавр стоит…
Там счастье, друг! туда! туда
Мечта зовет! Там сердцем я всегда!

К песне Миньоны обращался и Пушкин, который неоднократно варьировал ее начало: «Ты знаешь край?..» — создавая поэтический образ южной (крымской и итальянской) природы. (Об этом см.: *Жирмунский* В. М. Гёте в русской литературе. Л., 1937, с. 140.) В среде русских романтиков призыв «туда, туда!» воспринимался как восторженный порыв в страну вечной красоты и гармонии. В «Былом и думах» Герцен назвал один из разделов главы, в которой повествуется о его приготовлениях к бегству из николаевской России,

«Dahin, dahin» (ч. IV, глава XXXII).

...серенаду Шуберта... — Речь идет о песне Шуберта «Ständchen», написанной на слова немецкого поэта Людвига Рельштаба (1779–1860). Эта песня пользовалась большой популярностью в России. Ее неоднократно исполняла в своих концертах в Москве и Петербурге Полина Виардо (см.: *Сев Пчела,* 1845, № 94, 28 апреля). Текст песни был переведен на русский язык в 1840 г. Н. П. Огаревым под названием «Sérénade» («Песнь моя летит с мольбою...»); на слова Огарева исполняется до сих пор.

...муж, дети, горшок щей — вот что нужно женщине...» — Ср. у Пушкина в «Отрывках из путешествия Онегина»:

Мой идеал теперь — хозяйка,
Мои желания — покой,
Да щей горшок, да сам большой.

...иезуиты утверждают, что всякое средство хорошо, лишь бы достигнуть цели. — Иезуиты — члены католического монашеского ордена, основанного в XVI в. в Париже в целях распространения католицизма и упрочения власти папства. Разработанная иезуитами система морали была ими названа «приспособительной», так как давала возможность произвольно толковать основные религиозно-нравственные требования и совершать любое преступление во имя высшей цели — утверждения «славы божией». Иезуитам приписывается девиз — «цель оправдывает средства» (см.: *Михневич* Д. Е. Очерки по истории католической реакции (иезуиты). 2-е изд. М., 1955).

...петь «Аделаиду» Бетховена... — Романс на слова Маттисона (см. примеч. к «Якову Пасынкову», с. 411), сочиненный Бетховеном в 1796 г. (ор. 46).

...хроматическая гамма — гамма с полутоновым расстоянием между ступенями, насчитывающая двенадцать звуков в пределах октавы (в диатонической гамме — семь).

Я вспомнил свое пребывание в Неаполе... — Эти строки автобиографичны: Тургенев тоже был в юности в Неаполе — в апреле месяце ст. ст. 1840 года (ср. описание Неаполя в его письме к Н. В. Станкевичу от 14, 15 (26, 27) апреля 1840 г.).

...как Репетилов, попросил, чтобы везли меня куда-нибудь! — Перефразировка слов Репетилова из «Горя от ума» Грибоедова (действие IV, явл. 9).

Вспомните, кто не дал на этот вопрос ответа... — Во

французском тексте *(1858, Scènes,* с. 263) переведено: «Rappelez-vous la question posée par Pilate, et restée sans réponse» («Вспомните вопрос, заданный Пилатом и оставшийся без ответа»). Речь идет о вопросе, заданном Пилатом Иисусу: «Что есть истина?», на который Иисус не ответил (см.: Евангелие от Иоанна, глава 18, ст. 38). В текстах русских изданий эти слова отсутствуют — очевидно, по цензурным причинам.

Яков Пасынков

Источники текста

«Яков Пасынков (рассказ Ивана Тургенева)», черновая рукопись, хранящаяся в отделе рукописей *Bibl Nat,* Slave 87, л. 88-121, см.: Mazon, 4. D. 2; фотокопия — *ИРЛИ,* Р. I, оп. 29, № 160.

Дополнение к 1-й главе «Якова Пасынкова» («Прибавление к Пасынкову») от слов «Бывало он придет» и кончая словами «к моему рассказу». Черновой автограф хранится в отделе рукописей *ГБЛ,* ф. 306, И. С. Тургенев, картон 1, ед. хр. 2, л. 56–57.

Отеч Зап, 1855, № 4, отд. 1, с. 195–230.

Т, 1856, ч. 3, с. 51–116.

Т, Соч, 1860–1861, т. III, с. 146–187.

Т, Соч, 1865, ч. III, с. 191–239.

Т, Соч, 1874, ч. 3, с. 189–235.

Т, Соч, 1880, т. 7, с. 125–171.

Т, ПСС, 1883, т. 7, с. 134–185.

Впервые опубликовано: *Отеч Зап,* 1855, № 4, с подписью: Ив. Тургенев (ценз. разр. 31 марта 1855).

Печатается по тексту *Т, ПСС, 1883,* т. 7 (см. с. 384) со следующими исправлениями по другим источникам:

Стр. 52, строки 1–2: «г-жа Злотницкая» вместо «Злотницкая» (по всем источникам до *Т, Соч, 1880).*

Стр. 52, срока 20: «мне очень больно» вместо «мне больно» (по всем другим источникам до *Т, Соч, 1880).*

Стр. 65, строка 27: «крестьянских девочек» вместо «крестьянских девушек» (по черновой рукописи).

Стр. 70, строка 42: «взбежал» вместо «вбежал» (по всем источникам до *Т, Соч, 1874).*

Стр. 75, строка 18: «ну, изволь» вместо «изволь» (по всем другим источникам).

Как указал сам Тургенев на первой странице рукописи, «Яков Пасынков» был написан в течение двенадцати дней, с 13 по 25 февраля ст. ст. 1855 г., но и в этот короткий срок Тургенев работал над повестью с перерывами.

В письме к М. Н. и В. П. Толстым от 14 (26) февраля 1855 г. Тургенев писал: «Начал одну вещицу — да только три страницы

написал — и остановился. Когда Боткин уедет, у меня больше будет времени».

Ю. Г. Оксман высказал предположение, что в рассказе «Яков Пасынков» Тургенев в какой-то мере развил ранний неосуществленный замысел пьесы «Вечеринка» (см. наст. изд., т. 2, с. 693). Содержание этой пьесы Тургенев в 1848 г. рассказал Н. А. Тучковой-Огаревой, о чем она пишет в своих воспоминаниях: «Тургенев любил читать мне стихотворения или рассказывать планы своих будущих сочинений; помню до сих пор канву одной драмы, которую он собирался написать, и не знаю — осуществилась ли его мысль: он хотел представить кружок студентов, которые, занимаясь и шутя, вздумали для забавы преследовать одного товарища, смеялись над ним, преследовали его, дурачили его; он выносил всё с покорностью, так что многие, ввиду его кротости, стали считать его за дурака. Вдруг он умирает; при этом известии сначала раздаются со всех сторон шутки, смех. Но внезапно является один студент, который никогда не принимал участия в гонениях на несчастного товарища. При жизни последнего, по его настоянию, он молчал, но теперь он будет говорить о нем. Он рассказывает с жаром, каков действительно был покойник. Оказывается, что гонимый студент был не только умный, но и добродетельный товарищ; тогда встают и другие студенты, и каждый вспоминает какой-нибудь факт оказанной им помощи, доброты и проч. Шутки умолкают, наступает нелегкое, тяжелое молчание. Занавес опускается. Тургенев сам воодушевлялся, представляя с большим жаром лица, о которых рассказывал» (*Тучкова-Огарева* Н. А. Воспоминания. М.: Гослитиздат, 1959, с. 280–281).

Как свидетельствует рассказ Тургенева о содержании задуманной им пьесы «Вечеринка», в его новой повести только образ Якова Пасынкова напоминает благородный облик умершего студента. Все другие действующие лица, фабула и форма повествования не имеют никакой связи с неосуществленным замыслом пьесы.

Образ Якова Пасынкова, главного героя рассказа, тесно связан и с биографией самого Тургенева и с его творчеством.

Яков Пасынков — типичный представитель не только молодежи, окружавшей Тургенева в его студенческие годы, ознаменовавшиеся увлечением немецкой идеалистической философией (см.: *Горбачева, Молодые годы Т),* но и поколения, к которому принадлежали Станкевич, Белинский, Грановский.

Создавая образ Якова Пасынкова, Тургенев во многом сделал его похожим на Белинского, в особенности на тот портрет критика,

который он сам созвал в своих воспоминаниях. Тургенев писал о Белинском: он «был идеалист в лучшем смысле слова. В нем жили предания того московского кружка, который существовал в начале тридцатых годов и следы которого так заметны еще доныне < ...> По понятию Белинского, его наружность была такого рода, что никак не могла нравиться женщинам; он был в этом убежден до мозгу костей, и, конечно, это убеждение еще усиливало его робость и дикость в сношениях с ними. Я имею причину предполагать, что Белинский, с своим горячим и впечатлительным сердцем, с своей привязчивостью и страстностью, Белинский, все-таки один из первых людей своего времени, не был никогда любим женщиной. Брак свой он заключил не по страсти. В молодости он был влюблен в одну барышню, дочь тверского помещика Б-на; это было существо поэтическое, но она любила другого и притом она скоро умерла. Произошла также в жизни Белинского довольно странная и грустная история с девушкой из простого звания; помню его отрывчатый, сумрачный рассказ о ней… он произвел на меня глубокое впечатление… но и тут дело кончилось ничем».

Облик Белинского: его верность идеалам юности, его застенчивость, его неудачная личная жизнь и отношение к женщинам, даже роман с девушкой из «простого звания» — всё это характерно и для Якова Пасынкова.

Тургенев, говоря о Пасынкове, подчеркивал: «В устах его. слова: „добро“, „истина“, „жизнь“, „наука“, „любовь“, как бы восторженно они ни произносились, никогда не звучали ложным звуком. Без напряжения, без усилия вступал он в область идеала…» (наст. том, с. 60). Будучи сам искренне увлечен благородным стремлением ко всему прекрасному, Пасынков оказывал и на других благотворное влияние.

Именно эту черту подметил Тургенев и в Белинском. В своих воспоминаниях Тургенев рассказывал о страстной увлеченности Белинского философскими и общественными проблемами, требующими разрешения. Вспоминая об одной из дискуссий с Белинским, Тургенев писал: «„Мы не решили еще вопроса о существовании бога, — сказал он мне однажды с горьким упреком, — а вы хотите есть!..“ Сознаюсь, что, написав эти слова, я чуть не вычеркнул их при мысли, что они могут возбудить улыбку на лицах иных из моих читателей… Но не пришло бы в голову смеяться тому, кто сам бы слышал, как Белинский произнес эти слова; и если, при воспоминании об этой правдивости, об этой небоязни смешного, улыбка может прийти на уста, то разве улыбка умиления и

удивления…»

Яков Пасынков увлечен Шиллером и с восторгом читает его «Résignation» (1784) — одно из наиболее популярных в студенческих философских кружках стихотворений.

Характерно, что Белинский в пору увлечения немецкой идеалистической философией неоднократно писал об этом же произведении. Например, в статье «О критике и литературных мнениях „Московского наблюдателя“» (1836): «Шиллер был душа пламенно верующая, а посмотрите, какое безотрадное, ужасное отчаяние проглядывает в каждом стихе его дивного „Résignation“» *(Белинский,* т. 2, с. 160). И спустя несколько лет в письме к Н. В. Станкевичу (1839): «В *„Résignation“* он <Шиллер> принес в жертву общему всё частное — и вышел в пустоту» (там же, т. 11, с. 386).

Любимое музыкальное сочинение Пасынкова — «Созвездие» Шуберта (см. ниже, с. 411). Этот факт тоже не случаен. Песни Шуберта были очень любимы в кружке Станкевича (см.: *Станкевич, Переписка,* с. 310, 372, 392 и др.) и в частности Белинским. В одном из писем к В. П. Боткину он писал, имея в виду песню Шуберта «Шарманщик» из сборника «Зимние путешествия» (1826–1828): «Бывают минуты, когда душа моя жаждет звуков. Дорого бы я дал, чтобы послушать в твоей комнате „Leiermann“; мне кажется, я зарыдал бы, если бы, проходя по улице, услышал под окном его чудные, грациозные звуки, которые глубоко запали в мою душу» *(Белинский,* 11, с. 446).

По внешнему облику Яков Пасынков (узкие плечи и впалая грудь, болезненный вид) также напоминает Белинского. Тургенев подчеркивал неуклюжесть и светскую неловкость своего героя, перевернувшего в гостиной у Злотницких столик. Аналогичный случай произошел и с Белинским, который в гостиной князя В. Ф. Одоевского опрокинул столик и пролил при этом стоявшее на нем вино (об этом эпизоде рассказывают А. И. Герцен — см. «Былое и думы», ч. IV, гл. XXV — и И. И. Панаев — см. «Литературные воспоминания». М.: Гослитиздат, 1950, с. 299).

Известно, что в начале 1840-х годов Белинский вел непримиримую борьбу с «романтическим идеализмом» (см.: *Гинзбург* Л. Я. Белинский в борьбе с романтическим идеализмом. — *Лит Насл,* т. 55, с. 191); тем не менее это не мешало ему считать, что период увлечения немецкой идеалистической философией имел свое положительное значение. В одном из писем к Тургеневу (1847) Белинский писал по этому поводу: «…этот идеализм и романтизм может быть благодатен для иных натур,

предоставленных самим себе. Гадки они — этот идеализм и романтизм, но что за дело человеку, что ему помогло отвратительное на вкус и вонючее лекарство, даже и тогда, если, избавив его от смертельной болезни, привило к его организму другие, но уже не смертельные болезни: главное тут не то, что оно гадко, а то, что оно помогло» *(Белинский,* т. 12, с. 343). В этом же письме Белинский писал, что тот, кто «возрос в грязной положительности и никогда не был ни идеалистом, ни романтиком на наш манер», не может ощутить всей сложности человеческих взаимоотношений (ср. точку зрения Белинского на Адуева-старшего в статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года»).

Таким образом, изображая «последнего романтика», Якова Пасынкова, похожим на Белинского, Тургенев не нарушал исторической достоверности.

Связь рассказа «Яков Пасынков» с творческими замыслами Тургенева этих лет прослеживается в двух направлениях. Во-первых, в «Якове Пасынкове» затронута та же тема, что и в романе «Рудин», где изображен кружок московских романтиков во главе с Покорским. Во-вторых, этот рассказ отражает идейные поиски Тургенева, приведшие его к созданию речи «Гамлет и Дон-Кихот» (1860), замысел которой относится к началу 1850-х годов (см.: *Назарова* Л. Н. К вопросу об оценке литературно-критической деятельности И. С. Тургенева его современниками. — Вопросы изучения русской литературы XI–XX веков. М.; Л.: АН СССР, 1958, с. 164). Образ Якова Пасынкова — это один из первых вариантов тургеневских Дон-Кихотов, для которых характерно отсутствие эгоизма, самопожертвование и вера в высокие человеческие идеалы[84].

Дошедшая до нас черновая рукопись «Якова Пасынкова»[85] а также варианты прижизненных изданий позволяют проследить историю создания этого рассказа.

Работая над образом Якова Пасынкова, Тургенев постепенно дополнял первоначальную канву, стремясь усилить романтическую окраску психологического облика героя и подчеркнуть его внутреннее благородство.

Так, в окончательном варианте текста он полнее раскрыл душевную чистоту и искренность веры Пасынкова в добро, истину, науку, любовь («В устах его слова — другой души!..», с. 60, строки 30–36), вписал рассуждение героя о достоинствах поэзии Пушкина и Лермонтова («Пушкин выше — Лермонтов хорош», с. 75, строки 24–28) и дополнил его биографию эпизодом первой любви к юной немке

(«Я был поверенным — О, счастливые дни»; см. с. 60–61, строки 42–38). Тургеневу важно также было подчеркнуть созерцательность натуры Пасынкова, и он вставил дополнительное рассуждение героя на эту тему («Я брат — не творить», с. 77, строки 36–39). Тургенев много работал и над местом рассказа, где идет речь о том, что и в зрелом возрасте Пасынков не изменился и остался «весел душой». Так, вместо текста: «Как ни охватывал — нетронутой красе» (с. 63, строки 17–19) в черновом автографе первоначально было: «и жизненный холод, горький холод опыта — он не коснулся нежного цветка, таинственно расцветшего в сердце доброго Якова».

Особенно существенным является дополнение, сделанное Тургеневым, очевидно, в не дошедшей до нас беловой рукописи или в корректуре «Отечественных записок» («Помню я одну ночь сердце переполнилось», с. 62, строки 21–36). Это дополнение подчеркивало романтическую окраску устремлений Якова Пасынкова, необходимым элементом которых были ночные дружеские излияния и размышления о величии мироздания. Увлечение немецкой идеалистической философией в студенческих кружках сопровождалось усилением религиозной экзальтации (см.: *Горбачева, Молодые годы Т,* с. 18–24); поэтому Тургенев заставил своего героя в сделанном дополнении процитировать стихи, прославляющие «творца». В рукописном тексте осталось еще одно указание на повышенное религиозное чувство рассказчика. Вместо совета, который он дает Якову Пасынкову, искать утешение в искусстве (см. с. 61, строки 36–37), в рукописи остался неисправленным текст, содержащий совет искать утешение в религии.

Работая над образом Асанова, Тургенев стремился избежать прямых разоблачений этого персонажа. Проведенная с этой целью правка в рукописи была, очевидно, вызвана необходимостью психологической мотивировки возможности того безграничного чувства любви, которое питала к Асанову Софья. Так, вместо текста «Этот человек — нашим обществом» (с. 49, строки 23–29) в черновом автографе читаем: «Он начал беспрестанно проводить рукой по своему лбу, медленно приговаривая: „Как я красив! Какое у меня благородное чело!“ И потом с презрением посматривая на нас, прибавлял: „Боже мой! у меня дядя действительный тайный советник. А я? — с какой шушерой провожу я свое время! Это ужасно! que dirait mon oncle, s’il me voyait!“». А после текста «„Знакомый почерк!..“ — подумал я» (с. 50, строка 16) в автографе были строки, характеризующие Асанова как хвастуна: «Я протянул было руку к письмам, но Асанов их тотчас же спрятал… — То-то и есть! — промолвил он, выпив залпом стакан

шампанского — знай сверчок свой шесток! Могут ли быть у вас такие знакомства, как у меня, подумайте сами. — Куда нам! — ответил я и опять налил ему стакан…»

Напротив, создавая образ Софьи, Тургенев подчеркивал прямоту ее характера, честность, внешнюю сухость. В отброшенном варианте черновой рукописи прямолинейность поведения Софьи Тургенев определил как жестокость. Так, вместо текста: «при всей ее сухости, при недостатке живости и воображения» (с. 52, строки 14–15) было: «при всей ее сухости, даже жестокости, при недостатке живости и воображения…» — и строкой ниже вместо: «прелести прямодушия, честной искренности и чистоты душевной» было начато: «честная была».

Очевидно, по первоначальному замыслу Маша должна была занимать в рассказе еще более скромное место, но в ходе работы Тургенев решил познакомить читателя с историей ее жизни в Новгороде. Текст «У вас в Новгороде — Маша помолчала» (с. 86, строки 8 — 17) является дополнительной вставкой на полях чернового автографа.

Как и в рукописях «Затишья» и «Переписки», в первоначальном варианте «Якова Пасынкова» были французские фразы, которые в окончательном тексте заменены русскими.

После опубликования «Якова Пасынкова» в апрельском номере «Отечественных записок» 1855 г. в печати появилось несколько откликов. Критик «С.-Петербургских ведомостей» писал о последнем произведении Тургенева: «Рассказ чрезвычайно прост, но полон задушевной теплоты и наводит невольную тихую грусть. Сам герой и твердая, непреклонная героиня очерчены очень хорошо; но еще лучше их обрисовано одно эпизодическое лицо — мещанка Маша, девушка, которую некоторое время любил Пасынков. Она является всего в одной сцене, но характер ее набросан такой мастерской рукой, что Маша невольно приковывает к себе внимание читателя. Грациозный образ ее напоминает лучшие создания г. Тургенева» (*СПб Вед,* 1855, № 81, 15 апреля).

Рецензируя в январе следующего 1856 г. лучшие произведения, напечатанные в прошлогодних журналах, Вл. Зотов отметил рассказ Тургенева «Яков Пасынков». Он писал, что «Яков Пасынков», как и вообще все произведения Тургенева, проникнут «искренним сочувствием к изображаемым им типам» и написан «с тою удивительною простотою и безыскусственностью языка, которая дается в удел только истинным художникам» *(СПб Вед,* 1856, № 21, 26

января).

Появление нового рассказа Тургенева было встречено сочувственно также и «Современником». В «Заметках Нового поэта» (И. И. Панаева) говорилось о том, что, создавая «Якова Пасынкова», «г. Тургенев имел счастливую мысль вступиться за романтизм. Вступаться за невинно угнетенных и притесненных — всегда подвиг, и уже одна эта мысль заслуживает полного сочувствия и одобрения». Сказав далее о насущной необходимости разоблачения «торжествующего положительного человека», Новый поэт писал, что «такой подвиг может совершить только такой талант, каким владеет, например, автор „Записок охотника“, ибо для этого подвига необходим, кроме тонкого анализа внутренних ощущений и глубокого поэтического чувства, еще собственный жизненный опыт… Только тот, кто сам поэт, кто пережил все эти романтические порывания, стремления и верования, — только тот может вступиться за них горячо и с успехом».

Приветствуя появление «Якова Пасынкова», критик «Современника» считал, однако, что этот рассказ — «только намек на такой подвиг; это небольшой эскиз, набросанный для будущей картины, эскиз бойкий, но в котором мысль автора еще можно только угадывать» *(Совр,* 1855, № 5, отд. V, с. 121). В художественной незавершенности «Якова Пасынкова» Тургенева, очевидно, обвиняли и в личной беседе его литературные друзья. Учтя критические замечания, Тургенев при подготовке «Якова Пасынкова» к изданию в сборнике «Повестей и рассказов» (1856) дописал несколько страниц, посвященных главному герою.

В прибавленном тексте (см. с. 63–65: «Бывало он придет — к моему рассказу») говорилось о том, что Пасынков любил читать вслух новинки литературы для молодых людей, в обществе которых он бывал, что он любил музыку и особенно романтические «Созвездия» Шуберта, что он застенчив и неловок в обществе. Таким образом, новые штрихи, добавленные Тургеневым к облику Якова Пасынкова, сделали его еще более похожим на Белинского.

Вставленная глава важна также и тем, что в ней содержится несколько намеков на возможность романтического характера отношения к герою Варвары Злотницкой, о преданной любви которой читатель узнавал в первопечатном тексте только в конце рассказа.

Все эти дополнения сделали образ Якова Пасынкова более определенным и художественно завершенным, а композиции рассказа в целом придали стройность и логическую обоснованность.

Во всех последующих прижизненных изданиях, «Яков Пасынков» печатался без существенных поправок, исключение представляет лишь текст этого рассказа во французском издании *1858, Scènes.* В этом издании, принимая во внимание, что его читателями будут французы, плохо осведомленные в русской литературе, Тургенев сделал некоторые незначительные изменения и дополнения.

Вместо: «Мечта, мечта… Что такое мечта? Мужик Собакевича — вот мечта. Ох!» (с. 79, строки 7–8) — во французском переводе напечатано: «Ah! les rêves!.. les rêves… Rien de pareil aux rêves… Le mari de Sophie… C'est aussi un rêve» («Ах! мечты, мечты… ничего нет равного мечтам… Муж Софьи… И это тоже мечта…», с. 109). Кроме того, к тому месту рассказа *(1858, Scènes,* р. 105), где речь идет о стихотворении Лермонтова «Завещание», во французском тексте сделано примечание, в котором приведен полный прозаический перевод этого стихотворения.

После выхода в свет «Повестей и рассказов» (1856) Тургенева рассказ «Яков Пасынков» еще раз привлек внимание критиков.

С. С. Дудышкин в статье, посвященной «Повестям и рассказам» Тургенева, рассматривал образ Якова Пасынкова с точки зрения своего буржуазного идеала «честного труженика», которому этот герой не соответствовал. Дудышкин считал, что романтизм в русской жизни «был случайностью, эпизодом литературным и не относился к жизни народа никогда как ее здоровая часть» *(Отеч Зап,* 1857, № 1, отд. II, с. 20). А раз так, то и в изображении образа романтика критик не видел никакого смысла. Яков Пасынков, по мнению Дудышкина, не может быть ни для кого примером, тем более что его вера «во всё прекрасное» автором «не вознаграждена». «Да, Пасынков верил в любовь, остался ей навсегда верен… следовательно, Пасынков может быть примером кому-нибудь? Но, боже! кто любил Пасынкова: Варвара Николаевна и Маша. И эту награду ему приготовил автор! Так зачем же выведен Пасынков?» (там же).

Дудышкин пришел к выводу, что Яков Пасынков так же, как и все тургеневские «лишние люди», не соответствовал идеалу «народности», проявление которого он сам видел в рабском примирении с русской действительностью, в «постепенности и умеренности».

Критик «Библиотеки для чтения» А. В. Дружинин, в противоположность Дудышкину, видел заслугу Тургенева именно в том, что он создал образ романтика. По его словам: «Новый герой новой тургеневской повести будто сам просился в свет. Он был нужен после Вязовниных, Астаховых и Веретьевых; в нем имела сказаться

нам оправдательная милая сторона той среды, из которой вышли лишние люди нашего времени, с их пороками и страданиями. Тургенев должен был вывести на сцену одного из тихих, благородных идеалистов, может быть, последнего из идеалистов в нашем обществе» *(Б-ка Чт,* 1857, № 5, отд. V, с. 23).

Однако, с точки зрения Дружинина, при всем благородстве идеи, которую Тургенев стремился воплотить в своем новом произведении, рассказ этот лишен художественной убедительности и цельности. Композицию «Якова Пасынкова» Дружинин считал не только «слабой и неполной, но, вдобавок еще, как бы распавшейся на две груды». Он не находил в рассказе «ни интриги, ни характеров, ни анализа высоких духовных ощущений…» (там же, с. 27).

Заканчивая свою статью о «Повестях и рассказах» Тургенева, Дудышкин писал, что критики разных направлений согласились с автором «Рудина», утверждающим: «вне народности нет искусства, нет жизни, нет истины», но истолковали при этом понятие «народности» каждый по-своему *(Отеч Зап,* 1857, № 4, отд. II, с. 72). И действительно, с точки зрения «народности» Дудышкин осудил образ романтика Пасынкова, а славянофил К. С. Аксаков, руководствуясь опять-таки требованием «народности», писал, что в рассказе «Яков Пасынков» «с сочувствием выставлен человек, вовсе не разочарованный, вовсе не гордый, а, напротив, кроткий и любящий. Недавно было у нас в моде смеяться над такими лицами; эта недостойная насмешка выходила из собственной бедности душевной насмехающихся, и потому тем с большим удовольствием встретили мы сочувствие автора к такому лицу, как Пасынков, — сочувствие, к какому способна лишь добросовестная любящая душа» *(Рус беседа,* 1857, т. I, Обозрение современной литературы, с. 21).

Совершенно иную интерпретацию образ Якова Пасынкова получил в революционно-демократической критике. Н. А Добролюбов в статье «Когда же придет настоящий день?» (1860) назвал Якова Пасынкова в числе тех героев Тургенева, для которых были характерными «сборы на борьбу». Эти герои, писал Добролюбов, «были вносители новых идей в известный круг, просветители, пропагандисты, — хоть для одной женской души, да пропагандист» *(Добролюбов,* т. II, с. 209).

О героине «Якова Пасынкова» Софье на страницах «Современника» писал А. Острогорский в статье «По поводу женских характеров в некоторых повестях» (1862). Автор статьи отметил в характере Софьи «много задатков к доброму влиянию», но причину ее страданий объяснил слишком прямолинейно. Он считал, что героиня

имела все задатки для того, чтобы оказать благотворное влияние на Асанова. По мнению А. Острогорского, Софья потерпела крах в «перевоспитании» Асанова только потому, «что она, руководясь воспоминаниями о том, как ее маменька учила ее благонравию и приличию, думала, что перед нею стоит такой же ребенок, каким сама была некогда, что он так же обязан любить ее и слушаться, как некогда она была обязана питать эти похвальные чувства к своей маменьке <…>. Потерпев неудачу, она стала в обществе в положение невинно гонимого существа, она возбуждала сожаление к себе и, кажется, мало-помалу привыкла смотреть на себя с этой же точки зрения, нисколько не подозревая унизительности этих сожалений» *(Совр,* 1862, № 5, отд. VIII, с. 23–24).

Критик «Современника» требовал от Софьи действий, которые соответствовали бы идеалу женщины, сложившемуся в революционно-демократической среде. Между тем Тургенев поставил перед собою иную задачу. Трагедия Софьи — это еще одно проявление тургеневского представления о любви как о стихийной силе, не подвластной человеку.

В этой связи необходимо упомянуть о сестре Софьи Варе, которая тоже молча и безответно любила всю жизнь Якова Пасынкова. Образ Вари не был замечен критикой. Это обстоятельство, очевидно, можно объяснить тем, что в критике не обсуждался тот аспект повести, в связи с которым об образе Вари можно было бы говорить, а именно — трагедийное осмысление роли любви в жизни человека.

«Яков Пасынков» привлекал внимание критиков и исследователей творчества Тургенева и после смерти писателя.

Вопрос о связи рассказа «Яков Пасынков» с воспоминаниями Тургенева о Белинском впервые был поставлен И. Ивановым, который писал, что «Яков Пасынков» — это не рассказ в обычном смысле слова, а «несколько отрывочных воспоминании, очень напоминающих воспоминания, например, о Белинском, — только с большей художественною „вольностью“» *(Иванов,* с. 219).

О связи образа Якова Пасынкова с личностью Белинского с еще большей определенностью писал С. М. Петров, высказавший мысль, что с «образом Якова Пасынкова в творчество Тургенева входила тема героического < ...> Герой тургеневской повести был из тех русских людей, которые в 60 — 70-е годы шли в народ, а затем попадали на каторгу во имя светлой и благородной идеи» (*Петров* С. М. И. С. Тургенев. М., 1961, с. 178–179).

Г. А. Бялый в монографии о Тургеневе не выделяет Якова

Пасынкова из категории «лишних людей». Он считает, что, создав образ «последнего романтика» лишенным черт эгоизма и самолюбия, Тургенев тем самым подготовил читателей к тому, чтобы «они увидели в людях 1840-х годов не только шлак истории, но и предшественников дальнейшего исторического движения» (*Бялый* Г. А. Тургенев и русский реализм. М.; Л., 1962, с. 67).

...истина в вине. — Поговорка, восходящая к латинскому выражению In vino veritas.

...ноктюрн Шопена. — Творчество Шопена завоевало широкую популярность в России еще в 1830-е годы. Музыкальный рецензент «Северной пчелы» писал в 1838 г. (№ 107, 14 мая), что Шопен является основателем романтической школы в музыке. Слава Шопена в России еще более упрочилась после концертов Листа, которые он давал в 1842, 1843 и 1847 годах в Петербурге, Москве, Киеве и других городах, включая в программу выступлений произведения Шопена (см.: Русские музыканты и критики о Шопене. — Советская музыка, 1949, № 5, с. 72–76). Ноктюрны были одним из излюбленных жанров Шопена.

...частном пансионе немца Винтеркеллера, в котором и я прожил три года. — Не исключена возможность, что, описывая пансион Винтеркеллера, Тургенев вспоминал пансион немца Вейденгаммера, в котором он провел около двух лет (1827–1828); см.: *Тихонравов* Н. С. И. С. Тургенев в Московском университете. — *ВЕ,* 1894, № 2, с. 710.

...называли его — сыном Ермака... — Ермак Тимофеевич (ум. 1585 г.), казачий атаман, предводитель похода в Сибирь, положившего начало присоединению этих земель к России и их освоению. Раненный в сражении с сибирским ханом, Ермак пытался переплыть приток Иртыша реку Вагай, но утонул. О Ермаке еще в XVI в. были сложены песни, впоследствии его образ неоднократно привлекал внимание писателей и художников.

...перед «святыню красоты...». — Неточная цитата из стихотворения Пушкина «Красавица» (1832).

...любила Маттисона, Уланда... — *Маттисон* (Matthisson) Фридрих (1761–1831) — немецкий поэт, автор сентиментальных элегий, пользовавшихся популярностью в конце XVIII — начале XIX в.

Уланд (Uhland) Иоганн-Людвиг (1787–1862) — немецкий поэт, автор романтических стихотворений, написанных большей частью на сюжеты средневековых легенд, многие из которых были переведены В. А. Жуковским.

...над нами — звездами их творец... — Тургенев приводит здесь в несколько измененном виде строки, которыми заканчивалось стихотворение И. И. Козлова «К другу В. А. Ж<уковскому>» (1822, опубл. 1825). Источником для стихов Козлова послужил рефрен гимна Шиллера «К радости» (см.: *Данилевский* Р. Ю. Стихотворная цитата в повести «Яков Пасынков». — В сб.: Тургенев и его современники. Л., 1977, с. 47–49).

...«Созвездия» Шуберта. — Первоначальный интерес к творчеству Шуберта в России был связан с идейными и философскими исканиями, шедшими в русле романтизма (см.: *Алексеев* М. П. Первые встречи с Шубертом. — В кн.: Венок Шуберту (1828–1928). Этюды и материалы. М.: Гос. изд., муз. сектор, 1928, с. 13–23). Именно поэтому Тургенев сделал любимым музыкальным произведением Пасынкова сочинение Шуберта. «Созвездия» («Die Gestirne») — песня, написанная Шубертом на слова Клопштока в 1816 г. Очевидно, в данном случае идет речь об исполнении «Созвездий» в переложении для фортепьяно.

...поехали — в Парголово — кареты взяли с Владимирской. — *Парголово* — поселок близ Петербурга. Это место Тургенев хорошо знал, так как жил там на даче в 1844 году. *Владимирская площадь* существует под тем же названием и ныне. От нее начинается прямой путь в Парголово.

«Снова тучи надо мною собралися в тишине...» — Первые строки стихотворения Пушкина «Предчувствие» (1828).

«В последний раз твой образ милый дерзаю мысленно ласкать». — Первые строки стихотворения Пушкина «Прощание» (1830).

«Соседка есть у них одна...» — Цитата из стихотворения Лермонтова «Завещание» (1840).

«На свете мало, говорят, мне остается жить...» — Цитата из того же стихотворения Лермонтова.

Вся жизнь паша сон, и лучшее в ней опять-таки сон. — Тургенев здесь перефразирует название драмы Кальдерона «Жизнь есть сон» (1631–1632), восторженный отзыв о которой содержится в его письме к Полине Виардо от 13 (25) декабря 1847 г. В другом письме к Полине Виардо, от 1 (13) августа 1849 г., удивляясь реальности ощущений, испытанных им во сне, Тургенев сказал: «жизнь есть сон, и сон есть жизнь». Об интересе Тургенева к испанской литературе см.: *Липовский* А. Увлечение И. С. Тургенева Кальдероном. — *Лит Вести,* 1903, т. VI, кн. 5, с. 33–37; *Алексеев* М. Тургенев и испанские писатели. — Литературный критик, 1938, № 11, с. 139; *Zviguilsky* A. Tourguénev et

l’Espagne. — Revue de littérature comparée, 1959, t. XXXIII, N 1, p. 50–79; *Бронь* Т. И. Испанские цитаты у Тургенева. — *Т сб,* вып. 1, с. 303–312.

Мужик Собакевича — вот мечта. — Очевидно, намек на эпизод из пятой главы «Мертвых душ» (1852) Гоголя, где, торгуясь с Чичиковым при продаже умерших крестьян, Собакевич характеризует их высокое мастерство каретника, каменщика, повара и расхваливает каждого из них, как живого.

Фауст

Источники текста

Совр, 1856, № 10, отд. I, с. 91–130.
Т, 1856, ч. 3, с. 321–385.
Т, Соч, 1860–1861, т. III, с. 188–230.
Т, Соч, 1865, ч. III, с. 387–435.
Т, Соч, 1868–1871, ч. 3, с. 379–426.
Т, Соч, 1874, ч. 3, с. 377–423.
Т, Соч, 1880, т. VII, с. 173–220.
Т, ПСС, 1883, т. VII, с. 186–238.
Автограф не сохранился.

Впервые опубликовано: *Совр,* 1856, № 10, отд. I, с. 91–130, с подписью: Ив. Тургенев (ценз. разр. 31 августа 1856 г.).

Печатается по тексту *Т, ПСС, 1883* со следующими исправлениями по другим источникам:

Стр. 90, строки 14–15: «целых девять лет. Чего, чего не перебывало в эти девять лет!» вместо «целых девять лет» (по *Совр и Т, 1856).*

Стр. 7, строка 24: «весь покривился» вместо «покривился» (по *Совр* и *Т, 1856).*

Стр. 7, строки 27–28: «она даже вскрикнуть не могла» вместо «она вскрикнуть не могла» (по *Совр* и *Т, 1856).*

Стр. 96, строки 35–36: «человек, говорят, весьма замечательный» вместо «человек, говорят, замечательный» (по всем другим источникам).

Стр. 99, строки 29–30: «я не увижу более этой милой девушки» вместо «я не увижу этой милой девушки» (по всем другим источникам).

Стр. 99, строка 37: «в руки не дастся» вместо «в руки не дается» (по всем другим источникам).

Стр. 101, строка 5: «сообщить тебе» вместо «сообщить» (по всем другим источникам).

Стр. 112, строка 22: «сама подойдет» вместо «подойдет» (по всем другим источникам).

Стр. 114, строка 4: «точно поселился мирный ангел…» вместо «поселился мирный ангел…» (по всем другим источникам).

Стр. 116, строки 24–25: «Я заглянул в беседку» вместо «Я взглянул в беседку» (по всем источникам до *Т, Соч, 1880).*

Стр. 119, строка 42: «Теперь я и при ней» вместо «Теперь я при ней» (по *Совр, Т, 1856, Т, Соч, 1860–1861, Т, Соч, 1865, Т, Соч, 1868–1871).*

Стр. 126, строка 14: «на. постель» вместо «в постель» (по всем источникам до *Т, Соч, 1880).*

Стр. 129, строка 1: «уж не будет» вместо «уже не будет» (по *Совр, Т, 1856, Т, Соч, 1860–1861, Т, Соч, 1865, Т, Соч, 1868–1871).*

Стр. 129, строка 14: «сторожила» вместо «оберегала» (по всем источникам до *Т, Соч, 1880;* указано Тургеневым в списке опечаток *Т, Соч, 1880,* но не учтено в *Т, ПСС, 1883).*

В «Современнике» «Фауст» был напечатан с рядом существенных опечаток.

В письме к Д. Я. Колбаснну от 2 (14) ноября 1856 г. из Парижа Тургенев привел список этих опечаток и просил его принять меры, чтобы устранить их при включении «Фауста» в издание «Повестей и рассказов» 1856 г. Однако выполнить просьбу Тургенева Колбасину не удалось, так как к тому времени «Повести…» были уже отпечатаны. Указанные Тургеневым опечатки были устранены в издании 1860 г. Список поправок, составленный Тургеневым, был опубликован по его требованию в «Современнике» (1856, № 12, отд. Библиографии, с. 50).

К работе над «Фаустом» Тургенев приступил в конце июня — начале июля 1856 г. Собираясь выехать в Москву и навестить В. П. Боткина, Тургенев писал ему 3 (15) июля 1856 г. из Спасского: «Наговоримся — я тебе кое-что прочту — я-таки сделал что-то, хотя совсем не то, что думал». И 13–14 (25–26) июля Тургенев уже читал Боткину в Кунцеве черновой текст «Фауста», а 16–17 (28–29) июля в Ораниенбауме — Некрасову и Панаеву. Работа над повестью продолжалась и за границей, куда Тургенев выехал 21 июля (2 августа). 18 (30) августа из Парижа Тургенев отослал рукопись «Фауста» в редакцию журнала «Современник». «Вот тебе, милый Панаев, — писал он в сопроводительном письме, — мой „Фауст“, выправленный по замечаниям Боткина, твоим и Некрасова. Желаю, чтоб он в этом виде понравился».

«Фауст» Тургенева был опубликован в октябрьской книжке «Современника» за 1856 г. В том же номере вслед за ним была напечатана 1-я часть «Фауста» Гёте в переводе А. Н. Струговщикова. Н. Г. Чернышевский сообщал об этом Н. А. Некрасову в Рим: «…мне не нравятся два „Фауста“ рядом — не потому, чтобы это было дурно

для публики, напротив — но Тургеневу это, может быть, не понравится. Вы оправдайте „Современник“ перед ним в этом совершенною необходимостью — что же было поместить, кроме Струговщикова?» *(Чернышевский,* т. XIV, с. 312). Некрасов в свою очередь писал Тургеневу: «…рядом с твоим „Фаустом“ в X № „Современника“… поместили „Фауста“ в переводе Струговщикова — понравится ли тебе это? Кажется, ничего, а перевод Стр<уговщикова> довольно хорош, и авось русский читатель прочтет его на этот раз, заинтересованный твоей повестью, которую наверно прочтет. Чернышевский оправдывается в помещении двух „Фаустов“ тем, что нечего было печатать, и очень боится, чтоб ты не рассердился» *(Некрасов,* т. X, с. 298)[86]. Тургенев в письме к И. И. Панаеву от 3 (15) октября высказывал свои опасения по этому поводу: «Я очень рад, — писал он, — что „Фауст“ в окончательном виде тебе понравился; дай бог, чтобы он понравился также публике. Вы хорошо делаете, что помещаете перевод Гётева „Фауста“; боюсь только, чтобы этот колосс, даже в (вероятно), недостаточном переводе Струговщикова, не раздавил моего червячка; но это участь маленьких; и ей должно покориться». «Неловким» соседство тургеневского и гётевского «Фауста» считал и Е. Я. Колбасин (см.: *Т и круг Совр,* с. 277).

В связи с опубликованием «Фауста» в «Современнике» возник конфликт между Тургеневым и М. Н. Катковым как редактором «Русского вестника». М. Н. Катков принял «Фауста» за еще не написанную, но обещанную «Русскому вестнику» осенью 1855 г. повесть «Призраки», работа над которой задержалась, и в объявлении о подписке на журнал в 1857 г. *(Моск Вед,* 1856, № 138, 17 ноября) выступил с обвинением Тургенева в нарушении своего слова. Тургенев опубликовал опровержение, в котором разъяснил возникшее недоразумение *(Моск Вед,* 1856, № 151, 18 декабря), после чего Катков и Тургенев еще раз обменялись открытыми письмами *(Моск Вед,* 1856, № 152, 20 декабря и *Моск Вед,* 1857, № 7, 15 января). «Фауст» в данном случае послужил лишь поводом для столкновения, причиной которого было известие о заключенном Тургеневым «обязательном соглашении» обисключительном сотрудничестве в «Современнике» с января 1857 г.

«Фауст» писался Тургеневым в обстановке намечавшегося политического кризиса, после окончания Крымской войны и смерти Николая I. Невеселые впечатления от современной писателю русской действительности дополнялись его личными переживаниями. Внутренние истоки повести, обусловившие ее грустную лирическую

тональность, раскрываются Тургеневым в письме к М. Н. Толстой от 25 декабря 1856 г. (6 января 1857 г.). «Видите ли, — писал Тургенев, — мне было горько стараться, не изведав полного счастья — и не свив себе покойного гнезда. Душа во мне была еще молода и рвалась и тосковала; а ум, охлажденный опытом, изредка поддаваясь ее порывам, вымещал на ней свою слабость горечью и иронией < ...> Когда Вы меня знали, я еще мечтал о счастье, не хотел расстаться с надеждой; теперь я окончательно махнул на всё это рукой < ...> „Фауст“ был написан на переломе, на повороте жизни — вся душа вспыхнула посадним огнем воспоминаний, надежд, молодости…»

Изображая душевное состояние героя повести, вернувшегося в родовое имение после долгого отсутствия и полюбившего замужнюю женщину, Тургенев исходил из личного опыта. Те же воспоминания детства, то же грустно-созерцательное настроение (см. письмо к С. Т. Аксакову от 25 мая (6 июня) 1856 г.), та же «внутренняя тревога», мысли об одиночестве, неустроенности и тоска по «счастью» (см. письмо к Е. Е. Ламберт от 9 (21) мая 1856 г.) овладели им при посещении Спасского в мае-июне 1856 г. «Я не рассчитываю более на счастье для себя, т. е. на счастье в том опять-таки тревожном смысле, в котором оно принимается молодыми сердцами; нечего думать о цветах, когда пора цветения прошла. Дай бог, чтобы плод по крайней мере был какой-нибудь — а эти напрасные порывания назад могут только помешать его созреванию. Должно учиться у природы ее правильному и спокойному ходу, ее смирению…», — писал Тургенев Е. Е. Ламберт 10 (22) июня 1856 г. из Спасского. К такому же заключению в «Фаусте» приходит после крушения своих надежд на счастье Павел Александрович Б.

Воссоздавая образ старинного «дворянского гнезда», Тургенев в первой главе повести описывает Спасское, его окрестности, сад, фамильную библиотеку (см. ниже, реальный комментарий к повести, с. 428). Позднее, в письме к Валентине Делессер от 5 (17) июня 1865 г., Тургенев, желая дать своей корреспондентке представление о Спасском, сослался на описание в «Фаусте». «Немного северо-западнее Мценска как раз и находится деревня, где в убогом деревянном домишке, ветхом, но довольно чистом, стоящем посреди большого сада, сильно запущенного, но от этого еще более прекрасного, я живу уже два дня и откуда вам пишу. Не знаю, помните ли Вы мой небольшой роман в письмах „Фауст“, так вот в первом его письме содержится довольно точное описание Спасского», — указывал Тургенев. То же подтверждал он и в письме к Теодору

Штормy от 24 июня (6 июля) — 3 (15) июля 1868 г.

Возможно, что прототипом героини повести, Веры Николаевны Ельцовой, отчасти послужила сестра Л. Н. Толстого М. Н. Толстая, с которой Тургенев познакомился осенью 1854 г. в Покровском, имении Толстых, находившемся недалеко от Спасского (см. письмо Тургенева к Некрасову от 29 октября (10 ноября) 1854 г.). Об обстоятельствах знакомства Тургенева с М. Н. Толстой рдесказывает Н. Н. Толстой в письме к Л. Н. Толстому. «Валерьян <муж М. Н. Толстой>, — пишет Н. Н. Толстой, — познакомился с Тургеневым; первый шаг был сделан Тургеневым, — он им привез номер „Современника“, где помещена повесть <„Отрочество“>, от которой он был в восторге. Маша в восхищении от Тургенева < ...> говорит, что это простой человек, он играет с ней в бирюльки, раскладывает с ней гранпасьянс, большой друг с Варенькой <четырехлетней дочерью М. Н. Толстой>…» *(Лит Насл,* т. 37–38, с. 729). Подобная же ситуация изображается в повести: Приимков, муж Веры Николаевны Ельцовой, знакомится с Павлом Александровичем Б., после чего последний становится частым гостем в их имении, гуляет по саду вместе с Верой и ее маленькой дочерью Наташей; героиня «Фауста», которая не любила читать «выдуманные сочинения», также иногда не отказывалась от невинных игр в карты.

1 (13) ноября 1854 г. Тургенев пишет П. В. Анненкову о М. Н. Толстой после знакомства с ней: «Сестра его <Л. Н. Толстого> < ...> — одно из привлекательнейших существ, какие мне только удавалось встретить. Мила, умна, проста — глаз бы не отвел. На старости лет (мне четвертого дня стукнуло 36 лет) — я едва ли не влюбился < ...> не могу скрыть, что поражен в самое сердце. Я давно не встречал столько грации, такого трогательного обаяния… Останавливаюсь, чтобы не завраться — и прошу Вас хранить всё это в тайне». Содержащаяся в письме характеристика М. Н. Толстой не конкретизирована, однако в ней улавливаются некоторые черты внешнего и внутреннего облика Веры Ельцовой, в которой Тургенев подчеркивает простоту, «спокойствие», умение слушать «внимательно», отвечать «просто и умно», «ясность невинной души» и «трогательное обаяние» ее «детской» чистоты. В начале повести Павел Александрович Б. испытывает такое же чувство тайной симпатии и сообщает о нем в своих письмах другу.

В повести нашел отражение и литературный спор, возникший между Тургеневым и М. Н. Толстой, в частности из-за отрицательного отношения ее к поэзии и беллетристике. Сама М. Н. Толстая в позднейших воспоминаниях, известных в записи М. А. Стаховича, так

рассказывает о возникновении замысла «Фауста»: «Чаще всего мы с ним спорили о стихах. Я с детства не любила и не читала стихов; мне казалось, и я говорила ему, что они все — выдуманные сочинения, еще хуже романов, которых я почти не читала и не любила.

Тургенев волновался и спорил со мною „даже до сердцов“ < ...> Раз наш долгий спор так настойчиво разгорячился, что перешел даже как-то в упреки личности. Тургенев сердился, декламировал, доказывал, повторял отдельные стихи, кричал, умолял. Я возражала, ни в чем не сдаваясь и подсмеиваясь. Вдруг я вижу, что Тургенев вскакивает, берет шляпу и, не прощаясь, уходит прямо с балкона не в дом, а в сад < ...> Мы с недоумением прождали его несколько дней < ...> Вдруг неожиданно приезжает Тургенев, очень взволнованный, оживленный, но без тени недовольства < ...> В тот же вечер он прочел нам < ...> повесть. Она называлась „Фауст“» (Орловский вестник, 1903, № 224, 22 августа). В хранящихся в *ГМТ* записках дочери М. Н. Толстой, Е. В. Оболенской, приводится еще один эпизод, нашедший отражение в повести: «Моя мать не была хороша собой, но она была умная, оживленная, непосредственная, необыкновенно правдивая, у нее были прекрасные глаза — лучистые глаза княжны Марьи; она была и прекрасная музыкантша. Ею очень восхищался И. С. Тургенев. Он часто бывал у нас в Покровском, там он любил слушать музыку. Однажды он ей вслух читал „Евгения Онегина“; он поцеловал у ней руку, она отдернула руку и сказала: „Прошу <пропуск в тексте> — сцена эта впоследствии описана в, Фаусте“» *(Т сб,* вып. 2, с. 250; ср. наст. том, с. 113). На сходство черт внешнего и внутреннего облика М. Н. Толстой и героини «Фауста» указывал также в своих мемуарах И. Л. Толстой: «Говорят, что одно время Тургенев был Марьей Николаевной увлечен. Говорят даже, что он описал ее в своем „Фаусте“. Это была рыцарская дань, которую он принес ее чистоте и непосредственности» (*Толстой* И. Л. Мои воспоминания. Л., 1969, с. 243). Сопоставляет младшую Ельцову и М. Н. Толстую и С. Л. Толстой, посвятивший последней в своей книге отдельную главу (см.: *Толстой* С. Л. Очерки былого. Тула, 1975, с. 282; см. кроме того статью Н. П. Пузина «Тургенев и М. Н. Толстая», в которой наиболее полно воссоздана история их взаимоотношений: *Т сб,* вып. 2, с. 248–258).

Однако сюжетная ситуация повести, конечно, значительно преображена по сравнению с реальной, и писатель не ограничился при ее обрисовке кругом впечатлений, связанных с каким-нибудь одним лицом. Так, например, внутренняя мотивировка отношения Веры к поэзии как к источнику ложно направленного воображения и

несбыточных мечтаний могла быть подсказана Тургеневу и Е. Е. Ламберт, которая 24 мая (3 июня) 1856 г. писала ему: «Я бы приняла ваш совет заняться Пушкиным, хоть бы для того, чтоб иметь с вами что-нибудь общее, но бог знает, что мне ничего не следует читать кроме акафиста. В душе моей часто было темно < ...> Пушкин < ...> пробуждает лишь одни страсти — не потому ль его любят женщины и поэты? В нем есть жизнь, любовь, тревога, воспоминания. Я боюсь огня» *(ИРЛИ,* № 3836, XXXб. 126).

«Фауст» Гёте не случайно привлек внимание Тургенева. Еще в молодости, студентом Берлинского университета, под влиянием лекций профессора гегельянца Вердера и кружка Беттины Арним, Тургенев увлекался Гёте и воспринимал его как романтика, пафос отрицания которого был направлен против «ига преданий, схоластики» во имя прав и свободы отдельной личности, яркой романтической индивидуальности. В 1844 г. Тургенев опубликовал в «Отечественных записках» свой перевод «Последней сцены» первой части «Фауста». Выбор этой сцены знаменателен и существен для замысла будущей тургеневской повести: в этой сцене дается трагическая развязка судьбы Гретхен, история которой произвела столь сильное впечатление на героиню повести Тургенева.

В 1845 г. Тургенев посвятил «Фаусту» в переводе М. Вронченко специальную статью, в которой по-новому подошел к творчеству Гёте. Вслед за Белинским и Герценом, которые в 1830-е годы, испытав воздействие Гегеля и Гёте, к 1840-м годам преодолевают немецкий философско-поэтический идеализм и критически относятся к политическому индифферентизму Гёте, Тургенев объясняет прогрессивные черты трагедии Гёте и ее историческую ограниченность связью «Фауста» с эпохой буржуазных революций. «„Фауст“, — писал Тургенев, — < ...> является нам самым полным выражением эпохи, которая в Европе не повторится, — той эпохи, когда общество дошло до отрицания самого себя, когда всякий гражданин превратился в человека, когда началась, наконец, борьба между старым и новым временем, и люди, кроме человеческого разума и природы, не признавали ничего непоколебимого» (наст. изд., т. 1, с. 215). Признавая великую заслугу Гёте в том, что он заступился «за права отдельного, страстного, ограниченного человека», «показал, что < ...> человек имеет право и возможность быть счастливым и не стыдиться своего счастия», Тургенев, однако, видит в «Фаусте» отражение трагедии индивидуализма. Для Фауста — по Тургеневу — не существует других людей, он живет только собою, его страстные

поиски истинного смысла жизни ограничены сферой «лично-человеческого», в то время как «краеугольный камень человека не есть он сам, как неделимая единица, но человечество, общество…» (там же, с. 216). Поэтому Тургенев считает «Фауста» ступенью, пройденной человеческой мыслью, и противополагает ему произведения нового времени, которые волнуют читателя не только «художественностью воспроизведения», но и своей социальной проблематикой.

Тема «Фауста» имеет свою давнюю традицию в европейской и русской литературе; в развитии ее Тургенев, для которого «Фауст» Гёте послужил поводом к разработке оригинального, независимого сюжета, занимает своеобразное место[87].

В своей повести Тургенев «привносит в него <„Фауста“ Гёте> характерное для него понимание жизни < ...> претворив тему на свой лад» (*Dédéyan* Charles. Указ. соч., с. 285). В тургеневской повести проблематика «Фауста» Гёте соотносится с воспроизводимой писателем современной ему русской действительностью и его собственными исканиями тех лет.

Остановившись в начале повести на первых юношеских впечатлениях Павла Александровича Б. от гётевского «Фауста», Тургенев воспроизводит весь комплекс связанных с ним своих личных воспоминаний, — здесь воспоминания и о сценическом воплощении трагедии Гёте на берлинской сцене, и о партитуре «Фауста» Радзивилла (см. реальный комментарий, с. 429). «Фауст» ассоциируется у Тургенева со временем его студенчества, порой молодых «желаний» и надежд (см. с. 94). И далее «Фауст» сделан психологическим центром повести, выступает как важный момент в формировании ее героев, как кульминация развития событий. Знакомство с «Фаустом» Гёте, который был воспринят героиней повести прежде всего в плане изображенной в нем любовной трагедии, помогло ей осознать неполноту своей жизни, разрушило барьер, воздвигнутый старшей Ельцовой, решившей построить жизнь дочери только на разумных, рациональных началах, отгородив ее от сильных чувств и страстей. Вера предстает в повести как натура цельная, прямая и самостоятельная, которая, полюбив, готова идти до конца, преодолеть любые препятствия, и Тургенев, вслед за Пушкиным, отражает в ее образе рост мысли и самосознания русской женщины того времени. Однако, показав неизбежность и закономерность пробуждения Веры от искусственного сна, в который она была погружена, и приобщения ее к жизни и одновременно трагический исход ее порыва к счастью, Тургенев в финале повести, в ее

заключительном философском аккорде, отчасти сливаясь с героем, потрясенным происшедшим и пересмотревшим юношеские незрелые представления о жизни и свободе, говорит о бесконечной сложности человеческого бытия, переплетении в нем вечных законов и отдельных судеб людей, о случайности или невозможности счастья, о преобладании утрат над радостями. Конечный суровый смысл жизни герой видит в необходимости постоянного «отречения», отказа от любимых мыслей и мечтаний во имя исполнения своего человеческого нравственного долга. Эта концовка перекликается с предпосланным повести эпиграфом из «Фауста» Гёте: «Entbehren sollst du, sollst entbehren» («Отречься <от своих желаний> должен ты, отречься»), который создавал ключевой настрой повествования, предсказывая «роковую» развязку. «В „Фаусте“, — писал Жирмунский, — чтение трагедии Гёте играет решающую роль в духовном пробуждении героини, в ее попытке моральной эмансипации и последующей катастрофе. Эпиграф из „Фауста“ Гёте < ...> подчеркивает элемент пессимистического скепсиса и отречения, присущий творчеству Тургенева» (*Жирмунский* В. Гёте в русской литературе. Л., 1937, с. 359). Несмотря на это, в повести содержатся элементы внутренней полемики с Гёте. Само «отречение», как верно отмечала К. Шютц, у Гёте имеет иной источник, чем у Тургенева. Если для Гёте, бунтующего в «Фаусте» против житейского аскетизма как «прописной мудрости» (см. реальный комментарий, с. 427) «отречение» является, по определению К. Шютц, «свободным самоограничением», на которое «человек идет добровольно, становясь властелином своей творческой силы», то Тургенев, по ее словам, «исходит из пессимистических предпосылок и приходит к отречению из оценки своей жизни и окружающего мира» (Dr. *Schütz* Katharina. Указ. соч., с. 107). «Жизнь — тяжелый труд», «не наложив на себя цепей, железных цепей долга, не может он <человек> дойти, не падая, до конца своего поприща…» — таково конечное убеждение героя повести.

Таким образом в повести Тургепева получили развитие его взгляды, высказанные в статье о «Фаусте» Гёте, но в ней же сказался и частичный отход писателя от его воззрений 1840-х годов.

В изображении судьбы героев повести, их отношений выступает характерная для Тургенева тема трагизма любви. Эта тема звучит и в предшествующих «Фаусту» повестях «Затишье», «Переписка», «Яков Пасынков» и в последующих — «Ася» и «Первая любовь». Рассматривая любовь как проявление одной из стихийных, бессознательных и равнодушных к человеку сил природы, Тургенев в

«Фаусте» показывает беспомощность, беззащитность человека перед этой силой. Не могут уберечь от нее героиню повести ни целенаправленное воспитание, ни «благополучно» устроенная семейная жизнь. Любовь возникает в повести как страсть, которая лишь на мгновение вносит в жизнь поэтическое озарение, а затем разрешается трагически. В то же время субъективно-лирическая сторона в повести тонко сочетается с планом объективно-реальным и не противоречит ее социально-психологической правде. История любви героя повести Павла Александровича Б. и Веры Ельцовой дается в определенной обстановке (русский поместный быт) и обусловлена их характерами и понятиями, выработанными под воздействием окружающей среды и воспитания. Мотив разочарования, идея долга, общественного служения, противопоставленного личным стремлениям, проходит и через другие повести Тургенева 1860-х годов, которые вместе с «Фаустом» служат подготовительными звеньями к «Дворянскому гнезду».

Тема любви в «Фаусте» соприкасается с вопросом о роли таинственной и иррациональной стихии в жизни человека. «Неведомое» также трактуется в повести как одно из проявлений всесильной природы. Интерес к нему объединяет «Фауста» с более поздним циклом так называемых «таинственных» повестей: «Собака», «Странная история», «Сон», «Песнь торжествующей любви», «Клара Милич», написанных Тургеневым в конце 1860-х — 1870-х годах, в период увлечения его естественнонаучным эмпиризмом (см. главу о «Таинственных повестях» в книге Г. Бялого «Тургенев и русский реализм». М.; Л., 1962, с. 207–221).

Повесть облечена в эпистолярную форму — это рассказ от лица героя в письмах. К этому приему Тургенев прибегал уже в «Переписке», где герои исповедуются в письмах друг перед другом. В «Фаусте» эта форма носит более емкий характер: излагаемый в письмах рассказ имеет новеллистическую композицию, включает в себя бытописание, портретные характеристики, пейзаж. Поэтому справедливо замечание, что «Фауст» воспринимался современниками и в настоящее время рассматривается как повесть, а подзаголовок «Рассказ в девяти письмах» не является «указанием на жанр», а ориентирует на «сказовый характер повествования» (см.: Русская повесть XIX века. История и проблематика жанра / Под ред. Б. С. Мейлаха. Л., 1973, с. 342–343). «Фауст» написан Тургеневым в пору дальнейшего совершенствования им «новой манеры», ведущей к созданию больших романов (см.: *Гитлиц* Е. А. К вопросу о

формировании «новой манеры» Тургенева (анализ повестей 50-х годов). — Изв. АН СССР. Серия лит. и языка, 1968, т. XXVII, вып. 6, с. 489–501).

Характерной особенностью повести является обилие литературных образов и реминисценций. Кроме Гёте и его трагедии «Фауст», которая определяет сюжет повести и играет столь существенную роль в судьбах героев, цитируются и упоминаются Шекспир, Пушкин, Тютчев. Героиня сравнивается одновременно с Маргаритой и с Манон Леско. Всё это часто встречается и в других произведениях Тургенева (такое же, например, преображающее воздействие, как «Фауст» Гёте на Веру, на героиню «Затишья» оказывает пушкинский «Анчар») и связано с более широким вопросом — о роли литературной традиции в его творчестве (см. об этом в статье А. Белецкого «Тургенев и русские писательницы 30 — 60-х годов», в которой отмечается развитие в «Фаусте» ряда сюжетных и идейно-тематических мотивов произведений русских романтических писательниц Е. А. Ган, Е. Н. Шаховой и М. С. Жуковой — *Творч путь Т,* с. 156–162). Типологическим связям «Фауста» с просветительской философской повестью XVIII века, особенно французской, образцом которой может служить упоминаемый Тургеневым «Кандид» Вольтера, а также их различию, своеобразному трагическому преломлению в реалистической тургеневской повести мысли просветителей о необходимости естественной цельности человека посвящена работа В. Н. Тихомирова «У жанровых истоков повести Тургенева „Фауст“» (см. развернутое резюме его доклада на научной межвузовской конференции в сб.: Проблемы литературных жанров. Томск, 1975, с. 71–73).

«Фауст» имел успех. Еще в незаконченном виде повесть понравилась Панаеву, Боткину и Некрасову, к которым Тургенев обратился за литературными советами. Проводив Тургенева за границу, где он должен был закончить работу над «Фаустом», Некрасов писал Фету 31 июля (12 августа) 1856 г.: «Ну, Фет! какую он повесть написал! Я всегда думал, что с этого малого будет прок, но, право, удивился и, разумеется, сильно обрадовался. У него огромный талант, и коли правду сказать — так он в своем роде стоит Гоголя. Я теперь это положительно утверждаю. Целое море поэзии, могучей, благоуханной и обаятельной, вылил он в эту повесть из своей души…» (*Некрасов,* т. X, с. 287). Некрасов же сообщал Тургеневу позднее, после появления повести в «Современнике», о том, что «„Фауст“ сильно гремит» (там же, с. 301). Сам Тургенев писал В. П. Боткину 25

октября (6 ноября) 1856 г. из Парижа: «Я получил из России письма — мне говорят, что мой „Фауст“ нравится…».

Сохранился ряд эпистолярных отзывов о «Фаусте», характеризующих восприятие повести в различных литературных кругах. П. В. Анненков, А. В. Дружинин, В. П. Боткин, представители «эстетической школы», высоко оценив лиризм повести, противопоставляли «Фауста» произведениям Тургенева с социальной проблематикой. Анненков «умилился», по собственному признанию, от «Фауста», потому что это — «свободная вещь» *(Труды ГБЛ*, вып. III, с. 59). Дружинин, имея в виду соответственно «гоголевское» и «пушкинское» направления, приветствовал то, что Тургенев, как ему казалось, «не усидел» на Жорж Санд и пошел вслед за Гёте *(Т и круг Совр,* с. 194). В. П. Боткин в письме Тургеневу от 10 (22) ноября 1856 г. дает развернутый отзыв о повести. Выделив в творчестве Тургенева произведения объективного плана, подобные «Запискам охотника», «затрагивающие известную струну», Боткин противопоставил им субъективные, в которых выражается «романтизм чувства», «высшие и благороднейшие стремления», как более соответствующие лирическому по своему характеру таланту Тургенева. Боткин видел в них залог будущего расцвета писателя, начало которому положено «Фаустом». Успех «Фауста», пишет он, «на стороне натуры твоей, на симпатичности рассказа, на общем созерцании, на поэзии чувства, на искренности, которая в первый раз, как мне кажется, дала себе некоторую волю» *(Боткин и Т,* с. 101–103).

Положительно отнесся к повести и Л. Н. Толстой, о чем свидетельствует запись от 28 октября 1856 г. в его дневнике: «Прочел < ...> „Фауста“ Тург<енева>. Прелестно» *(Толстой,* т. 47, с. 97). В. Ф. Лазурский в своем «Дневнике» 5 августа 1894 г. записал интересное высказывание Л. Н. Толстого, в котором «Фаусту» отводится определенное место в духовной эволюции Тургенева. «Я всегда говорю: чтобы понять Тургенева, нужно читать, — советовал Л. Н. Толстой, — последовательно: „Фауст“, „Довольно“ н „Гамлет и Дон-Кихот“. Тут видно, как сомнение сменяется у него мыслью о том, где истина» *(Лит Насл,* т. 37–38, с. 480).

Критически восприняли повесть Герцен и Огарев, которым Тургенев оставил рукопись «Фауста» для прочтения во время своего пребывания в Лондоне во второй половине августа ст. ст. 1836 г. Оба они с похвалой отозвались о первом письме, носящем лирико-бытовой характер, и осудили романтические и фантастические элементы повести. «После первого письма — chef d’oeuvre слога во всех

отношениях — я не того ждал. Куда нам заходить в романтическое Замоскворечье — мы люди земляные, жиленые да костяные», — писал А. И. Герцен Тургеневу 14 (26) сентября 1856 г. К этому письму была приложена записка Н. П. Огарева с отзывом о «Фаусте». «Первое письмо, — писал Огарев, — так наивно, свежо, естественно, хорошо, что я никак не ожидал остального. Происшествие кажется придуманным с каким-то усилием для того, чтобы высказать неясные мнения о таинственном мире, в который Вы сами не верите». Он находил неестественным и сюжет «Фауста» и психологическую сторону развития любви, объясняя это тем, что в «Фаусте» «фантастическая сторона прилеплена; повесть может обойтись и без нее» *(Совр,* 1913, № 6, с. 6–8). Аналогичное суждение о «Фаусте» высказал и М. Н. Лонгинов в письме к Тургеневу от 23 октября (4 ноября) 1856 г. из Москвы. Сообщая, что «Фауст» «нравится многим», но не ему, и хваля «первое письмо», которое он прочел «с наслаждением», Лонгинов находил всю повесть «неестественною» и считал, что Тургенев «в ней не в своей сфере», зачерпнул «немного из мутного колодца творений < ...> Одоевского» *(Сб ПД 1923,* с. 142–143). Но характеризуя мнение о «Фаусте» широкого круга современных читателей, Боткин сообщал Тургеневу из Москвы в упомянутом уже письме от 10 (22) ноября 1856 г.: «…он встретил здесь самый симпатичный прием и даже у людей, которые не имеют к тебе расположения. Даже те, которым не нравится в нем фантастическая сторона — и те с охотою извиняют ее за общее достоинство рассказа» *(Боткин и Т*, с. 101).

Первым печатным откликом на тургеневского «Фауста» был критический фельетон Вл. Зотова *(СПб Вед,* 1856, № 243, 6 ноября). Воздав должное стилю повести, Вл. Зотов находил в сюжете ее «несообразности и неестественности» и выражал сожаление, что талант писателя «употребляется на развитие таких невозможных историй». «Мать героини, испытавшая порядочные треволнения в жизни, — пишет Зотов, — думает оградить от них свою дочь тем, что не позволяет ей читать стихов, — первая несообразность; потом она не выдает ее за человека порядочного, говоря, что ей не такой муж надобен, и отдает за болвана, — хорошее средство предостеречься от страстей! Дочка, даже вышед замуж, не чувствует ни малейшего желания прочесть ни одного романа; таких дам, в то же время умных и образованных, какою изображена Вера Николаевна, мы твердо убеждены — нет ни в одном из самых отдаленных уголков России…»

С опровержением подобных обвинений выступил Д. И. Писарев в

статье «Женские типы в романах и повестях Писемского, Тургенева и Гончарова» *(Рус Сл,* 1861, № 12). Трактуя образы старшей и младшей Ельцовых как личности необычные, почти исключительные, чувства которых развиты в повести до романтического предела, Писарев показывает, что всё в них вместе с тем психологически оправданно и характерно. «Образы, в которых Тургенев выразил свою идею, — отмечал Писарев, — стоят на границе фантастического мира. Он взял исключительную личность, поставил ее в зависимость от другой исключительной личности, создал для нее исключительное положение и вывел крайние последствия из этих исключительных данных < ...> Размеры, взятые, автором, превышают обыкновенные размеры, но идея, выраженная в повести, остается верною, прекрасною идеею. Как яркая формула этой идеи, „Фауст“ Тургенева неподражаемо хорош. Ни одно единичное явление не достигает в действительной жизни той определенности контуров и той резкости красок, которые поражают читателя в фигурах Ельцовой и Веры Николаевны, но зато эти две почти фантастические фигуры бросают яркую полосу света на явления жизни, расплывающиеся в неопределенных, сероватых туманных пятнах» *(Писарев,* т. I, с 265).

Много лет спустя, в ответе на анкету, которая была разослана в 1918 г. ряду деятелей литературы с целью выяснения их отношения к Тургеневу, писательница Л. Ф. Нелидова писала:

«Как-то раз, разговаривая с Иваном Сергеевичем, я сказала ему, что в его повести „Фауст“ мать героини Ельцова напоминает мне мою мать и ее отношение к чтению романов. Тургенев был очень доволен этим замечанием. По его словам, ему не раз приходилось слышать по поводу этой самой Ельцовой упреки в надуманности и неверности изображения ее характера, и было особенно приятно узнать о сходстве ее с живым лицом.

Сходство было несомненное. Подобно героине „Фауста“, в детстве и юности я могла читать только детские книги, путешествия и хрестоматии. Исключение было сделано для одного Тургенева» *(Т и его время,* с. 7).

В связи с выходом в 1856 г. издания «Повестей и рассказов» И. С. Тургенева в журналах того времени появился ряд рецензий, в которых характеризовался «Фауст». А. В. Дружинин в «Библиотеке для чтения» развивал мысль, высказанную им ранее в письме к Тургеневу, о победе в его творчестве «пушкинского» начала над «гоголевским». По его словам, «…в „Муму“, в „Двух приятелях“, в „Затишье“, в „Переписке“, в „Фаусте“ поток поэзии прорывается со всею силою, срывает

преграды, мечется по сторонам, и хотя не вполне получает свободное течение, но уже высказывает и богатство свое и свое истинное направление» *(Б-ка Чт,* 1857, № 3, отд. «Критика», с. 11).

К. С. Аксаков, давая в «Русской беседе» «Обозрение современной литературы», в духе своих славянофильских взглядов сопоставляет «Рудина», в котором «выставлен человек замечательный: с умом сильным, интересом высоким, но отвлеченный и путающийся в жизни», и «Фауста», где Тургенев «противополагает < ...> дрянности человеческой уже не только простую, цельную, естественную природу души, но цельность духовного начала, нравственную истину, вечную и крепкую, — опору, прибежище и силу человека» *(Рус беседа,* 1857, № 5, отд. «Обозрения», т. I, с. 22).

С. С. Дудышкин в рецензии на «Повести и рассказы» И. С. Тургенева, критикуя основного героя ранних произведений Тургенева, «лишнего человека», противопоставляет ему «благородного человека, который трудится изо дня в день без громких фраз», и трактует в свете этих благонамеренных либеральных идеалов «Фауста» Тургенева. Дудышкин осуждает героя повести, нарушившего «покой одной прекрасной женщины, Ельцовой, тем, что развил ее умственный горизонт, вдохнул в нее страсть, из которой ей не было исхода. Одна смерть была необходима, и потому Ельцова умерла. Она исполнила свой *долг» (Отеч Зап,* 1857, № 1, отд. II, с. 23). И далее Дудышкин, перефразируя заключительные слова повести о долге и отречении, рассматривает их как ключ к новому этапу творчества Тургенева, когда писатель обретет «идеал», гармонирующий с окружающей его обстановкой, и для его героев наступит «пора деятельности, труда» (там же, с. 25).

Против этих идей Дудышкина, тенденциозно перетолковывавшего произведения Тургенева, выступил Н. Г. Чернышевский в «Заметках о журналах» *(Совр,* 1857, № 2) (см. наст. изд., т. 4, с. 639). Ранее, вскоре после выхода «Фауста» в свет, Чернышевский в статье о «Детстве и отрочестве» и «Военных рассказах» Л. Н. Толстого *(Совр,* 1856, № 12) особо оттенил стремление Тургенева отобразить «явления, положительным или отрицательным образом относящиеся к тому, что называется поэзиею жизни, и к вопросу о гуманности» и процитировал звучащие в устах героя «Фауста» тютчевские стихи в связи с впечатлением, произведенным на него Верою (см. наст. том, с. 114), чтобы передать ощущение освежающего, просветляющего воздействия «чистой юношеской души, с радостной любовью откликающейся на всё, что представляется ей возвышенным и благородным, чистым и

прекрасным, как сама она». Признавая за Тургеневым лирическую способность в выражении общечеловеческих чувств, Чернышевский завершает приведенную цитату из «Фауста» важным для него выводом: «Такова же сила нравственной чистоты в поэзии» *(Чернышевский,* т. III, с. 422, 428).

Однако ни Чернышевский, ни Добролюбов не могли солидаризоваться и с Тургеневым, противопоставившим долг и личное счастье. Это противоречило этической системе революционных демократов, теории «разумного эгоизма», по которой долг определяется внутренним влечением, а основным источником деятельности развитой личности является разумно понятый «эгоизм». И в 1858 г. в статье «Николай Владимирович Станкевич» Добролюбов *(Совр,* № 4), не называя Тургенева по имени, вступил с ним в полемику. «Не так давно, — пишет Добролюбов, — один из наших даровитейших писателей высказал прямо этот взгляд, сказавши, что цель жизни не есть наслаждение, а, напротив, есть вечный труд, вечная жертва, что мы должны постоянно принуждать себя, противодействуя своим желаниям, вследствие требований нравственного долга. В этом взгляде есть сторона очень похвальная, именно — уважение к требованиям нравственного долга < ...> с другой стороны, взгляд этот крайне печален потому, что потребности человеческой природы он прямо признает противными требованиям долга…» *(Добролюбов,* т. III, с. 67).

Позднее в статье «Благонамеренность и деятельность» *(Совр,* 1860, № 7), также частично направленной против Тургенева, Добролюбов, ратуя за появление в литературе образа деятеля нового типа, цельного человека, вновь упомянул «Фауста» Тургенева: «Нам не представляют внутренней работы и нравственной борьбы человека, сознавшего ложность настоящего порядка и упорно, неотступно добивающегося истины; нового Фауста никто нам и не думал изображать, хоть у нас есть даже и повесть с таким названием…» *(Добролюбов,* т, II, с. 248).

Чернышевский откликнулся на повесть в статье «Русский человек на rendez-vous» (Атеней, 1858, № 3). Поставив «Фауста» в связь с «Рудиным» и «Асей», Чернышевский раскрывает социальный аспект изображенного в повести конфликта. Рассматривая нерешительное «поведение» в любви героев этих произведений как показатель и для их отношения к «делу», Чернышевский разоблачает сходящего с общественной арены прежнего дворянского героя русской литературы. «В „Фаусте“, — пишет Чернышевский, — герой старается ободрить себя тем, что ни он, ни Вера не имеют друг к другу серьезного чувства;

сидеть с ней, мечтать о ней — это его дело, но по части решительности, даже в словах, он держит себя так, что Вера сама должна сказать ему, что любит его < ...> Не удивительно, что после такого поведения любимого человека (иначе, как „поведением“, нельзя назвать образ поступков этого господина) у бедной женщины сделалась нервическая горячка; еще натуральнее, что потом он стал плакаться на свою судьбу. Это в „Фаусте“; почти то же и в „Рудине“» *(Чернышевский,* т. V, с. 158–159).

В последующие годы «Фауст» продолжает привлекать внимание критики. В 1867 г. в «Отечественных записках» была опубликована критическая заметка Б. И. Утина «Аскетизм у г. Тургенева», в которой отмечаются — как характерная для воззрений Тургенева черта — элементы аскетических настроений в таких его произведениях, как «Дворянское гнездо», «Накануне», «Фауст», «Переписка», «Призраки» и «Довольно». Основы такою подхода к жизни Утин видит в философии Шопенгауэра. Рассматривая «Фауста» лишь с точки зрения отражения в нем «аскетических» идей и слишком прямолинейно толкуя заключительные слова повести, Утин обедняет ее содержание. «Смысл здесь, — пишет он, — очевидно тот же. Жизнь не любит шутить, а потому не отдавайся ей, но живи, и ты уйдешь от ее опасностей» *(Отеч Зап,* 1867, № 7, т. 173, кн. 2, отд. II, с. 54).

В 1870 г. Н. В. Шелгунов отозвался на выход в свет очередных томов «Сочинений И. С. Тургенева» статьей «Неустранимая утрата». Свои общие суждения о пессимистических мотивах в творчестве Тургенева, грустной лирической тональности его таланта, чуткости писателя к человеческому горю, мастерстве тонкого проникновения в женскую психологию Шелгунов подтверждает и на разборе «Фауста». Характеризуя Веру Ельцову как натуру сильную, но обреченную на гибель, и сравнивая ее судьбу с жизнью героинь других произведений Тургенева, Шелгунов спрашивает: «Что ж это за горькая судьбина? Что за преследующий фатализм? Где его корень? Отчего люди несчастны? Неужели нет выхода?» «Тургенев, — по его словам, — не дает ответа на эти вопросы. Ищите, догадывайтесь, спасайтесь, как знаете». И далее анализ повести он заключает выводом: «Любовь — болезнь, химера, говорит Тургенев, от нее не спасешься, и ни одна женщина не минует ее руки < ...> Не силу активного протеста вызывает у вас Тургенев, а возбуждает какое-то непримиряющееся щемление, ищущее выхода в пассивном страдании, в молчаливом, горьком протесте». С революционно-демократических позиций осуждает Шелгунов и призыв в «Фаусте» к труду и отречению.

«Жизнь есть труд, говорит Тургенев. Но разве о здоровом труде говорит Павел Александрович? Его труд есть отчаяние безнадежности, не жизнь, а смерть, не сила энергии, а упадок различных сил…» (Дело, 1870, № 6, с. 14–16).

В 1875 г. С. А. Венгеров в одном из ранних своих трудов — «Русская литература в ее современных представителях. Критико-биографический этюд. И. С. Тургенев» — отвел специальную главу «Фаусту». В основу разбора повести положена мысль о том, что нельзя «идти против естественного хода вещей, против нормального развития природных даров» (СПб., 1875. Ч. II, с. 64). Поэтому ошибаются те «близорукие судьи», говорит Венгеров, которые обвиняют героя повести в том, что он разрушил «счастье» Веры. «Когда-нибудь должна же была бы произойти брешь в стене, отделяющей ее от действительности. Следовательно, если не герой повести, то другой, третий разыграли бы его роль и открыли бы глаза Вере Николаевне, до того завешанные рукой заботливой матери» (там же, с. 69). И вывод, к которому приходит Венгеров, противостоит односторонним критическим суждениям об «аскетических» идеях повести. «Печальным предостережением возвышается перед нами симпатичная фигура Веры Ельцовой, увеличивая собою галерею привлекательных женских портретов Тургенева. В ее лице защитники свободы человеческого сердца могут почерпнуть гораздо более сильные доказательства, чем из всех жоржзандовских романов, потому что ничто не действует на нас сильнее, чем грустный финал, являющийся результатом известного нерационального явления» (там же, с. 72).

Из более поздних откликов интересен отзыв революционера-анархиста П. А. Кропоткина, который в 1907 г., как в свое время Чернышевский, обратил внимание на несостоятельность героя повести. Рассматривая «Фауста» в ряду таких повестей Тургенева, как «Затишье», «Переписка», «Яков Пасынков», «Ася», он заключает: «В них слышится почти отчаяние в образованном русском интеллигенте, который даже в любви оказывается неспособным проявить сильное чувство, которое снесло бы преграды, лежащие на его пути; даже при самых благоприятных обстоятельствах он может принести любящей его женщине только печаль и отчаяние» (*Кропоткин* П. Идеалы и действительность в русской литературе. СПб., 1907, с. 102).

Первый перевод «Фауста» на французский язык был сделан И. Делаво в 1856 г. (Revue des Deux Mondes, 1856, t. VI, Livraison 1-er Décembre, p. 581–615). По поводу этого перевода Тургенев писал В. П. Боткину 25 ноября (7 декабря) 1856 г. из Парижа: «Делаво перекатал

моего „Фгуста“ и тиснул его в декабрьской книжке „Revue des 2 Mondes“ — издатель (де-Марс) приходил меня благодарить и уверял, что эта вещь имеет большой успех; а мне, ей-богу, всё равно, нравлюсь ли я французам или нет, тем более, что M-me Виардо этот „Фауст“ не понравился». Ознакомившись с переводом, В. П. Боткин сообщал Тургеневу: «Прочел я по-французски твоего „Фауста“, но он мне по-французски показался очень бледным — вся прелесть изложения пропала — словно скелет один остался» *(Боткин и Т,* с. 111–112). В 1858 г. перевод «Фауста» был опубликован в первом французском сборнике повестей и рассказов Тургенева, переведенных Кс. Мармье *(1858, Scènes, I).* С этого издания в 1862 г. Фр. Боденштедтом был сделан первый немецкий перевод (Russische Revue, 1862, Bd. I, Hf. I, S. 59–96), который очень понравился Тургеневу. 19 (31) октября 1862 г. он писал Фр. Боденштедту: «Не могу прежде всего не поговорить с вами о переводе моей повести „Фауст“, хотя это и немного эгоистично с моей стороны. Я только что прочел его и был буквально *в восторге* — это просто-напросто совершенство. (Говорю, разумеется, о переводе, а не об оригинале.) Недостаточно знать до основания русский язык — надобно еще самому быть большим стилистом для того, чтобы создать нечто столь совершенно удавшееся» (с французского). Этот перевод был им перепечатан дважды — в первом из двух вышедших томов задуманного Фр. Боденштедтом собрания сочинений Тургенева на немецком языке (Erzählungen von Iwan Turgenjew. Deutsch von Friedrich Bodenstedt. Autorisierte Ausgabe. München, 1864. Bd. I).

Из других прижизненных переводов «Фауста» отметим следующие: чешский (в журнале «Obrazy života», 1860 — перевел Vavra), два сербских перевода (в журнале «Матица», 1866, № 39–44, и «Фауст» у Новом Саду, 1877), три польских (Wedrowiec, 1868; Tydzień literacko-artystyczny. Dodatek literacki do «Kuriera Lwowskiego», 1874 и Warszawski Dziennik, 1876, № 87, 89, 92 и 98, английский (Galaxy, XIII, № 5, 6. May — June, 1872), шведский (*Tourgéneff* Iwan. Faust. Berättelse. Öfversättning af M. B. Varberg, 1875).

«Фауст» Тургенева вызвал подражания в немецкой литературе. Факт этот отмечала еще при жизни писателя немецкая критика. Так, по свидетельству Отто Глагау, автора книги «Die Russische Literatur und Iwan Turgeniew» (Berlin, 1872), под явным воздействием Тургенева был написан роман Карла Детлефа (псевдоним писательницы Клары Бауэр) «Неразрывные узы» («Unlösliche Bande» — см. указ. соч., с. 163–164). Форма переписки двух друзей, один из которых русский писатель Сабуров, сюжетная ситуация — гибель героини как жертвы «уз», насильно навязанного ей брака и пробудившегося в ней чувства, осуждение жизни, в основу которой положено эгоистическое личное начало, и идея подчинения ее общественному долгу — всё это сближает «Неразрывные узы» с повестью Тургенева «Фауст» (см. пересказ этого романа в статье: *Цебрикова* М. Немецкие романы из русской жизни. — Неделя, 1874, № 46, с. 1672–1674).

Entbehren sollst du, sollst entbehren! — 1549 стих первой части «Фауста» Гёте, из сцены «Studierzimmer». В трагедии Гёте Фауст иронизирует над этим изречением, призывающим к отказу от запросов своего «я», к смирению своих желаний, как над «прописной мудростью»; Тургенев полемически использует его в качестве эпиграфа к повести.

Геркулес Фарнезский. — Имеется в виду находящаяся в Неаполитанском музее знаменитая статуя работы афинского скульптора эпохи Римской империи Гликона, которая изображает отдыхающего Геракла (Геркулеса), опирающегося на палицу.

...и та не дождалась меня, как Аргос дождался Улисса... — В «Одиссее» Гомера любимый охотничий пес Одиссея (Улисса) Аргос встречает хозяина после возвращения его из долгих странствий и затем издыхает (XVII песнь).

Манон Леско — героиня романа французского писателя Антуана Франсуа Прево «История кавалера де Грие и Манон Леско» (1731). Женский портрет, напоминающий Манон Леско, часто выступает в

ряду других старинных портретов середины XVIII века в повестях Тургенева (см.: *Гроссман* Л. Портрет Манон Леско. Два этюда о Тургеневе. М., 1922, с.7 — 41).

...сцены из д'арленкуровского «Пустынника». — Д'Арленкур (d'Arlincourt) Шарль Виктор Прево (1789–1856) — французский романист, легитимист и мистик, романы которого в свое время пользовались широкой известностью, выдержали несколько изданий, переводились на многие европейские языки, инсценировались. Особенно популярен был его роман «Le solitaire» — «Пустынник», или «Отшельник». Романы д'Арленкура сохранились в спасской библиотеке с надписью матери Тургенева (Barbe de Tourguéneff) (см.: *Португалов* М. Тургенев и его предки в качестве читателей. — «Тургениана». Орел, 1922, с. 17).

...«Кандида» в рукописном переводе 70-х годов... — Первый перевод на русский язык романа Вольтера «Кандид, или Оптимизм, то есть наилучший свет» вышел в Петербурге в 1769 г., последующие — в 1779, 1789 гг. Речь идет о рукописной копии одного из этих переводов. Подобная копия имелась в спасской библиотеке. «Этот редкостный экземпляр, — отмечал М. В. Португалов, — в хорошо сохранившемся переплете имеет на корешке (внизу) инициалы: *А. Л.* (Алексей Лутовинов)» (там же, с. 16). Тот же рукописный список «Кандида» упоминается и в «Нови» (сохранялся в «заветном ящике» Фомушки — см. «Новь», гл. XIX).

«Торжествующий хамелеон» (то есть: Мирабо) — анонимный памфлет «Торжествующий хамелеон, или Изображение анекдотов и свойств графа Мирабо», перев. с нем. М., 1792 (в 2-х частях).

«Le Paysan perverti» — «Развращенный крестьянин» (1776) — роман французского писателя Ретифа де ла Бретонна (Restif de la Bretonne, 1734–1806), имевший большой успех. По свидетельству М. В. Португалова, «все упомянутые <в „Фаусте“> книги находятся и теперь в Тургеневской библиотеке: и роман Ретифа де ла Бретонна, с автографом Pierre de Cologrivoff, и „Хамелеон“ гр. Мирабо, и старые учебники матери и бабки Тургенева с той же надписью, только вместо Eudoxie de Lavrine (кстати упомянуть, бабка И. С. из рода Лавровых) поставлено „A Catharinne de Somov“...» (указ. соч., с. 27–28). Тургенев описывает в «Фаусте» спасскую библиотеку как типичную для среднедворянского помещичьего круга, к которому принадлежали его предки.

С каким неизъяснимым чувством увидал я маленькую, слишком мне знакомую книжку (дурного издания 1828 года). — Имеется в виду

привезенное Тургеневым в Спасское из-за границы издание: Goethe J. W. Werke. Vollständige Ausgabe. Stuttgart und Tübingen, 1827–1830. Bd. I–XL. «Фауст» (1-я часть) был напечатан в 12-м томе этого издания, вышедшем в одном переплете с 11-м в 1828 г. (см.: *Горбачева, Молодые годы Т,* с. 43).

Клара Штих (1820–1862) — немецкая драматическая актриса, выступавшая в наивно-сентиментальных ролях и пользовавшаяся в начале 1840-х годов в Берлине, в период пребывания там Тургенева, большим успехом. Как об актрисе, занявшей главное место на берлинской сцене, упоминает о ней К. Гуцков в главе «Берлинская театральная жизнь накануне 1840 г.» (*Gutzkow* K. Berliner Erinnerungen und Erlebnisse. Hrsg. von P. Friedländer. Berlin, 1960, S. 358).

...и Зейдельманна в роли Мефистофеля. — Карл Зендельманн (1793–1846) — знаменитый немецкий актер, игравший на берлинской сцене в 1838–1843 гг. в пору пребывания там Тургенева, исполнитель центральной роли в «Натане Мудром» Лессинга и разнообразных ролей в трагедиях Шиллера и Шекспира. Мефистофеля в «Фаусте» Гёте он играл в гротесковой манере, сочетая трагические и комические элементы (см. восторженный отзыв о нем П. В. Анненкова в «Письмах из-за границы (1840–1843)» в кн.: *Анненков и его друзья,* с. 131–132; о роли Зейдельманна в освобождении актерского немецкого искусства от напыщенной декламации и ложного пафоса см.: *Троицкий* З. Карл Зейдельманн и формирование сценического реализма в Германии. М.; Л., 1940).

Музыку Радзивилла... — Антон Генрих Радзивилл, князь (1775–1833) — польский магнат, живший с молодых лет при берлинском дворе, музыкант и композитор, автор ряда романсов, девяти песен из «Вильгельма Майстера» Гёте и партитуры к его трагедии «Фауст», впервые исполненной посмертно 26 октября 1835 г. берлинской Певческой академией и изданной в Берлине в том же 1835 г. В 1837 году радзивилловский «Фауст» с успехом исполнялся в Лейпциге, а в 1839 г. — в Эрфурте. Музыка Радзивилла к «Фаусту» привлекла внимание Шопена, Шумана и Листа. Лист в своей книге о Шопене, которая могла быть известна Тургеневу, дал высокую оценку партитуры Радзивилла к «Фаусту» (см.: *Liszt* Fr. Fr. Chopin. Paris, 1852, p. 134).

...есть еще что-то такое на свете, друг Горацио, чего я не испытал... — Перефразировка слов Гамлета из 5-й сцены I действия трагедии Шекспира «Гамлет» («Hamlet: There are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy». The plays and

poems of William Shakespeare. Leipzig, 1844. Vol. VI, p. 27. — На небе и земле есть больше вещей, Горацио, чем снилось вашей философии).

Я содрогаюсь — сердцу больно… — Неточная цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Разговор книгопродавца с поэтом» (1824):

Я так и вспыхну, сердцу больно:
Мне стыдно идолов моих.

…упомянул о старинной легенде доктора Фауста… — Об этом см.: *Жирмунский* В. В. История легенды о докторе Фаусте. Изд. 2-е. М., 1978, с. 257–362.

…интермеццо я пропустил… — «Сон в Вальпургиеву ночь, или Золотая свадьба Оберона и Титании. Интермедия», сцена 22 из 1-й части «Фауста».

«Ночь на Брокене» — «Вальпургиева ночь», сцена 21 из 1-й части «Фауста» Гёте.

«Добрый человек в неясном своем стремлении всегда чувствует, где настоящая дорога». — «Ein guter Mensch in seinem dunklen Drange ist sich des rechten Weges wohl bewusst», две строки из «Пролога на небе» к 1-й части «Фауста» в переводе И. С. Тургенева. Эти же строки (на немецком языке) Тургенев цитирует в «Воспоминаниях о Белинском», говоря о самостоятельном освоении в юности будущим критиком основ философии (см. наст. изд., т. 11). По свидетельству Ф. Боденштедта, первую часть «Фауста» Тургенев «знал почти всю наизусть» *(Рус Ст,* 1887, № 5, с. 471).

Крылом своим меня одень… — Третья строфа из стихотворения Ф. И. Тютчева «День вечереет, ночь близка» (1851).

«На волнах сверкают тысячи колеблющихся звезд» — «Auf der Welle blinken / Tausend schwebende Sterne», две строки из третьей строфы стихотворения Гёте «Auf dem See» (1775).

«Глаза мои, зачем вы опускаетесь?» — «Aug'mein Aug, was sinkst du nieder?», строка из второй строфы того же стихотворения.

…следы Франклина на Ледовитом океане… — Франклин (Franklin) Джон (1786–1847) — знаменитый английский путешественник, возглавивший в 1845 г. экспедицию, направленную для открытия Северо-Западного морского пути вокруг Америки. Все участники экспедиции погибли, но в течение многих лет производились розыски их, о чем сообщалось в русских журналах и газетах.

Фретильона — прозвище известной французской артистки, танцовщицы и певицы Клерон (1723–1803), ставшее именем

нарицательным (frétillon — по-французски живчик, непоседа).

...ту сцену Фауста с Гретхен, где она спрашивает его, верит ли он в бога. — Начало 16-й сцены 1-й части.

...Как Мазепа Кочубею, отвечал криком на зловещий звук. — Имеются в виду 300–313 стихи из II-й песни «Полтавы» (1829) Пушкина.

Чего хочет он на освященном месте, / Этот... вот этот... — Эти строки не совпадают с переводами «Фауста» М. П. Вронченко и А. Н. Струговщикова. Тургенев в своем переводе последней сцены 1-й части «Фауста», опубликованном в «Отечественных записках» в 1844 году, те же строки передал несколько иначе: «Зачем он в святое место зашел?» (см. наст. изд., т. 1, с. 29).

Поездка в Полесье

Источники текста

Поездка в Полесье. Черновой автограф, законченный в Дижоне 26 февраля (10 марта) 1857 г. 11 листов. Хранится в отделе рукописей *Bibl Nat,* Slave 88; описание см.: *Mazon,* p. 57–58; фотокопия — *ИРЛИ,* Р. I, оп. 29, № 197.

Поездка в Полесье. Наборная рукопись — беловой автограф. 11 л. Хранится в *ЦГАЛИ,* ф. 509, оп. 2, № 8.

Б-ка Чт, 1857, т. CXLV, № 10, отд. 1, с. 219–234.

Т, Соч, 1860–1861, т. I, с. 313–331.

Т, Соч, 1865, ч. III, с. 437–458.

Т, Соч, 1868–1871, ч. 3, с. 427–448.

Т, Соч, 1874, ч. 3, с. 425–446.

Т, Соч, 1880, т. 7, с. 221–242.

Т, ПСС, 1883, т. 7, с. 239–261.

Впервые опубликовано: *Б-ка Чт,* 1857, № 10, отд. 1, с. 219–234, с подписью: Ив. Тургенев (ценз. разр. 3 октября 1857 г.).

Печатается по тексту *Т, ПСС, 1883* с учетом списка опечаток, приложенного к тому в издании 1880 г., а также со следующими исправлениями по другим источникам:

Стр. 131, строка 10: «мертвенным» вместо «мертвым» (по наборной рукописи, *Б-ка Чт, Т, Соч, 1860–1861, Т, Соч, 1865).*

Стр. 131, строка 30: «издалеча» вместо «издалека» (по всем другим источникам).

Стр. 132, строка 11: «полешской» вместо «полесской» (по всем другим источникам).

Стр. 134, строка 5: «ольшником» вместо «ольшанником» (по всем источникам до *Т, Соч, 1880).*

Стр. 136, строка 22: «въехавши» вместо «выехавши» (по всем источникам до *Т, Соч, 1874).*

Стр. 136, строки 24–25: «оборотившись» вместо «обратившись» (по всем источникам до *Т, Соч, 1874).*

Стр. 136, строка 40: «вступили» вместо «вступали» (по черновому автографу, наборной рукописи, *Т, Соч, 1860–1861).*

Стр. 137, строка 5: «голубика» вместо «голубица» (по всем другим источникам).

Стр. 137, строка 41: «Майданом» вместо «Майдан» (по наборной рукописи).

Стр. 138, строка 2: «крепкий» вместо «крепко» (по всем источникам до *Т, Соч, 1874).*

Стр. 139, строки 2–3: «ни одной каплей не смочило» вместо «ни одна капля не смочила» (по *Т, Соч, 1868–1871, Т, Соч, 1874, Т, Соч, 1880).*

Стр. 142, строки 27–28: «ты и не заметишь» вместо «ты не заметишь» (по всем другим источникам).

Стр. 144, строка 10: «вот он, вот он» вместо «вот он» (по всем другим источникам).

Стр. 144, строки 12 и 29: «эдак» вместо «этак» (по всем источникам до *Т, Соч, 1880).*

Стр. 144, строка 22: «Да зачем же они все ему покорились?» вместо «Зачем же они ему все покорились?» (по всем источникам до *Т, Соч, 1880).*

Стр. 145, строка 1: «да как ахнут» вместо «да как охнул» (по всем источникам до *Т, Соч, 1880).*

Стр. 145, строка 38: «весь воздух» вместо «воздух весь» (по всем другим источникам).

Стр. 146, строки 5–6: «Только траву» вместо «Только сразу» (по всем другим источникам).

Стр. 146, строка 7: «батюшки, гляди однако» вместо «однако, гляди батюшки» (по всем другим источникам).

Стр. 147, строка 23: «со стороны» вместо «с стороны» (по всем источникам до *Т, Соч, 1874).*

Стр. 147, строки 34–35: «равновесие жизни» вместо «равновесие» (по наборной рукописи).

История создания «Поездки в Полесье» до сих пор не вполне выяснена. В 1850 г. в примечании к рассказу «Певцы» Тургенев писал: «Полесьем называется длинная полоса земли, почти вся покрытая лесом, которая начинается на границе Волховского и Жиздринского уездов, тянется через Калужскую, Тульскую и Московскую губернии и оканчивается Марьиной рощей, под самой Москвой. Жители Полесья отличаются многими особенностями в образе жизни, нравах и языке. Особенно замечательны обитатели южного Полесья, около Плохина и Сухинича, двух богатых и промышленных сел, средоточий тамошней торговли. Мы когда-нибудь поговорим о них подробнее» *(Совр,* 1850, № 11, с. 109). Дальнейшую историю этого замысла и работы над ним можно подразделить на три этапа.

2 (14) апреля 1853 г. Тургенев писал Аксаковым из Спасского: «Ваш „Охотничий сборник“ — блистательная и, я надеюсь, выгодная в денежном отношении мысль. Разумеется, я Ваш сотрудник и мое перо, мое имя к Вашим услугам. На днях примусь думать о содержании статей и сообщу Вам — на чем остановлюсь». 23 апреля (5 мая) 1853 г. Тургенев сообщил С. Т. Аксакову, что им «уже составлен план двух статей». На следующий день в письме к тому же адресату о втором замысле сообщалось так: «…а во-2-х, рассказ о стрельбе мужиками медведей на овсах в Полесье. Это тоже, я надеюсь, выйдет статья порядочная. Если здоровье мое окончательно утвердится, к Петрову дню Вы получите обе статьи». В письме к С. Т. Аксакову от 12 (24) мая 1853 г. было сформулировано заглавие будущего произведения («Поездка в Полесье») и сообщалось о начале работы над ним («написал страниц 5»). Рассказ, как и второй очерк, обещанный Аксакову («О соловьях»), был явно задуман на материале чужих охотничьих рассказов. Писателю как бы не хватало собственных наблюдений, и работа двигалась медленно.

Второй этап работы над «Поездкой в Полесье» связан со значительным обогащением разрабатывавшейся темы. 26 июля (7 августа) 1853 г. Тургенев писал П. В. Анненкову: «Я на днях вернулся с довольно большой охотничьей поездки. Был на берегах Десны, видел места, ни в чем не отличающиеся от того состояния, в котором они находились при Рюрике, видел леса безграничные, глухие, безмолвные < ...> познакомился с весьма замечательной личностью, мужиком Егором — и стрелял много и много делал промахов. Вообще я доволен своей поездкой. Егор — это для меня новый тип, я с ним намерен поохотиться один целый день — и тогда расскажу Вам о нем, а теперь со мной был товарищ — хороший малый — простой, веселый человек не без лукавства и даже плутоватости, как оно и следует, — он мне несколько мешал в моих наблюдениях». Таким образом, возникновение образов Егора и Кондрата точно датируется июлем 1853 г. Но и после этого Тургенев, отвлеченный другими замыслами, почти не продолжал работу над очерками для аксаковского «Охотничьего сборника».

В ноябре следующего 1854 г. был выслан Аксакову очерк «О соловьях», а «Поездка в Полесье» оставалась в прежнем состоянии. Тот факт, что Тургенев и после поездки на Десну продолжал в своих письмах называть рассказ «О стрельбе медведей на овсах в Полесье», приводит к выводу, что только получение каких-то дополнительных, более ярких впечатлений могло побудить яисателя в корне изменить

свой замысел. Этот вывод подтверждается также тем обстоятельством, что в «Поездке в Полесье» описано Полесье не на берегах Десны, а другая и совершенно определенная его часть, а именно местность в излучине реки Ресеты, на стыке Жиздринского уезда Калужской губернии и Волховского и Карачевского уездов Орловской губернии. Местность эта находится далеко на восток от Десны. На этом основании нужно полагать, что в ходе работы над рассказом писатель существенно отразил свою охотничью экскурсию в Калужскую губернию в июне 1856 г., о которой он сообщал в письмах этого времени Л. Н. и М. Н. Толстым, В. П. Боткину и др. (см. также: *Безъязычный* В. И. Тургенев в Калужском крае. — Знамя, Калуга, 1961, № 176, 27 июля, с. 4). Во всяком случае вскоре после этой поездки в Калужскую губернию Тургенев «Поездку в Полесье» написал. Работа над рассказом приходится в основном на ноябрь и декабрь 1856 г. Окончательно завершен расскиз был в Дижоне (Франция) 26 февраля (10 марта) 1857 г. Начатый после этого «третий» день «Поездки в Полесье» продолжен не был.

Дошедший до нас черновой автограф «Поездки в Полесье» содержит ценный и обильный материал для характеристики работы над рассказом. Первоначально описание первого дня поездки включало в себя и встречу с Ефремом. Второй день поездки был значительно короче и содержал лишь описание лесного пожара. Основные усилия Тургенева были направлены на раскрытие темы «человек и природа». Для характеристики поисков автора в этом направлении приведем несколько примеров.

Окончательному тексту: «Море грозит и ласкает, оно играет всеми красками, говорит всеми голосами» (с. 130, строки 12–13) предшествовали следующие варианты: *а.* Море грозит и ласкает, человеку [не страшно] не страшны и милы вечно переменчивые говорливые волны и странникам милые…[88]*б.* Моро грозит и ласкает, море отражает небо *в.* Море грозит и ласкает, море играет всеми красками и говорит всеми голосами.

В других случаях последовательность была такова (в скобках — страницы и строки окончательного текста):

а. здесь он значит что-нибудь, имеет какую-нибудь цену, может верить *б.* здесь он дерзает еще верить *в.* здесь он смеет еще верить (130, 31);

а. Шума нет в лесу, а поет какой-то вечный ропот и тихий гул по бесконечным верхушкам *б.* Нигде не возникало слышимых… *в.* Кругом не раздавалось резкого звука *г.* Не было слышно в громадном

боре… *д.* Великая тишина стояла вокруг *е.* Тихо всё было кругом и беззвучно *ж.* След гнет<ущей> дремоты неодолимой лежал на всем *з.* Чем дальше подвигались, тем становилось… *и.* Тише и тише становилось, чем дальше подвигались мы *к.* Чем дальше мы подвигались, тем глуше и тише становилось вокруг (134, 17–18);

а. Лес синел, потому что… *б.* Лес синел, до хороших мест было… *в.* Лес синел кольцом… *г.* Лес синел сплошным кольцом по всему краю неба (135, 17–18);

а. Шум… *б.* Жутко был<о>… *в.* Тишина… *г.* Не нарушал тишины… *д.* Ни один звук не нарушал тишины *е.* От тишины жутко становилось *ж.* Становилось жутко *з.* Такая тишь стояла в лесу… *и.* Такая жуткая тишь стояла кругом… *к.* От жуткой тишины… *л.* И что за тишь стояла кругом *м.* Всё молчало (137, 12).

Окончательный текст черновой рукописи «Поездки в Полесье» содержит довольно много вариантов, однако они не настолько значительны, чтобы можно было говорить о наличии двух редакций произведения.

Концовка «Поездки в Полесье» была приписана в черновой рукописи после 26 февраля (10 марта) 1857 г. в следующем виде:

«— Что же ты не садишься, Егорушка, — заговорил Кондрат, умещаясь на облучке. — Аль корова всё у тебя на уме?

— Какая корова? — спросил я и невольно вскинул глаза на Егора. Он стоял неподвижно между задними колесами телеги и спокойно глядел, слегка прищурившись, прямо перед собою, в даль. Озаренное ровным светом погасающего <солнца> лицо его казалось еще спокойнее.

— Да вот у него последняя коровушка пала, — жалостливым голосом возразил Кондрат.

Егор безмолвно поместился возле него, и мы поехали.

„Этот вот не жалуется“, — подумал я».

Как отмечалось выше, первоначально тема Полесья возникла у Тургенева в связи с «Записками охотника». Позднее, работая над двумя очерками для аксаковского сборника, писатель, видимо, не думал об этой связи. Только после калужской поездки 1856 г. Тургенев принял решение очерк «О стрельбе медведей на овсах в Полесье» превратить в дополнительный рассказ знаменитого цикла. В 1860 г. это намерение было осуществлено: в первом томе «Сочинений» Тургенева (издание Н. А. Основского) «Поездка в Полесье» напечатана в качестве 23-го (предпоследнего) рассказа «Записок охотника». В дальнейшем, однако, рассказ печатался вне этого цикла. Колебания

автора в данном случае характерны. «Поездка в Полесье» многим связана с «Записками охотника»: пейзажи в рассказах «Касьян с Красивой Мечи» и «Смерть» уже предвосхищают изображение природы в «Поездке в Полесье», равно как «смирный тип» Калиныча родствен образу Егора. Но вместе с тем по художественной структуре «Поездка в Полесье» отличается от «Записок охотника». В то время как в последних образ рассказчика неопределенен и даже поверхностен, часто же вообще никакой роли не играет, в комментируемом рассказе он на первом плане и с ним соотнесены все компоненты темы.

В творчестве Тургенева «Поездке в Полесье» принадлежит совсем особое место, поскольку она уже в середине 1850-х годов предвосхитила философски окрашенный и углублепный лиризм ряда его «Стихотворений в прозе», относящихся к заключительному периоду творчества писателя («Песочные часы», «Я встал ночью…», «У-а… у-а…», «Природа», «Лазурное царство» и др.).

«Поездка в Полесье» появилась в «Библиотеке для чтения» вопреки договору об исключительном сотрудничестве писателя в «Современнике». Это обусловило отсутствие отклика на новое произведение Тургенева в важнейшем журнале той эпохи. Однако и другие русские журналы воздержались от критических суждений по этому поводу.

Непосредственным литературным откликом на «Поездку в Полесье» следует считать стихотворение В. Г. Бенедиктова «К лесу», опубликованное в декабрьской книге «Библиотеки для чтения» за 1857 год.

Из эпистолярных отзывов о рассказе следует отметить положительную оценку его Герценом и Огаревым. 19 (31) декабря 1857 г. Герцен писал Тургеневу: «Читал я твою превосходнейшую вещь в „Библ<иотеке> для чтения“ — кроме одного места, где ты уж очень много налиризничал, — удивительно хорошо» *(Герцен,* т. XXVI, с. 149). Огарев на следующий день добавляет к письму Герцена: «Крепко обнимаю Вас за Ваш глубоко поэтический рассказ в „Библиот<еке> для чтения“. Это одна из Ваших наисимпатичнейших вещей, которая так елеем по сердцу и прошла» (там же, с. 150).

Незначительность внимания, уделенного рассказу Тургенева, во многом объясняется несоответствием его тем общественным построениям, которые характерны для второй половины пятидесятых годов XIX в.

Первый перевод рассказа на иностранный язык (французский) был

выполнен при участии автора и издан в 1858 г. *(Scènes, II,* p. 255–291). В этом переводе впервые увидело свет окончание рассказа, отсутствовавшее в «Библиотеке для чтения» и на русском языке появившееся в печати лишь в 1860 году (ср. письмо И. С. Тургенева от 4 (16) октября 1857 г. к Луи Виардо). Извлечения из «Поездки в Полесье» привел Альфонс де Ламартин в своем «Cours familier de littérature», t. XXII. Paris, 1866, p. 318–334 (излагая содержание рассказа, автор вместе с тем дает потный перевод некоторых его эпизодов).

При жизни Тургенева вышел также перевод на датский язык (En Udflugt til Skovregionen. — В кн.: *Turgenjew* J. Nye Billeder fra Rusland. Kjøbenhavn, 1874. Переводчик — V. Møller).

В дальнейшем появились переводы «Поездки в Полесье» на немецкий, английский, чешский языки: 1) Die Fahrt nach dem Holzland. — В кн.: *Turgenieff* J. Memoiren eines Jägers. Leipzig, 1887. Переводчик H. Moser. 2) A tour in the forest. — В кн.: *Turgenev* J. The diary of a superfluous man and other stories. London, 1899, Переводчик Constanse Garnett. 3) Jízda do Polesí. — В кн.: *Turgenev* J. Dym a různé povidky. Praha, 1896. Переводчик M. N.

Несомненно воздействие «Поездки в Полесье» на последующую литературу. Так, в «Записках из подполья» (1864) Достоевского есть мотивы, навеянные некоторыми аспектами философско-психологической концепции «Поездки в Полесье» (см.: *Достоевский,* т. V, с. 377). П. А. Кропоткин обратил внимание на связь, существующую между произведением Тургенева и рассказом В. Г. Короленко 1886 года «Лес шумит» (см.: *Кропоткин* П. Идеалы и действительность в русской литературе. С английского. Перевод В. Батуринского под редакцией автора. СПб., 1907, с. 333).

Вечная Изида (Исида, Исет). — Имя Изиды, древнеегипетской богини, упомянуто здесь Тургеневым как поэтический образ олицетворенной природы. В таком смысле это имя толковалось и в учебных словарях по мифологии начала XIX века и встречалось в поэзии, европейской и русской. См., например, в стихотворениях К. Н. Батюшкова «Странствователь и домосед» (1815) и Я. П. Полонского «Перед закрытой картиной» (1850-е годы), в котором рассказывается о статуе Изиды в Мемфисе:

Не забывайте же, как страшно и велико
То, что от наших глаз Изидою сокрыто…

Ср. также в позднем «Стихотворении в прозе» Тургенева —

«Природа» (1879; наст. изд., т. 10).

Ресета— приток реки Жиздры, являющейся в свою очередь притоком Оки. На большом протяжении составляла естественную границу между Калужской (с севера) и Орловской губерниями.

...уездная, торная дорога. — Дорога, соединявшая уездные города Карачев Орловской губернии и Козельск Калужской губернии.

...юхновцы — крестьяне Юхновского уезда Смоленской губернии.

...копачи — землекопы.

...стеклянный завод... — В изображаемой Тургеневым местности действительно находился завод оконного стекла курского купца Гнучева. Он был расположен на юг от Ресеты, вблизи от упоминаемой Тургеневым переправы (*Попроцкий* М. Ф. Калужская губерния. СПб., 1864. Ч. 1, с. 566).

...село Святое. — Под этим именем Тургеневым описано одно из сел в районе Кудрявца, на восток от излучины Ресеты.

Не знаю, бродили ли по нем татары, но русские воры или литовские люди смутного времени уже наверное могли скрываться в его захолустьях. — Описываемая в рассказе местность находилась на пути движения отрядов, примкнувших к Ивану Болотникову в 1606 году. См.: *Смирнов* И. И. Восстание Болотникова. 1606–1607. М.: Госполитиздат, 1951, с. 196–198 и глава четвертая «Поход на Москву».

У одного майдана... — В историко-географических источниках XIX века отражено большое количество майданов на юг и на восток от излучины Ресеты.

...воровской городок стоял. — Ворами — в значении злодеи — назывались участники крестьянских восстаний XVII–XVIII вв. В орловских лесах в XIX в. часто встречались остатки валов, обнесенных рвами, — «воровских» укреплений.

...точно свиток развивался у меня перед глазами. — Перефразировка следующих строк из стихотворения А. С. Пушкина «Воспоминание» (1828):

Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток.

...производитель — здесь сокращение слова «делопроизводитель» (подразумевается чиновник уездной полиции).

...хлёцкая — здесь в значении бойкая, расторопная.

...двор на полозу — здесь в значении готовый к приему гостей.

Тросное (Тросна, Еленка) — село на север от Кудрявца и на северо-восток от излучины Ресеты.

...дром — здесь в значении хворост.

...я понял жизнь природы ~уметь молчать. Подобные же мысли Тургенев развивал в своей рецензии на «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии» С. Т. Аксакова (см. наст. изд., т. 4).

Ася

Источники текста

Ася. Рассказ. Черновой автограф. Хранится в *Bibl Nat,* Slave 88; описание см.: *Mazon,* p. 58–59; фотокопия — *ИРЛИ,* Р. I, оп. 29, № 193.

Главы XVI–XVIII наборной рукописи (автограф). Хранится в *ГБЛ,* ф. 306, И. С. Тургенев, картон 1, ед. хр. 1[89].

Совр, 1858, № 1, отд. I, с. 39–84.

Т, Соч, 1860–1861, т. III, с. 231–279.

Т, Соч, 1865, ч. IV, с. 1–56.

Т, Соч, 1868–1871, ч. 4, с. 3–55.

Т, Соч, 1874, ч. 4, с. 1–54.

Т, Соч, 1880, т. 7, с. 243–297.

Т, ПСС, 1883, т. 7, с. 262–322.

Впервые опубликовано: *Совр,* 1858, № 1, с. 39–84, с подзаголовком «Рассказ Н. Н.» и подписью: И. Тургенев (ценз. разр. 9 января 1854 г.).

Печатается по тексту *Т, ПСС, 1883* со следующими исправлениями по другим источникам:

Стр. 149, строка 6: «окончить мое воспитание» вместо «кончить мое воспитание» (по всем источникам до *Т, Соч, 1880).*

Стр. 154, строка 26: «собственно имя ее» вместо «собственное имя ее» (по черновому автографу, *Совр, Т, Соч, 1860–1861, Т, Соч, 1865).*

Стр. 156, строка 28: «отворить ему дверь» вместо «ему отворить дверь» (по всем другим источникам).

Стр. 167, строка 1: «с круглым любопытным личиком» вместо «с круглым личиком» (по всем другим источникам).

Стр. 170, строка 15: «изъявлял желание» вместо «изъявил желание» (по черновому автографу и *Совр).*

Стр. 173, строка 41: «Я заглянул в эту душу» вместо «Я взглянул в эту душу» (по всем источникам до *Т, Соч, 1880).*

Стр. 174, строки 27–28: «и я рада» вместо «и я так рада» (по всем другим источникам).

Стр. 195, строка 24: «Так легкое испарение» вместо «Такое легкое испарение» (по всем другим источникам).

На обложке чернового автографа Тургенев точно датировал свою работу: «Ася. Рассказ. Начат в Зинциге на берегу Рейна 30-го июня /

12-го июля 1857 в воскресенье, кончен в Риме 15 / 27-го ноября того же года в пятницу (Писан с большими промежутками по милости болезни)». На последней странице чернового автографа — та же дата окончания работы (очевидно, отсюда она и перенесена на обложку) с указанием часа: «10½ ч. вечера». В письме к П. В. Анненкову от 27 июня (9 июля) 1857 г., сообщая о своем приезде в Зинциг (21 июня / 3 июля), Тургенев упоминает о намерении после большого перерыва приступить к работе: «Я предпочел З<инциг> — здесь почти никого нет, и я могу предаваться полнейшему уединению и, по возможности, работать (чего я уже не делал более года)». Очевидно, самый замысел повести возник у писателя непосредственно в Зинциге или, во всяком случае, здесь приобрел реальные очертания: обстановка жизни этого города, его природа и быт подробно описаны в повести.

Н. А. Островская так передает рассказ Тургенева о «зинцигском» впечатлении, послужившем толчком к оформлению замысла повести и началу работы над ней: «Вечером < ...> вздумал я поехать кататься на лодке < ...> Проезжаем мы мимо небольшой развалины; рядом с развалиной домик в два этажа. Из окна нижнего этажа смотрит старуха, а из окна верхнего — высунулась голова хорошенькой девушки. Тут вдруг нашло на меня какое-то особенное настроение. Я стал думать и придумывать, кто эта девушка, какая она, и зачем она в этом домике, какие ее отношения к старухе, — и так тут же, в лодке, и сложилась у меня вся фабула рассказа» *(Т сб (Пиксанов),* с. 78).

4 (16) июля 1857 г. Тургенев пишет И. И. Панаеву о начале работы над повестью: «…20-го сентября непременно буду в Петербурге и, если не ошибаюсь, привезу с собою повесть, которую я здесь начал и, бог даст, кончу». На следующий день, 5 (17) июля 1857 г., в письме к А. И. Герцену, Тургенев снова повторяет: «…авось удастся поработать. Я уже кое-что начал».

День начала работы (12 июля н. ст. 1857), первое сообщение о ней и обещание дать свою повесть для «Современника» (16 июля н. ст.) отделены от дня, когда рукопись была послана в журнал (на обложке чернового автографа надпись: «Отправлен в редакцию „Современника“ 30 ноября / 12 декабря 57»), пятью месяцами, в течение которых Тургенев неоднократно менял место жительства (Зинциг, Баден-Баден, Париж, Булонь, Куртавнель, Лион, Марсель, Ницца, Генуя, Рим). В письмах этого времени он постоянно сообщал русским друзьям о ходе работы над повестью (см., например, письма к Н. А. Некрасову от 12 (24) августа, 9 (21) сентября и 16 (28) сентября 1857 г.), зачастую жалуясь на болезнь и тяжелое душевное состояние,

затруднявшие работу.

В письме к членам редакции «Современника» от 16 (28) сентября 1857 г., обращаясь к Некрасову, Тургенев заявляет: «…я буду работать в Риме < ...> оттуда буду высылать тебе всё, что сделано, начиная с повести (заглавие ей „Ася“), которую ты напечатаешь до нового года, за это ручаюсь тебе».

Однако редакция «Современника», с нетерпением ожидавшая от Тургенева, участника «обязательного соглашения», существенной поддержки журнала, решительно усомнилась в реальности его обещаний: «Мы убеждены, что *Ася, Дон-Кихот и Гамлет* — всё это пуфы», — писал И. И. Панаев В. П. Боткину 16 (28) октября 1857 г. *(Т и круг Совр,* с. 429) и просил его побудить Тургенева, его спутника по путешествию в Рим, к большей творческой активности. Извещая Н. А. Некрасова 22 ноября (4 декабря) 1857 г. об окончании работы над «Асей», Тургенев нашел нужным заручиться «свидетельством» Боткина, который прослушал законченную повесть в чтении автора. Приписка Боткина к письму Тургенева должна была рассеять сомнения редакции «Современника». Вместе с тем Тургенев сообщал в том же письме Некрасову, что собственноручно переписывает повесть: «…время мое всё уходит на переписывание „Аси“».

Исправления в беловой рукописи, а также несовпадение отдельных слов и целых фраз первой публикации *(Совр)* с текстом чернового автографа говорят о том, что между 22 и 27 ноября 1857 г. Тургенев был занят окончательной отделкой произведения. Очевидно в это время были дописаны в автографе несколько страниц, представляющие собою новую редакцию сцены свидания. 25 ноября (7 декабря) 1857 г. Тургенев пишет Толстому о окончании повести, а также о дополнительной обработке ее после чтения Боткину как о совершенной работе: «…я стряхнул здесь <в Риме> свою лень и написал повесть, которая на днях отправляется в Петербург. Я ее прочел Боткину: он дал мне дельные советы, которыми я воспользовался».

Отослав рукопись в «Современник», Тургенев больше не возвращался к работе над повестью. Он поручил редакции «Современника» держать корректуру с обязательным условием, чтобы до напечатания повесть была показана П. В. Анненкову и одобрена им. На последнем условии Тургенев всячески настаивал, рассматривая Анненкова как своего «первого критика» и постоянного рецензента. В письме к Д. Я. и Е. Я. Колбасиным от 28 ноября (10 декабря) 1857 г. он подтверждал свою готовность в случае, если бы у Анненкова явились

замечания, внести исправления в текст. Подобных исправлений не потребовалось. 10 (22) января 1858 г. И. И. Панаев сообщал Тургеневу о подготовке повести к печати: «Корректуру читал я, корректор и сверх того Чернышевский. Уж если еще будут ошибки, — то значит сделали всё, что могли, и лучше не умеем. Анненковым повесть прочтена, и, вероятно, уже мнение его о ней тебе известно. Он в восторге» *(Т и круг Совр,* с. 100).

Таким образом, Чернышевский — автор статьи «Русский человек на rendez-vous. Размышления по прочтении повести г. Тургенева „Ася“» — тщательно вникнул в текст произведения, уже читая его корректуру.

Интересны возникшие в редакции «Современника» при печатании повести разногласия, которые чуть не привели к редакторским исправлениям текста. Высоко оценивая повесть и сообщая, что вся редакция «Современника» в восторге от нее, Некрасов добавлял: «Замечание одно, лично мое, и то неважное: в сцене свидания у колен герой неожиданно выказал ненужную грубость натуры, которой от него не ждешь, разразившись упреками: их бы надо смягчить и поубавить, я и хотел, да не посмел, тем более, что Анн<енков> против этого» *(Некрасов,* т. X, с. 374–375).

Есть все основания думать, что с Некрасовым в данном вопросе разошелся не только Анненков, мнение которого, ввиду особенного доверия к нему автора, было крайне авторитетным, но и пользовавшийся огромным уважением самого Некрасова член редакции «Современника» Чернышевский. В статье «Русский человек на rendez-vous» Чернышевский вспоминал об этих разногласиях и высказывал свое мнение о поведении героя в сцене свидания:

«От многих мы слышали, что повесть вся испорчена этой возмутительной сценой, что характер главного лица не выдержан, что если этот человек таков, каким представляется в первой половине повести, то не мог поступить он с такой пошлой грубостью, а если мог так поступить, то он с самого начала должен был представиться нам совершенно дрянным человеком.

Очень утешительно было бы думать, что автор в самом деле ошибся, но в том и состоит грустное достоинство его повести, что характер героя верен нашему обществу» *(Чернышевский,* т. V, с. 158).

Сцена объяснения героя с Асей не случайно явилась источником споров еще до появления повести в печати. Сочетание в ней кульминации действия с мгновенной его развязкой, резкий поворот сюжета, неожиданно для читателя освещающий новым светом

существо отношений и характеров героев, составляли отличительную черту этой повести. Чернышевский построил все рассуждения своей статьи на этом небольшом по объему эпизоде. Значительных творческих раздумий потребовал этот эпизод от самого Тургенева. Следует отметить, что Тургенев сам шел по линии усиления грубости и непоследовательности поведения своего героя. В этом эпизоде, как и в ряде других случаев, черновая рукопись отражает эволюцию замысла писателя.

Повесть «Ася» была задумана Тургеневым в момент острого идейного и душевного кризиса и явилась ответом на целый комплекс общественных и личных вопросов, вставших перед ним в середине 1850-х годов. 17 февраля (1 марта) 1857 г. Тургенев сообщал В. П. Боткину о своем твердом намерении отказаться от творчества. При этом писатель не скрывал, что творческий его кризис вызван изменением «вкуса» читающей публики и появлением писателей такой огромной силы и такой оригинальности, как Толстой и Щедрин (к творчеству последнего он в это время относился без симпатии).

«Изменение вкуса» публики Тургенев рассматривал как общественно-историческое явление, понимая, что самый состав публики расширяется и меняется. Еще в 1845 году Тургенев писал: «У каждого народа есть своя чисто литературная — эпоха, которая мало-помалу приуготовляет другие, более обширные развития человеческого духа» (наст. изд., т. 1, с. 200). При этом «литературную эпоху» он рассматривал как важнейший этап общественного прогресса, а литературную деятельность — как общественную деятельность. Характерно, что, сообщая Е. Е. Ламберт 3 (15) ноября 1857 г. о преодолении им тяжелого душевного разлада, Тургенев заявлял, что считает дилетантизм главным своим общественным пороком: «Я ничем не могу быть, как только литератором — но я до сих пор был больше дилетантом. Этого вперед не будет». В тесной связи с размышлениями этой поры о назначении писателя стоят неоднократные и настойчивые обращения Тургенева к Толстому с призывом решительно отказаться от дилетантизма, признать писательство своим общественным долгом и профессией.

Повесть «Ася» создавалась в тот момент, когда мысль Тургенева была сосредоточена на этих, глубоко задевавших его вопросах, когда он производил оценку сделанного им в литературе и намечал дальнейшие пути своей деятельности: «В человеческой жизни есть мгновенья перелома, мгновенья, в которых прошедшее умирает и зарождается нечто новое; горе тому, кто не умеет их чувствовать, и

либо упорно придерживается мертвого прошедшего, либо до времени хочет вызывать к жизни то, что еще не созрело», — пишет он Е. Е. Ламберт 3 (15) ноября 1857 г., то есть в ту пору, когда работа над «Асей» вступала в стадию завершения. Глубокие социальные раздумья, тесно переплетенные с интимными переживаниями, с размышлениями о своей личной и писательской судьбе, нашли выражение не только в окончательном тексте повести, но и в самом процессе работы над произведением, отраженном в черновой рукописи.

До нас не дошли характеристики героев, планы и конспекты. Единственным «отпечатком» «забегающей вперед» и намечающей дальнейшее движение текста мысли автора являются краткие заметки на полях рукописи.

Первые из них помещаются на оборотной стороне обложки под общим заголовком: «Замечания к рассказу Н. Н.». Три замечания пронумерованы. Сбоку на полях, со знаком «NB» помещено четвертое. Это последнее замечание: «Москва у всей России под горою: всё в нее катится» — не было реализовано ни в черновой рукописи, ни в окончательном тексте повести.

Замечание: «1) Запах конопли напоминает родину» — было развито в главе IV в тонкий анализ чувств, возбужденных в герое после встречи с Гагиными случайным ночным запахом (см. с. 161, строки 31–41). Интересен здесь и первоначальный вариант текста, комментирующий мысль писателя: вместо «ходить по русской земле» — «ходить по русской земле, говорить с русскими людьми».

Замечание: «2) Рассказать, как слушать надо соловья и так д<алее>» — нашло свое частичное осуществление в главе X — в эпизоде, рисующем влияние соловьиного пения на взволнованного героя (см. с. 177, строки 31–32). В черновом автографе запечатлены все этапы работы писателя над изложением этого небольшого эпизода. Меняя фразы (сначала: «Когда соловей запел вдруг на берегу и звуки…»; затем: «Соловей запел вдруг на берегу и [сладкий] яд его звуков, его сладостные шептанья словно прокатились по во<де?>, и наполнил меня ядовито-сладкий голос радости…»; затем: «Соловей запел на берегу и заразил кровь мою сладким ядом своих звуков»; и наконец: «соловей запел на берегу и заразил меня сладким ядом своих звуков»), писатель шел от более сложных и даже вычурных средств выражения своей мысли к простому и наиболее краткому, хотя и глубоко поэтичному ее воплощению.

Особенно полно было осуществлено третье замечание: «Чуткость

ее — слова о матери» (см. с. 170, строки 20–33; с. 170, строки 12–15, с. 178–179, строки 30 — 3).

На с. 3 рукописи со знаком «NB» помещены два отдельных слова: 1) «Виноград» (в тексте развернуто описание виноградников, окружающих дома городка З., см. с. 150) и 2) «Гретхен» (это имя завершает описание ночного города, см. с. 150). Однако черновые варианты этого описания дают основание считать, что не только обстановка немецкого городка, как утверждают некоторые исследователи[90], но и более глубокие ассоциации заставляют автора вспомнить героиню Гёте. Образ Гретхен возникает в сознании героя при встрече с девушками, которые стоят в темноте «перед полураскрытыми дверьми, словно притаясь», в летнюю ночь, когда «что-то перебегало в тени около старинного колодца посередине треугольной площади» (черновой автограф; ср. на с. 150, строки 35–41), и как бы предвещает самоотверженность и бесперспективность увлечения Аси. Здесь намечается то отдаленное сопоставление трагедии любви, данной в драме Гёте, и переживаний, предстоящих героям повести, которое говорит о некотором родство замысла «Аси» и повести Тургенева «Фауст».

На с. 15 рукописи со знаком «NB» есть помета: «Надо откровенно — брови подымаются». Запись эта явно относится к Гагину, ведущему откровенные беседы с г-ном Н. Н., но ни в тексте повести, ни в черновых вариантах, ни в окончательной ее редакции она не отражена.

На полях с. 35 рукописи помещены слова: «тонкие члены». Эти слова в черновом автографе получили развитие во фразе: «Не одной стыдливо неясной, [своеобразной] ласковой грацией, разлитой по ее маленьким, худощавым и тонким членам, так привлекала она меня», переработанной в окончательном тексте следующим образом: «…не одной только полудикой прелестью, разлитой по всему ее тонкому телу, привлекала она меня…» (с. 174, строки 4–5).

Других помет, представляющих собою как бы элемент плана, в черновой рукописи не содержится.

Работа Тургенева над повестью, которая, по собственным его признаниям, стоила ему больших усилий (см., например, письмо его к А. А. Фету от 7 (19) ноября 1857 г.), проходила по следующим основным линиям: 1. Обработка сказа, которым передаются события повести; 2. Отделка характеристик героев; 3. Тщательная и многосторонняя разработка некоторых центральных эпизодов; 4. Стилистическая правка, особенно обильная в эпизодах, содержащих описания; 5. Некоторые композиционные изменения.

1. На протяжении всей работы над рукописью Тургенев изменяет фразы, безыскусственно и непосредственно передающие разговорную речь. Тургеневу, как замечательному устному рассказчику, казалось проще и естественнее повествовать от первого лица. Однако затем писатель стремился в ряде случаев изъять прямые обращения к слушателям и разговорные обороты, придав изложению более плавное течение. Именно в этом направлении видоизменялся, например, текст, которому в окончательной редакции соответствует фраза: «Мне тогда и в голову не приходило, что человек не растение и процветать ему долго нельзя» (с. 149, строки 11–12). В черновом автографе вместо этой фразы имеются следующие варианты: *а.* Теперь вот даже не верится, чтоб это было возможно, но тогда и в голову не приходило, чтобы можно было иначе жить. *б.* Теперь я даже понять не могу это и представить-то не в силах, как это было возможно, шутка! Впрочем мне тогда и в голову не приходило, что это роскошь. Я, сибарит, роскошничал *в.* Мне тогда и в голову не приходило, что человек не растение и что собственно процветать эдак в виде цветка никому не позволяется… После слов «Я искал уединения» (с. 150, строка 3) первоначально следовали варианты обращения рассказчика к слушателям: «Я забыл вам сказать», «Видите ли», вычеркнутые затем писателем. Такими же обращениями прерывалось первоначально описание внешности Аси (с. 153, строки 16–21): «Но что я заметил в первый раз», «и только это было», «но об ней я поговорю позже», «я об ее лице поговорю после», «но я после говорил».

2. Раздумья Тургенева над исторической судьбой людей своего поколения, колебания в его отношении к герою сказались в работе писателя над образом г-на Н. Н. В черновых вариантах Тургенев в гораздо большей степени, чем в окончательном тексте, подчеркивает психологическую близость между героем и собою, допускает более явные намеки на то, что будущее героя — участие в литературе и что наблюдения, которым жадно предается г-н Н. Н., — выражение его склонности к литературному творчеству. Первоначальные варианты: «К чему привела меня эта наблюдательность», «может быть, уже тогда предчувствовал я, что всю жизнь свою останусь зрителем чужих дел» и др. — были отброшены, и лишь сохранившаяся фраза: «Но я опять сбиваюсь в сторону» намекает на то, что воспоминание о наблюдениях тех лет продолжает волновать рассказчика. Вместе с тем черновая рукопись заключает некоторые определенные намеки на «дилетантизм» героя и осуждение им впоследствии своего дилетантизма. Здесь г-н Н. Н., вспоминая о своей беспечности,

удивлялся, как мог он быть в прошлом сибаритом, не признававшим никаких обязанностей (см. выше варианты текста: «Мне тогда — долго нельзя» — с. 149, строки 11–12).

На с. 11–12 автографа Тургенев тщательно обрабатывает разговор героев, раскрывающий дилетантизм Гагина. Первоначальные слова о рисунках Гагина, где «детские ошибки попадались рядом с замечате<льными…>» (вариант не закончен), как и откровенное признание Гагина в том, что он «поздно начал», были заменены еще более определенными высказываниями вроде: «Не учился я как следует» (см. с. 157, строки 15–16). Характерно, что находящаяся здесь чрезвычайно важная реплика Гагина: «Коли хватит терпенья, из меня выйдет что-нибудь… не хватит, останусь недорослем из дворян» — вписана отчасти над строкой, отчасти на полях. В первоначальном варианте вместо «останусь недорослем из дворян» было: «Туда и дорога». Не сразу вылились и слова автора о том, что Гагин не сможет порвать с барским дилетантизмом и стать подлинным художником (см. с. 160, строки 34–37). Интересны варианты эпизода, рисующего дилетантскую беседу героев о работе и значении художника «в наш век» (см. с. 163, строки 11–13). Тут было, например, зачеркнутое затем авторское замечание о красноречивых беседах дворян: «Русские большею частью так умничают».

Рукопись дает материал для суждения о том, как формировался образ Аси в сознании Тургенева, и в некоторых случаях открывает возможность прокомментировать отдельные эпизоды повести. Тщательной обработке подвергся эпизод первого прощания г-на Н. Н. с Асей (с. 155, строки 34–35). О неожиданном жесте Аси, отказавшейся от рукопожатия при прощании с г-ном Н. Н., писатель рассказал последовательно в трех вариантах фразы: 1) «я < ...> хотел было пожать руку Асе, но она как бы смеясь уклонилась»; 2) «я < ...> протянул было свою руку Асе, но она спрятала с особенным, ей одной свойственным выражением»; 3) «я < ...> протянул было свою руку Асе, но она только посмотрела на нее и значительно покачала головой». Лишь после этого писатель пришел к окончательному варианту.

«Прощайте, — повторила Ася, громко запела какую-то песенку… и побежала домой. Гагин отправился за нею», — гласит вариант, не вошедший в окончательный текст (ср. с. 155–156, строки 43 — 1). Душевное состояние г-на Н. Н. после встречи с Гагиными Тургенев передавал следующими словами: «Эти звуки, эта ночь, эти новые лица, эта странная девушка… Я точно почувствовал, что, говоря словами

Гагина, все струны сердца моего задрожали и ответ на те рыдающие счаст<ливые> напевы». Данный вариант заменен в окончательном тексте более сдержанной, лаконичной фразой: «Гагин был прав: я почувствовал, что все струны сердца моего задрожали в ответ на те заискивающие напевы» (с. 156, строки 6–8).

В ряде случаев писатель отбросил элементы описания внешности Аси, но многие из этих вариантов дают дополнительный материал для суждения о том, как рисовался внешний облик Аси писателю. Например, вместо текста: <Ее большие глаза — глубок и нежен» (с. 155, строки 1–3) было: *а.* «Когда она смотрела на вас, взор был ровным, светлым, но стоило ей прищурить веки посреди речи, и он делался чудно глубок и тих…» *б.* «Собственно взор ее был светлым — и только — и все движенья ее были слишком резки». За словами: «черты ее мне показались больше, строже, проще» (с. 159, строка 18) следовало: «брови не шевелились, эти вечно подвижные брови». После слов: «образ „девушки с натянутым смехом“» (с. 181, строка 7) первоначально было: «и некрасивым лицом».

Весьма значителен вариант строк 24–25 с. 175 («Вы честолюбивы — оставить…»), наглядно раскрывающий связь образа Аси с сильными и смелыми героинями позднейших произведений Тургенева. Г-н Н. Н. говорит здесь Асе: «Вы честолюбивы… или нет! Вы хотите взглянуть в лицо идеалу, настигнуть» <не закончено>. Не вошел в окончательную редакцию следующий эпизод, наглядно показывавший готовность Аси ответить решительным «да» на возможное признание: «Не успел я подойти к ней, как она быстро обратилась в мою сторону и сказала: „Да“. Я посмотрел на нее с недоумением. — Извините, — промолвила она. — Мне показалось, что вы у меня что-то спрашивали. Всё равно я сказала всё-таки… да… да… да… — проговорила она значительно с расстановкой». Этот эпизод в окончательной редакции заменен текстом: «…остановилась в дверях — смеяться не могу…» (с. 179–180, строки 37 — 8).

В черновой рукописи Тургенев более резко и определенно проводит линию внутреннего сопоставления истории любви своих героев с трагической любовью героев «Евгения Онегина» Пушкина. На с. 38 рукописи впервые возникает, в качестве вставки на полях, тема пушкинской Татьяны, сопоставление ее судьбы с судьбою Аси (соответствующий текст окончательной редакции — на с. 176, строки 10–14). Далее Тургенев, работая над рукописью, неоднократно возвращается к этому сопоставлению. Так, говоря о пылкой непосредственности Аси, Гагин выражал опасение: «…она в состоянии

занемочь, уехать, написать вам письмо» (черновой вариант). Ср. в окончательном тексте: «…она в состоянии занемочь, убежать, свиданье вам назначить» (с. 183, строки 29–30); имя Пушкина упоминалось и далее в черновом тексте, правда в другой связи, при описании глаз Аси: «О глаза женщины! — Пушкин…» <не закончено> (вариант фразы: «О, взгляд женщины — тебя опишет?» — с. 186–187, строки 40 — 1). Несколько ниже в автографе герой упрекает себя в том, что он мог девушке, признавшейся ему в любви, «холодно читать < ...> наставления» — слова, не вошедшие в окончательную редакцию и представляющие собой скрытую цитату из «Евгения Онегина».

3. Эпизоды, потребовавшие наибольшего внимания и подвергшиеся наиболее тщательной обработке, связаны главным образом с изображением Аси и рассказом о ее судьбе. Радикальным переделкам подвергся эпизод, рисующий историю жизни Аси, ее детства, отношения к ней отца (см. с. 168–170). Многие сокращенные впоследствии детали этого эпизода представляют интерес. Так, характеристика Татьяны, матери Аси, первоначально была более распространенной. Вместо «Она слыла девушкой гордой и неприступной» (окончательный текст — с. 169, строка 33) первоначально было: «Она слыла девушкой примерной нравственности, очень гордой и неприступной, и в доме ее все уважали»; затем переработано: «Она слыла девушкой гордой и неприступной, и все дворовые очень ее уважали». Вместо «Сколько я мог понять из почтительных недомолвок Якова, отец мой сошелся с нею несколько лет спустя после смерти матушки» (с. 169, строки 34–36) первоначально было: «Сколько я мог понять из почтительных недомолвок старшего камердинера, отец мой полюбил ее при жизни матушки, но сошелся с нею года два спустя». После слов «Татьяна ему и в этом отказала» (с. 170, строка 16) первоначально следовало: а. «По всему было видно, что у ней был характер чрезвычайно твердый — и отец мой покорялся ее воле» *б.* «По всему заметно видно было, что характер у ней был твердый и что отец покорялся ее воле». Многочисленные варианты эпизода, рисующего воспитание Аси в доме отца, говорят о том, как тщательно продумывал писатель все детали своего повествования. Приведем некоторые из первоначальных вариантов чернового автографа к строкам 20–25 с. 170: *а.* «долгие годы, проведенные ею в постоянном пребывании с глазу на глаз с человеком, подобным моему отцу, разве они могли не отозваться… И то должно удивляться, как она совсем не изломалась, как она вынесла это вечное уединение, молчание отца и тишину или как она не зачахла

в этом темпом большом кабинете с глазу на глаз с печальным стариком; кровь в ней кипела, поводья были слабы, а управлять ими было некому»; *б.* «Отец не баловал ее, то есть он не нянчился с нею; но он любил ее страстно [он исподтишка улыбался ей], тихо светился в ее присутствии; читая книгу, украдкой следил за нею взором и никогда ничего не запрещал ей, он как будто считал себя виноватым перед ней».

Много труда потребовала от писателя обработка эпизода, рисующего обучение Аси, — по первоначальному плану в доме богатой родственницы, а затем в пансионе. Вот один из вариантов рассказа об этом Гагина: «Я привез ее в Петербург. Как мне ни больно было с нею расставаться, жить с нею вместе я никак не мог. Я поместил ее к одной моей тетке, доброй и властной женщине с большим семейством. Ася поняла необходимость нашей разлуки, но начала с того, что заболела и чуть не умерла. Потом она обтерпелась и выжила у ней целые четыре года. Тетка только смотрела за внешним приличием, за comme il faut, и в прочее ни во что не входила. Дочери ее были очень добрые, но довольно пошлые петербургские барышни. Ася казалась им чудачкой, мальчиком в юбке, они не понимали ее, находили ее иногда сумасшедшей, иногда даже злою; она их считала за дурочек, за кукол. Они бренчали на фортепьянах разные вальсики и романсы, а Ася никогда не могла выучить простую гамму; она читала с жадностью, они вовсе ничего не читали. Они мечтали об офицерах и нарядах, и то слегка, а размышлять они не умели вовсе. Она носила у себя [на душе] в голове целый мир образов, воспоминаний, фантазий, несбыточных надежд… и сердце тлело в ней глубоко и скрытно, как уголь… Общего между ними не было ничего. Кроме того, мои кузины не умели пощадить ее гордость. [Они давали ей почувствовать разницу между и<ми>]. Ася с своей стороны [вымещала им их маленькие обиды] не спускала также им. Словом, она продолжала идти своей дорогой, только по милости теткиных увещаний она стала немного лучше держать себя, меньше [капризничала] прихотничала, хотя и в этом отношении она, кажется, не много успела». Однако весь этот тщательно отработанный эпизод был отброшен и заменен рассказом о пребывании Аси в пансионе (см. с. 172, строки 8 — 32). Окончив повесть и поставив свою подпись, писатель через некоторое время еще раз вернулся к эпизоду свидания и, перечеркнув текст чернового автографа, заменил его новым, написанным на отдельных листах. В это время возникла часть XXII главы, содержащая самоанализ героя, осмысление им своего поведения и его самоосуждение (с. 195).

Следует отметить, что фраза: «— „Ваша“… — прошептала она едва слышно» (с. 187, строка 17), после которой поведение г-на Н. Н. во время свидания представляется особенно возмутительным, очевидно, возникла в беловой рукописи, как и слова: «„Ваша“… — слышался мне ее шёпот» — в главе XVII (с. 189, строки 24–25).

4. Черновой автограф дает интересный материал для изучения того, как создавались Тургеневым его знаменитые описания, о которых Л. Толстой говорил: «Это настоящие перлы, недосягаемые ни для кого из писателей» (*Сергеенко* П. А. Как живет и работает Л. Н. Толстой. 2-е изд. М., 1903, с. 53). Замечательные картины природы в повести «Ася» возникли после упорных поисков и многократных переделок. Часто писатель начисто отказывался от первоначальных образов и заменял их новыми. Интересно отразились, например, художественные принципы Тургенева в ходе его работы над описанием вечернего пейзажа во II главе (с. 155, строки 15–20). Создавая один вариант текста за другим, писатель сначала дает исход своему лирическому чувству в пышных, романтических образах и затем, находя всё новые реальные, живые детали, «переводит» авторскую эмоцию в «подтекст» точного, но глубоко поэтического описания. Приведем последовательно три варианта, которые предшествовали окончательному тексту этого отрывка: *а.* «Наконец луна встала и воцарилось ясное великолепие ночи, не уступающее светлому великолепию дня. Ветер упал совсем, и теплом обняло нас. Царственная торжественная ночь не уступает светлому великолепию дня», *б.* «Наконец луна поднялась и заиграла по Рейну; [вино давно] и вместе с нею воцарилась на земле и на небе — везде — ясная торжественная ночь. Ветер упал, повеяло ночным душистым теплом, тихо задвигалось всё небо звездами», *в.* «Наконец луна поднялась и заиграла по Рейну и повсюду началось великолепие, не уступающее светлому празднику. Ветер упал, от земли повеяло теплом, небо тихо зашевелилось звездами».

Такая же сложная работа была произведена Тургеневым при создании других описаний повести (см., в частности, с. 150, строки 29–41, с. 177, строки 17–20, с. 177, строки 24–32).

Стилистическая правка, произведенная Тургеневым с исключительной тщательностью — как посредством замены отдельных слов и выражений, так и путем изменения конструкции фраз, привела к той отточенности стиля повести, которая была замечена современниками: «Самая даже речь или слог особенный наряд имеют. Вы прежде как будто не таким языком писали», —

отмечал Е. Я. Колбасин в письме к Тургеневу от 16 (28) января 1858 г. *(Т и круг Совр,* с. 346–347).

5. Композиционные изменения сказались с внешней стороны в том, что простые черточки, отделявшие в черновом автографе одну главу повести от другой, в беловой рукописи были заменены римскими цифрами нумерации. Некоторые небольшие эпизоды в ходе работы над текстом подверглись перестановке. Начало главы VI (с. 21 чернового автографа), вследствие внесения всё новых мотивов в текст, превратилось в сложную мозаику. Затем Тургенев часть материала со с. 21 переписал на отдельном листе. Сюда был присоединен эпизод: «Я застал ее раз за книгой — как Доротея» со с. 23 чернового автографа (см. с. 164, строки 16–34). Начало главы XII, строки: «Она вернулась через час — Видите, я уж и смеяться не могу…» — были написаны и внесены в текст позже — в то время, когда писатель работал над разговором Гагина с г-ном Н. Н. о любви Аси (см. с. 183). Очевидно, изображая это объяснение, раскрывающее всю силу увлечения героини, Тургенев счел необходимым усилить намеки на любовь Аси в предшествующей главе. Так на полях, рядом с началом главы XII, возник эпизод, рисующий внутреннюю готовность Аси к объяснению с г-ном Н. Н. (см. выше, с. 445), который затем был заменен новой вставкой, сделанной через несколько страниц, отнесенной сюда при помощи специальной пометы и вошедшей в окончательный текст (с. 179–180, строки 36–38). Как вставка, сделанная после окончания основной работы над повестью, возникли в главе XXII строки: «Впрочем, я должен сознаться — сладким замиранием!» (с. 195, строки 1 — 14). Более подробную характеристику творческой истории «Аси» и публикацию вариантов чернового автографа повести см.: *Т сб,* вып. 4, с. 5–65.

Некоторые дополнительные штрихи в историю работы писателя над «Асей» вносят переводы повести на иностранные языки. Первый перевод ее на французский язык был сделан А. И. Делаво и опубликован 1 октября 1858 г. в «Revue des Deux Mondes» («Annouchka. Souvenirs des bords du Rhin». — «Аннушка. Воспоминания с берегов Рейна»). Тургенева не удовлетворил этот перевод. Не вполне доволен остался автор и следующим переводом повести, осуществленным Погонкиным. Весной 1869 года Тургенев сам перевел повесть. Этот перевод был опубликован в сборнике: *Tourguéneff* J. Nouvelles moscovites. Paris. <1869>, с указанием: «Traduction par l'auteur». Как видно из письма Тургенева к издателю Этцелю от 8 (20) марта 1869 г., автор внес в повесть ряд исправлений

во второй корректуре. В переводе «Аси» Тургенев допустил в отдельных случаях небольшие отступления от русского текста, чтобы облегчить французским читателям восприятие произведения. Само заглавие повести подверглось замене: вместо «Ася» — «Annouchka», причем в тексте повести Тургенев первое упоминание героини сопроводил сноской-разъяснением: «Annouchka ou Assia, diminutif d'Anna» — «Аннушка или Ася — уменьшительное имени Анна». Фраза: «Молодость ест пряники — хлебца напросишься» (см. с. 149, строки 12–14) во французском переводе заканчивается пояснением: «dit un proverbe russe» («говорит русская пословица»). Словам «смиренно и важно молилась, кланяясь низко, по-старинному» (с. 170, строки 11–12) во французском переводе соответствует более подробное описание, объясняющее, как кланяются «в землю»: «elle priait avec une gravité modeste, s'inclinant profondément, suivant la coutume du vieux temps et touchant la terre du bout des doigts avant de la frapper avec la front» («Она молилась со смиренной важностью, низко склоняясь по обычаю древних времен и касаясь кончиками пальцев земли прежде чем коснуться ее лбом»); слово: «Гретхен» (см. с. 150, строка 40) заменено: «le nom de Marguerite». Многие образы в описаниях упрощены, выражение «какой-то французский роман» заменено: «mauvais roman français» — «плохой французский роман» — и т. п.

Следы авторского вмешательства в немецком авторизованном переводе: *Ausgewählte Werke,* B. II, — мало приметны. Так, например, вместо: «перед небольшой гостиницей под вывескою Солнца» (с. 152, строки 1–2) — читаем: «vor einem kleinem Wirtshause „Zur Sonne“ genannt» («перед маленькой гостиницей, названной „Под солнцем“»; то же немецкое название и в червовом автографе) и т. п.

В библиотеке *ИРЛИ* хранится перевод повестей «Ася» и «Первая любовь» на итальянский язык: «Il primo amore e Assia. Due racconti di Ivan Turgheneff, tradotti dall'originale russo da Edoardo Zucchelli». Firenze, Andrea Bettini libraio — editore. 1876. Книга сопровождена предисловием — биографией Тургенева, составленной Tommasi (Томмази). Эта книга, поступившая из собрания А. Ф. Онегина, содержит дарственную надпись переводчика Тургеневу: «All'Autore gentile, in attestato di stima e di riconoscenza. Il Traduttore» («Любезному автору в знак уважения и признательности. Переводчик»). Участие автора в этом переводе, за исключением совершенно незначительных «примет», как, например, свободный перевод русского «кислого молока» (с. 153, строка 32) немецким: «Sauer-Schmandt» пли

выражения «великорусским дворянином» (с. 164, строка 7) по-итальянски как «un nobile della Russia centrale» («дворянин из центральной России»), никак не проявилось. Исследователь истории русско-итальянских литературных контактов З. М. Потапова отмечает, что одновременное появление в Италии в 1876 г. второго издания перевода повести «Вешние воды» (1-е издание отдельной книгой вышло в 1873 г.) и сборника повестей Тургенева, содержавшего «Первую любовь» и «Асю», свидетельствует об успехе произведений писателя у итальянской публики (*Потапова* З. М. Русско-итальянские литературные связи. М., 1973, с. 105). При жизни Тургенева появились переводы повести «Ася» на датский («Assja». Paa Dansk ved V. Miøler. — В кн.: Turgenjew Smaa Fortaellinger. Kjøbenhavn, 1872) и шведский языки («Assja». Öfvers. af G. & H. — в кн.: Turgénjev I. Berättelser. Köping, 1876), а также и на английский — в Америке (журнал «Galaxy», 1877, v. XXIII, p. 368–394). Перевод «Аси» на датский и шведский языки был осуществлен в годы, когда «Тургенев имел в Скандинавии блестящий, ни с чем не сравнимый успех». Скандинавские историки литературы говорят об особом «тургеневском периоде» в датской литературе в семидесятые годы XIX в. (см.: *Шарыпкин* Д. М. Русская литература в скандинавских странах. Л.: Наука, 1975, с. 25).

По окончании работы над повестью Тургенев сразу обратился к ряду своих друзой, прося сообщить свое мнение о ней. Одобрение некоторых из них (Анненков, Некрасов) должно было предшествовать опубликованию повести, большинства же отзывов автор ожидал как откликов на появление произведения в печати. Сам писатель был доволен своей работой, хотя у него и не было уверенности в том, что она встретит сочувствие читателей. 18 (30) декабря 1857 г. Толстой писал Некрасову: «Тургенев пишет, что прислал вам повесть < ...> Слава богу, он пишет о ней без свойственной, ему болезненной скромности» *(Толстой,* т. 60, с. 244). «Толков предвидится короб хороший», — как бы отвечая на сомнения Тургенева, писал ему П. В. Анненков 21 декабря ст. ст. 1857 г. по получении рукописи «Аси» в Петербурге (Письма П. В. Анненкова к И. С. Тургеневу. — *Труды ГБЛ,* вып. III, с. 74). Первые одобрения литераторов были получены Тургеневым из редакции «Современника». 10 (22) января 1858 г. И. И. Панаев сообщал ему: «Повесть твоя — прелесть. Спасибо за нее: это, по-моему, одна из самых удачных повестей твоих. Я читал ее вместе с Григоров<ичем>, и он просил написать тебе, что внутри у тебя цветет фиалка» *(Ти круг Совр,* с. 100). В следующем письме, сообщающем об

опубликовании «Аси» и о высылке автору оттисков, Панаев называет повесть Тургенева «прелестной», «приводящей в восторг и публику и литераторов, даже г-на Щедрина» (там же, с. 103). Последнее сообщение, очевидно, было важным для Тургенева как известие о реакции представителя новой демократической литературы на его произведение.

Те же мотивы: утверждение лиризма как определяющей стихии произведения и сообщение о реакции «новых людей», литераторов-демократов, — содержатся и в отзыве, посланном Тургеневу Некрасовым. «Обнимаю тебя за повесть и за то, что она прелесть как хороша. От нее веет душевной молодостью, вся она — чистое золото поэзии. Без натяжки пришлась эта прекрасная обстановка к поэтическому сюжету, и вышло что-то небывалое у нас по красоте и чистоте. Даже Чернышевский в *искреннем* восторге от этой повести» (письмо от 25 декабря ст. ст. 1857 г. — *Некрасов,* т. X, с. 374).

Мысль об общественном значении повести Тургенева легла в основу статьи Чернышевского «Русский человек на rendezvous» (Атеней, 1858, № 18, ч. 3, с. 65–89). Как бы издеваясь над блюстителями «лояльности» журналов, Чернышевский подчеркивал, что отсутствие прямых политических обличений — «Повесть имеет направление чисто поэтическое, идеальное, не касающееся ни одной из так называемых черных сторон жизни» (*Чернышевский,* т. V, с. 156) — не исключает «безотрадного впечатления», производимого повестью на читателя. Не анализируя всесторонне произведения Тургенева, Чернышевский ставит важнейший социально-политический вопрос на материале повести — недаром в подзаголовке ее стоит: «Размышления по прочтении повести г. Тургенева „Ася“». Критик сознательно отвлекается от лирического пафоса произведения: «Бог с ними, с эротическими вопросами, — не до них читателю нашего времени, занятому вопросами об административных и судебных улучшениях, о финансовых преобразованиях, об освобождении крестьян. Но сцена, сделанная нашим Ромео Асе, как мы заметили, — только симптом болезни, которая точно таким же пошлым образом портит все наши дела…», — пишет он (там же, с. 166).

Проводя аналогию между г-ном Н. Н., которого он именует Ромео, с одной стороны, и Печориным («Герой нашего времени» Лермонтова), Бельтовым («Кто виноват?» Герцена), Агариным («Саша» Некрасова), Рудиным — с другой, Чернышевский устанавливает социальную типичность поведения героя «Аси». Критик признает, что г-н Н. Н. принадлежит к лучшим людям дворянского

общества, но дает ясно понять читателю, что историческая роль деятелей подобного типа сыграна, что они утеряли свое прогрессивное значение. Возвращаясь к проблематике своей статьи «Стихотворения Н. Огарева» *(Совр,* 1856, № 9), Чернышевский уже не стремится установить связь нового этапа революционной борьбы с предшествовавшим, деятелями которого были дворянские протестанты. Пафос статьи в размежевании с либералами, боящимися народной революции.

Подход Чернышевского к проблеме, действительно волновавшей Тургенева во время его работы над «Асей», конечно, не мог импонировать писателю. Тургенев дал в повести слабый намек на сходство ситуации его повести с сюжетом «Евгения Онегина» Пушкина. Чернышевский продолжил эту аналогию, распространив ее на ряд произведений о «лишних людях». Тургенев, критикуя дворянский дилетантизм, упомянул «неясные речи, в которых так охотно разливается русский человек» (см. с. 163). Чернышевский подхватил эту критическую формулу, характеризующую дворянство, перефразировал ее и превратил в ироническое иносказательное выражение, ставшее заглавием статьи («Русский человек на rendez-vous»), а затем нарицательным обозначением трусости русских либералов.

Статья «Русский человек на rendez-vous» явилась одним из наиболее ярких политических выступлений революционной демократии против либерализма. Г. В. Плеханов писал об этой статье: «Нам никогда не случалось читать такой злой и вместе до такой степени меткой характеристики российского либерализма» (*Плеханов* Г. В. Сочинения. 2-е изд. М.: Госиздат, 1925. Т. V, с. 85). В. И. Ленин напоминал о статье Чернышевского и ее полемическом заглавии, осуждая политику русских либералов, позорно капитулировавших в годы реакции: «Совсем как пылкий тургеневский герой, сбежавший от Аси, — про которого Чернышевский писал: «Русский человек на rendez-vous»» (*Ленин* В. И. Полн. собр. соч. Т. 14, с. 280).

Чернышевский критиковал «лишних людей» — героев Тургенева — совершенно с других позиций, чем С. С. Дудышкин, который в статье «Повести и рассказы И. С. Тургенева» *(Отеч Зап,* 1857, № 1, т. CX, отд. II, с. 1 — 28) противопоставил «больную личность русского человека XIX столетия» честному труженику — буржуазному дельцу (там же, с. 23–27). Однако и Дудышкин ставил перед Тургеневым вопрос об исторических судьбах «лишних людей».

На этом вопросе сосредоточил также свое внимание П. В. Анненков в статье «Литературный тип слабого человека. По поводу тургеневской „Аси“» (Атеней, 1858, № 32, ч. 4, с. 322–350), являющейся ответом на критическое выступление Чернышевского («Русский человек на rendez-vous»). Анненков возражает Чернышевскому по самому существу поднятых им проблем. Критику либеральных деятелей он отводит, утверждая, что русская жизнь, в отличие от западной, не требует энергических, революционных натур. Резко расходясь с Чернышевским в оценке современного исторического момента и состояния русского общества, Анненков провозглашает дворянский либерализм главным и единственным «орудием» прогресса, а его представителей «судьями и ценителями современных идеи». Увлечение революционно-демократическими идеями Анненков считал временным и быстро преходящим. Эти положения статьи Анненкова не соответствовали отношению Тургенева к герою его повести. В отличие от Анненкова, Тургенев не считал «слабого человека», свободомыслящего, но пассивного дворянина главной фигурой современною общества. Наблюдая и объективно оценивая тенденции исторического развития, он склонен был думать, что действенные героические натуры более соответствуют духу времени и настроениям нового поколения, чем «лишние люди», что демократизация культурного слоя — процесс закономерный и неотвратимый. Автор «Аси» глубоко проникал в противоречия характера передовых людей из дворянства. Именно глубину этических требований, с которыми подходил Тургенев к современникам, и свойственное ему умение отразить жизнь и характеры во всей их сложности ценил Салтыков-Щедрин, который утверждал, что критику нельзя «уловить» героев Тургенева. «Поэтому-то хоть о Тургеневе и много писали, но не прямо об нем, а лишь по поводу его. Можно написать много чепухи о лишнем человеке, как это и сделал Стерван <Степан> Дудышкин, можно коснуться русского человека на rendez-vous, но о самом Тургеневе писать невозможно. Сочинения его можно характеризовать его же словами…», — утверждал М. Е. Салтыков *(Салтыков-Щедрин,* т. XVIII, с. 212).

Эти строки письма Салтыкова к Анненкову выражали досаду одного из самых политически радикальных писателей на то, что критика упускает из виду специфику творчества Тургенева, в произведениях которого интимно-лирическое начало и социальная проблематика слиты в нерасторжимое единство. Упрек его относился

и к Чернышевскому, но в меньшей мере, чем к Дудышкину и даже Анненкову — адресату письма. Однако обостренный интерес к социально-политической стороне проблематики повести был вполне закономерен в годы революционной ситуации. Характерно, что социально-политические проблемы ставил в связи с разбором этой повести даже Анненков, который в своем первом после прочтения «Аси» отклике — письме Тургеневу от 21 декабря ст. ст. 1857 г. — рассматривал ее как «откровенный шаг к природе и поэзии» *(Труды ГБЛ,* вып. III, с. 73). Подчеркивая поэтичность повести, Анненков сравнивал ее с либретто оперы, которая возникает в душе читателя (там же, с. 74)[91].

16 января 1858 г. Е. Я. Колбасин, который принял повесть с энтузиазмом, сообщал Тургеневу: «Сейчас от Тютчевых пришел, где произошел спор по поводу „Аси“. Им не нравится. Находят, что Ася лицо натянутое, не живое. Я говорил противное, и подоспевший к спору Анненков совершенно поддержал меня и блистательно их опровергал» *(Т и круг Совр,* с. 348). Но и самому Анненкову образ Аси казался необычайным и неожиданным, хотя он и утверждал, что «холопско-благородная кровь» героини повести может «объяснить» «внезапное ее сумасшествие любви» (Письма П. В. Анненкова к И. С. Тургеневу. — *Труды ГБЛ,* вып. III, с. 74). Лишь через девять лет, когда «решительные» женские характеры заявили о себе в жизни русского общества, Анненков, наряду с Лизой из «Дворянского гнезда», отнес и Асю к числу героинь, глубоко и по-своему мыслящих, которые произвели большое впечатление на публику «благодаря столько же их женственной грации, сколько и выражению своеобычной идеи, игравшей на их физиономиях» («Русская современная история в романе И. С. Тургенева „Дым“». — *ВЕ,* 1867, № 6, с. 111). В конце же 1850-х годов пылкая, отважная и решительная Ася казалась некоторым «надуманной» фигурой. В. П. Боткин писал Фету: «„Ася“ далеко не всем нравится. Мне кажется, что лицо Аси не удалось — и вообще вещь имеет прозаически придуманный вид. О прочих лицах нечего и говорить. Как лирик, Тургенев хорошо может выражать только *пережитое* им…» *(Фет,* с. 236). Фет был согласен с мнением Боткина (см. письмо к нему Тургенева от 26 февраля (10 марта) 1858 г.).

Л. Н. Толстой решительно осудил повесть Тургенева при ее появлении: «„Ася“ Тургенева, по моему мнению, самая слабая вещь из всего, что он написал», — утверждал он в письме к Некрасову от 21 января (2 февраля) 1858 г. *(Толстой,* т. 60, с. 252). Ср. ответ Тургенева Л. Н. Толстому от 27 марта (8 апреля) 1858 г.

Резкость осуждения Толстым «Аси» заставила Некрасова даже предположить, что он движим чувством соперничества (см. письмо Е. Я. Колбасина Тургеневу от 6 (18) февраля 1858 г. — *Т и круг Совр,* с. 350). Однако в отношении Толстого к «Асе» нашли выражение принципиальные расхождения его с Тургеневым, которые впоследствии, в 1861 году, привели писателей к ссоре и к разрыву отношений на семнадцать лет. В отличие от Боткина и Фета, Толстой прекрасно чувствовал, что история, рассказанная в повести, интимно близка автору, но это-то, вероятно, и отталкивало его от произведения. Толстой, встречавшийся с Тургеневым за границей, в Париже и Дижоне, в 1857 году, несомненно, знал о том, как Тургенев «решил» для себя и своей внебрачной дочери Полины неразрешимый вопрос, наложивший отпечаток на характер и судьбу Аси. Тургенев переселил Полину во Францию, дал ей воспитание французской барышни и, примирившись с тем, что она никогда не вернется в Россию, сделал невозможной ее встречу с матерью — простой женщиной. Ожесточенность ссоры 1861 года, непосредственным поводом которой явился спор о воспитании Полины, заставляет предполагать, что раздражение у Толстого назревало исподволь и давно (см.: *Фет,* с. 370–371). Некоторые современники утверждали, что Толстой бросил Тургеневу обвинение в том, что, будь Полина его «законной» дочерью, воспитание ее носило бы другой, более разумный и свободный от лицемерия характер (см.: Гаршин Е. Воспоминания об И. С. Тургеневе. — *ИВ,* 1883, т. XIV, с. 389–390).

Выразив свое отрицательное отношение к «Асе» сразу после ее появления, Толстой, однако, неоднократно возвращался к этому произведению, перечитывал его и ценил некоторые его художественные достоинства. С. Л. Толстой вспоминает: «Помню < ... > он <Л. Н. Толстой> хвалил „Затишье“, начало „Аси“, „Вешние воды“» (*Толстой* С. Л. Очерки былого. Изд. 4-е, дополненное. Тула, 1975, с. 295). В мемуарах С. Л. Толстого содержится рассказ о случае, свидетельствующем о том, что Л. Н. Толстой неоднократно вспоминал отдельные эпизоды повести и возвращался к обсуждению их. «Однажды я слышал, как он <Фет> сказал про то место в „Асе“, где Ася кричит отплывающим в лодке: „Вы въехали в лунный столб“: „Ася не могла этого видеть, потому что лодка, въезжая в лунный столб, разбивает этот столб волнением воды. Тургенев это выдумал“. Мой отец сперва согласился с этим, но как-то после этого, увидав с берега реки, как лодка въехала в лунный столб и не разбила его, он вспомнил слова Фета и признал, что прав был Тургенев, а не Фет» (там

же, с. 324).

Очевидно и образ Аси оставил след в сознании Л. Толстого. Некоторые черты внешности героини Тургенева и ее характера (женственность, сочетающаяся с угловатостью подростка, «мальчика в юбке», исключительная чуткость, эмоциональность, доходящая до страстности) находят себе соответствие в характеристике Наташи Ростовой — героини романа Толстого «Война и мир» (особенно на ранних стадиях работы писателя над его текстом). Это сходство может быть отчасти объяснено и тем обстоятельством, что при создании этих образов у обоих писателей возникали ассоциации с Миньоной, героиней романа Гёте «Годы учения Вильгельма Мейстера» (1793–1796). Об этом см.: *Лотман* Л. М. Реализм русской литературы 60-х годов XIX века. Л., 1974, с. 100; *Бранг* П. Образ Миньоны у Тургенева. — В кн.: Сравнительное изучение литератур. Сборник статей к 80-летию академика М. П. Алексеева. Л., 1976, с. 285–293; *Brang* P. I. S. Turgenev. Sein Leben und sein Werk. Wiesbaden, 1977, S. 132–135.

Один из наиболее ранних сочувственных отзывов критики о повести «Ася» появился в газете «С.-Петербургские ведомости» (1858, № 26). Критик этой газеты назвал произведение Тургенева «в высшей степени грациозным рассказом». Он отметил сходство сюжетов «Аси» и «Евгения Онегина» Пушкина и утверждал, что невольное воспоминание о знаменитом романе в стихах не вредит восприятию «Аси». «Такой тонкой кисти в обрисовке характеров, такой благородной нежности в изображении душевных движений, какую мы встречаем у г. Тургенева, нет ни у кого другого из наших писателей». Этот отзыв сообщил Тургеневу Е. Я. Колбасин (см.: *Т и круг Совр,* с. 350–351).

Обстоятельному анализу подверг характеры героев повести Тургенева Д. И. Писарев в статье «Женские типы в романах и повестях Писемского, Тургенева и Гончарова» (*Рус Сл,* 1861, № 12). Критик отводит здесь значительное место характеристике Аси. Если Анненкову и другим друзьям Тургенева Ася, сразу после выхода из печати повести, казалась редкой, исключительной натурой, демократу Писареву она представляется образцом «свежей энергической девушки». «Ася — милое, свежее, свободное дитя природы», — пишет он (см.: *Писарев,* т. I, с. 249) и, противопоставляя ее испорченным светским воспитанием девицам, подвергает критике всю дворянскую систему воспитания. Писарев считает, что характеры, подобные Асе, доказывают необходимость общественной эмансипации женщины, ибо

служат подтверждением того, какие необъятные творческие и нравственные силы таятся в женщине. Писарев особенно ценит в Асе то, что она «умеет по-своему обсуживать свои собственные поступки и произносить над собою приговор» (там же, с. 251), «в одно время и живет и думает о жизни» (там же, с. 253). Этой самобытности, самостоятельности мысли и поведения критик не находит у героя повести, который кажется ему представителем «золотой середины», носителем морали дворянского общества. Г-н Н. Н., по мнению Писарева, живет чужими идеями, которых «не может осилить и переварить» (там же, с. 256). Отсутствие оригинальности и неспособность к действию — вот «вопиющие недостатки» героя «Аси», по мнению Писарева. Критик рассматривает также характер Гагина, которого он считает человеком, свободным от предрассудков и узости, характерной для дворянской среды.

Впоследствии «Ася» оставалась одним из любимых произведений демократических читателей. При этом некоторые из них, следуя за Чернышевским, видели основной смысл этой повести в политическом осуждении либерального дворянина; другие — напротив, рассматривали ее как произведение, в котором торжествует чисто лирическое начало (см.: *Антонович* М. А. Современные романы. — *Совр,* 1864, № 4, с. 234; *Кропоткин* П. Идеалы и действительность в русской литературе. СПб., 1907, с. 103). Этот своеобразный «спор» нашел свое проявление и впоследствии в литературоведческих трудах. Н. М. Гутьяр выступил против причисления героя «Асю» к «лишним людям». Он видел в этом образе черты сходства с Лаврецким и считал, что Анненков несет значительную долю вины в «заблуждении» читателей и критиков, приравнивающих г-на Н. Н. к Рудину (см.: *Гутьяр* Н. М. Иван Сергеевич Тургенев. Юрьев, 1907, с. 366–367).

Рассматривая повесть «Ася» как глубоко лирическое произведение, Н. М. Гутьяр впервые установил реальные жизненные факты, под влиянием которых сложился сюжет повести. Исследователь констатирует: «При жизни Тургенева рассказывали, да и в настоящее время еще держатся того мнения, будто в своей „Асе“ Иван Сергеевич изобразил характер и отчасти самую судьбу дочери» (там же, с. 118), и возражает: «…ничего общего между двумя названными девушками не было. Оригиналом для „Аси“ на самом деле послужила побочная дочь его дяди, взятая на воспитание Варварой Петровной Тургеневой, девочка, носившая то же имя Анны» (там же, с. 118–119).

Образы и ситуации повести «Ася» складывались под впечатлением многих лиц, на основе ряда живых наблюдений писателя.

Действительно, одним из прототипов Аси была внебрачная дочь Н. Н. Тургенева — Анна. В письме к П. Виардо от 31 августа (12 сентября) 1850 г. Тургенев рассказывает подробно об оригинальном характере этой девочки. Многие ее черты: пылкость, правдивость, чуткость — напоминают Асю, героиню будущей его повести. В 1850 г. этой девочке, которую в семье звали Асей, было пять лет, а в пору, когда Тургенев работал над повестью «Ася», — 12 лет. Писатель не мог предвидеть, что через несколько лет, в 1859 году, она по-своему решит вопрос о своем двусмысленном общественном положении, выйдя замуж за недавнего крепостного Степана — замечательного мастера поварского искусства. Степан отличался независимостью нрава, был готов мстить своим бывшим господам за несправедливость и на всю жизнь привязался к И. С. Тургеневу, который купил, а затем отпустил его на волю. Однако, несмотря на ряд черт, дающих основание считать дочь Н. Н. Тургенева прототипом ее «тезки» в повести, нельзя согласиться с Гутьяром, который на этом основании «отводит» Полину как возможный прототип. А. И. Белецкий, поддерживая мысль о том, что характер незаконной дочери дяди подсказал писателю некоторые черты героини, справедливо пишет о прототипах как о «слагаемых», «сумма» которых дает очерк художественного образа, возникающего в произведениях Тургенева (см.: *Белецкий* А. Тургенев и русские писательницы 30 — 60-х гг. — *Творч путь Т,* с. 136 и 147).

Если бы история героини повести Тургенева ассоциировалась в его сознании только с положением Анны, возможно он не писал бы это произведение, как сказано в его письме от 27 марта (8 апреля) к Л. Н. Толстому, «чуть не со слезами». Судьба собственной дочери волновала писателя, заставляла его каждый раз с глубокой болью задумываться над вопросом о положении «незаконных» детей. Тексты повести (окончательный, а отчасти и черновой) содержат немало подробностей, восходящих к истории Полины. Так, резкий перелом от положения «холопки» к положению барышни был именно в жизни Полины. Тургенев рассказывал о жизни своей дочери в доме В. П. Тургеневой: «…вернувшись в Спасское, я узнал следующее: у прачки была девочка, которую вся дворня злорадно называла барышней, и кучера преднамеренно заставляли ее таскать непосильные ей ведра с водою. По приказанию моей матери, девочку одевали на минуту в чистое платье и приводили в гостиную, а покойная мать моя спрашивала: „Скажите, на кого эта девочка похожа?“» *(Фет,* с. 158). Вписав в текст черновой рукописи слова: «Она до сих пор не может забыть ту минуту, когда ей в первый раз надели шелковое платье и

поцеловали у ней ручку» (см. с. 170, строки 18–20), Тургенев подверг нескольким переделкам фразу о том, «что должно было произойти в Асе, когда она вдруг сделалась барышня». По одному из вариантов «она захохотала, потом заплакала». Писатель живо интересовался переживаниями своей дочери в момент ее водворения в дом Виардо. 1 (13) декабря 1850 г. он писал П. Виардо: «…ни на одну минуту не переставал думать о вас < ...> и о маленькой Полине». 8 (20) декабря спрашивал: «Напишите мне, какого цвета ее самое красивое платье < ...> Я всё возвращаюсь к этому ребенку…». Подобно Асе, Полина оказалась перед тем фактом, что «в России никакое образование не в силах вывести девушек из фальшивого положения» (см.: *Фет,* с. 158–159). Во фразе повести: «…Гагин в течение разговора намекнул мне на какие-то затруднения, препятствующие его возвращению в Россию» (см. с. 162, строки 7–9) — слова «на какие-то затруднения» варьировались «на невозможность». Именно о невозможности возвращения Полины в Россию неоднократно говорил и писал Тургенев. Первоначальный вариант эпизода воспитания Аси, рисующий «приютившую» Асю великосветскую семью и ссоры ее с кузинами, потому, видимо, и был отброшен Тургеневым, что мог быть воспринят как намек на положение Полины. После 1857 года Тургенев был вынужден взять Полину из семьи Виардо, так как она не могла ужиться со старшей дочерью хозяйки дома (см.: *Гутьяр* Н. М. Указ. соч., с. 124–125). Уколы самолюбия, которые испытала Ася в пансионе, в окружении барышень «из хороших фамилий», очевидно, тоже воспроизводят переживания Полины. Уже в 1850-м году Тургенев был вынужден «придумывать» ей фамилию на случай поступления в пансион (см. письмо к П. Виардо от 4 (16) декабря 1850 г.) и лишь через семь лет, 26 декабря 1857 г. (7 января 1858 г.) с торжеством сообщил: «Мое дорогое дитя, прошу тебя впредь подписываться П. Тургенева и передать г-же Аран (директрисе пансиона, в котором училась Полина), чтобы это имя писалось всюду, где речь идет о тебе». Было в жизни Полины в это время и любовное увлечение, окончившееся разочарованием. О. Аргамакова передает рассказ Тургенева: «Дочь моя одно время стала скучать, хиреть и, видимо, страдала < ...> Наконец, она сама призналась, что влюблена в одного из учителей того пансиона, в котором воспитывалась. Я обратился к молодому человеку, но он отвечал: „Mademoiselle est charmante, mais!.. но я не расстанусь с своей свободой“» *(ИВ,* 1884, т. XV, с. 334).

В изображении взаимоотношений Гагина и Аси, возможно,

отразились воспоминания Тургенева о его юношеской привязанности к побочной дочери В. П. Тургеневой В. Н. Богданович, которая в качестве воспитанницы росла в доме его матери (см.: *Шитова,* с. 27–30).

К числу лиц, так или иначе оказавших влияние на творческий замысел писателя, невольно подсказавших ему отдельные ситуации повести, возможно, относятся Фет и его сестра Надежда Шеншина, которые путешествовали по Германии, Франции и Италии и осенью 1856 года (до конца января 1857 г.) встречались с Тургеневым в Париже. Фет нежно любил свою сестру и чрезвычайно заботился о ней. Будучи кирасирским офицером, он посещал Надежду в пансионе в Петербурге и вел переговоры с ее начальницей — директрисой (ср. с. 172, строки 15–17). В пору своего пребывания в Париже страстная и болезненно экстравагантная сестра Фета тяжело переживала свой неудачный роман с неким Эрбелем. Болезнь, слезы, истерики, которыми сопровождались эти переживания, заставили Фета задуматься над тем, чтобы выйти в отставку и поселиться вместе с сестрой (см.: *Фет,* с. 179). Помимо этих обстоятельств беседы с Фетом, в течение всей жизни страдавшим от ложного своего положения в семье, от «неправильности» своего происхождения, возможно, еще раз ставили перед Тургеневым и без того мучивший его вопрос.

Следы общения с Фетом и отзвуки его поэзии ощутимы в «Асе». В двух особенно ценившихся Тургеневым стихотворениях Фета можно отметить лирический сюжет, близкий к сюжету «Аси»: «Какое счастие: и ночь и мы одни» и «Что за ночь! Прозрачный воздух скован» (см.: *Лотман* Л. М. Тургенев и Фет. — В кн.: Тургенев и его современники. Л., 1977, с. 36–42).

В числе прототипов героев «Аси» обычно называют и москвичей брата и сестру Сабуровых, с которыми писатель познакомился в Зинциге и встречался в течение нескольких дней, а 26 июня (8 июля) 1857 г. совершил прогулку в долину реки Ары. Тургенев писал 5 (17) июля 1857 г. Герцену: «…они оба — и брат и сестра — принадлежат к числу самых милых русских, с какими мне только удавалось встречаться» (ср. наст. том, с. 153, строки 8 — 15, где г-н Н. Н. сравнивает Гагиных с другими русскими туристами, с которыми ему приходилось встречаться за границей). Обращает на себя внимание и тот факт, что Гагины в повести, покинув З., отправляются через Кёльн в Лондон, как и Сабуровы. 8 (20) июля 1857 г. Герцен сообщал Тургеневу: «Сабуровых видел» *(Герцен,* т. XXVI, с. 106). Знакомство,

которое Тургенев свел в Зинциге с художником А. П. Никитиным, оставившим военную службу ради занятий живописью, тоже не прошло бесследно для автора «Аси». Оно, вероятно, натолкнуло писателя на мысль сделать Гагина художником, пишущим этюды в окрестностях Зинцига, и приурочить беседы героев ко времени работы Гагина над этюдами. Возможно, что от Никитина Тургенев слышал вложенные им в уста Гагина сетования на то, что он упустил много времени, поздно стал учиться живописи.

...дела давно минувших дней... — Цитата из поэмы А. С. Пушкина «Руслан и Людмила» (1820) — начало первой песни.

...я чуть с ума не сошел в дрезденском «Грюне Гевёлбе». — Grüne Gewölbe — в буквальном переводе «Зеленый свод» (нем.) — коллекция ювелирных изделий из золота и драгоценных камней в дрезденском королевском замке. Посещение этого собрания было связано с длительной процедурой. Туристы должны были ждать, пока соберется целая группа посетителей и явится «проводник-толкователь», он же «надсмотрщик». Порядок осмотра Грюне Гевёльбе был описан Фетом в его письмах «Из-за границы» *(Совр,* 1856, № 11, т. LX, с. 97–98). «Я не ошибся, предполагая увидать много редкого по цене, а не по художественному достоинству», — пишет здесь Фет о сокровищах Грюне Гевёльбе.

...в немецком небольшом городке З., на левом берегу Рейна. Я искал уединения... — Речь идет о Зинциге. В письме к П. В. Анненкову от 27 июня (9 июля) 1857 г. Тургенев, рассказывая о Зинциге, в котором поселился, чертит схему расположения города (между Ремагеном и Кобленцом на реке Аре, притоке Рейна). Точное описание расположения Зинцига дано и в письме к Полине Тургеневой от того же числа. В обоих письмах Тургенев с удовлетворением упоминает об уединенности и безлюдности Зинцига. Те же мотивы звучат в письмах Тургенева к И. И. Панаеву и М. Н. Толстой от 4 (16) июля 1857 г.

Городок этот мне понравился — своими дряхлыми стенами... — Стены, которыми окружен старинный городок Зинциг, считались одной из его достопримечательностей (см.: Die Rheinlande. Handbuch für Reisende von K. Bädeker. Leipzig, 1895, S. 366).

Петух на высокой готической колокольне... — В Зинциге сохранилась старинная церковь св. Петра — Petrikirche — XIII века с центральной восьмиугольной башней позднероманского стиля.

Маленькая статуя мадонны с почти детским лицом и красным сердцем на груди, пронзенным мечами... — Изображение мадонны в живописи, витражах, скульптуре с сердцем, пронзенным стрелами или

копьями на груди (символ страданий богоматери), широко распространено в народном искусстве ряда европейских стран (репродукции подобных произведений см., например, в кн.: Sourer Karl. Volkskunst in Bildern. Prag: Artia, 1956). Ср. в «Фаусте» Гёте, в сцене молитвы Гретхен перед статуей скорбящей божьей матери у городской стены, обращение к мадонне:

Das Schwert im Herzen
Mit tausend Schmerzen
Blickst auf zu deines Sohnes Tod

(*Goethe* J.W. Werke in zehn Bänden. Weimar, 1962. B. X, S. 119. Сцена «Zwinger», стихи 4–6. «С мечом в сердце, с тысячей скорбей смотришь ты на смерть своего сына» — *нем.).* В черновом автографе содержится вариант, дополняющий описание статуи: «маленькая выкрашенная статуя мадонны».

...городок Л., немного побольше того, в котором я поселился. — Линц. В черновом автографе есть вариант, дополняющий характеристику Линца существенной деталью: «с такой же старой церковью». Речь идет о церкви св. Мартина (St. Martinskirche) XIII века, некоторые готические пристройки к которой были сделаны в XVI веке.

...контрбас... — Кроме общепринятой формы слова, обозначающего самый крупный смычковый инструмент — «контрабас» (итал. — contrabasso) в русском литературном языке бытовала другая форма — «контрбас» (от франц. contrebasse). Тургенев употреблял обе формы. См.: Словарь русского языка, составленный вторым отд. имп. Академии наук, т. 4, вып. 6. СПб., 1912, столб. 1887. Форма «контрбас» встречается и в произведениях современников Тургенева. См.: *Григорович* Д. В. Полн. собр. соч. в 12-ти т., т. 5. СПб., 1896, с. 270 («Рыбаки») и *Достоевский,* т. 5, с. 11 («Скверный анекдот»).

...студенты приехали из Б. на коммерш. — Из Бонна. Коммерши (от нем. Kommers) — студенческие празднества, постепенно возникшие в немецких университетах вместо драк с мастеровыми и других буйных увеселений средневековых студентов, которые подверглись в XVIII веке строгому преследованию. Коммерши сопровождались зачастую выездами за город. В повести Тургенева описан выезд боннских студентов в Линц — вверх по Рейну. Празднование коммерша было подробно описано в повести В. А. Соллогуба «Аптекарша» (1841), гл. II.

...студенты одной земли, или братства — шапочки с околышами известных цветов. Собираются студенты — под председательством сениора... — Объединения студентов по землям — землячества возникли в XVII веке в некоторых университетах Германии. Возглавлявшиеся сениорами и объединявшиеся под управлением совета сениоров союзы землячеств заметно влияли на жизнь университетов. Студенты, принадлежавшие к разным землячествам, различались по лентам: швабы, швейцарцы носили желтые и черные повязки, саксонцы, тюрингцы — красные, студенты, происходящие из Магдебурга, — зеленые, из Вестфалии — белые, из Силезии, Богемии, Австрии, Венгрии — вишневые, датчане и голштинцы — фиолетовые с серебром, с Верхнего, Нижнего Рейна, из Мозеля — ярко-красные и т. п. (см.: *Dolch,* S. 239).

Landesvater, Gaudeamus — старинные немецкие студенческие песни. «Landesvater» («Отец земли») — на немецком языке, «Gaudeamus» («Будем веселиться») — на латинском. Текст песни «Gaudeamus igitur», возникшей в средние века в среде немецких студентов, был в конце XVIII века основательно переработан К. В. Киндлебеном и опубликован им в книге «Studentenlieder. Aus den hinterlassenen Papieren eines unglücklichen Philosophen Florido genannt, gesammelt und verbessert von G. W. K.» (1781) (см.: *Соболевский* С. Песня «Gaudeamus igitur» и ее история. — Журнал Министерства народного просвещения, 1905, № 12, отд. V, с. 539–580). Песни «Landesvater» и «Gaudeamus» постоянно исполнялись во время коммершей. При исполнении песни «Landesvater» студенты протыкали шляпы шпагами (см.: *Kluge* Fr. Deutsche Studentensprache. Straßburg, 1895, S. 104).

...бранят филистеров... — «Филистер» как обозначение всех горожан — нестудентов — распространилось в студенческой среде в Германии с начала XVIII века. В 1790 г. это название проникло в литературный язык (см.: *Kluge* Fr. Указ. соч., с. 13).

«Уж не пойти ли к ним?» — спрашивал я себя... — Здесь Тургенев передает мысль, которая могла прийти в голову только бывшему студенту немецкого университета, каковым он сам являлся. Посещение коммершей «ветеранами», бывшими студентами университетов, было издавна принято в Германии (см.: *Dolch,* S. 285).

Чрез низкие ворота города (старинная стена из булыжника окружала его со всех сторон, даже бойницы не все еще обрушились) мы вышли в поле... — Старинные стены, окружающие Линц, считались, как и стены Зинцига, достопримечательностью города (см.:

Die Rheinlande. Handbuch für Reisende von Bädeker. Leipzig, 1895, S. 350).

...собственно имя ее было Анна, но Гагин называл ее Асей... — Исследователь русского языка В. И. Чернышев считает уменьшительно-ласкательное имя Ася — от полного имени Анна — редким, хотя и вполне соответствующим духу русского языка. При этом он ссылается на повесть Тургенева, где «разъяснено» это сокращение. См.: *Чернышев* В. И. Русские уменьшительно-ласкательные имена. — Русский язык в школе, 1947, № 4, с. 22 и 25.

...ланнеровского вальса. — Вальсы венского композитора Иосифа Лайнера (1801–1843) пользовались большой популярностью. Своей музыкой Ланнер способствовал распространению вальса как бального танца.

Ты спишь ли? Гитарой Тебя разбужу. — Во французском переводе повести, осуществленном самим Тургеневым, к этим строкам дано примечание: «Vers d'une romance de Glinka» — слова романса Глинки (франц.). Речь идет здесь, следовательно, о романсе М. И. Глинки на слова стихотворения Пушкина «Я здесь, Инезилья» (1830).

На самой вершине голой скалы возвышалась четыреугольная башня — кой-где лепился плющ... — Тургенев описывает руину замка в Линцгаузене близ Линца на скале Окен-фельз.

...маленькая рафаэлевская Галатея в Фарнезине... — Фигура фрески Рафаэля «Триумф Галатеи» в вилле Фарнезина в Риме.

...принялась напевать вполголоса «Матушку, голубушку». — «Матушка, голубушка» — песня А. Гурилева на слова Ниркомского, получившая широкое распространение. Тургенев воспринимал ее как народную песню. Во французском переводе он сопроводил упоминание этой песни сноской: «Air national russe» (русская народная песня). В черновом автографе первоначально было: «принялась напевать вполголоса какую-то песенку». Песня, которую поет Ася, должна, по замыслу писателя, выразить и близость девушки к народу (она действительно думает о своей матери и мысленно обращается к ней), и чуткость ее (Ася является г-ну Н. Н. в образе простой русской девушки после того, как в нем особенно живо проснулась тоска по родине).

...умно и тонко рассуждали — какое собственно значение художника в наш век. — В черновой рукописи Тургенев передавал аналогичное содержание и первой беседы г-на Н. Н. с Гагиным: «Мы говорили об искусстве (Гагин занимался живописью), о Риме...» Тургенев очень интересовался современной живописью. Во время

работы над повестью «Ася» он часто встречался в Риме с художниками и посещал студию А. А. Иванова (1806–1858) и знакомился с его творчеством.

От него, несмотря на его шляпу à la Van Dyck и блузу, так и веяло мягким, полуизнеженным, великорусским дворянином… — Гагин подражал в своем костюме французским художникам, которые, демонстрируя свою независимость от буржуазного заказчика, равнодушие к материальным благам и к мнению обывателей, одевались как простые рабочие — «блузники».

…это был какой-то французский роман. — Однако я ваш выбор похвалить не могу… — Во многих письмах 1857 г. Тургенев выражал скептический взгляд на современную французскую беллетристику (см., например, письма Тургенева к И. И. Панаеву от 16 (28) декабря 1856 г. и С. Т. Аксакову от 27 декабря 1856 г. (8 января 1857 г.).

…я читал Гагину «Германа и Доротею». — Идиллическая поэма Гёте «Герман и Доротея» (1797) была проникнута симпатией к трудовой жизни простых людей, уважением к их мужеству и доблести. Эта поэма была близка Тургеневу, автору «Записок охотника», и Л. Толстому. Толстой рекомендовал своим детям, в числе прочих произведений, читать «Германа и Доротею» (*Толстой* С. Л. Указ. соч., с. 324). Вместе с тем русские читатели остро ощущали немецкий колорит этого произведения. Так, например, Фет в своих очерках «Из-за границы» писал: «Кто бы ни воссоздавал Германии < …> никогда не представит той полной и верной картины, которая всецельно возникает при внимательном чтении „Германа и Доротеи“ Гёте. Только <..> изучив бессмертную идиллию Гёте, вы поймите тайный идеал Германии…» *(Совр,* 1857, № 2, т. LXI, с. 243). Поэтому Тургенев говорит о попытке Аси «быть домовитой и степенной, как Доротея» (с. 164, строки 38–39) с мягкой иронией, которая в черновом автографе звучит более определенно, чем в окончательном тексте. В черновой редакции он писал, что Ася здесь проявила подражательность, «которую величают восприимчивостью».

…молодые длинноволосые странники по чистым дорогам… — Речь идет о паломниках, посещавших местные святыни. Первоначально Тургенев предполагал здесь поместить описание религиозной процессии, которое затем было дано в главе IX.

…что это за сказка о Лорелее? Ведь это ее скала виднеется? Говорят, она прежде всех топила, а как полюбила, сама бросилась в воду. — Скала Лорелеи (Lurlei или Elfenfels) находится между Санкт-Гоаром и Обервезелем, подымается на 132 метра над водой;

представляла большую опасность для судов. С ней связано много легенд. Легенда, которую рассказывает Ася, ближе всего по своему сюжету к романсу Клеменса Брентано «Лорелея», включенному в его роман «Годви» (1801–1802), и к стихотворению Г. Гейне «Не знаю, что значит такое» (цикл «Опять на родине», 1823). Сюжет этой легенды обрабатывался также многими другими романтическими поэтами, например Иозефом фон Эйхендорфом (Eichendorff; 1788–1857).

...толпа богомольцев тянулась внизу по дороге с крестами и хоругвями. — В черновой рукописи Тургенев говорит определенно, что паломники шли «поклониться святыне Санкт-Гоара». Происхождение города Санкт-Гоар легенда связывала с деятельностью проповедника евангелия святого Гоара (конец VI — начало VII в.). В алтаре церкви города хранилось изображение святого Гоара.

Где нынче крест и тень ветвей / Над бедной матерью моей! — Ася перефразирует строки строфы XLVI главы 8-й «Евгения Онегина». У Пушкина: «Над бедной нянею моей».

Ганхен — Hannchen, немецкая уменьшительная форма имени Анна.

Рудин

Источники текста

Рудин. План. Копия чернового автографа, снятая в 1929 г. Н. В. Измайловым с утраченного впоследствии оригинала (*ИРЛИ,* Р. 1, оп. 29, № 48). Датируется началом июня 1855 г. — до 5 (17) — см. ниже, с. 466–467. Опубликован в статье Г. В. Прохорова «Творческая история романа „Рудин“» — *Т сб (Бродский),* с. 115–117; см. также в комментарии М. К. Клемана к роману в книге: *Т, Рудин, 1936,* с. 436–442.

Рудин. Отрывок из эпилога романа со слов: «… но не до строгости теперь» (стр. 319, строка 37) и кончая словами: «И да поможет господь всем бесприютным скитальцам» (стр. 322, строка 16). Автограф; один лист наборной рукописи. На второй странице подпись автора: Ив. Тургенев *(ГБЛ,* ф. 306, картон 1, № 7).

Совр, 1856, № 1, отд. 1, с. 5–68. Часть первая; 1856, № 2, отд. 1, с. 159–220. Часть вторая.

Т, 1856, ч. 3, с. 119–318.

Т, Соч, 1860–1861, т. IV, с. 3–134.

Т, Соч, 1865, т. III, с. 241–386.

Т, Соч, 1868–1871, ч. 3, с. 237–378.

Т, Соч, 1874, ч. 3, с. 237–376.

Т, Соч, 1880, т. III, с. 1–144.

Впервые опубликовано — без концовки эпилога (см. с. 322), с подзаголовком «Повесть», — в *Совр,* 1856, № 1 и 2, с подписью: Ив. Тургенев (ценз. разр. 31 декабря 1855 г. и 5 февраля 1856 г.).

Печатается по тексту *Т, Соч, 1880* с учетом списков опечаток, приложенных к *Т, Соч, 1874* и *Т, Соч, 1880,* с устранением явных опечаток, не замеченных Тургеневым, а также со следующими исправлениями по другим источникам:

Стр. 199, строки 33–34: «В ней было и тесно, и душно, и дымно» вместо «В ней было тесно и душно, и дымно» (по всем другим источникам).

Стр. 206, строка 3: «Так как же-с прикажете доложить» вместо «Так как же-с, прикажите доложить» (по всем источникам до *Т, Соч, 1874).*

Стр. 211, строка 36: «Александра Павловна велели» вместо

«Александра Павловна велела» (по *Т, Соч, 1856, Т, Соч, 1860–1861, Т, Соч, 1865).*

Стр. 226, строки 30–31: «жажды самоуничижения» вместо «жажды самоунижения» (по всем другим источникам).

Стр. 231, строка 5: «сурово взглянув» вместо «сурово взглянул» (по всем другим источникам).

Стр. 233, строки 16–17: «вы лишаетесь» вместо «вы лишитесь» (по Т, 1856, Т, Соч, 1860–1861, Т, Соч, 1865).

Стр. 242, строки 33–34: «непонятыми» вместо «непонятными» (по всем другим источникам).

Стр. 250, строка 37: «кто дерзает любить?» вместо «кто дерзнет любить?» (по всем источникам до *Т, Соч, 1874).*

Стр. 258, строки 9-10: «с восторженным наслаждением» вместо «с торжественным наслаждением» (по всем другим источникам).

Стр. 258, строка 40: «вот я и влюбился» вместо «вот и я влюбился» (по всем другим источникам).

Стр. 259, строка 8: «Да что!» вместо «Да что?» (по всем другим источникам).

Стр. 261, строка 1: «И так вы и расстались с вашей девицей?» вместо «И так вы расстались с вашей девицей?» (по всем источникам до *Т, Соч, 1874).*

Стр. 267, строки 2–3: «Оба посмотрели друг другу в глаза» вместо «Оба посмотрели друг на друга в глаза» (по всем другим источникам).

Стр. 268, строки 4–5; «рассказывать о какой-то необыкновенной собаке» вместо «рассказывать о какой-то обыкновенной собаке» (по всем другим источникам).

Стр. 269, строка 5: «В половине десятого Рудин уже был в беседке» вместо «В половине девятого Рудин уже был в беседке» (по *Т, 1856, Т, Соч, 1860–1861, Т, Соч, 1865;* в предшествующем тексте сказано, что Рудин условился о свидании с Натальей — «около десяти»).

Стр. 271, строка 31: «Губы его слегка подергивало» вместо «Губы его слегка передергивало» (по всем другим источникам).

Стр. 286, строка 1: «изобразилось» вместо «изображалось» (по всем другим источникам).

Стр. 295, строка 29: «накипев в груди» вместо «накипев на груди» (по *Т, 1856, Т, Соч, 1860–1861, Т, Соч, 1865).*

Стр. 297, строка 3: «Кончено» вместо «Конечно» (по всем другим источникам).

Стр. 300, строка 22: «собираясь залаять» вместо «сбираясь

залаять» (по всем другим источникам).

Стр. 302, строка 35: «а они» вместо «и они» (по всем источникам до *Т, Соч, 1874).*

Стр. 309, строки 32–33: «промолвил Лежнев» вместо «продолжал Лежнев» (по всем другим источникам).

Стр. 315, строка 3: «общеполезное дело» вместо «общее полезное дело» (по всем другим источникам).

Стр. 316, строка 2: «бросались» вместо «бросились» (по всем другим источникам).

Стр. 317, строка 31: «и, клянусь тебе», вместо «а, клянусь тебе» (по всем источникам до *Т, Соч, 1874).*

Стр. 321, строка 39: «все мы» вместо «мы все» (по всем другим источникам).

Первоначально (в *Совр)* «Рудин» был разделен на две части: «Часть первая» охватывала главы I–VI, «Часть вторая» — VII–XII и эпилог (без заключительной сцены); главы были разбиты пробелами на подглавки. Деление на части было снято уже в *Т, 1856,* ряд типографских пробелов внутри глав был устранен в *Т, Соч, 1868–1871,* а частично — в *Т, Соч, 1880.* Роман подвергался от издания к изданию мелкой, но тщательной правке. Из наиболее значительных исправлений необходимо отметить, в частности, исключение в *Т, Соч, 1856* из рассказа Пигасова о Чепузовой (в главе II) диалога ее с племянником, написанного в натуралистических тонах: «Ну-с, встречаю я Чепузову, говорю ей: „Ваш племянник, я слышал, скончался“; а она мне: скончался, батюшка. Африкан Семеныч, скончался; и вообразите себе, говорит она, приходит ко мне мой племянник и говорит: тетенька, говорит, я что-то нездоров… А у самого внутри так и переливает: бу, бу, бу, бу, бу, бу, бу… у… у… у… бу, бу, бу… у… у… у… Он мне говорит: живот, тетенька, у меня болит, а я ему — врешь: это у тебя пах болит! пах! пах! Он свое твердит, а я ему: это у тебя пах! пах! пах! Лечи пах! Что же вы думаете, ведь не послушался — и помер. А заметьте, — подхватил с торжествующим лицом Пигасов, ведь от холеры умер племянник, от холеры, а Чепузова кричит: пах! пах!

— Что за пустяки! что за пустяки! — твердила сквозь смех Дарья Михайловна.

— Да клянусь же вам честью, так и кричит: пах! пах! Оглушила даже, в такой азарт вошла. Словно перестрелка поднялась. Пах! пах! Так пристала… насилу отвязалась» (см.: *Т, ПСС и П, Сочинения,* т. VI, с. 468). Диалог был снят, вероятно, по совету С. Т. Аксакова, который

писал Тургеневу 7 (19) февраля 1856 г.: «…скажите ради бога, как при Вашем вкусе, также и чувстве приличия могла написаться известная страница (я разумею: бурчанье в животе и пах, пах) в начале Вашей повести? Воля Ваша, а этому причиною цинизм петербургского общества» *(Рус Обозр,* 1894, № 12, с. 578; искажения публикации исправлены по подлиннику, хранящемуся в *ИРЛИ).* Важный для обрисовки образа Рудина штрих дает дополнение, внесенное в *Т, Соч, 1860–1861:* «начал Рудин мягко и ласково, как путешествующий принц» вместо «начал Рудин» (см.: *Т, ПСС и П, Сочинения,* т. VI, с. 469). Из характеристики Натальи, которая приводится в начале V главы, наоборот, в *Т, Соч, 1860–1861* после слов: «работала охотно» исключается замечание «хотя ничего ей не давалось сразу» (см. там же), вследствие того, что оно было отнесено Тургеневым к другой его героине — Лизе из «Дворянского гнезда» (см. гл. XXXV).

Концовка эпилога романа о гибели Рудина на парижских баррикадах впервые появилась в издании *Т, Соч, 1860–1861.* В том же издании фразу Рудина в эпилоге «Я отправляюсь к себе в деревню на жительство» Тургенев изменил на «Меня отправляют к себе в деревню на жительство» (см. с. 310), указывая этим на вынужденный полицейский характер отъезда Рудина после его неудавшейся учительской деятельности. Эти изменения стали возможны благодаря некоторому облегчению к этому времени цензурных условий. Тургенев придавал им большое значение и в письме к А. А. Фету от 11 (23) января 1861 г. сетовал на издателя Основского, не выславшего ему экземпляр IV тома, который был ему нужен, чтобы проверить, «попали ли в текст некоторые изменения и прибавления — как, например, конец „Рудина“».

В конце 1862 г. вышел в Париже французский перевод «Рудина» вместе с «Дневником лишнего человека» и «Тремя встречами», выполненный, как указано в заглавии книги, Луи Виардо в сотрудничестве с Тургеневым, т. е. фактически — самим автором, так как Луи Виардо недостаточно хорошо знал русский язык: «Dimitri Roudine, suivi du Journal d’un homme de trop et de Trois rencontres. Traduit par L. Viardot en collaboration avec I. Tourguénieff». Paris, Hetzel, 1862, in-18, 347 p.

Перевод очень близок к русскому тексту, но дает некоторые — сравнительно немногие — отступления:

Глава I разделена на две и общее количество глав — 13 вместо 12; опущена или упрощены фразы и выражения, малопонятные французскому читателю, и введено несколько дополнений и

изменений, в большинстве случаев не влияющих на смысл текста, но поясняющих его. Наиболее значительно изменение в главе III (II русского текста): слова, относящиеся к Волынцеву («Он чертами лица очень походил на сестру» и т. д. — см. с. 217, строки 23–25) отнесены к Наталье: «Les traits de Natalie rappelaient ceux de sa mère, mais leur expression était moins vive et moins animée. Ses beaux yeux caressants avaient un regard triste» («Черты лица Натальи напоминали черты ее матери, но их выражение было менее живо и одушевленно. Взор ее красивых ласковых глаз был грустен»).

В главе XIII (XII русского текста) слова Пигасова «Посмотрите, он кончит тем, что умрет где-нибудь в Царевококшайске или в Чухломе…» и проч. переданы так: «Il finira, croyez-moi, par mourir n’importe où, soit en prison, soit en exil» («Он кончит, поверьте, тем, что умрет где-нибудь в тюрьме или в ссылке»).

В той же главе к словам Лежнева о Рудине: «натуры-то, собственно, в нем нет» добавлено: «Ce qui lui manque, c’est la volonté, c’est le nerf, la force» («Чего ему не хватает, так это воли, это чувства, силы»).

Время работы над «Рудиным» определяется собственноручной пометой Тургенева на черновом автографе, не дошедшем до нас, но описанном П. В. Анненковым в его воспоминаниях о Тургеневе. На черновике романа, как свидетельствует Анненков, Тургенев надписал: «Рудин. Начат 5 июня 1855 г., в воскресенье, в Спасском; кончен 24 июля 1855 г. в воскресенье, там же, в 7 недель. Напечатан с большими прибавлениями в январ. и февр. книжках „Современника“ за 1856 г.» *(Анненков,* с. 408).

2 июня 1855 г., после отъезда из Спасского В. П. Боткина, Д. В. Григоровича и А. В. Дружинина, гостивших там три недели, Тургенев решает приняться за работу. Первоначально он думает обратиться к незавершенному роману «Два поколения», начатому еще в 1852 г. «Я пока ничего не делаю, — пишет он С. Т. Аксакову 2 (14) июня 1855 г., — но собираюсь приняться снова за свой роман и переделать его с основанья». Однако работы над «Двумя поколениями» Тургенев не возобновил, а приступил 5 (17) июня 1855 г. к осуществлению нового замысла — «большой повести», как первоначально он назвал роман «Рудин» (см. письмо к И. И. Панаеву от 13 (25) июня 1855 г.).

Обозначая 5-м июня начало работы над «Рудиным» (см. выше свидетельство Анненкова), Тургенев, очевидно, имел в виду начало писания текста романа. Перед этим, в очень короткий промежуток между 2-м и 5-м июня — быть может, за один день — был записан

план романа, уже обдуманный, вероятно, автором. На большую спешность работы указывает небрежная карандашная запись плана со множеством сокращений и недописанных слов (более детальный его анализ невозможен вследствие утраты автографа).

17 (29) июня 1855 г. Тургенев писал В. П. Боткину: «Желал бы я хоть на этот раз оправдать малейшую часть надежд, тобою на меня возлагаемых; написал сперва подробный план повести, обдумал все лица и т. д. Что-то выйдет? Может быть — чепуха. Посмотрим, что-то скажет эта последняя попытка?» Говоря о «последней попытке», Тургенев имел в виду свои творческие поиски «новой манеры», выразившиеся, в частности, в переходе от рассказов к большой форме повествования, первым опытом которой был роман «Два поколения».

Работа над «Рудиным» носила очень интенсивный и напряженный характер. 27 июня (9 июля) 1855 г. Тургенев извещал И. И. Панаева: «Повесть я пишу деятельно (уже 66 страниц написано) и к желаемому тобою времени доставлю». 4 (16) июля 1855 г. в письме к Н. П. Еропкиной Тургенев сообщал, что «уже написал половину». В. П. Боткину 9 (21) июля он писал: «Я сильно работаю и воспользуюсь моим невольным затворничеством — авось что-нибудь удачное выйдет! По крайней мере то́ могу сказать, что добросовестнее я никогда не работал». И, наконец, 24 июля (5 августа) в письме к М. Н. Толстой Тургенев сообщает об окончании работы над первой редакцией «Рудина»: «Повесть я кончил — и, если буду жив, привезу ее в пятницу».

Дописав «повесть», Тургенев стремится отдать ее на суд друзей, с мнением которых он постоянно считался. В письме к П. В. Анненкову от 25 июля (6 августа) 1855 г. он просит его по возвращении из Симбирска заехать в Спасское для ознакомления с «Рудиным». «От нечего делать, — пишет Тургенев, — принялся я за работу и окончил пребольшую повесть, над которой трудился так, как еще ни разу в жизни не трудился. Совершенно не знаю, удалась ли она мне. Мысль ее хороша — но исполнение — вот в чем штука. Я вам я ее прочту — если вы, по обыкновению, не надуете меня и приедете ко мне в сентябре». В тот же день в письме к В. П. Боткину и Н. А. Некрасову он пишет, обращаясь к Боткину: «Я воспользовался невозможностью ездить на охоту и вчера окончил большую повесть листов в 7 печатных. Писал я ее с любовью и обдуманностью — что из этого вышло — не знаю. Дам ей полежать, потом прочту, поправлю, а списавши, пошлю к тебе — что-то ты скажешь? Что-то скажет Некрасов?» Через несколько дней, по всей видимости 29 июля (10

августа), в пятницу, как и обещал, Тургенев едет в Покровское и читает «Рудина» М. Н. и В. П. Толстым. Судя по воспоминаниям М. Н. Толстой, записанным Стаховичем, чтение произвело на слушателей благоприятное впечатление. «Мы были поражены, — вспоминала в 1903 г. М. Н. Толстая, — небывалой тогда живостью рассказа и содержательностью рассуждений. Автор беспокоился, вышел ли Рудин действительно умным среди остальных, которые умничают. При этом он считал не только естественной, но и неизбежной растерянность этого „человека слова“ перед сильнейшей духом Наташею, готовой и способной на жизненный подвиг» (Орловский вестник, 1903, № 224).

Таким образом, как видно из рассказа М. Н. Толстой, уже на этой ранней стадии Тургенева больше всего тревожила фигура Рудина, которого он, с одной стороны, противопоставляет окружающей среде, а с другой — ставит ниже героини романа. М. Н. Толстая вскоре после посещения Тургенева написала ему письмо с отзывом о «Рудине», которое до нас не дошло. О содержании его можно судить по ответному письму Тургенева от конца июля — начала августа 1855 г., в котором он благодарил Толстую «за всё», что она ему писала «о характере Натальи». «Все Ваши замечанья верны, — писал Тургенев, — и я их приму к сведению и переделаю всю последнюю сцену с матерью. Если б и она и Рудин, как это слишком часто случается в жизни, преувеличивали (положим, бессознательно) свои чувства — то я был бы прав; но Наталья во всяком случае была искренна. Еще раз спасибо Вам за Ваше письмо. В делах сердца женщины — непогрешительные судьи — и нашему брату следует их слушаться».

Как это письмо, так и письмо к С. Т. Аксакову от 3 (15) августа 1855 г. свидетельствуют о том, что в конце июля и в августе 1855 г. Тургенев продолжал дорабатывать «Рудина», вносить в него изменения. «Коли Пушкины и Гоголи трудились и переделывали десять раз свои вещи, — писал он С. Т. Аксакову, — так уже нам, маленьким людям, сам бог велел. А то придет порядочная мысль в голову, поленишься обдумать ее хорошенько да обделать как следует — и выйдет какая-то смутная чепуха. Это со мною не раз случалось — и я дал себе слово вперед не позволять себе этого». Каковы были эти летние переделки — неизвестно, так как черновая рукопись «Рудина» не сохранилась. Неясно, осуществил ли Тургенев и свое намерение переписать повесть, как предполагал в письме к В. П. Боткину и Н. А. Некрасову. Скорее можно предположить, что рукопись была перебелена (о переписке начисто глав из «Рудина» упоминает в своих

воспоминаниях о селе Спасском-Лутовинове Ф. Бизюкин — см.: *Рус Вести,* 1885, № 1, с. 359–360), и Тургенев собирался предстать с нею в октябре 1855 г. перед своими «литературными советчиками». Момент этот был для него очень важным и в смысле утверждения в своем творческом призвании. «Мне всё что-то кажется, — писал он 20 августа (1 сентября) 1855 г. А. В. Дружинину, — что собственно литературная моя карьера кончена. — Эта повесть решит этот вопрос».

К 7 (19) октября Тургенев прибыл из Спасского в Москву, а 13 (25) октября выехал оттуда вместе с В. П. Боткиным в Петербург, где вскоре прочел «Рудина» редакционному кружку «Современника». На чтении присутствовали, в частности, В. П. Боткин, Н. А. Некрасов, И. И. Панаев. 17(29) октября 1855 г. Тургенев сообщал М. Н. и В. П. Толстым: «Повесть я свою прочел — она понравилась — но мне сделали несколько дельных замечаний, которые я принял к сведению».

Всю вторую половину октября, ноябрь и декабрь Тургенев перерабатывает «Рудина», внося в его текст изменения и, в частности, дополняя его. В процессе переделок он вновь неоднократно читает роман своим приятелям, среди которых, как известно из «Воспоминаний…» Н. Г. Чернышевского, были, кроме В. П. Боткина и Н. А. Некрасова, А. В. Дружинин, Е. Ф. Корш, Н. Х. Кетчер (см.: *Чернышевский,* т. I, с. 738).

В процессе переработки создается несколько вариантов текста «Рудина». Вопрос об их составе и соотношении с первоначальной, созданной в Спасском редакцией ввиду отсутствия автографов может быть в какой-то мере прояснен путем сопоставления текста сохранившейся копии первоначального плана романа с его окончательным печатным текстом. Выводы из этого сопоставления могут быть пополнены эпистолярными и мемуарными свидетельствами о направлении творческой работы Тургенева над «Рудиным» в Петербурге.

План был составлен, как указано выше, между 2 (14) и 5 (17) июня. 10 (22) июля 1855 г. Тургенев писал Н. А. Некрасову: «Очень мне будет любопытно знать, что вы <„приятели“> скажете о моей повести; я ее обдумывал долго — и в первый раз написал подробный план, прежде чем приступить к исполнению». Такой приступ к работе был в ту пору необычным для творческой практики Тургенева: будучи впервые применен в «Двух поколениях», позднее он стал характерным для его романов.

План предварен списком персонажей, «лиц» романа. Перечень этот, не в пример подробным «формулярам» в планах к последующим

романам, очень краткий, неразвернутый, состоящий в основном из одних имен и фамилий, указания возраста и иногда семейного или общественного положения. Центральный герой романа первоначально был назван Дмитрием Петровичем Рудиным, что говорит о некоторой связи его образа с замыслом романа «Два поколения», где должен был фигурировать Дмитрий Петрович Гагин (см. в наст. томе примечания к «Двум поколениям», с. 525), и с ненаписанной комедией «Компаньонка», от которой дошел до нас список действующих лиц с персонажем Дмитрием Петровичем Звановым (см.: *Бродский* Н. Л. Тургенев — драматург. Замыслы. — В кн.: *Центрархив, Документы,* с. 6–8, и наст. изд., т. 2, с. 524). Наталья Ласунская и в списке и в плане носит имя Маши, как и героиня созданной незадолго до «Рудина» повести «Затишье». Фамилии Александры Павловны Липиной и ее брата Сергея Павловича Волынцева долго варьируются. Среди ряда фамилий — Пасынковы. Александра Павловна же мыслилась незамужней. Пандалевский сначала именовался Падкалаевым. Басистов, названный так в окончательном тексте, был в списке Лещовым, потом — Басовым. Фамилия Лещова была на какой-то момент закреплена и за Лежневым. Возможно, что факт обозначения обоих героев в списке одной фамилией является результатом общности функции их образов в романе — воплощать общественные силы, соотнесенные в том или ином аспекте с Рудиным.

Другое значительное изменение касается возраста Рудина и Лежнева. По списку «лиц» Рудину — 27 лет, Лежневу — 40. В окончательном тексте возраст Рудина определяется в 35 лет, а Лежнева — в 30. Эта перемена обусловлена введением в роман студенческих воспоминаний Лежнева о кружке Покорского (см. об этом ниже), участниками которого выступают оба героя, причем Рудин как старший товарищ в ту пору является «учителем», высшим авторитетом для Лежнева.

В плане в основных чертах уже намечено композиционное построение романа. Действие развивается вокруг основных четырех моментов — начинается прогулкой Александры Павловны, описанием дома и салона Ласунской и кончается отъездом Рудина и разговором о нем. События следуют в том же порядке, лишь располагаясь более компактно внутри глав за счет объединения, а иногда и некоторого сокращения материала: вместо 14 глав по плану — в окончательном тексте 12[92].

Сжимая отдельные эпизоды, отбрасывая ненужные для основного действия или повторяющиеся перипетии, Тургенев проявлял

характерное для него стремление к экономному использованию повествовательного материала. Так, в первой главе окончательной редакции он объединил содержание персон и большой части второй главы плана, начиная с прогулки Александры Павловны Липиной и посещения ею крестьянской избы и кончая «известием» об ожидаемом в доме Ласунской госте.

Относительно главы II Тургенев колебался и дал два ее плана. В первом варианте он хотел описать дом Дарьи Михайловны и ее гостей, в том числе и Рудина, во втором — продолжить разговор Липиной и Пандалевского об ожидаемом приезде в усадьбу Рудина. Пандалевский передал Александре Павловне и ее брату приглашение Ласунской приехать к обеду. Этот материал Тургенев перенес в первую главу окончательной редакции, а во второй ее главе оставил лишь описание дома Ласунской, дополнив его изображением «салона», которое по плану предполагалось дать в третьей главе.

Содержание главы IV (в тексте романа — III) упрощается: снимается сцена между Машей — Натальей и Рудиным в саду, так как аналогичная сцена намечена в главе VIII плана и затем реализована в главе VII окончательного текста романа. В плане главы XII (в тексте романа — XI) предполагалось после свидания Рудина и Натальи у Авдюхина пруда еще одно объяснение героя и героини. Оно исключено и в окончательном тексте заменено письмом-исповедью Рудина. Вместо прощального письма Рудина к г-же Ласунской, также указанного в плане этой главы, введена сцена их «официального» прощания. Но художественные соображения вызывают далеко не всегда сокращение плана при его реализации. В ряд глав плана вносятся в процессе работы значительные изменения и дополнения. Некоторые сюжетные линии, намеченные в плане, отбрасываются, другие же, наоборот, развиваются. Так, первоначально, параллелью к роману Рудина и Маши — Натальи должен был быть изображен роман Липиной и Пандалевского, что нашло отражение в плане глав III и X. Не считая, однако, по всей вероятности, Пандалевского по мелкости и незначительности его характера достойной для сопоставления с Рудиным фигурой, Тургенев устранил эту параллель. Рудина в отношениях его с Натальей в окончательном тексте оттеняет, с одной стороны, влюбленный в нее Волынцев, с другой — Лежнев, женившийся на Александре Павловне Липиной. В связи с этой переменой не реализуется осложняющая определившийся сюжет линия Маши — Натальи и Лещова — Лежнева, а также Рудина и Липиной, которая намечалась во II и X главах плана. В результате

глава X плана фактически отпадает.

Расширяются главы III, VI и XIV плана. Особое значение имеет переработка главы VI, куда Тургенев вносит рассказ Лежнева о кружке Покорского и о Рудине как об участнике этого кружка. Это дополнение появилось в одной из промежуточных редакций в середине ноября 1855 г., о чем свидетельствует Н. А. Некрасов в письме к В. П. Боткину от 24 ноября 1855 г. (см. об этом ниже).

В этом же письме Некрасов сообщает о работе Тургенева над концом «Рудина», которая нашла отражение во второй половине главы XII и в первой части эпилога, вероятно, написанных Тургеневым заново. 3 (15) декабря 1855 г. он извещал В. П. Боткина: «Я уже многое переделал в „Рудине“ и прибавил к нему. Некрасов доволен тем, что я прочел ему, — но еще мне остается потрудиться над ним. К 15-му числу, я надеюсь — всё будет кончено».

План последней главы — XIV, соответствующей в тексте романа XII, предусматривает «разговор о Рудине». Тургенев при переработке вводит происходящую одновременно с этим разговором в доме Лежнева короткую сцену на проезжей дороге, где изображается один из характерных моментов скитальческой одинокой жизни Рудина, и пишет заново эпилог, рисующий заключительную встречу Лежнева с постаревшим Рудиным в гостинице губернского города. Из рассказа Рудина своему старому товарищу читатель узнает о новой стороне жизни героя — его неудавшихся попытках общественной деятельности. Концовка (главы XII, не отраженная в плане, была, вероятно, написана, как эпилог, в Петербурге во второй половине ноября — первой половине декабря 1855 г. Такое предположение, исходя из сопоставления с планом, высказал впервые М. К. Клеман (см.: *Т, Рудин, 1936,* с. 441). Рудин в финале главы XII окончательного текста изображен уже не таким, каким он был в усадьбе Ласунской, а постаревшим, вступившим в новый период своей жизни: «пора его цветения, видимо, прошла». Эта сцена, как и эпилог, выдержана в одном и том же грустном тоне и служит переходным звеном от характеристики Рудина, сделанной Лежневым в главе XII, к образу Рудина в эпилоге.

В конце того же года Тургенев вновь пересматривает всю первую часть романа и дополняет главу III «импровизацией» Рудина — его речью в салоне Ласунской о необходимости «надломить упорный эгоизм своей личности» и рассказанной им «скандинавской легендой». Около 10–11 (22–23) декабря 1855 г. Тургенев писал Некрасову: «… „Рудина“ (1-ю часть) пришлю тебе сегодня же. Я теперь ее

окончательно прохожу — прочти (я замечу страницу) импровизацию Рудина — и скажи, так ли, — исправить еще можно». Тургенев продолжал работать над романом и в корректуре (см. записку его к Некрасову от декабря 1855 — января 1856 г.), а впоследствии пересматривал, подготавливая каждое новое издание.

Такова внешняя история работы Тургенева над его первым законченным романом, от первого наброска плана в начале июня до завершения окончательного текста в середине декабря 1855 г.[93]

Работая над «Рудиным» летом и осенью 1855 г., Тургенев называл его в письмах этого времени к И. И. Панаеву, В. П. Боткину, Н. П. Еропкиной, Н. А. Некрасову и др. «повестью», «большой повестью», «пребольшой повестью», иногда — «большой вещью». Вслед за Тургеневым, «повестью» (в отличие от «романа», т. е. «Двух поколений») называет «Рудина» и Некрасов в письмах, относящихся к осени 1855 г. (см.: *Некрасов,* т. X, с. 232, 249, 259). Но в печати Некрасов не раз в то же время определяет «Рудина» как роман. Так, в «Заметках о журналах за октябрь 1855 года», сообщив, что Тургенев «окончил и отдал уже нам новую свою повесть, под названием „Рудин“», он замечает: «…по объему это — целый роман» (там же, т. IX, с. 352; ср. с. 374); и в «Заметках о журналах за декабрь 1855 и январь 1856 года» он также говорит о «Рудине», «который назван автором повестью», но «более относится к области романа» (там же, т. IX, с. 382). С подзаголовком «Повесть» (Часть первая) роман был опубликован в январском номере «Современника» 1856 г.; без определения жанра он вошел в том же году в издание «Повестей и рассказов» Тургенева. Но, несомненно, сам Тургенев, как и Некрасов, отдавал себе отчет в том, что «Рудин» выходит из жанровых рамок повести; в *Т, Соч, 1860* он включил его в третий том вместе с «Дворянским гнездом» и «Накануне». Однако в трех последующих изданиях — *Т, Соч, 1865, Т, Соч, 1869, Т, Соч, 1874* — Тургенев, отделив «Рудина» от других романов, поместил его в одном томе с повестями 1850-х годов, и только в последнем авторизованном издании *(Т, Соч, 1880)* снова включил его, на первом месте, в число романов. Об этом было сказано в «Предисловии» ко всем шести романам, помещенном в третьем томе издания, где Тургенев писал: «Решившись в предстоящем издании поместить все написанные мною романы („Рудин“, „Дворянское гнездо“, „Накануне“, „Отцы и дети“, „Дым“ и „Новь“) в последовательном порядке, считаю нелишним объяснить, в немногих словах, почему я это сделал. — Мне хотелось дать тем из моих читателей, которые возьмут на себя труд прочесть

эти шесть романов сподряд, возможность наглядно убедиться, на сколько справедливы критики, упрекавшие меня в изменении однажды принятого направления, в отступничестве и т. п. Мне, напротив, кажется, что меня скорее можно упрекнуть в излишнем постоянстве и как бы прямолинейности направления. Автор „Рудина“, написанного в 1855-м году, — и автор „Нови“, написанной в 1876-м, является одним и тем же человеком».

Перемена в жанровом определении, даваемом Тургеневым своему произведению, была вызвана отнюдь не только формальными основаниями, тем более — не была случайной. Замена понятия «повести» понятием «романа» диктовалась переработкой «Рудина» по существу, произведенной в конце 1855 года, расширением и углублением его общественно-исторических рамок, выходом за пределы индивидуально-психологической проблематики. С другой стороны, начатый в 1853 г. роман «Два поколения», с первых шагов задуманный в широкой, эпической, романной форме, затем временно оставленный, но в момент начала работы над «Рудиным» не окончательно брошенный, в жанровом смысле противопоставлялся замыслу «Рудина» как произведение иного типа. Отсюда и длительные колебания Тургенева в определении жанра «Рудина» и его места в творчестве 1850-х годов. Лишь значительно позднее, когда окончательно выработался и получил широкое признание новый тип романа — «тургеневский», «Рудин», сопоставленный с «Дворянским гнездом», «Отцами и детьми» и другими произведениями того же плана, занял место среди прочих романов Тургенева как равноправное с ними явление (см.: *Цейтлин* М. А. Развитие жанра в романах Тургенева «Рудин» и «Дворянское гнездо». — Уч. зап. Московскою обл. под. ин-та, т. LXXXV; Труды каф. русской лит-ры. М., 1960. Вып. 6, с. 205–240; *Матюшенко* Л. И. О соотношении жанров повести и романа в творчестве И. С. Тургенева. — В кн.: Проблемы теории и истории литературы. М., 1971, с. 315–326).

С переработкой, расширением и углублением рамок новой повести связано и изменение ее заглавия. П. В. Анненков, видевший черновую рукопись «Рудина», до нас не дошедшую, сообщает: «Повесть была первоначально озаглавлена: „Гениальная натура“, что потом было зачеркнуто, и вместо этого рукой Тургенева начертано просто: „Рудин“» *(Анненков,* с. 408).

Заглавие «Гениальная натура», по мнению некоторых современных исследователей[94], должно было звучать иронически, и Тургенев заменил его более нейтральным «Рудин», устранив тем самым

декларативную авторскую оценку своего героя. Это в основном справедливое мнение нуждается в уточнении: расширяя и углубляя в процессе работы перспективу своего произведения, Тургенев должен был естественно отказаться от субъективно-оценочной формулировки заглавия ради вполне объективной и безоценочной. Определение Рудина должно было быть не подсказанным читателю, но вложенным в существо его изображения, в его оценку другими персонажами.

«Рудин» в том виде, в каком он был задуман и осуществлен в Спасском в июне-июле 1855 г., т. е. в той редакции, основой которой является составленный тогда план, был дальнейшим развитием и своего рода итогом целого ряда образов, тем и проблем, воплощенных в повестях и рассказах, стихотворных и прозаических, созданных Тургеневым в предшествующее десятилетие (см.: *Бродский* Н. Л. Генеалогия романа «Рудин». — Памяти П. Н. Сакулина, Сборник статей. М., 1931., «Никитинские субботники», с. 18–35). При этом надо учитывать, что «Рудин» вырастал не только из авторского литературного опыта. Первый роман Тургенева был органически связан многими своими сторонами с предшествующими русскими повестями и литературными очерками 1840 — 50-х годов. Очень близкие к «Рудину» образы и сюжетные мотивы — настолько близкие, что можно говорить о прямых реминисценциях — находятся в «нравственной повести» И. Панаева «Родственники» *(Совр,* 1847, № 1, с. 1 — 69; № 2, с. 213–260; см. в названной статье Н. Л. Бродского с. 24–32; см. также в кн.: Русская повесть XIX века. Л., 1973, с. 259–425). Рассказ о герое, по своему психологическому облику близком к Рудину, содержался также в указанной выше статье Панаева «Заметки и размышления Нового поэта по поводу русской журналистики» (см. с. 473, примеч. 3).

Вырабатывая принципы сюжетно-композиционной и образной системы «Рудина», Тургенев опирался не только на опыт своих русских предшественников, но учитывал и традиционные формы европейского романа, в первую очередь романов Ж. Санд. Психологическая завязка любовного конфликта в «Рудине» напоминает любовный треугольник в «Орасе» (1843) Ж. Санд (см.: *Каренин* Владимир. Жорж Санд, ее жизнь и произведения. СПб., 1899, с. 19–20).

Однако, заимствуя некоторые элементы сюжета своего первого романа у Ж. Санд, Тургенев вступил с французской писательницей в творческое соревнование, стремясь, по его словам, к «полной Истине» художественного воспроизведения действительности, отсутствие

которой он усматривал в произведениях Ж. Санд (см.: *Батюто* А. Тургенев-романист. Л., 1972, с. 295, 303–310).

Роман «Два поколения», писавшийся в 1852–1853 годах, носил, как можно думать (см. наст. том, с. 530–531), характер бытовой и психологический, но ни один из его персонажей не воплотил в себе достаточно рельефно типических черт «лишнего человека». Между тем Тургенев чувствовал необходимость довести до конца обработку этой важной для русской жизни темы, подвести некоторые итоги и дать дворянскому интеллигенту-соврсменпику свою оценку. К этому побуждали его не только литературные соображения (в их чистом виде никогда не имевшие для писателя решающего значения), но, прежде всего, та общественная обстановка, которая сложилась ко времени формирования замысла «Рудина». Впоследствии — в «Предисловии» к собранию романов в *Т, Соч, 1880* — Тургенев указывал на то, что «Рудин» написан «в деревне, в самый разгар Крымской кампании» — и это указание имеет существенное значение: осада Севастополя глубоко волновала современников, видевших в ней предвестие исторического перелома; неожиданная смерть Николая I в разгар войны — 18 февраля ст. ст. 1855 г. — была тотчас истолкована в русском обществе как самоубийство, т. е. признание крушения всей системы тридцатилетнего царствования; Тургенев отозвался о смерти Николая, как «о потрясающем событии, которое занимает теперь все умы» (письмо к М. Н. и В. П. Толстым от 25 февраля ст. ст. 1855 г.; см. статью Вл. Данилова «„Рудин“ И. С. Тургенева и Крымская война». — Русский филологический вестник, 1912, № 1–2, с. 81 — 102). Молодой Лев Толстой, несравненно менее, чем Тургенев, разбиравшийся тогда в политической обстановке, еще в первый период обороны Севастополя писал в своем дневнике 23 ноября 1854 г., что «Россия или должна пасть или совершенно преобразоваться» (*Толстой,* т. 47, с. 31). Очень точно охарактеризовал атмосферу пробуждения всеобщей общественной активности в связи с севастопольской эпопеей Н. В. Шелгунов, который писал в своих воспоминаниях: «… Россия точно проснулась от летаргического сна < ...> все чувствовали, что порвался какой-то нерв, что дорога к старому закрылась < ...> после Севастополя все очнулись, все стали думать и всеми овладело критическое настроение…» (*Шелгунов* Н. В. Воспоминания. М.; Пг., 1923, с. 67–68).

С другой стороны, именно в это время — с весны 1855 г. — стало очевидно для Тургенева и его ближайших друзей (П. В. Анненкова, В. П. Боткина, А. В. Дружинина, Д. В. Григоровича) появление в

литературе новой общественной силы и нового, материалистического мировоззрения, в лице вошедшего в редакцию «Современника» Н. Г. Чернышевского. Его диссертация «Эстетические отношения искусства к действительности», ставшая известной Тургеневу в июле 1855 г., т. е. в период интенсивной работы над «Рудиным», была воспринята писателем как манифест этой новой общественной и философской силы, как отрицание всей системы сложившихся эстетических воззрений.

Все эти общественно-политические и литературные события побуждали Тургенева пересмотреть еще раз близкие ему образы дворянских интеллигентов. Теперь перед ним стояла задача не только дать объективную оценку «лишнему человеку», но и показать, как этот герой будет действовать в новых исторических условиях. Рудин — это первый тургеневский герой, вышедший на арену общественной борьбы, герой, вся жизнь которого проникнута стремлением быть полезным отечеству.

На первом этапе работы Тургенева над образом Рудина — в летние месяцы 1855 г. — писатель поставил перед собой для формирования образа своего героя определенный прототип — М. А. Бакунина. Это подтверждает поставленная в плане, вместо фамилии Рудина, буква «Б», указывающая на Бакунина как на его прообраз так же, как далее вместо имени Дарьи Михайловны было сначала написано: «Ал. Ос», что указывало на ее реальный прототип — А. О. Смирнову (см. с. 490–491). Сам Тургенев не отрицал наличия общих черт между Рудиным и М. А. Бакуниным — особенно в первой, написанной в Спасском, редакции романа. В письме к М. А. Маркович от 16 (28) сентября 1862 г. он писал: «Что за человек Бакунин, спрашиваете Вы? Я в Рудине представил довольно верный его портрет: теперь это Рудин, *не* убитый на баррикаде < ...> Жаль его: — тяжелая ноша — жизнь устарелого и выдохшегося агитатора». В то же время Тургенев не считал образ Рудина копией с Бакунина (на это намекает он в письме к С. Т. Аксакову от 27 февраля (10 марта) 1856 г.: «Мне приятно < ...> что Вы не ищете в Рудине копии с какого-нибудь известного лица…»). Некоторые черты Бакунина до его отъезда за границу в 1840 г. действительно присутствуют в образе Рудина (дар красноречия и «диалектики», т. е. умение спорить; философская одаренность и аналитический ум; интеллектуальное воодушевление при «холодности чувств» и отсутствии темперамента; стремление господствовать над сверстниками и вмешиваться в их личную жизнь и пр., вплоть до легкости, с которой тот и другой занимают деньги и живут на чужой

счет); но основные из этих черт у Рудина представляют не индивидуальные свойства именно Бакунина, а типичны для целого круга «людей 40-х годов», представителем которого является Рудин[95].

О Бакунине как прототипе Рудина упомянул, не называя ни его, ни самого романа и его героя, Н. Г. Чернышевский в статье 1860 года, напечатанной в «Современнике» и посвященной книге Натаниэля Готорна «Собрание чудес, повести, заимствованные из мифологии» *(Чернышевский,* т. VII, с. 440–453). Здесь, давая «Рудину» общую резко отрицательную оценку, Чернышевский отметил, что героем этой повести, «как по всему видно, следовало быть человеку, мало писавшему по-русски, но имевшему самое сильное и благотворное влияние на развитие наших литературных (т. е. общественно-политических — в иносказании Чернышевского) понятий, затмевавшему величайших ораторов блеском красноречия, — человеку, не бесславными чертами вписавшему свое имя в историю, сделавшемуся предметом эпических народных сказаний» (там же, с. 449). Но Тургенев, продолжает Чернышевский, задумав повесть, которая «должна была бы иметь высокий трагический характер», стал, под влиянием друзей-советников, «переделывать избранный им тип, вместо портрета живого человека рисовать карикатуру, как будто лев годится для карикатуры» (там же). Подробный рассказ о работе Тургенева над «Рудиным» именно в связи с отражением в образе героя живых черт Бакунина содержится в воспоминаниях Н. Г. Чернышевского, написанных по просьбе А. Н. Пыпина в 1880-х годах — почти через 30 лет после описываемых событий[96]. Рассказ этот находится в значительном противоречии с тем, что писал Чернышевский о заключительном этапе работы Тургенева над образом Рудина в 1860 году, но возможно, что в нем точнее переданы многие факты, чем в полемической статье, недаром вызвавшей возмущение Тургенева. Но, каковы бы ни были фактические перипетии работы Тургенева над своим романом осенью 1855 г. и переработки образа его героя под влиянием советов друзей[97] (о чем мы, за отсутствием рукописей, можем судить лишь по очень скупым косвенным данным), общая направленность этой переработки шла от более точного соответствия образа Рудина своему прототипу к уменьшению прямых черт сходства между Рудиным и Бакуниным и, следовательно, к большей обобщенности и большей исторической значимости образа героя романа.

Здесь имело свое значение и то обстоятельство, что в период обсуждения в дружеском кругу первой редакции «Рудина», осенью

1855 г., Бакунин, выданный русским властям австрийским правительством, был заключен в Шлиссельбургской крепости, и давать его сатирический, отрицательный портрет было бы несвоевременно и неуместно (об этом говорит, рядом прозрачных намеков, Чернышевский в своих воспоминаниях). Некоторые отрицательные черты — рудименты первоначальной памфлетной характеристики — в образе Рудина остались; на них указывал Чернышевский как в статье 1860 года, так и в позднейших воспоминаниях. Но эти черты приобрели другое значение — из памфлета на Бакунина они превратились в необходимые элементы критики «человека 40-х годов», каким его видел Тургенев в период завершения работы над романом, и уже очень отдаленно напоминали немногим знавшим обстоятельства дела читателям о прототипе Рудина.

Переработка романа, произведенная Тургеневым в октябре — декабре 1855 г., определялась не только советами друзей и соображениями, связанными с образом героя в его отношениях к прототипу — Бакунину, но и другими обстоятельствами, влияние которых отражается в дополнениях к роману сравнительно с его планом и первоначальной редакцией. Первым и главным из них явилась смерть Т. Н. Грановского (4 октября ст. ст. 1855 г.) и его похороны в Москве, 7 октября, на которых Тургенев присутствовал. Об огромном впечатлении, произведенном на него этой неожиданной смертью, Тургенев писал 11 (23) октября 1855 г. Некрасову и 16 (28) октября 1855 г. С. Т. Аксакову и отозвался на нее некрологической статьей, написанной через несколько дней, — «Два слова о Грановском. Письмо к редакторам „Современника“» (см. наст. том, с. 325).

Смерть Грановского должна была оживить в памяти Тургенева воспоминания о московских философских кружках второй половины 1830-х годов. В этих кружках сам Тургенев, как известно, не принимал участия, но знал о них от своих друзей, их бывших руководителей и участников, с которыми сблизился в 1838–1840 гг. в Германии и Италии, — Станкевича, Грановского, Бакунина, Ефремова, а также от московских своих друзей — Боткина и К. С. Аксакова. К сведениям о московских кружках присоединялись и личные впечатления от петербургского круга Белинского 1840-х годов. Отсюда — желание и сознание необходимости дать изображение того времени, когда сформировались характеры и воззрения как Рудина, так и Лежнева, т. е. стремление углубить образ Рудина и поставить его в

историческую перспективу, отсутствовавшую, вероятно, в первой редакции романа. Некоторые черты Грановского прямо отразились в Рудине: Грановский, по словам Тургенева в его некрологической статье о нем, «владел тайною истинного красноречия» (наст. том, с. 327); Рудин, как сказано в главе III по поводу его рассказа-импровизации «о значении просвещения», «владел едва ли не высшей тайной — музыкой красноречия» (наст. том, с. 229). Ап. Григорьев, стоявший вне круга друзей Тургенева по «Современнику», признавал несколько позднее, что Рудин «напоминает манеры, приемы и целый образ одного из любимейших людей нашего поколения», т. е. Грановского (*Григорьев* Ап. Собр. соч. / Под ред. В. Ф. Саводника. М., 1915. Вып. 10, с. 20)[98]. Эти сопоставления отнюдь не означают, что Грановский мог быть прототипом Рудина. Но некоторые черты, присущие обоим, указывают на типичность последнего, на его обобщенно-историческое значение — тем более, что сцена импровизации Рудина и его «скандинавская легенда» введены Тургеневым, по-видимому, в процессе переработки романа осенью 1855 г.

В том же направлении углубления исторической основы романа шло произведенное в октябре — декабре 1855 г. расширение «Рудина» двумя значительными эпизодами: рассказом Лежнева о своей молодости и общении с Рудиным в кружке Покорского (в главе VI) и «Эпилогом», содержащим описание последней встречи Лежнева с Рудиным в губернской гостинице. К первому из этих эпизодов примыкает и разговор о Рудине между Лежневым, его женой, Басистовым и Пигасовым (в главе XII), намеченный в плане (гл. XIV) как заключение всего романа.

Эти добавления (и, очевидно, в особенности главу VI) имел в виду Некрасов, когда писал В. П. Боткину 24 ноября (6 декабря) 1855 г.: «А Тургенев славно обделывает „Рудина“. Ты дал ему лучшие страницы повести, натолкнув его на мысль развить студенческие отношения Лепицина и Рудина. Прекрасные, сердечно-теплые страницы — и необходимейшие в повести! Теперь Тург<енев> работает за концом <над эпилогом>, который также должен выйти несравненно лучше. Словом, повесть будет и развита и закончена. Выйдет замечательная вещь. Здесь в первый раз Тург<енев> явится самим собою — еще все-таки не вполне, — это человек, способный дать нам идеалы, насколько они возможны в русской жизни. Ты это сам увидишь, прочитав, каков теперь вышел Лепицин» *(Некрасов,* т. X, с. 259)[99].

Введение в роман рассказанного Лежневым эпизода, посвященного «славному времени» московского философского кружка середины 1830-х годов и изображению его главы — Покорского — внесло существенную перемену в концепцию «Рудина» и в его идейное значение. Тургенев взглянул на своих героев не как участник их жизни, но со стороны, создав вокруг них объективно осознанную атмосферу и оценивая их сущность и значение в исторической перспективе. Характерна в этом смысле коренная разница в изображении московского кружка — при одинаковости материала — в устах Василия Васильевича («Гамлет Щигровского уезда», 1848) и в устах Лежнева в романе, написанном семь лет спустя, в иных обстоятельствах. «Гамлет» относится к философским интересам и занятиям 1830-х годов с беспощадной иронией и полным отрицанием. Лежнев (и через него, в данном случае, сам автор) видит то положительное влияние, какое имели философские занятия и кружковые споры людей того же времени для формирования общественно-философских воззрений целого поколения. Соответственно переоцениваются и отдельные деятели этого интеллектуального движения и вводятся такие положительные его представители, как Покорский.

По признанию самого Тургенева, реальным прототипом Покорского был Н. В. Станкевич (см. в наст. томе «<Воспоминания о Н. В. Станкевиче>», с. 360). Несомненно, между ними есть много общего — ряд черт, сближающих их между собой: высокая моральная чистота, правдивость, большое личное обаяние, требовательность к себе и другим, активная любовь к людям, заинтересованность в них и способность на них воздействовать и нравственно перевоспитывать; сильный философский ум, увлечение немецкой философией (притом не ради ее самой, но в качестве орудия для осмысления жизни и построения ее согласно высоким этическим идеалам). Но, воссоздавая образ Покорского, Тургенев вносит в него и иные черты — черты человека, стремящегося к активной деятельности и даже к борьбе, свойственные скорее Белинскому (как понимал его сам Тургенев), чем склонному к созерцательности Станкевичу. Сходство Покорского с Белинским усиливается и социальной характеристикой Покорского — бедняка, студента-пролетария, что вовсе не свойственно принадлежавшему к барской среде Станкевичу (см. в статье Н. Л. Бродского «Белинский и Тургенев» — в сб.: Белинский историк и теоретик литературы. М.; Л., 1949, с. 337: «Покорский — образ не

только Станкевича, но и Белинского…». «Можно думать, что вдохновенные страницы „Рудина“ о глубочайшем воздействии, которое оказывал кружок на его членов, были подсказаны Тургеневу впечатлениями петербургского кружка Белинского, обаянием личности главы кружка». См. также статью Н. Л. Бродского «Поэты кружка Станкевича». — Изв. отд. рус. яз. и слов. 1912, т. XVII, № 4). Тем самым устанавливается, с точки зрения переломного момента 1855 года, исторически прогрессивная и общественно нужная роль людей 1830 — 1840-х годов, сверстников и товарищей Рудина, а значит и его самого. Утверждается их ценность как людей с пробудившимся сознанием, пропагандистов «доброго слова», пробуждающих этим «словом» других — хотя бы Наталью и Басистова — последователей философской теории Гегеля, диалектику которого хорошо усвоил Рудин, умевший объяснить общую связь явлений, закон разумной необходимости и защищавший идеи общественного прогресса.

Однако, рассказывая в главе VI романа устами Лежнева о молодости Рудина в кружке Покорского, Тургенев сохранил в Рудине многие черты, напоминающие его прототип — Бакунина, начиная с положения Рудина (Бакунина) в кружке относительно Покорского (Станкевича или Белинского — безразлично), т. е. сохранил критическое отношение к своему герою. Это объясняется отчасти тем, что рассказывает о нем предубежденный против него Лежнев, — дать иное его истолкование было бы в тот момент развития сюжета романа художественно неправомерным. Рассказом Лежнева Рудин объяснен, критически рассмотрен и исторически обоснован, но еще не получил и не мог получить положительной оценки. Последнее сделано в застольной речи Лежнева о Рудине в XII главе, хотя и здесь не устранены его недостатки, и среди них самый большой — незнание России и космополитизм (но, делает оговорку Лежнев, «это не вина Рудина: это его судьба, судьба горькая и тяжелая, за которую мы-то уж винить его не станем. Нас бы очень далеко повело, если бы мы хотели разобрать, отчего у нас являются Рудины. А за то, что в нем есть хорошего, будем же ему благодарны»). В отказе разбираться в вопросе о том, «отчего у нас являются Рудины», содержится ясное указание на общеисторические причины их появления в России эпохи Николая I, в 1840-х годах, после разгрома декабристов, — причины, о которых в 1855 году еще невозможно было говорить полным голосом[100].

Вторым важнейшим моментом авторского истолкования образа Рудина явился «Эпилог», добавленный, по-видимому, также при

переработке романа осенью 1855 г. (он отсутствует в известном нам плане). Здесь, описывая встречу Лежнева с Рудиным в гостинице губернского города, Тургенев не только изменил отношение Лежнева к Рудину (это изменение намечается уже в эпизоде XII главы), но и показал попытки деятельности на пользу общества, предпринимавшиеся Рудиным, и причины их постоянных неудач. При этом выясняется, что эти причины лежат не столько в самом Рудине, как бы ни был он неспособен к практическому, конкретному делу, сколько в общественных условиях, с которыми он сталкивается, — в полицейско-бюрократической и крепостнической системе, господствующей в николаевской России. Как бы ни были наивны проекты Рудина, они шли вразрез с этой системой (доказательство тому — его высылка из города, где он преподавал недолгое время в гимназии); и как бы он ни считал себя, по его собственным словам, «вполне, и в самой сущности слова человеком благонамеренным», как бы ни был готов «смириться», «примениться к обстоятельствам», «достигнуть цели близкой, принести хотя ничтожную пользу», — в действительности это оказывается для него невозможным, и «судьба» снова и снова отталкивает его. «Лишний человек», не сумевший достойно вести себя в трудных обстоятельствах, когда они носили лично-психологический характер, и потерпевший поражение при испытании, которое Тургенев считал одним из серьезнейших в жизни, — при испытании любовью, — является в «Эпилоге» общественным деятелем, поражения которого уже не зависят от его личных свойств, а коренятся в окружающей его обстановке. Таков вывод, к которому Тургенев приводит читателя относительно своего героя в последней редакции романа (1855 г.). Таков вместе с тем итог его размышлений над разными типами «лишних людей», проходящими через повести, предшествующие роману. В условиях неизбежной ломки отжившей системы, намечавшейся в период создания «Рудина», а главное — при появлении на общественно-литературной сцене представителей новой социальной силы, подобных Чернышевскому, Тургенев поставил себе целью показать исторически положительное и прогрессивное значение своего поколения «русских людей культурного слоя», как он называл дворянских интеллигентов в «Предисловии» к романам в издании 1880 г. Эта цель была осуществлена в образе Рудина, несмотря на ряд колебаний в его оценке и на заметные в нем наслоения последовательных редакций романа — от памфлетного и резко отрицательного изображения Рудина (Бакунина) до сочувственного оправдания всех подобных ему

«бесприютных скитальцев».

«Деятельность» Рудина, изображенная в основной части романа, помимо его «Эпилога», заключается лишь в том влиянии, которое он оказывает своим интеллектом и своим «добрым словом» на некоторых из окружающих его персонажей — Басистова и Наталью Ласунскую. Басистов — студент-разночинец, очень близкий по положению и характеру к Беляеву из «Месяца в деревне», разночинец 1840-х годов, еще не обладавший тем сложившимся мировоззрением, какое выработали себе разночинцы следующего поколения, начиная с Чернышевского[101]. Во что может развиться Басистов — из романа не ясно, но речи Рудина открывают перед ним пути, уже не совпадающие с путями дворянских интеллигентов. Что касается Натальи Ласунской, то в ней можно видеть первый в творчестве Тургенева полно разработанный и законченный образ русской девушки, носительницы высших человеческих стремлений. В критический момент Наталья показывает себя несравненно сильнее Рудина, который терпит поражение при столкновении с жизнью, представленной мерилом, имевшим в глазах Тургенева решающее значение для определения ценности героя: любовью к нему сильной духом девушки. Но Наталья, обманувшись в герое, принуждена уступить обстоятельствам и внешне примириться с ними. В историческом плане иначе и не могло быть: сверстница Натальи Лиза Калитина уходит в монастырь, а Елена Стахова принадлежит уже следующему поколению. Тем не менее, потенциально заложенная в Наталье способность к действию не подлежит сомнению — и в пробуждении этой потенции Тургенев справедливо видит одно из важнейших проявлений положительного влияния Рудина на лучших из окружающих его людей.

Роль и значение в романе образа Лежнева определяются по-разному. Многие дореволюционные исследователи видели в Лежневе носителя славянофильских воззрений, и на этом основании последние приписывались автору, хотя известно, что Тургенев, несмотря на личную близость к семейству Аксаковых, держался противоположных мнений по ряду коренных вопросов. Существует также точка зрения, что образ Лежнева понадобился Тургеневу для того, чтобы изложить свой взгляд на дальнейший путь развития России как путь постепенных реформ или призвать дворянскую интеллигенцию к объединению в борьбе с новым поколением, идущим к чуждым ей целям[102].

Приведенные выше суждения грешат некоторыми преувеличениями. Характеризуя Лежнева, следует иметь в виду, что

идейно-художественная функция этого образа в романе не однозначна. Лежнев является не антиподом Рудина, но временным, в силу обстоятельств, его антагонистом; когда меняются обстоятельства, исчезает и антагонизм — остается со стороны Лежнева лишь сочувствие и понимание Рудина. В творчестве Тургенева Лежнев представляется первым среди персонажей, образующих особую социально-психологическую линию. К тому же положению дворянского интеллигента, видящего свой общественный долг в том, чтобы «трудиться не для одного себя», приходит, хотя и иным путем, чем Лежнев, Лаврецкий; к разряду таких же практических деятелей принадлежит и Литвинов (в «Дыме»). Ни Лежнев, ни Литвинов не воплощают положительных идеалов Тургенева, но на того и другого он смотрит как на людей, нашедших свое место и общественно полезных.

Итак, в итоге переработки «Рудина», выполненной Тургеневым в конце 1855 года, его роман стал произведением не только общественно-пспхологического, но и исторического значения. Тем самым приобретает известную важность вопрос о хронологии событий, изображенных в романе, и о хронологических вехах в биографиях его основных персонажей. Общая хронология романа представляется в следующем виде. В момент приезда Рудина в усадьбу Ласунской (начало романа) Лежневу, по указанию автора, около 30 лет (гл. I, с. 201), Рудину — около 35 (гл. III, с. 219, и гл. XI, с. 293). Знакомство их в кружке Покорского происходит приблизительно за 10 лет до этого: Лежневу в тот момент должно быть 18–20 лет, не более (гл. VI, с. 254). Это соответствует и времени рождения как Лежнева, так и Рудина, и времени существования московского кружка: оба они принадлежат к поколению Белинского — Герцена — Станкевича, — Бакунина, т. е. людей, родившихся между 1811–1814 гг. (Рудин) и 1815–1818 гг. (Лежнев); деятельность кружка Покорского относится, как это и было в действительности с кружком Станкевича, к 1833–1837 гг. Таким образом, начало романа (приезд Рудина к Ласунской) происходит в 1843–1845 годах. Если так, то рассказ Лежнева о кружке и о Рудине в главе XII относится к 1845–1847 годам (между приездом Рудина к Ласунской и рассказом Лежнева «минуло около двух лет» — гл. XII, с. 298), а между эпизодом XII главы и встречей Лежнева с Рудиным в гостинице проходит «еще несколько лет» — вряд ли менее пяти (эпилог, с. 309). При таком расчете участие и смерть Рудина в Июньском восстании 1848 года не укладываются в хронологические рамки романа. Последнее, однако, не существенно, так как Тургенев,

изображая гибель своего героя, не думал о строгой хронологии. Но очень существенны намеченные в романе предшествующие даты жизни его двух главных персонажей, создающие необходимую историческую перспективу, о которой только и заботился автор. Исходить в этих расчетах из даты смерти Рудина невозможно и бесполезно; но годы рождения его и Лежнева, годы их учения и участия в философских кружках — имеют вполне реальное историческое значение (ср. в статье В. В. Данилова «Хронологические моменты в „Рудине“ Тургенева» — Изв. ОРЯС Рос. Академии наук, 1924, т. XXIX, Л., 1925, с. 163–166, — где автор бездоказательно принимает как дату начала романа 1840 год, считает датой рождения Рудина 1805 и оставляет без внимания хронологию участия Рудина и Лежнева в философских кружках 30-х годов).

Резюмируя основные этапы работы Тургенева над «Рудиным» от возникновения замысла до первопечатного текста 1856 года, можно выразить их в такой схеме: первоначальная редакция, написанная в Спасском летом 1855 г. и носившая название «Гениальная натура», представляла собою психологическую повесть, посвященную изображению определенного типа дворянских интеллигентов, или «лишних людей», прототипом которого был М. А. Бакунин.

В этой редакции «Рудин» был «большой повестью», но еще не романом общественно-исторического значения. Осенью, в октябре — декабре, 1855 г. перерабатывая свое произведение, Тургенев под влиянием происшедших за это время исторических событий (падение Севастополя, смерть Грановского, выступление Чернышевского), постепенно ослабив черты сходства Рудина с Бакуниным и памфлетность его характеристики, вместе с тем ввел в свою повесть ту историческую почву, которая объясняла появление в русской жизни людей типа Рудина и безрезультатность их попыток действовать. Историческая перспектива не только объясняла Рудина, но и оправдывала его с общественной точки зрения; она показывала необходимость и положительное для своего времени значение Рудиных и обращала психологическую повесть в социально-психологический роман большого общественного значения. Таким вышел «Рудин» в 1856 году в «Современнике» и в том же году в третьем томе «Повестей и рассказов» Тургенева.

Печатая «Рудина» в третий раз, в своем первом собрании сочинений *(Т, Соч, 1860–1861),* Тургенев прибавил к эпилогу концовку, изображающую гибель героя на парижской баррикаде во время «июньских дней» 1848 года. Возможность появления концовки

объясняется некоторым ослаблением цензурных условий, допустившим сочувственное изображение Французской революции. Но концовка сама по себе была для Тургенева важным моментом в общественно-политической борьбе, обострившейся в период революционной ситуации 1859–1861 годов, в частности вокруг вопроса о смене прежних либерально-дворянских деятелей — «лишних людей» — новыми, революционно-демократическими. Спор, в котором выступали с одной стороны Чернышевский и Добролюбов, а с другой — Герцен и близкий к нему в ту пору Тургенев, имел для последнего важное принципиальное значение. В это время (в начале февраля 1860 г.) Тургенев напечатал свой третий роман — «Накануне», где, как он отметил в письме к И. С. Аксакову от 13 (25) ноября 1859 г., «в основание < ...> положена мысль о необходимости сознательно-героических натур < ...> для того, чтобы дело подвинулось вперед», т. е. необходимость общественных деятелей нового типа, отличного от Рудина и других «лишних людей». Месяцем раньше появилась в «Современнике» (1860, № 1) статья Тургенева «Гамлет и Дон-Кихот», тесно связанная с концепцией «Накануне»; в 3-м (мартовском) номере «Современника» 1860 г. была опубликована статья Добролюбова «Новая повесть г. Тургенева» («Когда же придет настоящий день?»), где «Рудин и вся его братия», были представлены иронически, как «отличные, благородные, умные, но в сущности бездельные люди», которые «в свое время < ...> видно, очень нужны были» как «пропагандисты — хоть для одной женской души, да пропагандисты», а теперь, с изменением обстоятельств и требований, потеряли всякое значение и всякий интерес. Вскоре, в 6-м (июньском) номере «Современника» появилась и неподписанная рецензия Чернышевского на «Собрание чудес» Н. Готорна (автором ее Тургенев считал также Добролюбова), в которой Рудин рассматривался как неудачная карикатура на исторического деятеля (т. е. Бакунина). В конце того же 1860 г. вышел и IV том Сочинений Тургенева в издании Н. А. Основского, содержавший «Рудина» с концовкой, изображающей смерть главного героя на баррикаде (с. 322). В условиях 1860 года концовка «Рудина» представляла собою ответ на отрицательные суждения о нем революционных демократов — Чернышевского и Добролюбова. Тургенев стремился доказать ею, что Рудин, изображенный в начале романа с резко выраженными чертами Гамлета (в его тургеневском понимании), может стать своего рода Дон-Кихотом, способным на героический, хотя и бесцельный поступок. Его смерть на баррикаде не делала его последовательным и

активным революционером и не могла иметь никакой реальной пользы (это подчеркивается его появлением на баррикаде, уже разбитой и оставленной ее защитниками, и упоминанием про «кривую и тупую саблю», которой он вооружен), но придавала новый смысл и законченность всей его жизни, вводила его в ряд «этих смешных Дон-Кихотов», без которых «не подвигалось бы вперед человечество» («Гамлет и Дон-Кихот». — *Совр,* 1860, № 1, с. 255). Тем самым утверждалось положительное историческое значение «русских людей культурного слоя» типа Рудина, даже при том условии, что, в силу исторических обстоятельств, они не могли стать реальными общественно полезными деятелями (см.: *Шаталов* С. Финал и развязка «Рудина». — Уч. зап. Арзамасского пед. ин-та, 1962, вып. 4. Вопросы литературоведения, т. V, с. 97 — 109)[103]. О сближении Рудина с Дон-Кихотом не только в концовке, но и в тексте романа см.: *Габель* М. О. Творческая история романа «Рудин». — *Лит Насл,* т. 76, с. 53–54, а также: *Баевский* В. С. «Рудин» И. С. Тургенева. Три этюда о главном герое. — Уч. зап. Новозыбковского гос. пед. ин-та, фи-лол. науки, Смоленск, 1968. Т. VII, с. 84.

Появление «Рудина» в первых двух номерах «Современника» 1856 г. привлекло к себе сразу внимание читателей и печати[104]. Об этом писал А. Н. Майков в апреле 1856 г. в письме к А. Ф. Писемскому: «У нас здесь нынешнюю зиму имел большой успех „Рудин“ Тургенева, возбудивший много толков». Далее Майков выражал свое отношение к роману: «Мне он ужасно нравится; много напоминает из собственного, что прочел в жизни (т. е. в Книге жизни), и дух примирения приятно действует на душу, равно как предпочтение, отданное сердечной натуре перед головною. Но как непременно нужно находить недостатки, то, по-моему, один главный — на этот сюжет можно бы написать роман, а написана повесть». (Публ. И. Г. Ямпольского. — В кн.: Ежегодник рукописного отдела Пушкинского Дома на 1975 г. Л., 1977, с. 90.) «Московские ведомости» от 24 января (№ 10) в обзоре январских книжек журналов отметили в «Современнике» «между прочим, первую часть новой повести г. Тургенева»; затем, в № 32 от 15 марта в «Литературных заметках», среди «замечательных произведений по части так называемой изящной словесности», помещенных в первых номерах «Современника», та же газета отвела «первое место бесспорно < ...> превосходной повести г. Тургенева „Рудин“», в которой «некоторые характеры и положения < ...> и блестящая отделка обличают перо мастера».

Более развернутый отзыв о «Рудине» дали «С.-Петербургские ведомости» (1856, №,52, 6 марта) в статье Вл. Зотова «Русская литература». Передавая его содержание, рецензент счел Пигасова «едва ли не самым рельефным лицом повести»; герой же ее, Рудин, «с первого появления своего ставит читателя в недоумение». Следуя рассказам Лежнева, а еще более отзывам Пигасова, рецензент отмечает все отрицательные черты в характере Рудина и особенно то, что он «больше ничего, как говорун», прикрывающий громкой фразой свои неблаговидные поступки, — он «занял почти у всех у них деньги и никому не отдал», чем показал себя хуже «необразованного Хлестакова».

Несравненно глубже, чем этот иронический отзыв, показывающий полное непонимание замысла Тургенева, были замечания критиков демократического лагеря — Некрасова и Чернышевского. Некрасов, тотчас по напечатании второй части «Рудина» в февральском номере «Современника», в письме к Боткину от 7 (19) февраля 1856 г. выразил желание писать о «Рудине», замечая при этом: «…ей-богу, это очень хорошо < ...> И эпилог[105] хорош и верен, только сух несколько… Но по мысли верен < ...> Противоречия нет. Почему же такая рефлектирующая голова не могла наконец попробовать действовать?..» *(Некрасов,* т. X, с. 263–264).

Уже в «Заметках о журналах за декабрь 1855 и январь 1856 года» Некрасов, имея в виду «Рудина» и «Севастополь в августе» Л. Толстого, писал от лица редакции журнала: «…повесть г. Тургенева и повесть графа Толстого мы почитаем самыми живыми литературными явлениями настоящего времени» (*Совр,* 1856, № 2, отд. V, с. 205). В «Заметках о журналах» за февраль 1856 года *(Совр,* № 3, с. 78–95) Некрасов дал развернутый отзыв о «Рудине». Он поставил его «по глубине и живости содержания, им охватываемого, по силе и по самому характеру впечатления, им производимого, очень высоко», несмотря на недостатки в «художественной выдержанности целого», неотчетливость и противоречивость в характере героя. «Существенное значение» повести издатель «Современника» увидел в ее идее «изобразить тип некоторых людей, стоявших еще недавно в главе умственного и жизненного движения»; «…эти люди имели большое значение, оставили по себе глубокие и плодотворные следы. Их нельзя не уважать, несмотря на все их смешные или слабые стороны». «Эту отрицательную сторону полно и прекрасно изобразил г. Тургенев. Не столь ясно и полно выставлена им положительная сторона в типе Рудиных» — отсюда и противоречивость и неясность в его

изображении. «Тем не менее он живой является нам, и появление этой личности, могучей при всех слабостях, увлекательной при всех своих недостатках, производит на читателя впечатление чрезвычайно сильное и плодотворное» (с. 94–95). Таким образом, решая вопрос об идейном наследстве 1830 — 1840-х годов, Некрасов признал «лишних людей» предшественниками новых передовых деятелей, идущих им на смену[106].

Мнение Некрасова было не только его личным — оно отражало точку зрения на «Рудина» редакции «Современника», в частности Чернышевского, который встретил первый роман Тургенева положительно. Еще в феврале 1856 г., до появления журнальных рецензий, Чернышевский начал работу над статьей-памфлетом под названием «Разговор отчасти литературного, а более не литературного содержания», в которой предполагал дать отпор критикам эстетического лагеря и тем самым оградить Тургенева от их воздействия (об этом см.: *Габель* М. О. «Рудин». Из истории борьбы вокруг романа (Чернышевский и Тургенев). — В кн.: *Т сб,* вып. 3, с. 77–83). Сочувственный отзыв о романе содержался и в пятой статье «Очерков гоголевского периода русской литературы», посвященной членам кружков 1830-х годов. Чернышевский в ней писал: «…кто хочет перенестись на несколько минут в их благородное общество, пусть перечитает в „Рудине“ рассказ Лежнева о временах его молодости и удивительный эпилог повести г. Тургенева» *(Совр,* 1856, № 7, отд. II, с. 24). В рецензии на «Стихотворения Н. Огарева. М., 1856» *(Совр,* 1856, № 9, отд. II, с. 1–9) Чернышевский, говоря о людях молодого поколения, отмечает, что «если они могут теперь сделать шаг вперед, то благодаря тому только, что дорога проложена и очищена для них борьбою их предшественников, и больше, нежели кто-нибудь, почтут деятельность своих учителей». Наконец, в «Заметках о журналах» за январь 1857 г. *(Совр,* 1857, № 2, с. 360–362) Чернышевский выступил в защиту Тургенева и его «Рудина» от нападок С. С. Дудышкина, критиковавшего «лишних людей» с точки зрения буржуазного идеала «честного труженика» (см. вводную статью к примечаниям).

В статье «„Повести и рассказы“ И. С. Тургенева» Дудышкин назвал Рудина «головным энтузиастом», указав при этом, что он «не проныра < ...> и если живет на чужой счет, то делает это, как ребенок; он должен умереть в нищете и бедности; он не сделает сам ничего, потому что делать дело не его призвание, потому что в нем натуры, крови нет; несчастье Рудина состоит в том, что он не знает России»

(Отеч Зап, 1857, № 1, отд. II, с. 21).

Дудышкин считал, что для людей типа Рудина должна наступить «другая пора: пора деятельности, труда», но это станет возможным только в том случае, если они поймут, что «жизнь не шутка и не забава, а тяжелый труд», что они призваны исполнять долг, а «не любимые мечтания, как бы возвышенны они ни были» (там же, с. 25). Критик, основываясь на выводах, к которым пришел, по его мнению, сам Тургенев в повести «Фауст», выразил надежду, что Тургенев в своих новых произведениях изобразит уже героев другого типа, которыми будет руководить не «страсть», а «чувство долга».

Критик «Библиотеки для чтения» А. И. Рыжов высказал точку зрения на Рудина, близкую к основным положениям статьи Дудышкина. Он увидел в «Рудине» новое доказательство той мысли, что Тургенев в своем творчество идет от изображения «нравственно больных недугом века личностей» к положительному воспроизведению действительности. «Последняя повесть г. Тургенева „Рудин“, первую часть которой мы прочли с особенным интересом, — писал критик, — как бы замыкает уже этот приуготовительный анализ над современным человеком. < ...> Еще немного, и, кажется, болезненная мысль автора перейдет к положительному творчеству, идеалы его, добытые тяжелым размышлением, выйдут на свет с избытком той теплоты, которая составляет отличительное достоинство таланта г. Тургенева…» *(Б-ка Чт,* 1856, № 2, Журналистика, с. 71).

В обзорной статье, посвященной выходу в свет «Повестей и рассказов» (1856), А. И. Рыжов повторил свои суждения о «Рудине» (Сын отечества, 1857, № 6, 10 февраля, с 137).

Представитель «эстетической критики» А. В. Дружинин, приступая к разбору «Повестей и рассказов» Тургенева, заверил читателей, что он будет касаться только художественной стороны произведений, ибо, как он утверждал, «мир поэзии не имеет ничего общего с действительным миром». Между тем, по меткому замечанию рецензента «Санкт-Петербургских ведомостей» (1857, № 121, 6 июня), Дружинин в своей статье занимался главным образом анализом *идей* и в соответствии с этим пришел к выводу, что произведения Тургенева «суть глубокие этюды над современным человеком». Дав общую высокую оценку «Рудина», Дружинин подробно остановился на характеристике образа главного героя. С его точки зрения, «Рудин есть дитя своего времени, своего края и своей переходной эпохи» *(Б-ка Чт,* 1857, № 5, Критика, с. 37). Анализируя историческое значение Рудиных, Дружинин не отрицал, что они «были не бесполезны

обществу в свое время», но теперь они не понимают потребности нового времени. Рудин, — писал критик, — «пламенно восприняв из просвещения то, что кажется ему светлым и плодотворным < ...> исполняет лишь одну вступительную часть своей задачи. Сама задача заключается в жизни, в посильном и непреложном примирении с жизнью, в неотступном и благотворном влиянии на общество, среди которого он родился» (там же, с. 39).

Как и Дудышкин, Дружинин видел недостаток тургеневских «лишних людей» и, в частности, Рудина в том, что он «всю жизнь свою не мог возвыситься до понимания *дела,* до возможной и необходимой гармонии с средой, его окружающей» (там же, с. 37–38).

Первый роман Тургенева был встречен с большим сочувствием и в славянофильских кругах.

К. Аксаков в «Обозрении современной литературы» *(Рус беседа,* 1857, № 1) писал, что «„Рудин“ — едва ли не самое обработанное и глубоко задуманное сочинение г. Тургенева». Образ Рудина, при всех его недостатках, возбудил в авторе «Обзора» «сочувствие». Он характеризовал его как человека «замечательного», «с умом сильным, интересом высоким», но при этом путающегося в жизни «вследствие желания строить ее отвлеченно, вследствие попытки всё определять, объяснять, возводить в теорию» (там же, с. 22).

Полемизируя с Дудышкиным и другими критиками, призывавшими к «примирению с действительностью», Чернышевский в «Заметках о журналах» за январь 1857 г. писал о превратном истолковании критиком той филиации типов «лишних людей» от Онегина до Бельтова, которую наметил еще Белинский, и ее продолжения до Рудина, установленного им самим, Чернышевским (см. выше). Требование Дудышкина, к которому присоединились А. И. Рыжов и Дружинин, — чтобы литературные герои были изображены в гармонии с обществом и с обстановкой, — Чернышевский высмеивает: «гармонировать с обстановкой» — означает умение всем угождать и никому не противоречить; «трудиться» — в понимании Дудышкина — «значит быть расторопным чиновником, распорядительным помещиком», т. е. верным слугой существующего режима (о последнем, по цензурным условиям, Чернышевский мог говорить лишь намеками). Между тем именно в отсутствии «гармонии с обстановкой» заключается достоинство литературных героев, начиная с героев Гомера и Шекспира. «Лишние люди», в том числе и Рудин, не являются для Тургенева идеалом, но и Тургенев, и Чернышевский смотрели на них исторически (см.: *Маркозова* Д. С. Общественно-

литературная борьба середины 1850-х годов XIX в. и Тургенев, — Труды Сталинирского гос. пед. ин-та, VI, 1958, с. 275–294; *Егоров* Б. Ф. Очерки по истории русской литературной критики. Л., 1973, с. 112–120).

Высказанный Чернышевским в 1856–1857 гг. взгляд на Рудина и других «лишних людей» как на предшественников нового поколения, проложивших ему дорогу, стал существенно меняться в следующие годы, с углублением разногласий между либерально-дворянской и революционно-демократической общественно-литературными группами, и эта перемена стала особенно ощутима с приходом в «Современник» Добролюбова и усилением его влияния.

Основными вехами переосмысления революционно-демократической критикой проблемы «лишних людей» и, в частности, первого романа Тургенева и образа его героя явились: статья Чернышевского «Русский человек на rendez-vous» (по поводу «Аси». — Атеней, 1858, ч. III, май — июнь, с. 65–89); статьи Добролюбова — «Что такое обломовщина» (*Совр,* 1859, № 5, отд. III, с. 59–98) и «Когда же придет настоящий день?» (напечатана под заглавием «Новая повесть г. Тургенева» в *Совр,* 1860, № 3, отд. III, с. 31–72); наконец, упоминавшаяся выше статья Чернышевского, поводом для которой послужила книга Н. Готорна «Собрание чудес» *(Совр,* 1860, № 6, отд. III, с. 230–245), — статья, явившаяся, в свою очередь, основанием для полного разрыва Тургенева с «Современником».

За эти годы сам Тургенев, убежденный в том, что положительное и прогрессивное значение деятелей, подобных Рудину, принадлежит прошлому, дал сначала иную разновидность этого типа в лице Лаврецкого («Дворянское гнездо») и, показав в нем окончательную исчерпанность людей 1840-х годов, обратился в «Накануне» к герою иного типа — активному и целеустремленному деятелю, Инсарову, а тотчас после него создал и образ нового героя, взяв его в русской разночинно-демократической среде, — образ Базарова, призванного сменить всех прежних, ушедших с исторической сцены героев рудинского типа.

Да вы вот с Ласунской всё знаетесь — желал бы, я знать? — Д. М. Ласунская поет «с голоса» Гоголя, который в «Выбранных местах из переписки с друзьями» (1847) выступал против сельских школ (гл. XXII — см.: *Гоголь,* т. VIII, с. 325), против «человеколюбивых заведений, странноприимных домов и приютов» (см. гл. XXXII, там же, с. 411, 412) и требовал оказывать личную помощь «бедным и

страждущим, заниматься личной благотворительностью» (см. гл. II, III, XXIV). Многие из указанных глав обращены к А. О. Смирновой. В запрещенной цензурой в 1846 г. XXI главе «Что такое губернаторша?», адресованной той же А. О. Смирновой, Гоголь особенно широко излагает свои воззрения на личную благотворительность и воспитательное значение нравственного примера. Реальным прототипом Д. М. Ласунской и является Александра Осиповна Смирнова, рожд. Россет (1809–1882), в молодости фрейлина царского двора, приятельница Пушкина, Вяземского, Жуковского, Гоголя; автор воспоминаний (см.: *Смирнова* А. О. Записки. М.: Федерация, 1929; Автобиография. М.: Мир, 1931; характеристику личности А. О. Смирновой см. в биографическом очерке Н. Александрова «А. О. Смирнова. Об ее жизни и характере». — «Историко-литературный сборник», посвященный В. И. Срезневскому. Л., 1924, с. 308). Тургенев также был с нею знаком. А. О. Смирнова, по словам В. П. Мещерского, хлопотала в 1852 г. об освобождении Тургенева из-под ареста, вызванного опубликованием в «Московских ведомостях» письма о смерти Гоголя. Однако уже в это время личной симпатии между ними не было (см.: *Мещерский* В. П. Мои воспоминания. СПб., 1912. Ч. III, с. 129). Тургенев отрицательно относился к А. О. Смирновой, особенно к ее взглядам, сложившимся в 1840 — 1850-е годы, влияние которых он усматривал на втором томе «Мертвых душ» Гоголя. 2 (14) апреля 1853 г. он писал П. В. Анненкову: «Не нравится мне также Улинька: ложью (виноват!) — ложью несет от нее — той особенно неприятной ложью, которая с какой-то небрежной естественностью становится перед Вами в виде самой настоящей истины, — я имел случай изучить ее в лице А. О. Смирновой, с которой Улинька, вероятно, списана». В другом письме к П. В. Анненкову, от 6 (18) октября 1853 г., Тургенев, осуждая положительные образы второго тома «Мертвых душ» (например, откупщика Муразова) и написанную в дидактических тонах пятую главу, писал: «Если всё остальное было так написано — уж не вследствие ли возмутившегося художнического чувства сжег Гоголь свой роман? А должно полагать, что этой Смирновщины (мне при чтении беспрестанно мерещилась Ал<ександра> Ос<иповна>) было напущено вдоволь».

Свое ироническое отношение к А. О. Смирновой Тургенев выразил позднее в «Отцах и детях» устами Базарова, который говорит по поводу пребывания своего у Одинцовой: «С тех пор как я здесь — я препакостно себя чувствую, точно начитался писем Гоголя к

калужской губернаторше» (т. е. «Выбранных мест из переписки с друзьями»). О том, что А. О. Смирнова — прототип Д. М. Ласунской, есть указание в плане главы II «Рудина», хотя Тургенев и не воспроизводит в романе ее точных биографических данных. Тургенев придал Ласунской черты знатной «губернаторши», Смирновой, какой он ее знал в 1840 — 1850-х годах. Описание внешности Смирновой имеется в главе II романа, где говорится: «…неужели эта худенькая, желтенькая, востроносая и еще нестарая женщина была когда-то красавицей? Неужели это она, та самая, о которой бряцали лиры?» Действительно, Смирнова-Россет была в молодости красавицей, о которой «бряцали лиры» Пушкина, Вяземского, Жуковского, Лермонтова и других поэтов. О том, что прототипом для Ласунской послужила Смирнова, говорит и то место главы IV, где она рассказывает Рудину о своих знакомствах с писателями и великими людьми.

…проживающий в Одессе благопотребный старец Роксолан Медиарович Ксандрыка… — Тургенев имеет здесь в виду Александра Скарлатовича Стурдзу (1791–1854), реакционера, «холопа венчанного солдата» (Александра I) «Стурдзу библического», «Стурдзу монархического», как называл его в эпиграммах 1819 г. Пушкин. А. С. Стурдза служил в России в Министерстве иностранных дел и был автором многочисленных книг религиозного и политического содержания (см. подробнее о нем в заметке В. Данилова «Тургеневский „благопотребный старец“ Ксандрыка». — *Рус арх,* 1915, № 11–12, с. 319–323). В «Москвитянине» была перепечатана из «Одесского вестника» статья Диктиадиса «Краткое сведение о жизни и трудах А. С. Стурдзы» *(Москв,* 1855, № 4, кн. 2, с. 45–65), написанная в сентиментально-архаическом стиле: А. С. Стурдза величался здесь «старцем», «трудолюбцем»; в молодости, по словам автора, он был «благовоспитанным юношей»; статья изобилует выражениями вроде: «благоприлично привести один пример тогдашнего его мышления», «благомыслящие люди», «благовременность его приготовлений». Пародируя этот слог, Тургенев иронически называет Ксандрыку «благопотребным старцем». Включение в текст романа нескольких строк о Ксандрыке-Стурдзе позволило Тургеневу задеть враждебный «Современнику» журнал М. П. Погодина «Москвитянин», где вспомнили о реакционном деятеле прошлого и укоряли петербургские журналы, т. е. «Современник», в его забвении; кроме того, упоминание о Ксандрыке внесло важную деталь в характеристику Дарьи Михайловны Ласунской, познания которой в русском языке ценил этот

«старец», владевший им весьма посредственно.

...новый этюд Тальберга... — Тальберг Зигизмунд (1812–1871), австрийский пианист и композитор, большой виртуоз, представитель салонного направления в музыке. Тальберг с успехом концертировал во многих городах Европы, считался соперником Листа. Его исполнение отличалось блеском внешней отделки и виртуозностью техники. В 1839 г. Тальберг гастролировал в России, встретив восторженный прием. В светских кругах он вошел в моду. О степени его популярности свидетельствует рецензия в «Северной пчеле» (№ 44, 25 февраля 1839 г.), в которой отмечались «грациозность» и виртуозность в преодолении трудностей при исполнении изобретенных самим композитором «фантастических пассажей».

Вы материалист: уже сейчас бог знает что думаете. — Пандалевский употребляет термин «материалист» в бытовом значении, характерном для буржуазно-дворянской речи того времени, как наименование человека с узко практическим и низменным отношением к действительности, отрицающим все возвышенное. См. несколькими строками ниже: *«Я повторяю: вы материалист и больше ничего. Вы непременно желаете во всем видеть одну прозаическую сторону...»*

Растрелли — Растрелли Варфоломей Варфоломеевич (Франческо Бартоломео, 1700–1771) — итальянец по происхождению, великий русский зодчий, крупнейший представитель архитектуры русского барокко середины XVIII века, строитель многих дворцов.

...есть три разряда эгоистов: эгоисты, которые сами живут и жить дают другим; эгоисты, которые сами живут и не дают жить другим; наконец, эгоисты, которые и сами не живут, и другим не дают... — Первый разряд эгоистов упомянут Тургеневым и в комедии «Где тонко, там и рвется». Горский относит к этой категории помещицу Анну Васильевну Либанову (см. наст. изд., т. 2); формула «живут и жить дают другим» восходит, вероятно, к оде Державина «На рождение царицы Гремиславы» (1798), где сказано: «Живи и жить давай другим, но не за счет другого».

Ну, ты, батюшка, я вижу, неисправим, хоть брось... — Ласунская цитирует стих из «Горя от ума», несколько его искажая. У Грибоедова: «А ты, мой батюшка, неисцелим, хоть брось» (д. IV, явл. 8; слова Хлёстовой, обращенные к Репетилову).

...я бы сейчас сделался малороссийским поэтом — малороссийский язык? — Эта тирада Пигасова — сгусток многочисленных высказываний реакционной прессы 1830 — 40-х годов против

украинской литературы и языка. Так, в связи с выходом в свет в 1834 г. «Малороссийских повестей» Грицька Основьяненко (псевдоним Г. Ф. Квитки-Основьяненко) рецензент «Северной пчелы» (1834, № 248, 1 ноября, с. 989–990) писал: «…усилия воскресить малороссийский язык и создать малороссийскую литературу — усилия несбыточные и почти бесполезные < ...> в высших сословиях нет уже малороссийского духа; старина, прежний язык, прежние обычаи сохранились только в низшем классе народа, всё прочее обрусело. К чему создавать литературу в таком народе, который утратил свою особенность, свою частную физиономию?». «Северную пчелу» поддерживали «Библиотека для чтения» Сенковского (1841, т. XLVII, отд. VI, с. 6) и «Сын отечества» Греча (1838, № 10, отд. IV, с. 144–148). К моменту создания «Рудина» сама жизнь и главное — деятельность такого поэта, как Т. Г. Шевченко, доказали, что украинская литература и украинский язык существуют как равноправные с русской литературой и русским языком. Тургенев вскоре после «Рудина» выступил как пропагандист украинской литературы (см. «Украинские народные рассказы» Марка Вовчка. СПб., 1859. Перевод И. С. Тургенева с его же предисловием). Выступать подобно Пигасову могли в 50-х годах только реакционные и невежественные люди. Тургенев заставляет главного противника Рудина повторять то, что провозглашали в 30 — 40-х годах реакционные журналы.

Однако современник Тургенева украинский писатель П. А. Кулиш ошибочно воспринял монолог Пигасова как выражение мнения самого писателя и в письме к С. Т. Аксакову от 21 августа 1856 г. поставил это в вину Тургеневу (см.: *Гудзий* М. К. Невидані листи П. О. Куліша до Аксакових. — Радянське Літературознавство, 1957., № 19, с. 86). С опровержением такого толкования текста «Рудина» выступил позднее украинский историк, этнограф и публицист М. П. Драгоманов, который, напротив, приводил факты, свидетельствовавшие о «найтеплішої симпатії» Тургенева к украинской культуре и литературе (см.: *Бернштейн* М. Д. Українська літературна критика 50 — 70-х років XIX ст. Київ, 1959, с. 246).

…казачино Наливайко… — Наливайко Северин (ум. 1597 г.) — предводитель казацко-крестьянского восстания на Украине в 1594–1596 гг. против польских и украинских магнатов, национальный герой, в честь которого сложены народные думы и песни. К. Ф. Рылеев начал работу над поэмой «Наливайко» и написал несколько отрывков (1824–1825).

Я читала… историю крестовых походов… — Возможно, что

Тургенев имеет в виду книгу Michaud «Histoire des croisades», 1812–1817, переизданную затем несколько раз; 6-е изд. — 1840 г.; русский ее перевод — И. Бутовского — вышел в 1841 г.

«Юпитер, ты сердишься: стало быть, ты виноват». — Возможно, что это выражение восходит к Лукиану, который приводит обращение Прометея к Зевсу (Юпитеру): «Ты берешься за молнию вместо ответа, — значит, ты не прав». (См.: *Ашукин* Н. С., *Ашукина* М. Г. Крылатые слова. Изд. 2. М., 1960, с. 691–692.) Рудин дословно переводит французскую поговорку: «Jupiter, tu te fâches — ça prouve que tu as tort».

Читали ли вы эту книгу? C'est de Tocqueville… — Токвиль Алексис (1805–1859) — французский политический деятель, публицист и историк, автор книги «О демократии в Америке» (1835–1840), а также многих политических брошюр, об одной из которых, вероятно, и идет речь.

…такая фраза всё равно, что большой шлем в ералаши. — Ералаш — вид старинной карточной игры, ныне забытой, похожей на вист. Тургенев, вводя это слово в речь Пигасова, употребляет устаревшую форму женского рода. «Шлем, — по определению М. Шевляковского, автора справочника о „Коммерческих играх“ (СПб., III изд., 1898, с. 226), — выражение, употребляемое в винте и висте. Одна из сторон, взявшая все тринадцать взяток, делает своим противникам большой шлем; сторона, взявшая двенадцать взяток, делает противникам малый шлем». О степени распространенности карточных терминов в произведениях Тургенева и литературе XIX века см. в заметке И. А. Битюговой: *Т сб,* вып. 3, с. 183–185.

Знаете ли вы «Erlkönig» Шуберта?.. — О популярности Шуберта в кругу русских идеалистов 1830 — 1840-х годов см. выше, с. 411. Особенной любовью среди них пользовалась баллада «Лесной царь», написанная на слова Гёте. Так, Н. В. Станкевич писал Я. М. Неверову 5 февраля 1835 г.: «… я очень рад и мне досадно, что ты первый написал мне о Шуберте. Как мы услышали его в одно время! Я нашел эту пьесу нечаянно < ...> Я попробовал — и чуть не сошел с ума! Иначе, кажется, нельзя было выразить это фантастическое, прекрасное чувство, которое охватывает душу, как сам лесной царь младенца, при чтении этой баллады. Уже начало переносит тебя в этот темный таинственный мир, мчит тебя durch Nacht und Wind <сквозь ночь и ветер>. Душа моя, как я рад, что мы сошлись в этом. И как нарочно в одно время!» *(Станкевич, Переписка,* с. 310).

Помню я одну скандинавскую легенду… — Тургенев имеет в виду

не «скандинавскую», а англосаксонскую легенду, которую привел проповедник и историк Беда Достопочтенный (673–735) в своей «Церковной истории англов» («Historia ecclesiastica Gentis anglorum»). Беда приписывает эту легенду одному из англосаксонских вождей VII века, предлагавшему королю Эдвину принять религию монахов, пришедших из Рима (см.: *Алексеев* М. П. Христианско-монастырская литература раннего средневековья. — В кн.: История английской литературы, вып. 1. М.; Л., 1943. Т. I, с. 30–31). В статье «Генеалогия романа „Рудин“» (в сб.: Памяти П. Н. Сакулина. М., 1931, с. 23) Н. Л. Бродский замечает, что Тургенев, «знакомый с трудом С. М. Соловьева < ...> заставил Рудина в салоне Ласунской рассказать скандинавскую легенду, заимствовав ее из I тома „Истории России с древнейших времен“» (1854, изд. 2-е, т. I). Однако и С. М. Соловьев говорит не о скандинавской, а об англосаксонской легенде и ссылается на «Историю» Беды Достопочтенного. Легенда, вероятно, заимствована С. М. Соловьевым из книги французского историка О. Тьерри (Augustin Thierry, 1795–1856) «Histoire de la conquête de l’Angleterre par les Normands» (1825), неоднократно переиздававшейся на протяжении 20-х — 50-х годов (ср. изложение легенды у С. М. Соловьева и в «Histoire…» Aug. Thierry. Paris, 1846, p. 81). Книга Тьерри, в брюссельском издании 1835 г., сохранилась в библиотеке Тургенева (Музей Тургенева в Орле).

...оделась просто, но изящно, à la madame Récamier! — Жюли Рекамье (1777–1849) — хозяйка известного литературно-политического салона в Париже, создала определенную, названную ее именем моду в одежде. Широкой известностью пользуется ее портрет работы Давида, на котором она изображена в белом простом «греческом» платье с ожерельем на шее.

Canning — Каннинг Джордж (1770–1827) — английский государственный деятель, консерватор.

...романов Дюма-фиса и комп. — Дюма-сын, Александр (A. Dumas, 1824–1895) — французский романист и драматург. В печати выступил впервые в 1847 г. со сборником стихов, за которым последовали повести и романы. Известность пришла к нему после появления драмы «Дама с камелиями» (1852), переделанной из романа того же названия. Тургенев здесь хронологически не точен; когда происходит действие романа, Дюма-сын не был еще известным писателем, и француз-книгопродавец не мог присылать Ласунской его романы.

Камбиз — персидский царь (529–523 / 522 гг. до н. э.), совершивший завоевательный поход в Египет. Его жизнь и трагическая смерть описаны в «Истории» Геродота.

— *Поэзия* — язык *богов.* — В этой формуле, как и в ряде других высказываний Рудина о взаимоотношениях человека и природы, человека и искусства, поэзии и философии, поэзии и музыки, отражается влияние на тургеневского героя немецкой романтической эстетики Гофмана, Новалиса, Беттины Арним. Рудин не в силах преодолеть ее созерцательность, хотя и делает в конце романа попытку действенного воплощения своих взглядов (см. об этом: *Драчинская* Г. М. Отражение идей немецкого романтизма в романе И. С. Тургенева «Рудин». — В сб.: Проблемы романтизма и реализма в зарубежных литературах XVIII–XX веков. Кишинев, 1972, с. 111–119).

...а где красота и жизнь, там и поэзия. — Несколько измененная цитата из Белинского: «Где жизнь, там и поэзия» *(Белинский,* т. 5, с. 178).

«О честности высокой говорит...» — Цитата из монолога Репетилова в «Горе от ума» (действие IV, явл. 4).

Господа печоринской школы... — Имеются в виду многочисленные подражатели Печорина, появившиеся в жизни и литературе после выхода в свет «Героя нашего времени» (1839–1840). См.: *Дурылин* С. «Герой нашего времени» Лермонтова. М., 1940 (глава «Сверстники и

потомки Печорина»); *Мануйлов* В. А. Роман М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Комментарий. Л., 1975; *Данилов* В. В. Комментарии к роману И. С. Тургенева «Рудин». М., 1918, с. 20–22.

...Рудин начнет читать ей гётевского «Фауста», Гофмана, или «Письма» Беттины, или Новалиса... — Рудин вводит Наталью «в германскую поэзию, в германский философский мир». Названные Тургеневым писатели входили, как особо значительные и необходимые, в круг чтения передового интеллигента 1830 — 40-х годов. Для него, как отметил Герцен в «Былом и думах», «знание Гёте, особенно второй части „Фауста“ < ...> было столь же обязательно, как иметь платье» *(Герцен,* т. IX, с. 20). О Гофмане Н. В. Станкевич писал М. А. Бакунину 8 (20) ноября 1835 г.: «Я думаю, ты поймешь хорошо фантастическое Гофмана — это не какая-нибудь уродливость, не фарсы, не странности < ...> Его фантастическое естественно — оно кажется каким-то давнишним сном, а там, где он говорит о музыке, об искусстве вообще — не оторвешься от него!» *(Станкевич, Переписка,* с. 583). См. также: *Герцен,* т. I, с. 62–80. Об *Арним Беттине* (см. ниже, с. 539) молодой Герцен писал: «Вспомните Беттину Брентано, о которой я не могу думать без восторга» *(Герцен,* т. I, с. 324). М. Бакунин переводил «Переписку» Беттины на русский язык. Тургенев был знаком с Беттиной, встречался с нею, когда учился в Берлинском университете (см. письмо Тургенева к Беттине Арним от конца 1840 или начала 1841 г. и примечания к нему, и наст. том <Воспоминания о Н. В. Станкевиче>, с. 361). *Новалис* (псевдоним Фридриха Филиппа фон Гарденберга, 1772–1801) — немецкий писатель, представитель реакционного романтизма. Молодой Герцен называл «прелестными сочинениями, наряду с Жан-Полем и Тиком, произведения „наивного Новалиса“» *(Герцен,* т. I, с. 70).

...Рудин — Тартюф какой-то. — Тартюф — герой одноименной пьесы Мольера, чье имя стало нарицательным как обозначение ханжи, лицемера.

Кружок Покорского. — По словам Тургенева (см. с. 360), прототипом Покорского был Станкевич Николай Владимирович (1813–1840), хотя в его образе отразились и некоторые черты Белинского (см. выше, с. 479–480).

...он Пылал полуночной лампадой Перед святынею добра... Так выразился о нем один полусумасшедший и милейший поэт нашего кружка (он же — *«взъерошенный поэт Субботин»* — см. с. 258). — Имеется в виду Красов Василий Иванович (1810–1855), талантливый поэт, друг Станкевича и Белинского, который, по словам

Чернышевского, «был едва ли не лучшим из наших второстепенных поэтов в эпоху деятельности Кольцова и Лермонтова» *(Чернышевский,* т. III, с. 200). Приписанные ему Тургеневым строки среди его стихотворений не найдены. (Наиболее полное их издание: *Красов* В. И. Стихотворения / Под ред. В. В. Гура. Вологда, 1959.) По-видимому, эти стихи написаны самим Тургеневым, который объединил здесь встречающиеся у Пушкина и Лермонтова выражения. В «Разговоре книгопродавца с поэтом» Пушкина (строки 154–155) сказано: «Она» —

Одна бы в сердце пламенела
Лампадой чистою любви!

В стихотворении Пушкина «Красавица» есть слова: «Перед святыней красоты». Лермонтов тоже воспользовался пушкинским образом, сказав о Демоне:

И вновь постигнул он святыню
Любви, добра и красоты!..

Из этих поэтических выражений Тургенев и составил приписанные Субботину стихи, потому что не мог не чувствовать стилистической близости лирики Красова к стихам Пушкина и Лермонтова.

...сорокалетний бурш, сын немецкого пастора, Шеллер... — Кетчер Николай Христофорович (1809–1886), переводчик Шекспира, Шиллера, Гофмана, приятель Герцена и Тургенева.

...веселый Щитов, Аристофан наших сходок... — Клюшников Иван Петрович (1811–1895), поэт, писавший под псевдонимом Θ (фита); учитель Тургенева, о котором последний тепло вспоминал (см. письмо Я. П. Полонскому от 24 декабря 1856 (5 января 1857 г.) и примеч. к нему).

Вы, может, думаете, я стихов не писал? Писал-с, и даже целую драму сочинил, в подражание «Манфреду». — Эти слова Лежнева имеют автобиографическое для Тургенева значение. В 1834 г. юный Тургенев написал драму «Сте́но», в которой, по его собственным словам, выразилось «рабское подражание байроновскому „Манфреду“» (см. наст. изд., т. I, с. 547–550).

...вроде Павла и Виргинии... — Герои широко известного сентиментального романа французского писателя Бернардена де Сен-Пьера (Bernardin de Saint-Pierre; 1737–1814) «Поль и Виржиния» (1787; русск. пер. 1806 и 1812 гг.: «Павел и Виргиния»).

Мне остается теперь тащиться — в тряской телеге... — Фраза,

восходящая к образам стихотворения Пушкина «Телега жизни» (1823); см. подробнее заметку М. П. Алексеева: *Т сб,* вып. 1, с. 244.

...людей, как собак, ложно разделить на куцых и длиннохвостых. — Это, как и последующие рассуждения Пигасова о хвостах, напоминает «Отрывок о хвостах» известного немецкого сатирического писателя Георга Христофора Лихтенберга (1742–1799). Подробнее см. там же, с. 244–245.

...уже давно до вас сказал ла-Рошфуко: будь уверен в себе, другие в тебя поверят. — Ларошфуко Франсуа (1613–1680), французский писатель-моралист, автор широко известного сборника афоризмов «Размышления, или Сентенции и максимы о морали», 1665.

Айбулат — псевдоним поэта 30-х годов XIX века К. М. Розена. Приведенные строки взяты из его стихотворения «Два вопроса» *(Отеч Зап,* 1839, т. V, отд. 3, с. 165–167).

Он сюртук застегивает, словно священный долг исполняет. — В уста Лежнева Тургенев вложил слова о Рудине, которые ранее были им отнесены к одному из персонажей незаконченного рассказа «Русский немец и реформатор», предназначавшегося для «Записок охотника». В своих «Воспоминаниях о Тургеневе» Н. А. Островская сообщает, что Тургенев рассказывал о своем знакомом — Зиновьеве, у которого «всё государственное дело» и которого он «об одном просил: „Сделайте милость, З., не застегивайте при мне сюртука!“ Так он важно пуговицы застегивал, что на нервы действовало» *(Т сб (Пиксанов),* с. 83–84). Зиновьева он и изобразил в вышеназванном рассказе. О П. В. Зиновьеве см.: *Т, ПСС и П, Письма,* указатель.

Ловлас — герой романа английского писателя-сентименталиста Самюэла Ричардсона (1689–1761) «Кларисса Гарлоу» (1747–1748). Слово «ловлас», или «ловелас», стало нарицательным в значении: волокита, соблазнитель.

Лотерея-томбола — выигрышная лотерея. Об источнике этого термина см. в заметке М. П. Алексеева: *Т сб,* вып. 1, с. 245–246.

«Свобода, — говорит он, — друг мой Санчо...» — Не совсем точно воспроизведенная и сокращенная цитата из романа Сервантеса «Хитроумный идальго Дон-Кихот Ламанчский», 1605–1615, т. II, начало главы LVIII.

«Блажен, кто смолоду был молод...» — Цитата из «Евгения Онегина» Пушкина (гл. VIII, строфа X).

...ей казалось, что какие-то темные волны без плеска сомкнулись над ее головой, и она шла ко дну, застывая и немея. — Автоцитата. Тургенев сказал эти — отнесенные к Наталье — слова о себе, под

впечатлением смерти Гоголя, в письме к Е. М. Феоктистову от 26 февраля (9 марта) 1852 г.

Кто чувствовал, того тревожит… — Цитата из «Евгения Онегина» Пушкина (гл. I, строфа XLVI).

Россия без каждого из нас обойтись может — вне народности ни художества, ни истины, ни жизни, ничего нет. — Эти мысли Лежнева идейно весьма близки высказываниям Белинского о космополитизме и народности. Выступая против западников-космополитов, «междоумков», «которые хорошо умеют мыслить по-французски, по-немецки и по-английски, но никак не умеют мыслить по-русски» *(Белинский,* т. 10, с. 18), великий критик писал, что ему «жалки и неприятны < ...> спокойные скептики, абстрактные человеки, беспачпортные бродяги в человечестве» (там же, т. 12, с. 433), что «великий человек всегда национален, как его народ, ибо он потому и велик, что представляет собою свой народ» (там же, т. 10, с. 31).

…картинки, изображающие сцены из «Кавказского пленника» — представлена жизнь известного игрока Жоржа де Жермани… — Тургенев имеет в виду лубочные картинки на темы «Кавказского пленника» Пушкина и популярной в России 1830-х годов французской мелодрамы В. Дюканжа и М. Дино «Тридцать лет, или Жизнь игрока» (1827). Жорж де Жермани — главный ее герой.

«До чего ты, моя молодость, довела меня, домыкала, что уж шагу ступить некуда…» — Цитата из стихотворения А. Кольцова «Перепутье» *(Отеч Зап,* 1840, т. XII, с. 313).

…неужели я ни на что не был годен — не мог же я не чувствовать в себе присутствия сил, не всем людям данных! — Эти слова Рудина напоминают размышления Печорина перед дуэлью: «…зачем я жил? для какой цели я родился?.. А верно она существовала, и верно было мне назначенье высокое, потому что я чувствую в душе моей силы необъятные…» (*Лермонтов* М. Ю. Соч. в 6-ти т. М.; Л., 1957. Т. VI, с. 321).

Gaudeamus igitur! — Старинная студенческая песня с латинским текстом; была популярна среди русского дореволюционного студенчества.

Ты назвал себя Вечным Жидом… — Вечный Жид, или Агасфер — герой древней легенды: когда Иисуса Христа вели на распятие, еврей-ремесленник прогнал его от своего дома, не дав ему отдохнуть, за что и был осужден на вечное скитание. В XVIII–XIX веках эта легенда легла в основу многих литературных произведений Гёте, Жуковского, Шелли, Ламартина, Е. Сю, Беранже, Гамерлинга и др.

...26 июня 1848 года, в Париже... — Последний день выступления парижского пролетариата против буржуазии, начавшегося 23 июня и подавленного генералом Кавеньяком. «Национальные мастерские» были учреждены 25 февраля 1848 г. Временным республиканским правительством, ввиду вызванного революцией промышленного кризиса, для обеспечения каждого рабочего работой. 22 июня буржуазное правительство издало распоряжение об их закрытии, что и послужило толчком к восстанию парижского пролетариата.

Предместье св. Антония — Faubourg Saint-Antoine — центр восстания.

Венсенский стрелок — солдат правительственных войск, прошедший обучение в военно-стрелковой школе в Венсене, предместье Парижа.

Этот «Polonais» был — Дмитрий Рудин. — Рудина называют «поляком», потому что в революции 1848 г. принимали участие поляки-эмигранты, участники польского восстания 1830 г. Польский народ из всех славянских народов был наиболее известен французам и любим за его страдания и свободолюбие. Одним из требований народной демонстрации 15 мая 1848 г. было требование оказать помощь освободительной борьбе польского народа (см.: *Т, ПСС и П, Письма,* т. I, с. 300, 589–590).

Два слова о Грановском

Впервые опубликовано: *Совр,* 1855, № 11, отд. II, с. 83–86, с подписью: Ив. Тургенев (ценз. разр. 31 октября 1855 г.).

Автограф неизвестен.

Печатается по тексту *Т, Соч, 1880,* т. 1, с. 357–361.

Датировано 8 (20) октября 1855 г.

Перепечатывая в 1880 г. «Два слова о Грановском» в томе первом собрания своих сочинений, Тургенев не внес в текст статьи никаких изменений.

Первый отклик Тургенева на смерть Грановского содержится в его письме к Некрасову от 11 (23) октября 1855 г.: «...я теперь хочу только пожать тебе руку в ответ на твое письмо к Боткину — как на сражении товарищ жмет товарищу руку, когда картечь вырывает лучших из рядов. Смерть бьет жестоко и неутомимо — но нечего делать!»

О похоронах Грановского, состоявшихся 7 (19) октября 1855 г. в Москве, Тургенев писал девятью днями позднее С. Т. Аксакову. В этом же письме — от 16 (28) октября 1855 г. — он впервые упоминал о

написанной им статье о Грановском. «Я приехал в Москву к самому дню похорон Грановского, — сообщал Тургенев. — Давно ничего так на меня не подействовало. Потерять этого человека в теперешнюю минуту слишком горько — с этим, вероятно, согласятся все, к какому бы образу мыслей ни принадлежали. Самые похороны были каким-то событием — и трогательным — и возвышенным. <…> Я написал о Гр<ановском> небольшую статью, которая появится в „Современнике“».

Чтобы избежать непредвиденных осложнений в цензуре, которые могли бы повлечь задержку в опубликовании статьи, Тургенев заранее представил ее корректуру на одобрение П. А. Вяземского, бывшего в то время товарищем министра народного просвещения и членом Главного управления цензуры (см.: *Т, ПСС и П, Письма,* т. II, с. 319–320). Одиннадцатая книжка «Современника», в которой напечатаны «Два слова о Грановском» Тургенева, вышла в свет в первых числах ноября ст. ст. 1855 г.

Тургенев познакомился с Грановским в Петербурге в 1835 г., затем общался с ним в Берлине зимою 1839 г. (см. наст. том, с. 327). Письма Тургенева к Грановскому свидетельствуют о глубоком уважении будущего писателя к начинавшему в то время профессорскую деятельность ученому. Тургенев уважал Грановского не только за его обширную эрудицию в области истории и литературы, но и за его убеждения, которые сам разделял. В письме к А. А. Бакунину, отправленном 4 (16) февраля 1843 г. в атмосфере начинавшейся полемики между «славянофилами» (жившими главным образом в Москве) и «западниками» Тургенев писал: «Всем москвичам (исключая Грановского и Елагиных) скажите, что в них ни на грош нет толку». В письмах 50-х годов Тургенев постоянно передавал приветы Грановскому, спрашивал его мнение о своих произведениях (о «Постоялом дворе» и о первой части романа «Два поколения»). С личностью Грановского у Тургенева было связано представление о лучших деятелях эпохи 1840-х годов. В речи, произнесенной 6 марта 1879 г. в Москве, Тургенев взывал к появлению новых Грановских и новых Белинских. Назвав Белинского и Грановского «либералами», Тургенев пояснил, что «когда еще помину не было о политической жизни, слово „либерал“ означало протест против всего темного и притеснительного, означало уважение к науке и образованию, любовь к поэзии и художеству и наконец — пуще всего — означало любовь к народу, который, находясь еще под гнетом крепостного бесправия, нуждался в деятельной помощи своих счастливых сынов». В романе

«Накануне» имя Грановского с большим уважением упомянуто Берсеневым (глава IV). Он говорит Елене: «Какое же может быть лучшее призвание? Подумайте, пойти по следам Тимофея Николаевича… Одна мысль о подобной деятельности наполняет меня радостью и смущением». Статья Тургенева не была единственным некрологом Грановского. В «Отечественных записках» (1855, № 11, отд. II) появились воспоминания о нем его ученика, писателя и профессора П. Н. Кудрявцева; в течение октября и ноября несколько некрологов было напечатано в газетах. По поводу статьи в «Московских ведомостях» (1855, № 122, 11 октября ст. ст.) Тургенев писал С. Т. Аксакову: «Вы, наверное, заметили в „Московских ведомостях“ статью о Грановском, подписанную: Студент ***. Превосходная вещь — желал бы я знать, кто этот студент». Статья, о которой говорил Тургенев, называется «Два слова ученика о наставнике»; автором ее был Н. М. Павлов (включена им в сборник его статей «Наше переходное время». М., 1888, с. 465–467). В «Санкт-Петербургских ведомостях» статья о Грановском была напечатана 19 ноября ст. ст. 1855 г. На страницах тех же «Санкт-Петербургских ведомостей» упомянута была статья Тургенева о Грановском и сказано, что «Два слова о Грановском» «проникнуты теплым чувством и глубоким уважением к покойнику» (1855, № 264, 1 декабря). В «Библиотеке для чтения» некролог Грановского был напечатан в декабрьской книжке журнала. Его автор — Алексей Рыжов.

«Auch die Todten sollen leben». — Стих из последней строфы гимна Шиллера «К Радости» (1785) в журнальном варианте (Талия, 1786, № 2). Впоследствии автор всю эту строфу исключил. См.: Schillers Werke. Hrsg. von H. Kurz. Kritisch durchgesehene Ausgabe mit Beifügung aller Lesarten. Leipzig, o. J., Bd. 1, S. 143. (Сообщено Р. Ю. Данилевским.)

…о Грановском будет написано много… — В ближайшие годы после смерти Т. Н. Грановского ему были посвящены следующие работы: *Соловьев* С. Т. Н. Грановский. — В кн.: Речи, некролог и отчет, произнесенные в торжественном собрании Московского университета. М., 1856; *Кудрявцев* П. Детство и юность Грановского (*Рус Вестн*, 1858, № 11, кн. I); *Станкевич* А. В. Т. Н. Грановский. Биографический очерк. М., 1869. Герцен в «Былом и думах» посвятил Т. Н. Грановскому специальную главу под названием «На могиле друга». Характеризуя общественное и научное значение деятельности Грановского в условиях «тяжелой эпохи», когда «вместо науки преподавали теорию рабства», Герцен писал: «…встречая Грановского

на кафедре, становилось легче на душе. „Не всё еще погибло, если он продолжает свою речь“, — думал каждый и свободнее дышал» *(Герцен,* т. IX, с. 122).

Особое место среди работ, посвященных Грановскому, заняла состоящая из двух частей статья В. В. Григорьева «Т. Н. Грановский до его профессорства в Москве» *(Рус беседа,* 1855, т. III; 1856, Т. IV). Автор этой статьи ставил под сомнение ученые заслуги Т. Н. Грановского и писал, что не находит в его работах «самостоятельности, тем менее оригинальности мысли» *(Рус беседа,* 1856, т. IV. Смесь, с. 57). Статья В. В. Григорьева, напечатанная в славянофильском органе, вызвала резкую отповедь К. Д. Кавелина. Его памфлет под названием «Слуга, современный физиологический очерк» зло высмеивал В. В. Григорьева *(Рус Вестн,* 1857, № 3, кн. 2). Не исключена возможность, что с В. В. Григорьевым полемизировал и Чернышевский в рецензии на первый том сочинений Т. Н. Грановского. В этой рецензии Чернышевский назвал Грановского «одним из первых историков» XIX века, «ученым, который был не ниже знаменитейших европейских историков» *(Чернышевский,* т. III, с. 355). Б. Н. Чичерин считал, что спор о научных заслугах Грановского был одним из проявлений общих разногласий между славянофилами и западниками (см.: Воспоминания Бориса Николаевича Чичерина. Москва сороковых годов. М., 1929, с. 267–269).

...на учениках его... — Учениками Грановского считались, в частности, П. Н. Кудрявцев, С. М. Соловьев, Б. Н. Чичерин, И. К. Бабст и др.

...он был старше меня... — Грановский был старше Тургенева на пять лет (родился 9 (21) марта 1813 г.).

...старинной немецкой легенды... — Очевидно, Тургенев имеет в виду рассказ «Как доктор Фауст путешествовал по звездам», содержащийся в немецкой народной книге о Фаусте, изданной впервые в 1587 г. во Франкфурте-на-Майне под названием: «Historia von D. Johann Fausten, dem weitbeschreyten Zauberer und Schwarzkünstler…» (ср.: *Жирмунский* В. М. Легенда о докторе Фаусте. 2-е изд. М., 1978, с. 62–64).

...собрание стихотворений одного поэта... — Речь идет о сборнике стихотворений В. Г. Бенедиктова, вышедшем в 1835 г. В письме к Л. Н. Толстому от 16 (28) декабря 1856 г. Тургенев писал: «Кстати, знаете ли Вы, что я <…> плакал, обнявшись с Грановским, над книжкою стихов Бенедиктова».

«Ничто человеческое мне не чуждо»... — Пословица, восходящая

к выражению, содержащемуся в комедии римского писателя Теренция (ок. 185–159 до н. э.) «Самоистязатель» (I, 1, 25). Там: «Homo sum: humani nihil a me alienum puto» (Я человек, ничто человеческое не считаю себе чуждым).

...подружился с Н. В. Станкевичем — часть его духа перешла на него. — См. <Воспоминания о Н. В. Станкевиче> и примеч. к ним (наст. том, с. 360 и 537). Об огромном влиянии, которое оказал на Грановского Станкевич, писал впоследствии в «Былом и думах» Герцен (см.: *Герцен,* т. IX, с. 121–122).

Разгадка этой тайны — если не в систему, так в дугу. — В статье-рецензии на первый том сочинений Грановского *(Совр,* 1856, № 6) Чернышевский писал, что задача русских ученых состоит прежде всего в полном усвоении результатов, «которых уже достигла наука», в целях просвещения. Грановский, с точки зрения Чернышевского, «понимал это и служил не личной своей ученой славе, а обществу» *(Чернышевский,* т. III, с. 350). Признавая глубокие и обширные познания Грановского, оригинальность его исторических работ, ставящих русского ученого в один ряд со знаменитейшими европейскими учеными, Чернышевский утверждал, что истинное значение Грановского, как и всякого другого ученого в русском обществе, состояло в посредничестве между наукою и обществом. Чернышевский видел заслугу Грановского в том, что он имел «могущественное влияние на пробуждение у нас сочувствия к высшим человеческим интересам» и «для очень многих людей, которые, отчасти благодаря его влиянию, приобрели право на признательность общества, он был авторитетом добра и истины» (там же, с. 353). Грановский, по мнению Чернышевского, «несомненно был великим ученым и исполнил всё, к чему призывал его долг ученого» (там же).

<Предисловие к изданию «Повестей и рассказов»>

Впервые опубликовано: *Т, Соч, 1856,* ч. 1, с. III (вкладная), с подписью: И. Т.

В собрание сочинений впервые включено в издании: *Т, Сочинения,* т. XII, с. 276.

Автограф неизвестен.

Печатается по тексту первой публикации.

Датировано мартом 1856 г.

Закончив в декабре 1854 г. работу над «Перепиской», Тургенев на обороте 20 листа рукописи выписал 14 названий повестей и рассказов, не вошедших в первое отдельное издание «Записок охотника» (1852), а именно:

Андрей Колосов Два приятеля Три портрета Муму Петушков Затишье Жид Переписка Бретёр …..Ф. — Дневник лишнего человека О соловьях Три встречи Поездка в Полесье

За исключением «Поездки в Полесье», опубликованной впервые только в 1857 г., и произведения, озаглавленного «…Ф. — », все остальные названные Тургеневым повести и рассказы вошли в издание 1856 г. Таким образом можно считать, что замысел издания «Повестей и рассказов» у Тургенева возник еще в 1854 г. Приведенный выше перечень — предварительная программа издания; окончательный состав «Повестей и рассказов» определился только осенью 1856 г., когда вышли в свет «Яков Пасынков», «Рудин», «Переписка» и «Фауст».

Тургенев избрал в издании хронологический принцип расположения произведений: *Часть первая.* I. Андрей Колосов. II Бретёр. III. Три портрета. IV. Жид. V. Петушков. VI. Дневник лишнего человека. VII. Три встречи. *Часть вторая.* VIII. Разговор на большой дороге. IX. Муму. X. Постоялый двор. XI. О соловьях. XII. Два приятеля. XIII. Затишье. *Часть третья.* XIV. Переписка. XV. Яков Пасынков. XVI. Рудин. XVII. Фауст. Деление на три части, очевидно, предложили издатели. Так, Д. Я. Колбасин писал 28 сентября (10 октября) 1856 г. Тургеневу: «„Повести“ Ваши печатаются в 3-х частях и две уже готовы. 1-я начинается „Андреем Колосовым“ и кончается „Тремя встречами“. 2-я начинается „Разговором на б<ольшой> дороге“ и кончается „Затишьем“, а 3-я начинается „Перепискою“» *(Ти круг Совр,* с. 268).

Право на издание «Повестей и рассказов» приобрел у Тургенева П. В. Анненков, о чем он рассказал впоследствии в письме к М. М. Стасюлевичу от 14 (26) ноября 1883 г.: «Действительно, — писал Анненков, — я издал в 1856 г. рассказы Тургенева, а случилось это почти смешно, именно в Английском клубе, после обеда. Тургенев передавал мне, что покойный Алексей Толстой предлагал ему издание тогда существовавших повестей Ив. Серг., но без „Записок охотника“, подаренных Кетчеру <…> — Сколько же вам предлагает Толстой? — спросил я Тургенева. — Пять тысяч, — отвечает он, — да это новое одолжение с его стороны, а мне бы не хотелось еще эксплуатировать его — я ему и так много обязан. <…> Я бы за половину отдал. — За половину всякий возьмет, начиная с меня, — заметил я. — Ну, так и берите, — вдруг брякнул Тургенев, к великому моему изумлению. Так я и сделался первым его издателем» *(Стасюлевич,* т. III, с. 422).

«Повести и рассказы» были представлены в цензуру; однако цензор И. А. Гончаров вынужден был их задержать впредь до специального распоряжения председателя С.-Петербургского цензурного комитета. В рапорте от 11 (23) апреля 1856 г. И. А. Гончаров докладывал М. Н. Мусину-Пушкину: «Рассмотрев представленные в Цензурный комитет „Рассказы и повести“ г. Тургенева, которые все были помещены в разных повременных изданиях, я полагаю одобрить их, как не заключающих в себе ничего противного цензурным правилам, ко вторичному напечатанию. Но как по поводу помещения одной из означенных повестей, именно „Муму“ в мартовской книжке „Современника“ за 1854 год, сделаны были <…> некоторые замечания г. цензору Бекетову для руководства на будущее время при рассматривании подобных сочинений, то я не считаю себя вправе одобрить помянутую повесть ко вторичному напечатанию без разрешения начальства, а равно не нахожу удобным исключить ее из полного собрания сочинений г. Тургенева, как уже однажды появившуюся в печати» (*Оксман* Ю. Г. И. С. Тургенев. Исследования и материалы. Одесса, 1921. Вып. I, с. 54).

Предвидя цензурные затруднения, Тургенев, со своей стороны, обратился 3 (15) апреля 1856 г. к П. А. Вяземскому с письмом, в котором просил его оказать содействие в получении цензурного разрешения на издание «Повестей и рассказов» в полном составе. Ни П. А. Вяземский, ни М. Н. Мусин-Пушкин не решились своей властью допустить ко вторичному печатанию «Муму». Дело было передано в Главное управление цензуры.

Официальное разрешение на опубликование «Муму» в составе

«Повестей и рассказов» Тургенева было подписано 31 мая (12 июня) 1856 г. министром народного просвещения А. С. Норовым (см. наст. изд., т. 4, с. 608), после чего П. В. Анненков мог приступить к печатанию.

Готовя свои повести и рассказы к новому изданию, Тургенев тщательно просмотрел их и внес в некоторые из них дополнения и изменения. Наиболее существенные дополнения были сделаны в повестях «Затишье» и «Яков Пасынков».

Вести корректуру и наблюдать за техническим оформлением издания П. В. Анненков поручил Д. Я. Колбасину.

Живя в Париже, Тургенев не переставал следить за ходом издания. Так, получив № 10 «Современника» за 1856 г., в котором была напечатана повесть «Фауст» с «кровожадными опечатками», Тургенев на следующий же день, 2 (14) ноября 1856 г., сообщил об этом Д. Я. Колбасину с просьбой исправить эти опечатки при воспроизведении «Фауста» в III ч. «Повестей и рассказов».

Е. Я. Колбасин 6 (18) ноября 1856 г. в ответном письме сообщил Тургеневу: «Что касается до кровожадных опечаток в „Фаусте“, то, к сожалению, Ваши замечания были получены слишком поздно, именно, когда книжка поступила в продажу. В утешение могу сказать Вам, что никто не замечает этих опечаток» *(Т и круг Совр,* с. 305). «Повести и рассказы» Тургенева вышли в свет 2 (14) ноября 1856 г., что устанавливается письмом Чернышевского к Некрасову от 5 (17) ноября 1856 г.: «Третьего дня, — писал он, — вышли повести Тургенева. Издание хорошо» *(Чернышевский,* т. XIV, с. 328).

Тургенев в письме к Д. Я. Колбасину от 2 (14) ноября 1856 г. дал распоряжение вручить от его имени в подарок десять экземпляров издания. В числе прочих были названы И. А. Гончаров, С. Т. Аксаков, Д. Я. и Е. Я. Колбасины, О. А. Тургенева, М. Н. Толстая, И. Ф. Миницкий.

Выход в свет «Повестей и рассказов» для Тургенева был значительным событием, так как это издание подводило некоторый итог его литературной деятельности. Тургенева очень волновал вопрос, как будут оценены его произведения, собранные воедино, и он попытался сам определить место своего творчества в русском историко-литературном процессе. Так, сообщая С. Т. Аксакову 1 (13) ноября 1856 г. из Парижа о том, что ему будет вручен экземпляр «Повестей и рассказов», Тургенев прибавлял: «В них, я это знаю, слишком много слабого, недоделанного — недоделанного отчасти от лени, а отчасти — что греха таить! — от бессилия; но Вы пропускайте

или дополняйте мысленно плохое и взгляните снисходительно на остальное. Я один из писателей междуцарствия — эпохи между Гоголем и будущим главою; мы все разрабатывали в ширину и вразбивку то, что великий талант сжал бы в одно крепкое целое, добытое им из глубины…»

Тургенев просил сообщить ему свое мнение о «Повестях и рассказах» также М. Н. Лонгинова, В. П. Боткина и А. И. Герцена, а в письме к Е. Я. Колбасину от 14 (26) декабря 1856 г. настаивал на том, чтобы тот выслал ему немедленно все критики, которые только появятся на «Повести и рассказы».

Первым откликнулся на призыв Тургенева сообщить свое мнение о «Повестях и рассказах» М. Н. Лонгинов. 18 (30) ноября 1856 г. он писал Тургеневу: «Твои повести и рассказы „идут шибко“, как говорят. Как я был рад встретить вместе и „Двух приятелей“, и „Затишье“, и „Рудина“, и „Постоялый двор“, и „Муму“ и всех этих добрых друзей, которых люблю по тебе столько же, сколько тебя по ним!» *(Сб ПД 1923,* с. 152). И в другом письме, от 22 ноября (4 декабря) 1856 г., Лонгинов писал Тургеневу, что его «Повести и рассказы» оставляют «истинно услаждающее вкус и шевелящее мысли и чувства» впечатление. В том же письме Лонгинов высказывал уверенность, что «Повести и рассказы» Тургенева будут хорошо приняты публикой. Что же касается «литературного мира», то, по мнению Лонгинова, Тургенев «признан им единодушно». Даже «в мире бывших доносов твой талант не отвергается», — писал он, имея в виду Булгарина и его сотрудников (см.: *Сб ПД 1923,* с. 155).

Высоко оценил «Повести и рассказы» П. В. Анненков, заявивший в связи с выходом этого издания, что Тургенев в русской литературе представляет «олицетворенное чутье современности» (*Труды ГБЛ,* т. III, с. 64).

Е. Я. Колбасин писал Тургеневу, что он по-прежнему ставит «Записки охотника» выше «Повестей и рассказов» и что, вообще, к «Повестям и рассказам» «осталась публика довольно равнодушна и в книжных лавках беспрерывно спрашивают, когда выйдут „Записки охотника“» *(Т и круг Совр,* с. 327).

Однако мнение Е. Я. Колбасина, будто «Повести и рассказы» Тургенева не пользуются успехом, категорически опроверг вернувшийся из-за границы в Петербург Некрасов. Он сообщил Тургеневу 10 (22) сентября 1857 г.: «До нас в Париже доходили слухи, что твои повести тихо идут. Это пустяки — осталось от 3000 всего 300 экз.!» *(Некрасов,* т. X, с. 362). О том, что почти весь тираж

«Повестей и рассказов» распродан, писал также 16 (28) ноября 1857 г. Тургеневу П. В. Анненков (см.: *Труды ГБЛ,* т. III, с. 73).

Выход в свет «Повестей и рассказов» вызвал ряд рецензий и статей, в которых впервые анализировались в хронологической последовательности все произведения Тургенева и определялось направление его творчества. Первый отклик на выход в свет «Повестей и рассказов» Тургенева появился в «Санкт-Петербургских ведомостях» (1856, № 258, 24 ноября ст. ст.). Ссылаясь на общепризнанность таланта Тургенева и на то обстоятельство, что о многих его произведениях, входящих в новое издание, уже говорилось на страницах «Санкт-Петербургских ведомостей», рецензент отметил только внешнюю сторону издания, подчеркнув его «замечательное изящество».

Рецензия информационного характера, извещавшая читателей о выходе в свет нового издания Тургенева, была напечатана также в «Современнике» (1856, № 12, отд. IV, с. 50). Рецензент (см.: *Чернышевский,* т. XVI, с. 752–753) заверил читателей, что в первых книжках «Современника» за 1857 г, появится подробный разбор «Повестей и рассказов» Тургенева, «в которых столько ума, тонкой наблюдательности и поэзии».

Первая обстоятельная статья о новом издании сочинений Тургенева была напечатана в январском номере «Отечественных записок» за 1857 г. (окончание в *Отеч Зап,* 1857, № 4); автором ее был С. С. Дудышкин. Вслед за Дудышкиным с разбором «Повестей и рассказов» Тургенева выступил А. В. Дружинин *(Б-ка Чт,* 1857, № 2, 3).

Статьи Дудышкина и Дружинина о Тургеневе вызвали со своей стороны несколько откликов в печати. Так, в «Современнике» (1857, № 2) появилась полемическая статья Чернышевского (см.: *Чернышевский,* т. IV, с. 696–701), направленная главным образом против точки зрения Дудышкина на «лишних людей» в произведениях Тургенева (об этом см. вступительную статью к примечаниям).

Автор обзора журналов за март, апрель и май 1857 г., напечатанного в «Санкт-Петербургских ведомостях» (1857, № 121, 6 июня), П. Б<асистов> подвел уже некоторые итоги обсуждения в печати «Повестей и рассказов» Тургенева. П. Басистов с одобрением отозвался о статье Дудышкина. Он писал: «…не называя идей Тургенева ни новыми, ни необыкновенными, г. Дудышкин высоко ставит этого писателя уже и за это уменье — держаться постоянно в уровень с современным образованием, за это благородное стремление

— касаться в своих литературных произведениях именно тех вопросов, которые занимают образованнейших людей времени». Статья Дружинина, напротив, вызвала с его стороны резкую критику. П. Басистов полемизировал с утверждением Дружинина, что «мир поэзии не имеет ничего общего с действительным миром».

Доказывая несостоятельность теории «искусства для искусства», П. Басистов писал о том, что статья Дружинина, вопреки эстетической концепции ее автора, свелась к «разбору идей» Тургенева, неумело сделанному и полному противоречий.

С большой статьей о «Повестях и рассказах» Тургенева выступил в 1857 г. на страницах «Сына отечества» А. И. Рыжов (№ 34, 35, 49), определивший как главные черты творчества Тургенева, делающие его произведения необыкновенно привлекательными для читателей, гуманизм и поэтичность.

Статьей А. И. Рыжова (Сын отечества, 1857, № 49, 8 декабря ст. ст.) завершилось обсуждение «Повестей и рассказов» Тургенева. В 1858 г. внимание критики было сосредоточено уже на новых произведениях писателя, появившихся в конце 1857 г. и в 1858 г. («Поездка в Полесье», «Ася» и др.).

Произведения, вошедшие в издание «Повестей и рассказов», впоследствии перепечатывались Тургеневым во всех собраниях его сочинений.

Гамлет и Дон-Кихот

Источники текста

Черновой автограф, включающий: «Содержание» — изложение основного замысла статьи, «Отдельные замечания», а также первоначальный набросок, охватывающий примерно четверть статьи. Хранится в отделе рукописей *Bibl Nat,* Slave 88; описание см.: *Mazon,* p. 58; фотокопия — *ИРЛИ,* Р. I, оп. 29, № 192; публикация: *Т сб,* вып. 2, с. 75–82.

Совр, 1860, № 1, отд. I, с. 239–258.

Т, Соч, 1868–1871, ч. 4, с. 237–260.

Т, Соч, 1874, ч. 4, с. 233–256.

Т, Соч, 1880, т. I, с. 333–354.

Впервые опубликовало: *Совр,* 1860, № 1, отд. I, с 239–258, с подписью: Ив. Тургенев (ценз. разр. 31 дек. 1859 и 21 янв. 1860).

Перепечатывалось в изданиях *Т, Соч, 1868–1871, Т, Соч. 1874, Т, Соч, 1880* с незначительными стилистическими изменениями. Например, вместо: «в силу своего принципа — или, говоря точнее, — в силу своего идеала» *(Совр)* — «в силу своего принципа, своего идеала» *(Т, Соч, 1868–1871, Т, Соч, 1874, Т, Соч, 1880;* см. наст. том, с. 331) или вместо: «всем возможным лишениям» *(Т, Соч, 1868–1871, Т, Соч, 1874)* — «всевозможным лишениям» *(Т, Соч, 1880;* см. наст. том, с. 332) и т. п. (Всего обнаружено девять подобных вариантов.)

Автограф полной редакции статьи неизвестен. Сохранились лишь черновые наброски.

В настоящем издании печатается по последнему авторизованному тексту *Т, Соч, 1880* с учетом списка опечаток, приложенного к *Т, Соч, 1880,* с устранением явных опечаток, не замеченных Тургеневым, а также со следующими исправлениями по другим источникам:

Стр. 331, строка 30: «находится» вместо «находятся» (по всем другим печатным источникам).

Стр. 336, строки 21–22: «при отъезде того за границу» вместо «при отъезде за границу» (по *Совр).*

Стр. 339, строки 22–23: «двусмысленные намеки» вместо «двумысленныс намеки» (по *Совр).*

Стр. 344, строка 27: «почти так же сильно» вместо «почти так сильно» (по *Совр* и *Т, Соч, 1868–1871).*

Стр. 345, строка 11: «не однажды» вместо «однажды» (по *Совр).*

Стр. 346, строки 9 — 10: «без этих смешных Дон-Кихотов, без этих чудаков-изобретателей» вместо «без этих смешных чудаков-изобретателеи» (по всем другим печатным источникам).

Стр. 348, строка 19: «о которых» вместо «о котором» (по *Совр).*

Статья «Гамлет и Дон-Кихот» была задумана Тургеневым задолго до ее написания. Суждения о Гамлете содержались уже в его письме к Полине Виардо от 13 (25) декабря 1847 г. Решающим моментом в возникновении замысла статьи были, по-видимому, размышления Тургенева над революционными событиями 1848 года, за которыми он внимательно следил в Париже. Намек на это можно видеть в словах статьи, связанных с характеристикой Дон-Кихота: «Мы сами на своем веку, в наших странствованиях, видали людей, умирающих за столь же мало существующую Дульцинею…» и т. д. (наст. том, с. 338)[107].

По свидетельству Е. М. Феоктистова, осенью 1850 г., когда он познакомился с Тургеневым, последний много рассказывал своим собеседникам как очевидец о Февральской революции и последовавших за нею событиях (*Феоктистов* Е. М. Воспоминания. За кулисами политики и литературы. Л., 1929, с. 1). Тогда же писатель делился со слушателями замыслом своей статьи, что видно из письма Феоктистова к нему от 5 (17) сентября 1851 г.: «…особенно желал бы я видеть статью по поводу Гамлета и Дон-Кихота, о которой мы так давно рассуждали в Москве» (цит. по кн.: Вопросы изучения русской литературы XI–XX веков. М.; Л.: АН СССР, 1958, с. 164).

Но к работе над статьей Тургенев приступил лишь спустя несколько лет. 3 (15) октября 1856 г., сообщая И. И. Панаеву из Куртавнеля о своих литературных работах, предпринятых для «Современника», Тургенев писал: «Кроме того, у меня до Нового года будет готова статья под заглавием: „Гамлет и Дон-Кихот“. Если ты найдешь нужным, можешь поместить это в объявлении». Статья в это время еще не была начата, но Тургенев был уверен, что, начав, он сумеет быстро ее закончить. Он писал Панаеву из Парижа 29 октября (10 ноября) 1856 г., что возьмется за статью сразу же по окончании новой редакции «Нахлебника», и 16 (28) декабря, что, отложив «Дворянское гнездо», он «принялся за „Гамлета и Д<он>-Кихота“» и закончит и вышлет статью «непременно на днях».

Панаев, заинтересовавшись «Гамлетом и Дон-Кихотом», ждал статью, как он писал Тургеневу 6 (18) декабря 1856 г., «с бо́льшим нетерпением», чем другие произведения писателя, и письмом от 3 (15) января 1857 г. торопил его с окончанием *(Т и круг Совр,* с. 58, 69–70).

Торопил Тургенева и В. П. Боткин, также ожидавший статью «с великим нетерпением» (см.: *Боткин и Т,* с. 113). Ответ Панаеву от 12 (24) января 1857 г., в котором Тургенев сообщал, что из-за болезни он ничего не пришлет ко 2-му номеру «Современника», заставил его друзей усомниться в том, что он действительно начал статью, о чем Панаев и написал ему 24 января (5 февраля) *(Т и круг Совр,* с. 78).

К работе над статьей Тургенев приступил только 27 февраля (11 марта) 1857 г., на другой день после окончания «Поездки в Полесье», находясь в Дижоне, куда он приехал на неделю 25 февраля (9 марта) вместе с Л. Н. Толстым (см. письмо Тургенева к П. В. Анненкову от 26 февраля (10 марта) 1857 г.). Первоначально был составлен сохранившийся черновой набросок, в котором под заглавиями «Содержание» и «Отдельные замечания» были конспективно изложены основные мысли статьи, записывавшиеся по мере их возникновения, независимо от последующей композиции[108]. В тот же день Тургенев прочел свои записи Толстому, который отметил в дневнике: «Т<ургенев> прочел конспект Г. и Ф. — хороший материал, не бесполезно и умно очень» *(Толстой,* т. 47, с. 117. «Г. и Ф.» — несомненно «Гамлет и Фауст»; ошибка Толстого, видимо, вызвана тем, что в беседе писатели касались и «Фауста» Гёте. Характерно, что и Панаев в цитировавшемся выше письме от 6 (18) декабря 1856 г. также называл статью «Гамлет и Фауст»). Отзвуком этой беседы и споров Тургенева с Толстым явилось следующее замечание (10) в черновых набросках: «Можно сказать, что есть примеры более сильного эгоизма, чем Гамлет (замечание Толстого). — Купец, алчущий богатства и т. д. — Но в купце нет этого постоянного обращения к самому себе, постоянной возни с самим собою, в чем заключается отлич<ительный> призн<ак> Гам<лето>в» *(Т сб,* вып. 2, с. 78)[109].

Приступив к работе над статьей, Тургенев заверяет Панаева в письме от 6 (18) марта, что статья «почти совсем готова», а 26 марта (7 апреля) пишет ему, что кончит «Гамлета «Дон-Кихота» «через три недели». Несмотря на эти заверения, а также новые напоминания и просьбы Панаева в письмах от 16 (28) марта и 6 (18) апреля *(Т и круг Совр,* с. 84, 89), статья в 1857 г. так и не была написана, и осенью 1857 г. редакция «Современника» потеряла всякую надежду на ее получение. «Мы убеждены, — писал Панаев Боткину 16 (28) октября, — что *Ася, Дон-Кихот и Гамлет* — всё это пуфы» *(Т и круг Совр,* с. 429).

В январе 1858 г. Тургенев вновь вернулся к статье. Он пишет Панаеву 1 (13) января из Рима, что надеется приехать в мае в Россию

«вместе с нескончаемым „Гамлетом и Д<он->К<ихотом>“», а Некрасову 18 (30) января обещает, что еще до возвращения вышлет «„Гамлета“, который уже давным-давно родился и просится на свет божий».

21 мая (2 июня) 1858 г. Тургенев писал из Парижа в Лондон Боткину, прося его «нимало не медля» переслать забытую там черновую тетрадь с планом «Гамлета и Дон-Кихота», необходимым ему для работы. О том, что он принялся за «статью о Гамлете и Д<он->Кихоте», он сообщил 10 (22) декабря М. Н. Каткову, обещая отдать ее в «Русский вестник», если на то согласятся редакторы «Современника». Однако этого согласия Тургенев, видимо, не получил.

Окончена статья была только через год, 28 декабря 1859 г. (9 января 1860 г.), и напечатана в январском номере «Современника» за 1860 г. 10 (22) января Тургенев прочел ее на публичном чтении, организованном Обществом для вспомоществования нуждающимся литераторам и ученым (Литературным фондом) в Петербурге в зале Пассажа. На следующий день он сообщал дочери, что чтение «прошло с необычайным успехом. Твоему отцу неистово аплодировали, что заставило его с глупейшим видом бормотать, не помню уж какие, слова благодарности». Е. А. Штакеншнейдер записала в дневнике вечером 10 (22) января под свежим впечатлением речи: «…что было, когда < ...> вступил на эстраду Тургенев, и описать нельзя. Уста, руки, ноги гремели во славу его < ...> Такой же взрыв рукоплесканий, как при встрече, и проводил его» (*Штакеншнейдер* Е. А. Дневник и записки (1854–1886). М.; Л., 1934, с. 246). А. Д. Галахов вспоминал впоследствии о выступлении Тургенева: «Надобно было присутствовать, чтобы понять впечатление, произведенное его выходом. Он долго не мог начать чтение, встреченный шумными, громкими рукоплесканиями, и даже несколько смутился от такого приема, доказавшего, что он был в то время наш излюбленный беллетрист» (*Галахов* А. Д. Сороковые годы. — *ИВ,* 1892, т. XLVII, № 1, с. 141). 25 января (6 февраля) 1860 г. Тургенев прочел свою речь вторично на чтениях, организованных Литературным фондом в Москве.

Впоследствии статья была переведена на французский язык. Рукопись перевода сохранилась в парижском архиве писателя, находящемся в настоящее время в Национальной библиотеке в Париже.

Впечатления от революции 1848 года были лишь исходным

моментом в возникновении замысла статьи. Писалась статья в период подготовки в России общественных реформ, а завершена была в годы революционной ситуации. Одним из наиболее актуальных вопросов в это время был вопрос о типе общественных деятелей, способных осуществить необходимые преобразования в стране, на что прямо указывали революционные демократы[110]. Тургенев также считал, что нужны «*сознательно*-героические натуры», и эта мысль была им положена в основу романа «Накануне» (см. письмо И. С. Аксакову от 13 (25) ноября 1859 г.). В статье «Гамлет и Дон-Кихот» он также противопоставлял людей дела и людей рефлексии, утверждая насущную необходимость первых — энергичных, бесстрашных, беззаветно преданных идее и связанных с народом — и осуждая вторых с их эгоизмом, скепсисом, бездеятельностью. Эти идеи были осложнены литературными реминисценциями, облечены в образы Дон-Кихота и Гамлета. Но хотя в своей статье Тургенев опирался на содержание, а иногда и на текст соответствующих произведений Шекспира и Сервантеса, он допускал и значительные отступления от них, когда этого требовало логическое развитие его интерпретации этих литературных типов[111]. Гамлет и Дон-Кихот рассматривались вне эпохи их создания, как извечно существующие типы, «две коренные, противоположные особенности человеческой природы»[112]. Для правильного понимания смысла, вкладываемого Тургеневым в образы Гамлета и Дон-Кихота, важнее уяснить отношение статьи не к произведениям Шекспира и Сервантеса, но к традиции истолкования этих образов, с которой писатель был хорошо знаком.

Большое значение для Тургенева, по-видимому, имела европейская традиция гамлетизма, когда образ датского принца, его страдания, соответственно осмысленные, проецировались на духовную жизнь некоего поколения, общественной группировки, а иногда даже целой нации, переживавшей кризисное состояние своей истории. Концепция гамлетизма закономерно возникла в политически раздробленной, феодально отсталой Германии, мыслители которой ощущали жалкое существование своей страны и невозможность каких-либо преобразований, ибо не было реальной силы, способной совершить переворот. Немецкие интерпретаторы Гамлета в первой половине XIX в. придавали образу злободневное политическое истолкование, рассматривая его как своего рода пророческий символ немецкого народа, неспособного к решительной борьбе за свое освобождение. Еще Людвиг Берне считал Гамлета копией немцев («Hamlet von Shakespeare», 1829). В дальнейшем эту мысль подхватил Ф.

Фрейлиграт, пустивший в оборот выражение: «Гамлет — это Германия» («Hamlet», 1844).

У Берне уже наметилось истолкование Гамлета как эгоиста. «Как фихтеанец, — писал критик о датском принце, — он только и думает о том, что *я есть я,* и только и делает, что сует везде свое Я. Он живет словами, и, как историограф своей собственной жизни, он постоянно ходит с записною книжкою в кармане» (Börne Ludwig. Gesammelte Schriften 3. Ausg. Stuttgart, 1840. Tl. I, S. 385).

Еще более определенно об эгоизме Гамлета и подобных ему современных общественных деятелей писал Гервинус: «…непомерный эгоизм, обычный плод исключительно духовной жизни, заставляет их всё относить к самим себе, как будто каждый из них в отдельности был представителем целого мира, и со всем тем этот эгоизм не дает им удовлетворить никакому требованию. А когда они начинают сами сознавать такую свою слабость, они обращают свое презрение против самих себя, и Гамлет осмеивает самого себя за то, что такие людишки, как он, осуждены ползти себе между небом и землею» (*Gervinus* G.G. Shakespeare. Leipzig, 1849. Bd. III, S. 289).

В России гамлетизм как форма общественного сознания возник в мрачную эпоху николаевского царствования, отражая трагическое противоречие между духовными запросами и стремлениями передовой части общества и ее политическим бесправием[113]. Одним из первых здесь отметил актуальное значение «Гамлета» Н. А. Полевой, который перевел трагедию в 1836 г. В своей речи, предварявшей читку перевода актерам Московского театра, он связывал ее с современностью, говорил, что «Гамлет по своему миросозерцанию < ...> человек нашего времени»; «мы плачем вместе с Гамлетом и плачем о самих себе» (Театральная газета, 1877, № 81, 5 сент., с. 255; № 84, 8 сент., с. 266). Опираясь на суждение Гёте о слабости Гамлета (ср. Wilhelm Meisters Lehrjahre, Buch IV, Kap. 13), считая «краеугольным камнем» трагедии «мысль — *слабость воли против долга»,* Полевой уподоблял датского принца героям своего времени, пережившим разгром декабризма, политически пассивным, бессильным перед лицом наступившей реакции и терзающимся своим бессилием; такое толкование отразилось на переводе, обусловило его злободневность и необычайный успех на русской сцене. При всей своей слабости Гамлет у Полевого оставался положительным героем, ибо в России 1830-х годов не было другой общественной силы, способной противостоять деспотизму самодержавия.

В. Г. Белинский в статье «„Гамлет“. Драма Шекспира. Мочалов в

роли Гамлета» (1838), написанной в связи с постановкой Московского театра, утверждал: «Гамлет!.. это вы, это я, это каждый из нас, более или менее, в высоком или смешном, но всегда в жалком и грустном смысле…» *(Белинский,* т. 2, с. 254). Белинский отошел от концепции Гёте и считал, что «идея Гамлета: *слабость воли, но только вследствие распадения, а не по его природе.* От природы Гамлет человек сильный…» (там же, с. 293). Но этот взгляд был связан с усвоенной Белинским гегелевской философией и «примирением с действительностью» 1838–1840 гг.[114]После перелома в его мировоззрении критик определил Гамлета как «поэтический апотеоз рефлексии» (1840; *Белинский*, т. 4, с. 253; при этом Белинский цитировал то же место трагедии, что и Тургенев, когда последний писал о разъединении мысли и воли; см. наст. том, с. 340), а его трагическую коллизию — как результат столкновения «двух враждебных сил — долга, повелевающего мстить за смерть отца, и личной неспособности к мщению…» (1841; там же, т. 5, с. 20). Белинский объявил «позорной» нерешительность Гамлета, который «робеет предстоящего подвига, бледнеет страшного вызова, колеблется и только *говорит* вместо того, чтоб *делать…»* (1844; там же, т. 7, с. 313). В Гамлете для Белинского олицетворялась трагедия его поколения — людей сороковых годов. Осуждение датского принца было самокритичным. В нем звучала скорбь революционного мыслителя и борца, не видевшего реальной возможности вступить в «открытый и отчаянный бой» с «неправедной властью». Поэтому, признавая величие и чистоту души Гамлета, Белинский не видел оправдания слабости его воли и считал справедливым его презрение к самому себе. И в то же время он не мог противопоставить Гамлету иного героя — одновременно и деятельного и возвышающегося над ним нравственно, — ибо такого героя не было в действительности.

Внутреннее родство с Гамлетом ощущал и Тургенев. Он подчеркивал в статье: «…почти каждый находит в нем <Гамлете> собственные черты»; «темные стороны гамлетовского типа» «именно потому нас более раздражают, что они нам ближе и понятнее» (с. 335 и 339). Тургенев сознательно проецировал образ шекспировского принца на современность. По свидетельству И. Я. Павловского, он говорил: «Шекспир изобразил Гамлета, но разве мы теряем что-нибудь от того, что находим и изображаем современных Гамлетов?» (Русский курьер, 1884, № 137, 20 мая). При этом Тургенев, сам сформировавшийся духовно в 1830 — 1840-е гг., понимал, что активность и общественная значимость того социального слоя, который в России связывался с

именем Гамлета, неизбежно падает, что Гамлеты вырождаются в «лишних людей».

В годы, когда Тургенев писал свою статью, в общественной борьбе выдвинулись новые силы, представители которых не походили на Гамлетов сороковых годов. Пытаясь понять и объяснить их, Тургенев уподобил их Дон-Кихоту. Идеализация Дон-Кихота началась еще в первые годы XIX века (в XVII–XVIII веках он обычно считался отрицательным персонажем). Последователь Канта немецкий философ Ф. Бутервек и А.-В. Шлегель начали толковать образ Дон-Дихота как воплощение героического и поэтического энтузиазма, преданности идее, величия духа. Эта мысль была развита Сисмонди в его сочинении «О литературе южной Европы» (1813) и нашла отклик у многих европейских поэтов первой половины XIX века[115]. Ее же сформулировал и А. Шопенгауэр, философией которого Тургенев увлекался с конца 1850-х годов. Шопенгауэр писал, что Дон-Кихот «аллегоризирует жизнь каждого человека, который не так, как другие, занят только устройством своего личного блага, а стремится за объективной идеальной целью, овладевшей его помыслами и волей, причем, конечно, в этом мире он оказывается странным» (*Schopenhauer* Arthur. Die Welt als Wille und Vorstellung. Leipzig, 1859. 3. Aufl., Bd. I, Buch 3, § 50, S. 284–285).

Важный для интерпретации Тургенева аспект донкихотства содержался во введении Гейне к немецкому изданию романа Сервантеса (1837), в котором поэт подчеркивал, что «смешное в донкихотстве» заключается не только в том, что «благородный рыцарь пытается оживить давно отжившее прошлое», но «неблагодарным безрассудством является также и попытка слишком рано ввести будущее в настоящее, если к тому же в этой схватке с тяжеловесными интересами сегодняшнего дня обладаешь только очень тощей клячей, очень ветхими доспехами и столь же немощным телом!» (*Гейне* Генрих. Полн. собр. соч. М.; Л., 1949. Т. VIII, с. 140). Гейне видел в Дон-Кихоте энтузиаста лучшего общественного будущего, человека, пренебрегшего во имя этого будущего интересами настоящего. При таком осмыслении образа стало возможным сравнение Дон-Кихота с социалистом-утопистом Фурье, которое делает Тургенев (см. наст. том, с. 345). Тургенев вообще хорошо знал творчество Гейне, но к «Введению к „Дон-Кихоту“» его внимание могло быть привлечено особо, так как в том же издании «Дон-Кихота» печатался немецкий перевод биографии Сервантеса, написанной Луи Виардо[116].

В русской литературно-публицистической традиции до Тургенева,

в частности у Белинского, Дон-Кихот обычно осмыслялся как художественное обобщение разрыва с действительностью и отставания от хода истории[117]. С судьбами революционного движения связал образ Дон-Кихота Герцен, видя в нем воплощение кризиса утопических методов борьбы за переустройство общества; Дон-Кихотами он назвал обанкротившихся деятелей революции 1848 года. «Какой практически смешной и щемящий сердце образ складывается для будущего поэта, образ Дон-Кихота революции!» — писал Герцен в тринадцатом из «Писем из Франции и Италии» (1 июня 1851 г.). Он характеризовал этих Дон-Кихотов как людей, отставших от жизни, которые «повторяют слова, потрясавшие некогда сердца, не замечая, что они уже давно задвинуты другими словами» *(Герцен,* т. V, с. 206). Это тринадцатое письмо вошло во второе (первое русское) издание «Писем», вышедшее в Лондоне в 1855 г. Тургенев, видимо, познакомился с ним в августе 1856 г., когда он посетил Герцена. Герценовская интерпретация образа Дон-Кихота не могла не привлечь внимания Тургенева, тем более что и для него исходным моментом служили события 1848 года, и, вероятно, он спорил с Герценом о Дон-Кихоте и продолжил спор в статье[118].

В основу противопоставления Гамлета и Дон-Кихота Тургенев положил этический принцип — их отношение к идеалу. Для Гамлета основа и цель существования находится в нем самом, для Дон-Кихота — вне его. Этим обусловливается нравственный облик каждого из них: эгоизм, безверие и скептицизм, развитый ум и слабая воля, трусость, сосредоточенная на себе рефлексия и самобичевание Гамлета; вера в истину, альтруизм, самоотверженность и бесстрашие в борьбе с враждебными человечеству силами, непреклонная воля, односторонность и духовная ограниченность Дон-Кихота.

Своей интерпретацией Гамлета Тургенев стремился показать социальную бесплодность и даже вредность сосредоточенной на себе рефлексии, скепсиса. Проблема эгоизма волновала писателя давно: еще в 1845 г. он рассматривал ее в статье о «Фаусте» Гёте в переводе М. П. Вронченко (см. наст. изд., т. 1). Характерно, что в новой статье он сравнивал Гамлета, воплощающего «начало отрицания», с Мефистофелем. Однако в процессе работы над статьей Тургенев частично пересмотрел свое первоначальное отношение к Гамлету, что выясняется из сопоставления чернового автографа с окончательной редакцией статьи. Так, исчезло прежнее утверждение, что Гамлет «в сущности < ...> мелок и антипатичен» *(Т сб,* вып. 2, с. 76). В черновых набросках Тургенев писал, что в мечтании Гамлета о самоубийстве

«высказывается любовь к жизни и трусость» (там же, с. 78); в дальнейшем «трусость» отпала. Решительно отказался Тургенев от мысли, что «для Гамлета не существует (в сущности) различия между добром и злом» (там же, с. 79), и, напротив, стал утверждать, что «отрицание Гамлета сомневается в добре, но во зле оно не сомневается и вступает с ним в ожесточенный бой»; «зло и ложь» его «исконные враги». Положительное истолкование получил и его скептицизм, который, «не веря в современное, так сказать, осуществление истины, непримиримо враждует с ложью и тем самым становится одним из главных поборников той истины, в которую не может вполне поверить» (наст. том, с. 340). Характерны добавления, внесенные в первоначальную характеристику Гамлета: «Сомневаясь во всем, Гамлет, разумеется, не щадит и самого себя; ум его слишком развит, чтобы удовлетвориться тем, что он в себе находит: *он сознает свою слабость, но всякое самосознание есть сила...»* (с. 333; слова, выделенные курсивом, отсутствуют в черновом автографе). Таким образом, характеристика Гамлета у Тургенева стала диалектически сложной и противоречивой, что объяснялось как объективной сложностью этого социально-психологического типа, так и противоречивым отношением к нему писателя, ощущавшего духовное родство с ним.

Тургенев не абсолютизировал превосходство Дон-Кихота над Гамлетом. Первый имеет нравственное преимущество, но интеллектуально второй возвышается над его ограниченностью и духовной слепотой. Писатель говорит о необходимости слияния воедино их достоинств — мысли и воли, и понимает невозможность этого, коренящуюся в итоге в ненормальном состоянии общества. Недаром свое рассуждение об этом он прерывает замечанием: «Далеко бы повело нас даже поверхностное обсуждение этих вопросов» (наст. том, с. 341).

Применительно к России Гамлет для Тургенева, как указывалось выше, отождествлялся с «лишними людьми» — дворянскими интеллигентами, которые некогда были передовой силой в русском обществе, а затем должны были отойти на задний план в освободительном движении. Дон-Кихот олицетворял новые общественные силы. Слово «революционер» не было названо Тургеневым (возможно, по цензурным причинам), но оно подразумевалось; в черновике Дон-Кихот назван «демократом» *(Т сб,* вып. 2, с. 75). В известной мере писатель сближал Дон-Кихота со своими современниками — русскими революционными демократами

(несмотря на идейные расхождения с ними). Так, уже отмечалось сходство слов Тургенева о Дон-Кихоте: «…он знает мало, да ему и не нужно много знать: он знает, в чем его дело, зачем он живет на земле, а это — главное знание» (с. 333) — и о Чернышевском: «Он плохо понимает поэзию; знаете ли, это еще не великая беда < ...> но он понимает < ...> потребности действительной современной жизни — и в нем это < ...> самый корень его существования» (письмо к А. В. Дружинину от 30 октября (11 ноября) 1856 г.)[119].

Тургенев героизировал и идеализировал образ сервантесовского героя (характерно, что из окончательной редакции исчезло дважды высказанное в черновике утверждение о тупости Дон-Кихота; см.: *Т сб,* вып. 2, с. 75, 80). Он боролся с пониманием «донкихотства» как «нелепости» и видел в нем «высокое начало самопожертвования, только схваченное с комической стороны» (наст. том, с. 330). Если логическое развитие гамлетовского отрицания превращает Гамлета в Мефистофеля (см. с. 339–340), то Дон-Кихота Тургенев уподобляет Христу (слова о «пощечине фарисея» — с. 345; в черновых записях прямо сказано: «Пощечина фарисея Христу» — *Т сб,* вып. 2, с. 78)[120]. Представляя Дон-Кихота беззаветным подвижником идеи водворения справедливости на земле, борцом за счастье людей, Тургенев в то же время наделил его несколько консервативным уважением ко «всем существующим установлениям» (с. 344), и в этом сказался либерализм писателя.

Одно из основных положений статьи, принадлежащее исключительно Тургеневу, это мысль об отношении толпы, массы к Гамлету и Дон-Кихоту. Гамлеты, утверждает Тургенев, не могут вести за собой массу, они ей ничего не дают, «они одиноки, а потому бесплодны» (с. 338). Это заключение, справедливое по отношению к «лишним людям» эпохи Тургенева, не вытекает, однако, из трагедии Шекспира. И Тургенев допускает натяжку, объявляя высокопоставленного придворного, приближенного короля и королевы Полония «представителем массы перед Гамлетом». С другой стороны, в конце статьи в связи с образом Горацио указывается: «Одна из важнейших заслуг Гамлетов состоит в том, что они образуют и развивают людей, подобных Горацию…» и т. д. (с. 346), что подрывает утверждение о «коренной бесполезности» Гамлетов. В этом заключается одно из противоречий статьи, связанных с тем внутренним родством с «Гамлетами» своего времени, которое ощущал Тургенев, искренне стремившийся обличить и осудить их[121].

В противоположность Гамлетам Дон-Кихоты, утверждает

Тургенев, способны повести за собой массу, хотя сначала она и глумится над ними и преследует их. «Великое, всемирно-историческое свойство» массы, залог прогресса в том-то и состоит, что она способна на «бескорыстный энтузиазм», способна, «беззаветно веруя», следовать за Дон-Кихотами (с. 337). Без Дон-Кихотов, утверждает писатель, «не подвигалось бы вперед человечество…» (с. 346). В то же время Тургенев считает Дон-Кихотов безумцами, которые при всем своем благородстве и самоотверженности бессильны найти истину, сражаются с ветряными мельницами вместо великанов, умирают за несуществующую Дульцинею. Но истина, полагает Тургенев, вообще скрыта от людей, и судьбы истории не имеют ничего общего с целями, которые ставят перед собой Дон-Кихоты; оценивать людей можно лишь по их намерениям и поведению, а не по результатам: «…главное дело в искренности и силе самого убеждения…, а результат — в руке судеб». Поэтому и революционная деятельность определяется Тургеневым как «донкихотство», пусть даже облагороженное и идеализированное. В этом проявилось неверие писателя в возможность близкого осуществления революционных целей. Но он не отрицал из-за этого необходимости борьбы, а, наоборот, призывал: «Наше дело вооружиться и бороться» (с. 336). И это возвышало его над современниками-либералами.

Социально-психологические типы, обозначенные Тургеневым именами Гамлета и Дон-Кихота, получили художественное воплощение во многих произведениях писателя от «Гамлета Щигровского уезда» до «Нови»[122]. Наиболее полное воплощение тургеневской концепции Дон-Кихота представляет собою образ Инсарова в «Накануне» (1860).

Статья-речь Тургенева «Гамлет и Дон-Кихот», остро публицистическая по своему духу, вызвала немало самых разнородных откликов. Как отмечалось выше, выступление Тургенева 10 (22) января 1860 г. было встречено овацией, которая, однако, объяснялась больше популярностью самого писателя, чем успехом его речи (об этом см. в воспоминаниях А. Д. Галахова — *ИВ,* 1892, т. XLVII, № 1, с. 141). Е. А. Штакеншнейдер записала в дневнике, что речь ей «не понравилась», и указывала на странность некоторых суждений Тургенева (например, сближение Санчо Пансы и Полония), а П. Л. Лавров, по ее свидетельству, говорил о речи: «Умно, очень умно построена, но парадокс на парадоксе» (*Штакеншнейдер* Е. А. Дневник и записки (1854–1886). М.; Л., 1934, с. 246). Сам Лавров писал впоследствии: «Его <Тургенева> возвышение Дон-Кихота — я это

очень хорошо помню — показалось натянутым для публики и было большею частью отнесено к чему-то вроде литературного каприза» (Вестник Народной воли, 1884, № 2, с. 89). Недоумение и даже некоторая растерянность чувствуется в анонимном отзыве «Санкт-Петербургских ведомостей» о статье Тургенева. Рецензент недоумевал, чем вызваны необычайные суждения Тургенева, особенно о Дон-Кихоте; он пытался доказать, что Тургенев пристрастен, что Гамлет не эгоист и больше заслуживает сочувствия: «…мы гораздо более сочувствуем Гамлету и не смеем сравнивать с ним Дон-Кихота» (*СПб Вед,* 1860, № 60, 17 марта, с. 290). Еще большее непонимание обнаружил упомянутый выше А. Львов, посвятивший целую книжку доказательству того, что Тургенев неверно истолковал создания Шекспира и Сервантеса. Стремясь опровергнуть Тургенева, он утверждал, что Дон-Кихот сумасшедший и образ этот лишен нравственного смысла, а Гамлет — идеалист, недовольный окружающей жизнью и собою «вследствие вечного стремления к совершенству» (*Львов* А. Гамлет и Дон-Кихот и мнение о них И. С. Тургенева. СПб., 1862, с. 153).

С другой стороны, после выступления Тургенева характеристика современных деятелей при посредстве образов Гамлета и Дон-Кихота стала обычным приемом в русской печати, причем интерпретация этих образов не всегда совпадала с тургеневской. Так, И. И. Панаев в очередном фельетоне «Петербургская жизнь», помещенном в ближайшем номере «Современника» после опубликования статьи Тургенева, иронизировал над «авторитетами», которые уклоняются от выполнения своего общественного долга, «предоставив современным Дон-Кихотам бесполезный труд и неблагодарную борьбу». «Наша гордость и самолюбие, — писал Панаев, — не позволяют нам быть Дон-Кихотами, интереснее нам рисоваться Гамлетами» *(Совр,* 1860, № 2, Современное обозрение, с. 370).

Критик Н. В. Шелгунов, деятельный участник революционного движения 1860-х гг., откликаясь на статью Тургенева и оценивая ее как «замечательное явление нашей современной литературы», воспользовался ее образами для злободневной критики правительственного либерализма в предреформенную пору. «Не представляя таких частных, крайних типов, — писал он, — мы богаты тут преимущественно помесью — донкихотствующими Гамлетами. < ...> Эти Гамлеты, стоя с сложенными накрест руками, донкихотствуют, делая вид, что они работают что-то, трудятся для общего дела; в сущности же, не зная, к кому пристать, куда идти,

административные Гамлеты делают попросту то, что им выгодно. Это признаки нашего линяния» (Н. Ш. Литературное чтение в зале Пассажа. — *Рус Сл,* 1860, № 2, отд. III, с. 76–77).

Политический обозреватель «Отечественных записок» В. Санин, рассматривая в статье «Выгодный обмен» передел Италии в 1860 г., назвал одну из главок, по примеру Тургенева, «Гамлет и Дон-Кихот», но при этом замечал, что «в жизни действительной, общественной, как и частной, проза гамлетизма и поэзия дон-кихотизма так перемешаны, что олицетворения этой смеси являются попеременно жрецами то той, то другой» *(Отеч Зап,* 1860, № 4, с. 352). В последующем изложении автор уподоблял Гамлету и Дон-Кихоту не только отдельных общественных деятелей Европы, но и целые государства (Францию, королевство Сардинию).

Отзвук тургеневского противопоставления обнаруживается и в статье Д. И. Писарева «Схоластика XIX века» (1861), где он утверждал: «Здравый смысл и значительная доля юмора и скептицизма составляют, мне кажется, самое заметное свойство чисто русского ума; мы более склоняемся к Гамлету, чем к Дон-Кихоту; нам мало понятны энтузиазм и мистицизм страстного адепта» *(Писарев,* т. I, с. 118).

Наконец, отталкиваясь от тургеневской статьи, А. А. Григорьев в стихотворных «Монологах Гамлета Щигровского уезда» противопоставлял отечественному «мещанскому Гамлету» «мещанского Дон-Кихота», «бойца многоглаголивого и вздорного», требующего «срезать всё на нет» (Оса, 1864, № 2, с, 13). В образе последнего автор рассчитывал осмеять литераторов революционно-демократического лагеря с их широкой программой общественной борьбы.

Разбирая последующие отклики на статью Тургенева, можно заметить, что они больше касались образа Дон-Кихота. Имя Гамлета еще ранними рассказами Тургенева было связано с образом «лишнего человека», и статья в этом отношении вносила мало нового. Свидетельства того, что эти понятия стали синонимичными в русской литературе, обнаруживаются в различных произведениях, и не имеющих прямого отношения к Тургеневу: в статье Д. И. Писарева «Идеализм Платона» (1861), в статье А. М. Скабичевского «Наша современная беззаветность» (1875), в повести Н. Н. Златовратского «Скиталец» (1884) и в драме А. П. Чехова «Иванов» (1889)[123].

Смысл образа Дон-Кихота в статье-речи Тургенева стал особенно понятен после опубликования романа «Накануне». «Инсаров < ...> это тот Дон-Кихот, которого недавно поставил он <Тургенев> в

противоположность Гамлету в своей речи об этих характерах», — писал критик Н. Н. Булич *(Рус Сл,* 1860, № 5, Критика, с. 16). В «Отечественных записках» критик П. Басистов указывал, что личность Инсарова осталась бы совершенно непонятной, если бы Тургенев не дал ключа к ней в своей статье, и далее сравнивал образы болгарского революционера и Дон-Кихота в тургеневской интерпретации *(Отеч Зап,* 1860, № 5, Русская литература, с. 8).

Революционная демократия, группировавшаяся вокруг журнала «Современник», разумеется, не могла принять определение революционности как «донкихотства», но прямая полемика со статьей Тургенева на страницах журнала, в котором статья печаталась, была неудобна. Поэтому полемические выпады Н. А. Добролюбова против «Гамлета и Дон-Кихота» были скрыто включены в его статью «Новая повесть г. Тургенева» *(Совр,* 1860, № 3, Современное обозрение), озаглавленную впоследствии при переиздании «Когда же придет настоящий день?». Именно такой смысл имеет рассуждение Добролюбова о «жалких Дон-Кихотах», которое на первый взгляд может показаться неожиданным и немотивированным[124]. Намекая, с одной стороны, на слова Тургенева о том, что Дон-Кихот верит «в истину, находящуюся *вне* отдельного человека», что «он весь живет < ...> вне себя, для других», а с другой — на то, что Инсаров должен бороться с внешними враждебными силами, Добролюбов писал: «Внешней борьбы нам не нужно, но необходима усиленная непрерывная самоотверженная борьба с внутренним врагом — с общественным злом и неправдой < ...> Многие начинают накидываться на мелочи, воображая, что в них-то и есть всё дело, или сражаться с призраками и таким образом в практической деятельности являются обыкновенно забавно жалкими Дон-Кихотами, несмотря на всё благородство своих стремлений. Отличительная черта Дон-Кихота — непонимание ни того, за что он борется, ни того, что выйдет из его усилий, — удивительно ярко выступает в них» (с. 61). В окончательной редакции статьи, заключая свое рассуждение, критик еще резче подчеркнул, что «смешные Дон-Кихоты» «в нашей среде» — это те, кто «хотят прогнать горе ближних, а оно зависит от устройства той среды, в которой живут и горюющие и предполагаемые утешители» *(Добролюбов,* т. II, с. 229). Добролюбов давал понять, что Дон-Кихотами являются не революционеры, а те люди, которые, сочувствуя угнетенным, рассчитывают помочь им, не прибегая к революционным действиям[125].

Начатое Добролюбовым опровержение тургеневской концепции

«донкихотства» продолжил после его смерти А. П. Пятковский, связанный в середине 1860-х гг. с демократической печатью. Основной тезис статьи Пятковского «Гамлеты и Дон-Кихоты» состоял в том, что слепая вера в идеал присуща реакционным поборникам старого, тогда как критический анализ действительности, осуществляемый передовыми общественными силами, есть залог ее преобразования. В Гамлете критик видел предтечу Базарова, которого он защищал, донкихотские же черты он находил у Павла Кирсанова. «Без Гамлетов в тургеневском смысле, — писал Пятковский, — т. е. без людей, имеющих смелость относиться критически ко всем готовым явлениям жизни, человеческое развитие остановилось бы на точке замерзания», тогда как «Дон-Кихоты со своими историческими идеалами» не нужны «на поприще реальной, действительной жизни» и их «исчезновение будет минутой окончательного торжества человеческого ума» (Русь, 1864, № 18, с. 230).

Полемически заостренное по отношению к Тургеневу истолкование образа Дон-Кихота содержится и в статье Писарева «Писемский, Тургенев и Гончаров» (1861), в которой критик писал о Рудине: «Развенчать этот тип было так же необходимо, как необходимо было Сервантесу похоронить своим Дон-Кихотом рыцарские романы, как одно из последних наследий средневековой жизни» *(Писарев,* т. I, с. 214).

Напротив, Герцен, с которым, как указывалось выше, скрыто полемизировал Тургенев, принял новое для него осмысление образа Дон-Кихота и в «Концах и началах» (1862), говоря о поражении итальянской революции, о трагической участи Гарибальди и Маццини, писал: «Прощайте, великие безумцы; прощайте, святые Дон-Кихоты!..». И далее: «Задумается какой-нибудь северный Фортинбрас… над этой повестью Горацио и, с раздумьем вздохнувши, пойдет в дубравную родину свою — на Волгу, к *своему* земскому делу» *(Герцен,* т. XVI, с. 166–167). Упоминание здесь имен шекспировских героев также ведет к статье Тургенева, к его словам о людях, подобных Горацио, которые, приняв от Гамлетов «семена мысли, оплодотворяют их в своем сердце и разносят их потом по всему миру» (с. 346).

В либеральном лагере статья-речь Тургенева сочувствия не встретила. П. В. Анненков отзывался о ней очень холодно: «…знаменитая, более остроумная и блестящая, чем неотразимо убедительная речь Тургенева…» *(Анненков и его друзья,* с. 436). В еженедельнике «Наше время», занимавшем в 1860 г. еще умеренно

либеральные позиции, критик М. И. Дараган упрекал Тургенева за то, что тот прославил «мечтательного» Дон-Кихота, а не «положительного» либерального оппортуниста — поборника малых дел. «Таких ли деятелей, ради бога, нам нужно в настоящее время? — вопрошал Дараган, имея в виду Дон-Кихота. — Разве возможно в наш век прошибить лбом стену? < ...> Нам нужны деятели, но положительные, а не мечтательные < ...> нам нужны люди, умеющие сообразить цель со средствами и соразмерить жертвы с пользой, от них приобретаемою» (Наше время, 1860, № 9, 13 марта, с. 134).

Вопрос о Гамлете и Дон-Кихоте как общественных типах рассматривался в полемической статье критика и публициста М. Ф. Де-Пуле «Нечто о литературных мошках и букашках. По поводу героев г. Тургенева», опубликованной в журнале братьев Достоевских «Время»[126]. (Под «мошками и букашками» автор подразумевал «лишних людей» в русской литературе от Чацкого до Рудина, к которым он, однако, относился сочувственно, противопоставляя их «ухорским героям» писателей-романтиков). Возражая Тургеневу, Де-Пуле находил, что Гамлет «раздвоен вследствие сознания великости идеи, возложенной на него», и в его бессилии повинны «размышление, *разъедающая* рефлекция, но никак не эгоизм». Тургенев, заявлял Де-Пуле, неправ, полагая, что «Дон-Кихоты находят — Гамлеты разрабатывают»; «наоборот: Гамлеты находят, т. е. размышляют, подвергают жизнь анализу, творят идеи, Дон-Кихоты разрабатывают, т. е. действуют и осуществляют эти гамлетовские идеи». Согласно Де-Пуле, задачи эпохи требуют появления людей не *«мысли только,* но *мысли и дела».* Он сочувствовал тургеневскому отношению к Дон-Кихоту, но не противопоставлял его Гамлету и считал, что на смену Рудиным должны прийти Дон-Кихоты, «т. е. этот же самый тип, только перерожденный, т. е. считающий отрадою жизни не *праздномыслие,* < ...> а деятельность, жизнь во имя гамлетовских идей. < ...> В состоянии ли наша жизнь выставить Дон-Кихотов не по натуре только, а de facto — это еще вопрос, в положительном решении которого мы крепко сомневаемся» (Время, 1861, № 2, отд. III, с. 127–130).

Сочувственно относился к статье Тургенева Н. С. Лесков, который в газетном обозрении «Наша провинциальная жизнь, утверждал что тип Дон-Кихота «верно повторяется» в украинских разбойниках, защищающих крестьян от притеснений власть имущих. «По закону все они преступники, — писал Лесков, — это так, но, вникая в их психические задачи, нельзя по поводу их не припомнить слишком

известной статьи И. С. Тургенева „Гамлет и Дон-Кихот“, по которой Дон-Кихот правильно поставлен стоющим бо́льших симпатий, чем Гамлет» (Биржевые ведомости, 1869, № 307)[127].

Русские революционеры следующего за шестидесятниками поколения отнеслись к статье Тургенева иначе, чем их предшественники. По-видимому, им импонировала мысль Тургенева о значении Дон-Кихота для массы, сходная с народнической идеей героя и толпы. С другой стороны, возвеличиванию Дон-Кихота (в тургеневской интерпретации) способствовала, по-видимому, борьба вождей и идеологов народничества против новой волны «гамлетизма» (самый термин этот возник в это время), вызванной провалами и разочарованиями в движении народников, а затем, в 80-е годы, и общей политической реакцией в стране[128]. П. Л. Лавров в статье «И. С. Тургенев и развитие русского общества» после приведенного выше свидетельства о первом впечатлении от тургеневского «возвышения Дон-Кихота» писал: «Но теперь, имея за собою прошедшие с тех пор почти четверть века и позднейшие произведения Ивана Сергеевича, читатель открывает иной смысл в словах, казавшихся тогда странными», и далее цитировал места из статьи Тургенева о некоторой доле смешного в людях, призванных на великое новое дело, о следовании массы за теми, над кем она прежде глумилась, о попирании Дон-Кихотов свиными ногами. Лавров возражал и против полемических выпадов Добролюбова. «Конечно, Добролюбовы и их законные наследники в деле революционной мысли не хотели признать в своих рядах людей типа Дон-Кихота, „отличительная черта“ которого „непонимание ни того, за что он берется, ни того, что выйдет из его усилий“ <...>, но партии, совершающие и особенно начинающие великое историческое дело, составляются не по собственным идеалам, а по тому фатальному процессу, которому прошедшее подчинило эволюцию вырабатывающего их общества» (Вестник Народной воли, 1884, № 2, с. 89, 116–117).

Солидаризировался с толкованием Тургенева и анархист П. А. Кропоткин, который в своих записках назвал его речь «блестящей» и, пересказав взгляд на Дон-Кихота и его отношение к массе, заключал: «И это вполне справедливо» (*Кропоткин* П. Записки революционера. Лондон; СПб., б. г., с. 352–353).

Показательно, что позднее марксистский критик В. В. Воровский, характеризуя общественное движение 1870-х годов, использовал установленные Тургеневым наименования социально-психологических типов. В статье «Лишние люди» (1905) он выделял

две группы народнической интеллигенции — «разночинцев» и «культурно-народническое течение», генетически связанное с кающимися дворянами, и при этом писал: «Донкихотизму разночинцев культурно-народническое течение противопоставляло гамлетизм» (*Воровский* В. В. Сочинения. М.: Соцэкгиз, 1931. Т. II, с. 51). Здесь тургеневскому толкованию соответствовали не только понятия «донкихотизма» и «гамлетизма», но и их социальная атрибуция.

Этический пафос статьи Тургенева высоко ценил Л. Н. Толстой. В письме к А. Н. Пыпину от 10 января 1884 г. он писал, что Тургеневу была присуща «не формулированная, двигавшая им и в жизни, и в писаниях, вера в добро — любовь и самоотвержение, выраженная всеми его типами самоотверженных и ярче и прелестнее всего в Дон-Кихоте, где парадоксальность и особенность формы освобождали его от его стыдливости перед ролью проповедника добра» *(Толстой,* т. 63, с. 150). В. Ф. Лазурский, учитель детей Толстого, живший в Ясной Поляне, записал в дневнике 23 июня 1894 г.: «Выше всех <у Тургенева> он <Толстой> ставит „Довольно“ и статью „Гамлет и Дон-Кихот“. Говорил, что писал статью о Тургеневе, где рассматривал эти два произведения в связи одно с другим (настроение разочарования и потом указание пути спастись от сознания пустоты)» *(Лит Насл,* т. 37–38, с. 450; см. также дневниковую запись Толстого от 18 марта 1905 г. — *Толстой,* т. 55, с. 129).

Статью «Гамлет и Дон-Кихот» обычно упоминали авторы, писавшие о романе Сервантеса, хотя их интерпретация героя не совпадала с тургеневской (см., например: *Авсеенко* В. Происхождение романа. II. Сервантес— *Рус Вестн,* 1877, № 12, с. 454, 461; *Иванов* В. Кризис индивидуализма. — Вопросы жизни, 1905, № 9, с. 47). Но не только среди литераторов и публицистов произвела впечатление статья Тургенева. Проф. В. Л. Кирпичев, один из основателей русской инженерной науки, эпиграфом к своей программной статье «Значение фантазии для инженеров» поставил слова Тургенева о «смешных чудаках изобретателях» и о том, что «Дон-Кихоты находят, Гамлеты разрабатывают» (Изв. Киевского политехнического ин-та имп. Александра II, 1903, кн. III, отд. механический и инженерный, с. 7).

Первое издание трагедии Шекспира — в один и тот же год... — Здесь — неточность: «Гамлет» был впервые опубликован в 1603 г., первая часть «Дон-Кихота» — в 1605 г.

«Кто хочет понять — область», — сказал Гёте... — Цитата из эпиграфа к комментариям к «Западно-восточному дивану» (1819).

Хороший перевод «Дон-Кихота» — перед публикой... — Считая перевод «Дон-Кихота» на русский язык исключительно важным делом, Тургенев сам хотел осуществить его. Еще в 1853 г. он писал 9 (21) июля Анненкову, что подготовляет себя к переводу «беспрестанным перечитыванием этого бессмертного романа». К этому замыслу Тургенев возвратился через четыре года (см. письмо к В. П. Боткину от 17 февраля (1 марта) 1857 г.) и не оставлял его до конца жизни. В 1864 г. он говорил П. Д. Боборыкину: «Вот сколько лет мечтаю о том, чтобы сделать хороший перевод „Дон-Кихота“» (Новости и Биржевая газета, 1883, № 177, 27 сентября).

«О боже, боже! — кажется мне жизнь!» — «Гамлет», дейивие I, сцена 2, строки 131–134.

То кровь кипит, то сил избыток. — М. Ю. Лермонтов. «Не верь себе» (1839), строка 6.

...«our son is fat» — неточная цитата; в оригинале: *«King*. Our son shall win. — *Queen*. He’s fat, and scant of breath» (*«Король*. Наш сын победит. — *Королева*. Он тучен и задыхается». — «Гамлет», действие V., сцена 2, строка 301).

«Гамлет Баратынский» — выражение из «Послания Дельвигу» (1827) Пушкина, строка 137.

Полоний. Королева желает — иду к матушке. — «Гамлет», действие III, сцена 2, строки 398–407.

Les grandes pensées viennent du coeur. — Из «Размышлений и максим» (127) Вовенарга. Вовенарг Люк де Клапье (1715–1747) — французский писатель-моралист.

Я любил тебя когда-то — Я не любил тебя. — «Гамлет», действие III, сцена 1, строки 116–122 (цитата сокращена).

Брамарбас — маска хвастливого воина в немецком театре XVIII века.

Пистоль — действующее лицо в хрониках Шекспира «Король Генрих IV», ч. II, и «Король Генрих V», а также комедии «Виндзорские проказницы» — спутник Фальстафа, забияка, хвастун и трус, самозванный капитан.

«Сорок тысяч братьев — миллион холмов!» — «Гамлет», действие V, сцена 1, строки 291–293, 302–303 (неточные цитаты).

And thus — of thought… — «Гамлет», действие III, сцена 1, строки 84–85.

«Персилес и Сигизмунда» — рыцарский роман Сервантеса, опубликованный в 1617 г. посмертно. Тургенев, по видимому, полагал, что роман этот публиковался между выходом первой и второй частей «Дон-Кихота».

…умерли в один и тот же день, 26 апреля 1616 года. — Тургенев ошибался: датой смерти Шекспира и Сервантеса считается 23 апреля 1616 г. На самом деле Сервантес умер на десять дней раньше Шекспира. Недоразумение вызвано тем, что в Англии в 1616 г. действовал юлианский календарь, а в Испании грегорианский (см: *Державин* К. Н. и *Идельсон* Н. И. К вопросу о дне кончины Сервантеса и Шекспира. — В кн.: Сервантес. Статьи и материалы. Л., 1948, с. 211–213).

Один английский лорд… — Высказывалось предположение, что имеется в виду Джон-Джордж Шоу-Лефевр (1797–1879), чиновник английского парламента, с которым Тургенев, по-видимому, познакомился в 1857 г. (см.: *Звигильский* А. Я. «Гамлет и Дон-Кихот». О некоторых возможных источниках речи Тургенева. — *Т сб,* вып. 5, с. 241–242).

«Послушай — с той поры — Как я тебя укрыл». — «Гамлет», действие III, сцена 2, строки 67–79.

Всё великое земное Разлетается как дым… — Ф. Шиллер, «Торжество победителей», перевод В. А. Жуковского (1828), строки 149–150.

«Все минется — останется». — Неточная цитата из первого послания апостола Павла к коринфянам (гл. XIII, стих 8).

<План романа «Два поколения»>

Печатается по фотокопии: *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 141, лл. 3–8.

Подлинник хранится в Национальной библиотеке в Париже *(Bibl Nat)*.

Впервые опубликован в издании: Т, ПСС и П, Сочинения, т. VI, с. 379–388; см. также *Лит Насл*, т. 73, кн. 1, с. 39–58.

В конце 1840-х годов, будучи уже признанным мастером рассказа, автором цикла «Записок охотника», нескольких повестей, стихотворений, поэм и ряда произведений в драматическом роде, Тургенев задумал написать роман и даже сообщил об этом своим знакомым. Так, желая получить новое произведение Тургенева для «Современника», Некрасов 17 (29) декабря 1848 г. запрашивал автора: «Напишите, как называется Ваш роман, чтоб можно было объявить, если хотите дать его нам, на что я и надеюсь» *(Некрасов,* т. X, с. 121). Не исключена возможность, что письмо Некрасова подтолкнуло Тургенева определить название будущего романа. Во всяком случае, на черновом автографе «Гамлета Щигровского уезда» (1848) он сделал запись: «Борис Вязовнин. Роман. Глава первая» *(ГПБ,* ф. 795 (И. С. Тургенев), № 9, л. 2 об.)[129]. Следующий вариант названия романа, замысел которого, очевидно, занимал творческие помыслы Тургенева, был зафиксирован на первом листе рукописи «Mémorial de 1818 à 1853» («Памятные записи от 1818 до 1853» — см.: *Mazon,* p. 102, а также наст. изд., т. 11): «Борис Вязовнин, или Два поколения. Роман» (запись не датирована).

На рубеже 1840-х — 1850-х годов Тургенев начал также работу над комедией «Компаньонка» и 23 марта 1850 г. составил перечень действующих лиц этой комедии (см. наст. изд., т. 2, с. 524, 694–698).

По всей вероятности, содержание задуманных в это время произведений еще не было дифференцировано. Так, история жизни Бориса Вязовнина легла в основу повести «Два приятеля» (1853), а роман «Два поколения» вобрал в себя художественные заготовки, сделанные для комедии «Компаньонка», о чем свидетельствует почти полное совпадение действующих лиц этих произведений. (Об этом см. ниже.) Кроме того, приступая к составлению плана романа, Тургенев вместо заглавия «Два поколения» первоначально написал «Ком<паньонка>» (см. наст. том, с. 351, а также: *Мазон* А. Работа Тургенева над романом «Два поколения». — *Лит Насл,* т. 73, кн. 1, с.

52).

Таким образом, план романа «Два поколения» был написан после 23 марта 1850 г. (авторская дата списка действующих лиц «Компаньонки»), но до ноября 1852 г., когда Тургенев начал уже писать роман.

О существовании среди парижских рукописей Тургенева плана романа «Два поколения» известно было из описания А. Мазона (1930). Он отметил, что на первой странице плана романа написано заглавие его — «Два поколения» и перечень действующих лиц с указанием дат рождения и возраста каждого из них к моменту начала действия. Мазон указал также, что на обороте первого листа и на следующих страницах расположен план романа по главам. Из плана видно, что Тургеневым был задуман роман в трех частях, состоящий в общей сложности из 25 глав. Началом действия романа «Два поколения» было намечено 12 июня 1845 г. (см.: *Mazon,* p. 54–55).

В обширной литературе, посвященной романам Тургенева, нередко встречаются упоминания и о «Двух поколениях» — произведении, текст которого до нас не дошел, так как, по-видимому, был уничтожен самим автором. С первой частью романа «Два поколения» были знакомы некоторые из современников Тургенева. Основываясь на критических отзывах С. Т. и К. С. Аксаковых, а также П. В. Анненкова и В. П. Боткина, содержащихся в их письмах к Тургеневу, Н. М. Гутьяр в статье «И. С. Тургенев в ссылке (1852–1853)» сделал попытку хотя бы в общих чертах восстановить содержание первой части романа. Исследователь писал: «Действие происходит в деревне, в богатом помещичьем доме, с подробного описания которого и начинает автор свой роман. Хозяйка его, Глафира Ивановна, женщина характера тяжелого, взбалмошная и непоследовательная, она производит впечатление чего-то отталкивающего, патологического. Деспотичная и не привыкшая уважать окружающих, она оказывает особенное доверие лишь соседу своему Чермаку — одному из главных героев романа. В невеселый дом ее вливается оживляющая струя с приездом лектрисы, Елизаветы Михайловны, девушки милой и грациозной. При счастливой наружности она отличается твердостью ума и характера, проявляя при этом некоторую пугливость к окружающим. Появление этого лица в семье невозможной барыни останавливает всеобщее внимание, она на многих производит сильное впечатление и прежде всего на 26-летнего сына Глафиры Ивановны — Дмитрия Петровича. Последний, воспитанный под тяжелой опекой своей матери, является человеком с слабым, капризным характером.

Будучи неиспорченным по натуре, он не умеет и не может быть прямым и естественным. Застенчивый по природе, он часто груб и резок в обращении. Обладая живым нравственным чувством, он в состоянии нередко поступать вопреки ему. Воображая себя озлобленным, он в сущности лишь боится сознаться, что не может уважать себя. Капризно влюбляясь в Елизавету Михайловну, он так же капризно, по плану автора, впоследствии и ненавидит ее. Кроме названных лиц, в первой части выступают еще: управляющий имением Глафиры Ивановны — Василий Васильевич, француз, доктор, Леон (секретарь барыни), бурмистр Павел, какой-то Нилушка и другие» (*Гутьяр* Н. М. И. С. Тургенев. Юрьев, 1907, с. 157).

Н. Л. Бродский, напечатав в статье «Тургенев — драматург. Замыслы» *(Центрархив, Документы,* с. 6–7) список действующих лиц задуманной, но не написанной Тургеневым комедии «Компаньонка» и сопоставив его с письмами к Тургеневу Аксаковых, Анненкова и Боткина, а также с отрывком из романа, напечатанным автором в 1859 г. под названием «Собственная господская контора» (см. выше, с. 7 — 17), пришел к выводу, что Тургенев в романе «Два поколения» «обработал в повествовательной форме сюжет < ...> комедии „Компаньонка“» *(Центр-архив, Документы,* с. 7). Ю. Г. Оксман, присоединившись к мнению Бродского, также утверждал, что материалы этой незаконченной комедии были использованы Тургеневым в его романе 1852–1853 годов *(Т, Сочинения,* т. IV, с. 229–230; см. также наст. изд., т. 2, с. 694–697).

Публикуемый выше план романа с перечнем действующих лиц позволяет несколько уточнить и дополнить выводы Н. Л. Бродского и Ю. Г. Оксмана. Сравнивая перечни действующих лиц плана романа «Два поколения» и комедии «Компаньонка», можно заметить, что многие действующие лица перешли из пьесы в план романа даже без изменения фамилий. Это — Халабанская, Нилушка, M-r Dessert, Моржак-Лендрыховский, Кинтилиян, Léon, Васильевна, Метр Жан (Свергибус), Маша, Пуфка и Суслик. У некоторых из главных героев остались те же имена и отчества, но изменились фамилии. Так, например, Глафира Ивановна Гагина в списке действующих лиц «Компаньонки» именовалась Звановой; ее сын Дмитрий Петрович и двоюродный брат мужа, Василий Васильевич, также были Звановыми. Платон Егорыч Чермак был Чигасовым, Елизавета Михайловна Богданова носила фамилию Баум, чета Стяжкиных именовалась в «Компаньонке» Подоклюевыми и т. д. (см. наст. изд., т. 2, с. 524). В перечень действующих лиц романа Тургенев включил, однако, и

несколько новых персонажей, отсутствовавших в комедии, а именно: Егора, графа Дмитрия Павловича (сначала он был назван Владимиром Николаевичем), доктора Шанского, бурмистра Онисима, охотника Владимира.

Анализ плана приводит к выводу, что задуман был роман социально-психологический, но значительно отличающийся от последующих тургеневских романов (особенно от «Рудина» и «Дворянского гнезда»), в центре которых стоит передовой деятель или рефлектирующий герой, подобный Василию Васильевичу («Гамлет Щигровского уезда») или Чулкатурину («Дневник лишнего человека»).

В романе «Два поколения» Тургенева интересовал, по-видимому, не столько Дмитрий Петрович Гагин, у которого в плане отмечен «слабый характер», в его столкновении с сильной женщиной (Елизавета Михайловна), сколько изображение помещичье-крепостнического быта. Постоянные приезды Тургенева в Спасское-Лутовиново давали ему широкие возможности наблюдать жизнь не только в имении его матери, но и в других усадьбах Орловской и Тульской губерний. О том, что в своем романе он «старался как можно проще и вернее изобразить то, что видел и испытал сам», Тургенев писал Анненкову 15 (27) марта 1853 г. Прототипом Дмитрия Петровича Гагина в известной степени является брат писателя, Николай Сергеевич Тургенев. А какими-то чертами характера его будущей жены — Анны Яковлевны Шварц (см. о ней: *Т, ПСС и П, Письма,* т. II, с. 692), служившей в качестве камеристки у В. П. Тургеневой, писатель воспользовался при создании образа лектрисы Елизаветы Михайловны. Не случайно он собирался вначале (в плане «Компаньонки») дать ей фамилию Баум, указывающую на ее немецкое происхождение (А. Я. Шварц также происходила из прибалтийских немцев). Возможно, что одним из прообразов Елизаветы Михайловны является и г-жа Риттер, надзирательница, взятая В. П. Тургеневой в ее московский дом (см. об этом: *Заборова* Р. Б. Тургенев и его дядя Н. Н. Тургенев. — *Т сб,* вып. 3, с. 227). Эта же исследовательница называет в качестве прототипов четы Стяжкиных Авдотью Ивановну Лагривую и ее мужа, Арсения Семеныча Шанского — доктора А. Е. Берса. О прототипах других действующих лиц романа (Глафиры Ивановны, Василия Васильевича, Léon'а) см. в комментарии к «Собственной господской конторе» (наст. том, с. 387).

Работа над составлением плана и созданием первой части романа протекала в тот период, когда Тургенев постоянно читал и перечитывал Гоголя, когда создавались последние из рассказов,

вошедшие в книгу «Записки охотника», а также «Муму» и «Постоялый двор» — произведения, принадлежавшие к гоголевскому направлению. В романе «Два поколения», насколько возможно судить о нем на основании плана, также должен был совершенно отчетливо проявиться именно гоголевский метод сатирического изображения не центральных героев, а всей окружающей их социальной среды (Гагина, приживалки, соседи-помещики). «В них я, если смогу, постараюсь выразить современный быт, каким он у нас *выродился»,* — писал Тургенев С. Т. Аксакову 30 августа (11 сентября) 1853 года.

Из плана романа видно, что Тургенев собирался изобразить тяжелое положение бедной девушки — лектрисы Елизаветы Михайловны в доме богатой помещицы Гагиной. Лектриса, вскоре после своего приезда к Глафире Ивановне, привлекает общее внимание проживающих в усадьбе. Поочередно Елизавета Михайловна становится жертвой то ненависти со стороны приживалки Халабанской, то грубости Дмитрия Петровича, влюбленного в нее, но поверившего наглым наветам Чермака о ее двойной игре, интриганстве. В результате доноса, сделанного Стяжкиными Глафире Ивановне, а также сложных взаимоотношений с Дмитрием Петровичем, Елизавета Михайловна должна покинуть дом Гагиной и уехать в Москву. Там ее отыскивают сначала Дмитрий Петрович, затем Василий Васильевич, также влюбленный в нее. Глафиры Ивановны в это время уже нет в живых, но бывшая лектриса отвергает обоих претендентов на ее руку.

Таково вкратце должно было быть содержание трех частей романа «Два поколенчя», если б текст его целиком соответствовал публикуемому плану. Однако прежде чем устанавливать, насколько план был реализован Тургеневым при создании первой части романа, следует обратиться к предыстории и отдельным этапам работы писателя над этим произведением.

О том, что Тургенев размышлял о сущности разных повествовательных жанров — повести и романа — еще несколько ранее, в 1847 году, косвенно говорит его рецензия на «Повести, сказки и рассказы Казака Луганского». В этой рецензии Тургенев указывал, что В. И. Далю не всегда удаются его «большие повести», в которых следует «связать и распутать узел, представить игру страстей, развить последовательно целый характер» (наст. изд., т. 1, с. 279). Напечатанная в январской книжке «Современника» за 1852 год статья о романе Е. Тур (Е. В. Салиас) «Племянница» также явилась свидетельством тогдашнего пристального внимания и интереса

Тургенева к жанру романа. Свои мысли о дальнейшей судьбе русского романа Тургенев отчетливо высказал именно в этой статье. Тургенев полагал, что для объективного изображения русской общественной жизни наиболее пригодны с точки зрения формы, особенностей художественной структуры романы «сандовского» и «диккенсовского» типов, т. е. романы социальные (см. наст. изд., т. 4, с. 477–478). У писателя существовало, однако, сомнение в том, достаточно ли «высказались уже стихии нашей общественной жизни, чтобы можно было требовать четырехтомного размера от романа, взявшегося за их воспроизведение». Тургенев считал, что «успех в последнее время разных отрывков, очерков, кажется, доказывает противное. Мы слышим пока в жизни русской отдельные звуки, на которые поэзия отвечает такими же быстрыми отголосками» (там же).

Несмотря на сомнения в возможности создания в России того времени социального романа, Тургенев именно в начале 1850-х годов переходит в своем творчестве от очерка и рассказа к произведениям крупного жанра — повестям («Дневник лишнего человека», «Постоялый двор», «Два приятеля» — наст. изд., т. 4) и к роману «Два поколения» (1852–1853). «Записки охотника», вышедшие отдельным изданием в августе 1852 г., в это время были для Тургенева уже пройденным этапом, что сознавал не только сам писатель, но и его литературные друзья. Так, Анненков 12 (24) октября 1852 г. писал Тургеневу: «Я решительно жду от вас романа с полной властью над всеми лицами и над событиями и без наслаждения самим собой (т. е. своим авторством), без внезапного появления оригиналов, которых вы уже чересчур любите… И такой роман вы напишете непременно…» *(Рус Обозр,* 1894, № 10, с. 488, 489). Московские друзья Тургенева также ждали от писателя произведения большого жанра. Е. М. Феоктистов, прочитав в «Современнике» рассказы «Касьян с Красивой Мечи» и «Бежин луг» (которые ему очень понравились), тем не менее писал Тургеневу 30 марта (11 апреля) 1851 г. о том, что пора «переменить род», что «ужасно хочется прочесть какую-нибудь большую повесть», вышедшую из-под его пера.

Тургенев не оставался безучастным к пожеланиям друзей, к тем надеждам, которые на него возлагались. Собираясь выехать из Петербурга в Спасскую ссылку, писатель сообщал Луи и Полине Виардо 1 (13) мая 1852 г., что в деревне он будет «работать над своим романом». Однако прошло много времени, прежде чем писатель взялся за этот труд. Начиная работу над романом, Тургенев испытывал большие сомнения на этот раз уже не в «стихиях общественной

жизни», а в собственных силах и возможностях. Эта его неуверенность отражена, в частности, в письме к К. С. Аксакову от 16 (28) октября 1852 г. «Простота, спокойство, ясность линий, добросовестность работы < ...>, которая дается уверенностью, — всё это еще пока идеалы, которые только мелькают передо мной», — писал Тургенев. И в заключение подчеркивал: «Я оттого, между прочим, не приступаю до сих пор к исполнению моего романа, все стихии которого давно бродят во мне — что не чувствую в себе ни той светлости, ни той силы, без которых не скажешь ни одного *прочного* слова».

Вплотную Тургенев приступил к написанию первой части романа, по-видимому, не ранее ноября 1852 г. Об этом свидетельствует его письмо к Е. М. Феоктистову от 27 декабря 1852 г. (8 января 1853 г.), в котором сообщалось об окончании третьей главы и намерении «кончить первую часть к марту». 10 (22) января 1853 г. Тургенев сообщал Анненкову: «…велю переписать написанные мною пять глав романа и доставлю их Вам в Петербург — с тем, чтобы Вы *их никому не показывали* — и возвратили мне их с Вашими замечаниями и советами». О том, что первая часть романа будет «состоять из 12 глав» и что уже написаны «семь», известно из писем Тургенева к С. Т. Аксакову от 22 января (3 февраля) и Анненкову — от 29 января (10 февраля) 1853 г. И, наконец, 24 февраля (8 марта) 1853 г. Тургенев мог сообщить Анненкову: «…я всё это время писал свой роман с большим жаром и кончил 1-ую часть — 12 глав — страниц около 500!..» В том же письме Тургенев писал: «…моя вещь для Вас переписывается, и я жду Ваших замечаний и советов».

Переписывание романа началось в действительности лишь в конце марта, когда из Москвы в Спасское приехал писец, о чем Тургенев написал Анненкову 2 (14) апреля 1853 г. Процесс переписки оказался длительным, и только 25 мая (6 июня) 1853 г. Тургенев сообщил Анненкову, что посылает ему первую часть романа «послезавтра» и «не без волнения» будет ждать «мнения» адресата. Тургенева волновало следующее обстоятельство: «Попал ли я в тон романа — вот что главное. Тут уж частности, отдельные сцены не спасут сочиненья, роман — не растянутая повесть, как думают иные». В том же письме сообщалось, что роман «будет состоять из трех частей» и что М. С. Щепкину (он гостил у Тургенева в Спасском в марте 1853 г.) «особенно понравились главы 9-ая и 10-ая»; по поводу этих глав он дал Тургеневу «полезные советы», которыми тот «воспользовался».

Писателю хотелось также, чтобы первую часть романа прочитали Аксаковы. 5 (17) июня 1853 г., обещая С. Т. Аксакову, что тот получит

рукопись после того, как закончит чтение Анненков, Тургенев просил адресата и его сыновей сказать, «что они думают» о романе.

В чтении его нового произведения друзьями и знакомыми Тургенев был особенно заинтересован, вероятно, потому, что о печатании романа он в то время не мог и помышлять. Этому мешало и его положение ссыльного, и те цензурные осложнения, которые Тургенев не без основания предвидел. Вот почему в письме к Анненкову от 30 мая (11 июня) 1853 г. писатель, с одной стороны, давал адресату «полное право прочесть < ...> роман», кому тот найдет «полезным (Коршу, например), для отобрания мнений», а с другой стороны, в том же письме содержалась просьба не читать роман «никому, кто бы взглянул < ...> с точки зрения журналистики или печатанья».

В течение июня — августа 1853 г. с рукописью первой части романа «Два поколения» ознакомились и прислали Тургеневу свои критические замечания Анненков, С. Т. и К. С. Аксаковы, В. П. Боткин и Н. X. Кетчер; читал ее также Е. Ф. Корш. В целом положительно отозвались о рукописи Анненков в письме от 12 (24) июня 1853 г. (см.: *Рус Обозр,* 1894, № 10, с. 489–491, где оно ошибочно опубликовано с датой «1 июня») и С. Т. Аксаков, который 4 (16) августа писал Тургеневу: «Первая часть, как приступ к роману, очень интересна и возбуждает много мыслей и ожиданий» (там же, с. 482). В противоположность С. Т. Аксакову, В. П. Боткин в своем письме к Тургеневу от 18 (30) июня 1853 г. сказал о первой части «Двух поколений», что она «читается без увлечения, потому что ни одно из лиц не возбуждает ни большого участия, ни большого любопытства» *(Боткин и Т,* с. 40), и далее продолжал в том же резко критическом тоне.

По мнению Анненкова и Аксаковых, наиболее удачными явились в первой части романа образы Глафиры Ивановны и Василия Васильевича (см. об этом подробно в комментарии к «Собственной господской конторе» — с. 387). Понравился и Чермак, о котором писал, отнеся его к тем лицам, которые «превосходны», С. Т. Аксаков в письме к Тургеневу от 4 (16) августа 1853 г. *(Рус Обозр,* 1894, № 10, с. 482). На то, что «очень хорошо задумано и начинает рисоваться лицо Чермака», указал Тургеневу и В. П. Боткин в приведенном выше письме *(Боткин и Т,* с. 43).

Положительную оценку получило у друзей писателя изображение природы в первой части романа. В частности, Анненков в письме от 12 (24) июня 1853 г. упомянул о «теплых и верных», по его мнению, описаниях природы *(Рус Обозр,* 1894, № 10, с. 490). А В. П. Боткин 18

(30) июня 1853 г. писал Тургеневу, что «небольшие и всегда грациозные картины природы» изредка прерывают «монотонность» повествования, которое в общем «тянется < ...> обстоятельно, добросовестно, трудолюбиво и рутинно…» *(Боткин и Т,* с. 42, 43).

Несмотря на то что Тургенев, по-видимому, довольно ярко обрисовал в первой части своего романа помещичий быт и ему удались такие бытовые персонажи, как Глафира Ивановна, Василий Васильевич и Чермак, а также на то, что картины природы были нарисованы, видимо, с присущим Тургеневу мастерством, — все-таки роман в целом не получился. Вышло, вероятно, то, чего так боялся Тургенев, когда писал Анненкову 25 мая (6 июня) 1853 г., — что «частности, отдельные сцены — не спасут сочиненья».

Неудача, постигшая Тургенева при создании первой части его романа, объяснялась главным образам тем, что неотчетливыми вышли образы двух центральных персонажей, Дмитрия Петровича и Елизаветы Михайловны — представителей молодого поколения, с которыми связана была собственно романическая сторона произведения. Анненков, например, считал, что образ Дмитрия Петровича не получился у Тургенева достаточно определенным («… молодца Митю вы, кажется, не дописали»), так как в романе отсутствует глава о его воспитании. Не понравилось Анненкову и то, что слишком подробно дана биография Елизаветы Михайловны. Критик находил, что из нее «рано или поздно придется поубавить многое» *(Рус Обозр,* 1894, № 10, с. 490). В. П. Боткин также находил, что «Дмитр<ий> Петр<ович> < ...> темен и неопределенен» и что «такая же неопределенность < ...> лежит и на лице Елиз<аветы> Мих<айловны>. Участие и любопытство, возбуждаемые ею, очень слабы» *(Боткин и Т,* с. 40–41). Почти буквально то же сказал об этих двух героях и С. Т. Аксаков. По его мнению, «Дмитрий Петрович как-то очень темен и несимпатичен» и «оба молодые люди, то есть Елизавета Михайловна и Дмитрий Петрович, особенно последний, не возбуждают участия, и это верный знак, что они очерчены неудачно». Подобно К. С. Аксакову, он был недоволен наличием «любовной чумы» в первой части романа: «Ведь, кажется, в нее все будут влюблены», — писал он Тургеневу о лектрисе 4 (16) августа 1853 г. *(Рус Обозр,* 1894, № 10, с. 483).

Неясность или неопределенность образов Дмитрия Петровича и Елизаветы Михайловны объяснялась прежде всего тем, что они не были выразителями каких-либо общественных идеалов, передовыми людьми эпохи. Это обстоятельство отметил К. С. Аксаков, писавший

Тургеневу в начале августа 1853 г., что «из Дмитрия Петровича могло бы выйти самое замечательное лицо, на котором бы обозначился весь современный общественный вопрос. Общественный интерес — вот что должно быть задачей литературных произведений» (там же, с. 486).

Тургенев, который всегда с большим вниманием относился к замечаниям Анненкова и С. Т. Аксакова, обещал первому в письме от 15 (27) июня, что сократит «главу о лектрисе». «Что же касается до главы о воспитании Мити, — продолжал Тургенев, — то она в моем плане начинает 2-ую часть романа — и до половины уже написана, — но после Вашего письма я убедился, что ее надо поместить в первую часть…». Отвечая С. Т. Аксакову, Тургенев писал ему 30 августа (11 сентября) 1853 г.: «…в мою героиню (которую, впрочем, я всю переделаю) в сущности не влюбляется *никто* — и менее всех Дмитрий Петрович, который, напротив, ее так же капризно возненавидит…».

Сопоставляя эти высказывания Тургенева о Дмитрии Петровиче с соответствующими местами плана, можно заметить существенную разницу между ними. В публикуемом плане вторая часть романа вовсе не начинается главой о воспитании Мити; она здесь вообще отсутствует. (Фраза «Описание Д. П.», вписанная карандашом, заканчивает в плане главу 9 / 12 первой части романа.) И если в цитированном выше письме к Анненкову Тургенев утверждал, что именно ею начинается в его плане вторая часть, то он, очевидно, имел в виду уже какой-то другой, позднее составленный план.

Из публикуемого плана романа совсем не вытекает также и того, что к Елизавете Михайловне в сущности все остаются равнодушными, а Дмитрий Петрович даже возненавидит ее. Заключительная глава третьей части плана предусматривает приезд в Москву Дмитрия Петровича и Василия Васильевича с целью сделать предложение Елизавете Михайловне.

Огорченный отрицательными отзывами В. П. Боткина, а также Н. Х. Кетчера, Тургенев в письме к Анненкову от 9 (21) июля 1853 г. признавался: «…время самообольщения заменилось для меня временем сильного сомнения в самом себе — и мне теперь долго нельзя будет взяться за перо. Нужно все-таки некоторого роду опьянение, чтобы работать, а когда его нет — ничего не клеится». Анненков, защищая роман от критики Боткина и Кетчера, писал Тургеневу 14 (26) августа 1853 г.: «…хотя бы вам пришлось переделать всю первую часть, переделайте ее, но дальнейшего развития интриги и замысла ни под каким видом не оставляйте. В них

слышится живое трепетание жизни < ...> верьте мне. Сделайте их цензурнее, и пустите в публичный оборот» *(Рус Обозр,* 1894, № 10, с. 497).

Неожиданная поддержка была получена и от Некрасова, который 26 сентября ст. ст. 1853 г. писал Тургеневу: «В проезд мой через Москву слышал я от В. Ботк<ина> и Н. Кетч<ера> ругательства твоему роману… меня удивил выбор судей с твоей стороны: как Б<откин>, так и К<етчер> очень мало понимают в этом деле. Если ты рассчитывал, что они дадут прочесть твой роман кому-нибудь имеющему поболее вкусу, то очень ошибся: никто, кроме них, его не читал, и решение над ним в Москве состоялось по приговору этих двух лиц < ...> Это, конечно, неважность для тебя, но еще вопрос, правы ли эти господа, и я прошу тебя не как журналист, а как твой приятель — пришли мне этот роман для прочтения. Я не хочу этим сказать, что у меня больше вкусу, но мне любопытно прочесть этот роман, и, если хочешь, я потом напишу тебе о нем свое правдивое мнение. Само собой разумеется, что я не имею тут никаких журнальных соображений» *(Некрасов,* т. X, с. 194–195).

Просьбу Некрасова Тургенев в то время исполнить не смог. 16 (28) октября 1853 г. он писал И. И. Панаеву и Некрасову: «Я сам потом досадовал на себя, зачем я не распорядился так, чтобы первую часть моего романа вам сообщили; теперь же это невозможно — рукопись только что вернулась ко мне, и я намерен приняться за переделку…». Действительно, рукопись романа Тургенев только что получил обратно от Н. X. Кетчера. В письме к Анненкову от 15 (27) октября 1853 г. он сообщал об этом и добавлял: «Кетчер ее всю испестрил заметками — спасибо ему за это — примем к сведению». Прошло около месяца, но Тургенев, по-видимому, не приступал еще к переработке романа. 14 (26) ноября 1853 г. он писал С. Т. Аксакову: «Я в Орел повезу < ...> свой роман, который я во многом переделаю. Я немного охладел к нему — однако чувствую, что надо его кончить и развить те характеры и мысли, которые только еще обозначены в первой части». А о том, что побывавший проездом в Спасском И. С. Аксаков «поощрил» Тургенева продолжать работу над романом, писатель уведомлял Анненкова несколькими днями позже, 20 ноября (2 декабря) 1853 г. Охлаждение Тургенева к роману «Два поколения» оказалось, однако, весьма продолжительным. Лишь в 1855 году он вновь решил обратиться к «Двум поколениям». 2 (14) июня 1855 г. Тургенев сообщал С. Т. Аксакову, что хочет приняться за свой роман и «переделать его с основанья». Но в те же дни он начал новую

«большую повесть», т. е. «Рудина», и 20 августа (1 сентября) 1855 г. извещал А. В. Дружинина: «Я свой роман пока оставляю под спудом — в нем мне многое не нравится — надо всё это переделать».

Некрасов, к этому времени, по-видимому, уже ознакомившийся с рукописью произведения, желал напечатать «Два поколения» в «Современнике». 12 (24) августа 1855 г. он спрашивал Тургенева: «…а роман-то твой? Ты, кажется, о нем не думаешь, а я решительно утверждаю, что первые его четыре главы превосходны и носят на себе характер той благородной деятельности, от которой, к прискорбию, так далеко отошла русская литература» *(Некрасов,* т. X, с. 232). Не подлежит сомнению, что Некрасов имеет здесь в виду принадлежность романа «Два поколения» к «натуральной школе», т. е. к гоголевскому направлению.

И позднее редакторы «Современника» не оставляли надежд на появление первого романа Тургенева в их журнале. Об этом убедительно свидетельствует письмо Чернышевского к Тургеневу от 7 (19) января 1857 г. Сообщая о тяжелом положении журнала из-за того, что Григорович, Островский и Л. Н. Толстой не выполнили своих обещаний, Чернышевский «умолял» Тургенева прислать роман «Два поколения» и тем «спасти» журнал «от крайнего затруднения» *(Чернышевский,* т. XIV, с. 331). Однако ни в «Современнике», ни в «Отечественных записках» (из писем Тургенева к А. А. Краевскому, относящихся к 1855 году, известно, что писатель предлагал «Два поколения» в этот журнал) роман этот так и не появился. Он не был завершен Тургеневым — вследствие не только критических замечаний его друзей, но и собственной неудовлетворенности. Есть основания предполагать, что Тургенев впоследствии уничтожил рукопись романа. Об этом имеются его собственные, хотя и противоречивые, свидетельства. Так, 17 февраля (1 марта) 1857 г. писатель сообщал В. П. Боткину: «Третьего дня я не сжег (потому что боялся впасть в подражание Гоголю), но изорвал и бросил в watercloset все мои начинания, планы и т. д.…». «Сожженным» назван роман «Два поколения» и в письме к П. П. Васильеву от 14 (26) июля 1870 г. Впрочем, по-видимому, рукопись «Двух поколений» если и была сожжена Тургеневым, то во всяком случае не полностью. Об этом свидетельствует не только отрывок «Собственная господская контора», опубликованный Тургеневым в 1859 г., но и один из современников писателя — И. Павловский. Со слов самого автора он рассказывает в своих воспоминаниях о том, что описание сада из уничтоженного романа (см. главу 3 части 1 плана) Тургенев

впоследствии включил в «Новь» (*Pavlovsky* I. Souvenirs sur Tourguéneff. Paris, 1887, p. 171).

Как бы то ни было, в пору создания первого романа Тургенев понимал, что ему не удалось написать проблемное произведение, отвечающее на вопросы современности; его роман оказался посвященным лишь изображению быта и любовно-психологических переживаний. Возможно, писатель сознавал, что даже название, данное роману, никак не оправдано, ибо проблема двух поколений по существу отсутствует: ни Дмитрий Петрович, ни Елизавета Михайловна никакой общественной проблемы в себе не воплощают. Высказано также предположение, что в «Двух поколениях» не оказалась преодоленной «старая манера», типичная для «Записок охотника». Не было ни развития характеров, ни развития действия, т. е. не осуществился переход Тургенева к «новой манере», к чему он так стремился после выхода в свет своей первой книги (см.: *Габель* М. О. Роман И. С. Тургенева «Два поколения». — В кн.: Второй межвузовский тургеневский сборник. Уч. зап. Курского гос. пед. ин-та, т. 51. Орел, 1968, с. 87 — 101). Наконец, Тургенев мог предполагать, что роман «Два поколения» будет трудно провести через цензуру. Но если его первая попытка создать произведение большого жанра — роман — не привела к положительным результатам, всё же она сыграла определенную роль в становлении художественного метода Тургенева-романиста, явившись, наряду с работой над повестями, ступенью на пути к созданию «Рудина» и последующих романов.

M-r Dessert, 60 лет (Ф.)… — В 1869 г. имя этого персонажа, упомянутого также в плане комедии «Компаньонка» (см. наст. изд., т. 2, с. 524), было перенесено в повесть «Странная история» (см. рассказ г-на X о «старичке французе» Дессере, его «бывшем гувернере»). В перечне действующих лиц неосуществленного рассказа «Учителя и гувернеры», относящегося, видимо, к 1881 г., также упомянут «Дессёр старик».

Метр-Жан — он же и Свергибус… — См. наст. изд., т. 2, с. 697.

<Воспоминания о Н.В. Станкевиче>

Впервые опубликовано Л. Н. Майковым по беловому автографу, извлеченному из бумаг П. В. Анненкова: *ВЕ,* 1899, № 1, с. 10–16. Перепечатано: *Рус Пропилеи,* т. III. М., 1916, с. 133–138. Вошло в издание: *Т, Сочинения,* т. XII, с. 242–248.

Печатается по тому же беловому автографу — *ИРЛИ,* ф. 93 (собрание П. Я. Дашкова), оп. 3, № 1262.

Написано, по-видимому, в Спасском летом 1856 г., между 7 (19) мая и 11 (23) июля. На это указывает, с одной стороны, упоминание о романе «Рудин», опубликованном в январской и февральской книжках «Современника» 1856 г., а с другой — то, что в воспоминаниях отмечаются черты сходства между Станкевичем и Л. Н. Толстым; с последним Тургенев, после недолгого знакомства в Петербурге в ноябре-декабре 1855 г., сблизился именно в эти летние месяцы 1856 г. Более точные данные отсутствуют.

Воспоминания о Станкевиче были написаны Тургеневым, вероятно, по просьбе П. В. Анненкова как подсобный материал для его статьи «Н. В. Станкевич. Биографический очерк» (*Рус Вести,* 1857, № 2, кн. 1, с. 441–490, кн. 2, с. 695–738; № 4, кн. 1, с. 357–398); в том же году вышло отдельное издание, с добавлением писем Станкевича: «Николай Владимирович Станкевич. Переписка его и биография, написанная П. В. Анненковым», М., 1857.

Анненков, не знавший лично Станкевича, при составлении его биографии пользовался его перепиской и рассказами его друзей. Но ему не хватало, по-видимому, живых бытовых деталей, характеризующих Станкевича и его окружение, впечатлений от его внешности, манеры держаться, говорить и т. д. Всё это мог дать ему Тургенев, близко общавшийся со Станкевичем в последние месяцы его жизни; потому-то написанные им воспоминания носят такой личный, интимный характер. Анненков заимствовал из написанного Тургеневым ряд отдельных черточек и крупных или мелких фрагментов, выделяя их — не всегда, однако — кавычками и авторскими ремарками, без упоминания имени Тургенева. Так, описание внешности Станкевича, взятое из записки Тургенева дословно, дано в кавычках с авторскими вводными словами: «Одному из его знакомых мы обязаны следующим описанием наружности Станкевича» *(Станкевич, Переписка,* с. 233); эпизод у развалины по

дороге из Альбано в Рим дан в такой форме: «…одному из товарищей его вздумалось закричать громким голосом: Divus Caius Julius Caesar» (там же, с. 166); описание остроумнейшей беседы Е. П. Фроловой с гостем-французом введено со словами: «Один из молодых русских, так радушно принятых ею в Берлине, рассказывал нам сцену, которой был очевидцем» (там же, с. 210–211); рассказ о том, как Станкевич читал стихи Пушкина, подымаясь по лестнице, поясняется замечанием: «Приятель, сопровождавший его, следовал за ним и видел…» (там же, с. 228). Характеристики отношений между Фроловой и Беттиной Арним, Фарнгагеном и Беттиной (там же, с. 210), упоминание об отрицательном отношении Станкевича к Жорж Санд (с. 226) даны без ссылки на источник, но эти данные явно заимствованы Анненковым из воспоминаний Тургенева.

Тургенев очень интересовался работой Анненкова над биографией и перепиской Станкевича и не раз спрашивал о ходе работы в письмах к Анненкову: «А что биография Станкевича — когда выйдет?» (3 (15) января 1857 г.); «Да, кстати, что же издание писем Станкевича? Подвигается?» (4 (16) марта 1857 г.); «я с истинным нетерпением ожидаю статьи о Станкевиче» (9 (21) марта 1857 г.). По прочтении первых двух статей о Станкевиче в «Русском вестнике» Тургенев, воздавая «хвалу» Анненкову, писал ему 3 (15) апреля 1857 г.: «Вы воскресили мне его <Станкевича> светлое лицо, Вы перенесли меня во времена моей молодости, весь смысл ею жизни угадан, верно, тонко передан — спасибо! Но зачем Вы иногда так мудрено пишете? < ...> Еще раз искреннее и горячее спасибо. Да издайте, ради бога, скорее эти письма. Я уже их обещал <Л. Н.> Толстому, который будет упиваться ими, за это я ручаюсь».

Еще до публикации статей Анненкова Тургенев, прочитав в 9-й книжке «Современника» шестую статью «Очерков Гоголевского периода русской литературы» Чернышевского, где речь шла о кружках 30-х годов, о Станкевиче, Белинском и «друзьях г. Огарева» (т. е. о Герцене), в ряде писем к друзьям выразил свое удовлетворение — очевидно тем, что в статье отдавалось должное историческому значению Белинского, Станкевича и их сверстников. «Статья Чернышевского меня искренно порадовала», — писал он Панаеву 29 октября (10 ноября) 1856 г., делая при этом оговорку о том, что Чернышевский «несколько нецеремонно обходится с живыми людьми, рассматривая их частную жизнь с исторической точки зрения…». «Сознаюсь, — продолжает он, — что при выбранном им предмете трудно было совершенно избегнуть это неудобство, но все-таки

считаю своею обязанностью это заметить. А статья прекрасна, и иные страницы меня истинно тронули». Так же писал Тургенев братьям Колбасиным («От статьи Чер<нышевско>го я пришел в умиление — пожмите ему от меня за нее руку» — 19 (31) октября 1856 г.), Боткину (25 октября (6 ноября) 1856 г.), Дружинину (30 октября (11 ноября) 1856 г.), Л. Н. Толстому (16 (28) ноября 1856 г.), резко разойдясь во мнении с Анненковым и Боткиным (см.: *Т и круг Совр,* с. 284). В статье Чернышевского он видел подтверждение того, что в художественной форме было им высказано устами Лежнева в «Рудине».

Образ Станкевича находил себе неоднократно — и до и после написания статьи о нем для Анненкова — отражения в творчестве Тургенева. В рассказе «Андрей Колосов», по мнению некоторых исследователей, Тургенев, отмечая высокий авторитет своего героя среди товарищей, в какой-то степени воспроизводил черты, характерные для Станкевича в годы. его студенчества (*Гершензон* М. О. Образы прошлого. М., 1912, с. 162–163; *Бродский* Н. Л. Поэты кружка Станкевича. СПб., 1913, с. 60; *Машинский* С. Станкевич и его кружок. — В его кн.: Слово и время. Статьи. М., 1975, с. 47–52). Однако позднейшие исследования не подтверждают этого мнения, — см. наст. изд., т. 4, с. 555, примечания к «Андрею Колосову». В статье «Два слова о Грановском» (1855) с глубоким уважением упомянуто имя Станкевича (см. наст. том, с. 327). Образ Станкевича и атмосфера его кружка запечатлены в «Рудине» в образах Покорского и его друзей (см. наст. том, с. 255–258). Позднее, в повести «Призраки» (1863), Тургенев воспроизвел эпизод, рассказанный в воспоминаниях о Станкевиче, — воззвание, обращенное к Юлию Цезарю среди развалин. Сюжет повести «Несчастная» (1868) возник из рассказа Станкевича, в его письме к Я. М. Неверову от 15 (27) сентября 1833 г., о трагически погибшей девушке Эмилии, приемной дочери московского музыканта Ф. Гебеля (см.: *Станкевич, Переписка,* с. 245–247). Четыре строки из посвященного ей стихотворения Станкевича «На смерть Эмилии» цитируются в тексте последней, XXVIII главы повести.

Первая публикация воспоминаний о Станкевиче в «Вестнике Европы» 1899 г. вызвала несколько рецензий в газетах: *Рус Вед,* 1899, № 13, 13 (25) января, с. 2 (Новости литературы и журналистики); Новое время, 1899, № 8208, 3 (15) января, с. 3 (Среди газет и журналов) и др.

Меня познакомил с Станкевичем — в 1838-м году, в конце. — Тургенев допускает неточность. Первое знакомство его со

Станкевичем состоялось в 1833 г. в Московском университете (см.: *Станкевич, Переписка,* с. 64). В период жизни Тургенева в Петербурге (1834–1838) и в первые месяцы его пребывания в Германии (летом 1838 г.) они не встречались (если не считать мимолетную встречу в Эмсе, в середине июня) и увиделись в Берлине, по возвращении туда Станкевича из путешествия по Германии, 23 сентября (5 октября) 1838 г. Зиму 1838–1839 г., а также летом — в июне 1839 г. Тургенев и Станкевич изредка встречались в Берлине (см. письмо Тургенева к Т. Н. Грановскому от 8 (20) июня 1839 г. из Берлина). Осенью 1839 г. Тургенев вернулся в Россию, а в конце февраля 1840 г. приехал в Рим, где вновь увиделся со Станкевичем — и на этот раз ближе сошелся с ним. Первые страницы воспоминаний Тургенева относятся к берлинским их встречам 1838–1839 гг.

...не «виршеплет» ли это Станкевич... — Этот вопрос Тургенева вызван был тем, что в 1829–1836 гг. Станкевич опубликовал в журналах и альманахах несколько лирических стихотворений (см.: *Станкевич* Н. В. Стихотворения. — Трагедия. — Проза. М., 1890).

...он — в университет не ходил. — Как видно из писем Станкевича к родным и друзьям, он на самом деле гораздо ближе был связан с Берлинским университетом, чем изображает Тургенев: в 1838 г. он посещал лекции профессоров К. Вердера (1806–1893) по философии, Л. Ранке (1795–1886) по новейшей истории, Г. Гото (H. Hotho, 1802–1873) по искусствоведению и других (см.: *Станкевич, Переписка,* с. 175, 187 и др.).

Неверов — Януарий Михайлович (1810–1893), друг Станкевича (с которым был в переписке с 1831 г.) и Грановского, впоследствии — писатель и педагог, автор статей о воспитании и воспоминаний о Тургеневе *(Рус Ст,* 1883, № 11). Тургенев познакомился с ним весной 1838 г. в Эмсе, где Неверов находился вместе со Станкевичем. В 1838–1839 гг. Неверов жил в Берлине на одной квартире с Тургеневым; он познакомил Тургенева с К. Фарнгагеном фон Энзе, с оппозиционно настроенным семейством Зигмунта, отца Эммы Гервег, жены Г. Гервега, и другими берлинцами. В 1839 г. Неверов и Грановский уехали в Россию.

...девица, по имени Берта... — О ней упоминает Тургенев в письмах к Грановскому от 8 (20) июня 1839 г. и 4 (16) июля 1840 г. Сохранились два ее письма к Тургеневу по поводу смерти Станкевича *(ГИМ).*

...с Ефремовым... — Александр Павлович Ефремов (1814–1876) — друг Станкевича, приятель Белинского, Бакунина и Тургенева. В 1839–

1841 гг. изучал географические дисциплины в Берлинском университете. В 1840 году состоял в переписке с Тургеневым.

…Станкевич — театр посещал часто… — Станкевич в Берлине посещал Оперный и Кенигштадтский театры. Упомянутые Тургеневым певицы — Каролина Лёве (1816–1901) и Августа Фассман (1808–1872) выступали в Оперном театре, последняя главным образом в операх Глюка.

Любимцами Станкевича были — Герн и Бекманн. — Герн Альберт Леонард (1789–1869) и Бекманн Фридрих (1803–1866) — комические актеры Кенигштадтского театра; Бекманн — автор и исполнитель многих «локальных поссов» (народных фарсов) с куплетами на злобу дня. О спектаклях с участием Бекманна Станкевич писал А. П. Ефремову еще в 1837 году, отмечая склонность этого актера вводить в исполняемые им роли «остроты своего изобретения», пользовавшиеся неизменным успехом у публики (см.: *Станкевич, Переписка,* с. 427). Станкевич и Тургенев, не без влияния Бекманна, сочиняли каламбуры и юмористические стихи, которые посылали своим друзьям. Высказано предположение, что пародийная сцена Тургенева «Нечто, или Чемодан» также навеяна впечатлениями от выступлений Бекманна (см. письмо Тургенева к М. А. Бакунину и А. П. Ефремову от 29 августа (10 сентября) 1840 г.).

Чаще всего встречал я его у Фроловых. — Фроловы — Николай Григорьевич (1812–1855) и Елизавета Павловна, урожд. Галахова, — приехали в Берлин из Швейцарии в конце 1837 г. Фролов, бывший гвардейский офицер, в 1834 / 35 г. слушал лекции в Дерптском университете вместе с И. П. Галаховым. В конце 1840-х годов Фролов поместил в «Современнике» ряд своих работ: «Исправительные тюрьмы в Швейцарии» (1847, № 9); перевод «Космоса» А. Гумбольдта (1847, № 10, 12; 1848, № 2, 7; 1849, № 9 и др.). С 1852 г. издавал журнал «Магазин землеведения и путешествий». В 1849 г. написал биографию Станкевича, оставшуюся неизданной: в *ГИМ* хранятся ее черновые рукописи и цензурованный наборный экземпляр с цензорскими купюрами *(Лит Насл,* т. 56, с. 169). Белинский относился отрицательно к трудам Фролова (*Белинский,* т. XII, с. 420). Тургенев дал ему памфлетную характеристику в «Гамлете Щигровского уезда» (см. наст. изд., т. 3, с. 263 и примеч., с. 502).

Беттина — Беттина (Элизабет) фон Арним, урожд. Брентано (1785–1859), немецкая писательница, автор «Переписки Гёте с ребенком» (1835). Уравновешенной, светской Е. П. Фроловой, которая мало интересовалась современной общественной и политической

жизнью, была глубоко чужда эта темпераментная и эксцентричная женщина, проявлявшая жгучий интерес к современному революционному движению и социальным проблемам. Тургенева Беттина Арним в этот период интересовала как корреспондентка Гёте и его почитательница (см. наст. том, с. 495).

Гумбольдт — Александр Гумбольдт (1769–1859), знаменитый немецкий естествоиспытатель; в 1829 г. по приглашению Николая I приезжал в Россию и объехал Урал, Сибирь и Центральную Азию.

Фарнгаген — Фарнгаген фон Энзе, Карл Август (1785–1858), немецкий писатель и дипломат, мемуарист, критик и публицист; был знаком со многими русскими писателями и общественными деятелями, проявлял большой интерес к русской литературе, политической и общественной жизни, критически относился к политическому и социальному строю Германии. В его дневниках есть записи о некоторых вечерах у Фроловых. Так, в апреле 1838 г. у них были споры о духовном наследии, культуре и цивилизации (*Tagebücher,* B. I, S. 89), а 6 декабря 1838 г. обсуждалось художественное и общественное значение романа Гёте «Годы учения и странствований Вильгельма Мейстера» *(Tagebücher,* B. I, S. 84). В дневниках — немало упоминаний о Станкевиче и Тургеневе. В 1857 г. — по-видимому, при содействии Фарнгагена — в «Ежегоднике» Энциклопедического словаря Брокгауза («Unsere Zeit. Jahrbuch zum Conversations-Lexicon») была опубликована статья о Белинском, содержащая первое упоминание о Станкевиче в западноевропейской печати (см.: *Лит Насл,* т. 56, с. 492–493).

Я встретил его — в Риме. — Тургенев с конца февраля по 12 (24) апреля 1840 г. жил в Риме; туда же в начале марта н. ст. приехали из Флоренции Станкевич и А. П. Ефремов.

В Риме — семейство Ховриных… — В доме Ховриных 26 февраля (9 марта) 1840 г. Тургенев встретил вновь Станкевича (см.: *Станкевич, Переписка,* с. 685). Ховрины — Николай Васильевич, его жена Мария Дмитриевна (1801–1877), их старшая дочь Александра Николаевна, в замужестве Бахметьева (1823–1901), называвшаяся в семейном и дружеском кругу «Шушу», нередко упоминаются в письмах Тургенева 1840 г. из Италии. Римские встречи вызвали у Тургенева два стихотворения, посвященных А. Н. Ховриной (см.: наст. изд., т. 1, с. 312 и 314). Позднее А. Н. Бахметьева стала писательницей для детей и «для народа», строго религиозного направления с оттенком славянофильства.

Сам он тогда думал о Дьяковой… — Дьякова Варвара

Александровна, урожд. Бакунина (1812–1866) — вторая из сестер Бакуниных, друг Станкевича, ухаживавшая за ним в последние дни его жизни.

Остальных лиц — в своих письмах. — В письмах Станкевича из Рима к Фроловым говорится о польском пианисте Брингинском, русском художнике А. Т. Маркове, немецком художнике Рунде, А. П. Ефремове и др.

«Снова тучи надо мною» — первая строка стихотворения Пушкина «Предчувствие» (1828), которое, по-видимому, в сознании Станкевича связывалось тогда с предчувствием близкой смерти.

«Divus Caius Julius Caesar». — См. то же воззвание к Юлию Цезарю в повести Тургенева «Призраки» (главы XII–XIII).

...прочтя в «Тарасе Бульбе»… — Эпизод из VIII главы повести Гоголя в первой ее редакции (1835).

Шевырев в то время был в Риме... — Шевырев Степан Петрович (1806–1864) — профессор Московского университета, поэт, историк литературы, критик, стоявший на позициях «официальной народности», с 1835 г. — ярый противник Белинского. Отрицательно-критическое отношение к нему Станкевича ярко сказывается в письмах его к Фроловым из Рима *(Станкевич, Переписка,* с. 694–696, 705, 715).

И прелести — душа моя... — Цитата из вступления к повести в стихах В. А. Жуковского «Ундина» (1837).

В то время жил в Риме некто Брыкчинский... — Тургенев ошибочно называет так Брингинского, выдающегося польского пианиста, друга Листа. Сохранилось письмо к нему Станкевича, рекомендующее ему Тургенева *(Станкевич, Переписка,* с. 747). О Брингинском Тургенев упоминает в «Мемориале» в записи, относящейся к 1840 году, также называя его Брыкчинским.

Он давно любил Дьякову, на сестре которой... — Дьякова — см. выше. Ее сестра — Бакунина Любовь Александровна (1811–1838), старшая из сестер Бакуниных, бывшая невестой Станкевича. Известен ряд писем к ней Станкевича, по преимуществу лирико-философского характера, за 1837–1838 годы *(Станкевич, Переписка,* с. 503–570).

Фразы — даже Толстой (Л. Н.) не нашел бы ее в нем. — Из писем Л. Н. Толстого видно, как захватило его чтение биографии и писем Станкевича: «Вот человек, — пишет он о Станкевиче Б. Н. Чичерину 21 и 23 августа 1858 г., — которого я любил бы, как себя…»; и в письме к А. А. Толстой того же времени: «Никогда никого я так не любил, как этого человека, которого никогда не видел. Что за чистота,

что за нежность! что за любовь, которыми он весь проникнут…» *(Толстой,* т. 60, с. 272 и 274).

Незадолго до смерти — довольно большое письмо, которое я прилагаю. — Очевидно, письмо Станкевича к Тургеневу от 11 (23) июня 1840 г. из Флоренции, отрывки из которого приводит Тургенев в письме к Грановскому от 4 (16) июля 1840 г.; почти полностью оно опубликовано Л. Н. Майковым *(ВЕ,* 1899, № 1, с. 16–18). Названное письмо было приложено Тургеневым к посланному П. В. Анненкову тексту воспоминаний о Станкевиче.

...в Риме я одно время рисовал карикатуры — свадьбу Маркова... — В письмах из Рима к Фроловым Станкевич сообщает о том, как Тургенев у Ховриных «обыкновенно рисует свои фантазии и очень удачно», причем Станкевич дает ему «библейские темы, например: Адам, который не знает, что ему делать, и проч.» *(Станкевич, Переписка,* с. 692); «Из новых карикатур его <Тургенева> очень забавен Марков с невестою, над которым Тургенев держит венец. На другой представлен Марков с палитрой и кистью перед Колизеем — тоже смешон» (там же, с. 709). *Марков* — Алексей Тарасович (1802–1878), русский художник, работавший в 1830-х годах за границей, преимущественно в Риме. См. письмо к нему Тургенева от февраля — 9 (21) апреля 1840 г.

...о — г-же Кёне. — Имеется в виду Мария Павловна Кении (Кеппеу), урожд. Галахова, бывшая замужем за английским офицером. Два письма ее к Туртеневу, 1840 года, хранятся в *ГИМ.*

Иван Галахов — Галахов Иван Павлович (1810–1849), брат Е. П. Фроловой и М. П. Кенни; в 1840-х годах увлекался фурьеризмом и был близок к Герцену и Огареву. Герцен дал его сочувственную характеристику в главе XXIX «Былого и дум» *(Герцен,* т. IX, с. 115–120). В книге «С того берега» (1847–1850) в главе «Перед грозой (Разговор на палубе)» (см. там же, т. VI, с. 19–39) Герцен передал одну из бесед с И. П. Галаховым, который, по его словам, несмотря на взгляд, «исполненный иронии < ...> хранил романтические надежды и всё еще рвался к каким-то верованиям» (там же, т. IX, с. 120).

...из — «пословицы» Альфреда де Мюссе. — О «Драматических пословицах» («Proverbes dramatiques») А. де Мюссе (1810–1857) см. наст. изд., т. 2, с. 577–578 и сл., в примечаниях к комедии Тургенева «Где тонко, там и рвется» (1848).

...gentleman — так опошлиться. — Называя героя повести «Затишье» джентльменом, Тургенев подразумевал уже иронический оттенок этого определения (см. наст. изд., т. 4; см. также

лексикологическую заметку М. П. Алексеева «Джентльмен». — *Т сб,* вып. 5, с. 343–344).

Выходные данные

Печатается по решению Редакционно-издательского совета Академии наук СССР

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

М. П. АЛЕКСЕЕВ (главный редактор), В. Н БАСКАКОВ (зам. главного редактора), А. С. БУШМИН, Н. В. ИЗМАЙЛОВ, Н. С. НИКИТИНА

Тексты подготовили и примечания составили: И. А. Витюгова, Т. П. Ден, Е. И. Кийко, Ю. Д. Левин, Л. М. Лотман, А. П. Могилянсний, Л. Н. Назарова

Редакторы пятого тома Н. В. Измайлов и Е. И. Кийко

Редактор издательства М. Б. Покровская

Оформление художника М. В. Большакова

Художественный редактор С. А. Литвак

Технический редактор Н. П. Кузнецова

Корректоры Е. Н. Белоусова, О. В. Лаврова

ИБ № 18517

Сдано в набор 28.12.79 Подписано к печати 01.07.80

Формат 84 X 108 1/32 Бумага типографская № 1

Гарнитура обыкновенная. Печать высокая

Усл. печ. л. 28,66. Уч. — изд. л. 32

Тираж 400 000 экз. 2-й завод (150001 — 275000 экз.) Заказ № 1044

Цена 3 р. 60 к.

Издательство «Наука»

117864 ГСП-7, Москва, В-485, Профсоюзная ул., 90

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.

Москва, М-54, Валовая, 28

Примечания

1

Я всё это приведу в порядок, приведу в порядок *(франц.)*.

2

Мой двоюродный брат Федор *(франц.)*.

3

Дорогой Алексей *(франц.)*.

4

Приморской улице *(итал.)*.

5

нарастая *(итал.)*.

6

«русский простак» *(франц.)*.

7

синьору Карлино *(итал.)*.

8

варвар от искусства *(нем.)*.

9

«Дорогой друг Константин!» *(франц.)*.

10

«Сочинения Шиллера» *(нем.)*.

11

«Покорность» *(нем.)*.

12

«Мой милый, милый господин Яков!» (нем.).

13

Как зовут господина? *(франц.)*.

14

Мама! *(франц.)*

15

Что, дитя мое? *(франц.)*

16

Ничего… Я тебе потом скажу *(франц.)*.

17

Отречься <от своих желаний> должен ты, отречься *(нем.)*.

18

в ракурсе (франц.).

19

«Развращенного крестьянина» *(франц.)*.

20

Эта книга принадлежит девице Евдокии Лавриной *(франц.)*.

21

навязчивые идеи *(франц.)*.

22

«Фауст», пролог 1-й части.

23

«размышление» *(франц.)*.

24

«Радуйтесь жизни» *(нем.)*.

25

Когда я тебя вижу! *(нем.* Wenn ich dich seh’!).

26

Сделай книксен! *(нем.* Mach’ einen Knix!).

27

«Трубочный желтый табак» *(нем.)*.

28

Was will er an dem heiligen Ort,
Der da… der dort…

«Фауст», 1-я часть. Последняя сцена.

29

«Майданом» называется место, где гнали деготь.

30

«Добрый вечер!» *(нем.)*.

31

Добрый вечер, мадам!.. *(нем.)*

32

м-ль Бонкур *(франц.)*.

33

Да ведь это ужас, что вы говорите, сударь *(франц.)*.

34

Благодарю, это очаровательно *(франц.)*.

35

Он так изыскан *(франц.)*.

36

Барон столь же любезен, сколь и учен *(франц.)*.

37

Это настоящий поток… он так и увлекает вас *(франц.)*.

38

Ах! звонят к обеду! Вернемся *(франц.)*.

39

«Как жаль, что этот очаровательный молодой человек так ненаходчив в разговоре…» *(франц.)*.

40

Это нервное *(франц.)*.

41

Это светский человек *(франц.)*.

42

Это Токвиля, вы знаете? *(франц.)*

43

«Лесной царь» *(нем.)*.

44

Вы — поэт *(франц.)*.

45

наподобие госпожи Рекамье! *(франц.)*

46

Вот господин Пигасов и уничтожен *(франц.)*.

47

Между нами… это не очень основательно *(франц.)*.

48

вполне порядочный человек *(франц.)*.

49

но это все равно, что ничего *(франц.)*.

50

Не правда ли, как он похож на Каннинга? *(франц.)*

51

вы точно резцом высекаете *(франц.)*.

52

вы нашего круга *(франц.)*.

53

Вот и второй! *(франц.)*

54

Константин, ведь это мой секретарь *(франц.)*.

55

дорогой *(франц.)*.

56

«Что с вами?» *(франц.)*

57

мой честный малый — дочка *(франц.)*.

58

Дюма-сына (Dumas-fils) *(франц.)*.

59

Ну, конечно, сударь, с удовольствием *(франц.)*.

60

увеселительная прогулка *(франц.)*.

61

но она будет менее опрометчива *(франц.)*.

62

Итак, будем веселиться! *(лат.)*

63

Смотри-ка!.. поляка убили. Insurgé — повстанец *(франц.)*.

64

Чёрт возьми! *(франц.)*

65

Мертвые тоже должны жить *(нем.)*.

66

Великие мысли исходят из сердца *(франц.)*.

67

Известно, что рыцарский роман «Персилес и Сигизмунда» явился *после* первой части «Дон-Кихота».

68

держит себя как выскочка *(франц.)*.

69

Гамлет — перевод А. Кронеберга. Харьков, 1844, стр. 107.

70

самым частным образом *(лат.)*.

71

«полная свобода печати» *(нем.)*.

72

так называемой *(франц.)*.

73

вызывать у людей ощушение непринужденности *(франц.)*.

74

немножко старорежимну о *(франц.)*.

75

немножко свысока *(франц.)*.

76

ядовитый осел *(нем.)*.

77

«Божественный Кай Юлий Цезарь» *(лат.)*.

78

„Дражайший господин грабитель! — Дражайший господин! Возьмите, что хотите, только оставьте мне жизнь! — будьте милосердны!“ *(итал.)*.

79

благовоспитанность *(франц.)*.

80

настоящим джентльменом *(франц.)*.

81

О переводах на иностранные языки других произведений, печатающихся в наст. томе, см. в примеч. к ним: «Фауст» — с. 426–427, «Поездка в Полесье» — с. 435–436, «Ася» — 448–449.

82

О немецких переводах произведений Тургенева см. также: Dornacher Klaus. Bibliographie der deutschesprachigen Buchausgaben der Werke I. S. Turgenevs 1854–1900. — Wissenschaftliche Zeitschrieft. Pädagogische Hochschule «Karl Liebknecht»,Potsdam. Heft 2, 1975, S. 285–292.

83

Важнейшие варианты чернового автографа «Переписки» см.: *Т сб,* вып. 2, с. 61–70.

84

Повесть Тургенева и в особенности ее главный герой Яков Пасынков оказали влияние на французского писателя и переводчика произведений Тургенева Ксавье Мармье. В одном из своих романов, написанных в пору близкого общения с русским писателем, «Обручение на Шпицбергене» (1859), К. Мармье привел в качестве эпиграфа ко второй главе слова Якова Пасынкова: «Жалок тот, кто живет без идеала» (см.: *Прийма* Ф. Я. Русская литература на Западе. Л., 1970, с. 110).

85

Основные варианты чернового автографа «Якова Пасынкова», см.: *Т сб,* вып. 3, с. 5 — 12.

86

Современными исследователями высказывается предположение, что написанные и ненапечатанные, скорее всего, по цензурным причинам примечания Чернышевского к «Фаусту» Гёте, которые критик собирался приложить к переводу Струговщикова, заключали в себе элементы полемики с тургеневской трактовкой трагедии Гёте (см. ниже, с. 417–419) и должны были служить «дополнением» к одноименной повести Тургенева (см.: *Федоров* А.А. Чернышевский о «Фаусте» Гёте («Примечания» к «Фаусту»). — Уч. зап. Московского гор. пед. ин-та, вып. 2, кафедра зарубежных литератур, т. LII, 1956, с. 34–35, 46–52, 74).

87

См. об этом: *Жирмунский* В. Гёте в русской литературе. Л., 1937, с. 357–367; *Гутман* Д. С. Тургенев и Гёте. — Уч. зап. Елабужского гос. пед. ин-та, 1959. Т. 5, с. 172–173; *Rosenkranz* E. Turgenev und Goethe. — Germanoslavica. Ing. II, 1922–1933. Hf. 1, S. 76–91; Dr. *Schütz* Katharina. Das Goethebild Turgeniews. Sprache und Dichtung. Bern — Stuttgart, 1952. Hf. 75, S. 104–113; *Dédéyan* Charles. Le thème de Faust dans la littérature Européenne. Du romantisme à nos jours. I. Paris, 1961, p. 282–285; *Тихомиров* В. Н. Традиции Гёте в повести Тургенева «Фауст». — Вопросы русской литературы, Львов, 1977, № 1, с. 92–99.

88

Здесь и ниже три точки обозначают, что вариант не закончен.

89

Кроме того, в *ЦГАЛИ* хранятся титульный лист и 1-я страница неавторизованной писарской копии «Аси» (ф. 509, оп. 1, ед. хр. 33).

90

Горбачева, Молодые годы Т, с. 43 и *Schütz* K. Das Goethebild Turgeniews. Sprache und Dichtung. Bern — Stuttgart, 1952. Heft 75, S. 114.

91

Лирическая опера на сюжет «Аси» была впоследствии написана М. М. Ипполитовым-Ивановым (1900).

92

См.: *Данилов* В. В. Хронологические моменты в «Рудине» Тургенева. — Изв. ОР ЯС Рос. Академии наук. Л., 1924–1925. Т. XXIX, с. 161–162.

93

Роман явился темой музыкального замысла, оставшегося, однако, неосуществленным. В середине 1864 г. А. Г. Рубинштейн, находясь в Баден-Бадене, где жил Тургенев, задумал написать оперу на сюжет «Рудина»; либретто для нее (по сообщению композитора в письме к матери от 27 мая (8 июня) 1864 г.) согласился писать сам Тургенев; была написана интродукция к опере, но затем Рубинштейн оставил эту работу, от которой до нас не дошло никаких материалов (см.: *Баренбойм* Л. А. Г. Рубинштейн. Л., 1957. Т. I, с. 291).

94

См.: *Клеман* М. К. Иван Сергеевич Тургенев. Очерк жизни и творчества. Л.: ГИХЛ, 1936, с. 84; *Прохоров* Г. В. Творческая история романа «Рудин». — *Т сб (Бродский),* с. 127; *Бялый* Г. А. Тургенев и русский реализм. М.; Л.: Сов. писатель, 1962, с. 70 и др.; по последнему предположению М. О. Габель, Тургенев отказался от первоначального заглавия романа в начале работы над ним в связи с появлением фельетона о «гениальной натуре» в панаевских «Заметках и размышлениях Нового поэта но поводу русской журналистики»

(Совр, 1855. № 5) — см. ее статью «Творческая история романа „Рудин“». — *Лит Насл,* т. 76, с. 19–20.

95

Вопрос о Бакунине как прототипе Рудина освещен в статье Н. Л. Бродского «Бакунин и Рудин». — Каторга и ссылка, 1926, № 5 (26), с. 136–169. См. также «Воспоминания» Н. Островской. — *Т сб (Пиксанов)*, с. 95.

96

См.: *Чернышевский,* т. I, с. 723–741. Ср. в комментариях Б. М. Эйхенбаума к «Рудину» — *Т, Сочинения,* т. V, с. 280–284, где собран материал, относящийся к вопросу о Бакунине как прототипе Рудина.

97

На одном из чтений «Рудина» в кругу друзей присутствовал Л. Н. Толстой. Его воспоминание об этом событии записал в своем дневнике В. Ф. Лазурский: «Я помню, Тургенев, — рассказывал Толстой, — произвел на меня сильное впечатление „Записками охотника“. Потом я слушал „Рудина“; он читал у Некрасова. Были тут Боткин, Анненков; все глубокомысленно обсуждали…» (*Лит Насл,* т. 37–38, с. 450).

98

Человека рудинского закала, одного из прототипов Рудина увидел в Грановском и М. Де-Пуле (см.: его рецензию на книгу А. В. Станкевича «Т. Н. Грановский», М., 1869. — *СПб Вед,* 1869, № 161, 14 (26) июня).

99

Фамилия Лепицина не упоминается ни в плане «Рудина», ни в каких-либо материалах о нем. М. К. Клеман в комментариях к редактированному им изданию «Рудина» *(Т, Рудин, 1936,* с. 440) объяснил фамилию «Лепицин» как «начальный вариант фамилии

персонажа, планом не предусмотренного — Покорского»; текст письма, однако, показывает, что персонаж, названный Лепициным, уже существовал в романе до переработки и теперь только развит, — т. е. заставляет признать правоту других комментаторов, отождествляющих Лепицина с Лежневым.

100

Ср. размышления Герцена в его дневнике за 1842 год (т. е. около того времени, когда происходит действие «Рудина»), особенно в записи от 11 сентября *(Герцен,* т. II, с. 226–227 и др.).

101

Было высказано в достаточной мере обоснованное предположение, что прототипом Басистова послужил прогрессивный педагог, разночинец П. Е. Басистов (1823–1882) — см.: *Баевский* В.С. Рудин и Басистов. Типы и прототипы. — Уч. зап. Смоленского пед. ин-та. Вопросы русской литературы XIX–XX вв. Вып. XXVII. Смоленск, 1971, с. 17–26.

102

Об этом см.: *Габель* М. О. Творческая история романа «Рудин», — В кн.: *Лит Насл,* т. 76, с. 40–43.

103

Как на интересный факт дальнейшей литературной жизни романа в последующую эпоху следует указать на опыт художественной разработки концовки «Рудина» в повести П. Муратова «Смерть Рудина». (См.: *Муратов* П. Герои и Героини. М., 1918, с. 103–120.) В ту же пору, в 1915–1916 гг., в Петрограде под редакцией Н. Лещенко выходил двухнедельный журнал «Рудин». Главной его вдохновительницей была Лариса Рейснер. По словам печатавшегося в журнале поэта Вс. Рождественского, имя тургеневского героя было выбрано для названия не по причине его вдохновенного красноречия, а именно потому, что он «нашел в конце концов мужество сражаться и

погибнуть на баррикадах». В журнале был помещен и критический очерк развития русской интеллигенции, где Рудин завершал ряд: Чацкий — Онегин — Печорин. См. более подробную характеристику журнала в заметке о нем М. П. Алексеева: *Т сб,* вып 1, с. 246–249. См. также: *Прочухан* Л. С. Образ Рудина в восприятии трех поколений русских революционеров. — В сб.: Народ и революция в литературе и устном творчестве. Уфа, 1967, с. 121–135.

104

В «Заметках о журналах» за февраль 1856 года *(Совр,* № 3, с. 94) Некрасов говорит о «Рудине» как о произведении, «возбудившем в публике жаркие и разнородные толки».

105

Имеется в виду встреча Лежнева с Рудиным и их разговор в гостинице. — *Ред.*

106

Самостоятельную, почти параллельно осуществленную разработку близкой проблематики Некрасов дал в поэме «Саша» — см.: *Гаркави* А. М. Поэма «Саша». — Некрасовский сборник. М.; Л., 1956, с. 130–149; *Маслов* В. С. Некрасов и Тургенев. К вопросу о литературных взаимоотношениях («Саша» и «Рудин»). — В сб.: О Некрасове. Статьи и материалы. Вып. III. Ярославль, 1971, с. 136–153.

107

См. об этом: *Granjard* Henri. Ivan Tourguénev et les courants politiques et sociaux de son temps. Paris, 1954, p. 255–256.

108

Об отношении чернового наброска к окончательному тексту статьи см.: *Т сб.,* вып. 2, с. 71–75.

109

О связи статьи с отношениями Тургенева и Толстого в 1850-е годы см.: *Эйхенбаум* Б. М. О прозе. Л., 1969, с. 145–151.

110

См.: *Огарев* Н. П. Избранные социально-политические и философские произведения. [М.]: Госполитиздат, 1952. Т. I, с. 422–423; *Добролюбов,* т. II, с. 211.

111

Бóльшая часть этих отступлений указана в кн.: *Львов* А. Гамлет и Дон-Кихот и мнение о них И. С. Тургенева. СПб., 1862.

112

Представлению Тургенева о двойственности человеческой природы посвящена книга: *Kagan-Kans* Eva. Hamlet and Don Quihote: Turgenev's Ambivalent Vision. The Hague; Paris: Mouton, 1975.

113

Подробнее об этом см.: *Левин* Ю. Д. Русский гамлетизм. — В кн.: От романтизма к реализму. Л.: Наука, 1978, с.189–236.

114

См.: *Фридлендер* Г. М. Белинский и Шекспир. — В кн.: Белинский. Статьи и материалы. Л., 1949, т. 165; *Лаврецкий* А. Эстетика Белинского. М., 1959, с. 232–236; Шекспир и русская культура. М.; Л.: Наука, 1965, с. 329–331.

115

См.: *Стороженко* Н. Философия Дон-Кихота. — *ВЕ,* 1885, № 9, т. V, с. 307–310.

116

Высказывалось предположение, что эта биография, предпосланная Л. Виардо своему переводу «Дон-Кихота» (Paris, 1836), также оказала влияние на Тургенева. В частности, в ней он мог найти мысль, что в процессе написания романа значение Дон-Кихота «расширилось под собственною рукою его бессмертного творца» (наст. том, с. 332; см.: *Звигильский* А. Я. «Гамлет и Дон-Кихот». О некоторых возможных источниках речи Тургенева. — *Т сб,* вып. 5, с. 238–241).

117

Григорьев А. Л. Дон-Кихот в русской литературно-публицистической традиции. — В кн.: Сервантес. Статьи и материалы. Л., 1948, с. 13–31; *Мордовченко* Н. И. «Дон-Кихот» в оценке Белинского. — Там же, с. 32–39; *Плавскин* З. И. Сервантес в России. — В кн.: Мигель де Сервантес Сааведра. Библиография русских переводов… М., 1959, с. 15–21; Turkevich L. B. Cervantes in Russia. Princeton, 1950, p. 23–27.

118

См.: *Оксман* Ю. Г. Тургенев и Герцен в полемике о политической сущности образов Гамлета и Дон-Кихота. — В кн.: Научный ежегодник за 1955 год Саратовского гос. ун-та им. Н. Г. Чернышевского. Филолог, факультет, 1958, отд. III, с. 26–28.

119

См.: *Курляндская* Г. Б. Романы И. С. Тургенева 50-х — начала 60-х годов. — Уч. зап. Казанского гос. ун-та им. В. И. Ульянова-Ленина. Казань, 1956. Т. CXVI, кн. 8, с. 83.

120

Возможно, не без влияния этого сравнения у Тургенева Достоевский впоследствии объединил в образе героя романа «Идиот»

черты Христа и Дон-Кихота (см. комментарий в кн.: *Достоевский,* т. IX, с. 394–402).

121

См.: *Горнфельд* А. Г. Дон-Кихот и Гамлет (1913). — В его кн.: Боевые отклики на мирные темы. Л., 1924, с. 19–20, 22.

122

См. в комментариях к соответствующим произведениям. См. также: *Левин* Ю. Д. Статья И. С. Тургенева «Гамлет и Дон-Кихот». — В кн.: Н. А. Добролюбов. Статьи и материалы. Горький, 1965, с. 146–153; Шекспир и русская культура. М.; Л.: Наука, 1965, с. 464–467; *Винникова* И. А. И. С. Тургенев в шестидесятые годы. Саратов, 1965, с. 6 — 30; *Курляндская* Г. Б. Метод и стиль Тургенева-романиста. Тула, 1967, с. 6 — 46; *Буданова* Н. Ф. Роман «Новь» в свете тургеневской концепции Гамлета и Дон-Кихота. — Русская литература, 1969, № 2, с. 180–190; *Опришко* Е. Н. Преломление взглядов И. С. Тургенева на тип «лишнего человека» в статье «Гамлет и Дон-Кихот». — В кн.: Русская литература XIX–XX веков и вопросы ее типологии. Днепропетровск, 1975, с. 7 — 18.

123

См. упомянутую выше работу Ю. Д. Левина «Статья И. С. Тургенева „Гамлет и Дон-Кихот“» — с. 155–156.

124

См.: *Мордовченко* Н. И. Добролюбов в борьбе с либерально-дворянской литературой. — Изв. АН СССР, Отд. общественных наук, 1936, № 1–2, с. 251–252.

125

См.: *Бялый* Г. Тургенев и русский реализм. М.; Л.: Сов. писатель, 1962, с. 145–146.

126

Статья опубликована анонимно; атрибуцию ее см. в кн.: Достоевский Ф. М. Статьи и материалы. Пб., 1922, с. 507.

127

Подробнее об этом см.: *Столярова* И. В. «Гамлет и Дон-Кихот». Об отклике Н. С. Лескова на речь Тургенева. — *Т сб,* вып. 3, с. 120–123.

128

См.: *Левин* Ю. Д. Русский гамлетизм. — В кн.: От романтизма к реализму. Л.: Наука, 1978, с. 228–234.

129

Основываясь на этой записи, А. Г. Цейтлин пришел к ошибочному мнению, будто еще до «Двух поколений» у Тургенева был «замысел другого романа» (*Цейтлин* А. Г. Мастерство Тургенева-романиста. М., 1958, с. 72–73).